

Владимир (Зеев)
Жаботинский





B. Neufuss

ВЛАДИМИР (ЗЕЭВ) ЖАБОТИНСКИЙ

СОЧИНЕНИЯ
В ДЕВЯТИ ТОМАХ
том первый



РОМАНЫ
—
РАССКАЗЫ

МИНСК

Мет

2007

УДК 821.161.1-31 / -32
ББК 84 (2 Рос=Рус) -44
Ж12

**Издание осуществлено при спонсорской
поддержке Фонда Михаила Черного**

Редакционный совет:

Йоси АХИМЕИР, Ирина БЕРДАН, Михаил ВАЙСКОПФ,
Борух ГОРИН, Феликс ДЕКТОР (*гл. редактор*), Леонид КАЦИС,
Вольф МОСКОВИЧ, Дмитрий РАДЫШЕВСКИЙ (*председатель*)

Предисловие
Анны ИСАКОВОЙ

Примечания
Владимира ХАЗАНА
Ирины БЕРДАН

ISBN 978-985-436-549-7 (Т.1)
ISBN 978-985-436-550-3

© Дектор Ф., составление, 2007
© Оформление. ООО «МЕТ», 2007

АЛАДДИН И ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА, ИЛИ ФЕНОМЕН ЖАБОТИНСКОГО

Природа наделила Владимира (Зеева) Жаботинского (1880—1940) талантами столь разнообразными, что трудно определить, какой из них — главный. Блестящий публицист и оратор, многообещающий поэт, прозаик, переводчик и драматург, страстный общественный и политический деятель, умелый организатор и хороший солдат...

Составители первого на русском языке собрания сочинений Жаботинского в пяти томах не пытаются охватить все области его многосторонней деятельности. Даже в 18-томном собрании сочинений, вышедшем на иврите в 1947—1958 гг., представлены далеко не все работы, написанные Жаботинским на разных языках и опубликованные под многочисленными псевдонимами в различных изданиях, в том числе и тех, что до нас не дошли. А есть еще записи речей, поражавших современников не только оригинальным содержанием, но и ораторским мастерством. Большая часть этих речей была записана слушателями в сокращенном виде и по памяти. По сути, работа над сличением этих записей еще и не начиналась. Не опубликовано более или менее полное собрание писем Жаботинского, проливающих порой неожиданный свет на содержание его статей. Часть литературных произведений, упоминаемых Жаботинским в воспоминаниях и письмах, не найдена. Он и сам не всегда помнил, что, где и когда публиковал. Не собраны и воспоминания современников о встречах с Жаботинским и совместной работе с ним в той или иной области, а областей этих не счесть — от педагогики до феминизма, от философии до армейской тактики, от вопросов театральной критики до проблем государственного администрирования.

Не пытаясь объять необъятное, все же постараемся на этих страницах дать адекватное представление о «феномене Жаботинского», явлении столь многогранном, что никакое иное определение к нему, пожалуй, и не подходит. Современники, например, поражались его лингвистическим способностям.

Он свободно говорил и писал на десяти языках и еще с десяток знал в той или иной степени совершенства. Разбирался в основах лингвистики, обожал тонкости диалектов. Например, разыгрывал итальянцев, прикидываясь уроженцем той или иной итальянской провинции. В воспоминаниях о нем не раз слышатся вздохи языковедов: какого ученого потеряла их наука!

А какого писателя потеряла русская литература! — сетуют Ходасевич, Чуковский, Горький, Куприн. Так, на встрече с одесскими сионистами, пригласившими А.И. Куприна на вечер памяти русско-еврейского писателя Семена Юшкевича, именитый гость вдруг взорвался: «Юшкевича вы можете оставить себе. Но есть другой одессит — настоящий талант, который мог стать орлом русской литературы — вот его вы у нас просто украли... И, Боже мой, что же вы с ним сделали, с этим молодым орлом? Затащили его в еврейскую черту оседлости, обрубали ему крылья, вскоре он превратится в курицу и станет кудахтать, как все остальные. Жаль! Огромная потеря для русской литературы, насчитывающей так мало авторов, обладающих стилем, остротой и пониманием нашей души».

Речь, как вы понимаете, шла о Владимире Жаботинском. Но сам он себя всерьез ни прозаиком, ни поэтом не считал. Вот журналистом был профессиональным. Большую часть жизни — с шестнадцати лет — кормился именно этим ремеслом. Писал на русском, иврите, идише, итальянском и английском. Пользовался множеством псевдонимов. Наиболее известный из них — Альталена, что по-итальянски означает «качели», хотя, выбирая псевдоним, он еще недостаточно знал язык и думал, что это слово переводится как «рычаг». Но в историю Зеэв Жаботинский вошел не столько как писатель и журналист, сколько как политический деятель, один из создателей современной сионистской доктрины и основателей Государства Израиль.

Ради сионизма он принципиально зарыл все свои таланты, даже выработал теорию: отдать все ради одного, того, что считаешь основополагающим, главным. «В начале всего Бог сотворил нацию; все, что способствует ее возрождению, — свято, а все, что мешает этому, — скверно, а каждый, кто мешает, — сам черен, и вера его черна, и черно его знамя», — декларировал он как глава Бейтара¹, выступая за сионизм, свободный от

¹ Бейтар (аббревиатура от Брит Йосеф Трумпельдор — Союз им. Иосифа Трумпельдора) — молодежная сионистская организация, созданная по призыву Жаботинского для защиты еврейских поселений в Палестине. И. Трумпельдор (1880—1920) — герой русско-японской войны; в годы

влияния какой-либо иной идеологии, напр., социалистической. И еще: «...Сионизм — идеал самостоятельный и прекрасный в высшей степени. Он явился для того, чтобы спасти от ненависти толпы и от голодной смерти сотни тысяч людей, он явился для того, чтобы создать на земле новый народ — новую арену для создания ценностей, которые обогатят все человечество. Прекрасен он, сионизм, свят, чист и нравственен; и если так — то все, что препятствует ему, — безнравственно»¹.

Речь, как мы видим, идет о монизме, понятии, которое в начале XX века занимало многие умы. Сегодня мы бы сказали «целенаправленность» или «целеустремленность», избегая слова «фанатизм». А Жаботинский, несомненно, был, даже заставляя себя быть фанатиком идеи сионизма. Слово «монизм» он перевел на иврит идиоматически: *хаг нес* — одно знамя. Одно знамя, один народ, но ни в коем случае не один вождь! Жаботинского иногда обвиняют в близости к фашизму. Как многие интеллектуалы того времени, он интересовался этой доктриной, но фашистом не был. Не мог быть по складу личности, по особенностям характера, по мировоззрению и воспитанию. А вот националистом был и с гордостью носил это звание. Но при этом планировал назначить араба вице-премьером еврейского государства. И не из тактических соображений, а в полном соответствии со своим мироощущением.

Парадокс? И да, и нет. Если смотреть со стороны, не вникая в суть хода мыслей Жаботинского, — парадокс. А исходя из его убеждений — естественное и легко объяснимое решение. Создание еврейского государства было для Жаботинского целью, возведенной в разряд абсолюта (не забудем, что цель эта выглядела тогда достаточно утопической). Ради ее достижения он был готов пожертвовать всем, чем угодно, в том числе собственной жизнью. Но при этом оставался человеком рациональным, сжигавшая его страсть никак не отражалась на трезвости ума и четкости исторического и политического видения. Понимая, что еврейское государство будет в лучшем случае двунациональным, если не многонациональным, Жаботинский изучил проблему сосуществования наций в таком государстве,

первой мировой войны вместе с Жаботинским создавал еврейский легион, сформированный в основном из русских евреев, которые были высланы турецкими властями из Палестины. Погиб, защищая жителей поселения Тель-Хай. (*Здесь и далее прим. ред.*)

¹ Жаботинский В. Одна опасность. // «Доар хайом» (Иерусалим). 9.10.1930.

взяв за образец империю Габсбургов. Более того, он был одним из авторов Гельсингфорсской программы, которая, с одной стороны, пыталась обеспечить равноправие евреям, живущим в диаспоре, а с другой, — давала ответ на национальные запросы этнических меньшинств вообще. И до конца жизни гордился своим участием в разработке этой программы. Исходя из трезвого и глубокого понимания сути стоящей перед евреями проблемы, Жаботинский предложил схему еврейско-арабского сосуществования в будущем еврейском государстве, реализовать которую сегодня не решился бы даже самый левый израильский сионист.

Жаботинский действительно мечтал видеть араба вице-премьером еврейского государства и в то же время предупреждал, что сосуществование национального большинства с национальным меньшинством может быть мирным лишь в том случае, если по другую сторону границы нет национального государства (тем более — блока государств) этого меньшинства. В противном случае нацменьшинство будет всеми силами стремиться к слиянию с зарубежным большинством, то есть станет фактором вечной вражды и конфликта. Сегодняшняя проблема двойной лояльности израильских арабов подтвердила верность этого пророчества.

В этом весь Жаботинский — шкатулка за семью замками, которые открываются одним ключом. Нашей задачей и будет попытка предложить читателю такой ключ.

По признанию самого Жаботинского, он пришел к сионизму в ранней юности и не умозрительно, а стихийно. Впрочем, антисемитская атмосфера России конца XIX — начала XX в. не оставляла выбора Володе Жаботинскому, воспитанному как аристократ духа — гордый, как испанский идальго, свободолюбивый, как английский джентльмен, пылкий, страстный, как герои Шиллера, и сознающий свое происхождение, как наследный принц. Этот мотив — евреи как потомки царей и пророков — часто возникает в его статьях, речах, стихах и прозе: «Еврей — он и в бедности принц! / Пусть даже скиталец, невольник, / Он сотворен был как принц / И увенчан короной Давида!..»¹

«Когда я писал эти строки, — вспоминал Жаботинский незадолго до смерти, — я имел в виду всех людей: и греков, и банту, и северянина, и эскимоса. Ибо все они были созданы по об-

¹ Жаботинский В. Гимн Бейтара (*погстрочный пер. с ивр.*)

разу Божию, о чем мы узнаем из первой главы Библии. Но Библия не ограничивается этим сообщением, она намекает на то, что люди — почти боги, или дети Бога. [...] Привилегия высшего аристократизма дана человеку в соответствии с еврейской традицией с рождением первого человека. Наша еврейская традиция солидаризуется в этом вопросе с принципом человеческого достоинства, выражающего дух Бейтара. Пусть унижен, покорен, подавлен, я король и требую полагающихся мне королевских прав. Суть этого королевского права: я никому не подвластен»¹.

Что же остается потомку царей? Не ассимилироваться же ему в чужую культуру, отбивая нападки ее законных наследников и существуя в этой культуре на правах приемыша!.. Сионизм действительно был для Жаботинского единственным и естественным путем и выходом, той великой целью, которой стоило посвятить жизнь. Поначалу сионисты с распростертыми объятиями приняли в свой круг этого необычно талантливого юношу. Позже — выталкивали его из своей среды, выдавливали, как инородное тело, боролись с ним, как с врагом. Он выстоял. Но сколько горечи в его пересказе притчи об Аладдине: «Кто такой Аладдин? Никто, ничто; случай подарил ему старую заржавленную лампу, он хотел ее почистить, стал тереть тряпкой, вдруг явились духи и построили ему дворец; но теперь дворец готов; он стоит и будет стоять, и никому больше не нужен Аладдин с его волшебной лампой. [...] Может быть, все мы Аладдины; каждый замысел есть волшебная лампа, одаренная силой вызывать зиждительных духов; надо только иметь терпение тереть и скрести ржавчину, пока — пока ты не станешь лишним. Может быть, в том и заключается настоящая победа, что победитель становится лишним»².

Надо сказать, что лишним Жаботинский стал не для сионизма, где ему и сегодня есть место и дело, а для других аладдинов, имя которых носят израильские улицы, но забыла история. Что до Жаботинского, то если гениальность политика состоит в том, чтобы на десятилетия вперед предсказать и определить ход истории, — перед нами гениальный политик. До сего дня израильская политическая история следует траектории его указующего перста. Все предусмотрено и предска-

¹ Жаботинский В. Королевские дети; 1940 // Избранные статьи и речи. «Гешарим» (Иерусалим), 1991. Стр. 214.

² Слово о полку. История Еврейского легиона по воспоминаниям его инициатора // О железной стене. МЕТ. Минск, 2004. Стр. 385.

зано: и отношения евреев с арабами, и характер развития израильской экономики, и сложные взаимосвязи между еврейством диаспоры и евреями Сиона. Обсуждены такие современные вопросы, как культурное многообразие при необходимости поддерживать доминантную культуру, определяющую характер государства; феминизм; индивидуализм и коллективизм; возможные неисправности в административном аппарате и способы наладки государственной машины; вопросы языка (имеется в виду иврит) и даже проблемы этикета. Израильтянин и сегодня может читать статьи Жаботинского, написанные сто лет назад, как полностью актуальные, задающие важные вопросы и отвечающие на них языком современного мышления.

Проблема в том, что большинство израильтян Жаботинского не читали. Далеко не полное собрание сочинений, начавшее выходить еще в подмандатной Палестине, с тех пор не переиздавалось. В годы правления левых его имя звучало как проклятие. Он считался фашистом, махровым националистом и вообще порождением дьявола. Кастовая ненависть сионистов-социалистов к главе сионистов-ревизионистов¹ была так велика, что не требовала, да и до сих пор не требует подтверждения фактами. В то же время для большинства правых израильтян Жаботинский был и остается только непримиримым арабоненавистником, автором теории «железной стены» и глашатаем неделимого Израиля от Тигра и Евфрата до Нила и дальше. Любая попытка представить более сбалансированный образ их идейного вождя вызвала бы только раздражение. В результате, внимательное прочтение Жаботинского стало бы, пожалуй, шоковой терапией как для одних, так и для других.

Жаботинского помнят, но толком не знают и знать не особенно хотят. Цитируют исключительно выборочно и с оглядкой. Называют его именем улицы и новые поселения, но не культурные или общественные заведения, хотя вопросы культуры и общественного устройства занимали Жаботинского не меньше, чем политическая сиюминутность. Да и трудно найти среди отцов-основателей Израиля личность, равноценную Жаботинскому в плане творческой активности, таланта, образованности, широты интересов, понимания самых основ человеческого состояния и мироощущения. Однако все это удивительное на-

¹ Сионисты-ревизионисты — политическое течение, требовавшее ревизии (пересмотра) политики ВСО.

следие остается по большому счету невостребованным. Нельзя сказать, что современный Израиль все еще подвергает Жаботинского общественному ostrакизму, но левые и правые, интеллектуалы и политики, академическая и творческая среда одинаково ostrаивают его. Он — «другой», вещь в себе, и лучше не ступать на это минное поле.

Подобное отношение к великому человеку должно иметь свое объяснение. На мой взгляд, дело в том, что в сегодняшнем понимании политических терминов Жаботинский — не правый и не левый, не консерватор и не безоглядный либерал, не фундаменталист, но уж точно и не интернационалист или глобалист, потому что вообще не признавал догмы и не выносил догматического мышления. Он создавал свой мир каждый день заново, соотнося реальную ситуацию с поставленной целью и действуя в соответствии со здравым смыслом, подкрепленным глубоким пониманием исторических и политических процессов, а также в полном согласии с неизменным моральным законом, составлявшим основу его естества.

Да, он был своего рода кантианцем, но сегодня его можно с полным правом назвать еще и экзистенциалистом. Единственным, пожалуй, политиком, неуклонно и постоянно действующим в экзистенциальном вакууме. Встать утром, оглядеться, оценить сложившуюся в мире за ночь обстановку, проанализировать собственную реакцию на нее, сверить предлагаемое действие с моральным компасом и нерушимыми принципами мироощущения — и принять решение. Принять в одиночку и нести полную ответственность за все последствия этого решения — тоже в одиночку. Это ли не экзистенциальное существование?

Но давайте проверим, наличествуют ли в документированном наследии Жаботинского остальные компоненты экзистенциального мироощущения, как они изложены теоретиками этого направления. Считается, что основой экзистенциального бытия является острое ощущение невыносимой тоски и боли существования (*Angst* и *Weltschmerz*). В прозе Жаботинского, в его поэзии, драме и публицистике они обнаруживаются без труда. Правда, боль конкретизирована и имеет точный адрес. Не судьба вообще, не безликий рок, не общая гангрена нравов, а еврейская судьба, еврейская боль, невыносимость еврейского существования. Интенсивность и тотальность трагического восприятия действительности от этого не убывают.

«Кратеры голуса¹ разверзлись, буря сорвалась с цепи, и чужбина сотворит над нами все, что ей будет угодно. Вы будете корчиться от бешенства и подымать яркие знамена борьбы, вы напряжете все силы духа, чтобы найти тропинку спасения, и сами себе поверите на миг, будто нашли ее, — но я не верю и гнушаюсь утешать себя сказками, и говорю вам со спокойным холодом в каждом атоме моего существа: нет спасения, вы в чужой земле, и до конца свершится над вами воля чужбины!»².

Не будем останавливаться на том факте, что для Жаботинского «рок» и «чужбина» — понятия почти идентичные (на этом построена его пьеса «Чужбина»), но искомый Angst, по нашему мнению, налицо.

Что еще требуется для того, чтобы определить мироощущение как экзистенциальное? Постоянная рефлексия, нескончаемый разбор полетов, ежеминутная проверка каждой мысли и каждого слова интеллектуальным и чувственным аппаратом. О, этого хватает в каждой статье и даже в каждой строчке. Возьмите любой том Жаботинского и откройте первую попавшуюся страницу. Автор, в какой бы роли — поэта, прозаика или публициста — он не выступал, кажется, только тем и занят, что обсуждает с собой и читателем каждый собственный шаг, каждую посетившую его мысль.

Об индивидуалистическом способе принятия решений, моральном компасе и неизменном чувстве ответственности за каждый сделанный шаг мы уже говорили. Таким образом, весь «экзистенциальный набор» налицо. Только непрестанно имея его в виду, можно приступить к разбору той сложной формулы, которая и составляет суть учения Жаботинского, если таковое вообще существует. Потому что Жаботинский — это не теория, не идеология, не догма и не политическое кредо, а человек, цель и моральная норма.

Жаботинский не склонен к беспредметным размышлениям, ему чужда манера «взгляд и нечто», он всегда конкретен. Мысль отталкивается от факта, «обглаживает» его, воспринимает, обобщает, рационализирует, помещает в соответствующий контекст и только потом переходит к выводам и рекоменда-

¹ Голус, галут (ивр.; букв. «изгнание») — пребывание еврейского народа в рассеянии.

² Жаботинский В. В траурные дни // Жаботинский Владимир (Зеев). О железной стене. МЕТ. Минск, 2004. Стр. 36.

дациям к действию. Этот процесс ежечасен и даже ежеминутен, а потому невозможно вступить в те же воды дважды, и то, что казалось само собой разумеющимся в одном случае, совершенно не подходит для другого.

Призыв ни на миг не упускать из виду конечную цель присутствует почти в каждой статье и речи Жаботинского, при этом цель ни в коем случае не оправдывает средства. Моральный компас не выключается ни на миг и не позволяет действий, которые потребовали бы отклонения стрелки. Но цель определяет средства, поскольку она, эта цель, неизменна. А путь, ведущий к осуществлению цели, непрерывно изменяется, корректируется, высвечивается то с одной, то с другой стороны, в связи с чем невозможно провести четкую догматическую линию идеологии Жаботинского.

По сути, никакой идеологии и нет. Есть идея создания еврейского государства, и есть человек. Жаботинский-наставник, глава всемирного движения сионистской молодежи, заботится, чтобы человек этот был сознательным, думающим и морально выверенным. Он должен постоянно помнить о конечной цели и искать наиболее эффективные пути приближения к ней, сознавая пределы моральной допустимости своих действий. Должен нести постоянную ответственность за эти действия перед моральным императивом, вернее, перед самим собой, несущим в себе моральный императив. Таков сам Жаботинский, такими должны быть его ученики, так должны поступать все евреи, чтобы иметь моральное право требовать идентичного поведения всего остального человечества.

Как бы ни называлась подобная позиция в первой половине XX столетия, сегодня она определяется как экзистенциальная, и только в ее ракурсе можно объяснять кажущиеся противоречия в творческом и практическом наследии Жаботинского. Например, призыв к авантюризму в одной статье и требование подчинить себя дисциплине — в другой. Или, скажем, создание теории «еврейского социализма» наряду с требованием положить конец забастовкам, мешающим строить еврейское государство.

Остановимся подробнее на теории «еврейского социализма», или «социализма юбилейного года», поскольку она ярко и точно характеризует способ мышления и образ действий Жаботинского. «Ревизионист Жаботинский» и «социалист Жаботинский» — казалось бы, два несовместимых словосочетания. Между тем, в юные годы Жаботинский с симпатией

относился к социализму. Таково было влияние эпохи, воздействие окружающей его «прогрессистской» среды.

Жаботинский не скрывает своего отношения к социализму. Противоречия между интересами работодателя и рабочего неразрешимы; социализация средств производства является единственно возможным решением этого конфликта; естественным инструментом подобной революции является пролетариат, а путь революции идет через классовую борьбу и захват власти, пишет он в октябре 1906 года. И, более того: «Я настолько пропитан этой концепцией, что органически не способен думать об этой проблеме иначе»¹. Похоже, сионизм «украл» не только большого писателя у русской литературы, но и пламенного борца у пролетарской революции.

Можно было бы сказать: «в юности отдал дань социализму» и забыть о «пропитанности» Жаботинского социалистической концепцией, если бы не статья, опубликованная им в марте 1940 года:

«"Юбилейный год" — как он обрисован в Священном писании — должен возвращаться каждые пятьдесят лет, и когда наступает его срок, все недвижимое имущество возвращается к его первоначальным владельцам, потерявшим его из-за долгов. [...] Суть идеи "юбилейного года" заключается в положении, что социальные перевороты составляют и должны составлять неотъемлемое свойство прогресса человечества. В противоположность социализму, принцип "юбилейного года"» не направлен на единственное и окончательное потрясение всех основ, устанавливающее раз и навсегда абсолютное и полное равенство, чтобы устранить потребность в дополнительных переворотах в будущем. [...] Концепция "юбилейного года" не верит в идеальный социальный порядок — столь идеальный, что в нем просто не будет места для новых столкновений, — и не заинтересована в его построении. Наоборот: она видит в социальных столкновениях непрременную и необходимую основу жизни общества, и, в частности, она видит в перевороте неизбежное средство очищения социальной атмосферы — так же, как гроза необходима для очищения воздуха»².

Как видим, социалистическая идея продолжала жить в душе Жаботинского на протяжении всей его жизни. Она вибрировала в зависимости от обстоятельств и реагировала на накап-

¹ Еврейская мысль (Одесса). № 3, 19.10.1906.

² Израиль и мир будущего // Амашкиф (Тель-Авив). 09.03.1940.

ливавшийся в мире опыт, в частности — на уродство советской социалистической действительности, но не только: несовместимость социализма с национализмом занимала Жаботинского, пожалуй, больше, чем красный террор и социально-хозяйственное безумие советского режима. И все же он не мог отказаться от мысли о равноправии, которое, как мы увидим дальше, представлялось Жаботинскому основой сионизма, его сутью, подоплекой и поводом к существованию. Из «пропитанного» социализмом естества и противящейся идее социализма действительности вырос причудливый цветок — «еврейский социализм», хитрым поворотом мысли соединивший теорию конфликтов как движущей силы истории с теорией социальной справедливости и экономический либерализм — с анархизмом.

Таков весь Жаботинский, имеющий свойство оставаться неизменным, постоянно при этом трансформируясь. Неизменна моральная инвектива и неизменно мироощущение, сложившиеся в ранней юности. А вот все остальное подлежит постоянному пересмотру и пригонке к обстоятельствам, к изменяющейся действительности или к изменившейся точке зрения на застывшую действительность.

Жаботинский — социалист? Да, если речь идет об идее социального равенства. Каждый человек рожден свободным и равноправным, более того, он обязан реализовать свое право на свободу и равенство. Эта борьба и есть основа социального порядка, единственный путь к «очищению социальной атмосферы» и построению более справедливого общества. Но если слово «социалист» употребляется для обозначения приоритета класса над нацией или над идеей построения еврейского государства, тогда — нет! В таком случае Жаботинский не социалист, а ревизионист. Еврейский промышленник, готовый вложить капитал в развитие еврейского государства, ему не враг, а друг. И не будет он, Жаботинский, выступать за солидарность еврейского и арабского пролетария, направленную против этого промышленника, потому что здравый смысл подсказывает: такая солидарность идет во вред главной идее. Он против забастовок, разрушающих нарождающуюся экономическую основу национального существования. Вместе с тем, понимая природу человеческих взаимоотношений, ревизионист Жаботинский должен оставить еврейскому пролетарию некую опцию для улучшения условий его жизни и ограничить аппетит еврейского промышленника, который, как и любой

другой промышленник в мире, склонен к эксплуатации своего работника. Написанная незадолго до смерти статья производит впечатление завещания. Жаботинский пишет, что «еврейский социализм» вряд ли имел место в исторической действительности и едва ли возможен в том виде, как он изложен в еврейских священных книгах. Когда еврейское государство будет создано, социальная борьба в нем неизбежна. Но экономическая основа государства будет прочной, и он, Жаботинский, станет печется о социальном равенстве и чистоте социальной атмосферы. Тогда, скорее всего, другом ему станет угнетаемый пролетарий.

Вот и прилепи к Жаботинскому идеологический ярлык! Вот и реши, кто сегодня является его идеологическим преемником!

Был ли Жаботинский радикалом? Да. Но весьма рациональным, считавшим, что уничтожению в этом мире подлежит только то, что не отвечает моральному принципу и является нежизнеспособным.

Был ли он либералом? Разумеется. Сам называл себя феминистом, выступал за все возможные свободы, восхвалял индивидуализм и личную инициативу, был одним из авторов Гельсингфорсской программы — возможно, первого в мире мультикультурального документа. Но при этом требовал от индивида осознанного подчинения высшей национальной необходимости. И не готов был идти в своем либерализме дальше той черты, за которой начинается полный распад моральных устоев общества.

Социалист? Да. Но, как мы видели, особого толка.

Консерватор? Несомненно. Но только в той мере, какая обеспечивает сохранение связи событий и времен.

Революционер? О, да! От природы. Но — считающий революцию не самоцелью, а всего лишь подручным средством для устранения определенного препятствия.

Анархист? Пожалуй, во всяком случае, по складу характера и образу мышления. Можно отметить и симпатии к определенным анархистским позициям, возникшие у Жаботинского в период обучения в Римском университете. Но опьянение анархистской вольницей было ему совершенно чуждо как в итальянский период, так и в годы пребывания в России. А уж во времена создания легиона и воинской службы не было более дисциплинированного солдата, чем Зеэв Жаботинский. Сионистская деятельность и полное подчинение Жаботинско-

го идее еврейской государственности вытравили из его мироощущения последние следы анархизма как идеологии. Однако поведенческий анархизм, выражавшийся в полном пренебрежении к авторитетам, служебным и социальным иерархиям, власть имущим и хлеб дающим, оставался его отличительной чертой до конца жизни.

Из волевого примирения столь разных начал в одной личности можно сделать вывод, что Жаботинскому был свойствен резко выраженный практицизм и прагматизм. Это правда. Он смотрел в корень, рассчитывал каждый шаг, был весьма эффективен во всех своих начинаниях, подходил к вещам трезво и судил взвешенно. Но, вместе с тем, вряд ли можно найти среди политических и общественных деятелей более выраженного романтика, сторонника донкихотства, возведенного в принцип, мечтателя и идеалиста.

Для того чтобы понять, как сложилась столь многогранная, противоречивая и вместе с тем необыкновенно цельная личность, рассмотрим некоторые формирующие периоды биографии Жаботинского. Отметим, что его жизнь была настолько переполнена событиями, что подробное рассмотрение всех периодов жизни и деятельности Владимира Жаботинского выходит за пределы возможностей данного текста. Отошлем читателя к его автобиографическим произведениям — «Слову о полку» и «Повести моих дней». Отметим также, что в основе прозы и поэзии Жаботинского по большей части лежит увиденное и пережитое, а его автобиографическая проза, словами самого Жаботинского, скрывает от читателя больше, чем открывает ему. «Летопись моих дней я развернул здесь только наполовину, показав жизнь писателя и общественного деятеля, но не жизнь частного человека. Две эти сферы жизни разделены во мне очень высокой перегородкой: по мере возможности я всегда избегал их смешения», — предупреждал Жаботинский во вступлении к «Повести моих дней»¹.

На самом деле перегородка была вовсе не столь высокой, а в иных случаях ее не было вовсе. Трудно найти более человеческого общественного деятеля и менее общественного человека, чем Владимир Жаботинский. Он родился в 1880 году в Одессе. Его отец, Иона Жаботинский, которого знали также под именем Евгений, был торговцем зерном, агентом «Русского обще-

¹ Повесть моих дней // Жаботинский Владимир (Зеэв). О железной стене. МЕТ. Минск, 2004. Стр. 454. Далее — ПМД.

ства пароходства и торговли» (РОПиТ). В Одессе того времени эта профессия считалась очень уважаемой. Малороссия была житницей России, через Одессу шел экспорт зерна за границу, одесская хлебная биржа диктовала цены и снимала сливки, а РОПиТ фактически управлял этой биржей. К сожалению, в «Повести моих дней» об отце написано немного. Зато сказано: «Стоило бы написать пространный роман (но такая опасность не грозит, ибо не найду я для этого досуга) о поездках отца на пароходах РОПиТ'а по Днепру, от Херсона до уступов, перегораживающих русло реки, [...] в сопровождении многочисленной свиты помощников, специалистов по определению качества зерна, учетчиков и просто людей без пользы и без профессии...»¹

Досуг все же нашелся. В романе «Пятеро» Иону помнят старшие Мильгромы и их друзья-хлеботорговцы Абрам Моисеевич и Борис Маврикиевич. «Едет себе вверх на колесном пароходике от Херсона такой еврей Ионя, главный скупщик РОПиТ'а; борода черная, очки золотые, живот как полагается. Едет, как цадик у хусидов, пятьдесят человек свиты: бухгалтеры, лапетуты, пробирщики и так себе дармоеды. Всю дорогу дают чай, а то можно и по стаканчику водки с пряником; и до трех часов ночи играют в шестьдесят шесть — что вы думаете, по пятьсот карбованцев проигрывали; я сам знал идиотов, что даже платить платили!»²

Однако образ разгульного купчины — только одна сторона медали. Есть и другая.

«Но когда те три "хлебника", уставши от вечной игры в очко и шестьдесят шесть, клали локти на стол и начинали пересуживать свои биржевые дела, я невольно заслушивался, и мне на час открывался весь божий мир и чем он живет. [...] Жизнь сорока миллионов зависит от того, какие будут в этом сезоне отмечены в бюллетене одесского гофмаклера ставки на ульку или сандомирку. Но и эти ставки зависят от того, оправдаются ли тревожные слухи, будто султан хочет опять закрыть Дарданеллы; а слухи пошли из-за каких-то событий в Индии или в Персии, и как-то связаны с этим и Франц-Иосиф, и императрица Мария Федоровна, и французский премьер Комб, и еще,

¹ ПМД, стр. 458.

² Пятеро // Жаботинский Владимир (Зеев). Соч. в 9 тт.; т. I, стр. 399. МЕТ. Минск, 2007. Лапетуты — здесь: прихлебатели, бездельники.

и еще. Обо всем этом они говорили не вчуже, не просто как читатели газет, а запальчиво, как о деталях собственного кровного предприятия»¹.

Такое углубление перспективы позволяет лучше понять, почему образованная и воспитанная на европейский манер Ева Зак, влюбленная в немецкую романтическую поэзию, вышла замуж за «черную бороду и золотые очки», а в минуту горя без сожалений рассталась со всем семейным имуществом, пытаясь спасти этого якобы Менделя Крика. Впрочем, одна фраза из воспоминаний Владимира Жаботинского ясно дает понять — Иона Жаботинский существенно отличался мировоззрением и характером от бабелевского персонажа. В ответ на предупреждение о том, что работники его обирают, Иона ответил: «У них есть меньше, чем у меня. Возможно, они имеют на это право».

Мать Володи, Ева Марковна, в девичестве Хава Зак, была младшей дочерью зажиточного торговца из Бердичева. Младшей — из двенадцати детей. При этом ее отец, будучи сугубо религиозным хасидом, дал младшей дочери хорошее европейское образование. Мы не знаем, говорит ли это об особых способностях дочери или о широте натуры ее отца.

Хава-Ева училась в немецкой школе, хорошо знала европейскую литературу, и во всем, что касалось хороших манер, получила европейское воспитание. Говорила в основном на идише, но ее любимым поэтом был Шиллер. Русский язык до конца жизни знала не слишком твердо. Была умеренно набожна, соблюдала кашрут² и субботу, но детей обучила всего двум молитвам. Сам Жаботинский признает, что до кишиневского погрома иудаизмом интересовался мало, а с явлением еврейского местечка, штетла, познакомился впервые по пути в Берн, то есть на восемнадцатом году жизни.

К сожалению, он не оставил нам подробного описания атмосферы отчего, вернее, материнского дома. Однако есть место предположению, что Анна Михайловна Мильгром из повести «Пятеро» во многом напоминает Еву Марковну Жаботинскую. Какими же качествами наделяет Анну Мильгром писатель Жаботинский? Во-первых, терпимостью и широтой

¹ Там же, стр. 315.

² Кашрут (ивр.) — кашерность, т. е. ритуальная пригодность еды, одежды или предметов культа.

интересов. Во-вторых, интуицией и мудростью. Воспоминания современников и переписка Жаботинского с матерью подтверждают, что Ева Марковна во многом соответствовала этому образу или, что еще более вероятно, была его прототипом.

Известно, что, оставшись без кормильца, Ева Марковна решила поговорить с богатым родственником о будущем детей. Родственник посоветовал учить дочь на швейку, а сына — столярному ремеслу. «Вот и покажи пример, применив эти принципы к собственным детям, — отрубила Хава-Ева, — а я воспитаю своих детей так, как считаю нужным».

К тому времени воспитание детей в нужном направлении уже шло полным ходом. Володе было около восьми лет, когда он порывался вернуть пощечину соседу-офицеру. Еле его оттащили. Офицер был русский и, судя по всему, не слишком считался с чувством собственного достоинства еврейского мальчишки. А то, что этот мальчишка ощущал себя не жиденком, а царевичем, офицеру было не то чтобы невдомек. Дико ему было даже подумать о таком афронте. Как и о том, что дети бедной вдовы-еврейки, перебивающейся торговлей мелким канцелярским товаром, воспитываются в духе аристократизма и рыцарства. Этот дух сопутствовал Жаботинскому во все периоды его жизни. Он был требователен в этом плане и к себе и к другим.

«Адар» — ивритское понятие, почти неподдающееся переводу на другие языки. Оно включает с десяток разных понятий: внешнюю красоту, гордость, вежливость, преданность. Но точный перевод этого понятия должен выражаться в действиях члена Бейтара в повседневной жизни — в его поступках, речах, мыслях. [...] Если в слове «аристократ» есть какой-то смысл, то он следующий: наши отцы и праотцы в течение поколений принадлежали к культурному слою, были людьми высоких идей и были способны подчинить этим идеям всю свою жизнь. А если это так, то мы, евреи, самый аристократичный народ во всем мире»¹.

Таковы наставления лидера движения молодым коллегам. И в них явно слышится голос Евы Марковны, мягко внушающей расшалившемуся Володе этическое кредо. Впрочем, агрессивный реагирующий на любое унижение мальчик, тем не менее, горячо отзывался и на каждое проявление дружелю-

¹ Идея Бейтара // Жаботинский Владимир (Зеев). О железной стене. МЕТ. Минск, 2004. Стр. 248.

бия. «Нежностью и тактом от Володи можно добиться чего угодно», — как-то сказала Ева Марковна дочери. И буквально купала Володю в нежности и заботе. Сын отвечал ей горячей привязанностью. Переписка Жаботинского с матерью заняла бы, пожалуй, целый том: он регулярно писал ей подробные письма, отчитывался в проделанном, делился планами и сомнениями. Узнав во время очередной сионистской «командировки» о смерти Евы Марковны, Жаботинский, воспитавший в себе сдержанность английского джентльмена и в принципе не склонный к драматическим жестам, ворвался в местную синагогу, велел зажечь все имеющиеся в наличии свечи и сотворил поминальную молитву, кадиш.

Отношение к матери переросло в отношении к женщине вообще: «Уважение к женщине — вот что отличает цивилизацию от дикости. Не может быть прогресса в обществе, позволяющем темным силам унижать женщину. Почтительное отношение к ней было одним из могучих факторов расцвета европейской цивилизации. В прежние времена такое отношение находило выражение в "рыцарстве", в наше время — в равноправии. Наш народ внес огромный вклад в формирование европейской культуры, и мы не позволим отнять у нас это наследие, нашу национальную гордость»¹.

В воспоминаниях Жаботинского его детство не было особо омрачено материальными заботами. То, что считалось важным, у детей было, а то, чего не было, не имело значения. Аристократы духа и крови не склонны обращать внимание на подобные мелочи.

Каноническая биография великого человека требует перечисления многих и ранних свершений, но нам похвастать нечем. Отчет самого Жаботинского о детских и юношеских годах предельно честен: «Четыре раза держал я экзамен для поступления в гимназию, в реальное училище, в коммерческое училище — и проваливался. [...] Отпетым и закоренелым лентяем был я все годы своей учебы, ненавидимым большинством учителей...»²

И, Бог весть, чем бы все это кончилось, если бы ум и сердце молодого человека не захватила идея, подчинившая себе всю дальнейшую его жизнь. Однако, по признанию самого

¹ Жаботинский В. Собрание Израиля // Доар хайом (Иерусалим). 18.02.1929

² ПМД, стр. 463.

Жаботинского, идея эта захватила его только где-то на двадцатом году жизни, хотя и жила в нем с младенчества.

«"Убеждений" у меня в эти дни и позднее, возможно, до двадцатилетнего возраста и далее, не было ни в том, что касается еврейства, ни по какому-нибудь социальному или политическому вопросу», — сообщает он в «Повести моих дней». И тут же: «Я ошибся: одно "убеждение" выработалось у меня еще с детства, и по сей день оно определяет все мои отношения к обществу. Правда, некоторые люди утверждают, что это не "убеждение", а мания. Поистине я помешался на идее "равенства". [...] Этой мании я остался верен по сей день...»¹

Интересная подробность: еврейство и «мания равенства» были в одном ряду. Отметим этот факт, поскольку он объясняет многие, казалось бы, непонятные шаги Жаботинского и его разногласия с сионистским руководством. В решении голосовать ли за или против «Уганды»², принимать ли предложение англичан создать вместо еврейского легиона корпус погонщиков мулов, протестовать ли против мандатных властей, нарушавших принципы декларации Бальфура, как и в многочисленных выступлениях Жаботинского по поводу других крупных и мелких проблем постоянно присутствует понятие равенства. Евреи равны другим народам, у них есть право на родину, на самозащиту, на равное со всеми участие в военных действиях. Евреи не просители милости, а равные среди равных. Это и есть сионизм Жаботинского. Для этого он строит еврейское государство, для этого мотается по разным странам, агитируя, убеждая, требуя, настаивая, но никогда не умолая. Его позиция неизменна: Дайте нам то, что положено, и ни на йоту меньше! Мы требуем то, что другие народы считают своим естественным правом, и ни на йоту больше!

А поскольку почти весь сионизм умещается для Жаботинского в идее равенства, то любой, пусть даже тактический, отказ от равенства уводит от сионизма, вернее, от той единственной интерпретации этого термина, которую принимает Жаботинский. Поэтому он не примет тактики «сдержанности», предложенной Хаимом Вейцманом. Сдержанность заключалась в том, чтобы не сердить англичан, мириться с антисемитскими настроениями штабистов генерала Алленби, соглашаться

¹ ПМД, стр. 462.

² Проект еврейского заселения Уганды, предложенный министерством колоний Великобритании.

ся на бесконечные уступки арабам, получая за это определенные послабления для еврейского населения Палестины. Это — практический сионизм, и он Жаботинскому не подходит. Хайм Вейцман — единственный доброжелатель Жаботинского в сионистском руководстве, был скрытым сторонником идеи легиона и оказывал Жаботинскому посильную помощь в его создании. И все же разрыв неизбежен. Выпрошенные у англичан податки коррумпируют в глазах Жаботинского сионистскую идею. Нарушается принцип равенства, а без настоящего требования полного равноправия евреев сионизм становится пустым звуком.

Но вернемся к юному Жаботинскому, страдающему «манией равенства». Чем же занят он, помимо собственной персоны и взаимоотношений с окружающим миром? Судя по автобиографии, Володя болтается в одесском порту и прочих сомнительных, если не запретных для мальчика из хорошего дома местах и не блещет школьными успехами. А в то же время, походя, овладевает ивритом, польским, французским, английским. Находит в книжном шкафу всего Шекспира в русском переводе, Пушкина, Лермонтова («этих трех авторов я знал от доски до доски еще до того, как мне исполнилось четырнадцать...»¹); зачитывается сначала приключенческой, а затем и серьезной литературой, причем наиболее сильное впечатление производит на него «Обрыв» Гончарова («этот роман обозначил духовную границу между моим детством и юностью...»²). В десятилетнем возрасте начинает сочинять стихи, которые публикует школьная рукописная газета, а в шестом классе гимназии становится одним из редакторов «тайной» газеты, печатавшейся на гектографе. Переводит «Песнь песней» и «В пучине морской» И.Л. Гордона, а также «Ворона» Эдгара По (перевод этот до сих пор считается непревзойденным), пишет роман, ни содержание, ни название которого нам не известны.

В августе 1897 года ежедневная одесская газета впервые напечатала статью Жаботинского, и юноша спросил у редактора популярного «Одесского листка», станет ли тот публиковать его корреспонденции из-за границы? Редактор согласился при условии, что молодой человек не будет писать глупостей и поедет в Берн или Рим, единственные европейские столицы,

¹ ПМД, стр. 465.

² Там же.

где у газеты нет другого корреспондента. По настойчивой просьбе Евы Марковны Володя выбрал Берн: там хотя бы есть знакомые.

Но для выполнения своего плана, Жаботинский должен был оставить гимназию. «Молодой читатель не поймет, что значила "гимназия" в глазах еврейского общества сорок лет тому назад: аттестат зрелости — университет — право жительства вне «черты», — короче говоря, человеческая, а не собачья жизнь. А я уже ученик седьмого класса, еще полтора года, и я смогу надеть синюю фуражку и черную тужурку студента. Что за безумие пожертвовать такими возможностями и разрушить их, прежде всего, Бога ради, почему?»¹

Ответ Жаботинского на этот вопрос огорчительно прост и, вместе с тем, невероятно сложен: «потому». Ситуация «почему? — потому!» обсуждается в его письмах, прозе, статьях и в автобиографии. Жаботинский — и юный, и вполне зрелый, даже пожилой — часто совершал необъяснимые с точки зрения окружающих его людей поступки, пренебрегая при этом сиюминутной выгодой. В конечном счете, эти капризные «потому» приводили его к цели более коротким или более эффективным путем. Но они же создавали Жаботинскому репутацию волонтериста, авантюриста, анархиста, беспредельного индивидуалиста, человека, создающего проблемы для себя и окружающих, тяжелого, почти невозможного для сотрудничества. Он страдал от непонимания окружающих, пытался объяснить свои мотивы, со временем приучил себя к мысли, что одиночество и изгойство являются его долей. И искал, мучительно искал объяснения власти над ним этого «потому», которое имеет большую силу, чем тысяча аргументов.

«Де Монзи, известный французский политик и друг сионизма, однажды сказал мне: "Я понимаю в сионизме все, кроме постановки вопроса о языке". И он привел мне с большой аналитической силой и превосходной логикой множество убедительных аргументов против древнееврейского языка. [...] Я искал удовлетворительный ответ, не нашел и ответил: "И все-таки древнееврейский язык. Почему? Потому!" Де Монзи вздел руки горе и сказал: "Теперь я понял. Вы правы. Страсть, не поддающаяся объяснению, выше всяких объяснений"»². Этими словами де Монзи Жаботинский оправдывает уход из гим-

¹ ПМД, стр. 468.

² Там же.

назии. Честно говоря, объяснение кажется неубедительным. К тому времени Володя Жаботинский уже не был легкомысленным мальчишкой, умел подчинять себя велению обстоятельств и в силу чисто рассудочных соображений делать то, чего делать не хочется. Поэтому «страсть, не поддающаяся объяснению» как оправдание необъяснимого «потому», вряд ли исчерпывает природу этого явления.

Возьмем другое: «Воле своей воздвигни алтарь, воля — твой единственный водитель, куда она поведет тебя — туда иди, куда бы ни вел твой путь, на небеса или в преисподнюю, и чем бы ни оказался: подвигом или грехом, празднеством или мытарством, или даже бременем служения народу: ибо и это бремя возложил ты на себя не как покорный раб, по приказу, а как свободный человек и как властитель, осуществляющий свою волю»¹.

Этот гимн свободе и воле Жаботинский пронесет через всю жизнь, не видя противоречия между таким взглядом на вещи и содержанием своей национальной пропаганды. «Я верю всем своим существом, что в состязании между понятиями нация стоит впереди человечества, так же как индивидуум стоит перед нацией. И если подчинит некий индивидуум всю свою жизнь служению нации, то и это не противоречие в моих глазах: такова его воля, а не долг»² (разрядка В. Жаботинского — А. И.). Не волюнтаристское «потому!», а воля свободного человека, подчинившего себя служению нации, слабости которой он хорошо знал и пытался преодолеть, нации, которую взялся перевоспитать и немало сделал для этого, настойчиво и упорно ставя эту нацию под единый стяг и вкладывая ей в руки ружье. Есть тут нечто от миссии пророка и стратега. С этим, очевидно, надо родиться. И тогда можно в семнадцать лет сказать: бросаю школу и обеспеченное будущее, еду в Берн. Почему? Потому!..

Пребывание Жаботинского в Берне не было отмечено особыми приключениями. Русско-еврейская колония жила обособленной жизнью, фракция Ленина спорила с фракцией Плеханова, эсеры — с эсдеками, и кто-то непременно требовал, чтобы речи проносились и на идише. Однако именно в Берне и именно перед такими вот слушателями Жаботинский выступил со своей первой сионистской речью.

¹ ПМД, стр. 482—483, а также драма «Ладно» (1901).

² ПМД, стр. 482.

«Я говорил по-русски примерно так: не знаю, социалист ли я, ибо я еще не познакомился как следует с этим учением, но то, что я сионист — несомненно. Ибо еврейский народ очень скверный народ, соседи ненавидят его — и поделом, изгнание его ожидает, Варфоломеевская ночь, и его единственное спасение в безостановочном переселении в Палестину. Председатель собрания [...] перевел мою речь на немецкий язык с энергической лаконичностью: “Оратор не социалист, потому что он не знает, что такое социализм, но он законченный антисемит и советует нам укрыться в Палестину, иначе всех нас вырежут»¹.

Современный читатель, воспринимающий эти слова Жаботинского как своевременное и точное предупреждение о грядущих исторических событиях, не должен забывать, что действие происходит в просвещенной Европе конца XIX века. Национальные проблемы находятся в центре внимания малых народов, тогда как «большие европейцы» стремятся к культурному единению. Элита этих стран уже едина. Осталось всемирно принять интернациональную веру в свободу, равенство и братство, пестовать либеральную экономику и развивать науку, которая всех накормит, вылечит и обогреет.

Евреи Европы воспринимают вспышки антисемитизма как рецидивы заболевания, лекарство от которого уже найдено, и, несмотря на недавно прогремевшее по миру дело Дрейфуса, уверены в счастливом будущем. Россия стонет под царским гнетом, но если убрать этот гнет, то и она присоединится к братскому содружеству просвещенных наций, что позволит евреям слиться с неевреями в общем созидательном экстазе.

Мы говорим о времени, когда Теодор Герцль не может подвигнуть европейских евреев на сионистские свершения. Его основные соратники — восточные, российские и польские, евреи, продолжающие переживать погромы и подвергаться кровавым наветам. Но и они постепенно отходят от идеи сионизма, присоединяются к революционным и социалистическим партиям, надеясь с их помощью обрести столь желанное гражданское равноправие.

И вдруг на этом фоне, в добропорядочном собрании разумных людей встает мальчишка и говорит о грядущей катастрофе и необходимости срочной эвакуации евреев в Палестину! Эта «эвакуация» не пройдет Жаботинскому даром и в конце

¹ ПМД, стр. 471.

30-х годов XX века, когда все признаки грядущей катастрофы будут уже налицо. Но в 1898-м?! Абсурд, иного слова тут не подберешь.

Этим инцидентом, собственно, исчерпываются впечатления Жаботинского о пребывании в Берне. Правда, там он, несмотря на отсутствие аттестата об окончании гимназии, без особого труда поступил на юридическое отделение университета, где профессор Рейхесберг внятно и последовательно излагал на лекциях теорию Карла Маркса. Поэтому трудно поверить, что юный оратор не был социалистом, поскольку не знал, что это такое. Однако, судя по воспоминаниям ярых социалистов, сестер Поляковых, приглядывавших за Володей в Берне по просьбе Евы Марковны, их подопечный также «упаси Бог, не был сионистом».

Такая путаница в оценке личности Жаботинского, его страстей и мотивов поведения будет сопровождать его всю жизнь. Несмотря на дружелюбие и легкость в завязывании знакомств, открытость и даже откровенность журналистики и прозы, Владимир Жаботинский был невероятно скрытным человеком. Он не был двуличен, не запутывал намеренно следы и не отличался любовью к мистификации, но был исключительно осторожен в выборе тем для откровенных признаний. Его автобиографические произведения зияют умолчаниями. События в них не следуют друг за дружкой, они весьма искусно нанизаны на тематический стержень, тем самым не позволяя умолчаниям нарушить плотную канву повествования. И все же, если заняться восполнением намеренно оставленных Жаботинским в его летописи пробелов, как пытается делать это его скрупулезный биограф Иосеф Бер Шехтман в своей книге «Мятежник и государственный деятель», расхождения биографии с автобиографией поражают. И опять же, то, что сказано Жаботинским, остается точным отражением происходивших в действительности событий. Но то, что было Жаботинским опущено, зачастую проливает на те же события совершенно неожиданный свет.

К списку достоинств Владимира Жаботинского следует добавить недоюжинный талант, как мы бы сказали сегодня, политтехнолога и пиарщика. А этот талант, как мы знаем, включает в себя умение пользоваться недомолвками и манипулировать текстом сообщения, оставаясь при этом неизменно достоверным относительно сказанного. Добавим к этому эффект отдаления даже самых близких сподвижников от всего,

что касалось частной жизни Жаботинского. Современники неизменно отмечают в своих воспоминаниях невидимую завесу, которой Жаботинский отгораживал от них все то, что считал личным и не подлежащим разглашению. Достигалось это при помощи строгого этикета в обращении, а также юмора, нередко язвительного и саркастического.

Возвращаясь к периоду пребывания Жаботинского в Берне, отметим, что сложно решить, был ли Жаботинский в то время социалистом. Приведенное выше признание: «я настолько пропитан этой концепцией [социализма], что органически не способен думать об этой проблеме иначе»¹, относится к 1906 году, до которого еще много воды утечет. Но Жаботинский вращался в «прогрессистской» среде, посещал собрания, где только и речи было, что о Марксе и социальной справедливости, присутствовал, как мы уже отметили, на лекциях профессора Рейхесберга и, несмотря на собственное утверждение, судя по всему, имел достаточное представление о том, что такое социализм. Но впереди был Римский университет, где эта проблема обсуждалась без конца и более глубоко, чем в Берне. Так что впоследствии Жаботинский, не покривив душой, мог утверждать, что его предыдущее знание этой материи было недостаточным.

То же можно отнести и к проблеме сионизма. Утверждение сестер Поляковых о том, что Володя во время своего пребывания в Берне не был сионистом, можно оспорить. Зная, что сестры-«прогрессистки» относятся к идее сионизма отрицательно, он, скорее всего, с ними об этом предмете не беседовал. Но у нас есть свидетельство самого Жаботинского о том, что он с детства знал: у евреев должно быть и будет свое государство, куда он, Володя, переедет жить. «Это было не “убеждение”, а такая же естественная вещь, как, например, помыть руки утром и съесть тарелку супа в обед»². Поэтому попытка Жаботинского представить первую свою «сионистскую речь», произнесенную в Берне, как некое наитие выглядит, по меньшей мере, малоубедительной. Уж слишком твердо вчерашний гимназист артикулировал те принципы, от которых не отступит и будущий вождь ревизионистов. Разумеется, по сравнению с более поздней вовлеченностью в сионизм и более поздним подробным знанием истоков и проблем этого движения, сионистское «образование» юного Жаботинского должно было казаться недо-

¹ См. сноску ¹ к стр. 14.

² ПМД, стр. 462.

статочным для зрелого автора «Повести моих дней». Но сионистом ко времени произнесения знаменитой речи Жаботинский уже, несомненно, был.

«Первая сионистская речь» требует дополнительного объяснения и в ином аспекте: когда, как и почему на глубоко ассимилированного юношу снизошло пророческое прозрение относительно грядущей Варфоломеевской ночи для евреев? Скорее всего, это произошло во время долгого пути в Берн через Галицию и Венгрию. Там одесскому баловню открылись нищета и позор еврейского гетто, там он, еврейский мальчик, не испытавший грубых проявлений государственного и бытового антисемитизма, увидел воочию свой народ и смог оценить его истинное состояние и положение.

За скучными месяцами пребывания в Берне следуют три года, проведенные в Италии, которые Жаботинский назовет лучшими годами своей жизни. Об этих годах он будет писать неустанно — в прозе и статьях. Мы уже отметили выше, что Жаботинский-писатель почти неизменно основывал свое творчество на фактах, событиях и приключениях собственной биографии. Итальянский период породил рассказы («Диана», «Виа Монтебелло, 48», «Бичетта», «Студенческая трагедия» и др.), а также фельетоны и репортажи. Если судить по ним, то за время пребывания в Италии молодой Жаботинский не предпринял ни малейшего интеллектуального усилия, не прочитал ни единой книги, вообще не задумывался ни о чем серьезном, а только наслаждался жизнью. В этом можно усомниться.

Ощущение свободы и легкости бытия, наверное, было подлинным. В Римском университете не сохранились свидетельства о сдаче студентом Жаботинским хотя бы одного экзамена. Уехал он из Рима через три года без диплома. Университетский курс составил себе сам из тех дисциплин, которые его интересовали: социология, история, право, языковедение. Профессоров он тоже выбирал сам. Это ли не признак бездумной вольницы и сибаритского бытия? Однако список прослушанных юным Жаботинским университетских курсов впечатляет и заставляет задать вопрос: когда же он находил время для столь красочно описанной «красивой жизни»? А свидетельство того, что упомянутые курсы были им не только прослушаны, но и должным образом усвоены, мы находим в той же автобиографической повести и во многих статьях, посвященных проблемам социологии, истории, права и языковедения.

Римский период считается формирующим для мировоззрения Жаботинского. Но, как мы видели, в восемнадцать лет его личность уже вполне сформировалась. Этот период следует назвать скорее организующим. Римский университет слыл в то время собранием больших талантов. «В университете моими учителями были Антонио Лабриола и Энрико Ферри, — вспоминал впоследствии Жаботинский, — и веру в справедливость социалистического строя, которую они вселили в мое сердце, я сохранил как "нечто само собой разумеющееся", пока она не разрушилась до основания при взгляде на красный эксперимент в России»¹. Философ и социолог Лабриола, которого Жаботинский называет «главным глашатаем марксистской доктрины в Италии», был непревзойденным оратором и педагогом. Его лекции выходили далеко за пределы преподаваемого предмета, давая студентам неординарные представления о литературе, искусстве и этике. Сам Жаботинский считал еще более значительным влияние профессора уголовного права Ферри, лекции которого включали энциклопедический свод знаний по социологии, психологии, генетике, литературе, изобразительному искусству, музыке. Депутат парламента от социалистической партии, он был одним из десяти лучших ораторов Европы. Не меньшее впечатление производила на студентов и сама личность Ферри, человека общественно активного и непримиримого. «Если русский царь осмелится появиться в парламенте, мы его освищем!» — обещал Ферри в 1903 году. Его угроза была принята всерьез. Визит Николая II отменили. Жаботинский любил рассказывать эту историю. Воля индивидуума, превращенная в политическую силу, ему импонировала. Позор российского самодержца — тоже.

Кроме Лабриолы и Ферри, непосредственными учителями Жаботинского были Маттео Панталеони, чья книга «Принципы чистой экономики» считается поворотной вехой в истории экономики, и Бенедетто Кроче, который, по словам Жаботинского, научил его различать вибрации эстетической нервной системы, расположенной под часами, управляющими колесами истории.

Таким образом, трудно поверить, что в Риме жизнь Жаботинского проходила в отрыве от всякого интеллектуального усилия. Дело очевидно, в том, что Италия была созвучна его душе. Там ему жилось легко и радостно, а в этом состоянии любое усилие легко превращается в удовольствие.

¹ ПМД, стр. 471.

«Если есть у меня духовное отечество, — вырвется у Жаботинского позднее, — то это Италия, а не Россия. [...] Все свои позиции по вопросам нации, государства и общества я выработал под итальянским влиянием. [...] Легенда о Гарибальди, сочинения Мадзини, поэзия Леопарди и Джустини обогатили и углубили мой практический сионизм и из инстинктивного чувства превратили его в мировоззрение»¹.

Учитывая, что Жаботинский сам составлял себе учебную программу, выбирая по собственному вкусу не только предметы, но и преподавателей, нелегко решить, что есть в данном случае яйцо, и что — курица. Как мы уже отметили, «первая сионистская речь», произнесенная Жаботинским в Берне, вряд ли может считаться проявлением «инстинктивного чувства», в ней, несомненно, просматривается уже сформировавшееся мировоззрение. Поэтому не будет слишком смелым предположить, что в Риме юноша Жаботинский сознательно искал подтверждение своим мыслям и нашел его, и это, несомненно, способствовало ощущению радости и полноты бытия, столь явственно различимых во всех его воспоминаниях о жизни в Италии.

Но у Италии того времени была и особая притягательная сила. Италия как нация только-только вышла из периода исторической спячки, бурлила и задавала тон Европе. Оттуда шли революционные культурные влияния, там формировался футуризм и оформлялся анархизм. А крайний либерализм, царивший тогда в итальянских интеллектуальных кругах, оказался плодородной почвой для развития фашизма, впрочем, поначалу достаточно либерального, на латинский, а не тевтонский манер.

После России, с ее непрерывным полицейским надзором за словом, мыслью и делом каждого гражданина, Рим должен был казаться одесскому юноше интеллектуальным раем. И Жаботинский любил в этом городе все. Он, не выносивший толпу, с удовольствием вспоминал, как легко ему было вышагивать в толпе итальянцев. Освоение итальянского языка, включая различные диалекты, заняло немного времени, и Жаботинский немедленно погрузился в гущу жизни римлян, с ними вместе ел, пил и веселился. Свел бесчисленные знакомства, стал своим человеком в литературных и артистических кругах, а также в студенческих тратториях и рабочих харчевнях. Знал

¹ Там же.

все сплетни большого города и все его закоулки, бродил по Италии пешком, изъездил ее вдоль и поперек и слал веселые яркие репортажи и фельетоны в «Одесский листок», оправдывая зарплату. А когда цензор решал «зарезать» материал, Жаботинский писал рассказ и посылал его вместо фельетона.

Язык его корреспонденций стал более звучным и легким, стиль — более отточенным. Одесса с удовольствием читала итальянские репортажи еще совсем недавно неизвестного журналиста. Солидная газета «Одесские новости», всего год назад отвергнувшая предложение Жаботинского о сотрудничестве, раскрыла ему свои объятия. Предложил свои страницы и петербургский «Северный курьер».

Весной 1899 года Жаботинский приезжает в Одессу сдавать экзамены на аттестат зрелости и проваливается на экзамене по древнегреческому. Летом 1901 года он снова едет на побывку домой и обнаруживает, что стал знаменит. «Одесские новости» предлагают ему 120 рублей ежемесячно за еженедельный фельетон. И Жаботинский остается в Одессе, так и не защитив диплом Римского университета. Почему? Потому. А у каждого «потому», как мы заметили, имеется вполне рациональное объяснение.

120 рублей по тем временам были приличным жалованьем, но нигде в своих воспоминаниях Жаботинский не говорит, что оно было обусловлено постоянным пребыванием автора в Одессе. Зато отмечает другое: «Я застал другую Россию. Вместо «уныния и тоски» — нервическое беспокойство, всеобщее ожидание чего-то, весеннее возбуждение. [...] В правительственных кругах уже замечались признаки смятения. Ослабла узда: вопреки предварительной цензуре... в каждой газете появлялись крамольные статьи; опасные слова «конституция» и «социализм» произносились вслух на публичных лекциях»¹.

Итак, в России запахло свободой, но и это еще не объясняет внезапный отъезд Жаботинского из столь любимой Италии, где этой свободы было сколько угодно. Чего же нет в безоблачной Италии из того, что есть в ставшей достаточно солнечной Одессе? «Не было тогда в Италии не только антисемитизма, но и вообще не было никакого выработанного отношения к евреям. [...] Возможно, уже тогда дал я обет в душе, что после лет учения отдамся сионистской работе»². Скла-

¹ ПМД, стр. 478.

² Там же, стр. 474—475.

дываем: либеральная Италия не представляла возможности для выполнения обета «отдаться сионистской работе», тогда как Одесса была для этого вполне приспособлена.

Но дальше в воспоминаниях Жаботинского следует рассказ не о сионистских деяниях, а о семинедельной отсидке в камере-одиночке. Повод для ареста совершенно ничтожный — найденная при обыске брошюра министра Витте, изданная в Женеве, и статьи Жаботинского на итальянском языке, печатавшиеся в газете «Аванти». А что же вообще заставило охранку нагряться с обыском? Опасные связи, неосторожные разговоры, еще что-либо? Жаботинский не открывает нам истинной подоплеки дела. Вместо этого он слагает восторженный гимн тюрьме и ее обитателям, политическим заключенным, присвоившим заключенному из 52-й камеры кличку «Лавров». Почему имя одного из основоположников русского социалистического движения было присвоено в качестве клички именно Жаботинскому и означает ли это, что он подозревался в революционной деятельности? Вряд ли, хотя и не исключается.

Отметим, что две пьесы, написанные в этот период («Кровь» и «Ладно»), как и поэма «Бедная Шарлота» призывают к свободе личности и либеральной этике. Сионизмом в них и не пахнет. По свидетельствам одесских сионистов, до 1903 года (тюремный эпизод относится к 1902-му) Жаботинский в сионистской деятельности не участвовал. Правда, национальные настроения знаменитого Альталены не были ни для кого секретом, но сионисты ему не доверяли. А Жаботинский, он же Альталена, якобы знать не знал, что в Одессе водятся сионисты. Такова версия биографов Жаботинского. Сам он говорит об этом периоде своей жизни скупой и туманно. Но то было время вхождения Жаботинского в сионистскую среду, и этот процесс, протекающий он гладко, должен был получить более широкое освещение как в мемуарах Жаботинского, так и в работах его биографов.

Есть свидетельство И. Шехтмана, что где-то между концом 1902 года и Пасхой 1903-го Жаботинский по просьбе одесского сиониста Зальцмана уговаривал дирекцию оперного театра включить в репертуар произведения с еврейской тематикой. О чем Зальцман и известил «сионистское руководство». Фамилии не названы, поэтому сложно сказать, кого именно Зальцман считал «руководством». Известно, однако, что отчет Зальц-

мана содержал приписку: «У него есть собственная сионистская концепция, романтическая и активистская, отличная от нашего сионизма».

Возможно, эта приписка и приоткрывает суть дела. Сионистская концепция, «отличная от нашего сионизма», вряд ли могла вызвать энтузиазм уже сложившейся сионистской группировки. К тому же не верится, что Альталена, который знал в Одессе всех и вся и влиял даже на репертуарные планы оперного театра, не имел понятия, кто есть кто среди сионистов и как найти к ним дорогу. Скорее можно предположить, что «наш сионизм» так же не подходил Альталене, как и Альталена ему. Беспокойная натура Жаботинского требовала активных действий, а мир одесских сионистов того времени был сонным царством. Скорее всего, Жаботинский не видел большого резона вступать в их ряды.

Все изменилось весной 1903 года, когда по городу поползли слухи о готовящемся погроме. Альталена разослал десяти «отцам» еврейской общины письма с предложением наладить самооборону. Потом он скажет, что идею самообороны тоже заимствовал у итальянцев, и, в смысле некой организованной доктрины это, очевидно, так и было. Но не стоит забывать и о пощечине, которую восьмилетний Володя пытался вернуть соседу-офицеру. Для Жаботинского погром был национальным и личным позором, а самооборона — естественной реакцией.

«Отцы» не ответили Альталене, однако ознакомили с содержанием писем членов уже сложившейся группы самообороны. Был установлен контакт, и ближайшей ночью Володя с двумя товарищами, Поляковым и Гинзбургом, пришел в комнату, где молодые люди печатали на гектографе листовки, призывавшие одесских евреев к самообороне.

Назавтра Жаботинский явился к будущему мэру Тель-Авива, Меиру Дизенгофу, тогда — влиятельному лидеру одесских сионистов, имя и адрес которого не были для Альталены загадкой. И принял его Дизенгоф по первой просьбе, так что эпизод с «сионистским руководством» следует отнести к разряду анекдотических. В тот же вечер дуэт Жаботинский — Дизенгоф собрал первые 500 рублей для организации самообороны. Еще несколько недель Жаботинский носился по городу, не различая времени суток. Брал у богатых деньги, объяснял бедным, что они должны делать, перетягивал на свою сторону интеллигенцию, не сочувствовавшую идее самообороны.

В тот год погрома в Одессе не случилось. Но он случился в Кишиневе. Точно так же в 1920 году не произошел погром в организованном Жаботинским для самообороны Иерусалиме, зато он произошел в Яффе. Жаботинский видит в этих двух случаях закономерность и выводит из них теорию «железной стены». На сильного не замахиваются. Поэтому надо заранее организовать и показать силу. Выстроить «железную стену», чтобы у потенциального агрессора не возникало и мысли о возможной агрессии!

За бурными днями организации самообороны следует не менее деятельный творческий период: Жаботинский переводит на русский язык поэму Хаима-Нахмана Бялика «Бэир ахарега» («В городе резни»), написанную под впечатлением кишиневского погрома. Вернее, не переводит, а создает свой вариант под названием «Сказание о погроме». Русское издание увидит свет в 1905 году, но «Сказание» еще раньше разоидется в тысячах гектографических оттисков. «Счастлив будет еврей, которому достался оттиск, еще большее удовольствие получит тот, кто услышит эту поэму из уст самого Жаботинского на одном из наших тайных собраний», — писал в своих воспоминаниях о Жаботинском Л. Шерман.

Период, следовавший за организацией самообороны, был, пожалуй, последним переходным этапом, временем последних колебаний, сомнений и поиска пути. «Я не помню, какие планы были у меня в конце 1903 года. Быть может, я мечтал, как это водится у молодежи, завоевать оба мира, на пороге которых я стоял: обрести лавровый венок «русского» писателя и фуражку рулевого сионистского корабля; но, скорее, у меня не было никакого твердого плана — я очень сомневаюсь вообще в том, что мне отпущена способность, или хотя бы желание, заранее определять свой путь»¹, — напишет зрелый Жаботинский в «Повести моих дней», соотносясь с обсуждаемым периодом и обобщая опыт всей своей жизни.

Способность определять свой путь была ему отпущена сполна. Что до желания — тут Жаботинский, пожалуй, прав. Мы уже говорили о постоянной рефлексии и пристрастии к чуть ли не ежеминутному обдумыванию своей жизненной позиции. Этот внутренний голос, вещавший, очевидно, во сне и наяву, обладал удивительной интуицией и столь же невероятной беспощадностью. Он не давал поблажки, жалил как

¹ ПМД, стр. 496.

овод и гнал своего хозяина по свету с места на место, от одного свершения к другому, тогда как в глубине души тот желал лишь уверенности в завтрашнем дне и покоя. Постоянное пребывание на людях тяготило Жаботинского, склонного к раздумьям и любившего одиночество. Он был по натуре глубоко семейным человеком, но родных и любимых — мать, сестру, жену, сына — видел редко и урывками. Во многих статьях он упоминает, что должен заниматься тем, к чему не лежит душа. Подобная самодисциплина плохо согласуется с непрерывно звучащей в творчестве Жаботинского анархистской нотой, но мы уже говорили о парадоксальном характере этой цельной, несмотря на постоянные внутренние противоречия, натуры.

После кишиневского погрома Жаботинский поехал в этот город, чтобы увидеть все своими глазами. Там собрались видные сионисты Х. Вейцман, Я. Коган-Бернштейн, А. Усышкин, В. Темкин, И. Сапир и, разумеется, Бялик. Таким образом, официальное знакомство Жаботинского с сионизмом наконец состоялось. А по возвращении в Одессу оказалось, что сионистская организация, которая еще недавно не торопилась принять Альгалену в свои ряды, хочет послать его своим представителем в Базель на VI Сионистский конгресс. Тот самый конгресс, на котором обсуждался план Уганды и где в последний раз председательствовал Теодор Герцль.

«Я был в числе меньшинства конгресса, которое голосовало против Уганды, и вместе с остальными сказавшими «нет» вышел из зала. [...] Из всех встреч жизни я не помню человека, который бы «произвел на меня впечатление» ни до, ни после Герцля. Только здесь я почувствовал, что стою перед истинным избранником судьбы, пророком и вождем милостью Божьей, что полезно даже заблуждаться и ошибаться, следуя за ним, и по сей день чудится мне, что я слышу его звонкий голос, когда он клянется перед нами: «Если я забуду тебя, о Иерусалим...» Я верил его клятве, все мы верили, но голосовал я против него, и я не знаю почему. Потому что — **потому**, которое имеет большую силу, чем тысяча аргументов»¹.

Обсуждение рациональной и эмоциональной подоплеки данного «почему — потому» потребовало бы много времени. Скажем только, что и те, кто голосовал «за», и те, кто «против», благополучно похоронили проект Уганды и больше о нем не вспоминали. Принято считать, что, добейся Герцль на том

¹ ПМД, стр. 493—494.

конгрессе большинства, идея Еврейского государства была бы безнадежно извращена и вряд ли воплощена в жизнь. Зная, что происходит сегодня в Африке, в этом трудно усомниться. А вот сам Жаботинский всю жизнь сомневался в правильности того давнего «потому». По свидетельству И. Шехтмана, во время первой мировой войны, когда англичане тянули с ответом на предложение Жаботинского создать еврейский легион в составе британской армии, он думал: если бы где-нибудь, пусть даже в Африке, существовала сильная еврейская колония с прерогативами государства, легион возник бы сам собой. И в 1939 году, когда требовалось срочно эвакуировать европейских евреев (куда угодно, хоть в Африку, но и Африка не была готова их принять!), Жаботинский, пролетая над возделанными полями белой Африки, горько пожалел о своем тогдашнем «потому». А будь там еврейское государство...

Продемонстрировав лишний раз экзистенциальный характер мироощущения нашего героя, вернемся в 1903 год. Жаботинский снова на распутье. Он окончил университет, но у него нет диплома, который дает возможность вырваться из черты оседлости. Хуже того, нет даже аттестата зрелости. Его, знаменитого одесского журналиста, читают даже в Петербурге, но не воспринимают всерьез: так, для развлечения, не более того. Он известен в литературных кругах, но цель его жизни иная. Какая? Он и сам еще не знает. Знает только, что путь к ней лежит через Петербург, куда его зовут сотрудничать, с одной стороны, А.А Суворин, который в отличие от своего отца, известного рутинера и юдофоба, основал радикальное обозрение «Русь», а с другой стороны, молодой адвокат Николай Сорин, приступающий к изданию ежемесячного сионистского журнала на русском языке.

Судьба «в лице гороподобного русского хама, отправлявшего должность пристава в центральном околотке Одессы»¹, легонько подтолкнула Володю. Инцидент был пустячный и ничем серьезным не грозил, но молодой человек взял билет и укатил в Петербург.

С этого момента Жаботинский становится Жаботинским. Как отметит Корней Чуковский, в ту пору хорошо его знавший, вернувшись из Италии, Владимир стал другим человеком. Замкнутым, целеустремленным, даже фанатичным. Скорее всего, это произошло не сразу по возвращении из Италии. Биогра-

¹ ПМД, стр. 496.

фы склоняются к тому, что окончательная трансформация личности Жаботинского произошла после кишиневского погрома. Возможно, до погрома он еще питал некоторую надежду на то, что его собственные пророчества относительно Варфоломеевской ночи чересчур пессимистичны, но после погрома надежда испаряется. Сионизм становится делом жизни и отодвигает все остальное на второй план.

Обозначим вехи дальнейшего пути. По приезде в Петербург Жаботинский начнет кампанию против ассимиляции, станет бороться за еврейское воспитание, за еврейские школы с национальной программой и за внедрение в эти школы иврита. Вместе с тем, он будет биться за равноправие евреев в России, поскольку сионизм, как мы помним, — это, в первую очередь, равенство. Так возникнет Гельсингфорсская программа, которая и сегодня может служить образцом устройства равноправного многонационального государства.

Однако нация в состоянии упадка. Еврей, уверившийся, что он — существо низшего порядка, не может активно участвовать в национальном возрождении. Значит, надо поднять нацию с колен, заставить ее поверить в свое предназначение. И если для этого нужно войти в Думу, Жаботинский пойдет на выборы. Его дважды проваливают. Запуганные евреи, боящиеся любого шума, не хотят доверить ему, активисту и сионисту, представительство в верховном органе управления Россией. А он разъезжает по городам и местечкам, агитирует, призывает, объясняет, вразумляет. Его слава оратора превосходит журналистскую. «На Жаботинского» собираются толпы. Сионистами становятся десятки, потом сотни, тысячи...

Но Османская империя не заинтересована в массовой иммиграции евреев в Палестину. И Жаботинский отправляется в Константинополь. Приобщает тамошних сефардов¹ к сионистской идее, влюбляется в гордый, вольнолюбивый характер сефардского еврея и разочаровывается в турках: пока в Палестине будет править султан, эффективное строительство еврейского большинства на старой новой родине невозможно.

Он ищет союзников во Франции, потом в Англии. Биографы Жаботинского говорят о его косвенной причастности к появлению декларации Бальфура, обещавшей евреям национальный очаг в Палестине. Надо полагать, лорд Бальфур по достоинству оценил идею еврейского легиона: эффективное присут-

¹ Сефарды — потомки евреев, живших на Пиренейском полуострове.

ствии еврейской армии в Палестине может превратить эту отсталую во всех отношениях область в форпост западной цивилизации. Еврейское государство как рычаг победы над турками — это уже не милостивое благоволение к несчастной забитой нации, а трезвый политический расчет, в котором евреи выступают как равные среди равных...

Предположения о влиянии идеи легиона на лорда Бальфура основаны на косвенных доказательствах. Но создание легиона, без сомнения, существенно повлияло на многие политические умы в Европе. Впервые в истории евреи попытались выступить не в роли просителей, а в качестве политического фактора.

Надо сказать, что сионистское руководство (ни всемирное, ни локальное — палестинское) идею легиона не поддержало. Евреи Палестины боялись за свою судьбу — создание легиона в составе британской армии должно было разозлить турок и грозило многими неприятностями. Жаботинского считали безответственным радикалом, авантюристом, врагом нации. И все же легион возник, нацию удалось поднять с колен и поставить под ружье, а еврейская история двинулась в новом направлении. Возможно, мы несколько завышаем роль легиона в этом процессе, но современные израильские историки, расходясь в деталях, все же согласны с основным положением: легион изменил отношение евреев к самим себе, безмерно повысив их самооценку, и — с оговорками — изменил отношение к евреям со стороны остального мира.

О борьбе Жаботинского за легион читатель узнает из автобиографического «Слова о полку». Необходимо помнить о политической подоплеке этого шага: использовать мировую войну для того, чтобы поставить нацию под ружье. «Копите железо и научитесь улыбаться», — завещает евреям Самсон назорей, герой одноименного романа Жаботинского. Фактический создатель легиона, Жаботинский запишется в него простым солдатом и, отслужив положенный срок, организует еврейскую самооборону в Иерусалиме. Будет несправедливо брошен в тюрьму и использует этот инцидент для дискредитации английского мандата. Затем объявит войну сервильной политике руководства Сионистской организации, превратит группу молодых сионистов Риги в ядро военизированной организации «Бейтар» и создаст альтернативное крыло в сионизме — ревизионизм.

Въезд в Палестину Жаботинскому был запрещен, и он завещал: «Хочу быть похороненным там, где меня настигнет смерть. Мои останки будут перенесены в Эрэц-Израэль только по приказу будущего еврейского государства».

Владимир (Зеэв) Жаботинский умер в 1940 году в Америке, куда прибыл, чтобы развернуть борьбу за новый еврейский легион. Его завещание было выполнено 24 года спустя: останки доставили в Эрэц-Израэль и захоронили на горе Герцля в Иерусалиме. В каждом еврейском городе есть улица, носящая имя этого неустанного борца, однако все еще нет полного собрания сочинений Жаботинского. Впрочем, есть основания надеяться, что такое издание все же выйдет. Читающие по-русски находятся в привилегированном положении: труды Жаботинского для них сравнительно доступны, причем в постоянно расширяющемся объеме. И важным шагом в этом направлении является настоящее издание.

Была ли Италия действительно духовной родиной Жаботинского, как он сам писал, сказать трудно. Но то, что по духу и воспитанию был он русским евреем — несомненно. Поэтому его личность и способ мышления близки и понятны тем, чье вхождение в сионизм и происходило, в сущности, «по Жаботинскому». Влияние уже не на русское, а на советское еврейство и роль Жаботинского в национальном пробуждении 70-х годов XX века — отдельная тема. Скажем только, что роль эта была не просто большой, но в немалой степени и определяющей. Аладдин не всегда бывает лишним после того, как вызванные им джины сооружают желанный дворец. Жаль только, не всякому Аладдину суждено дожить до всеобщего признания его заслуг.

*Анна ИСАКОВА
Иерусалим, 2006*

САМСОН НАЗОРЕЙ



ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Гюго написал и, может быть, имел право написать в примечании к «Рюи Блазу»: «Само собою понятно, в этой пьесе нет ни одной детали — касается ли она жизни частной или публичной, обстановки, геральдики, этикета, биографии, топографии, цифр, — ни одной детали, которая не соответствовала бы точной исторической правде. Когда, например, граф Кампореаль говорит: «Содержание двора королевы стоит 664 066 дукатов в год», — можете справиться в такой-то книге (следует заглавие) и найдете именно эту цифру».

Я, со своей стороны, о предлагаемом рассказе из времен Судей ничего подобного не утверждаю. Повесть эта сложилась на полной свободе и от рамок библейского предания, и от данных или догадок археологии.

В. ЖАБОТИНСКИЙ

Глава I. НА ВСЕ РУКИ МАСТЕР

По дороге, ведущей с юга, спускался усталый путник; за ним на длинной кожаной узде плелся ослик, нагруженный двумя веревочными мешками. Человеку было на вид лет тридцать пять; у него была курчавая черная борода и любопытные азартные глаза навывкате. На голове у него был повязан грязный белый платок; бурую рубаху-безрукавку свою он подобрал до колен, чтобы легче было идти; от этого над поясом образовался у него спереди отвислый мешок, где болталось что-то тяжелое, вероятно, съестной припас. Кожаные подошвы с ремешками он бережливо подвесил к поясу и шел босиком. Тяжелый плащ, вроде одеяла, тоже бурого цвета, был аккуратно сложен между двух мешков на спине у осла.

Солнце шло уже к закату, и было прохладно. Время дождей кончилось только на днях. Долина, к которой вела эта каменистая, еще не очень пыльная дорога, и холмы вокруг долины праздновали лучший свой час: зелень рощ и виноградников еще не успела посереть от пыли, ручьи начали мелеть,

но еще не пересохли. Красная земля была густо возделана; в долине виднелся большой городок и по пути к нему отдельные дома с садами барского вида; на холмах издали тоже вырисовывались контуры нескольких крупных селений. Путник сказал сам себе:

— Богато живут люди.

В голосе его не было зависти, хотя брел он из малопродуктивного южного нагорья. Скорее было в его голосе удовлетворение, ибо он был человек из безземельного клана, не имеющий дома и никогда не мечтавший о доме, а потому недоступный и зависти, пороку мужика: если этот край богатый, тем лучше и для пришельца.

До первого барского дома оставалось несколько сотен шагов, и от него до городских ворот еще в три раза дальше. Дом этот был большой и красивый, с круглыми столбами и всякими пристройками; за ним лежала широкая впадина — теперь, после дождей, временный пруд. Из дома вышли две женские фигуры; неспешно, шагом прогулки, они направились в гору, навстречу путнику с ослом. Они были поглощены своей беседой или, может быть, спором; одна, пониже, горячилась и размахивала руками. Через несколько минут путник увидел, что это черноволосая девочка лет двенадцати; вторая, с богатой рыжей прической вокруг головы, казалась года на три старше. Судя по платью, которое было много длиннее, чем у женщин его племени или у туземок, и другого покроя, путник догадался, что девушки из филистимской семьи. Когда они подошли ближе, он прищурил один глаз, оценивая на расстоянии шерсть, из которой была сделана их одежда: шерсть была хорошего качества, особенно на старшей. В нескольких шагах от них он остановился и учтиво сказал:

— Здравствуйте, девицы.

— Здравствуй, — ответила рыжая и сейчас же улыбнулась. Это была очень хорошенькая девушка, зеленоглазая, с задорным и веселым выражением лица; от улыбки у нее сделались ямочки на обеих щеках. Она остановилась; младшая тоже остановилась, но неохотно, и смотрела исподлобья в сторону. У нее тоже были зеленоватые глаза.

— Что за город внизу? — спросил мужчина.

— Тимната¹. А ты торговец?

Девушка при этом указала на выюк.

¹ Здесь и далее — см. пояснения в постраничных примечаниях в конце книги.

— И торговец. Показать тебе гребешок из слоновой кости? Или амулеты? Цветные пояса? Мази?

Он стал подробно перечислять свои товары с указанием, из какой страны вывезен каждый; географических названий было очень много, и младшая девушка проворчала, все не глядя на него:

— И земель таких, верно, нет на свете. Он купил свой хлам где-нибудь у городских ворот; торгует старыми вещами, как все эти разносчики с нагорья. Моя мать всегда говорит: хороший купец приходит со стороны Экрона, а не из Адуллама.

Он хотел ответить, но старшая вмешалась, по-видимому, желая загладить резкость:

— У нас нет денег, добрый человек, а старшие все ушли из дому. Вот наш дом; если хочешь, приходи завтра утром — все равно, ты ведь должен ночевать в Тимнате, уже скоро вечер.

— Спасибо, красавица, — сказал торговец, — приду. Если понравится, купите; если есть у твоих родителей что продать — может быть, и я куплю. Твоя сестра права: у меня всякий товар, новый и старый, видимый и невидимый. — И, дергая за узду, чтобы вывести осла из состояния понурой задумчивости, он деловито прибавил: — А есть у вас в Тимнате блудница?

Этот вопрос он задал без всякой неловкости, хотя был человек вежливых привычек и нравственного образа жизни. Постоялые дворы содержались в то время женщинами свободного сословия; оба понятия считались синонимами. Рыжая девушка ответила так же деловито:

— Есть, только надо пройти весь город; ее дом у северных ворот. Любой встречный тебе укажет.

Младшая опять забормотала сквозь надутые губы:

— Незачем спрашивать у встречных; он услышит гомон еще с подороги.

Путник попрощался и, уходя, скосил глаза на раздражительную девочку. Она ему не понравилась. Она была мало похожа на старшую. Вряд ли это были сестры; впрочем, в черных кудрях младшей под косым солнцем тоже рдели красные отливы. Очень она ему не понравилась, и, шагая и ругая ленивого осла, он прошептал длинное и сложное заклинание против дурного глаза.

Пока он дошел до Тимнаты и пока надел сандалии, без которых считал неудобным вступить на землю просвещенного поселения, солнце уже село, и улицы были пусты. Эта сторона города произвела на него впечатление богатого квартала: часто

попадались каменные дома, и по запахам, которые доносились вместе с гарью из-за низеньких заборов, ограждавших навесы над печами, он точно определил, что почти всюду жарится козье мясо. В некоторых домах были резные двери; кое-где слышалось пение и звон струнного инструмента.

Раб из туземцев, тащивший на голове корзину с сушеным навозом для растопки, указал ему путь к дому блудницы. Еще задолго до харчевни характер зданий изменился: тут жила беднота в лачугах из обожженной на солнце глины или просто в серых земляных коробках; жители сидели на корточках перед входами и ели пальцами какую-то крупу. Уже стемнело; изредка жалкие светильники выделяли грубые и резкие черты: филистимлян среди них не было, вся эта городская голь, наемники, ремесленники и нищие, составила из обломков туземных племен. Имена их он знал, бывал не раз в городах и селах иевуситов, гиргасеев, хиввейцев, умел их отличать друг от друга с первого взгляда, а косолобого хиттита и тонкогубого аморрея узнавал по гордой осанке даже издали. Но здесь это была просто низкая помесь, худосочные выжимки двадцати племен, раздавленные до обезличения меж двух жерновов, двух народов завоевателей.

Постоялый двор помещался у самых ворот. Действительно, еще издали можно было услышать оттуда гомон чересчур громких голосов; у ограды столпились все бездомные собаки предместья, все одинаковые, без признаков породы, как их соседи — люди, и, не толкаясь и не огрызаясь друг на друга, ждали часа, когда служанка выбросит им объедки. За оградой был просторный двор, освещенный двумя смоляными кувшинами; на дворе был поставлен длинный стол, по колено взрослому мужчине, и там шла попойка: человек двадцать сидело и лежало вокруг, одни на плетенках, другие прямо на земле. Низкий и широкий земляной дом находился в глубине двора; у порога его стояла хозяйка и звонко, на весь двор, командовала своим штатом. Видно было, что гостиница хорошо поставлена: мужская прислуга состояла из двух плечистых негров, которые, подавая блюдо, весело скалили зубы (ханаанская раса и тогда не умела прислуживать за столом приветливо и ласково), а горничные — две белые и одна мулатка — были девушки приятной дородности и легко одетые. Кухня была в дальнем конце двора, под навесом, с невысокой загородкой с подветренной стороны: четыре глиняные печи в форме полушарий, разрезом вниз,

посылали дым прямо в звездное небо, и еще что-то большое жарилось прямо на углях, поверх плоского камня, и один из негров время от времени поворачивал тушу палкой.

Новопришедший, осторожно обводя осла подальше от пирующих, направился к хозяйке. Она, как те две девушки из загородного дома, была в длинном платье с плотно прилегающей талией. Он впервые попал в Филистию, но знал, что в этой стране с женщинами вольной жизни надо обращаться почти тельно.

— Здравствуй, госпожа, — сказал он. — Могу я у тебя поужинать, переночевать и накормить осла?

Хозяйка, не глядя на него, закончила начатое проклятие по адресу одного из негров; потом внимательно осмотрела гостя при свете смоляной кадки и ответила:

— В комнате места не будет; придется спать на дворе. Стойло налево, за домом; отведи осла сам, слуги заняты. Есть можешь у печи — не садись к столу, тут все свои, они посторонних не любят.

Он посмотрел в сторону стола. Все эти люди были хорошо одеты, с расчесанными бородами — впрочем, много было и безбородой молодежи. Часть уже снимала шапки, но на остальных еще красовался филистимский головной убор, похожий на корону из раскрашенных перышек, торчком вставленных в поярковый околыш. Новый гость, несмотря на плохое освещение, сразу мысленно оценил и добротность тканей, и качество пищи, загромождавшей стол, — тут было и мясо, нарезанное широкими полосами, и зелень, и редкостное для горного жителя блюдо — рыба, и сушеные плоды, и пирожное, и много вина.

— Богатые господа, — сказал он хозяйке. — Я сяду в сторонке, но потом, когда они совсем развеселятся, попробую подсесть. В тюках у меня кольца, кошельки, пояса, ремешки для сандалий, застежки для рубах; кому-нибудь из них может понадобиться и любовная трава, прямо из Мофа: действует верно, все равно как рвотный корень, и почти так же быстро.

— Вряд ли им будет до тебя. Я их знаю: когда Таиш угощает, дело всегда кончается или сном вповалку, или дракой.

— Если напьются до обморока, надо будет кому-нибудь пустить кровь; если переранят друг друга, понадобятся примочки. У меня есть лекарства, и я умею отворять жилы без боли. Кроме того...

Он пристально посмотрел на хозяйку, она пристально посмотрела на него, и оба как-то поняли друг друга. Он сказал вполголоса:

— Мало ли что может обронить пьяный человек. Браслет, цепочку, кошелек...

— У каждого из них хорошая память, — отозвалась хозяйка, — выпавшись, он обыщет весь дом.

— До полудня не проснется, а я всегда пускаюсь в путь на заре. Пусть ищет у тебя: что он найдет, кроме — скажем — цветной шали, которую ты у меня — скажем — купила? А меня не догонят.

— Умный ты человек, — сказала хозяйка, — и на все руки мастер. Купец, и лекарь, и... добытчик.

— И еще много других у меня рукоделий, госпожа, гораздо более важных. Я знаю заклинания, умею плясать у жертвенников — на все лады, по-ханаанскому, по-израильскому, по обычаям народов пустыни; если нужно, за один день выучусь и по-вашему. Умею писать на черепках, на козьей шкуре и на папирусе; могу обучать детей в богатом доме книжному искусству, молитвам какой угодно веры, игре на флейте, игре на лире...

— Ты по виду похож на соседей наших из племени Дана, — сказала хозяйка, — но я в первый раз в жизни вижу такого данита. Эти соседи наши из Цоры — неотесанное мужичье, куда тупее туземцев, а ты — словно приехал из Египта. Кто ты такой? Откуда?

— Я, в самом деле, сродни колену Дана, только из другого племени. Я — левит, родом из Мамре, близ Хеврона, где жертвенник лесной Ашеры, — ты о ней слыхала? Очень важная богиня. У нас-то самих вера другая, но это не к делу.

— Левит? Никогда не слыхала о такой стране.

— У нас нет страны. Мы живем повсюду, вся земля наша. Брат моей матери — большой священник в столице иевуситов, что в горах; другой родственник управляет певчими в Доре, при капище тамошнего бога; третий ушел искать работы к вам в Яффу и, должно быть, тоже устроился. Я, собственно, тоже бреду в поисках жертвенника. Но по пути надо же кормиться.

— Хурру! — крикнула хозяйка.

Подошел один из негров.

— Отведи осла и дай ему отрубей; выюк сними и оставь здесь.

— Замер!

Подбежала одна из служанок; левит отвел глаза, чтобы не видеть изъянов ее костюма.

— Постели для гостя циновку помягче и дай ему вина и баранины со стола.

Потом она прибавила:

— Ты говорил о шали? Покажи.

Глава II. ШУТ

Медленно и степенно закусывая, левит разглядывал пирующих и слушал их беседу. Из беседы было ясно, что не все они местные жители: часть пришла из Гезера, другие из Экрона, один даже из Асдота — этот, очевидно, случайно попал в Тимнату по делу, и его затащили на попойку; но остальные к ней, по-видимому, готовились несколько дней. Повод скоро выяснился из перестрелки шуток. Угощал компанию некий Таиш («Смешные у них имена», — подумал левит) и на правах гостеприимного хозяина шумел громче всех; голос у него был редкой силы, глубокий бас, но лица нельзя было рассмотреть — соседи заслоняли; иногда только переливались пестрые гляцевитые перья его большой филистимской шапки. Угощал он потому, что проиграл заклад; насколько можно было понять, заклад состоял в том, что Таиш взялся перепрыгнуть, опираясь на шест, через какую-то не то речку, не то пруд, в самое половодье, но не допрыгнул до берега и при всех свалился в воду. Большая часть острот вращалась вокруг вопроса, успел ли он уже просохнуть. Остроты были, как обычно бывает на пиру, сами по себе несколько не острые, но в этой обстановке всем казались ужасно меткими. Таиш несколько не обижался, хохотал гулким басом и угощал без скупости, все время понукая служанок.

Постепенно красноречие веселой банды перешло на новую тему — во сколько серебра обойдется этот пир.

— Ахтур! — закричал один из гостей, — пощупай его кошелек. Как бы не пришлось делать складчину — а у нас, экронцев, нет ни полушки!

Этот гость все время потешал общество тем, что резал мясо стальным мечом. Люди из Экрона ввиду дальней дороги пришли вооруженные, но уже давно, для удобства возлежания, отстегнули свои короткие мечи.

Ахтур сидел справа от Таиша, и его левит ясно разглядел: это был щеголеватый юноша, очень красивый; лоб его и нос образовывали одну прямую линию, без впадин и горбин. Он притворился, будто взвешивает под столом что-то непомерно тяжелое, и серьезно доложил:

— Не бойся. Половина виноградников Цоры звенит в его мошне!

Общий хохот, над которым внушительнее всех бунчал басовый рев самого Таиша.

— Нечестивец обобрал своего отца!

— Ограбил городскую казну!

— Если и обобрал, — загудел голос хозяина попойки, — то не те виноградники, не того отца и не ту казну, о которых вы думаете.

— А кого?

Кто-то откликнулся:

— В Яффу недавно прибыл египетский флот: их послали в Сидон за лесом, но в открытом море пираты забрали у них все мешки с золотом. Не твои ли это люди, Таиш?

Другой возразил:

— Его товарищи называются «шакалы», а не «акулы»: они работают на суше.

— Друг мой, — вставил третий, — не твоя ли работа — тот мидианский караван, что добрел недавно до Газы без верблюдов и без рубах?

Таиш казался очень польщен, но принять эту высокую репутацию не пожелал:

— Так далеко мои «шакалы» еще не добежали, — гремел он.

— Откуда же твое богатство?

— Отгадайте! — Он вдруг выпрямился, поднял руку и провозгласил: — Вот вам загадка: двадцать хозяев, а гость один. Кто такие?

Человек из Асдота, постарше всех остальных и не столько выпивший, сказал:

— Я отгадал. Наш хозяин поит нас за счет всего того, что он у нас же выиграл в прежние разы.

Филистимлянам это чрезвычайно понравилось, и почти все захлопали в ладоши: они любили удачную проделку, даже если шутка была сыграна с ними самими. Два десятка пьяных голосов стали наперебой вспоминать прежние пари, выигранные или проигранные главой сегодняшнего пира. Он был, по-видимому, великий игрок перед Господом, и притом одаренный

исключительной фантазией. Темы закладов отличались поразительным разнообразием, от стопки меду, которую надо было выпить, вися на суку вверх ногами, и до бега вразпуски с лошадыю, принадлежавшей кому-то из экронских гостей.

Теперь, когда он выпрямился, Таиша можно было разглядеть. Левит заинтересовался им с минуты, когда выхоленный сосед его, Ахтур, упомянул о Цоре. Он знал это имя: город уже давно был занят коленом Дана, и хозяйка час тому назад это подтвердила. Левит опять прищурил один глаз: это была манера его племени, когда нужно было рассмотреть предмет во всех подробностях. Таиш казался человеком широкоплечим и плотным в груди, но еще очень молодым, борода едва пробивалась. Одет он был как все остальные; шапка, сдвинутая назад, открывала невысокий, но широкий лоб. Ноздри его раздувались и дрожали от смеха, и в юношеских щеках делались ямочки; левит вспомнил рыжую девушку. Рот у молодого кутилы был, может быть, и небольшой, но он беспрерывно открывал его настежь, хохоча во все горло и показывая белые, ровные зубы; зато подбородок был квадратный, выпуклый и тяжелый и шея чуть-чуть грузная для его возраста. По чертам лица он мог быть кто угодно, и данит, и филистимлянин, но по одежде, манерам поведения было ясно, что он, хоть и имеет какое-то отношение к виноградникам Цоры, родной брат остальной компании; и, наконец, левит, человек бывалый, никогда не встречал среди своих человека с таким странным именем — и вообще никогда не видел шута в своем суровом и озабоченном народе.

Филистимлянин, решил левит окончательно.

Между тем широкоплечий филистимлянин совсем разошелся. Он сыпал прибаутками, по большей части такими, что левит в своем углу качал головою, а служанки взвизгивали и закрывали руками лица, хотя у каждой из них было, по крайней мере, еще три способа гораздо убедительнее проявить свою стыдливость. Он показывал фокусы: глотал кольца и находил их у соседа за поясом, порывлся в седоватой бороде асдотского гостя и вытащил оттуда жука, затолкал в рот сплошной каравай инжира и, стиснув зубы, одними движениями нёба и глотки отделил и проглотил все фиги одну за другой — все это видели ясно и дивились, после чего он вынул нетронутую массу изо рта и бросил ее в собак. Потом он приподнялся на коленях (он оказался очень высок, но тонок в талии, как девушка), схватил три глиняные плоски и разом все три подбросил в воздух, поймав одну головой, вторую рукою спереди, третью рукою

за спиной. Наконец, когда гости уже надорвались от хохота и могли только выть, он изобразил в голосах сходку зверей для выбора царя. Иллюзия была полная. Вол ревел, рычала пантера, хрипло и гнусаво хохотала гиена, осел храпел, верблюд злобно урчал, блеяли овцы, и все это шло так быстро вперемежку, точно звери действительно спорили и прерывали друг друга; в конце, побеждая разноголосицу, торжественно и подробно замемекал старый козел, и всем стало ясно, что он избран царем. Гости уже плакали от смеха и обессиленно махали руками; негры катались по земле, хозяйка и три горничные были в истерике; сам левит, хотя помнил свое место и, говоря вообще, не одобрял шумного веселья, не мог удержаться от одобрительного возгласа.

Таиш услышал; он всмотрелся в полутемный угол двора у кухонного навеса и окликнул хозяйку:

— Дергето! Что это у тебя за странник?

Она подошла к столу:

— Купец; очень приличный господин. Он с нагорья, но совсем особенный — говорит длинно, как священник из Экрона... Не смей! — И она обеими руками сразу ударила по головам двух возлежавших, между которыми стояла и которые, по-видимому, выразили ей свое внимание в форме, не соответствующей времени и месту.

— Зови купца сюда, — распорядился Таиш. — Эй, путник! Приглашаю тебя к столу. Земер, дай ему жареной рыбы и чистый кубок; а он нам за то расскажет, что слышно на свете.

Левит быстро стянул с головы свою засаленную повязку, пригладил волосы и, подойдя к столу, учтиво поклонился на три стороны. Он привык к обществу инородцев; с филистимлянами, правда, еще не встречался, но и их не робел. Вот уже много лет в южном Ханаане был мир. Войны с туземными племенами давно кончились и на востоке, и на западе; покоренные народы примирились с судьбою, непокоренных решено было не трогать, а оба завоевателя, Израиль и Кафтор, пока соблюдали между, разделявшую сферы их влияния. Ряд боевых поколений утомил и тех, и других, и третьих; все они дали самим себе долгую передышку, и — кроме разбойников — никто никому не мешал переходить из области в область.

— Меня зовут Махбонай бен-Шуни, из семейства Кегата, старшего в колене Леви, — представился корректный левит, но никто его не слушал; пирушка дошла уже до той ступени, когда общих тем для всего стола больше нет и соседи пьют,

беседуют, целуются или ругаются друг с другом. Таиш запросто и, по-видимому, без усилия отодвинув подальше своего осовевшего соседа слева, указал на освободившееся место. Левит сел, обмакнул пальцы в плошку с водою и, пробормотав негромко заклинание (он давно или вообще никогда не ел рыбы), занялся едою; но блюдо было сложное, с кожицей и косточками, и вкус необычный, а потому он скоро объявил, что не голоден, и выпил немного вина, смешав его с водою.

— Откуда пришел? — спросил его Таиш немного заплетающимся языком. Из-за его широкого плеча красавец Ахтур, изящно облокотившись, тоже смотрел на нового гостя; левая рука Ахтура легко и небрежно покоилась на волосатой лапе друга — они, очевидно, были большие приятели. Остальным было не до них.

— Я теперь иду из Иевуса, — ответил Махбонай бен-Шуни, — но шел я окольными путями, через Вифлеем; идти прямо, на Кириат-Иеарим, не решился. Иевуситы не хотят проложить дорогу к долине — боятся; а на тропинках легко заблудиться, и они полны дикого зверья; да и люди тамошние не лучше.

— Иевус? — сказал Ахтур. — Это где туземцы молятся козлу?

— Так точно, — ответил Махбонай, — по-ихнему Иерусалим.

— Небольшой город, но прекрасный, — продолжал он, — все дома из розового камня, земляных хижин не видать; город на скале, и вокруг него стена вот такой толщины. И хорошо там живется людям: не сеют, не жнут, а всех богаче. Когда женщины их идут по улице, звон стоит кругом от цепочек и браслетов.

— Чем промышляют? — спросил Таиш.

— У них два промысла. Раза три в году они спускаются в Киккар, к Иордану и Соленому морю: грабят поселки туземцев, обирают караваны и подстерегают по ночам лодки моавийских купцов. Но еще три раза в году они грабят окрестные народы гораздо проще: те сами приходят к ним на стрижку — толпами, тысячами.

— Зачем?

— На поклонение. Посреди города, на площади, стоит у них большой каменный храм; стоит он, говорят, с незапамятных времен, выстроен еще великанами задолго до того, как пришли сюда ханаанские племена. Все кочевые народы юга и пустыни ходят туда молиться о пастбищах и приплоде. В храме день

и ночь служат священники — весь город полон священников: ох, какие воры! Старший священник, между прочим, мой родной дядя; оттого я и попал в Иевус — хотел получить место при храме: в нашем роду все мы с детства знаем обряды, музыку и танцы. Но теперь уж, видно, не те былые дни, когда родич стоял за родича. Старый мошенник даже не допустил меня к себе — велел прийти завтра, а назавтра его привратник вручил мне табличку с надписью: «Возьми с собой, — говорит, — и передай семье: так, мол, повелел преподобный». А на табличке было написано (я умею читать):

«Если б стал вводить я братьев,
Как Иосиф, сын Рахили,
Дело кончилось бы снова —
Так, как кончилось на Ниле».

Слушатели его засмеялись.

— Умный человек твой дядя, — сказал Ахтур. О том, что Дан и остальные колена когда-то изгнаны были из Египта, знал весь Ханаан, все равно как о том, что филистимляне приплыли из Кафтора.

— Я и решил уйти, — продолжал Махбонай. — На прощанье осмотрел их святилище. Посреди храма — утес, в утесе дыра, под нею пустой колодец: над дырой они режут козлят, овец и детей (не своих, а тех, которых приводят им набожные люди из пустыни) — и потом бог до следующего праздника пьет из этого колодца. Сам бог — из красного камня; вид у него действительно козла, только в два раза больше, и по-настоящему зовут его Смой, т.е. владыка пустыни, но народ этого имени не произносит, чтобы не рассердить бога, и зовут они его Азазель, или просто Козел — Ха-Таиш... Кстати, господин: нет ли в Филистии такого бога и не в его ли честь дано тебе это имя?

Оба опять расхохотались, на этот раз так заразительно, что и остальные обернулись в их сторону, глядя оловянными глазами и спрашивая непрочными голосами, в чем дело. Через минуту весь стол уже заливался; одни хлопали себя по макушке, другие стучали кулаками по столу, третьи стонали — видно было, что Махбонай задал необычайно смешной вопрос.

— Это не имя, а прозвище, — сказал наконец Таиш, вытирая глаза, — и я не филистимлянин: я из племени Дана.

— А Козлом мы его прозвали за то, что он такой мохнатый! — объяснил Ахтур и ловко сорвал с головы соседа шапку. Из-под нее свалилась ему на лоб, на уши, на затылок до самых

плеч грива темнорусых волос, на редкость густых и тонких. Концы их, ладони с полторы, были заплетены в семь тугих жгутов, каждый толщиной с большой палец.

Левит побледнел и слегка отстранился.

— Ты, значит, назорей? — спросил он вполголоса. — Как же так... а это? — И он указал на кубок, стоявший перед Таишем, и на расплеснутое по столу вино. Он был серьезно потрясен. Как называется божество, в честь которого все эти обряды, это он не считал столь важным; но обряд есть обряд, и нарушать его нельзя.

Таиш, однако, был другого мнения. Он весело и громко ответил:

— В Цоре я назорей; в земле Ефремовой — тоже; тут я не я. В роще — маслина, в поле — пшеница; всему свое место.

И он допил свое вино, причем Ахтур деликатно захлопал в белые ладоши.

— Это грех, господин, — настаивал левит.

Выражение лица Таиша вдруг изменилось; охмелевшие глаза взглянули строго и сурово, углы рта подтянулись, ноздри напряглись; он нагнулся к уху левита и сказал отчетливо:

— Время человеку бодрствовать и время спать. Там я бодрствую; здесь я вижу сны; а на сон нет закона. Пей и молчи!

Он отвернулся и затеял игру со своим визави, который был еще не окончательно пьян. Это был экронец, резавший мясо мечом. Игра, старая, как Средиземное море, была и очень простая, и невероятно трудная: оба одновременно опускали на стол правый кулак, выставив несколько пальцев, а остальные поджав; один из играющих, отгадчик, должен был в то самое время, ни на миг раньше, ни позже, назвать сумму выставленных обоими пальцев. В разных углах стола, кто владел еще руками, играли в другие игры: в упрощенные кости на чет и нечет, или во что-то вроде наших карт, при помощи разноцветных камешков четырех мастей. Кольца, запястья, брелоки — разменная монета Филистии — переходили из рук в руки, иногда с ругательством, иногда после ссоры и третьейского разбирательства осовелых соседей. Левит поднял глаза на хозяйку, и они переглянулись. Тем временем служанки уже вынесли корзину обглоданных костей собакам, и по ту сторону забора начался визг и вой дележа. Голос данита один поминутно отрывисто рявкал: «Шесть! четыре! десять!» Он смотрел не на руки, а в глаза партнеру и почти всегда называл верное число.

Вдруг он предложил экронцу:

— Хочешь биться об заклад? Игра в четыре руки, и я должен отгадать три раза подряд.

— Идет, — сказал экронец. — А ставка?

— Ставка простая: все, что я потребую, — или, если я проиграл, все, что ты потребуешь.

— Идет, — сказал экронец.

Они назначили судей: Ахтур со стороны данита, гость из Асдота со стороны экронца. Таиш высоко поднял оба кулака, противник его тоже, и оба гипнотизировали друг друга глазами. Оба вдруг и вместе обрушили четыре кулака на стол, и, прежде чем они ударились о доску, Таиш прогудел:

— Четырнадцать!

Судьи стали считать. Таиш выставил все пальцы левой руки, один правой; экронец просто поджал оба больших пальца и выставил по четыре на каждой руке. Его пальцы слегка дергались.

Опять они подняли кулаки. Весь стол, кроме спящих, смотрел теперь на них. Левит с пересохшей от волнения глоткой переводил выпученный взгляд с одного лица на другое. Оба игрока сильно побледнели; глаза экронца выражали крайнее напряжение, глаза Таиша ушли еще глубже под брови и смотрели оттуда так, как будто он целился или готовился к прыжку. Вдруг левиту стало ясно, как будто ему шепнули, что сейчас выкрикнет данит.

Бах! — четыре кулака ударили, как один, а Таиш отчеканил уверенно и негромко:

— Ничего!

Так и было, кулаки оказались сжатыми.

В третий раз напряжения было меньше; всем почему-то казалось, что дело решено. Экронец моргал и встряхивал головою, как будто стараясь освободиться; глаза данита диктовали или, может быть, просто читали в несложном мозгу человека старинной, но необрезанной расы.

— Одиннадцать!

Таиш выставил один палец, его противник все десять. Экронец вынул из-за пазухи пестрый шелковый платок и долго отирал лоб, уши и затылок, а потом спросил:

— Что я проиграл?

— Твой меч, — ответил Таиш.

Шум, начавшийся было на всех концах стола, оборвался. Остальные экронцы инстинктивно придвинулись ближе к проигравшему. Он казался растерянным.

— Это невозможно, — сказал он тихо. — Требуй, что угодно, Самсон, кроме этого — ты ведь знаешь...

У данита опять раздулись ноздри.

— Ничего знать не хочу. Ты проиграл.

Пожилой судья из Асдота вмешался:

— Нашему другу из Цоры несомненно известно, что по закону Пяти городов нельзя передавать железо людям его племени. Это государственная измена; за это полагается смертная казнь.

Самсону это все было хорошо известно; но, видно, еще больше известно было ему то, что во всех уделах двенадцати колен не было ни одного куска боевого железа; и он много выпил. Он стал медленно подыматься; люди из Экрона и Гезера начали шарить за собою неверными руками — к счастью, опытная хозяйка давно уже велела негру убрать все мечи. Ахтур тоже поднялся, положил руку на плечо друга и проговорил своим грудным голосом, задушевым без вкрадчивости:

— Самсон, они твои гости... и вы все наши гости, здесь в Тимнате.

Таиш угрюмо опустил голову.

— Хочешь, я дам тебе... — начал проигравший, но данит его прервал:

— Ничего не хочу.

В неловком молчании было только слышно, как грызлись собаки из-за объедков. Таиш вдруг расхохотался, сел на свое место и загремел:

— Не станем ли и мы лаять друг на друга? Мир!

Он слегка повернулся к забору, и вдруг из середины двора на брехню собачьей стаи откликнулись четыре пса: один — большой и злющий, другой — обиженный щенок, третий — тоже щенок, но задорный и наглый; четвертый — не подавал голоса, а просто грыз, чавкал и поперхивался; и все это был один Таиш. Кончив концерт, он под общий хохот, в котором на этот раз чувствовалось и искреннее облегчение, и некоторое старание задобрить, встал и отошел в сторону, поманив за собой Махбоная.

— Левит, — проговорил он, — я вот что тебе хотел сказать: если ты ищешь работы у жертвенника, приходи завтра в Цору к моей матери. У нее целая комната образов. Ты умеешь слушать и нашему Иегове?

— Конечно, умею; да и служба ведь одна и та же.

— Спроси в Цоре, где дом Ацдельпони: всякий тебе укажет.

— Спасибо, сын Ацдельпони...

Самсон улыбнулся.

— Сын Маноя, — поправил он. — Ацдельпони моя мать, отца зовут Маной; но если ты в Цоре спросишь, где дом Маноя, то спрошенный задумается и воскликнет: «А, это муж Ацдельпони!»

Глава III. ДВЕ КОШКИ

Перед рассветом Махбонай бен-Шуни, после удовлетворительного и тайного делового заседания с госпожой Дергето, навьючил осла и направился через тут же находившиеся северные ворота кратчайшей дорогой в Цору. От визита в загородный дом вчерашних девушек он решил отказаться: необходимо было скорей исчезнуть из пределов города, и, главное, посещение Тимнаты и без того оказалось для него чрезвычайно выгодным. Уходя, он заглянул в комнату постоялого двора: при свете ночника там храпели иногородние гости; местные уже давно разбрелись по домам, опираясь друг на друга, — кроме тех, что остались в гостях у служанок, кельи которых помещались во флигеле. Сама хозяйка, будучи занята торговыми делами, отказалась от предложенной ей той же любезности.

Несколько позже из общей комнаты, осторожно ступая, вышел Самсон. В правой руке он нес что-то продолговатое, завернутое в плащ; в левой — шапку с перьями. На дворе он сложил обе ноши, окунул, разгоняя тучу комаров, голову и руки по локоть в большую глиняную кадку с водой и долго махал руками и тряс гривую, чтобы обсохнуть. После этого он аккуратно выложил на темени свои семь косиц и надел шапку; оглянулся, развернул плащ, вынул из него короткий экронский меч, сунул его за кушак, стянул кушак покрепче, закутался в плащ и бесшумно вышел на улицу. Минуя северные ворота, он направился к южным, по дороге, которой в обратном направлении прошел накануне левит. Даже в предместье туземцев все еще спали; только в конце его, где начинались уже филистимские дома, в низком строении, похожем на пещеру, шевелились какие-то фигуры, разводя огонь. Самсон знал Тимнату и знал, что это за пещера: это был оплот филистимского могущества, туземцами уже утраченный, а Дану и другим коленам еще недоступный — кузница. Он машинально расправил складки плаща на левом боку, чтобы не оттопыривалась под ними украденная ноша.

Солнце выглянуло, когда он дошел до южных ворот. Было свежо и красиво. Коршуны клекотали под карнизами старинной приворотной башни; жаворонки один за другим подымались в небо, словно их туда втаскивали на веревочках, и сверлили уши трелью. Красные и лиловые цветы, усеянные тяжелой росой, искрились и мигали с обеих сторон протоптанной дороги. Он быстро шел в гору, не оглядываясь на загородные дома, где и рабы еще не начали шевелиться; он только подумал укоризненно о ленивом филистимском быте — в Цоре уже давно в этот час молола каждая мельница. Подходя к последнему дому, он беззвучно рассмеялся: вон за теми деревьями сейчас будет пруд, через который ему не удалось перескочить на шесте. До сих пор смешно было вспомнить, как он увяз в тинистом дне. Он поравнялся с прудом, пристально глядя дальше, на низкое крыльцо с колоннами; но там никого не было и быть не могло так рано — Самсон это знал.

Вдруг его окликнули по имени, молодым женским голосом. Он остановился и оглянулся на пруд. Там купалась девушка — черноволосая, не рыжая, хотя под солнцем ее волосы отливали красной медью. Самсон сделал гримасу, а потом его лицо приняло холодное, каменное выражение. Девушка поднялась, вода ей теперь доходила только до колен. Самсона это рассердило. Он знал ее выходки, но это было слишком. Женщина в двенадцать лет — женщина; стоять перед мужчиной безо всего — это не полагается даже у филистимлян, даже у туземцев. Он внутренне смутился, но на это проклятый бесенок и рассчитывал, и такого удовлетворения он ей не хотел доставить. Поэтому он не отвернулся и не опустил глаз, а просто изобразил на лице равнодушие и смотрел поверх нее со скупающим видом.

— Куда так рано, Самсон, и еще после похмелья? — спросила она звонко и вызывающе. Классическим жестом женщины, которая хочет себя как следует показать, она подняла обе руки к волосам и стала их выжимать за голову; при этом она выгнулась грудью вперед и бедрами назад. Это была уже очень красивая девушка, но ее стройные линии Самсона не смягчили. «Змееныш», — подумал он про себя, а ей ответил:

— Есть дело на горе. Очень тороплюсь.

— Семадар еще спит. А я всегда тут на заре купаюсь, пока пруд не высохнет. Ты уже завтракал? Хочешь козьего молока? Подожди минуту, я закутаюсь в простыню и пойду с тобою — платье мое в комнате.

Самсон пожал плечами и ответил:

— Нет времени, я спешу. Прощай.

Он повернулся и быстро пошел дальше; вдогонку ему она мелодично засмеялась и крикнула:

— Есть, видно, вещи, которых могучий Таиш боится!

Он отозвался, не оглядываясь:

— Просто есть вещи, которые его не занимают.

Тем не менее встреча его взволновала. Он поймал себя на мысли: «А если бы то была Семадар?» — и густо покраснел. Но старшая никогда бы этого не сделала. Семадар, как и все филистимские девушки, с которыми он встречался, была гораздо смелее в обращении, чем это принято было в Цоре; но у нее это выходило само собою, просто от живой ясности и улыбки духа, и оттого никогда не переступало доброй границы. Другое дело младшая: у этой — во всем какой-то умысел, и почти всегда порочный, как сегодня; все ради того, чтобы на нее обратили внимание; не будь этого, Самсон бы вообще не заметил такую недорослую козу. Как ее зовут? Вроде, Элиноар: видно, мать ее, аввейка, настояла на ханаанейском имени. Самсон как-то видел эту мать и отнесся к ней брезгливо. Аввеи считались на низшей ступени из всех туземцев; кроме юга Филистии, их вообще нигде в Ханаане не знали, а у филистимлян они таскали воду и рубили дрова. Мать Элиноар тоже была в доме скорее на положении ключницы, чем жены. Настоящая жена была мать Семадар, большая филистимская госпожа, и она правила домом.

* * *

Самсон уже давно взбирался без дороги и даже без тропинок; холмы в этой местности, хотя невысокие, были круты и заросли колючими кустами. Добравшись до плоской вершины, он осмотрелся; налево, шагах в двухстах дальше, виднелся обрыв, над ним одинокая смоковница, спаленная молнией. «Там», — пробормотал он. Он снял шапку, снял плащ, вынул из-за пояса меч, впервые повертел его в руках и наконец вытащил лезвие из раскрашенного деревянного футляра. Несколько раз, неловко и неуверенно, он махнул малознакомой игрушкой по воздуху, посмотрел на солнце и подумал: «Времени еще много», — и, держа меч в руке, направился к обрыву, стараясь не шуршать и не стучать упругими хлыстами терновника.

Под обрывом лежала глубокая и узкая ложбина; один конец ее сходил в ущелье, другой был глухой, и тут, под утесами рыхлого песчаника, виднелось отверстие пещеры. Шагах в тридцати от пещеры, под деревом, валялся скелет козленка, по-видимому, недавно обглоданный, и не целиком: голова и шея были нетронуты, и от шеи шла к дереву веревка. Самсон одобрительно кивнул головою и занялся последними приготовлениями. Отвязав от пояса кошелек, теперь почти пустой, он положил его под кусты; но, подумав, открыл его и вынул оттуда небольшой мешочек. Осторожно, зажав нос, он проверил его содержимое — там был мелкоистертый темный порошок. Он аккуратно завернул края мешочка и сунул его за пояс. После этого он подкрался к большому камню, вышиною почти до плеч, на подороге между деревом и пещерой, чуть тронул край камня левой рукой для опоры и с легкостью, неожиданной при его росте, вскочил на него обоими коленями, быстро поднялся на ноги и заревел во всю глотку, так что прокатилось эхо:

— Выходи!

Из пещеры никто не вышел, но в тишине, сквозь жужжание насекомых, облепивших козленка, Самсон явно и неопровержимо для себя чувствовал беззвучное присутствие зверя. Ему даже казалось, что сквозь запахи влажных трав, запекшейся крови, начинающегося тления и сырого мрака пещеры до него доползает тоненькая струйка жаркого кошачьего пота. Переложив меч в левую руку, он ловко швырнул в пещеру большой обломок: в глубине что-то подавленно огрызнулось, но это было все.

— Выходи, а то я тебя выкурю дымом! — прогремел Самсон.

Тогда он увидел в черной дыре две светящиеся зеленоватые точки, продолговатые сверху вниз. Прямо между этих точек он запустил вторым осколком; раздался яростный хриплый рев, и на узком выступе перед отверстием очутилась пантера. Они долго молча смотрели друг на друга; пантера старалась достать языком до расшибленного места над носом и била себя по плечам длинным хвостом; она была серо-гнедая, с очень мелкими черными крапинами, которые у начала задних лап почти сходились в сплошное пятно; лапы ее были почти серые, а когти казались длиннее человеческих пальцев. Работая языком, она слегка вертела головой на вытянутой шее, но не спускала глаз с человека. Она больше не рычала, но само ее мурлыканье, теперь ясно слышное, клекотало, как отголосок очень далекого грома.

— Глупая, — сказал ей Самсон, — ведь козленка привязал я! Пантера сделала гримасу, открыв пасть в две ладони шириною, но не тронулась с места.

Самсон продолжал:

— Вчера перед вечером принес и привязал, когда тебя не было. Чтобы ты наелась и не ушла слишком рано. Дура!

Пантера заворчала в глубине гортани. Бас этого человека ей не нравился; но она была сыта и благоразумна.

Самсон замахал мечом; воздух жутко свистел под его ударами.

— Я решил стать цирюльником; учусь владеть этой бритвой — первый опыт на тебе! Прыгай!

Вдруг пантера повернула голову в сторону; она втянула когти, и он увидел по игре мускулов под ее кожей, что она просто собирается уйти из ложбины.

— Бежать? — зарычал он, бросая меч и хватая камень. Но прежде чем камень долетел, зверь уже принял вызов, заревел, нырнул с выступа и, почти не сделав ни одного шага по земле, всплыл на скалу Самсона. Самсон едва успел, но все же успел поднять свой меч; навстречу оскаленной красной гортани он рубнул изо всей силы сверху вниз; но он был неопытен в этом деле — пантера метнулась всем телом в сторону, и удар пришелся в плечо, гораздо ниже рассчитанной цели, концом и боком, вполовину его настоящей мощности. Все же это был удар сильного человека; пантера взвыла, соскользнула с утеса на землю и лежала там, подняв голову и издавая рычание за рычанием; Самсон видел, что она готовится к новому прыжку.

— Никуда не годится эта игрушка, — сказал он пантере с большим отвращением на лице. — Лучше по-старому!

И, швырнув оружие далеко в глубину ложбины, он скрючился клубком, готовясь к прыжку. Пантера мгновенно взвилась на дыбы и подняла обе лапы, и в эту секунду Самсон выхватил из-за пояса мешочек и ловко вытряхнул порошок прямо в глаза зверю. Едкий запах горчицы разнесся в воздухе; пантера завывала и слепо ударила обеими лапами, — но Самсон пролетел у нее высоко над головой; в воздухе он повернулся, чтобы упасть лицом к ней, и, как только коснулся земли, тотчас же кинулся ей на спину. Дальше все было дело привычное и, когда меч больше не мешал, простое. Он продел руки под мышками пантеры и сплел их у нее на затылке; ноги просунул между задних ее лап и каждую из этих лап, почти у бедра, зажал в сгибе

своего колена. Хотя он действовал ловко и быстро, это все удалось не сразу: левой передней лапой она успела замахнуться назад — он едва поймал ее, над самым началом когтистой ступни, в руку и должен был долго и осторожно выворачивать свой локоть, пока добрался до подмышки; тогда он с быстротой мысли перебросил руку на затылок зверя и тесно переплел ее пальцы с пальцами правой руки. Ногам пришлось хуже, пантера успела разодрать ему левую икру. Теперь они катались по земле, чихая, рыча и воя так, что трудно было понять, который голос чей; но пантера уже ничего не могла сделать, только била когтями без толку по воздуху и разбрасывала комья земли фонтаном во все стороны. В ее положении было что-то странно похожее на котенка, которому привязали погремушку на хвост. Рев ее из яростного постепенно стал криком боли: Самсон медленно, раздвигая локти и спуская сплетенные руки вниз по ее спине, выламывал ей передние лапы. Это продолжалось долго; наконец послышался характерный треск суставов, и пантера взвывала тем голосом, каким кричат все большие звери от последней муки, — голосом, в котором уже трудно отличить породу животного. Передние лапы ее теперь болтались, как пришитые; она еще раз поднялась на задние, еще раз кинулась на спину, чтобы раздавить оседавшего ее дьявола; но уже пальцы Самсона с двух сторон душили ее глотку. Скоро замолкло и рычание, и вой; слышно было только хрипение задыхающегося зверя, грозное сопение человека со стиснутым ртом да мерные, тупые удары длинного хвоста.

Покончив, Самсон поднялся, пощупал искромсанную икру и пошел, прихрамывая, за мечом и кошельком. Меч он подобрал где-то в зарослях, положил на обе ладони и понес обратно к пантере, разглядывая блестящее, гравированное лезвие с пренебрежительно выпяченной нижней губою. Своим мнением он поделился с пантерой в следующих словах:

— И красть не стоило, и вернуть не жалко.

Солнце было уже довольно высоко.

— Поздно, — сказал он пантере. — Я бы взял твою шкуру, но нет времени — скоро эти пьяницы начнут просыпаться.

И он пошел обратно той же дорогой, подобрав по пути свой плащ, шапку и ножны. Скоро он был опять у пруда — там никого не было; он на минуту вошел по колена в воду, так как раны его ныли, и поспешил дальше. В филистимских домах уже хлопотали рабы; в кузнице звенел молот, мехи ухали; в предместье

стоял полный гам нищенского дня, и по всем улицам слонялись собаки. Перед забором блудницы он нашел одного из негров, отдал ему меч и сказал:

— Передай эту дрянь Ханошу из Экрона; предложи ему от меня новый заклад: он с мечом, я без — и я оборву ему уши.

Черный весело осклабился, а Самсон пошел, свистя жаворонком, по дороге в Цору.

Глава IV. БОЖЕСТВЕННОЕ

Госпожа Ацдельпони оказалась крупной барыней лет тридцати пяти, довольно хорошо сохранившейся: на вид, если судить по-теперешнему, ей было не больше пятидесяти. Дом ее стоял на окраине Цоры, поодаль, у самого спуска в долину; точнее, не дом, а усадьба со всякими пристройками. На дворе возилось человек десять прислуги, мужской и женской; когда левит оставился на пороге, хозяйка была одного из рабов по щекам, не так, как дерутся женщины, а наотмашь, и было видно и слышно, что на плотного туземца это производит большое и серьезное впечатление. На Махбоня тоже. Он выждал, пока она кончила, и только после этого подошел, учтиво кашлянул, представился, сослался на Самсона («я встретил твоего благочестивого сына в одном почтенном семействе по ту сторону долины, госпожа») и изложил свое дело. Ацдельпони подробно оглядела его с головы до ног; осмотрела также осла и глазами не только взвесила, но как будто и распаковала вьюк. Все это она проделала только по хозяйской привычке, ибо сразу, по речи гостя, поняла, что он человек образованный и, значит, не без основания выдает себя за левита. После двух-трех вопросов она повела его в божницу.

Под навесом, на чисто подметенном полу, стояли на каменных подмостках идолы разного роста; впрочем, самый высокий был не выше трехлетнего ребенка, но были и совсем малые куклы. Археолог нашего времени отдал бы полжизни за полчаса в этом капище. Бродяги и добытки по природе, дани-ты шатались по всей стране, многие служили матросами в Яффе и Доре: из каждой отлучки они, по-видимому, считали долгом привезти жене Маноя, первой даме их столицы, что-нибудь божественное, и коллекция в ее часовне отражала верования всего Ханаана, Заиордания, пустыни, Ливана, Средиземного побережья и Эгейских островов. Тут были Астарты рогатые,

Астарты с голубями, Астарты голые — но с надетой поверх рубашкой; была какая-то богиня с крестом в руке, другая с курчавой бородой; божок с рыбьим хвостом; два-три козлоногих идола с острыми ушами и рожками; теленок с облезлой позолотой и куском бирюзы во лбу; толстый сидящий мужчина с большим голым животом и огромными челюстями в непомерной голове; прекрасной работы девица из слоновой кости, с распущенными волосами и крылатая; страшная обезьяна с пуповиной, уходящей в землю; идол с головой ястреба; идол, стоящий на одной ноге, с хвостиком в виде пиявки; драконы и змеи; косматый получеловек в чешуе, безглазый, но с огромным глазом на груди; два голых красавца заморской работы, оприличенные шерстяными передниками; человечки с комариным жалом во рту. На особой подставке, задрапированной шелковыми покрывалами и шкурами пантер, стояли домашние пенаты грубой самодельной работы туземного мастера, числом семеро: двое мужчин и две женщины из красной глины, еще двое мужчин и одна женщина каменные; у одного из каменных мужчин на голове было нечто вроде туго набитого мешка, свешивающегося на спину — по-видимому, изображение гривы назорей. На той же подставке, в самой середине, красовался вызолоченный столбик вышиною по колено взрослому человеку, с верхушкой в виде закругленного конуса; в самое темя конуса была вделана довольно крупная жемчужина, а на передней части столбика висело ожерелье из разноцветных камешков. Левит набожко прикоснулся к ожерелью двумя пальцами, завернутыми в полу плаща, и пробормотал сложное заклинание.

Они быстро поладили: сговорились о жалованье, ложе и столе левита, а также о количестве ягнят, козлят и голубей для богослужения, трижды в году; условились, что жертвы будут приноситься только Иегове, перед золотым столбиком, а остальные владыки должны будут довольствоваться молитвами; и что мясо жертв будет считаться доходом жреца, но шкурки поступают обратно к хозяйке. Помимо священнослужения, левит обязался также вести запись событий, касающихся Маноева дома и в особенности Маноева сына.

Ацдельпони, по-видимому, очень гордилась своим сыном; но в ее изображении он мало был похож на вчерашнего Самсона из Тимнаты. Ее сын — молчаливый, медлительный юноша; никогда не улыбается, разве только при встрече с отцом, которого он очень любит и почитает, хотя тот ему ростом не доходит и до подмышки. Работать Самсону не полагается; от соседской

молодежи обоего пола он сторонится: все время проводит или один, лежа на песке в долине у колодца, или по вечерам у городских ворот, прислушиваясь к разговору стариков. Часто совсем уходит из города, куда — не говорит, но всегда назначает время возвращения и возвращается точно вовремя; иногда, по-видимому, с охоты — приносит оленя или шкуру дикого зверя. Много ест, но, конечно, не пьет ничего, кроме воды и молока. Хороший, скромный, богобоязненный юноша; все женщины Цоры завидуют его матери; все девушки на него заглядываются, но ни одна не решается с ним заговорить. Правда, в детстве с ним было трудно. Страшный был драчун; каждый день прибегали с воем соседки то из женщин Дана, то туземные — жаловаться на его подвиги, и приводили (иногда приходилось и приносить) своих мальчиков с подбитыми глазами, раздавленными носами, с изъязнами в зубах, с вывихнутыми руками или ногами. Она, Ацдельпони, пробовала его стегать (сам Маной для этого дела не годится); но однажды, в десятилетнем возрасте, он спокойно отобрал у нее прут, взял ее в охапку, отнес в комнату и там оставил на постели, не произнеся ни слова — только посмотрел на нее внимательно и этим взглядом отбил у нее охоту к воздействию на его поведение. После этого случая он, однако, прекратил свои похождения в Цоре и тогда и начал уходить из дому. Родителям скоро донесли, что теперь он подружился с филистимскими мальчиками в селениях, что лежат по дороге к Тимнате, и колотит их нещадно; но филистимские дети — другое дело, они спокойно несут свои синяки, не обижаются и не посылают матерей жаловаться, что гораздо удобнее для семьи; хотя, с другой стороны, мальчик иногда возвращался из этих экспедиций прихрамывая или с багровыми шишками на лбу. Станным образом — непонятное племя филистимляне — эти драки только скрепили его дружбу с их молодежью, и теперь у Самсона в Тимнате и даже в Гезере прочные связи с лучшими домами.

— Верно, — подтвердил Махбонай, — я сам это видел. Замечательный, обходительный юноша; Господь отличил и благословил тебя между женами, Ацдельпони; сын твой — великая надежда для всего племени Дана.

Она помолчала и потом ответила, понизив голос:

— Может быть, для всего Израиля. Я сама иудейка; я родом из Текоа. Что такое Дан? Самое жалкое из колен; почти без удела, народу много, жить тесно; каждый год старшины сходятся тут в Цоре судить и рядить, куда бы деться, — и ни до чего

додуматься не могут. Послезавтра опять такая сходка: сам услышишь. Дан — мелочь; угнездился на окраине израильской земли, словно кучка нищих у порога богатого дома. Не ради Дана послал мне Иегова такого сына.

И, еще тише, она рассказала левиту, что случилось ровно за девять месяцев до рождения Самсона. То был вообще замечательный и грозный год — весь Ханаан его помнит: в летний полдень задрожала земля и стали валиться дома. Вскоре после этого явился ей некто неведомый, ростом великан и видом посланец Божий, у колодца в долине рано-рано до зари. Ей в ту ночь не спалось, было очень душно; она выскользнула из дому и спустилась к колодцу с ведром, облиться холодной водою: она была еще очень молода и часто делала необычные вещи. Незнакомец явился из гущи зарослей; его голос был подобен шуму ветра в листве, говор не похож на здешний да она и не помнит, какие слова он говорил. Голова ее кружилась, сердце стало; она поняла, что сам Иегова с нею, и потеряла сознание. Когда очнулась, ангел уже исчез; но в ее сознании звучали пророческие слова, которые он шептал, должно быть, в ее беспмятстве, — о том, что сын ее будет великим слугою Божьим. Она взбежала на гору, разбудила мужа и, плача у него на коленях, рассказала ему. Маной долго молчал и гладил ее по голове; молчание встревожило ее — она боялась, что он недоволен пророчеством, что это вмешательство нездешней силы в их семейную жизнь пугает его, и она спросила:

— Разве ты не хочешь, чтобы сын Маноя стал спасителем народа?

Тогда он ей ответил:

— Было бы лучше, если бы ангел явился после рождения сына — и ко мне, а не к тебе, и рассказал бы толком, в чем дело.

Она с ним поссорилась, и он, позвав любимого раба, ушел из дома на весь остаток ночи и на целый день. Ко второй полуночи он вернулся один, усталый, голодный, изодранный в клочья, с кровью на лице, и рассказал, что напали на них разбойники, его ранили, а раба и совсем убили. И она ему ответила:

— Это Иегова наказал тебя за то, что ты не рад его знамению.

Тогда они помирились и зачали сына в великом счастье.

Ацдельпони сильно побледнела, рассказывая вполголоса эту историю; она смотрела прямо перед собою, глаза ее странно светились в плохо освещенной божнице, и несколько раз дрожь пробежала по ее плечам. Видно было, что она всей душой

верит в каждое слово — не только ангела, но и свое. Махбонай слушал, склонив голову набок, и только раз искоса, но пристально взглянул на нее и увидел сквозь морщины и огрубелую кожу, что в юности, вероятно, эта женщина была хороша собою; после этого он настойчиво смотрел в потолок. Когда она кончила, он сообразил, что надо сказать что-нибудь соответственное, и, покивав головою, отозвался:

— Такие случаи известны, госпожа. Конечно, я понимаю твоего почтенного мужа: когда перед зачатием сына к матери является ангел — это всегда предвещает много беспокойства и для семьи, и для народа. Но, с другой стороны, если Господь решил возложить на вас обоих это почетное бремя — несите его, радуйтесь и гордитесь.

После этого, закусив, Махбонай отправился осматривать Цору. Городок был меньше и беднее Тимнаты; здесь туземцы тоже ютились на окраинах, но и в средней части, где жили даниты, дома, за немногими исключениями, производили впечатление хижин. Вообще не было впечатления двух миров, победоносного и покоренного, отрезанных друг от друга. На улице ребяташки Дана играли в ловитки с толстогубыми и пучеглазыми детьми ханаанейской расы; женщины обоих племен были почти одинаково одеты и одинаково неряшливы и переговаривались или бранились между собою без всякого признака высокомерия, с одной стороны, и приниженности, с другой. Мужчин не было видно — они ушли на работу в поля и виноградники. Махбонай, однако, разыскал несколько лавочников и сбыв им, после подробного торга, добрую часть своих товаров, как благоприобретенных, так и доставшихся ему в ту ночь.

* * *

В доме Ацдальпони, вернувшись, он застал и Самсона, и Маноя. Маной был человек чистенький, невысокий и худощавый, со старым шрамом на лбу, довольно пожилой на вид, достаточно приветливый, но не очень общительный; он расспросил Махбоная, как вежливый хозяин, кто, как и откуда, но о божнице не упомянул — очевидно, эти вещи его не занимали; получив ответы, он кивнул головою, отошел в сторону и заговорил с сыном оживленно и по-дружески. Самсон внимательно слушал; отвечал односложно или только мотал головою. Из слов его матери левит уже успел сообразить, что вчерашний знакомец его Таиш и молодой назорей из Цоры — два разных

человека; но все-таки ему казалось невероятным, что на этой самой копне волос, сегодня тщательно причесанной и наново заплетенной в косицы, вчера вечером сидела пестрая шапка с перьями, что эти сжатые губы накануне корчились от хохота и метали остроты и ругательства. Махбонай бен-Шуни, однако, еще с детства заучил основное правило жизни для лиц духовного сословия: «не твоё дело». Он поздоровался с Самсоном почти как с незнакомым.

Когда стало смеркаться, левит вступил в отправление должности. Ацдельпони созвала на торжество нескольких соседей познатнее; все пришли охотно, так как уже всюду прошел слух об ученом колдуне. Хозяева и гости расселись на дворе перед навесом; за ними столпилась дворня Маноя. Левит еще заранее сложил кубический алтарь перед золотым столбом и пенатами. Он оделся в длинный белый халат; ловко свернул шею двум голубям; кокетливо оттопырив мизинцы, оторвал головки; побрызгал кровью над алтарем и вокруг; вообще показал себя человеком искусным. Заклинания его произвели тоже сильное впечатление: в них было много непонятных слов на чужих языках, и пел он очень трогательно. Между молитвами он ритмически двигался вокруг жертвенника и приседал перед образами. В заключение он произнес, стоя лицом к золоченому столбику, особое моление на местную тему; причем слушатели с должным благоговением отметили, что он не называет Иегову по имени — они слышали, что так и принято у настоящих левитов.

— Господин, — полупел Махбонай бен-Шуни, — здесь ты царишь, окруженный пенатами дома сего, а в углах, поодаль от твоего эфода, столпились твои завистники, боги Моава и Кафтора, и Ханаана и Хета, и Куша и Мицраима. Не гневайся на них, Господин, ибо час их еще не прошел, и они еще правят, каждый в своем участке. Потерпи, великий и ревнивый Господин: скоро твой народ, как песок от обвала с горы, расползется по всей земле, и тогда ты будешь один и не будет другого.

В тишине что-то прошептала или простонала Ацдельпони. Левит продолжал:

— И обрати свою милость, о сильный среди богов, на этот город и на все племя Дана, рабов твоих; пошли им урожай и мир и отврати от них войну и болезни. Также взгляни ласково на людей дома сего — на раба твоего Маноя, сына Аллонова, мужа глубокой и тихой мудрости, хранящего тайны в смирении; на рабу твою Ацдельпони, дочь Гизри из Текоа, что

в уделе Иуды, жену, воспламененную для служения тебе на путях странных и непроторенных. И на ее сына, юношу с медными плечами, одаренного силой такою, как будто в груди его не одно сердце, а два, — на твоего назорея Самсона взгляни милостиво и помоги ему нести две жизни его, каждую в свое время и в своем месте, и обе во славу твою.

После этого он напомнил Иегове историю рождения Самсона, в той форме, в которой обычно излагается эта история. Явился ангел к жене и сказал: ты зачнешь и родишь сына. Жена тотчас побежала и известила мужа своего. Маной встал и пошел к тому человеку, и взял козленка и хлебное приношение, и вознес Господу на камне; а ангел поднялся в пламени жертвенника.

Раннее жизнеописание молодого назорея было также доложено Иегове на основании данных, сообщенных давеча его матерью: младенец рос, и благословил его Господь, и начал дух Господень действовать в нем — сначала в стане Дановом, а впоследствии и дальше, между Цорой и Эштаолом и даже до самой Тимнаты.

Глава V. ВЕЧЕ

Цора была вся обведена каменной стеною; стена была не очень внушительная, разной высоты и толщины в разных местах; некоторые дома, в том числе дом Ацдельпони, примыкали к ней и имели свои частные выходы наружу. Главные ворота находились тогда приблизительно с юго-восточной стороны города, и перед ними была широкая немощеная площадь. Тут и собралась сходка старшин. Все поселения колена Данова прислали делегатов. Кроме старост, людей пожилых или седых, прибыло много другого народу: военные атаманы, охотники, представительство от яффских матросов, несколько десятков бродяг, слепых и других нищих. Человек двенадцать всклоченных оборванцев, почти голые и невероятно тощие, держались отдельно от толпы; вожак их был крикливый и раздражительный старик, остальные — почти мальчики; народ от них сторонился: они с раннего утра уже кого-то избили неизвестно за что; кроме того, с одним из этой группы случился на площади припадок падучей болезни, причем остальные стояли вокруг и что-то пели, приплясывая на месте. Это была банда дервишей, так называемых «пророков» из пещерного скита где-то вблизи Модина; никто не знал точно, чего они хотят,

и общаться с ними считалось неприличным и опасным делом, хотя милостыню им подавали охотно. Воины привели с собой оруженосцев; некоторые из старост и почти все нищие пришли с женами и детьми. Площадь перед воротами была переполнена.

Точного разделения на участников сходки и посторонних зрителей не было; просто кто старше или кто внушительнее на вид, те сидели на земле или стояли ближе к центру, остальные толпились вокруг. Мальчишки, по вековечному обычаю, висели гроздьями с крыш соседних лачуг; некоторые вылезли на городскую стену или на ворота. Внешнее кольцо составляли женщины, из Цоры и чужие; но в подаче голоса, то есть в ропоте и крике, они принимали участие на равных началах с остальной публикой.

Много было на площади и туземцев, жителей Цоры; по их размещению, позе и настроению приглядчивый наблюдатель мог бы построить всю картину взаимоотношений между обеими расами. Большинство столпилось поодаль, в одном из углов площади, — не демонстративно поодаль, а просто как любопытствующие, но не желающие быть назойливыми зрители. Но в кольце женщин-даниток можно было заметить немало типичных ханаанейских профилей: это были вторые и третьи жены, наложницы, тещи, золовки — предвестницы начинающегося растворения легкомысленной туземной расы в острой и густой крови угрюмого колонизатора. Процесс только начинался, эти женщины чувствовали себя еще не совсем как дома, не кричали вместе с другими и даже в толпе старались быть поближе туземка к туземке; но сами данитки их не выделяли, и вообще никто не обращал на инородцев особенного внимания. Ясно было, что люди друг к другу привыкли, свыклись с точной мерой близости и точной мерой отчужденности — что это эпоха какого-то безболезненного и незаметного перехода.

Сходка началась с обряда: Махбонай бен-Шуни зарезал ягненка и пропел длинный молебен. Сборище следило за его техникой с великим вниманием, и старики одобрительно кивали. Благолепие несколько нарушил пророческий вожак, который все время что-то злобно кричал, по-видимому, восставая против языческой наглядности богослужения; но так как ему никто не помогал и не мешал, выкрики его можно было, в конце концов, принять и за аккомпанемент, нечто вроде антистрофы к строфам левита — вероятно, так его и поняло большинство собрания.

Сейчас же после молебствия начались разговоры. Установленного порядка не было, не у кого было просить слова, но была естественная дисциплина робости и сознание, что сборище хочет слушать только старейших и известнейших людей. Первым выступил староста из Айялона, человек лет шестидесяти, но еще бодрый; он опирался на копьё с наконечником из козьего рога. Вся его речь была посвящена одной теме: жалобам на земельную тесноту. Почти на каждую фразу толпа откликалась то оханьем, то подтвердительными возгласами.

— Дан — словно подкидыш среди колен, — говорил он. — Земледелец не может выделить сына, даже если невестка строптивая женщина и свекровь с нею не ладит. Соха на соху насккакивает; не проходит жатвы без обвинений, что сосед у соседа передвинул межевые столбы, и часто это кончается дракой и убийством. Пастуху некуда выгнать стадо; приплод стал проклятием Божиим вместо благословения. Молодежь из Айялона уходит продаваться в рабство к Вениамину и даже к иевуситам; в рабство, и еще хуже — в батраки, в наемники без роду и без кровли над головой. Скоро в земле Дана поднимется брат на брата; женщина будет хвалиться перед женщиной: «Я зашла насмерть двух младенцев, а ты только одного». Скоро нужды не будет молодым дворянам из Вениамина красть у нас девушек — матери сами поведут дочерей на рынок в Гиву.

Женщины в толпе застонали и ударили себя кулаками в груди; а левит про себя подивился: «Дикари, а говорят гладко».

Второй оратор был из Модина; он горько жаловался на высокомерие заносчивого соседа — Ефрема.

— Ефремяне гордятся завитушками на столбах, подпирающих крыши Сихема, Галгала и Силома, гордятся вышивкой на рубашках из тонкой шерсти и бренчащими серьгами в ушах у женщин. Словно они сами все это выдумали и сделали, словно мы не знаем, что они подглядели обычай Дора и подражают ему — а у самих нет суда в стране и в каждом городе каждый год новый староста. Зато земли у них сколько угодно, нет им границы ни на севере, ни на востоке: от села до села день пути; колодцы их неглубокие, ручьи текут круглый год. Но когда Шафал, сын Аммирава, пошел к ним просить, чтобы продали ему участок близ Тимны Сераховой, они отказали с насмешкой — ответили: «Дикарей нам не нужно в земле Иосифа».

На этот раз глухо и гневно заворчали мужчины, а вожак пророков крикнул:

— Ефрем гниет в разврате!

Из толпы ему кто-то ответил:

— Лучше гнить на просторе, чем задыхаться в тюрьме, как мы!

Выступило еще несколько старейшин, но говорили они то же самое. Злоба на богатых, многоземельных соседей, Вениамина и Ефрема, звучала в этих речах, быть может, даже громче, нежели горечь собственной тесноты. Тощий купец рассказал, что каравану из Дана или в Дан не дают проходу ни мимо Сихема, ни за Айялоном: если не грабят, то взимают непомерные поборы. Уже гораздо выгоднее гнать верблюдов через филистимскую землю: там порядок, в каждом городе стража, размер подати и взятки установлен раз навсегда — купец может учесть. Зато резко и грубо, с обилием непристойностей, бранил филистимлян оборванный и загорелый бородач, лодочник из Яффы. Хоть он, конечно, и не принадлежал к знати, его слушали потому, что он был родом из Цоры. Он долго и бессвязно выкрикивал о том, как морят голодом и побоями гребцов на тамошних галерах, как навьючивают на одного грузчика ношу, от которой заклокотала бы глотка верблюда, и что говорят филистимляне об Израиле вообще. Но эта речь не произвела большого впечатления; в толпе закричали:

— Вениамин и Ефрем хуже Кафтора!

После этого выступления сходка перемешалась; разбилась на кучки, и в каждой кучке сразу говорило по несколько человек. Это все было в порядке кучки, вроде перерыва для выяснения настроений. Настроение действительно сгустилось; на лицах у мужчин читался хмурый гнев, у женщин — раскаленная ярость; над площадью стоял недобрый гул очень раздраженной толпы, и туземцы на окраинах стали переглядываться и перешептываться, советуясь, не благоразумно ли было бы им ступать. Вдруг толпа начала стихать: на середину круга выступил очень седой старик, чрезвычайно дряхлый — два взрослых сына помогли ему подняться и все время поддерживали его с обеих сторон. Он был уже беззубый и говорил невнятно; тем не менее слушали его с большим вниманием; после каждой фразы он останавливался, чтобы и самому отдохнуть, и дать время ближайшим слушателям повторить его слова полупшепотом для тех, что стояли подальше. Но его речь была очень коротка.

— У Ефрема есть о нас ходячая насмешка: «Дан судит и рядит». Некий образ, который наделяли способностью предсказывать будущее. В который это раз мы говорим на сходке все о том же? Когда я был молод, люди не жаловались, а вставали

и делали дело. Я теперь стар и слеп, ничего не вижу, дать совет не могу; но почему никто из вас, молодых вождей, не скажет прямо, что надо сделать?

Толпа долго молчала; потом выступил опять оратор из Модина. Это был человек тщедушный, но с очень резким и пронзительным голосом и, по-видимому, запальчивый. Он сразу поднял оба кулака над головою и больше уже не опускал рук, а только потрясал кулаками во все стороны. Он кричал:

— Колена Израилевы обманули нас. Обобрали. Чем лучше Дана Ефрем? За что достались Вениамину горные луга и леса у Иерихона? Где правосудие? Наши воины стали бабами; набрали жен из побежденных туземцев и сами превратились в покоренное стадо. Даном правят женщины — чужие женщины! Когда северянам приходится туго от сидонских колесниц, они посылают к нам гонцов — с приказом от женщины, от ефремлянки: «Придите воевать за нас», — и еще обижаются, если мы не так быстро откликнемся. Когда у Иуды ссора с Вениамином из-за того, что в Гиве обидели Вифлеемскую распутницу, Иуда зовет нас на помощь. А что нам досталось в уплату? Когда мы просим о земле и предлагаем за нее серебро и скот, нам отвечают: вы дикари, ступайте прочь. Старый Шелак, сын Иувала, отец вождей из Шаалаввима, — единственный мужчина среди нас; он сказал правду: нечего судить и рядить, надо дело делать. А какое дело? Это ясно: один полк из Модина — в пределы Ефрема, другой полк из Айялона — в гости к Вениамину. Заберем силой то, чего не хотят нам отдать добром. Это — наше! Нас обобрали...

Тут его голос утонул в кликах собрания. Еще с середины его речи все поняли, куда он гнет, и с разных сторон слышались сочувствующие возгласы, топот ног, хлопанье в ладоши. К концу это перешло в общий рев: даже дети что-то вопили и грозили кулаками; даже туземцы, видя, что буря дует не в их сторону, приободрились и стали поддакивать вполголоса. Дан нашел корень своей беды, увидел пути спасения; заветное слово «нас обобрали», слово, испокон веку рождавшее гражданскую смуту и междоусобную резню, осветило им тайники их собственной души: в тайнике, на самом дне, издавна дремала, свившись колечком, главная сила мирская — зависть родича к родичу, и теперь она подняла голову, выпустила жало и зашипела.

Тогда на середину круга вырвался вожак пророческой шайки; четверо из его последователей выбежали за ним и сейчас же сели на землю у его ног, с четырех сторон; они горящими

глазами смотрели на толпу, словно ожидали нападения. Но никто и не думал их тронуть; напротив, круг даже раздался, точно в испуге, и скоро водворилось молчание. Среди этой тишины старый отшельник начал выкрикивать надорванным, как будто не своим голосом отрывистые возгласы; и после каждого возгласа ученики у его ног и остальные ученики, скопом стоявшие неподалеку, отзывались хоровым завыванием.

— Все вы лжете! Ефрем хуже Кафтора, Вениамин гаже Египта, но Дан развратнее всех! Тесно вам потому, что вы строите дома. Вы делите поля и виноградники и стада на мое и твое. Где есть «мое» и «твое», там всегда тесно! Мы, Божьи дети, живем у Иеговы в пещере; оттого нам не тесно. Мы делимся каждой пригоршней дикого меду; оттого у нас всегда вдоволь. Вам нужны купцы — они привозят вам тонкую ткань и побрякушки; мы одеты в козью шкуру — от издохшей, не от зарезанной козы. Вам нужно место для божниц, много места, целые площади, чтобы просторно было и Ваалу, и Астарте, и Ашере, и Кемошу, и Молоху; и потом еще нужно место для домашних болванчиков, по одному на каждого деда и каждую бабу, и отца, и мать, и всех сыновей, и дочерей, и внуков; и среди всей этой гадости еще надо поставить голый чурбан, мерзость из мерзостей, образ всех распутств от Мофа до Силен — и называть его богохульственно эфодом Иеговы. Оттого вам не хватает земли! Нам, детям Божьим, ее достаточно: Иегова отдал нам все пещеры, а сам живет везде и нигде, а Кемоша и Астарты нет, как нет и вчерашнего дня. Оттого нам просторно: учитесь жить по-нашему, будет просторно и вам.

Все это было далеко от жизни, и толпа не очень понимала, что, собственно, он проповедует; но они его слушали с жутким благоговением дикаря перед зрелищем безумья и беснования. Мужчины смотрели на него исподлобья; женщины даже пригорюнились, и где-то заплакал грудной младенец. Но вторая половина речи оказалась яснее.

— Нельзя Дану идти на Ефрема, ни воевать с Вениамином. Я буду плясать от радости, если сгорят ваши дома; но Израиль — дом Божий, он должен стоять во веки веков, пока не войдут в него все народы. Внутри дома Иеговы да не будет ни копыя, ни стрелы, ни пращи, ни крови. Если уж стосковалась ваша волчья глотка по крови, ступайте пить за порогом Божьего дома. Вон, через долину, развалился на пуху пьяный филистимлянин: играет на лютне, молится, зевая, то акуле, матери отцов его, морских разбойников, то комару и оводу, царям заразы

и мора; пьет сладкие вина и закусывает туком побережных племен, — а их превратил уже в скот для упряжи, выюка и убоя. Идите войной на Пять городов! Саронская равнина тучнее горы Вениаминовой; воды Яркона богаче сихемских канав. Но вы трусы, вы боитесь стального меча и колесницы; легче убить брата — он доверчив, он не поставил часовых на границе, — чем врага, который насторожился у заставы. Трусы! Развратники! Помесь хеттейская! Помет аморреев! За одну мысль о резне во Израиле да пошлет на вас Иегова голод и пожар, и чуму и проказу, и...

Пьяная слюна давно капала с его грязной бело-рыжей бороды; он хрипел и пошатывался и в конце концов захлебнулся и упал на руки учеников. Они его унесли в тень и стали поить водою. Сходка молчала, глубоко подавленная. Вдруг в ней почувялось движение — кто-то расталкивал толпу. Махбонай бен-Шуни посмотрел в ту сторону и в первый раз в тот день увидел Самсона. Ничего не говоря, не толкаясь локтями, а просто раздвигая широкоплечих мужчин, как пловец воду, мерным движением ладоней, назорей прокладывал себе дорогу к центру. По следу его, словно по тропинке среди человеческой гущи, пробирались один за другим человек двадцать молодежи, все, как на подбор, рослые и плечистые, и все с каким-то задорным вызовом на лице. Сообразительный левит вспомнил шутку, подслушанную на той пирушке: «шакалы», и подумал: «Они скорее похожи на волков».

Самсон неторопливо вышел на середину круга. Это было против обычая: юноше, у которого только начала пробиваться борода, не полагалось говорить у городских ворот. Но всем стало сразу ясно, что его надо выслушать, и не только потому, что Цора и весь округ его знали, а на остальных произвел впечатление его рост и назорейские косы. Тут действовало что-то другое; в памяти Махбоная живо всплыла минута, когда Самсон играл на любую ставку с Ханошем из Экрона и глазами словно диктовал ему, какое число назвать, диктовал так внятно, что всем присутствующим хотелось выкрикнуть ту же цифру. Левит опять почувствовал то же: как будто и ему, наряду со всеми остальными людьми на этой площади, кто-то что-то непререкаемо повелед, стукнул по темени, воцарился и подчинил все мысли.

Сначала ему показалось, что Самсон говорит другим голосом, не тем, что на попойке в Тимнате (в Цоре за все эти дни юноша едва ли произнес при нем десять слов); но постепенно

он стал улавливать знакомые оттенки. Только на пиру эти гулкие ноты производили впечатление рявканья; здесь же было ясно, что Самсон говорит без усилия, не громко и не тихо или и громко и тихо в одно и то же время. Кто скажет, громко или тихо шумят колосья под ветром? Это шепот, но он слышен издали. Земледельцам этот голос напомнил ниву, морякам прибой, пророкам — бури в ущельях, пастухам бычий рев, матерям блаженное мурлыканье ребенка у груди, каждой девушке голос жениха, которого она смутно ждала; все они слушали его не ушами, а изнутри, и все покорились еще до того, как поняли. Но и понять было легко — речь была простая, отчетливая, без вступления, без извинений за молодость говорящего, прямо к делу.

— Все эти замыслы нам не под силу. На филистимлян идти мы не можем. Глава сынов пророческих высказал правду: конечно, мы боимся их колесниц и железных мечей; еще страшнее их боевое искусство; то, что каждый воин — как палка в руке десятника, десятник у сотника, все вместе — в руке у сарана. Нас много, филистимлян мало; но что сила против ума и порядка? Против колен Израиля тоже нельзя нам восстать. Вениамин ужасен в бою, но еще горше его коварство: ночью, пока наши воины будут искать его полчища по горам, он проберется кривыми путями в наш город и, как козлят, перережет и женщин, и детей, а дома сожжет. У Ефрема три головы на каждую нашу голову; и в боях с Сидоном и Дором он взял в добычу много медных копий, а луки его сделаны из ливанского дерева, и мечут они дальше наших. Но если бы и равны были силы, нельзя отбирать землю колену у колена. Слепой плетется, ощупывая палкой на шаг перед собою, а что дальше — не знает; может быть, яма. Зрячий видит весь путь до конца. Еще придет пора, много лет после нас, когда двинутся к морю и Дан, и Ефрем, и Вениамин, и даже расчетливый Иуда, все заодно; тогда придет конец и Пяти городам, и Акке; и нельзя нам сеять мщение между соратниками завтрашнего дня.

Солнце стояло высоко на юге; Самсон повернулся к нему спиной и указал левой рукою прямо вперед.

— Изберите двенадцать человек опытных и верных. Пусть будет в их числе земледелец, и пастух, и охотник, и торговец, который знает чужие языки; и пошлите их на север, за пределы Ефрема, за пределы Нафтали, искать новую землю. Там, говорят, много воды и лесов, а туземец ленив, и пуглив, и неразумен. Два удела у Менассии; будет два удела у Дана.

Прошла минута после того, как Самсон, покончив, отошел и сел на землю среди своих «шакалов»; но толпа еще прислушивалась — не к смыслу, а к мягким раскатам его голоса, каждый в своей душе. Опомнившись, закричали восторженно мужчины, закивали головами старики; женщины молчали, широко распахнув веки, полуоткрыв губы, иные бледные, иные с горящими щеками, все вдруг обессиленные, опустошенные до дна — словно изнуренные любовью. Но и мужчин захватило обаяние большого человека. Из забытых подвалов сознания взвилась, опьяняя, вечная тоска о царе, тайное томление всякой массы — верить, не думать, сбросить муку заботы на одни чьи-то плечи; первозданный инстинкт стадного зверя — буйвола, гориллы, муравья и человека: вожак! Многим из них, вероятно, было знакомо смутное предание о Моисее; несправедливая повесть, где перечеркнуты сотни имен подстрекателей, повстанцев, организаторов, учителей, строивших народ из рабьего сброда в течение века и дольше, — все перечеркнуты во славу одного имени; повесть несправедливая, но убедительная.

После сходки женщины обступили Ацдельпони; две старухи распахнули ее платье на груди и поцеловали сосцы, вскормившие такого сына. В это же время Самсона окружили старейшины всех городов Дана; у каждого была та же просьба — посетить их округ после жатвы и разобрать трудные тяжбы. Самсон коротко сказал: «Приду», — опять раздвинул толпу и ушел со своими «шакалами».

Глава VI. СВОЯ И ЧУЖАЯ

Земля уже совсем просохла, прокалилась, стала твердая под пылью. Самсон шел по меже мимо виноградников и думал о женщинах. Накануне вечером мать говорила с ним о том, что пора жениться. Маной тоже был при беседе, но не вмешивался и только покрякивал. Ацдельпони перечислила несколько подходящих невест, но самая подходящая была одна: ее звали Карни, дом ее отца был неподалеку, и за ней числилось столько-то овец приданого — Ацдельпони знала число наизусть. Кроме того, Карни была из первых красавиц города и спокойная, скромная, прилежная девушка.

— И ты сам знаешь, что она в тебя влюблена, — прибавила мать.

Самсон этого не знал — никогда об этом не думал. Давно, в детстве, он был дружен с этой Карни в том смысле, что переставал колотить ее братьев, когда она плакала, и раз подарил ей живого кролика. Но тогда она была совсем еще малюткой. Вот уже много лет, как он не обменялся даже словом ни с нею, ни с какой другою женщиной в Цоре, кроме «здравствуй». Иногда она с матерью приходила в гости, но тогда они сидели в женской половине дома, и вообще все это не касалось Самсона.

Самсон шел по меже и думал о ней; слово «влюблена» волновало его. Сто раз он слышал и сам произносил это слово, но то было в Тимнате; там почти все остроты его собутыльников были на женскую тему, и остроты Самсона были часто самые соленые; и служанки в доме Дергето ни в чем ему не отказывали, даже когда у него не оставалось, после игры, ни одного кольца серебра! — хотя последнее бывало редко. Но то было в Тимнате, в другой жизни. На земле Дана это слово, «любить», было ему незнакомо; оно его обожгло, замутило в его душе какие-то тихие воды и подняло со дна образы, о которых он никогда раньше не думал. Он медленно шел вперед, но ему казалось, будто он стоит у берега тихой воды и смотрит на выплывающие фигуры. Вот выплыла Карни, сначала только намеком, потом отчетливо до мелочей — он сам не знал, что так хорошо помнит ее облик. Очень белое, очень бледное лицо; гладкие черные волосы вдоль всей спины; темные глаза в целой роще ресниц, и тень от ресниц на щеках; пестрая лента вокруг головы, на ленте кисейная чадра, откиннутая назад; белое льняное платье с кушаком из привозной парчи, с открытой шеей и открытыми руками до плеч, и на две ладони только ниже колен; ни запястья, ни ожерелья. Такой он видел ее на празднике после уборки снопов в прошлом году — он теперь вспомнил; и вспомнил тоже взгляд ее, совсем прямой, пытливый, без робости и без улыбки. Она была очень хороша собою; Самсон почувствовал, что ему стало жарче и труднее дышать, будто на крутой тропинке. Он тряхнул головою: тихая вода, в которую он смотрел, вдруг опять замутилась, словно семь его косиц разом ударили по ней; образ Карни закачался, разбился и опять начал медленно складываться — но по-другому. Другие глаза — серо-зеленые, не с одной искрой, а как будто с тысячей, как обломки малахита под солнцем. Волосы стали рыжие, пушистая прическа вокруг головы — лицо выглядывало из них, как будто из окошечка; смеющееся лицо, чуть-чуть румяное,

в ямочках, с полуоткрытыми губами. Платье было темное, до подбородка и до земли, с длинными рукавами, но шитое так и так надеется, что прежняя девушка в белом казалась больше прикрыта. Новая девушка тоже смотрела на него, но в ее взгляде был не допрос, а только веселый задор и вызов. Самсону почудился голос, который всегда смутно поражал его богатством интонаций, даже когда произносил только два слова: «Я боюсь!»

По-настоящему они познакомились ровно год тому назад. Самсон шел к южным воротам Тимнаты; у пруда стояла рыжая девушка, спиной к нему, нагнувшись и глядя на что-то в земле. Он ее знал по виду, она его тоже, как и все в том городе, но до тех пор Самсон встречался только с мужской молодежью филистимлян. Заслышав его шаги, она оглянулась и поманила его. Он подошел. Прямо перед нею, под пересохшей, окаменелой красноватой землею, что-то творилось: плотный кусок величиной с две ладони слабо колыхался и давал трещину за трещиной. Девушка схватила руку Самсона и пропела:

— Я боюсь! Что это?

Она говорила на общем языке Ханаана, как и вся Тимната и вся Цора; другого она не знала — старая филистимская речь сохранилась еще только в Газе, да и там вымирала. Но выговор ее был особенный; он всегда производил на Самсона такое впечатление, словно высшее существо, княжна или царица, снизошло к косматому говору дикарей.

— Это игуана, — сказал ей Самсон. — Во время дождей она спит под землей, а теперь пришла ей пора идти на охоту. Она не кусается, не бойся.

Через минуту из трещины высунулась серо-зеленая мордочка огромной ящерицы. Она колотилась черепом, во все стороны расширяя дыру; уже видно было, как под землею работали ее плечи и лапки. Девушка все время держала Самсона за руку; ему было жутко, неловко и приятно. Когда лапки показались наружу, он быстро нагнулся и протянул свободную руку вниз.

— Не убивай ее, — сказала девушка; ее пальцы, удерживая, крепко прижались к его кисти. Самсон ответил:

— Ничего с ней не случится.

Он щелкнул ящерицу по темени, а потом раскопал глину и вынул оглушенного зверька из норы. Игуана была длиною в локоть, вся одноцветная.

— Хочешь, — сказал он, — я отнесу ее к тебе в сад и накопаю червей, пока она очнется; тогда она останется жить в саду.

В саду к ним подбежала ее черноволосая сестра; потом подошли обе матери посмотреть на диковину, одна важная, барственная, другая в запачканном платье и с визгливым голосом. Они скоро ушли, но Семадар и Элиноар велели Таишу остаться, и он долго рассказывал им о зверях. Крокодила он сам не видел, нет; крокодил живет ближе к устью Яркона, а так далеко он еще не бывал. Ящерица, которая кричит «гик-гик» по ночам, — маленькая и совсем не страшная. Змея тоже не страшна, только надо уметь сразу стукнуть ее палкой по голове, едва она станет готовиться к прыжку. И волки — мелочь, волка можно просто придушить двумя пальцами. Гораздо хуже кабан; но самый трудный зверь — медведь, на него не стоит идти без копыя; если затеять рукопашную, это будет очень долго, и в конце концов прибежит медведица. Льва он однажды убил большой дубиной в горах за Айялоном, но после этого целая деревня иевуситов сбежалась целовать ему ноги, и от них так невыносимо пахло, что он не любит вспоминать об этом приключении.

К концу рассказа они подружились, и девушки заставили Самсона показать им свою силу. Он проделал все, что полагалось, перегрыз цепочку, сломал двухвершковую балку о колено, посадил на плечи двух рабов, третий уцепился на спине, а еще двух он взял под мышки, и прочее. Семадар вскрикивала и хлопала в ладоши, Элиноар молча не сводила глаз и старалась держаться к нему поближе.

Потом было много разных встреч; потом была та лунная ночь, когда Семадар подарила ему час тайком у пруда. «Только не делай мне зла, шепнула она, смеясь, — от головы до сих пор я твоя, не дальше». Она указала на свой шелковый пояс, туго стянутый; пококетничала, отмахиваясь, еще несколько минут, а потом сама научила его, как отстегнуть брошку на ее левом плече, и прибавила: «Глупый — наши юноши все это знают». Ему стало тяжело от этой шутки, но потом он опьянел и все забыл, кроме ее наказа — до сих пор и не дальше; он всегда ее слушался.

— Ты грабитель, ограбил у меня полплатья, — шептала она ему губами в губы.

— Я тебе подарю взамен целое платье из парчи.

— Не хочу из парчи.

— Из шелка.

— Не хочу из шелка.

— А из чего?

— Из поцелуев.

Долго он одевал ее в поцелуи от подбородка до пояса; она извивалась, как та пантера, — но лишь как будто ускользая, а на самом деле поддаваясь.

Он все-таки вспомнил слова, которые задела его, и спросил:

— Я первый?

— Ты... самый лучший.

— Я тебя ударю!

— Тогда я скажу, что твои удары больше других.

— Это неправда; скажи, что неправда.

— Неправда.

— Или правда?

— Правда.

— Зачем ты меня дразнишь?

— Зачем ты меня спрашиваешь? Ветер тебя ласкает и не спрашивает, первая ли это ласка; я его сестра.

Кончилось это все неприятностью: Элиноар проснулась, увидела пустую кровать, выскользнула из дому и застала их в саду. Самсон никогда не видел такой разъяренной дикой кошки; она грозилась выцарапать старшей сестре глаза или разбудить весь дом. Ему очень хотелось утопить ее в пруду — только воды уже было немного; но Семадар, не переставая смеяться, откупила от нее подарком. Элиноар взяла браслет и тут же его надела на руку, но Семадар все-таки пришлось уйти с нею вместе; уходя, она шепнула Самсону: «Это была неправда — или почти».

Больше они так не встречались. Однажды в Экроне, на празднике в честь тамошнего бога Вельзевула, куда Самсона пригласили друзья, она шла с ним в хороводе и прижималась к нему так, что сквозь одежды он чувствовал ее кожу. Потом она вышла из хоровода танцевать одна с Ахтуром. Все на них смотрели: это была красивая пара, особенно Ахтур, широкоплечий, узкобокий, сильный, как буйвол, и грациозный, как козочка. Танец изображал ваалову свадьбу; по филистимскому преданию, Деркетто, Астарта побережья, сказала ему: «Я буду твоей, если ты меня с мечом победишь голыми руками». Семадар дали в руку настоящий острый меч, только легкий; она владела им мастерски, три раза пронзила воздух под самой рукой Ахтура. В заключение танца Деркетто отдает Вельзевулу меч, и они медленно, на цыпочках, кружатся в объятиях друг у друга. Кружась, она прижалась и к Ахтуру всем телом, только голова была откинута, и глаза ее смотрели на Ахтура тем же взглядом,

который знал Самсон. Но ему теперь не было больно: он любил Ахтура больше всех приятелей, даже много больше, чем своих «шакалов» из Цоры, а ревновать или завидовать не умел. Только странно ему было, что барышня из знатного дома (отец ее как-то два часа докучал Самсону своей заморской родословной), умевшая так важно и недоступно, едва-едва, кивать головою при встрече, — пляшет при всех, при матери тоже, как блудница. Чужая...

* * *

Самсон весь встряхнулся, прогоняя память; видение тихой воды и рыжая девушка в руках у стройного красавца пропали. В ту же минуту Самсону впервые стало ясно, куда он идет: прежде ему казалось, что он бредет без цели. Он вышел из виноградников, впереди была равнина травы; на равнине паслись стада — одно из них пасли братья Карни. Старший, по имени Ягир, был из «шакалов». Самсон их увидел издали; с другой стороны поля к ним шли две женщины, одна с кувшином на голове, другая с небольшою ношей в платке. Та, что с ношей в руках, была Карни, вторая — служанка. В этот час девушки приносили пастухам обед. Самсон понял, что затем он и пришел сюда.

Когда они сошлись, она не покраснела и не потупилась; деловито показала братьям, что принесла, передала какое-то поручение от отца, попрощалась, сказала служанке: «Ты меня догонишь с кувшином, когда они кончат, — я пойду медленно», — и тронулась было обратно.

— Я пойду с тобою, — сказал Самсон, коротко, сухо, без выражения — такой был у него всегда голос на земле данитов.

Карни на этот раз не взглянула, но спокойно ответила:

— Хорошо, Самсон.

— Я думал, ты пообедаешь с нами, — сказал разочарованно Ягир. Младший брат, еще мальчик, смотрел на Самсона с настороженным обожанием честного пса.

Самсон, не отвечая на вопрос, отдал распоряжение:

— Вечером скажи всем нашим: завтра на заре у колодца. Взять припасов на три дня.

И он пошел рядом с девушкой. Оба молчали; но по ее дыханию Самсон понял, что она взволнована. Он покосился — действительно, ее щеки слегка порозовели у глаз, и она прикусила нижнюю губу. Он посмотрел пристальнее, прочел ее мысли, как будто сказанные, и ответил:

— Вчера ко мне пришли из Шаалаввима. У них угнали скот; шайка из Вениаминовой земли. День туда, день обратно, день на розыски стада.

Девушка ничего не сказала, но задышала еще тяжелее; Самсон испугался, что она расплачется.

— Я велю твоему брату остаться, — предложил он.

Она едва слышно отозвалась сквозь стиснутые зубы:

— На этот раз?

Она хотела сказать: через неделю подвернется еще что-нибудь, через месяц опять — чем это кончится? — и Самсон понял. Ему захотелось растолковать ей, как это все важно и необходимо; но он не привык объяснять — даже то, что он ей прежде сказал, было не в меру подробно для его обычая в Цоре; и привычка молчать была сильнее желания утешить девушку, даже сильнее страха, что она разрыдается и он не будет знать, что делать. Так они еще долго шли рядом, ничего не говоря. Вдруг Самсон повернул к ней голову; откликаясь на бессловесный приказ, она встретилась с ним глазами, опять уже бледная и спокойная, и также без слов спросила его: что?

— Мать и отец хотят идти к твоим родителям просить тебя в жены для меня.

Она еще больше побледнела, хотя и раньше знала, зачем он с ней пошел. Ацдельпони говорила с ее матерью, мать с нею; Карни провела с тех пор две бессонные ночи. Но она выросла в приличиях хорошего дома; Самсон, кто бы он ни был, тоже должен их соблюдать. Она холодно спросила:

— Зачем ты говоришь об этом со мною? — И тут у нее невольно вырвалось — впрочем, она не жалела, что вырвалось: — Я цоранка, я не из девушек Тимнаты.

— Оставь это, — сказал Самсон. — И в Тимнате не задает жених вопроса невесте; один обычай на всем свете. Голуби всюду живут по-своему; а орел — и орлица — по-своему.

На голове у нее был кисейный платок; она спустила его до половины лица. Больше они не взглядывали друг на друга или редко; беседа шла с долгими перерывами от вопроса до ответа.

— Что ты хочешь спросить?

— В орлиное гнездо легче ударит молния, чем в голубятню.

— Я знаю. Что же?

— Если ты не хочешь этого, Ацдельпони и Маной не придут к твоему отцу.

— Я не умею говорить загадками. Я сама скажу твой вопрос: буду ли я тебе женою?

— Да.

— А я спрашиваю, будешь ли ты мне мужем?

— Ты мудрая девушка. Спрашивай дальше.

— Ты с двадцатью товарищами завтра идешь в страну Вениамина: Вениамин силен и хитер. Прошлой осенью вы неделю пропадали в земле иевуситов; моя мать уже плакала о Ягире. Будет ли Самсон, муж Карни, отец ее первенца, тоже идти по путям Самсона, вожака «шакалов»?

— Спрашивай дальше.

— Кто ты такой? Мы тебя знаем и не знаем. Странные идут о тебе слухи. По земле Дана, Вениамина, Иевуса ты бродишь с товарищами; но в Тимнату и в Экрон ты всегда уходишь один. Значит, это правда, что друзья твои — там?

— Это правда. Дальше?

— Странные слухи идут о тебе. Будто ты умеешь петь, плясать, шутить и смеяться — только не в Цоре. Правда ли это?

— Спрашивай дальше.

— Кто твои друзья в Тимнате? С кем тебе там весело? Правда ли...

— Что?

Сквозь покрывало Самсон видел ее взгляд, теперь такой же всезнающий, как и его.

— Правда ли, что филистимские девушки красивы и не степенчивы? Что они играют на арфе, шуршат шелком, звенят золотыми подвесками, красят губы и веки, и — и ничего не боятся?

Служанка их догнала и окликнула, но пошла сзади, напевая в доказательство, что не подслушивает.

— Это не все правда, — сказал Самсон, — но почти.

— Если ты выстроишь дом для меня, где будет твоя отрада: в нашем ли доме или за межою филистимлян? Больше нечего мне спрашивать.

Самсон долго шел молча и смотрел перед собою, но видел только ее. В ее походке, в ее поднятой голове было что-то от уверенной поступи, от царственной осанки самого надменного существа на земле, верблюда; и она была прекраснее и стройнее всех женщин в его памяти. Но, кроме того, он всей душою чувствовал в ней упругую силу воли, какой еще не встречал.

— Два вопроса, два ответа, — сказал он наконец. — Я назорей, в год землетрясения пришел посол Иеговы к моей матери и назначил мне дело, и на то мне дана сила в плечах, и сила править людьми. Нашему племени трудно живется без защитника и мстителя. Эта жизнь мне назначена; изменить это нельзя.

Она ответила с отголоском рыдания:

— Через год или два, или пять, когда жена твоя будет стоять над колыбелью, принесут ей мужа с раскроенной головой.

— Не знаю; это не мое дело, а твое — выбирай. Но выслушай второй ответ. Да, моя отрада в Тимнате и друзья мои там; в Цоре нет у меня друзей и никогда не будет. Но если мы построим дом, я прощусь с Тимнатой навсегда; гостем она меня больше не увидит; если увидит, то не гостем, а истребителем — когда-нибудь; и моя каждая ночь, не проведенная в поле, будет проведена в твоём доме.

А шутить и петь и смеяться ты будешь в моём доме?

Самсон не ответил.

— Одной войны Самсону мало, — горько сказала Карни, — ему нужны две. В горах он будет воевать с врагами, дома с самим собою.

Самсон ничего не сказал.

— На что я тебе нужна — за такой выкуп? — спросила она почти беззвучно.

— Потому что ты — ты. Это правда, что филистимские девушки — игривы, как котята или как солнечный луч на речке, и я люблю их игру. Но то, что в тебе, слаще их игры и стоит выкупа.

— Из сладкого выйдет горькое. Скоро придет вечер, когда ты, сидя со мною, повернешь голову в сторону Тимнаты и вспомнишь обо всем, чего нет во мне.

— Когда ты будешь со мною, я больше не обернусь в сторону Тимнаты.

— Твое сердце обернется, и я это услышу. Я и теперь слышу многое, чего ты не говоришь, потому что я люблю тебя.

Она это сказала совсем просто, но Самсону показалось, что гром ударил или что-то раскаленное упало ему на голову. Он остановился и, забывая о служанке, в первый и последний раз выдал свою душу на земле Дана — он всплеснул руками и воскликнул:

— Если ты любишь, к чему же тебе эти расспросы, меры и счет, и что будет через два года?

Карни тоже остановилась; она опять откинула покрывало. Она смотрела на Самсона с бесконечной нежностью и грустью.

— Я не орлица, Самсон; и не котенок. Скажи своей матери, что я не буду ее невесткой. Горя я не боюсь — я много плакала и много еще буду плакать, но — за себя. Я не хочу плакать за тебя; я не хочу проклинать себя за то, что отняла у Самсона его солнечный луч.

— Карни, — сказал он другим голосом, мягко и робко, — если так, то разве не можешь ты просто быть моей женою и не спрашивать, куда я иду — в землю Вениамина или в Тимнату?

Карни вздрогнула, выпрямилась, топнула ногою.

— Никогда!

Она почти побежала, служанка за нею. Самсон повернул в другую сторону и пошел куда глаза глядят.

* * *

Вечером того дня он отрывисто объявил Ацдэльпони и Манюю:

— Я возьму себе жену из Тимнаты. Отца ее зовут Бергам; он один из начальников города. Когда вы можете пойти к нему с подарками?

Маной ничего не сказал, только потер шрам на лбу; жена, понявшая по тону Самсона, что спорить бесполезно (и она перед тем уже видела соседку, мать Карни), только спросила, подавляя слезы:

— Будет ли ей по сердцу жить с нами в Цоре?

— Она не будет жить в Цоре.

— Неужели... неужели ты хочешь поселиться в Тимнате?

— Я остаюсь жить здесь, — сказал Самсон. — Когда вы можете спуститься в Тимнату к ее родителям с подарками?

Глава VII. БРАТ ВЕНИАМИН

Экспедиция в землю Вениамина за угнанным стадом отняла больше трех дней.

В Шаалаввие Самсона и его друзей приняли с большим почетом, у ворот, и некоторые из старшин уже называли его «судья». Главный из них, однако, был хоть приветлив, но сдержан. Его звали Шелах бен-Иувал; это был тот беззубый старик, что на сходке в Цоре первый потребовал дела вместо слов. В разговорах он тут мало принимал участия; больше кивал головою, а иногда присматривался, щуря подслеповатые глаза, и к назорею, и к его свите.

Шайку вениаминян, которая угнала скот, здесь хорошо знали. Гнездо ее было в деревне Хереш, на полдороге от границы к Бет-Хорону. Шайку подробно описали: головорезы, богатыри, обыкновенно человек пятнадцать, но при нужде и больше —

короче говоря, вся деревня разбойничья. При этом Самсона несколько удивило подробное знакомство шаалаввимцев с грабителями: каждого из них знали по имени и вообще говорили о них так, как говорят о людях, которые нередко приходят в гости.

Самсон резко спросил:

— Вы им дань платите?

Шелах вскинул на Самсона моргающие глаза, сейчас же опустил их и продолжал кивать головою — нельзя было разобратъ, утвердительно он кивает или отрицательно. Старосты засмеялись; один из них ответил:

— Дань не дань, а так — иногда подарки.

— Этак спокойнее, — объяснил другой.

Самсон сказал, подымаясь:

— Дайте мне проводников; и нужен пастух, который сможет опознать ваших овец.

Старосты переглянулись. Два здоровенных молодца, внуки Шелаха, выступили из толпы; старший сказал:

— Мы знаем дорогу и опознаем стадо.

Шелах быстро отозвался:

— Вы не пойдете. И нечего тут вам мешать собранию.

Старшины тем временем отошли в сторону и совещались; потом отрядили куда-то одного из людей попроще. Покашливая, они объяснили Самсону, что им, жителям границы, неудобно пугать в это дело своих, особенно из членов более видных семей; но они дадут Самсону в проводники одного из пастухов; он безродный сирота, а потому херешане, быть может, не обратят на него внимания; он еще очень молод, но мальчик шустрый и ничего не боится.

Пастуха привели. Это был оборванец лет пятнадцати, со следами синяка под глазом, а глаза у него были редкостного цвета — темно-серые. Самсон внимательно посмотрел на него: лучше всего он распознавал людей по походке. У мальчика была походка ленивая, но упругая; увидев Самсона, его рост и плечи, он сразу подтянулся и оживился.

— Ты знаешь дорогу в Хереш? Можешь отличить своих овец?

Мальчик ответил:

— Знаю и дорогу, и свой скот, и каждого человека в Хереше.

— Овцы ведь не меченые: как ты их опознаешь?

— Овцы не похожи одна на другую; и по глазам пастуха можно видеть, его ли стадо или краденое. И вообще это не важно.

— Почему?

— Я просто отберу самых жирных овец и скажу, что это наши.

Самсон спросил:

— Далеко до Хереша?

Мальчик не сразу ответил; за него сказал один из взрослых:

— Если выйдете завтра на заре, будете там к полудню.

Мальчик подвинулся ближе к Самсону и проговорил вполголоса:

— Нет, много позже. Я тебе потом объясню, по дороге.

На рассвете они двинулись. Мальчика-пастуха звали Нехуштан. Он сначала провел их прямо к границе: но когда последние лачуги Шаалаввима скрылись за буграми, он вдруг свернул круто влево.

— Что у тебя на уме? — спросил Самсон.

— Херешане бродяги; кто-нибудь из них всегда шатается близ дороги. Может быть, это и нарочно: разведчики. Завидят нас и побегут сказать старшинам. — Нехуштан помолчал и затем добавил: — Я тебе шепнул, что мы дойдем только перед вечером. Надо сделать большой крюк. Не только из-за разведчиков. Нужно прийти в Хереш с востока; тогда ты им отрешь путь в Бет-Хорон, и они не смогут послать гонца за помощью.

— Дай мне руку, — вдруг сказал Самсон.

Мальчик, не удивившись, протянул ему правую руку. Самсон без усилия сдвинул ее двумя пальцами над кистью.

— Больно? — спросил он.

Пастух побледнел и ответил сквозь зубы:

— Не твое дело.

Самсон вдруг захватил его надкостье всей рукою и стал выворачивать кость; но пастух в ту же минуту изогнулся, весь выкрутился, вскинул ноги, обвил ими предплечье назорей и повис у него на руке лицом вниз. Самсон выпустил его; мальчик, почти не коснувшись земли свободной рукою, вскочил на ноги, отряхнулся и сказал, задыхаясь, но со смехом:

— Оттого меня и прозвали Нехуштан — змейка.

— Брось овец, я беру тебя в «шакалы», — ответил Самсон.

Солнце шло на покой, когда они с пригорка увидели вениаминово село. Самсон, заслонив глаза, взгляделся: в деревне было около полусотни домов. Херешане их тоже заметили сразу, народ высыпал за околицу, слышались призывные оклики и свистки, с окрестных холмов стали быстро сбегаться

мужчины, работавшие на террасах. Когда даниты подошли, перед деревней стояло человек сто взрослых или больше, некоторые с луками, некоторые с дубинами. Но Самсон уже знал, что нападения не будет. Опыт его приучил к тому, что его рост и весь вид разом бьют по человеческому воображению: диковина ослабляет волю так же точно, как страх, или еще глубже.

Впереди стоял сельский голова, благообразный старичок, очень любезно кланявшийся им еще издали; по обе стороны его — два молодых здоровяка. Без предупреждения, не ускоряя шага, Самсон подошел к старосте, кивнул ему головою, внезапно рванулся вперед, схватил обоих молодцов за руки и швырнул их от себя назад, прямо в гущу «шакалов». Это был в его полку, очевидно, обычный прием — начинать с захвата заложников; прежде чем херешане поняли, в чем дело, обоим уже скрутили локти веревками. Все это сделано было в несколько мгновений. В задних рядах вениаминян послышался гневный ропот и женские вопли; но передние были подавлены неожиданностью и растерянно глазели то на Самсона, то на старосту.

После этого завязались переговоры, которые здесь будут переданы вкратце. Любезный голова начал с клятв, что никто никогда ничьих овец не трогал; Самсон ответил предложением сжечь всю деревню. Тогда староста согласился «навести справки», а пришельцам посоветовал переночевать в домах у поселян — по одному «шакалу» на дом: «Ибо каждая семья будет рада оказать гостеприимство соседям». Самсон ответил, что ночевать они будут все вместе и именно в доме старосты; и что если ночью будет тревога, то первым загорится этот самый дом — причем староста, его жены и дети будут тоже спать в этом доме. Тогда оказалось, что староста уже успел «навести справки» и может дать проводника в то место, где, по слухам, кто-то видел какое-то неизвестно кому принадлежащее стадо. Самсон поблагодарил и согласился, прибавив, что староста и его два внука тоже пойдут с ними.

После этого голова, по-видимому, решил, что ораторский дар ему не поможет.

— Я посоветуюсь со стариками, — сказал он.

— Советуйся, — ответил Самсон. — Тут же, не уходя. Я не слушаю.

Человек десять бородачей, седых и полуседых, вышли из толпы и окружили старшину; они заговорили все сразу, но вполголоса. Самсон отошел к своим и сел на камень. Остальные херешане смотрели на него и его товарищей как замороженные.

«Шакалы» стояли подобно каменным статуям: Самсон давно обучил их этому филистимскому искусству, и оно гипнотизировало скученных, толкающихся противников, может быть, не меньше, чем сверхчеловеческая фигура назорея.

Вдруг его тронул за плечо Нехуштан:

— Смотри! Вон тот — в толпе, справа — подает кому-то знаки!

Действительно, в гуще толпы кто-то усиленно махал руками; видны были только руки. Самсон встал; он был на полторы головы выше самого длинного человека в этом месте, и сразу увидел, куда обращено лицо жестикулирующего херешанина: тот смотрел прямо вперед и вверх, в ту сторону, откуда спустились даниты. Самсон оглянулся: на склоне холма стоял другой человек и тоже делал знаки руками.

— Они его посылают в Бет-Хорон, — тревожно сказал мальчик.

Человек на холме кивнул головою, повернулся и начал быстро взбираться на гору. Теперь его заметила вся толпа; они радостно закричали, указывая на него пальцами. Среди «шакалов» пробежало замешательство.

— Смирно! — загремел Самсон. — Не поворачивайтесь! Не спускайте с них глаз.

Он измерил взглядом расстояние: от места, где он стоял, до вершины холма было шагов двести. Слишком далеко, нужно срезать хотя бы четверть. Быстро, но не бегом, он пошел в сторону холма; глаза его были прикованы к гонцу, который почти несся вверх по тропинке; правая рука Самсона шарила в кожаном мешке, привешенном к поясу. Херешанин добирался до вершины: уже голова и плечи его отпечатались на предвечерней синеве. Вдруг Самсон ринулся бегом и размахнулся. В руке у него был плоский круглый камень, величиною с ладонь в поперечнике.

Толпа снова замолчала и насторожилась; кто-то сказал громко и страстно: «Не дошвырнет!» — и стало неслыханно тихо. Гонец уже был на вершине, во весь рост. Самсон на бегу пригнулся к земле и пустил камень, как будто прямо в небо. Камень полетел степенно, неспешно, вертясь на лету; описал высокую дугу, потом как будто замер в воздухе — потом понесся прямо вперед. Гонец поднял руки, упал на колени, упал совсем, перевернулся, покатился вниз и повис на уступе. Толпа херешан закричала в один голос; кто-то из них двинулся было вперед, но «шакалы», как один человек, подняли дубины — и снова стало тихо.

Самсон вернулся, и переговоры быстро закончились. Стадо было пригнано в ту же ночь; Нехуштан, немного разочарованный, подтвердил, что овцы те и счет верный. После этого между селом, Самсоном и Шаалаввимом был заключен торжественный мир на вечные времена, с великими присягами и даже с пирушкой; но «шакалы», по приказу Самсона, ничего не пили.

* * *

К концу пира Нехуштан осторожно тронул Самсона за плечо:

— Выйди со мною.

Самсон отошел с ним в сторону, и там мальчик сказал ему:

— А внуков старосты и еще многих из молодых людей нет на пиру.

— И не нужно, — ответил Самсон. — Тебе они на что!

Нехуштан посмотрел на него с удивлением и сожалением, очевидно, думая: такой большой — и ничего не понимает.

— Это значит, — сказал он, — что они ушли засесть в засаду. Но я знаю где — на большой дороге есть одно только пригодное место.

— А можно его обойти?

— Можно. Только я хотел спросить тебя, что тебе больше по сердцу: обойти засаду или идти прямо на засаду? Ибо их не больше полусотни; и мне показалось, что они все тебе уже очень надоели.

Самсон потрепал его по спине.

— Надоели, — сказал он, — веди на засаду.

Так они пошли по главной дороге, и селяне их провожали с великим дружелюбием, даже не переглядываясь между собою; ибо хитер был Вениамин и умел прятать свои уловки.

* * *

О засаде не стоит подробно рассказывать. Во главе ее, конечно, оказались оба внука старосты. Оба оставлены были запертво на дне ложбины, остальные вениаминяне разбежались; но победа нелегко досталась — пришлось отдыхать в Шаалаввиме, ибо добрая половина отряда с трудом держалась на ногах.

Слух об этом подвиге быстро разнесся по всей земле Дана; люди, приходившие в Цору, передавали, что на Самсона теперь повсюду возлагают большие надежды. Самсон ничего не

сказал, но про себя подивился. Раз десять уже он ходил отбивать награбленное добро и к иевуситам, и к Ефрему, и к тому же Вениамину, и никогда это не создавало такого шума; и в уме у него сложилась поговорка, текст которой не сохранился, но смысл был таков: пока ты мал, твой шекель весит осьмушку; прослався, и твоя осьмушка перевесит шекель.

Но еще больше удивил его Шелах бен-Иувал, старшина старшин Шаалаввима. Пока население благодарило Самсона и женщины целовали край его платья, старик только жевал губами и кивал головою. Но перед сном (Самсон ночевал в его доме) Шелах вдруг сказал ему:

— Великое дело — богатырь; и великое дело судья. Видел я на своем веку и героев, и судей. А вот чего не видел и никогда, верно, не увижу: чтобы в одном теле жил и силач, и мудрец.

— Что сделал бы мудрец? — спросил Самсон.

— Мудрец отобрал бы у херешан три части стада; а про четвертую он бы забыл.

Самсон ждал объяснения. Старик пожевал, зевнул и сказал, почесывая грудь:

— Мать моя была умная женщина. Она мне всегда говорила: не наполняй тарелки до края — перельется. Ешь ровно столько, чтобы остался кусочек голода в теле. Запомни это, если быть тебе судьейю.

— Судья должен судить по правде, — ответил Самсон.

— И для правды полная тарелка — не мера. Если судить по полной правде, всех людей придется побить камнями. А хуже всего — полная победа. Это не к добру, и не по-соседски; а ведь мы соседи Хереша. Спокойной ночи.

Глава VIII. РАЗГОВОРЫ

Тем временем Ацдельпони снарядила Махбоная в Тимнату. Она любила делать вещи как следует, даже неприятные вещи. Левиту поручено было выяснить, действительно ли согласны родители филистимской девицы Семадар на эту свадьбу; назначить день прихода родителей Самсона; установить размеры приданого с обеих сторон; и, по возможности, собрать слухи о девушке.

Махбонай вернулся еще до возвращения «шакалов», с обстоятельным докладом, который длился целый вечер. В доме Бергама ему все чрезвычайно понравилось. Отец невесты

солидный, благообразный господин, с манерами знатного барина; от инородца нельзя, конечно, требовать той умственной быстроты, какую праотец Иаков одарил свое потомство, но, если принять во внимание эту оговорку, следует признать Бергама человеком рассудительным. Маной должен будет только со вниманием выслушать подробное описание родословного древа как Бергамова дома, так и дома Амтармагаи, главной жены его — она же мать невесты. Если внимательно прослушать и задать два-три ловких вопроса, доказывающих интерес, то дружеские отношения между будущими тестем и свекром можно будет считать упроченными. Госпожа Амтармагаи — несколько более сложная задача: говорит она мало, но в ее осанке есть некоторое высокомерие; однако, если бы госпожа Ацдельпони нашла возможным не следовать ее примеру в последнем отношении, между обеими дамами сразу установится необходимый лад — тем легче, что им в конце концов вряд ли часто придется встречать друг друга впоследствии. С точки зрения зажиточности дом не оставляет желать ничего лучшего: сам фараон Египта вряд ли живет в обстановке более роскошной; достаточно упомянуть, что постели их лежат не на полу, а на особых подставках с бронзовыми ножками; и внутри дома есть купальня. Для супруги Самсона будет отведена обширная комната, и за нею будут числиться две собственные рабыни. Остальное приданое будет отмерено щедрой рукою в личной беседе с Маноем и Ацдельпони. Что касается до самой невесты, то красота ее, а также нравственность выше всяких похвал; впрочем, по филистимскому обычаю (Махбонай выразил сожаление, что вынужден говорить об этом перед Ацдельпони), обе матери, в присутствии местной повивальной бабки, сами во всем этом убедятся накануне венчального обряда. Единственным недочетом этого дома следует признать юную сестру госпожи Семадар; мать ее — наложница из племени аввеев, народа, как известно, полудикого; девица эта, по-видимому, настроена против старшей сестры и склонна к раздорам и злоговью, так что Бергам вынужден был даже велеть ее матери взять ее на двор и высечь.

Бергам, в свою очередь, с большим интересом расспрашивал о богатстве и общественном состоянии Маноя. Махбонай, конечно, представил ему самые удовлетворительные данные. Он сообщил, что Маной занимает в Цоре то же возвышенное положение, какое принадлежит отцу невесты в Тимнате. Подробно перечислил стада, поля и виноградники. Несколько

сложнее был вопрос о родословной, на котором филистимлянин очень настаивал. Махбонай оказался в этом отношении неподготовленным, но все же нашел выход из затруднения. У него был некоторый навык ввиду того, что в семьях левитов всегда было принято вести генеалогические списки — и, в случае пробела, восполнять недостающие звенья родословных цепей при помощи догадок и умозрения. Так он поступил и в данном случае. Два звена Маноевой цепи у него были: Аллон, отец Маноя — и Дан, сын праотца Иакова. Остальные имена он, Маной, взял на себя смелость восстановить умозрительно, прибавив, что все их носители, за память людскую, были лица высокопоставленные. Главные имена он запомнил и может повторить их Маноею на случай, если....

Тут Маной поднял голову и спокойно заметил:

— Деда моего звали Гихон бен-Ахер, и был он простой человек, живший среди своего народа; остальных я не знаю — и ты тоже.

— Ты этот перечень скажи лучше мне, — быстро вмешалась Ацдельпони, — я запомню.

Левит кивнул головою с выражением человека понимающего и закончил свой доклад указанием на то, что о явлении ангела он считал более удобным не рассказывать, ибо эти язычники вряд ли поняли бы всю важность события; и он советует родителям Самсона держаться того же правила.

* * *

Через несколько дней, рано утром, целое шествие двинулось из Цоры по дороге на юго-запад. Кроме Самсона, его родителей и «шакалов», тут были почти все рабы и рабыни маноева дома и левит Махбонай бен-Шуни в качестве главного распорядителя. Маной и Ацдельпони ехали на ослах; еще четыре осла тащили подарки, рабы тоже; седьмой осел принадлежал левиту и был навьючен грузнее всех остальных, так как Махбонай считал этот момент чрезвычайно подходящим для установления прочных торговых связей между Кафтором и Даном. Самсон шел большей частью рядом с Маноем, и тогда Маной слезал с осла, и оба медленно шагали в ногу, изредка и вполголоса переговариваясь. Несмотря на тщедушную фигурку Маноя и на то, что он всегда смотрел вниз, а Самсон прямо перед собою, в их повадке и даже походке было что-то странно схожее. Двадцать «шакалов», принаряженные, уже

оправившиеся от вывихов и ран, шли гурьбою, пели хором какие-то песни, иногда разные в одно и то же время, и на ходу играли в чехарду или швыряли камнями в коршунов.

— Когда подойдем к Цоре, я их выстрою по-филистимски; они умеют идти строем — только не любят, — сказал Самсон отцу.

Несколько минут оба молчали.

— Филистимляне — горсть, — опять сказал Самсон. — В чем их сила? В порядке. Все сосчитано, все измерено, каждый человек на своем месте. Это хорошо.

Отец, помолчав, ответил:

— Это хорошо.

По его тону Самсон понял, что «хорошо» есть только оборот речи, но по существу у отца есть возражения.

— Я иногда смотрю, — продолжал Маной, — как твоя мать готовит обед. У нее все рассчитано: сколько воды и молока, сколько мяса, сколько крупы и соли, и сколько времени котел должен стоять на огне. Получается вкусное блюдо.

Самсон понял по тону, что «вкусное» — тоже только оборот речи, и ждал дальнейшего.

— Но если в котле ржавчина, или если рабыня забыла вовремя снять его с огня, или подбавить укропу — обед испорчен.

— У хорошей хозяйки это редко бывает, — сказал Самсон.

— Твоя мать хорошая хозяйка. Но есть еще другая хорошая хозяйка: земля. У нее тоже своя кухня; солнце дает огонь, тучи зимой дадут воду — но никто не ведет счета ни дождям, ни теплу. Придет человек и разбросает семена; тоже без точного счету — одно упадет на камень, другое ветер унесет. А потом все-таки взойдут колосья. Только надо, чтобы человек не ленился, глубоко пахал и много сеял.

— Разве не бывает неурожая?

— Бывает. Я не говорю, что земля — лучшая хозяйка, чем твоя мать. Но каждая хозяйствует по-своему. Филистия — кухня. Дан, Ефрем, Иуда и все мы — как семена в поле. Счета у нас нет, правила нет; иногда град побьет целую ниву. Но прой-дешь полжизни, оглянешься — и увидишь, как мы растем. Это не то, что котел, где одна трещина — всему конец.

Самсон не удивился, что отец говорит так мудро и длинно. С ним Маной всегда был разговорчив. Но Самсон покачал головой.

— Нет, — сказал он, — это не так. Теперь в стране мир; но не вечно будет мир. Филистимляне нас раздавят, если мы у них не научимся счету и строю.

— Не научимся, — ответил отец. — И не раздавят.

Он снова сел на осла и затрусил дальше; а Самсон шел рядом, и оба молчали.

* * *

Сзади кто-то кашлянул. Самсон обернулся: это был Ягир, один из «шакалов», брат девицы Карни; и по выражению лица его Самсон увидел, что дело у него тайное. Он кивнул головою и пропустил отца вперед.

— Самсон, — шепнул Ягир, — там за деревьями меня оставила женщина. Лицо ее закрыто, но видно, что она очень молода. Она хочет видеть тебя; она говорит, что у нее для тебя важные вести.

Самсон кивнул головою и пошел обратно, к масляной роще у дороги. Между деревьями стояла тонкая фигура; она была вся закутана в покрывало, но снизу было видно длинное филистимское платье. Когда Самсон подошел, она открыла лицо; он узнал Элиноар, и про себя удивился, как она выросла, хотя только месяц прошел с их последней встречи — у пруда, на заре. От этого воспоминания и вообще оттого, что терпеть ее не мог, Самсон нахмурился. Она очень волновалась и не находила слов, чтобы начать. Он спросил:

— Тебя прислала Семадар?

Она вся колыхнулась, словно он ее толкнул; выражение беспомощной робости сбежало с ее лица и заменилось какой-то сгущенной злобою; она резко ответила:

— Что я у нее — служанка на побегушках?

— Так чего тебе нужно?

Она продолжала:

— Есть у нее там другие на посылках. Например — твой друг Ахтур.

Самсон внимательно посмотрел на нее, повернулся молча и пошел было своей дорогой.

— Тайш!!

В ее возгласе было столько горя и слез, что он вдруг потерял всю волю и остановился.

— Тайш, не женись на ней. Она тебя не любит, она только хочет позабавиться. Она любит диковины. Помнишь, ты ей подарил большую ящерицу? Ты для нее тоже редкостный зверь, кабан или медведь. Она поиграет с тобою — и уйдет к Ахтуру. Поиграет с Ахтуром и уйдет к третьему.

Она говорила гадости, Самсон ее ненавидел; но в ее голосе было рыдание, по лицу текли капли — это его сковывало, и он не знал, что сказать или сделать.

— Я их подслушала недавно; это было ночью, на том самом месте, где я тогда застала ее с тобою. Ахтур ее спрашивал: не ужели навсегда? А она смеялась — ты ее знаешь, она всегда хочет — и отвечала: кто любит, подождет. Прощаясь, они поцеловались: конца не было этому поцелую.

Гнев охватил Самсона; не на Семадар и Ахтура, а на ее донос; если бы она не плакала, он бы ее ударил. Так как она плакала, он просто ответил:

— Я тоже люблю зверей — кроме гиены. Гиена крадется ночью, высматривая, где валяется падаль. Я не подслушиваю — ни сам, ни через других.

— Ты мне не веришь!

— Я тебя не слышал. Что не для моего уха сказано, до того мне дела нет.

— Ты на ней женишься! А Ахтур останется твоим другом!

— Я не умею заглядывать в щели — нет ли засады. Иду своей дорогой, не шныряя глазами туда и сюда. Нападут на меня — тогда посчитаемся.

Она затопала ногами, сжала кулаки, закричала в последнем исступлении бешенства:

— О, я тебя знаю! Ты заснешь в ее комнате и будешь храпеть, а она проберется в сад, и там будет ждать ее Ахтур. А завтра Ахтур проиграет тебе пригоршню серебра в кости, и все трое будут довольны!

Теперь в ее голосе уже не было слез; это развязало Самсону руки. Молча, он без напряжения ткнул ее ладонью в лицо; она отлетела на десять шагов и упала между маслинами, а он пошел догонять своих.

* * *

— Что это за племя — аввейцы? — спросил он, снова поравнявшись с отцом. — В нашем краю их не видно. Скверные твари, я думаю?

Маной заерзал на осле и медленно сказал:

— Я их тоже мало знаю: живут они на побережье. Но... почему скверные?

Самсон пожал плечами: лень было объяснять.

— Был у меня, — продолжал Маной, снова ерзая, — был у меня когда-то раб из аввейцев. Давно... еще до твоего рождения. Хороший был слуга.

В тоне его Самсону почудилось что-то особенное, как будто Маной немного взволнован. Он поднял глаза на отца и увидел, что тот, по привычке, рассеянно трет пальцами шрам у себя на лбу.

— Отец, — спросил Самсон, — что это за шрам, и откуда он у тебя?

Маной перестал ерзать, опустил пальцы и долго глядел в землю; потом сказал нерешительно и очень тихо:

— Это... меня ранил когда-то один человек.

Самсон взглянул с любопытством:

— Ты мне никогда не рассказывал. Как это было? Когда?

Отец опять помолчал и отозвался уклончиво:

— Давно... еще до твоего рождения.

Самсон остановился.

— Тоже до моего рождения? — переспросил он, и вдруг охватило его подозрительное негодование при новой мысли: — Не раб ли тот, аввеец, поднял руку на тебя?

— Нет, нет, — торопливо сказал отец, — о нет. Напротив, он защитил меня. Он... Мы вместе... — Маной совсем смешался, отмахнулся от чего-то рукой и договорил: — Он был верный слуга, тот аввеец.

Самсон внимательно слушал.

— Где он? умер?

— Я... отпустил его на волю, — пробормотал отец.

— А кто это напал на вас?

Маной не ответил.

Самсон усмехнулся и указал на Ацдельпони, которая трусила на осле далеко впереди и что-то горячо толковала Махбонаю:

— Я расспрошу ее, — сказал он, — женщина расскажет.

Маной вдруг повернулся к сыну и проговорил резко, не запинаясь, почти повелительно:

— Никогда не говори с матерью ни об этом деле, ни о том рабе и меня не расспрашивай.

Самсон смотрел на него с удивлением; отец, смущенный непривычной своей вспышкой, опять потупился и, почти про себя, прибавил:

— У каждого человека есть своя перегородка; не надо за нее заглядывать.

Самсон кивнул головою, и больше они не говорили.

Уже в виду Тимнаты они остановились, чтобы смыть пот с лица и отряхнуть от пыли одежды; «шакалы» выстроились квадратом, пятеро в каждом ряду. Из Тимнаты навстречу им выехала группа всадников: впереди несколько человек на лошадях, остальные на мулах и осликах. Разноцветные перья на шапках, золотые украшения на платьях и уздечках сверкали издалека; даниты в сравнении с этим блеском казались серо-желтой частью серо-желтой ханаанской равнины.

Впереди филистимлян ехал Ахтур. Подскакав, он поднял коня на дыбы, соскользнул с него и пошел прямо к Маной и Ацлельпони. Он прижал правую руку к груди, ладонью наружу, низко поклонился и сказал:

— Начальники Тимнаты послали меня и товарищей встретить вас приветом у границы филистимской земли. Они велели передать вам эти слова: с запада и востока пришли в Ханаан два царственных народа, Кафтор из великого моря, Израиль из великих пустынь; и боги разделили между ними эту землю, отдали в рабство им ее племена и велели Дану и Экрону соблюдать мир навеки. В знак этого мира пришел к нам богатырь из дома Данова, сын мудрого начальника жителей Цоры; и мы отдаем ему прекраснейшую из девиц во всей экронской тирании, дочь древнего рода, деда которой были вождями еще во дни царей на Островах и покоряли Египет на юге и Луд на далеком севере. Я кланяюсь до земли тебе, господин, и тебе, госпожа, и тебе, Самсон, друг моего сердца, и твоим храбрым сподвижникам; эти юноши, пришедшие со мною, будут вашими братьями отныне и во веки веков.

Он говорил мелодичным, шелковистым голосом, отгачивая каждое слово; интонации его были так богаты, что данитам иногда казалось, будто он напевает; и, говоря, он делал изящные движения то рукой, то головой. Кончив, он и вся его свита посмотрели на Маной; Маной догадался, что ему полагается отвечать, и очень смутился, так как не умел говорить перед людьми. Ахтур сейчас же это понял и с грацией тонко воспитанного человека нашел выход из положения:

— Не затрудняй себя ответом, высокородный Маной: ты устал с дороги; позже, во время пира в доме Бергама, начальники Тимнаты выслушают твои мудрые слова. А теперь — дайте нам обнять старого друга нашего, Самсона.

Крест-накрест обнялись Ахтур и Самсон, от всего сердца; и Ахтур, смеясь, прошептал ему на ухо:

— Злодей, ты забрал у нас лучшую из красавиц, и никто тебе так не завидует, как я; но таков закон — лучшая добыча лучшему стрелку! Будь счастлив.

Самсон широко и беззаботно улыбнулся. Свалки с Вениамином, разговоры с Карни, с отцом, с Элиноар — все растаяло в его памяти без следа. Здесь, на филистимской земле, он привык еще с детства играть игру жизни без вопроса и тревоги.

Глава IX. РОДОСЛОВНАЯ ФИЛИСТИИ

Пришла повивальная бабка, и женщины увели Семадар в ее комнату; она пошла с ними, краснея и смеясь. Бергам остался наедине с Маноем; он распорядился, чтобы их не беспокоили, пока он не позовет. Он был высокий, полный, рыхлый барин с окладистой рыжеватой бородою; охотно смеялся, громкая солидным басом; новые мысли соображал туго, но зато имел готовый запас округленных выражений на все случаи обыденной жизни. Разговор его с Маноем носил характер односторонности: Бергам излагал, Маной ерзал и побрякивал. Бергам знал свою тему наизусть и любил ее — это была родословная, вернее, вся летопись его рода. Здесь она приводится в сокращенном изложении.

Он родился в Газе; когда, лет двадцать тому назад, саран эронский завоевал Тимнату, он переселился в этот город с обеими женами; старшая — дама из знатного рода; вторая — из аввейских туземок; взял он ее в жены еще в Газе, не только за красоту, но и ввиду ее исключительного умения вкусно варить. Обе дочери его родились уже в Тимнате и получили хорошее воспитание: танцуют, играют на лютне и умеют вышивать разноцветными шелками.

Дальний прадед его прибыл в Ханаан еще с первой высадкой; этот прадед был один из адмиралов филистимского флота и командовал десятью галерами. Сначала они думали поселиться в Египте, но были отбиты с тяжелым уроном. Тогда они решили попытать счастья в Ханаане; это оказалось легче, тем более что побережье было занято дикарями, у которых не имелось даже городов. А за первым набегом последовали новые, пока все, что было лучшего на острове Кафтор, — знать, купцы, моряки, все, кроме мужичья, — не переселилось в новую отчизну.

Род его, однако, шел не из Кафтора. Кафтор — маленький островок, в неделю пути на севере от Египта; но к западу от Кафтора лежит другой остров, очень большой остров, называющийся

Керэт; там и было когда-то главное царство его народа, и там предки его долго служили начальниками и советниками при могучих и мудрых царях. Они жили в мраморных дворцах, обедали на золотой посуде. В столице было громадное здание для зрелищ: там ежегодно устраивался великий бой быков, и на праздник собирались толпы со всех островов. Под царским дворцом выкопан был целый подземный город, где были тюрьмы, склады царских припасов, оружейная палата и казначейство. В те времена все народы, жившие по берегам Великого моря, платили дань царям Керэта — золотом, скотом, юношами и девушками. Столица была полна воинов и мастеров; воины учились боевому делу, мастера ткали парчу, ковали оружие и золотую утварь и волосяными кисточками писали картины по обожженной глине. Корабли Керэта доходили до конца Великого моря на севере, где по берегу волки ходят стадами и люди живут с волками вместе; один за другим завоеваны были все острова и даже на твердой земле основаны были могучие города, которые потом стали самостоятельными царствами; и предки его, Бергама, часто были капитанами на тех кораблях и наместниками тех городов.

Но во дни прадедов его прадеда положение изменилось: боги рассердились на керэтинский народ. На твердой земле, что с запада, появилось новое племя, по имени Ион, племя хитрое и жестокое. Они понастроили тысячи лодок и стали промышлять морским разбоем. Они вырезали население самых цветущих колоний и основали на их месте свои варварские княжества. Наконец в ряде набегов, которые повторялись почти ежегодно в течение жизни двух поколений, ионийцы разгромили сердце державы, остров Керэт. Никогда бы им это не удалось, если бы сытая жизнь и богатство не расшатали еще задолго до того былую доблесть островитян. Нет ничего хуже для простонародья, как сытость и достаток. Так погибло царство Керэта; и только далеко на севере лидийской области, где каждую зиму снег покрывает землю настилем выше человеческого роста, сохранился последний из великих оплотов морского народа — княжество Бергамское и столица его Троя. Там, среди бедной природы и сурового климата, племя еще не успело изнежиться. Суда троян топили ионийские лодки десятками; сколько угодно могли ионийцы торговать вином и елеем, но к хлебородным равнинам севера не было им доступа — ключ от житницы был в руках у князей Бергама, и барыши от ячменя и пшеницы накоплялись в подвалах Трои. Однако и этому

пришел конец. Ионийские князья составили общий союз и объявили войну Трое; целое поколение родилось и возмужало за время этой войны; только хитростью прорвался неприятель в бергамскую столицу, сжег ее дотла, разбросал обгорелые развалины, выгладил почву города настолько, что соха могла пройти по ней от края до края крест-накрест, не наткнувшись на камень. Это было последним ударом, и народ никогда его не забудет; до сих пор у них поются былины о той войне, и до сих пор филистимская знать дает своим детям имена троянских царей, принцесс и героев.

После того разгрома остатками морского народа овладели уныние; они покинули последние свои островки, еще не завоеванные разбойниками, и разбрелись по всем берегам Великого моря. С тех пор ушло много лет, связи оборвались; повсюду, верно, осколки этого племени давно уже говорят на языках туземного населения; где они, что они, владыками ли сделались или рабами, неведомо. Но выходцам из Кафтора судьба еще раз улыбнулась: они правят равниной, где растет виноград, маслина и пшеница; они опять выстроили большие города, и лодкам их иногда удается проскользнуть мимо ионийских пиратов даже до устья реки египетской; и наряду с богами Хаанаана в Газе они чтут еще старое божество островной своей родины: это Дагон, сын бога земли, которому поклонялись цари Керэты, и морской богини; у него голова быка и туловище, покрытое чешуей.

Это была основная ткань рассказа, но в нее Бергам подробно вплел имена своих предков; точно обозначил, как назывались виночерпии и шталмейстеры керэтинских царей, кто был первый праотец его, переселившийся на Кафтор, и последний, уплывший оттуда навсегда с десятью кораблями. Почти так же обстоятельно изложил он историю дома Амтармагаи: род ее шел из Трои, и старшие дочери в этом роде всегда носили имена троянских княжен.

— О твоих предках, высокородный Маной, — прибавил Бергам, отирая лицо полотняным рушником, — мне подробно рассказал уже твой мудрый домоправитель; он предупредил меня, что, в отличие от филистимлян, вы, знать Дана, избегаете говорить о своей родословной, так как гордость неудобна в глазах вашего бога; но если ты желаешь дополнить сведения, им сообщенные, я выслушаю их со всем вниманием, на какое имеешь право и ты, будущий свояк мой, и твои благородные предки.

Маной подергал свою бородку; хотел почесать шрам, но сообразил вовремя, что это вряд ли принято в хорошем обществе, и ответил:

— У нашего народа есть поговорка: кто был твой дед, неважно, гораздо важнее, что за человек его внук.

Глава X. МЕДЬ

Перед рассветом Самсон тихонько вышел из Ахтурова дома. Его родителей и свиту устроил у себя отец невесты, но жених, по обычаю, должен был до свадьбы ночевать под другою кровлей. Самсон взял с собою на ночлег только Нехуштана — того мальчика, что был ему проводником в набеге на село вениаминян; выбрал его к большому огорчению Ягира, который до тех пор во время походов всегда был личным его оруженосцем.

Нехуштан выскользнул неизвестно откуда, как только Самсон показался на крыльце.

— Тонкий слух у тебя, — сказал ему назорей.

— Я пастух, — отозвался мальчик, — даже сквозь сон слышу змею в траве на другом конце поля; и слышу шорох зари, когда она карабкается на небо.

Самсон рылся у себя в кошельке: вынул камень и железный осколок, кивнул головой, опустил их обратно и снова завязал ремни мешочка.

— Ты умеешь выкуривать пчел? — спросил он вдруг.

— Умею, — ответил Нехуштан, — но мне это не нужно. Меня не трогают ни комары, ни пчелы, ни змея.

Самсон не удивился. В Экроне, в капище тамошнего идола, все жрецы и вся прислуга набирались из таких людей с горькою кровью, которой боится и гад, и насекомое.

— Идем, — сказал он, и они пошли полями к той дороге, что вела мимо дома Семадар в горы.

Спиною к ним, на берегу уже просохшего пруда, стояла девушка; на голове ее была накидка, но из-под кисеи выбивались пушистые волосы, и молодая зря золотила их. По этому золотому отливу и по фигуре Самсон узнал ее. Хотя ему не полагалось говорить с нею в самый день венчания перед обрядом, он тихо окликнул:

— Семадар!

Девушка быстро обернулась, но это была Элиноар. Самсон опять заметил, как она выросла за последние недели, стала похожа на сестру и фигурой, и лицом, и даже черные волосы ее приобрели на краях медный оттенок.

— Это только я, — сказала она грустно и коротко, — Семадар еще спит.

В ее голосе и выражении лица было сегодня что-то милое, покорное; на душе у Самсона было легко и весело, и ему стало жалко, что он ее тогда в масличной роще так ударил.

— Куда так рано? — спросила Элиноар, подходя ближе. Походка у нее была, как у Нехуштана, плавная и пружинная.

— За подарком для невесты.

— Что за подарки в горах?

— Увидишь. И тебе достанется.

— Таиш, — попросила она по-детски, — можно мне пойти с вами? Мне с полночи не спится; скучно. Я не помешаю. Можно?

Все ее лицо засветилось ребяческим любопытством; она стряхнула накидку на плечи и вдруг стала похожа на мальчика. Самсон засмеялся, потрепал ее по плечу и сказал: «Можно».

Первое время они шли молча, только Нехуштан насвистывал, передразнивая жаворонков. Время от времени он отставал или сворачивал с дороги, роясь в каких-то норах или заглядывая под мокрые камни.

— Твой «шакал» Ягир долго не мог заснуть от ревности, — сказала Элиноар в одну из этих отлучек.

— Ты откуда знаешь?

— Я с ним говорила вчера. Я им всем подавала ужин и узнала его — это он позвал тебя ко мне на дороге, когда ты... когда ты так рассердился.

Она говорила об этом просто, без обиды; как ребенок с отцом, который вчера надрал ему уши, и по заслугам, а сегодня все это уже забыто.

— Я его утешила; дала ему больше сладких лепешек, чем остальным, и он весь вечер мне рассказывал о том, какой ты смелый и могучий.

Она едва не прибавила: «и как ты отказался от его сестры для Семадар», но воздержалась. Оба они, однако, думали об одном и том же; и Самсону не показалось неожиданным, когда она вдруг сказала, упрямо качая головой:

— Я бы хотела быть цоранкой. Я не люблю филистимлян.

— Это твой народ.

— Нет. Моя мать аввейка; она чужая в доме. Она всех боится; никто с нею не говорит; с тех пор как меня стали учить игре и танцам, она даже передо мной робеет. Но когда я была маленькая, она мне часто рассказывала про старые годы. Аввей

были когда-то самым свободным племенем во всем Ханаане; даже своих князей и старост у них не было; каждая семья жила по своему закону. Филистимляне легко покорили всех остальных туземцев; но аввеи долго не хотели служить им рабами, бунтовали, убегали. В Аскалоне и Газе их держали на цепи, как собак. Еще дед моей матери носил в ухе железное кольцо, за которое его приковывали к столбу каждую ночь; и на лбу у него было выжжено тавро.

Она перевела дыхание — подъем в этом месте был крутой — и прибавила с глубокой ненавистью:

— Филистимляне самый свирепый народ на свете.

— Это все было когда-то, — сказал Самсон. — Я-то слышал эти рассказы от наших моряков. Но теперь войны давно кончились, теперь у них колесницы только для гонок, мечи для состязаний — вся жизнь их игра: поют песни, пьют вино и объедаются сладкими лепешками.

— Иногда из сладкого выходит горькое, — отозвалась Элиноар.

Самсон внимательно посмотрел на нее: ему вспомнилось, что те же слова сказала ему недавно другая. Но потом он тряхнул косицами и беззаботно воскликнул:

— У филистимлян не так: из свирепого вышло сладкое!

Девушка вдруг подняла к Самсону голову, встретилась взором и сейчас же опустила глаза. Потом она сказала раздумчиво:

— Вот ты как о них думаешь... Кто знает?

Так они дошли до ложбины, где Самсон задушил пантеру. Скелет ее, дочиста обглоданный, лежал на том же месте, частью прикрытый клочьями шкуры, которая скорчилась, одеревенела, почернела, стала похожей на кору. Над скелетом мирно жужжали мелкие дикие пчелы.

— Это и есть мой подарок, — объяснил Самсон, — мед, можно сказать, из собственного улья.

Она поняла.

— Это ты убил пантеру? Давно?

Он лукаво, беззлобно покосился на нее.

— Помнишь утро — когда в пруду у вас еще была вода?

Она вся покраснела, потупилась, тихо проговорила:

— Я тогда была безумная. И недавно в роще тоже. Я больше не буду такою, Таиш.

Теперь она окончательно вкралась в его сердце; он весело засмеялся, сверкая ровными зубами, и опять потрепал ее плечо; все ее прошлые выходки были, очевидно, проказами подростка, а теперь она вдруг сразу выросла и поумнела.

Нехуштан спросил:

— Давно ли тут поселился рой?

— Я нашел его здесь пол-луны назад, — ответил Самсон.

Мальчик кивнул головою:

— Хорошо, мед уже созрел. Достать?

— Берегись, — сказал назорей, — лучше выкурим их.

— Слишком долго; и мед будет пахнуть дымом. А вот что: я разложу костер под этим спуском.

— Зачем костер так далеко от роя?

— Чтобы пчелы не гнались за мною до самой Тимнаты.

Увидишь.

Они стояли над обрывом; Нехуштан соскользнул в ложбину и стал собирать сухие прутья. Элиноар спустилась за ним помогать. Он сказал ей:

— Ты нарви свежих веток, госпожа: тогда будет больше дыму.

Самсон уселся над обрывом, смотрел и не вмешивался. Мальчик разложил хворост грядкой, шагов в десять длиною, сверху насыпал тонкий слой зеленых веток и велел девушке:

— Теперь пойдй, сядь рядом с Самсоном, только сбрось мне раньше его огниво и кремень.

Он поджег костер с обоих концов, убедился, что хворост будет гореть, и пошел к скелету. Сначала шел быстро; но в нескольких шагах от пчелиного жилья остановился и замер. К нему подлетел небольшой отряд пчел на разведку; он стоял, не шевелясь. Они вились вокруг его головы. Вдруг он сделал шаг вперед, и опять застыл. Пчелы метнулись прочь, но сейчас же опять вернулись, и их уже было много больше. Через минуту Нехуштан опять шагнул и опять замер; потом опять и опять. Теперь он был уже в густой туче темно-золотистых точек; со всех сторон ложбины слетались на тревогу новые пчелы; раздраженное жужжание внятно доносилось до Самсона и Элиноар.

— Они его заедят, — тревожно шепнула девушка, прижимаясь к руке Самсона. Он не ответил, но видно было, что и он неспокоен.

Нехуштан уже стоял у самой падали. Сквозь пчелиную завесу видно было, как он нагнулся резким движением, точно переломился пополам. Вдруг жужжание стало еще громче, как шум речки; рой сгустился в одну массу, потом подался и разделлся. Они опять увидели мальчика: он уже стоял лицом к обрыву, бледный, с закушенной губою; руки его с ношей были высоко подняты над головою; пчелы вились теперь над этой

ношей, облепив ее со всех сторон, но видно было, что ни одна из них не касалась его пальцев, рук, лица. Тем же порядком, по шагу в минуту, он продвигался обратно. Часть пчел ринулась назад, к улью, считать убытки, но остальные провожали грабителя. Он уже был в десяти шагах от костра; сухие прутья трещали в ярком огне, а от влажных веток высоко подымался дым. Вдруг он нагнулся к земле, разбежался и перескочил через огонь; как за падучей звездой, растянулся за ним хвост отпадающих пчел. По ту сторону костра он спокойно осмотрел свою добычу и вскарабкался на обрыв. Пчелы, растерянные, в беспорядке возвращались к ограбленному своему дому.

Элиноар захлопала в ладоши:

— Кто ты — сам Вельзевул или сын его? — спросила она, обирая пахучие соты; почистив, она их завернула в свою белую накидку.

Нехуштан, все еще бледный, неловко вертел шеей и потирал затылок.

— Укусила одна, — сказал он плаксиво, — в самое последнее мгновение, когда я побежал к огню.

На обратном пути Элиноар была страшно возбуждена; все время разговаривала с Нехуштаном, расхваливая каждую подробность его подвига, но он только робел и отмалчивался. Она оставила его наконец в покое; несколько минут молчала, спускаясь вприпрыжку, потом вдруг обратилась к Самсону:

— Таиш... ты не сердишься, что я тебя так называю? Я привыкла. — Он кивнул головой. — Таиш, сегодня на пиру задай нашим юношам загадку. Знаешь какую? Ты сам это раньше сказал: «Из свирепого вышло сладкое».

— Про филистимлян?

— О нет! Про пантеру и этот мед. Ни за что не разгадают! Самсон развел руками в некотором смущении.

— Пока тут мои родители, — сказал он, — непристойно мне задавать загадки. — Он хотел было объяснить ей настоящую причину, рассказать о назорействе, но передумал и нашел другое толкование: — У Дана не принято сыну шутить перед отцом и матерью.

Элиноар помолчала.

— Жаль, — заговорила она опять. — Я столько слышала о том, какой ты забавник на пиру. Думала эти семь дней тоже повеселиться. У нас так скучно... А твои родители останутся в Тимнате до самого конца свадебных праздников?

— Останутся сколько захотят, — сказал он коротко.

Она опять помолчала; потом спросила о другом:

— Кто такой этот торговец, бен-Шуни, который пришел с вами из Цоры? Я его знаю — мы с Семадар его встретили когда-то на этой самой дороге. Я раньше думала, что он старший слуга; но он у твоих родителей, видно, в большом почете — особенно у твоей матери.

Самсон проворчал:

— Не у меня.

Элиноар ничего не ответила; они уже были в виду первых домов Тимнаты.

— Прощай, — сказала она, останавливаясь, — я проберусь домой среди виноградников, а то конца не будет расспросам, куда ходила. — И, краснея, она спросила шепотом: — Ты больше не сердись, Таиш?

Самсон сердечно рассмеялся.

— Мы еще будем большими друзьями, Элиноар, — сказал он, глядя ее по головке.

— Будем! — ответила она особенным, низким голосом, которого он не заметил, потому что, в конце концов, ему было не до нее.

Когда она скрылась в пыльной зелени, Нехуштан пошел с ним рядом; его затылок сильно распух, и вообще он казался не в духе.

— Вырастет хорошей девушкой, — сказал Самсон, говоря сам с собою.

Мальчик пробормотал: «Вырастет ехидна», — но Самсон не расслышал.

Уйдя далеко за виноградники, Элиноар вдруг бросилась лицом на тропинку и горько заплакала, царапая руками пыльную жесткую глину.

Глава XI. ЭЛИНОАР ЗА РАБОТОЙ

Так случилось, что Самсон в тот вечер задал филистимским юношам знаменитую загадку, с которой начался новый и кровавый поворот в отношениях между двумя народами — покорителями Ханаана.

Обряд венчания кончился. Самсон сидел на пиру чинно, мало ел и ничего не пил; Семадар, разносившая вино, ни разу не подала ему кубка: предусмотрительный Махбонай бен-Шуни, как-то незаметно взявший на себя должность главного

распорядителя, предупредил и ее, и Бергама, и важнейших из гостей, что таков будто бы обычай Цоры — сыну не полагается бражничать в присутствии родителей. Но к концу обеда его приятели, охмелев, стали вызывать жениха.

— Мало ли какие в Цоре обычаи! — крикнул один.

— В Цоре, видно, есть и такой обычай — капать похлебкой на платье! — закричал сквозь икоту другой, совсем пьяный, указывая пальцем на забрызганную рубашку одного из «шакалов»; но Ахтур, сидевший рядом, стиснул его локоть и сказал: «Молчи».

— А у нас свой обычай, — заявил третий, — жених должен знать, что это его праздник, а не наш. Песню, Та... виноват: песню, Самсон!

— Иначе не выпустим тебя из-за стола!

— Смотри: уже темнеет — а мы тебя не отпустим к невесте!

И с хохотом они его окружили, требуя хором:

— Спой песню!

Ахтур, перегнувшись через стол, шепнул Самсону:

— Скажи им что-нибудь, а то не отвяжешься.

В это время Самсон почувствовал, что на него смотрят. Он поднял глаза и встретился взглядом с Элиноар, и она незаметно кивнула, указывая на плошку с остатками меда перед его местом. Самсон пожал плечами, засмеялся и загремел, покрывая пьяную разногосицу:

— Петь не буду; но если хотите биться об заклад, то это можно.

Они захлопали в ладоши, замахали руками и шапками.

— Я вам задам загадку, — провозгласил Самсон, — и даю вам семь дней пира, чтобы ее отгадать.

— А зак... заклад? — спросил кто-то икающий.

Самсон посмотрел на него — это был тот самый гость, которому не понравилось, как цоране едят похлебку. Он расхохотался и крикнул:

— Тридцать плащей из лучшего расшитого шелка: будет мне во что переодеть моих нерях «шакалов» после этого праздника!

И среди полустихшего гама он задал им свою загадку:

— От могучего осталось сладкое; от пожирателя — лакомство.

Потом он шутя растолкал пьяную, восторженно оравшую толпу, подхватил на руки Семадар и унес ее в быстро темневшие сумерки.

Всю ночь напролет бушевало в Тимнате веселье; и пьяные, и трезвые наперебой кричали, пели, бранились, мирились и плясали; даже Ацдельпони, даже Маной, хотя упираясь, приняли участие в большом хороводе, не вполне уже сознавая, что с ними делают, — потому что их тоже заставили выпить немало. Вообще никто, ни пьяный, ни трезвый, не знали точно, что с ним происходит. Одна только Элиноар знала ясно, что делает.

Она подошла к левиту Махбонаю, когда, после пира, он сидел один за опустевшим столом и машинально взвешивал на ладони тяжелое серебро Бергамовых чаш.

— Домоправитель, — шепнула ему Элиноар, — у меня к тебе дело.

Он встрепенулся, отодвинул кубок как можно дальше от себя, точно устраняя возможное подозрение, и, хотя нетвердым языком, но с обычным своим красноречием, выразил готовность посвятить свои лучшие силы исполнению желаний высокородной девицы.

— Это не от меня, — сказала она, — это от Самсона. Он стесняется и просит меня намекнуть тебе осторожно: нельзя ли ускорить отъезд его родителей? Ты видишь: он при них как связанный, и в конце концов это приведет к неприятностям. Наша молодежь его знает не со вчерашнего дня, и долго разыгрывать смиренного ему не дадут.

— Понимаю, — сосредоточенно сказал Махбонай, погладив бороду, — но — как я могу?

— Ты можешь. Самсон говорит: бен-Шуни мудрейший из людей, мать моя слушается его, как овечка пастуха, а отец мой идет за матерью.

— Гм... — сказал Махбонай. — Пожалуй, так было бы лучше...

Позже в темном углу сада Элиноар увидела под деревом сидит юноши, сидевшего с опущенной головой. Она присела рядом и положила ему руку на руку.

— О чем ты грустишь, Ягир?

Он не ответил; но она уже знала, почему он молчит. Карни, сестра его, плачет в эту ночь, душа свои рыдания в покрывалах; Самсон, в котором был для него весь смысл и вкус жизни, оттолкнул его и нашел другого любимца: Ягир никому не нужен, Ягир отверженец, как его бедная сестра, — один-одинешенек среди толпы; всем чужой на свете...

— И я чужая, — шепнула ему девушка, почти щекоча его ухо горячими губами, — я ненавижу филистимлян; моя мать туземка. Зачем он пришел к этому чванному племени? Они смеются — над ним про себя, а над его товарищами вслух...

— Не посмеют, — сказал он запальчиво.

— Разве ты не слышал? Вы не так едите, не так сидите, не так говорите... О, я разносила блюда, я все слышала. Один сказал: «Это его воины? Похожи на наших водовозов». Другой сказал: «У меня развязался шнурок на ноге — не позвать ли кого-нибудь из воевод могучего Дана, чтобы он мне стянул ремешки сапога?» Третий... О, я их знаю! Так они всю жизнь издевались над моей матерью, так будут издеваться всю жизнь надо мною. А теперь и Самсон у них в клетке, и скоро они начнут дразнить и его — через решетку.

— Я скажу это завтра Самсону, — ответил Ягир, дрожа всем телом.

— Ему не до тебя... Как ты дрожишь! — И она обвила его руками; он повернулся к ней, встретился с нею губами — но в это мгновение Элиноар вскочила и убежала, шепнув: — Нас увидят...

По лужайке, притоптывая, неся, выкрикивая дерзкую свадебную песню, пьяный хоровод. В хороводе был Ахтур. Элиноар отделила его от соседа сзади, крепко уцепилась за его руку и пошла, танцуя, за ним. Когда песня докатилась до припева, хоровод распался: попарно все повернулись лицом друг к другу, сцепились в четыре руки пальцами за пальцы, откинулись назад во всю длину рук и вихрем закружились на месте. Элиноар, кружась, неприметно увлекла Ахтура в тень под деревьями. Он звонко выкрикивал непристойные слова припева — вдруг она расхохоталась так резко, что он осекся.

— Как тебе весело на свадьбе твоей возлюбленной, Ахтур! — сказала она сквозь смех.

Он был не настолько пьян, чтобы путать слова, но все-таки пьян. Он ухмыльнулся и ответил:

— Во-первых, Таиш мой друг.

— А во-вторых?

— Свадьба не похороны; Семадар еще жива, и я еще не умер.

— Если бы Таиш тебя слышал, он бы раздавил тебе голову между двумя пальцами, как пустой орех.

— Красавица! Ты преувеличиваешь и силу его пальцев, и пустоту этой скорлупы...

— Отчего же вы все его боитесь?

— Боимся? Где ты это заметила?

— Сегодня вечером. Он всем вам плюнул в глаза, а вы захолопали в ладоши.

— Как? Когда?

— Его загадка!

— Загадка? Что в этой загадке?

Элиноар повернулась, как будто уходя, и крикнула ему презрительно:

— Если ты не трус, Ахтур, то ты глуп. Со дня, когда прибыли сюда первые наши деды, еще никто не бросал в лицо филистимской молодежи таких насмешек.

— Стой, — сказал он повелительно. — Я должен знать, в чем дело.

— Спроси Семадар, если он тебе еще не запретил говорить с нею: спроси ее — она тебе объяснит.

Ахтур хотел удержать ее, но она уже исчезла в дверях Бергамова дома. Ее ночная работа была кончена; оставалось утро.

Утром рано, по обычаю, новобрачная одна проскользнула в домашнюю божницу. Там на маленьком алтаре уже стояли наготове три чаши: с вином, елеем и козьим молоком. Перед алтарем, среди пенатов, искусно выточенных из слоновой кости, возвышался белый мраморный эфод, той же формы, что в молельне у жены Маноя, только голый, без украшений. Семадар поставила перед ним три чаши, омочила в них пальцы, окропила темя символа; стала на колени, закрыла склоненное лицо покрывалом и зашептала молитву, которой целую неделю до свадьбы обучала ее наедине повивальная бабка. Молитва была на непонятном ей наречии островных ее дедов; но она знала содержание, и ей было неловко, жутко — и немного смешно.

Кончив, она вскочила, отряхнулась — и увидела на пороге Элиноар. Сестры никогда не были дружны, особенно в последнее время; но сегодня Семадар была очень счастлива. Она протянула к девушке руки, привлекла ее к себе и поцеловала. Элиноар шепнула:

— Знаешь, мы с Самсоном помирились, и теперь будем друзьями.

— О! — ответила Семадар, — Я рада.

И тут же, на пороге божницы, они сели рядом на ступеньку и зашептались; Элиноар иногда тихонько взвизгивала и отворачивалась, — и когда отворачивалась, больно закусывала губу, — а новобрачная краснела и закрывалась рукою — но обе все время хохотали.

— Только зачем они так шумели в саду? — спросила Семадар. — Я все время слышала голос Ахтура: как нарочно, он пел такие ужасные вещи под самым окном...

Элиноар вдруг стала серьезна.

— Бедный Ахтур, — сказала она. — Это он старался перекричать свое горе. На него больно было смотреть.

Семадар, однако, была слишком полна своим счастьем для жалости. Она оттопырила губки:

— Пусть потоскует. Ему полезно, а то он чересчур гордится своей красотой. Самсон лучше его.

Элиноар покачала головою.

— Будь с ним ласкова, сестра, — сказала она настойчиво. — Он друг Самсону — единственный во всей Тимнате, кто ему действительно друг. Не надо их ссорить. Если ты резко переменишься к Ахтуру, он подумает, что тебе так велено, и обидится на Самсона.

— Самсон не боится соперников, — беззаботно ответила Семадар, — Ахтур это знает. Хорошо: нарочно, чтобы он не вообразил себя опасным, я буду с ним танцевать и говорить по-прежнему — хоть наедине, мне все равно.

Сестра погрозила ей пальцем:

— Только не разболтай ему загадку.

— Какую загадку?

— Разве ты не слышала, как они в конце обеда бились об заклад?

— Я не обратила внимания. Какой заклад?

— О, пустяки — не то плащ, не то шапка. Неужели Самсон потом тебе не рассказал?

— Мы почти не говорили, — ответила Семадар простодушно.

Элиноар отвернулась, закусив губу; но сейчас же взяла себя в руки.

— А загадка — о тебе, — продолжала она. — Только не говори Самсону, что я тебе рассказала, иначе конец нашему примирению.

В ее передаче, дело было так. Пршлую ночь ей не спалось: на заре она вышла из дому, встретила Таиша — он был с Нехуштаном — и пошла с ним. Тут они и помирились, по дороге.

И он ей сказал, что свадьба эта — символ мира навеки между филистимлянами и Даном; что Семадар — самый сладкий из всех плодов Ханаана; что доныне его племя и все родные ему колена считали филистимлян жестокими врагами, «пожирателями», но теперь это прошло навсегда, вражда забыта, осталась только сладость. Семадар была очень польщена: ей никогда не приходило в голову, что Самсон умеет говорить такие милые вещи. Она опять поцеловала сестру, и они ушли спать — обе довольные.

Глава XII. В ЧУЖОМ РАЮ

Первые дни Самсон жил в тумане счастья. В конце концов, несмотря на дружбу с Ахтуром и приятелями Ахтура, до сих пор его жизнь протекала в первобытной, грубоватой обстановке охоты, набегов, иногда полевой возни в Цоре, попок и походов с рабынями блудницы Дергето в Тимнате. От той утонченности, от изящества, которые смутно влекли его к филистимской среде, он до сих пор по-настоящему знал только внешнюю, нижнюю сторону; да еще знал и любил их беззаботность, легкость их быта и взгляда на жизнь, по сравнению с которыми все обычаи Дана казались законами темницы. Но теперь он проводил почти все время наедине с правнучкой длинного ряда князей и сановников и через нее дышал истинным воздухом дворцов, морских просторов, тысячелетних преданий. Он держал ее в руках осторожно, с трепетом, как простолоудин тонкую хрупкую вазу; слушал ее, как слушают соловья, и боялся спугнуть ее резким жестом или словом. Он почти всегда молчал; сидел у ее ног на полу или, во время прогулок, на земле, бережно проводил пальцами по ее маленьким ногам и вставлял только те замечания, какие нужны были, чтобы еще подстрекнуть ее сверкающую разговорчивость.

Она знала Газу и Аскалон, куда возил ее отец на большие праздники. Она рассказывала Самсону о тамошней роскоши, о мраморных залах, о золоченых престолах саранов, о блестящих панцырях и звонком вооружении их гвардии, о ристалищах, где молодые красавцы на колесницах гнали перед собою по два и по четыре одноцветных коня; о пирах, где мужчины и женщины ели и пили рядом, целая сотня гостей и больше, а двенадцать рабов сразу, в один лад, играли на флейтах и лютнях, и филистимские и заморские девушки танцевали почти без

покрывал. Она умела передавать это все ярко и живо — или, может быть, голодное воображение дикаря дорисовывало. Самое сильное впечатление произвел на Самсона рассказ о храмовом празднике в Газе: как на площади перед храмом стояли тысячи юношей и тысячи девушек, все в одинаковой белой одежде, все на одном расстоянии друг от друга; застыли, как каменные, среди молчания несметной толпы и вонзили глаза в начальника пляски, стоявшего на ступени храма; и вдруг он поднял руку — и тысячи юношей и тысячи девушек, как один человек, в одно и то же мгновение подняли руки, изогнулись, ступили вправо, ступили влево, обернувшись вокруг самих себя — как один человек! Ничто в ее рассказах не потрясло Самсона, как эта картина, не дало ему такого ощущения могущества и накопленной соборной мудрости. Он заставил ее повторить описание несколько раз и сказал ей:

— Я должен это увидеть; мы пойдем с тобой в Газу на будущий праздник.

Она ему рассказывала сказки, слышанные от нянек, от отца, от аввейки — матери Элиноар. У Адцельпони в божнице тоже было много богов; но даниты молились, когда нужно было молиться, а в обыденной жизни, занятые суровыми делами пашни, стада, ссор и нищеты, мало думали о невидимом. Для Семадар весь мир был полон существ, которые не любят показываться людям. На заре малютки цаффриры, двенадцать мальчиков и двенадцать девочек в розовых рубашках, открывают ворота солнцу и подают знак жаворонкам, что пора начинать песню. В полдень, когда все замерло и даже кузнечикам лень стрекотать, ты слышишь иногда в поле протяжный вздох издалека, это Загарур, похожий на золотую ящерицу, купается в тепле и выражает свою радость. В сумерки, в оливковой роще, неясные тени перебегают от дерева к дереву: это Целанищет себе новую невесту на ночь; он недобрый, особенно опасен зимою, но его царство короткое, как сумерки. Ночью заросли, речки и холмы во власти красавиц лилит. У лесной лилиты глаза светятся и не мигают; она сидит на дереве, и по глазам ее принимают иногда за филина. Речная лилита рождается с первым дождем и умирает весною, когда ручьи пересыхают. Горная катается верхом на котятках пантеры; у ее мужа козлиные ноги и рожки, он играет на дудке, и зовут его Сеир. А в болоте живет Алука, веселый чертенок с хвостиком, похожим на пиявку; он на все руки мастер, он и мужчина, и женщина, посылает лихорадку и лечит от лихорадки — в зависимости от того,

понравился ты ему или рассердил его. Если ночью тебе снится страшное — это Кацрит-коротышка, тело жирного кота и морда обезьяны, свернулся калачиком у тебя на груди и дышит тебе в ноздри. Если проснешься и услышишь в саду тихий свист — не выходи: это Агра, самая прекрасная и самая злая из ночных цариц, пляшет в одиночку между грядок и никогда не простит, что ей помешали; сама мстить не станет, но найдет на тебя своих холопов — рогатого, лохматого, одноглазого Мерири, который сосет человечесью кровь, или вертлявого Темалиона, который напустит тебе мелких чертенят во все члены тела, так что руки, ноги, даже уши начнут сами собою дергаться, а изо рта пойдет пена. Гром и молнию делает Ариэль; зоркие люди видели его среди туч, но о том, каков он с виду, мнения разнятся. А когда заладит дуть несколько дней удушливый горячий хамсин — это расчихался Решеф, великан из пустыни, что лежит за Соленым морем; а если волны выбросили на морской берег Рагаб, водяное чудо, которого боится даже древняя филистимская богиня акула...

Иногда, смеясь и ласкаясь, она его учила хорошим манерам. Мясо нельзя хватать обеими руками: надо взять его за косточку одной рукой, откусить небольшой кусочек, и, пока его жуешь, положи остальное на тарелку и спрячь руки под стол. Когда пьешь вино или похлебку, не ныряй головой к сосуду: подыми кубок или плошку на уровень губ и опусти обратно между глотками. Когда говоришь с дамой или стариком, не сиди, раздвинув колена; не начинай речи со слова «я»; и когда обнимаешь тоненькую девушку, помни, что ты силач, и не души ее больше, чем надо.

Самсон скалил зубы и проделывал все, как она учила. В награду она иногда играла для него на трехструнной лютне или пела песни.

Одна песня:

«Мой милый уплыл на лодках далеко и бросил в белую пену два поцелуя: один для его матери, второй для меня... Старая свекровь моя, на что тебе его ласка? Ты целовала его еще в колыбели. Отдай мне твою долю: у меня тоже скоро будет колыбель».

Другая:

«На Великом острове есть высокая гора, в горе пещера, и в пещере был когда-то великан. Голова его и корона были из золота, грудь и плечи медные, а ноги — рыхлая глина.

На Великом острове есть высокая гора, в горе рыбац; ничего у него не было, кроме серебряного кубка.

Рухнул великан; крыса, лисица и филин правят во дворце могучих царей; на Великом острове пируют морские воры; Троя сгорела; под волнами Соленого озера захлебнулись порфиноносные владыки Гоморры.

Но серебряный кубок рыбака волны выплеснули на мой берег; и сегодня, как тогда, я целую край его, когда пью вино».

Еще одна:

«Я люблю тебя, милый, когда ты со мною; когда ты уйдешь на войну, другое ложе услышит мой шепот. Но я верна тебе, веч-но тебе.

Так в часы прилива море плещет навстречу луне. Настанут безлунные ночи, и покажется звездам, будто для них вздыма-ется морская грудь. Глупые звезды! Светит ли месяц, скрылся ли месяц — но прилив от него и к нему».

Хорошо было Самсону в те дни.

Перед вечером, когда спадала жара, снова начинался пир. Теперь уже ему некого было стесняться: отец и мать, через день после свадьбы, вернулись обратно в Цору, причем Ма-ной был явно доволен, что наконец может уйти, а Махбонай бен-Шуни, уходя с ними вместе, зачем-то подмигнул Самсону. «Шакалам» он велел остаться, хотя предпочел бы их тоже усладить домой: филистимская молодежь вызвала их на состязания в бе-ге, борьбе и метании камней. Но для них все, что делал Самсон, было свято; они без расспросов, просто и почтительно приня-ли на веру, что назорей в Цоре может пить вино и носить фи-листимскую шапку в Тимнате. Сами они тоже много пили и пе-ли — пели свои песни, по просьбе Ахтура; впрочем, пели они только в первые дни; потом перестали. Самсон, оглушенный своим счастьем, не заметил перемены. Не обратил он внимания и на то, что теперь его «шакалы» уже не сидели за столами вперемежку с филистимскими юношами, а садились кучками, поближе друг к другу.

Прислуживал ему Нехуштан: чистил платье, натирал вос-ком ремешки обуви. Как заботливый начальник, Самсон его каждое утро спрашивал, довольны ли «шакалы» пищей, постелью и обращением. В первые дни мальчик отвечал: «О, очень до-вольны!» — а потом стал коротко отзываться: «Да».

Однажды Самсон сказал ему:

— Это хорошо, что вы поживете среди филистимлян. Они наши соседи; надо знать друг друга — тогда не будет вражды среди людей.

Нехуштан помолчал, потом ответил:

— Про людей я мало знаю; я пастух, больше знаю про зверей. У зверей иначе.

— Как так иначе?

— Черный пес и рыжий пес не грызутся, покуда каждый из них при своем стаде; сведи их — полетят клочья.

Самсон поднял голову, всмотрелся, хотел о чем-то спросить; но из сада послышалась лютня, и он ушел в сад и забыл.

* * *

Однажды, в самый полдень, тесть его Бергам зазвал его к себе для каких-то деловых разговоров. По филистимскому праву, имущество невесты на случай вдовства или развода оставалось ее собственностью — или, может быть, наоборот... Самсон слушал рассеянно, его тянуло к Семадар. Битый час объяснял ему что-то Бергам, а Самсон кивал головой и соглашался. Бергам прочитал ему целый трактат о разных формулах, при помощи которых муж, по закону Пяти городов, может расторгнуть брачный союз; формулы были по большей части простые и короткие; Самсон усмехнулся и сказал:

— Мне это все не понадобится.

Тесть ответил поучительно:

— Знание, сын мой, подобно богатству. Богатый ест не больше бедного; но приятно и почетно иметь запасы, хотя бы они тебе никогда не понадобились.

Эта мысль Самсону понравилась, как новый урок из тайн высокоразвитого быта; но ему все-таки хотелось скорее вернуться к жене.

Когда он наконец освободился и пошел искать ее в саду, на крыльце встретилась ему Элиноар. На вопрос, где Семадар, она почему-то очень смутилась, замялась, оглянулась в сторону беседки, стоявшей за сухим прудом среди кольца пальм, и, наконец, ответила:

— Я... я не знаю.

Он пошел к беседке и еще издали увидел Семадар и Ахтура. Они сидели рядом на скамье; Семадар махнула ему шарфом, вскочила и побежала навстречу. Самсон рассмеялся, поняв смущение Элиноар: глупая девочка думает, что он ревнив. Он любил Ахтура по-прежнему, хотя они теперь, конечно, почти не встречались наедине; Ахтур должен остаться и его другом, и другом его жены. Он посадил Семадар себе на плечо — она заняла почти только полплеча его — и так подошел к беседке. Ахтур ожидал их стоя.

— Как живешь, приятель? — весело крикнул Самсон. — За перезвоном струн ее лютни я, кажется, забыл твой голос.

Он ожидал, что Ахтур, как обычно, откликнется какой-нибудь любезной шуткой: у него был всегда на все готовый и приятный ответ. Но Ахтур ответил как-то странно, не по-своему:

— Только ли голос мой ты забыл, Самсон назорей?

— Самсон? Назорей? Это что за имена? Ты звал меня Таишем.

— Забывчивость — прилипчивая болезнь, — сказал Ахтур. — Но я не хочу мешать вашим секретам; мы увидимся позже, на состязании... где твои юноши покажут нам, изнеженным потомкам некогда могучего народа, образцы истинного мужества.

Он раскланялся и ушел. Самсон спустил Семадар на землю и спросил:

— Что с ним сегодня?

Она, смеясь, защебетала:

— Он и со мною был какой-то странный. Выспрашивал... — Она не dokonчила и перебила сама себя: — Это он завидует твоему счастью, что тебе досталась такая жемчужина — я. Нет, еще лучше: знаешь, что значит «Семадар»? Это — зеленый брильянт, самый редкий из драгоценных камней, вот я какая!

Самсон ответил с глубокой уверенностью:

— Сами боги мне завидуют; все боги — твой, мой, боги Сидона, Моава и Египта.

— Но они завидуют молча, не приходят ко мне наводить тоску, — отозвалась она с надутыми губками. — Я его ненавижу. Или нет, он все-таки хороший, я его люблю. Я его люблю в десять раз больше, чем тебя: он бы не оставил меня на целый день для беседы с моим отцом.

Самсон рассмеялся:

— Твой отец поучал меня, как быть, когда мы с тобою захотим развестись. Это очень просто: кажется, достаточно мне сказать при свидетелях, как ты только что сказала: «Я его ненавижу». Будь это на несколько дней раньше, я бы ушел от него посередине разговора; но кто меня учил вежливым манерам? Кто? Угадай!

Она сидела у него на руках, почти незаметная между его огромной грудью и коленями, расплетая и заплетая его косицы. Она отрезала:

— Не умею отгадывать... Ах да, что это за трудную загадку ты загадал им всем в день нашей свадьбы?

— А ты меня не выдашь?

Она лукаво ответила:

— Не выдам... если до сих пор не выдала, — и сама захлопала в ладоши от хитрости своего ответа.

Он объяснил:

— Это про пантеру и мед. Я убил пантеру, а в ее скелете пчелы вывели соты. Пусть попробуют разгадать.

Она покачала головой:

— Ты лжешь, Самсон. — Но после беседы с Ахтуром совесть ее была немного нечиста, и ей не хотелось больше говорить именно об этом. — Я целый век не вышивала, — воскликнула она, — ты из меня сделал ленивицу. Идем в мою комнату — будешь держать мои цветные шелка? Или хочешь — я научу тебя вышивать?

Самсон пошел за нею; выставил торчком оба больших пальца, на которые она надела шелковые мотки; потом взял в огромные свои лапы иголку и стал терпеливо прокалывать шерстяную ткань: правой рукой втыкал иглу, левой вытаскивал ее за острие с обратной стороны и при этом слегка пыхтел; а Семадар хохотала и называла его женским именем — Самсонитой.

Глава XIII. СОСЕДИ БЕЗ МЕЖИ

Отрезвлению Самсона положили начало состязания между его «шакалами» и филистимской молодежью. Он и раньше знал, что даниты — не чета здешним юношам, которых обучали этим играм с самого детства; но хотел, чтобы его сподвижники поучились и присмотрелись. Насмешек он не ожидал, зная филистимский обычай: после состязания победивший должен был обнять побежденного.

Тут оказалось, однако, по-иному. Первый день состязались в бегах. На «шакалов» Самсона жалко было смотреть. Немногие из них, особенно Ягир, еще кое-как постояли за себя на коротком расстоянии; и тут Самсона впервые поразило, что данитам, даже когда они побеждали, никто, кроме Ахтура и Бергамовой семьи, не рукоплескал. Но когда начался большой бег вокруг городской стены, от южных ворот мимо северных и дальше до южных, о рукоплесканиях данитам не могло быть речи. Самсон предупредил своих, что надо беречь силы; но для них это было ново, они волновались и не знали, какую взять меру. С самого начала они понеслись, делая длинные шаги и размахивая

руками. Филистимляне прижали руки к груди и пошли как на прогулку, без усилия, почти обыкновенным ходом. Еще прежде чем обе группы скрылись за поворотом стены, было ясно, что данитов позорно побьют. Уже у северных ворот они спотыкались и задыхались, и туземное простонародье, глазевшее там со стены, встретило их — зная, по-видимому, о настроении господ города — свистом, мяуканьем, ругательствами. К южным воротам филистимляне пришли, как один, стройной цепью, грудь в грудь — на этот раз они друг с другом не хотели состязаться, и Самсон понял умысел и нахмурился; «шакалы» приплелись много позже, поодиночке, потные, грязные, противные себе и зрителю. Филистимлян встретили овацией; на подбегавших данитов смотрели молча или перебрасывались негромкими замечаниями — настолько негромкими, что Самсон, хотя догадывался об их содержании, не мог их слышать.

Тем не менее ему еще не пришло в голову обидеться. Соблюдая правила, он громко поздравил победителей; потом велел своим растрепанным товарищам выстроиться и тут же, перед всей толпой, спокойно произнес им назидание — учиться у филистимлянских гимнастов, не торопиться, знать меру... Они слушали, понуря головы.

Чтобы подбодрить их, он в тот вечер на пиру отказался занять свое обычное место за главным столом, а сел среди «шакалов», и это действительно подняло их настроение. Ахтур тоже сидел с ними и был очень любезен: доказывал, что они молодцы, что неудача их совсем не так велика, что они далеко пойдут. Самсон был ему искренно благодарен, пока не заметил, что Ягир, весь бледный, смотрит на сладкоречивого чужого красавца исподлобья, с явной ненавистью; и впервые Самсону пришло в голову, что Ахтур, быть может, издевается над его маленькой ратью.

Второй день состязаний был немногим лучше, если не хуже. Назначено было метание камней. Обыкновенно сначала в ход пускались легкие диски, а потом, после короткого перерыва, начиналось бросание тяжелых гирь, иногда в полталанта весом. Но на этот раз кто-то хитрый, хорошо знавший и достоинства, и недостатки обеих сторон, распорядился переменить порядок. Начали с метания тяжестей, и тут взяли верх тугие мускулы данитов. Один из них, по прозвищу Гуш, которого Самсон иногда величал «братом», поднял, сверх программы, две самые большие гири сразу, по одной в каждой руке, повертел их с плеча полным кругом в воздухе и дошвырнул

дальше, чем самый сильный из филистимлян бросил за минуту до того одну из этих гирь. И опять вся толпа молчала. Самсон вскочил, сорвал свою филистимскую шапку, махнул ею в воздухе и заревел уже с нескрываемым гневом:

— Что это — вы онемели от зависти?

Ахтур тоже поднялся, аплодируя, и укоризненно покачал головою в обе стороны; тогда наконец раздались кое-где жидкие хлопки.

Но и это впечатление стерлось во второй части — при метании легких медных дисков на далекое расстояние. Тут опять нужна была не сила, а уменье; «шакалы» проваливались один за другим. Несколько раз Самсону хотелось выйти на поле и показать и своим, и чужим, как надо метать; но это было невозможно — в состязании участвовала, по уговору, только зеленая молодежь.

Потом стало еще горше. Так как эта игра закончилась рано, кто-то предложил устроить импровизированное состязание на мечах. Тут вообще даниты были не при чем: ни один из них никогда не держал в руках меча, большинство даже не видало еще этого оружия; а на филистимской земле считалось тяжелым преступлением для кого бы то ни было, кроме природных филистимлян, взять в руку стальной клинок. Это правило распространялось и на Самсона. Все его друзья, включая Ахтура, выбежали на поле, составили пары и зазвенели сталью под аплодисменты и клики восторженной толпы; даниты сидели среди зрителей, кусая губы и стыдясь поднять глаза. Только Нехуштан пробрался в передние ряды, смотрел во все глаза, переходил с места на место, чтобы приглядеться к каждой паре. Кто-то из бойцов, утирая пот во время передышки, спросил его насмешливо:

— Нравится, герой из Цоры?

— Очень, — ответил мальчик.

— Мало ли что кому нравится, — расхохотался другой филистимлянин. — Мне бы нравилось летать по воздуху, как вон тот коршун, да нет крыльев... и не будет.

— Крыльев не будет, — сказал Нехуштан, — а кузнецы будут когда-нибудь и у нас.

Филистимлянин замахнулся, чтобы дать ему пощечину; но Нехуштан показал ему язык и в мгновение очутился на другом конце поля.

Когда все двинулись обратно к саду Бергама, где ждали их убранные столы (это был предпоследний день пира), к Самсону подошел Ягир.

— Могу я говорить с тобой, отдельно? — спросил он, не глядя на Самсона.

Они отошли в сторону.

— Завтра борьба, — сказал Ягир.

— Да.

— Освободи меня от участия, Самсон. Я... я больше не могу.

— Трусишь?

— Ты сам видел, и не раз, что я не трус.

— Трус не тот, кто боится ран или смерти, а тот, кто боится насмешки.

Ягира прорвало, он заговорил бессвязно, глотая слова, иногда слезы:

— Ты не знаешь, что тут творится. При тебе они не смеют... Над нами они издеваются на каждом шагу. Все их смешит: и слова мы произносим, как туземцы, и одеты не так, и умыты не как следует; и... и Цору пора бы присоединить к Экрону, чтобы научить тамошнее мужичье — это нас! — знать свое место. Нас мало, и мы гости, и приходится отмалчиваться, но... Словом, я больше не могу. Освободи меня; я хочу домой.

— Если ты завтра не выйдешь на поле, — медленно сказал ему Самсон, — нет тебе места среди «шакалов». Ступай.

Ягир, опустив голову, вернулся к товарищам. Самсон долго шел один и думал о пастушьей мудрости Нехуштана. Черный пес и рыжий пес: пока врозь, каждый тихо делает свое дело, а сведи их — подерутся. Может быть...

Хмурый и молчаливый сидел он в тот день на пиру, мало ел и думал думу; шапку бросил под стол и от вина отказался.

Назавтра Ягир вышел бороться, но ловкий филистимлянин положил его через несколько минут. Вообще в тот день «шакалам» было еще больше не по себе, чем в прежние разы. Им пришлось раздеться до пояса при женщинах; им было стыдно. И когда пытались обхватить противника плотно, прижать его к себе так, чтобы затрещали ребра, и швырнуть потом, как тряпку, они наталкивались то на локти, то на голову, то на пустой воздух; а противник танцевал вокруг и внезапно зажимал в тиски разом и шею, и ногу, и все было кончено; и толпа кругом хохотала, свистала, редела по-ослиному и подбодряла своих.

Только Гуш, когда филистимлянин обвился вокруг него сзади, снял его с себя, как рубаху, почти без усилия, взял в объятия и, хотя не мог повалить на спину, помял до того, что Самсон велел им разойтись, и беднягу пришлось отливать водою; и во время этой схватки толпа мрачно молчала, хотя «шакалы» накричались до хрипоты.

Неожиданный успех, даже отчасти у филистимлян, достался на долю Нехуштана. Ему дали было противника того же возраста, но он, с комичной ужимкой, отказался и ткнул пальцем в здорового филистимлянина, который уже в тот день шутя положил двоих.

— Вот этот пусть попробует меня повалить на спину.

Хотя это было против правил, но показалось так забавно, что распорядители согласились. С первой схватки стало ясно, что Нехуштан непобедим. Он вертелся в самых невообразимых направлениях, изгибался под самыми невозможными углами, выскользал из какого угодно зажима; дважды бросился под ноги наступающему противнику, так что тот оба раза споткнулся и упал ничком, а Нехуштан вскочил ему на спину; наконец проскользнул у филистимлянина между ног, очутился у него на плечах, стиснул ему шею ногами и еще в придачу захлопал в ладоши. Это тянулось очень долго и проделано было с таким искусством, что даже филистимские зрители залюбовались и начали издавать одобрительные возгласы.

Любопытно было на этот раз поведение туземцев. В Цоре, на сборищах, они тоже держались несколько в стороне; но здесь, в Тимнате, соблюдалась черта гораздо более резкая. Малочисленная филистимская раса берегла свою чистоту; они были завоеватели, не колонизаторы. Во время бега филистимляне стояли у южных ворот, туземцы у северных; на остальных состязаниях туземцы занимали другую сторону поля. Филистимские дамы и девицы сидели особо, и среди них не было ни одной инородческой женщины: здесь, на окраине филистимской земли, браки с туземками считались, очевидно, нежелательными; их брали только в наложницы и отсылали вместе с приплодом обратно в северный квартал по миновании надобности. Если у некоторых филистимлян и были туземные жены, приведенные с побережья, где правила были не так строги, то те, по-видимому, остались дома: мать Элиноар не пришла.

Туземная чернь на другом конце поля явно принаровляла свое настроение к настроению господ: ликовала, когда те хлопали в ладоши, и вслед за ними поносила данитов. Но какая-то затаенная досада на поработителей, какой-то последний уголек бунта, видимо, еще не дотлел до конца под пеплом их отупения; и проделки Нехуштана взяли их за живое. Сначала они молчали; но, когда услышали, что и на филистимской стороне иные рукоплещут молодому «шакалу», туземцы осмелели и начали радостно визжать и покрикивать. А когда Нехуштан сел

противнику на плечи и сам себе заплодировал, туземцы пришли в восторг, взвыли, вскочили, замахали руками, завопили что-то вроде: «Так его, данит!» Ахтур переглянулся с другими вельможами города; через минуту на ту сторону отправили бегом десяток стражников с хлыстами, и стало тихо.

Когда у филистимлянина лицо налилось кровью и он схватил Нехуштана за щиколотки с явным намерением выломать ему ступни, Самсон и Ахтур объявили схватку конченной вничью. Это и был конец последнего дня состязаний.

Глава XIV. ССОРА

На пиру в этот день даниты чувствовали себя несколько лучше. Побед они опять не одержали, но Гуш, Нехуштан, инцидент с туземцами хоть причинили филистимлянам неприятность. «Шакалы» все теперь сидели за одним столом и негромко, но оживленно толковали друг с другом, не обращая внимания на остальных. Самсон опять вернулся на свое прежнее почетное место и тоже был в хорошем настроении: шапки не снял и вина не отверг.

Зато какая-то связанность чувствовалась среди главной группы филистимлян. Ахтур и его ближайшие друзья казались неразговорчивыми; но и остальные гости Бергама, для которых не так ясна была перемена, произошедшая в отношениях между Самсоном и Тимнатой, были заметно расстроены наглой выходкой туземцев. Они все понимали, что это мелочь; но мелочь была неприятная, особенно ввиду присутствия чужих. Они привыкли не замечать туземцев, не принимать их в расчет. Теперь даниты разнесут по всему округу всякие преувеличения, расскажут, будто вся эта губастая и горбоносая помесь периззейская, гиргасейская и Бог весть какая устроила при них демонстрацию против филистимлян. Это было положительно неудобно. Но их утешило сведение, что в северном квартале уже идет порка туземных десятских; а когда появились танцовщицы, эта часть гостей и совсем успокоилась. Чтобы закончить празднества как следует, Бергам велел Дергето устроить балет; она привела свой женский штат, усиленный на время семидневного пира двумя красавицами из Экрона, и они исполнили почти совершенно благопристойную пляску.

Филистимляне любили и умели говорить застольные речи. К концу обеда Бергам произнес приличное, радушное, хлебосольное слово; выразил радость, что видит у себя столько

знатных гостей, похвалил поровну доблесть и Кафтора, и Дана; упомянул о самсоновой силе, сравнив своего зятя с каким-то богатырем из мифологии Эгейского архипелага, который голыми руками убивал львов и многоголовых драконов; пожелал ему и дочери своей такого же потомства, поклонился на все стороны и сел.

Вторым, по правилу, должен был говорить Самсон. Он сказал им:

— Благодарю тебя, высокородный Бергам, и всех вас, высокородные гости. Счастье мое велико, но об этом, по обычаю моего народа, неприлично говорить человеку даже перед друзьями; а я, хоть и рад носить вашу одежду и пить с вами вино, в важных делах жизни иду и буду идти по путям Дана и Цоры.

Что-то чеканное, почти вызывающее звякнуло в его голове при этих словах. Филистимляне переглянулись между собою. Самсон продолжал:

— Но вот что можно и должно мне сказать вам: спасибо за два урока, что вы дали в эти дни мне и моим товарищам. Первое, чему они здесь научились, будет им полезно: они раньше думали, что в гонках важнее всего ноги, в борьбе и метании камней — руки; теперь они будут знать, что сила не в руках и не в ногах, а в голове. Эти мечи ваши, которых у нас — пока! — нет, режут глубоко не потому, что железо — железо, а потому, что его раньше долго ковал кузнец и долго шлифовал точильщик. Этого Дан не забудет; и когда-нибудь вы или ваши дети еще будете гордиться своими учениками.

Простодушный Бергам захлопал, за ним еще несколько наивных гостей; но Ахтур и его группа молчали. Ахтур облокотился и в упор смотрел на Самсона. «Шакалы» радостно ерзали на своих местах и подталкивали друг друга. Самсон продолжал:

— Второе, чему я здесь научился за эти дни, это мудрости межевого знака. У туземца много идолов, но святее всех идолов для него тот камень, которым отмечена межа, отделяющая его поле от поля соседа. Он прав. Нельзя переступить между. Межа — залог мира. Крепок лад между соседями, покуда каждый сидит у себя дома; если же начнут они ходить друг к другу в гости, быть беде. Боги создали людей разными и велели им блюсти между; грешно человеку смешивать тех, кого боги разделили.

— А зачем даниту филистимская жена? — пробормотал кто-то вполголоса, но Самсон услышал.

— У храма Вельзевула, что в Экроне, есть пчелиное поле, — ответил он. — Ходят туда на молитву только те из жрецов, у кого от роду горькая кровь: ни пчела, ни оса, ни шмель их не

тронут. Но таких мало; а для других переступить ограду пчелиного поля — значит погибнуть. Я, Таиш-Самсон, сын Маноя из Цоры Дановой, рожден с горькою кровью. Я вырос среди вас; я вас люблю, и вы меня любили; мы были друзьями и, если вы хотите, останемся друзьями. Я — что рука, которую Дан протянул Кафтору из-за межи; но только одна рука, да и ее, после жатия, надо вовремя снова убрать за межу. А народы пусть не переходят за ограду; тогда будет мир. Мир вам, друзья мои, филистимляне!

Вызова не было на этот раз в его словах; была скорее серьезная грусть, которая многим из филистимлян проникла в душу. В конце концов, они были впечатлительные люди, склонные к чувствительности, и не злые по природе; они поняли невысказанный упрек в нарушении гостеприимства и правил состязательной игры и не могли отогнать от себя сознания, что упрек заслужен. Даже друзья Ахтура потупили головы, но опять ободрились, когда увидели, что сам Ахтур остался невозмутимым и не сводил надменного недоброго взора с Самсонова лица. Они закричали:

— Ахтур! Пусть говорит Ахтур!

Ахтур встал. Прежде чем он начал, Самсон вдруг понял, что сейчас должно произойти что-то бесповоротное: конец его дружбы с этой красивой, холеной, веселой молодежью Тимнаты; и больше — конец его беззаботной юности.

Странной показалась ему новая манера Ахтура, хотя он уже знал, что связь их порвалась. Но он просто еще никогда не видел Ахтура в этой роли — озлобленного, ненавидящего, и не мог себе представить, как это будет звучать. Ахтур был всегда ровен, сдержан, полон благосклонной предупредительности; даже ирония его никогда не переходила в колючесть. Теперь он говорил по-иному, с подчеркиваниями, иногда почти грубо; видно было, что он намеренно хочет обострить столкновение. И еще видно было, что он нарочно подбирает трудные и длинные обороты речи, чтобы унижить необразованных гостей, даже Самсон не все понял.

— Как один, едва ли не младший и не последний по знатности и по уму в этом блестящем собрании гостей, и я благодарю вельможных и щедрых наших хозяев за эти семь дней изысканного гостеприимства. Здесь, на самом краю нашей земли, в маленьком городе, окруженном полудикими племенами со всех четырех сторон небосвода, они сумели перенести нас в обстановку, напомнившую нам — вовремя напомнившую! — об утонченном величии царственной древности нашего народа;

о том, что даже в пустыне, и хуже того — в затхлой пещере, где ютятся бродяги, князь остается князем; и долг его — жить по-княжески и говорить по-княжески с обитателями пещеры.

Он остановился, чтобы дать слушателям время для выражения сочувствия.

— Я был бы рад этим ограничиться, — сказал он, когда те смолкли, — ограничиться, конечно, прибавив к этим словам пожелания счастья новобрачным, — если бы друг наш Самсон не нашел нужным столь великодушно поблагодарить нас за науку, почерпнутую здесь им и его товарищами (доблестью которых мы имели счастье восхищаться три дня подряд, а изяществом обхождения — еще дольше). Как один из учителей я обязан, конечно, соблюдать скромность; и потому выражу сомнение, действительно ли преподавание наше окажется настолько успешным, как обещает нам Самсон, — действительно ли эти замечательные ученики, или дети их, или внуки их когда-нибудь сравняются с учителями. Очень сомневаюсь; но не это главное. Главным же образом я хотел напомнить другу нашему Самсону, сыну Маноя из великого и славного города Цоры, что, если уж поминать такую мелочь, как полученные от нас уроки, то их было не два, а три; и о самом важном, третьем, он умолчал.

Теперь Самсон смотрел на него в упор, и все остальные тоже. Даже Бергам понял, что это ссора, ссора в его доме, на его пиру, и он ничем не может ей помешать; в первый раз в жизни он растерялся и нервно дергал свою окладистую бороду.

— Третий урок был важнее других потому, что он был вами дан не только юным сподвижникам нашего друга, но и ему самому, могучему Самсону. Вы ему напомнили о чем-то, что он, очевидно, забыл или чего не знал и что весьма полезно ему и всему народу его запомнить навсегда. Что он забыл эту полезную истину, доказывает одна мелочь, о которой, кстати, мы все чуть-чуть не забыли. Помнишь ли ты, Самсон, что еще в первый день пира ты загадал нам загадку: «Из пожирателя вышло лакомство, от свирепого осталось сладкое»? Сегодня последний срок; и я знаю разгадку. Остроумный приятель наш, филистимские вельможи, загадал нам притчу о нас самих. Он присмотрелся к нам и нашел, что мы, хотя и дети Кафтора, но недостойные дети. Были мы когда-то пожирателями, завоевателями, владыками, свирепыми с врагом; но теперь — так он думал — мы изнежились, измельчали и годимся только на лакомство: только на то, чтобы соседи из безродного племени,

потомки рабов египетских и бродяг по пустыне, изредка приходили к нам бражничать, любоваться плясками — или брать в жены красивых наших сестер и дочерей!

Подавленный хрип ярости вырвался сразу из сотни глоток; каждое лицо за каждым столом повернулось к Самсону, и на каждом были морщины угрозы. Самсон хотел сказать, что это неправда, но Ахтур жестом остановил и его, и своих:

— Ты получил свой урок, Самсон; видел, измельчала ли наша молодежь по сравнению с богатырями твоего города. Затверди эту науку; и вы, друзья мои, затвердите. И нам, и им полезно помнить, кто господа Ханаана. И еще одно: самое присутствие наше здесь — порука, что мы ничего не имеем против брака одной из наших княжен с одним из правителей соседней Цоры. Это бывало и в древности: и царю Керэта или Трои случалось иногда выдавать свою дочь за князя подчиненной ему области. Это полезно; это скрепляет вассальные отношения; это увеличивает преданность вассала господину. В этом смысле — да благословят боги твой брак, Самсон, судья Дана, одной из будущих вотчин Филистии!

Тут он сел. Дьявольская ловкость этой речи была в том, что конец ее как рукой снял всякую опасность взрыва со стороны филистимлян. Минуту назад они готовы были броситься на Самсона, но заключительный пинок Ахтура привел их в такой восторг, что гнев их растаял в ликовании и хохоте; они повскакали с мест, окружили Ахтура, жали ему руки, хлопали по плечу.

Самсон, стиснув зубы, думал тяжело и быстро. Что-то он должен сделать сейчас. Что? Да, надо сказать, что это неправда, он не ту загадку загадал; он загадал о каком-то пустяке — мед, пчелы, дохлая пантера... Но разве в этом дело? Это теперь уже мелочь. Надо... Как и Бергам, он в первый раз на веку потерял нить своей воли. Его мысли быстро завертелись кругом да около. Откуда взял Ахтур эту притчу о сладком и свирепом? Самсон что-то вспомнил — что-то в этом роде он сказал в то утро при Элиноар...

Инстинктивно он поднял глаза и увидел прямо перед собой обеих сестер; они стояли позади гостей, с кувшинами в руках; обе смотрели на него. Элиноар вся светилась торжеством; встретя взгляд Самсона, она засмеялась и крикнула:

— Это не я рассказала Ахтуру. Я рассказала только одной Семадар — спроси ее: правда, Семадар, я рассказала только тебе, а ты — Ахтуру?

Тогда он спелся глазами с Семадар и видел, как постепенно под его взглядом менялось ее выражение. Сначала она смотрела на него с шаловливой повинною: она, по-видимому, одна во всей толпе не поняла, что произошло; думала, что это все шутки. Но вдруг ей стало ясно, что Самсон сердится; она побледнела, открыла губы, уронила кувшин, подымая руки не то для просьбы, не то для защиты. И еще через мгновение она поняла, что Самсон не только сердится, но он глубоко потрясен, случилось что-то большое, страшное, неизлечимое... А Самсону вдруг все это стало безразлично и противно. Одна девчонка солгала, другая выдала... Грязь, ложь, предательство — к чему спорить? О чем с ними всеми говорить? Прочь!

Он поднялся и крикнул изо всей силы:

— Хас!

Это грубое слово, это значит: молчать!

Редко он разворачивал свой нечеловеческий голос до полной ширины, как на этот раз; большинство из присутствующих никогда этого голоса и не слышало и не подозревало, что бывают такие объемы звука. Возглас его ударил по всей массе воздуха как бы сразу со всех сторон; за версту и дальше от Бергамова дома, в городе, он прервал гомон туземной черни; сторожа, избивавшие десятских, на минуту остановились, подняв толстые хлысты и встревоженно оглядываясь; а в саду Бергама замолчали птицы в листве на мгновение и люди надолго; только «шакалы» шарахнулись от своего стола и стали двумя рядами за Самсоном; все остальные не шелохнулись, только повернули головы. Не одна неожиданность грохота была в этом окрике, но и другое: что-то от Самсонова роста, от его плеч, вдвое шире спины любого человека, от тяжелой шеи, на которой казалась маленькой косматая голова, от гранитных мускулов под волосатой шкурою рук — весь облик Самсона был в этом реве, напоминание о нечеловечьей, фантастической силе, против которой безумием было бы поднять руку.

— Прощай, Тимната, — спокойно сказал Самсон среди полной тишины. — Больше вы меня гостем этого города не увидите; от вас зависит, чтобы не увидели меня врагом. Кому править Ханааном — это решится не на пиру, и не словами. Пока — разойдемся за межу; ваше — ваше, мое — мое. Что мое, то я отберу, когда придет время... когда мне захочется. Что ваше, то вы получите. Заклад я уплачу. Я его не проиграл; загадка моя была

совсем не та; но это не важно — моей телицей вы пахали, мне и платить за потраву. Что это было? Тридцать плащей из расшитого шелка? Вы их получите; и вышивка на них вам понравится: это будет работа не наших, а ваших искусниц. Прощай, Тимната — и помни о меже: не переступишь.

Он повернулся к тестю:

— Прощай пока, Бергам, — сказал он. — Ты хороший человек, и не твоя это вина. Вина моя: прости меня.

Семадар к нему подбежала, протянула руки, хотела что-то сказать. Он отмахнулся, как от шмеля:

— Иди прочь от меня, — проговорил он негромко, но отчетливо; все слышали. Бергам побагровел и начал было слово; но Семадар, плача, бросилась ему на грудь, и он занялся ею.

Самсон пошел, и «шакалы» за ним; Ягир впереди, Нехуштан, доедая сочную фигу, последним.

* * *

Дом Ахтура был тоже за городской стеной, но много дальше от города, к западу, у самой дороги в Аскалон. Дней через десять, поутру, дворецкий его нашел на крыльце аккуратно увязанный тюк; в нем оказалось тридцать шелковых накидок, какие филистимляне надевали по праздничным случаям; не все были новые, но все хорошей работы.

У Ахтура не было сомнений, что накидки филистимские и что Самсон кого-то где-то ограбил. Но так до самой смерти своей и не узнал он, где и кого: под Аскалоном в загородный дом местного сановника поздно вечером, во время многолюдного званого пира, ворвалась шайка с великаном во главе; они убили несколько стражников и рабов, поколотили и раздели хозяина и гостей и пропали бесследно.

Глава XV. ВО ДНИ СУДЕЙ ИЗРАИЛЬСКИХ

Из Аскалона Самсон вернулся прямо в Цору, ко времени жатвы. После уборки, взяв с собой Ягира и Нехуштана, он ушел, как обещал, в обход селений Дана разбирать тяжбы.

В самом деле, мала и тесна была Данова земля и оттого полна раздоров. «Дан судит и рядит», — насмехались соседние колена. В каждой деревне была ссора из-за того, что сосед у соседа ночью передвинул межевые знаки. На каждой десятой

корове лежало обвинение в потраве. Вообще земледельцы ненавидели скотоводов. «Для малого стада, — жаловались они, — нужно столько земли, что посеи на ней пшеницу — прокормишь целую деревню». Была округа, где человеку в шерстяной одежде опасно было показаться среди пахарей, а человеку в рубахе изо льна — среди пастухов; если же забрел бы туда чужак, не знающий местной злобы, в платье, сотканном из смеси льна и шерсти, плохо пришлось бы ему среди тех и других. Скотоводы еще были не так свирепо расположены — вероятно, потому, что их было меньше, и они реже селились скопом; но у земледельцев убить тайком пастуха не считалось за грех.

Такого убийцу привели к Самсону в Айялон. На сходке вокруг судьи пастухи столпились с одной стороны, земледельцы с другой, как два лагеря. Самсон посмотрел на тех и других и сказал:

— Если затеете драку, перебью всех без разбору. Вызывайте свидетелей.

Убийца, коренастый человек, очень спокойный, отозвался:

— Никаких свидетелей не нужно. Я его убил, точно так, как рассказали тебе эти чертовы дети, — он указал на пастухов. — И второго убью, если поймаю козу на своем винограднике. Сам Бог велел истреблять скотоводов.

Самсон усомнился в этом, но в стане земледельцев многие закивали головами. И обвиняемый с глубочайшей и невозмутимой убежденностью рассказал назорею предание о том, как в древности землепашец Каин убил овцевода Авеля, и другие пастухи устроили было на него облаву; но тогда сам Бог послал к ним ангела заявить, что за каждого убитого пахаря чума поразит семерых из пастушьего отродья; а если они тронут Каина, совершившего такое хорошее дело, то за него одного умрут семьдесят семь скотоводов.

Самсон предложил семье убитого на выбор — побить виновного камнями или взять выкуп; посоветовавшись со своими, старший сын предпочел выкуп, чтобы не плодить кровавой мести в округе.

— Не дам выкупа, — упрямо сказал убийца, — Иегова запретил кормить эту саранчу.

Самсон взял его за правую руку и стиснул ее; почитатель Каина несколько минут извивался, бранился и вопил от боли, но под конец сдался и простонал:

— Дам выкуп — будьте вы прокляты с судьей вместе!

Среди самих скотоводов было тоже неладно. Те, у которых были коровы, ненавидели тех, что разводили овец; ругали овец той же бранью: «саранча». В Шаалаввиме, где недавно Самсон оказал услугу овцеводам, волопасы на него за это косились; но оказалось, что и овцеводы им недовольны. Как и староста их Шелах бен-Иувал, они все находили, что не следовало отбирать у херешанских грабителей все украденное стадо целиком: часть надо было оставить вора́м, не то в утешение, не то в виде взятки. Теперь уже больше месяца не видно было в Шаалаввиме гостей из Вениаминовой земли, а прежде они приходили часто: иногда, правда, воровать, но иногда и торговать. Словом, все были сердиты на Самсона.

Самсон выслушал эти жалобы, ничего на них не ответил и сказал:

— У меня мало времени. Вы меня звали прийти к вам судить. Есть у вас тяжбы?

Оказалось, что в этом селении скотоводов вообще никто не хочет идти к нему на суд — кроме двух братьев, занимавшихся, в виде исключения, хлебопашеством и потому не имевших на него досады.

Братья были не похожи друг на друга. Старший говорил много, быстро и злобно, размахивал руками, сверкал глазами; младший держал себя скромно и молчал, покуда его не спрашивали. Первым выступил старший:

— Мы, собственно, не здешние уроженцы, — заговорил он, — покойный отец наш переселился из Баалата...

Самсон коротко прервал его:

— Начинай с конца.

Жалобщик удивился:

— Как так с конца?

— Начинай прямо с жалобы; об отце ты расскажешь, когда я тебя спрошу об отце.

— Но... ведь поле это купил наш отец...

— О чем спор?

— О дележе урожая, — ответил тот.

— Рассказывай.

— Поле мы вспахали и засеяли вместе; но во время жатвы поссорились и порешили разделиться. Поле пополам, на это оба согласны; но как быть с урожаем?

— Почему и урожай не пополам?

Старший закричал:

— Потому что он ничего не делал; и пахал, и сеял, и жал один я. Урожай мой! Самсон спросил у второго:

— Правда это?

— Нет, — ответил младший, — оба мы работали поровну. Половина урожая — моя.

Самсон спросил:

— Есть свидетели?

Кроме жен, свидетелей не было: братья эти были единственными земледельцами в Шаалаввиме; никто их работы не видел, а жены не в счет.

Самсон помолчал; внимательно посмотрел на обоих братьев; потом оглянулся на стариков, которые только что укоряли его за то, что не оставил вора́м подарка; и вдруг спросил у старшего:

— Ты говоришь: весь урожай твой?

— Весь. Потому что брат мой с самого детства...

— А ты что говоришь?

— Я по справедливости: половина его, половина моя.

— Значит, — сказал Самсон, — об одной половине спора нет: оба согласны, что она полагается старшему. Спор только о второй половине; ее мы и разделим поровну. Три четверти урожая — старшему, а младшему четверть. Ступайте.

Старший радостно загоготал; младший побледнел, но поклонился и хотел пойти. Тогда старики зароптали: один из них тронул руку Самсона и сказал ему тихо:

— Мы их хорошо знаем: старший лжет; он известен как человек негодный.

— Я это вижу, — громко ответил Самсон и обратился к младшему: — Брат твой — обманщик; но ты — глупец, а это еще хуже. Сказал бы ты тоже: «Весь урожай мой», — получил бы свою половину. Когда бьют тебя дубиной, хватай тоже дубину, а не трость камышовую. Ступай; впредь будь умнее и научи этому остальных людей твоего города: им это пригодится.

Старики опустили головы, кроме желто-седого Шелаха, который смотрел на Самсона с любопытством.

— Ты судишь по-новому, — прошамкал он. — А вот есть у нас еще один случай, похожий на этот. Приведи сюда Этана и Катана, — сказал он одному из сыновей, сопровождавших его, — скажи, что это я приказал.

Этан и Катан пришли неохотно — они были скотоводы.

— Эти шли дорогой, — объяснил Шелах, — и нашли при- блудную ослицу. Пришли ко мне судиться. Я спрашиваю: «Кто первый увидел?» Каждый говорит: «Я». «А кто первый схва- тил?» Каждый говорит: «Я». Как быть?

Самсон спросил:

— Верно рассказал мне Шелах бен-Иувал?

Оба кивнули головой.

— Разрубите ослицу пополам, — велел Самсон, — каждо- му полтуши и полшкуры.

Старики засмеялись этому, как неумной шутке; но Этан поднял голову, кивнул Самсону и сказал:

— Ты мудрый судья, цоранин. Если не мне, то и не ему.

— А ты что скажешь? — спросил Самсон у Катана.

Катан был человек рассудительный.

— На что мне половина ослиной шкуры? Коли так, може- те отдать ее кому угодно, хоть ему — пусть он на ней женится, если хочет.

Самсон плюнул.

— Глупая тварь осел, — сказал он, — но ты осел из ослов. Рад бы и решить это дело в твою пользу — ты, видно, добрый хозяин, умеешь жалеть скотину; но раз ты сам уступаешь, спор кончен, и судье нечего делать. Ослица за Этаном. Иди и впредь никогда не уступай.

Старики были опять недовольны; только Шелах бен-Иувал проговорил как бы сам себе:

— Судит он, как неуч, но человек он мудрый.

А в народе с того дня пошла поговорка: «осел из ослов» — «хамор-хаморотаим» — про каждого, кто из чрезмерной чест- ности сам себе выкопал могилу.

* * *

В Модине — тогда он еще носил другое имя — пришел к Самсону туземец с молодой дочерью. Муж ее, данит, велел ей накануне забрать свою одежду и годовалого ребенка и вер- нуться в дом отца. Туземец утверждал, что для развода нет при- чины; женщина была беспорочна, и сам муж не обвинял ее ни в изменах, ни в сварливости, ни в неряшестве.

Дело это оказалось сложным. Данита вызвали, и он, хоть за- пинаясь, но с глубокой убежденностью объяснил, что женить- ся на туземке — грех.

— Зачем же ты женился?

— Я тогда не знал, что грех.

— А откуда знаешь теперь?

Оказалось, что близ Модина, в пещерах, поселилась недавно банда пророков, и они ему растолковали, что нельзя смешивать кровь израильскую (он так и выразился «израильскую», хотя слово это было неупотребительное в его скромном сословии) с кровью низких племен. Один из этих пророков сам пришел на суд и хотел было произнести речь; но Самсон и ему сказал коротко: «Начинай с конца», — и тот смешался и ничего не ответил, ругаясь вполголоса.

Браков таких было много и в Модине, и повсюду. Давно прошло время, когда завоеватели селились на холмах, оставляя покоренным племенам долину, ничего не делали и отбирали у туземца лучшую половину его жатвы. С тех пор на даровых хлебах Дан расплодился, а туземцы, голодая, вымирали и разбегались — пока, уже много поколений назад, некому стало кормить завоевателя. Тогда пришлось даниту спуститься в долину, взяться за соху или за пастуший посох и учиться у захудалого туземца. Так создались смешанные деревни — некоторая сфера общей жизни, и в домах Дана стали появляться наложницы, потом и жены, с покатыми лбами, с глазами навыкате, со страстной полнотою губ; часто по-своему красивые, но всегда более послушные и всегда лучшие кухарки, чем гордые девушки из потомства Валлы.

Суд этот принял отчасти характер богословского спора. Данит, наслушавшийся пророческих речей, привел длинный ряд заповедей и притч, по которым выходило, что сам Иегова, наместник его Моисей и славный воевода Иисус Навин запретили коленам брать ханаанских жен. О Моисее Самсон никогда не слышал, о Навине ему кто-то когда-то рассказывал; он зевнул и спросил:

— Мало ли кто что запретил, когда и деда твоего еще не было на свете; надо знать почему?

— Это чужие девушки ввели к вам чужих богов! — закричал пророк из толпы.

Самсон повернулся к нему.

— Эй ты, бездельник, — сказал он, — вокруг меня выются комары. Отчего ты их не отгоняешь?

— Сам отгоняй, — дерзко огрызнулся дервиш, — мало тебе твоих медвежьих лап?

— Верно, — признал Самсон. — Есть у меня свои руки; мне подмога не нужна. И Иегове не нужна. Покуда он сам терпит Астарт и пенатов — ты чего вмешиваешься?

В толпе, где было много туземцев, засмеялись от ловкого ответа.

— Кровь наша избранная, — говорил данит, — она — что вода из родника; нельзя лить ее в лужи на дороге.

А Самсон ответил:

— Мы не вода; мы — соль. Вода — это они; ударь по воде рукою, расступится. А брось пригоршню соли в бочку воды, не соль пропадет, а вся бочка станет соленой.

Тот опустил голову и не знал, что возразить. Самсон присмотрелся к нему: был он очень молод, из себя румяный и пухлый, со смачными губами; сам, очевидно, от туземной прабабки.

— Женщина, — сказал Самсон, — иди домой. Навари чечевицы с чесноком и тмином, прожарь на вертеле козленка, в самую меру, чтобы жирок не перестал капать, вареники посыпь шафраном и корицей и выкупай три раза в меду; и накрой стол чисто. Он вернется.

Она побежала, держа ребенка под мышкой.

— Твои пророки живут в пещерах, — сказал Самсон мужу, — не строят, не пашут, не пасут. Хочешь — поселись с ними: будешь тогда считать звезды и печалиться, что не так они размещены в небе, как тебе хочется. А кто выстроил дом, у того другие заботы. Ступай домой.

Когда они шли из Модина, Ягир сосредоточенно молчал. Как всегда, Самсон прочел его думу; он и сам с горечью думал о том же и отозвался ему и себе:

— Может быть, в самом деле прав тот голый пророк.

— А ты рассудил против него, — тихо и укоризненно сказал Ягир.

Самсон помолчал, потом спросил его:

— Случалось тебе тащить мешок зерна? Когда наполнишь его, сразу не взвалишь на спину: раньше надо его утрясти, чтобы зерно осело и не болталось. Что такое город или страна? Мешок, наполненный людьми. А судья или царь, или саран должен его трясти, пока все не приладутся друг к другу — и правые, и неправые. Шелах бен-Иувал из Шаалаввима сказал мне умное слово: и правду нельзя подавать к столу полными тарелками.

Долго они шли молча; солнце село, полевые «шакалы» расплакались от радости, что скоро можно будет войти ужинать на виноградники. Самсон опять заговорил:

— Периззеи, гиргасеи, хиввеи... Что же, всех перерезать?

— За что? — спросил Ягир. — Кого они обидели?

— Или торчат им среди нас навеки, словно кость поперек горла? Проглотить надо кость — благо она стала мягкая, словно хрящ у барашка.

— И филистимляне — хрящ? — шепнул Ягир.

Самсон покачал головою.

— Кафтор не кость; Кафтор — железо; его не проглотишь. Значит — или мы, или они.

Ягир, как и все в то время, иногда тоже умел говорить образами. Он сказал с досадой:

— Кафтор железо. Дан камень; сведи их — будет огонь, и земля загорится.

Самсон остановился, расправил могучие руки, потянулся и ответил бодро и весело:

— Так и надо!

Нехуштан, не принимавший участия в этой беседе, только весело засвистал.

* * *

После Модина стали к нему повсюду приходить туземцы, прослышав о мудром судье. Сначала он отсылал их: согласно обычаю, они по своим дрязгам должны были судиться у собственных старост. Но оказалось, что у них уже и старост иногда нет — просто забыли выбрать, живя изо дня в день. Пришельцы взяли у них землю, язык, обычай, искусство, богов, а под конец отобрали у них и самую волю жить по-своему; как воробей, заглядевшийся на змею, они без ропота, может быть, и не без охоты, дожидались поглощения.

Тяжбы их были несложны, сводились обычно к простой краже или обману, а приговоры Самсона — к палкам и пеням. Об одном случае, однако, сохранилось предание.

В Гимзо, на самой границе, где ханаанейское население было крупнее, потому что здесь селились иногда беженцы с филистимского побережья, была застарелая ссора между двумя соседями. Были это зажиточные люди, а потому их стычки волновали одноплеменников: туземцы охотно и грубо ругались между собою, но драк не любили. К Самсону пришло посольство просить, чтобы он помирил врагов. Враги оказались оба рослые, крепкие, без обычной тупости в глазах — может быть, с отдаленной примесью филистимского налета в крови.

— Жалуйтесь по очереди, — велел им Самсон.

Жалоб у них друг на друга было много, но все мелочи — Самсону стало скучно.

— Часто они дерутся? — спросил он у свидетелей.

— Чуть ли не каждый день приходится их разнимать, — ответили те.

— Отойдите в сторону, — сказал он свидетелям. Те расступились направо и налево; враги остались посередине. Самсон вдруг закричал: — Бей его!

Каждый из двоих принял этот приказ на свой счет; они замолотили кулаками, лягали друг друга, катались по земле, вцепившись один другому в бороды, а Самсон их по очереди подстрекал. Постепенно увлеклись и туземцы и тоже начали подбодрять то одного, то другого. Под конец оба выбились из сил и поплелись домой, то и дело опираясь друг на друга.

— Теперь будет у вас покой, — сказал Самсон. — Вся беда в том, что вы их разнимали. Всегда надо людям дать додраться.

Только одна группа туземцев не пришла к Самсону и вообще держалась особняком и от данитов, и от ханаанеян. В Хересе, у развалин храма, где когда-то вымершее племя поклонялось солнцу, жили в землянках аморреи. Высокие, с тонкими чертами лица, они промышляли огородничеством и охотой; женились только между собою; говорили мало, но по вечерам пели заунывные рифмованные песни; даниты их считали ворами и волшебниками, но избегали с ними ссориться, боясь неизвестно чего...

Настоящую племенную ненависть Самсон нашел только в Эштаоле. Здесь, в особом селении за городской стеною, жили переселенцы из колена Иуды, и каждый год их становилось больше. Даниты их терпеть не могли. Иудеи жили замкнуто, никого не обижали; между собою вечно о чем-то спорили и бранились; но у них были свои старосты, которых они слушались беспрекословно; и когда умирал староста, ходили судиться к его сыну. Занимались они больше всего торговлей, а женщины ткали шерсть на продажу — и шерсть получали из Иудеи, обходя местных овцеводов. И опять услышал Самсон от данитов то же бранное слово: «саранча»...

Месяц это продолжалось; и каждую ночь перед сном он думал и тосковал о Семадар.

* * *

Пытки Самсон почти никогда не применял — не приходилось: вид его и слава о его силе сами по себе достаточно пугали упиравшихся. Кары его были жестоки, и трех человек он велел побить камнями.

Когда он кончал обход, влиятельные люди повсюду были им в общем недовольны. Он судил не по обычаю; и сам, будучи молод, обычая не знал, и со стариками не хотел советоваться. Он слышал об этом недовольстве; и, вернувшись в Цору, сказал:

— Я к ним больше не пойду; если я им нужен, пусть приводят своих воров и спорщиков сюда, к воротам Цоры.

Впоследствии — хотя не сразу — так оно и было. Не проходило месяца, чтобы к воротам Цоры не приводили издали связанного преступника или не приходили с толпою пыльных свидетелей истец и ответчик; и Самсон их судил по законам своей дикой мудрости и учил Дана суровой жизни волка среди волков.

Но до того еще много произошло других событий.

Глава XVI. ФОРМУЛА

Самсон провел несколько дней дома. На этот раз он не говорил даже с отцом; не показывался на улице и обыкновенно от зари до ночи, прямо через калитку в городской стене, уходил бродить. Уходил он на север, в обратную сторону от Тимнаты. Однажды недалеко от пастбища мимо него прошла Карни со своей служанкой, но он не заметил.

Никогда в жизни он не знал, что такое голод; а теперь он голодал по Семадар. Вся его громада мышц и нервов, от темени до пальца на ноге, изнывала и молила о ее прикосновении; но еще горше томилась его душа по ее русалочьим выходкам, по ее десятиструнному голосу; все то чужое, чудесное, необходимое, как вода в жаркий день, что было в ней, сверлило его память без перерыва. Он чувствовал у себя на шее невидимую веревку, туго натянутую; куда бы он ни повернулся, она оставалась натянута. Иногда ему казалось, что он кричит вслух; только по молчанию воздуха или отца и матери, когда это случалось дома в бессонную ночь, Самсон догадывался, что и он молчит. Часто ему казалось, что надо изо всей силы стукнуть кулаком по стене — стена развалится и он увидит то, что ему нужно, войдет и схватит и утонет в неслыханной радости. Самсон был очень несчастен в эти дни.

Ацдельпони его ни о чем не спрашивала. Но однажды она велела рабам выстроить новое крыло у дома; целую неделю она бранила и била их, и через неделю пристройка была готова. Тогда, стиснув бледные губы, она занялась убранством

нового жилища; развесила по стенам лучшие свои шелка, разложила на полу циновки и те шкуры, что прежде когда-то сын ей приносил с охоты; устроила постель, какой никто никогда не видал, на подставках; даже принесла из божницы расписной глянцевитый кувшин и поместила его на видном месте — она помнила, что в спальне у той проклятой чванной барыни, где повивальная бабка при ней так бесстыдно поворачивала во все стороны голую Семадар, был такой кувшин и в нем зеленые ветки с цветами. Когда все было готово, она ничего не сказала Самсону; он тоже ничего не сказал, но взял ее на мгновение за руку и посмотрел ей в глаза взглядом малого ребенка, который заблудился в лесу, натерпелся страхов и холода, проголодался — и теперь мать его нашла, умыла и ведет в теплую комнату накормить.

В ту же ночь он ушел, на этот раз по южной дороге. Он поклялся, что не придет больше гостем в Тимнату, но дом Бергама был за стенами Тимнаты. Он далеко обогнул город; в холмах, перед зарей, ему попалась серна с детенышем. Обе от него побежали; маленькая козочка показала ему тоненькой и беспомощной, как — как девушка, к которой протянул руки в первый раз великан жених. Он сбил старую лань камнем, догнал и подобрал младшую и осторожно понес ее живую на руках, заглядывая в детские, испуганно-доверчивые глаза. Так лучше, идти мириться надо с подарком; и Семадар любила малых зверят.

Рассветало, когда он постучался у дверей Бергама. Плана, что сказать и сделать, у него не было.

— Разбуди мою жену, — велел он оторопелому рабу.

Тот дрожал и не находил слов.

— Я... я позову господина, — проговорил он наконец.

— Не нужен мне твой господин, — ответил Самсон, — я за женою.

Мимо отшатнувшегося раба он прошел в переднюю, направляясь к ее комнате — к их комнате. Он откинул занавеску и заглянул с порога. На постели спала девушка с черными волосами: не Семадар. Больше никого не было.

— Где теперь комната Семадар? — спросил он нетерпеливо.

— Госпожа Семадар... госпожи Семадар нет, — бормотал раб, — она не здесь... Я скажу господину.

И он со всех ног бросился куда-то во внутренние покои. Самсон стоял посреди широкой передней, постукивая ногою по плитам; он сам не заметил, что стиснул козочку, и она жалобно

закричала. На той двери шевельнулась занавеска, выглянула Элиноар и опять опустила тяжелую ткань. Он не заметил и обернулся только на шлепанье босых пят Бергама.

Бергам не успел обуться, но это был единственный недочет в его внешности. Борода его была в таком порядке, как будто он и во сне ее поглаживал; волосы тоже; купальный плащ, поверх ночной одежды, падал ровными складками. Он был одет точно так, как полагается быть одетым на заре тестю, когда зять неожиданно врывается в дом через месяц и больше после ссоры; по-видимому, в неписаном тысячелетнем кодексе его было ясное правило и на этот случай, как и на все другие случаи. И манера его была такая, как полагалось при подобных обстоятельствах; несколько не удивлен; не сердит, но нельзя сказать, чтобы радовался; приветлив, несколько сдержан и вообще спокоен. Самсон заметил только одно: что тесть на него не хмурится. Улыбнувшись до ушей, он просто сказал:

— Здравствуй, Бергам. Где Семадар? Я пришел взять ее в Цору. Моя мать выстроила для нее дом; маленький, но точь-в-точь такой, как у тебя.

Бергам пожал ему руку, что было несколько неудобно из-за маленькой серны, и ответил:

— Очень рад тебя видеть в добром здоровье, Самсон. Не отдашь ли свою ношу Пелегу? Возьми козленка на двор, Пелег, и дай ему молока; травы не давай — он еще маленький. И вели подать в мою спальню вино, мед и пряники. Милости просим ко мне, дорогой гость.

«Гость?» — подумал Самсон, но не высказал. Его, как всегда, победила круглая законченность этого обхождения; кроме того, ему было не до пустяков.

— Где Семадар? — спросил он, идя за Бергамом.

— Прежде всего, — ответил Бергам, — сделай мне честь и присядь. Вино сейчас подадут. Не хочешь ли умыться? Ты, по-видимому, провел всю ночь в дороге.

Самсон потерял терпение; повел плечами, чтобы снять с себя обаяние чужого обычая, и сказал резко:

— Это все потом. Я спрашиваю, где Семадар; и ты отвечай, где Семадар.

Бергам и к этому слогу беседы оказался подготовлен. Он ничем не показал, что резкость ему не нравится; на деловой вопрос он деловито ответил:

— Она не в моем доме.

— Где она? Я пойду за нею. Здесь, или в Экроне, или опять у твоих родственников в Газе? Я пойду за нею. Моя мать выстроила для нее дом; ей будет там так же хорошо, как у вас.

Они смотрели прямо друг на друга; Самсон заметил, что в лице Бергама выразилась некоторая степень умеренного удивления. Ему вдруг стало жутко: сейчас произойдет что-то непонятное, невероятное, невозможное.

— Я, должно быть, не так расслышал, — сказал Бергам, разводя руками, — но мне кажется, что ты уже во второй раз упоминаешь о намерении пригласить мою старшую дочь в Цору, в дом твоей матери?

Самсон нагнулся, крепко взял себя обеими руками за колени и проговорил негромко и отчетливо:

— Ты перестань шутить, старик. Не в дом моей матери, а в мой дом; не твоя старшая дочь, а моя жена.

При слове «старик» Бергам заметно нахмурился. Грубость недопустима; раз дошло до грубости, то разговор, по его правилам, должен впрямь вестись — если он неизбежен — без обиняков, принятых только в беседе между одинаково благовоспитанными людьми. Так же отчетливо он ответил:

— Около месяца тому назад, в этом самом доме, при сотне полноправных свидетелей, ты сказал моей дочери: «Поди прочь».

У Самсона проступила поперек лба темно-синяя жила, глаза ушли глубоко под брови, скулы и подбородок напряжались; но он ничего не сказал, потому что в эту минуту вошел раб с подносом.

Слуга ушел. Бергам сделал было движение передать Самсону кубок, но тот не шевельнулся и ждал. Бергам продолжал:

— За несколько дней до того я счел долгом познакомить тебя с основными началами, по которым определяются права и взаимоотношения супругов на филистимской земле. Я тогда же точно и сполна перечислил тебе все восемь формул, какие могут быть произнесены для расторжения брака. Седьмая формула именно гласит: «Поди прочь».

Лицо Самсона постепенно изменилось. Жила побледнела; брови поднялись, глаза округлились и немного выкатились; натянутые мышцы от висков до молодой бороды разомкнулись; и вдруг он расхохотался совершенно искренне и беззаботно.

— Что же, — спросил он сквозь смех, — значит, по-вашему, я с нею развелся?

Бергам ответил:

— Я бы не назвал это разводом в собственном смысле слова. Развод учиняется со взаимного согласия; при этом применяется одна из первых четырех формул. Последние четыре формулы употребляются при одностороннем акте отвержения, когда муж по собственной воле изгоняет жену. Я оставляю пока в стороне оскорбительный, и в данном случае совершенно незаслуженный характер того способа расторжения вашего брака, который ты избрал; но брак ваш расторгнут.

Самсон перестал смеяться, но глядел на Бергама ласково, как старший на ребенка.

— Полно, тесть, — сказал он, — все это мелочи. Поведи меня к ней, мы помиримся; и у тебя, если хочешь, я прошу прощения. Ты хороший человек, я хочу остаться твоим другом.

— Поверь мне, — ответил Бергам, — и я дорожу твоею дружбой; но я боюсь, что ты не понял сути вещей. Тимната живет по закону Кафтора. Расторгнутый брак расторгнут.

Самсон вскочил:

— Веди меня к ней, — сказал он коротко, тоном приказа.

— Ты не можешь пойти к ней. По нашему закону, да, верно, и по вашему, отвергнутая жена не лишается права вступить в новый брак. Семадар живет в доме своего мужа.

— Мужа?! — заревел Самсон.

— Она вышла замуж за твоего приятеля Ахтура.

Самсон поднял оба кулака и хрипя двинулся на Бергама.

Это было тоже предусмотрено в кодексе его бывшего тестя. Бергам не двинулся с места, не бросился к стене, где висело разное оружие — знал, что это бесполезно; не позвал на помощь. Он скрестил руки; его лицо вдруг приняло выражение надменного отвращения; и он сказал:

— Ты меня назвал «стариком»; и ты в моем доме.

Самсон остановился, тяжело дыша.

— Странный обычай у Дана, — продолжал Бергам, глядя на него сквозь прищуренные ресницы, — и я не жалею, что мы снова чужие.

Самсон уже не слышал. Ветер выл со всех сторон вокруг него, ливень хлестал по лицу, горы валились одна за другой ему на голову; одна за другой совершались над ним дикие, сумасшедшие вещи, которых никогда не бывает в жизни; сто человек держали его за горло и душили, еще сто рвали волосы, еще сто колотили по голове. Никто его на деле не бил, и сам он стоял, почти не шевелясь, только мотал головою и сжимал и разжимал

пальцы; но буря его и метания чувствовались так ясно, что Бергам, дожидаясь, чем это кончится, дивился несдержанности простого люда, который выставляет напоказ переживания, подлежащие сокрытию.

В дверь заглянула Амтармагаи, за нею два встревоженных раба; Бергам сделал им знак — не беспокоиться и оставить его с гостем наедине. Самсон ничего не видел. Постепенно припадок его прошел; он сел на высокую постель и задумался, не обращая внимания на хозяина. Дума у него была одна: это неправдоподобно, таких вещей не бывает. В его жизни до сих пор не было ни одного горя, в его среде тоже; никто близкий не болел, не умирал, не знал лишений. Самсон никогда и вблизи не видел страдания; правда, только недавно люди перед ним плакали на суде, но то было не в его кругу, то все было как-то за оградой. Раз он видел человека, у которого болели зубы, и не мог понять, что с ним. Теперь боль торчала в его собственном мозгу; сколько ни отпрыгивала мысль, останавливаясь на пустяках, на цвете подушек, на стеной живописи, она сейчас же возвращалась обратно — к его потере.

Вдруг он сообразил, что Бергам уже давно стоит над ним и говорит что-то утешительное, держа руку у него на плече; но в то, о чем он толкует, еще нельзя было вслушаться. Самсон прервал его и спросил тоном не обиды, а жалобы, тоном побежденного:

— Разве это справедливо — схватить неосторожное слово, на пиру? Я иноземец, ничего не знаю о вашем законе; я не запомнил твоей науки о мужьях и женах. Это несправедливо.

Бергаму пришло в голову, что он прав; но в кодексе Бергама был другой готовый ответ — его он и произнес:

— При этом было сто человек. Слово есть не то, что сказал говорящий: слово есть то, что услышали слушатели. Брошу я камень в небо: упадет на землю — я пошутил; упадет человеку на голову — я убийца. Обмолвка наедине — обмолвка; обмолвка на людях — приговор.

Самсон его не слушал; Бергам принял его безучастие за согласие, был этим искренно удовлетворен и охотно и широко распахнул перед юным варваром уютные, плоскодонные заводи своей мудрости. Он говорил долго, благоразумно, толково. Нельзя так огорчаться из-за женщины; вообще ни из-за чего нельзя огорчаться. Мир, в сущности, есть большая детская, полная разных игрушек; они называются — поцелуй, богатство, почести, здоровье, жизнь. Надо учиться у детей: сломалась

одна игрушка — поплачь минуту, если хочется, а потом возьми другую и успокойся. А придет вечер — бросай все и ложись спать, не брыкаясь; сон, то есть смерть, тоже игрушка, вероятно, не хуже других. Главное одно: чтобы дети всегда были чисто умыты и не кричали слишком громко.

Не самые слова его, но журчанье их стало понемногу проникать в сознание Самсона. Что-то в этом роде он знал и любил; ради этой мудрости он и ходил к ним в Тимнату; это самое он говорил тогда Карни, сестре Ягира, или, если не говорил, то думал.

А Бергам продолжал журчать. Конечно, любовь — упрямая прихоть; человеку иногда чудится, будто нет для него на свете другой женщины. Но это только чудится. Так иногда проголодаешься в пути, и кажется тебе: хорошо бы теперь полакомиться бараниной. Дошел до постоянного двора. Есть баранина? Нет. Ужасно жаль. А что есть? Только вареное просо. Делаешь гримасу. Но так и быть, подавай просо. Начинаешь есть — оказывается, и просо вкусно; и поев — ты уже и забыл о баранине. Суть в аппетите; то блюдо или иное — это только прихоти. Молодости свойственна и прилична страсть; но выбор велик...

После этой притчи Бергаму вдруг пришла в голову гениальная мысль; пришла, точнее говоря, не «вдруг», а по самой законной связи представлений. Баранина и просо; кухня; вторая жена его, аввейка, превосходно стряпает; она мать Элиноар; Элиноар! Продолжая утешать Самсона, он в порядке спешности обдумал эту идею со всех сторон, то есть с тех сторон, с которых она могла касаться его самого и его дома. Девушка подросла; характер у нее неудобный; выдать ее замуж в кругу филистимского дворянства здесь, на окраине, где все они так помешаны на чистоте расы, будет нелегко; с другой стороны, именно ввиду ее происхождения брак с иностранцем не вызовет тех недоразумений, которые получились из первого опыта; тем более что родители Самсона ведь построили в Цоре дом для его жены, что с их стороны чрезвычайно разумно. Во всех отношениях отличный план. И, над понуренной головой Самсона, он осторожно и деликатно коснулся этой новой мысли. Отцу, конечно, непристойно выступать сватом собственной дочери; но ввиду их дружбы, и... кхм... создавшихся обстоятельств, некоторое отступление от правил может быть допущено. Он, Бергам, не знает, заметил ли его друг, что в этом доме есть еще одно юное женское сердце, плененное его доблестями; но от отцовского глаза это не укрылось. Это чувство однажды —

кажется, по случаю прихода Маноева домоправителя — выразилось даже в таком сильном припадке ревности, что ему, Бергаму, пришлось распорядиться о применении строжайших воспитательных мер. Вместе с тем он, без особого хвастовства, может сказать, что когда-то в молодости считался знатоком женских очарований и не совсем еще забыл ту науку; и он, Бергам, берет на себя смелость утверждать, что младшая дочь его по красоте вскоре далеко превзойдет старшую. Для опытного взора уже и теперь в этом нет сомнений. Быть может, плечам ее недостает той мягкой покатоности, напоминающей изгибы лучшего кувшина критской работы; но бюст ее выше поставлен и дольше продержится на желательной высоте, а бедра и лягдvei, когда созреют...

Самсон по-прежнему не слушал; его мысли вообще стали неясны. Вдруг он сделал неожиданную вещь: сразу, как будто сломавшись, свалил голову на подушку, поднял ноги на постель и прежде, чем успел их уложить, заснул; не зевнув, не потянувшись, заснул, как будто сквозь землю провалился. Бергам, конечно, не обиделся, но плечами пожал; все это было для него ново, отчасти даже любопытно, как если бы довелось близко наблюдать, скажем, случку медведей. Он вспомнил, что в детстве у него была любимая собака; она сломала ногу, и рабкостоправ долго возился над починкой; собачка все время выла, но как только врач затянул последний узелок, она тоже сразу уснула, на половине последнего визга.

Бергам тихонько вышел. В передней были обе его жены и целый отряд рабов, на случай опасности. Он распустил челядь, а с женами устроил совет. После совета Элиноар было приказано часто навещать к спящему и, когда проснется, прислуживать ему.

* * *

Самсон проспал утро, день и вечер. Ему ничего не снилось; но от времени до времени где-то на окраинах его мозга отпечатывались физические ощущения. Мягкая рука гладила его лоб, отстраняя косицы, упавшие на глаза. Потом стало свободнее ногам; потом что-то теплое нежно и влажно обласкало его ноги. Однажды к его губам прижались открытые жаркие губы, а рука на короткий миг опять ощутила горячее, шелковистое, упругое прикосновение, которое он привык сознавать, не просыпаясь, за те семь ночей. Он что-то пробормотал и не проснулся.

Проснулся он так же внезапно, как заснул, и сразу сел на кровати. Была темная ночь; в углу тускло горел ночничок. Первое, что он увидел, был поднос с хлебом, мясом, медом и вином, на табурете у самой постели. Он стал есть и пить; быстро съел и выпил все, что было на подносе. Тогда ему послышался шорох, и он увидел в тени фигуру.

— Это кто?

Она ответила, не подымаясь:

— Элиноар.

— Что тебе нужно?

— Отец велел мне ходить за тобою. Я сняла твою обувь и умыла твои ноги, и приготовила эту еду.

— Поздно теперь?

— Недалеко до полночи; в доме все уже спят.

— Дай сюда мои башмаки, — сказал он.

Не вставая, она протянула к нему руки вдоль постели и грустно проговорила:

— Ты говоришь со мною так, как будто опять ненавидишь меня.

— Где мои башмаки? — повторил он, оглядывая пол.

— Не сердись на меня, Таиш, — прошептала она и вдруг расплакалась.

Очень сильные люди больше всего на свете боятся женского плача; это и на суде всегда сбивало Самсона с толку. Он не знал, что сказать.

— Не сердись на меня, — говорила она сквозь рыдание, — может быть, я виновата, но я люблю тебя. Я не хочу жить, если ты на меня сердишься.

— Оставь, — сказал Самсон досадливо, — ни на кого я не сержусь, и мне не до тебя. Где мои башмаки? Не могу же я уйти босиком.

— Куда тебе идти ночью?

— К Семадар, — ответил он очень просто.

Сразу ее всхлипывания перешли в смех, ее покорность в мятеж.

— Нечего торопиться, — сказала она звонко, — они оба до зари не заснут.

Прежде чем он понял, она бросилась вперед ничком, обхватила его ноги руками, обвила их волосами. Она взмолилась к нему скороговоркой, бессвязно:

— Я тебе тогда сказала, под маслинами, а ты не поверил; ты ударил меня. Она гадкая; ей все равно, кто ее целует, ты, или Ахтур, или третий. Она тебя не любила даже в те дни. Тебя никто

здесь не любит; ты это знаешь. Я одна тебя люблю; в ту неделю я по ночам металась, как птица, которой на кухне перерезали горло. Если бы не случилось это все, я бы сама ее убила. Возьми меня, Таиш; я пойду за тобой в Цору; я пойду за тобой на войну, среди твоих «шакалов»; я научу вас владеть мечами, я смаю из Тимнаты кузнеца. Моя мать будет служанкой твоей матери. Я тебя люблю, Самсон...

— Отпусти мои ноги, — сказал Самсон, — и дай мне найти башмаки.

Она закричала в исступлении:

— Ведь Семадар лежит теперь, обвившись вокруг Ахтура, шепчет ему, что его ласка слаще твоей!

Он высвободил ногу и босой пяткой ткнул ее в лицо, опять как тогда под маслинами, только не ладонью, а пяткой. Она откатилась по полу. Самсон поднялся, взял светильник и с его помощью нашел свои башмаки; надел их, завязал и ушел.

Глава XVII. КАК БЕРГАМ ВЫШЕЛ ИЗ ЗАТРУДНИТЕЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Было уже совсем около полуночи, когда Бергама разбудила его жена аввейка. Она единственная в доме видела, что Самсон ушел; тревожась за дочь, она не легла спать, а просидела несколько часов в темном углу передней. Когда мимо нее тихо прошла громадная тень данита и исчезла на крыльце, она пробралась в ту комнату и застала Элиноар на полу, в припадке безмолвной истерики. У девушки стучали зубы, и вся она тряслась мелкой дрожью. Много времени прошло, пока она в состоянии была говорить; и еще больше, пока мать от нее добилась толку — что Самсон ушел за Семадар. Тогда она решила разбудить хозяина дома.

Бергам серьезно встревожился. Быстро одевшись, он позвал раба, велел ему захватить меч и поспешил с ним к Ахтурову дому. Ночь была темная, идти через поля и виноградники было невозможно: пришлось идти по дороге, а это был длинный крюк. Бергам шел со всей быстротою, на какую была согласна его рыхловатая полнота, и обдумывал положение. Положение казалось ему затруднительным, особенно потому, что он начинал сомневаться, поступил ли он сам по всем правилам благоразумия. Во-первых, рассудительно ли было с его стороны лечь спать, не приняв никаких мер к предупреждению этой выходки Самсона? Но на это он сам себе ответил, что вся его дворня,

вместе взятая, не в силах была бы, да и не решилась бы помешать такой выходке. Серьезнее было другое самообвинение: еще рано утром он запретил рабам рассказывать кому бы то ни было, что у него за гость; и рабы его, на беду, отличались примерным послушанием. Отсюда следует, что Семадар и Ахтур ни о чем не подозревают и будут застигнуты врасплох. С другой стороны, Ахтур ему говорил накануне, что в этот вечер у него собираются друзья, кажется, по поводу предстоящих скачек в Асдоте, куда на днях отправлены были лошади изо всех конюшен города. Значит, можно надеяться, что беседа затянулась, и будет кому вмешаться, если бы дело приняло совсем непристойный оборот. Но опять же — «вмешаться»... В каком смысле они «вмешаются»? Друзья Ахтура — все молодежь; степенных, рассудительных людей среди них мало. Все это может кончиться неприятно; очень неприятно. Бергам терпеть не мог проявлений беспорядочного насилия. В молодости и он два раза принял участие в набегах, которыми сопровождалось покорение долины Сорека и округа Тимнаты; но по природе он был магистрат, правитель, а не воин, и самая мысль о драке, о боли, о грубом безобразии свалки была ему противна. Словом, положение создалось затруднительное.

— Еще далеко? — спросил он раба.

— Скоро будет старая смоковница, что у перепутья; а оттуда уже близко, господин, — три или четыре оклика.

Дворяне считали на выстрел из лука, простонародье на человеческий оклик — шагов двести или около того. Оклик? Бергаму иногда казалось, что он и отсюда слышит в той стороне какие-то крики; но кругом так стонали шакалы, так гудел ветер в рощах и виноградниках, что разобрать было трудно. Где эта проклятая смоковница? Он так и подумал — «проклятая», хотя не в его обычае было браниться. С перепутья одна дорога вела к южным воротам (по этой они и шли теперь), одна в горы, одна прямо к границе Дана, огибая Тимнату, четвертая в Аскалон мимо дома Ахтура. С перепутья уже можно будет расслышать, нет ли там беспорядка.

Вдруг прямо перед ними послышались торопливые шаги, из темноты бегом вынырнула белая фигура и, увидев их, метнулась в сторону.

— Кто это? — крикнул Бергам.

Она с криком бросилась к нему. Семадар была в ночном платье, едва дышала от волнения и бега; она обхватила отца руками и повторяла, дрожа, прерывающимся голосом:

— Уведи меня домой. Не ходи туда. Уведи меня. Не ходи туда. Уведи...

Сомнений больше не было: беспорядок, очевидно, разразился, и Бергам почувствовал, что создалось положение, требующее от него не колебаний, а распорядительности. Он строго приказал:

— Успокойся. Говори ясно и кратко: что случилось?

— Они его убивают... Самсона убивают...

— За что?

— Он размозжил голову Ханошу. Кубком. Наповал. Но Ханош первый бросил кубок, я сама видела... И он ударил по лицу Ахтура; Самсон ударил. О! Какой ужас — ничего не видно, ни глаза, ни уха; кровь... А теперь они его убивают. Я хочу домой...

— Веди ее домой, — сказал Бергам. — Меч отдай мне.

— Отец, не ходи туда, — закричала Семадар.

— Ступай, — повторил он рабу и кинулся бегом дальше.

Раб повел ее обратно, поддерживая и успокаивая. Это был Пелег, старый слуга; Семадар выросла у него на глазах и считала родным. Почти на бегу она рассказала ему, что видела. У Ахтура была вечеринка, а она легла спать. Разбудил ее шум, и вдруг она услышала голос Самсона и выглянула из своей спальни. Самсон стоял в дверях. Он говорил громко, но спокойно: «Я пришел за моей женою. Отдай мне мою жену». Ахтур поднялся, остальные сидели. Ахтур тоже говорил, не подымая голоса, но что говорил — она не помнит. Вдруг Ханош, Ханош из Экрона, закричал пьяным голосом: «Гони прочь этого бродягу!» — и швырнул в Самсона кубком; и кубок ударился в лицо, и все испугались и замолчали. А Самсон поднял кубок с пола и бросил его обратно — прямо в голову Ханошу. И тут что-то хрястнуло, затрещало — какой ужас! — что-то брызнуло во все стороны, и Ханош сел на пол, качнулся вперед и назад и упал. Тогда все закричали, вскочили; а Ахтур заревел: «В моем доме? Моего гостя?!» — и схватил со стены меч, и кинулся на Самсона, и все остальные, человек двенадцать их было, схватили ножи, табуреты, кувшины и тоже бросились к Самсону. А Самсон — это ужаснее всего — схватил Ахтура за руку, что с мечом, схватил левой рукой, а правой ударил его по щеке, и с лица Ахтура сразу полилась кровь, и Ахтура больше нельзя было узнать. Тут вбежали рабы, сколько могло втиснуться в комнату — двадцать, тридцать, больше, все с дубинами в руках,

и все, гости и рабы, окружили Самсона, и от крика у нее все за-вертелось в голове, и она бросилась бежать, сама не зная куда; а теперь они убивают Самсона...

В эту минуту Бергам, отец ее, уже знал, что они не убили Самсона. Когда он, пыхтя, добежал до перепутья и действительно услышал далекий гул множества голосов, навстречу ему неслась громадная черная тень. Она промчалась бы мимо, но Бергам окликнул:

— Самсон! Что ты сделал?

Самсон узнал его по голосу, остановился и ответил звучным, веселым шопотом:

— Сам еще не знаю. Пусть они сосчитают свою пададь и скажут тебе точно.

Он повернул голову назад, прислушиваясь.

— Еще не погнались, — сказал он громко и так же радостно. — Ишут, верно, по комнатам и в саду. Но мне пора — их там полсотни и больше; и мечи, и копья. Прощай опять, тесть: спасибо, что дал мне выспаться под своей кровлей и велел накормить.

Бергам показал на свой меч.

— Если бы ты не спал нынче под моей кровлей и не пил моего вина, я бы сам попытался тебя убить, хоть я и не молод, и не силен, — твердо и сурово сказал он.

Самсон протянул руку:

— Дай сюда меч, — проговорил он тоном приказа.

Бергам отшатнулся:

— Не дам. Это — измена по закону Пяти городов.

— Отдай добром, не то возьму силой.

Бергам не смутился: на подобный случай имелись правила — очевидно, в его родословной были примеры более или менее похожие и на такое положение. Одним движением он повернул меч рукоятью вниз, упер его о камень и слегка налег грудью на острие.

— Двинься ко мне, — сказал он Самсону, — и я тоже буду пададью, как ты выражаешься. Пока я жив, мой меч не достанется инородцу; это против закона.

В темноте он видел, что Самсон наклоняется и хочет прыгнуть; а острие кольнуло его между ребрами чрезвычайно неудобно, хотя он сам не заметил, что начинает разжимать кулак, которым прикрыл его. Вдруг Самсон выпрямился и сказал тем же веселым тоном, как и сначала:

— Смелый ты старик. Хорошо, будь по-твоему. Меч за тобою; но Семадар — моя. Приведи ее в Цору, иначе я вернусь за нею — и не один.

И, осмотревшись во все стороны, он исчез по дороге, ведущей в холмы. Бергам отер холодный пот с лица, постоял, подумал и побрел обратно, к своему дому. Строго рассуждая, следовало бы ему пойти в другую сторону, разобраться, что случилось; но, в конце концов, помочь он больше ничему не может: право, на одни сутки с него довольно беспокойства. Самсон его дважды назвал стариком — и, пожалуй, это похоже на правду. Бергам очень устал.

Еще издали он увидел факелы и фигуры на крыльце своего дома; в ту же минуту позади он услышал характерный топот, еще редкостный в этом округе. Когда он дошел до крыльца, его нагнали два всадника; один проскакал дальше, к воротам, другой остановился. При отсвете факела он узнал Бергама, и Бергам его: это был Гаммад, богатый горожанин, из близких друзей Ахтура.

— У тебя в доме, я вижу, тревога, — сказал верховой, — значит, ты уже знаешь. Страшное дело. Нас послали за лошадьми для погони. Он вырвался и бежал; твоя дочь, Бергам, тоже исчезла, еще в начале свалки. Мы опасаемся, что он ее нагнал и унес. Вели оседлать твоих коней; брат мой сейчас подымет на ноги все конюшни в городе; жаль, лошадей осталось немного — но не печалься, мы их нагоним!..

— Семадар у меня в доме, — ответил Бергам, — он ее не настиг. Скачи назад и скажи Ахтуру, что жена его в безопасности.

В эту минуту с крыльца соскользнула женская фигура и подбежала к ним, спрашивая:

— Что с ним?

— Муж твой... ранен, но он на ногах — он и остальные ждут коней у перепутья. Таиш вырвался и бежал. Мы сейчас пошлем погоню.

Семадар всплеснула руками и засмеялась от всего сердца.

— Вырвался! Из такой толпы, с мечами и дубинами! Перебив вас всех и бежал!

Гаммад смотрел на нее, хмурясь.

— Я рад, что ты спаслась, Семадар, — сказал он сухо, — но веселости твоей не понимаю. И Ахтур не поймет, зачем ты ушла из его дома.

Она ответила сквозь смех:

— Не убеги я, он унес бы меня у вас на глазах. Я сама теперь жалею, что убежала.

Бергам прервал ее:

— Не говори глупостей, Семадар. У тебя горячка; ступай к матери.

— Подожди, — вдруг сказал всадник. — Ты — ты не встретила его на дороге? Не видела, в какую сторону он скрылся?

— Если бы и видела, — звонко ответила она, уходя, — то вам бы не сказала.

— Семадар!! — закричал Бергам в большой тревоге; но она уже была на крыльце, а Гаммад, не говоря ни слова, повернул коня и поскакал опять в сторону Аскалона.

Бергам понял, что бурные сутки его не кончены. Его положение становилось все более затруднительным. Он пошел на крыльцо, опустил голову, и старался что-то сообразить, но сам не знал, что именно. Он велел женщинам идти спать, но они отказались, и он промолчал. Решительно, он был очень утомлен и очень уж немолод. Раб подал ему табурет, он сел; привлек к себе, сам того не сознавая, Семадар, потрепал ее по руке и опять отстранился. Женщины оживленно переговаривались, рабы перешептывались. Слышно было, что город начинает пробуждаться, за стеною засветились огни, заржали выведенные лошади. В то же время с аскалонской дороги донесся нарастающий гул голосов; показались факелы. Толпа шла прямо на дом Бергама; навстречу ей, из города, сюда же вели коней. Вскоре все место перед домом стало похоже на площадь военного сбора.

Бергам, глядя бороду, спустился с крыльца и пошел навстречу Ахтуру. При свете факелов он узнал его только потому, что узнать его было невозможно. Левая половина лица была нечеловеческая; но и правая была страшно искажена болью и бешенством. Гаммад, ведя лошадь под уздцы, шел с ним рядом.

— Мне нужна Семадар, — сказал Бергаму Ахтур, трудно и, видимо, с мукой, ворочая исковерканной челюстью.

— Семадар ничего не знает и ни в чем не виновата, — ответил Бергам, обводя глазами освещенные лица; все, как одно, мечены были тем же зловещим выражением злобы, стыда и еще непроветренного похмелья. — Семадар ни при чем: виноват я, вижу, что виноват, и хочу вам рассказать все как было.

Они смотрели на него и ждали.

— Я мог предупредить вас и не предупредил, — говорил Бергам спокойно, степенно, без униженного смирения, но и без вызова; говорил именно так, как полагается вельможе, который совершил оплошность и вслух признает свою вину; ибо и это бывало в его родословной. — Самсон провел весь день в моем доме. Пришел на заре; очень гневался вначале, но потом успокоился и лег спать. Я был уверен, что все окончилось мирно; и, не желая тревожить Семадар и Ахтура и весь город, я велел

своим домашним сохранить это посещение в тайне. А поздно ночью он проснулся, ушел — и остальное вы знаете. Я глубоко провинился пред вами, господа. Я слагаю с себя все мои звания, чины и должности; передайте меня суду по законам Пяти городов...

Гневный ропот слышался в толпе во время его слов. Ахтур, глядя на него боком, сделал ему рукою знак замолчать.

— Это мы после разберем, — произнес он довольно отчетливо. — Теперь не до тебя. Мне нужна Семадар, позови ее.

Бергам хотел возразить, но было поздно: легкая рука оперлась на его плечо — Семадар стояла с ним рядом. Некому было в этой толпе примечать такие вещи; но они были в ту минуту величавая пара, без испуга и без надменности, оба простые, сдержанные, серьезные, учтивые и на все готовые.

Ахтур указал на Гаммада.

— Он говорит, что ты видела, по какой дороге Таиш убежал.

Она покачала головой:

— О нет, Ахтур, я не видела.

Гаммад проговорил угрюмо:

— А мне сказала, что да, — и еще со смехом.

Семадар посмотрела на него, на Ахтура, на других, опять покачала головой и ответила:

— Я не так тебе сказала; ты перевернул мои слова. Но это мелочь; а видеть я не видела.

Кто-то сзади грубо крикнул:

— Скрути ей хорошенько руку за спиной, тогда узнаешь правду!

Бергам знал закон. По закону, муж имел у них над женою почти безграничные права — в некоторых случаях право казни и во всех случаях право пытки. Меддить было опасно.

— Она не могла видеть Самсона по дороге, — сказал он. — Я встретил ее в двух выстрелах из лука по сю сторону перепутья и отправил ее домой в сопровождении раба. Но сам я пошел дальше и наткнулся на Самсона, как раз у смоковницы. Я знаю, по какой дороге он ушел.

Рука Семадар обвилась вокруг него теснее. Гаммад обернулся и закричал: «На коней!» — а Ахтур смотрел на Бергама единственным глазом, ожидая.

Бергам кашлянул.

— По какой? — спросил Ахтур.

У Бергама вдруг явилось такое чувство, как будто у него тоже свернуты челюсти и говорить ужасно трудно.

— Отвечай, старая корова! — неуклюже завопил Ахтур, подымая оба кулака и делая шаг вперед.

В голове Бергама что-то работало помимо его сознания и воли. Сегодня на рассвете было то же самое: поднятые кулаки и слово «старый». Он ответил: да, я стар, и ты в моем доме. И тот дикарь его не тронул. И после — только что — не отнял меча. И он спал в доме Бергама и ел его хлеб.

Бергам открыл рот; Ахтур опустил кулаки, но Бергам, крикнув, сказал только вот что:

— Я... я в очень затруднительном положении. Дело в том, что он спал под моей кровлей и...

Вдруг с ним заговорила Семадар, по-детски, вкрадчиво и просительно, как будто они были наедине и она выпрашивала игрушку:

— Отец, милый, не говори им; не надо говорить.

— Да, — ответил Бергам, тоже словно беседуя наедине, — я действительно полагаю, что это было бы неправильно.

Ахтур изо всей силы пнул его ногою в живот. Бергам отлетел на несколько шагов назад и упал навзничь. Семадар его выпустила, потому что Ахтур удержал ее за волосы, швырнул на землю и стал топтать ногами в грудь и в лицо. С крыльца раздался крик женщин и рабов; Амтармагаи быстро сошла по ступеням и побежала, придерживая платье, к дочери. Кто-то из друзей схватил Ахтура за руку; Семадар этим воспользовалась, поднялась, зарыдала, засмеялась и крикнула:

— За это он сдерет с тебя кожу — он, Самсон, мой муж!

— Не говори так, — бормотал Бергам, сидя на земле, — это против закона; у нее горячка, господа...

Но уже все это было поздно. Ахтур вытащил короткий меч и ткнул им Семадар прямо под голову, которую она подняла для последней насмешки, прямо в горло; меч вошел до половины, и Амтармагаи едва успела подхватить ее.

В толпе стало тихо — потом прокатилось по ней подавленное волнение, женские возгласы, мужские раздраженные голоса; но Гаммад вскочил на коня и, размахивая факелом во все стороны, закричал:

— Безумцы! Если мы не догоним Таиша, он приведет сюда свою шайку — и подымет туземный квартал, как тогда!

Это были правильно рассчитанные слова: единственная угроза, с которой считались филистимляне в округе, завоеванном всего двадцать лет тому назад. И из той же толпы, вероятно, из тех же глоток раздались крики:

— Заставьте старика сказать!

Несколько человек обступили Бергама. Они его подняли, усадили на камень; кто-то тряс его за плечи; кто-то хватал за горло, все о чем-то спрашивали. Он мотал головою во все стороны и бормотал:

— Но поймите...

Потом, среди общего затишья, один из них взял его руку и стал вкладывать между пальцами какие-то палочки; затем обвил ему концы пальцев ремешком и затянул ремешок очень крепко. Остальные держали Бергама за шиворот, за ноги, за свободную руку. «Очень затруднительное положение», — подумал он. Бергам никогда не подозревал, что бывает на свете такая боль; болели не только пальцы, но грудь, голова, колени; рвались и лопались какие-то жилы; и кто-то мерно задавал над ним один и тот же вопрос; но Бергаму было не до разговоров: он сознавал одно — что ему очень больно и хотелось бы застонать, но не полагается.

К этому времени кругом уже стоял всеобщий крик. На крыльце и в саду избивали Бергамовых рабов — они, по-видимому, хотели было заступиться за своих господ. Женщины голосили. Вокруг Ахтура шло совещание: кто-то советовал разбиться на несколько партий и искать по всем дорогам; другие возражали, что из-за скачек в Асдоте коней осталось мало, а посылать на Таиша малый отряд — бессмысленно; тем более что, быть может, и его «шакалы» недалеко, где-нибудь в засаде. И от времени до времени эта группа окликала ту, что возилась с Бергамом, и оттуда отвечали:

— Молчит...

Пальцы Бергама уже были сломаны; он тупо смотрел на тыл своей ладони — она стала шире, косточки были растянуты врозь. Его палачи советовались между собою, что делать дальше. Он воспользовался передышкой, понатужил память и вспомнил, что Семадар умерла... Где она? В просвете между обступившими его людьми он увидел ее; Амтармагаи сидела над нею, положив голову дочери к себе на колени; Пелег держал над ними факел, освещая обеих женщин и темно-красную лужу. Бергам встретился глазами со взором жены. У нее было всегдашнее лицо, надменное, холодное, без выражения. Она кивнула ему головой и ясно произнесла губами, хотя слышать он не мог:

— Молчи.

Так и не ушла в ту ночь погоня; но до зари творились в Тимнате страшные вещи. От стыда и бессильной злобы, от вида чудовищной багровой маски Ахтура, от криков и крови люди озверели до конца, особенно когда принесены были на носилках мертвые тела — Ханош из Экрона и еще трое с разможженными головами, а из Бергамовых подвалов кто-то, взломав затворы, догадался вытащить несколько запечатанных кувшинов. Дом Бергама, по невысказанному уговору всех, уже был вне закона. Рабы, мальчишки, даже несколько туземцев из более смелых сновали по комнатам, ломали мебель, грабили утварь, насиловали служанок поочередно, друг перед другом; Бергам, сквозь последние сумерки сознания, корча босые пятки над огнем, слышал сверлящий вопль Элиноар. С ним самим они бились уже безо всякой надежды что-нибудь узнать, а просто так, для утешения.

Перед рассветом, уже спускаясь с холмов, Самсон увидел в стороне Тимнаты зарево; изумился, но не понял, — пока, в полпути от Цоры, не перехватил беглеца-раба и не узнал от него о гибели Бергамова дома, с женами, дочерьми и челядью.

Но во много раз ярче и выше было то зарево, что взвивалось над Тимнатой три ночи спустя. С десяти сторон разом запылали виноградники, копны сена и амбары зерна. Люди потом рассказывали, будто стаи «шакалов», с пучками горячей пакли на хвостах, воя от ужаса и боли, разносили пожар по полям и садам; но, должно быть, это была выдумка, из-за прозвища, которое давно кто-то дал товарищам Самсона. В ту ночь опять дул сильный ветер; скоро вспыхнули загородные дачи вельмож, начиная с дома Ахтура; потом и в городе загорелся филистимский квартал, где было больше дерева, чем в глиняных лачугах инородцев. Горожане толпились у южных ворот и повторяли слухи о резне, что идет теперь по усадьбам; кто-то крикнул, будто из северной части двинулись туземцы, грабят городские дома и охотятся на детей и женщин...

Давно, еще со времен египетской войны, не помнила Филистия такого погрома. За десятки верст, в Экроне, Гезере, Гате, в Эштаоле и Модине, жители, разбуженные ночными сторожами, стояли на крышах и глядели в сторону Тимнаты; далеко за Айялоном, в высоких ущельях, толпились полуголые, пахнущие козлом иевуситы, любовались на редкую забаву и гадали, что случилось; с южных гор вытягивали тощие шеи предусмотрительные дети Иуды и встревоженно обсуждали вопрос

о том, не произойдут ли из этого странного события неприятности для их собственного колена, хоть и живет оно в стороне и ни во что не вмешивается. В Цоре, во дворе у городской стены, в тесной божнице сидели на полу две женщины; старшая шептала заклинания и била себя в грудь, младшая, почти вся прикрытая распущенными черными волосами, бледная, грустная, закусив губу, молча смотрела перед собою.

Глава XVIII. В ПУСТЫНЕ

Долго, чуть не до самых дождей, расплачивалась Филистия за смерть Семадар и Бергама. По всей восточной полосе экронской тирании начались волнения среди туземцев. Их вешали на придорожных деревьях с вывернутыми ногами, иногда с содранной кожей, болтавшейся лохмотьями. Конные и пешие отряды бродили по окраине, избивая инородцев и докучая своим, и молодые офицеры злобно косились в сторону Цоры. Погорельцы Тимнаты пошли скопом в Экрон и требовали похода в землю Дана; но среди них уже не было красноречивого Ахтура, и убедить народное собрание им не удалось. В Гате все же состоялся по этому поводу съезд всех пяти саранов: но, потолковав между собою, они решили, по соображениям общей политики, что война теперь нежелательна. Лишь через месяц после пожара собрались они отправить в Цору посольство, которое потребовало выдачи Самсона. Цоране ответили, что Самсона в их земле нет — он ушел далеко на юг, за пределы Иуды, за пределы Симеона, в скалистую пустыню аморреев и амалекитян.

— Если вы его там изловите, — прибавили старейшины, среди которых не было Маноя, — мы только будем рады. Он и нам надоел.

Послы возразили:

— Тогда выдайте нам его товарищей, которых зовут «шакалами».

Старосты переглянулись. Им было известно, что Самсон, уходя, велел своим юнакам рассыпаться по всей земле, пока он их не позовет опять. Одного Нехуштана взял с собою; и только Ягир, после десяти дней отсутствия, и широкоплечий Гуш еще раньше, вернулись в Цору. Старейшины ответили так:

— Большое дерево легко найти; но как разыскать травинку на лугу? Они разбежались, и люди они малоизвестные.

Послы нахмурились и отошли в сторону совещаться.

В этом собрании был левит Махбонай бен-Шуни. Хотя не домовладелец и не уроженец города, он как-то успел стать необходимейшим человеком в управлении: все знал, всюду бывал и все делал умнее и скорее других. Он сказал вполголоса:

— Если отпустить послов ни с чем, будет плохо. Гневный человек — как голодный волк: не найдет зайца в поле — бросится на человека.

Все они поняли, что он советует. Один из старейшин, качая головою, ответил:

— Гнев подобен огню; а ты говоришь — дайте огню клок соломы.

— Нет, — возразил Махбонай, — я говорю: дайте ему воды.

Они оглянулись на послов: у тех были мрачные, раздраженные лица. Старейшины вздохнули и решили выдать Ягира и Гуша.

Когда за ними пошли, они не стали бороться. У данитов еще была в те ранние времена пчелиная спайка, сознание, что в крайности лучше пропадать одному, чем всем. И о том, что за потеху Самсона придется платить, давно говорила вся Цора; имена Самсона и «шакалов» произносились с ненавистью. Ягир, увидя стражу, сказал: «Мне все равно», — и пошел за ними; а Гуш ничего не сказал и пошел.

Послы посмотрели на них и заметили:

— Они не связаны.

— Свяжите сами, — хмуро отвечали старейшины.

— Вяжите, — сказал Ягир, — мне все равно.

Гуш ничего не сказал.

Карни, рыдая, бросилась к брату.

— Если ты когда-нибудь увидишь Самсона, — приказал он ей, — передай ему, что я не жалею. Весело было в ту ночь у Тимнаты; а жить среди этой мошкары, на болоте Дана, — что за радость.

Гуш был бобыль, никто его не обнял.

Когда их уводили, старейшины и народ от стыда закрыли лица плащами, и женщины плакали навзрыд.

Через несколько дней об этом услышали жители Эштаола, а от них узнали проживавшие там иудеи. Они рассказали разносчикам, у которых покупали вифлеемскую шерсть. Через купцов это стало известно по всей земле Иуды; и другие купцы донесли эту повесть до берега Соленого моря. Нехуштан однажды спустился в Эн-Геди, отчасти за припасами,

отчасти из охоты к путешествиям; и оттуда он принес весть о судьбе Гуша и Ягира в пещеру среди Этамских утесов, где ждал его Самсон.

Это было безлюдное место. Соседи еще называли тот край землю Симеона, по старой памяти; но колена это давно рассосалось почти целиком, разбрелось к Иуде, к аморреям или совсем куда-то за озеро, к народам безымянным, и лишь изредка попадались кочевья, называвшие себя детьми Яхина, сына Симеонова; жили они, по-видимому, грабежом и поборами с караванов. С юга тоже редко забредали сюда инородческие таборы; край был дикий и пустынный, от источника до другого день и два и три пути. Это издавна был приют беглых; в Хаанаане ходило много поговорок с игрою слов на созвучии: вор — «ганнав», а имя того округа «Негев». Сказать человеку: не из Этамских ли утесов ты пришел? — значило назвать его разбойником. Самсон, уходя в эту землю, знал, что это поставит на нем печать. Впрочем, он и беглых тут не застал и был рад; затем он и ушел сюда, чтобы уйти от людей и сосчитаться самому с собою.

Нехуштан приволок из Эн-Геди немного муки и сушеных фиг и рассказал ему, что случилось в Цоре. Самсон задумался. Тому, что его товарищей выдали, он не удивился; это было одно в одно с мудростью Шехала бен-Иувала, это было в натуре Дана. Но зачем ослушались его эти двое и не скрылись? Грузный Гуш, вероятно, просто по лености; а Ягира подточила тоска. С тех пор как Самсон отстранил его ради Нехуштана, юноша был уже не тот. Но как мог Самсон его оставить? Те же глаза, что у сестры его Карни, и тот же укор в глазах... Смелый юноша, крепкий юноша, лучший во всем племени; но и с ним та же беда, что со всеми людьми Дана, и Ефрема, и Иуды — не умеют забывать, не хотят отказываться, впиваются когтями в то, что было вчера, и подай им то же назавтра. Ни за что не выбросят игрушки, хоть она и сломалась... Где он это слышал — об игрушке? Это кто-то сказал — или так ему приснилось о нем самом, о Самсоне. И правда: он такой же, как и все даниты, пошел в Тимнату за игрушкой — та сломалась, и он сделал из этого ссору между большими народами, а сам бродит по скалам и горюет...

Что дальше? Переждать бурю, вернуться, позвать к себе Карни? Она пойдет, несмотря на гибель Ягира; пойдет и никогда словом не напомним ему ни о Ягире, ни о Семадар. Но в ее памяти вечно останется и Семадар, и Ягир; и... и она не игрушка.

Верно; и он, Самсон, тоже цепляется за свои игрушки, топает ногами, когда они сломались; но это должны быть именно игрушки, легкие, веселые, которые звенят, пока у тебя в руке, и тихонько лежат под скамьей, когда ты бросил их под скамью... Кто это, где и когда говорил ему об игрушках и о детях, которые брыкаются, когда пора спать?

Можно быть судьей всю жизнь; можно возиться со скучными тяжбами, ставить под палки воров, отбивать овец у хищника и не ждать ни благодарности, ни доверия; это можно, это нетрудно. Это все проделывает другой, чужой человек; до него, в сущности, никакого дела нет настоящему Самсону; назорею, для которого Иегова послал ангела к колодцу. Но тому человеку не нужна ни улыбка, ни вино, ни песня, ни пляска, ни рыжая, ни черноволосая девушка. Этот чужой Самсон не возьмет жены ни из Дана, ниоткуда, ему не о чем с ней говорить. А настоящий Самсон — тому Карни не пара; слишком хороша для него, и она сама это знает.

Два Самсона, две жизни; так решено, так велел, должно быть, тот ангел. Хмурый судья, без друга и радости; шут и гуляка, для которого из каждой камышины готова новая дудка — посвистел и бросил. Таким он рожден и таким останется.

Судья... Захочет ли Дан опять его суда и управы? Даниты его не любят, не понимают его обычая, сторонятся, косятся, как на чужого. И теперь они, в придачу, говорят, что он им опасен. Может быть, конечно — он им больше не нужен? Сам того не замечая, он облегченно вздохнул, во всю бездонную пропасть своей мохнатой груди, с таким шумом, что оглянулся на него Нехуштан, занятый им же устроенной дракой между тремя скорпионами. Пусть!

Как Ягир тогда у ворот Цоры, Самсон проговорил вслух:
— Мне все равно.

А куда пойдет тот, настоящий Самсон, остряк и забавник? Тимната сгорела; не закрыт ли пред ним отныне и Экрон, и Гезер, и вся эта пьющая, танцующая беззаботная филистимская равнина? Он засмеялся, открыв широко рот и закинув голову. Нечего тревожиться! Широка равнина; как вода на столе, так не держится на ней ни вражда, ни клятва, ни месть. Там не помнят ни добра, ни зла; нет грани между приятелем и предателем; невестой и блудницей; сегодня свадьба, завтра свалка; вчера ты жег, через месяц ты гость на пиру. Игорный дом Филистия: входи, кому любо; мечи, пока есть серебро, — а когда вышло, не засиживайся. Филистия за ним.

У южного берега Мертвого моря семь дней и ночей он прожил в палатке рехавита. Звали его Элион; просто Элион, без отчества — по их обычаю не принято было поминать имя отца без особой надобности; лучше всем наравне именоваться детьми Рехавы. С Элионом жило шесть его сыновей, все женатые и многодетные, и две дочери девицы. Это и был весь табор. Они пасли коз, добывали соль и изготавливали глиняную посуду — тарелки, светильники, все, кроме кувшинов для вина; кувшинов не делали, чтобы не плодить греха, запрещенного пророком их Ионадавом.

Самсон и Нехуштан встретили их у солеломни. Рослый старик и половина мужчин его кочевья били каменными заступами серый известковый пласт; под ним лежала голубоватая соль, которую они ломали и кусками складывали на распластанные шкуры. Неподалеку стоял черный шатер; вокруг него ослы и верблюды жевали что-то из мешков. Кругом не было ни кустика, ни травинки.

Увидя пешеходов, сам старик оставил работу и пошел к ним навстречу. Он сказал Самсону:

— Мир тебе, назорей Иеговы.

Самсон удивился, что бедуин, вдали от жилья, знает его призвание: в немногих шатрах сиемонитов, где он останавливался во время скитания, люди всегда спрашивали, почему у него косицы.

— Мы про этот обычай слышали, — объяснил ему старик, — мы — рехавиты; знаем, что среди племен Иеговы, живущих городами, есть люди правой веры и они, чтобы отличаться от нечистых, не стригут волос и заплетают их, как ты. Но ты — первый назорей, которого я вижу на своем веку; милости просим, побудь с нами, сколько хочешь; послезавтра мы кончим работу и вернемся в кочевье, где у нас вода и пальмы, жены и палатки; все тебе будут рады.

Самсон остался; сделал себе заступ из двухпудового острого камня и за час работы наколот больше известняка, чем они все вместе за день. Им осталось только выкапывать и очищать комья соли. Они ему ничего не сказали: у них грехом считалось хвалить человека, потому что все люди равны; но заметно было, что они довольны и благодарны.

Старик, видя, что труд их облегчен, позвал Самсона в тень побеседовать. Они сели на берегу под нависшей скалою; Самсон, никогда не выдавший столько воды, с любопытством глядел

на небольшие ровные волны и мелкое плоское дно, где камни у берега были желтые, дальше — зеленые, а еще дальше — сливались с цветом моря.

Самсон никогда не слышал о рехавитах. Он спросил:

— Твое колено — Симеон или Иуда?

— Ни тот, ни другой, — объяснил Элион. — Мы не из сынов Израиля; но Бог у нас тот же. Мы — дети Каина, который был первым земледельцем на свете; он согрешил, а мы искупаем его грех.

— Каин? — сказал Самсон. — Чудной человек был, видно, этот Каин; разные люди говорят о нем по-разному. Было у меня дело на суде в нашем краю: там говорили, что Каин был великий праведник.

— Грешник он был, — ответил старик. — Хотел разделить землю на участки; насиловал ее, чтобы рожала не то, что Бог велел, а что нарочно посеял человек. Отсюда пошло все горе и зло среди людей. Оттого и велел нам пророк наш Ионадав, сын Рехава, жить так, чтобы стерлась память о безумствах нашего деда.

Долго и хорошо рассказывал он Самсону об этой вере. Им запрещено пахать. Им не позволено загромождать землю каменными постройками. Живут они на одном месте, пока земля терпит — пока она кормит верблюда, овцу и козу; кончилась трава — значит, земля говорит: «Я устала, иди дальше». А строже всего запрещена им кровь: кровь человека, которую нельзя проливать даже в самозащите; кровь животного, которой нужно дать вытечь до последней капли, прежде чем коснется до мяса огонь; и особенно кровь земли, которая называется вином; кто ее напьется, будет один час подобен Богу — и зато всю жизнь потом подобен ублюдку от кабана и гиены.

— Мы, назореи, тоже не должны пить вина, — сказал Самсон, — но вспахивать поле и строить города нам разрешено. Почему это грех — возделывать пашню?

— Грех, — ответил старик, — насиловать землю. Она мать наша; не может сын властвовать над матерью. Это не к добру. Пашня — только начало греха. После Каина пришел Тувалкаин, разорвал грудь земли, выломал оттуда ее кости, назвал их медью, железом, золотом и стал ковать из них образы волшебства, орудия убийства, приманки для жадности. Идти по этой дороге — не будет конца; умрет все верное, что есть в человеческом сердце, и останется одна кривая хитрость, яд, унаследованный от змея, первого любовника первой женщины

на свете. Что прячет земля, то не твое. Что твое, то она сама приносит. Она царица; других владык не нужно, ни князей, ни судей — все это грех.

Старик говорил труднопонятные вещи, и его наречие и говор несколько отличались от речи Ханаана; но его мысли, обдуманнные в долгой тишине одиночества, были так прочны и точны, его слова так спаяны с этими думами, что Самсон все понял.

— У нас, — сказал он, — в земле Дана, видел я людей, которых называют сынами пророческими. У них — та же вера, что и твоя, только еще строже: не хотят ни стад, ни шатров; живут в пещерах, едят.. не знаю, что они едят; в города приходят редко, но когда приходят, то влезают на камень перед воротами и проклинают народ за то, что есть у нас поля, и дома, и старосты...

Элион с большим любопытством, долго и подробно расспрашивал о пророках и как они живут; но Самсон мало знал.

— Я слышал и о них, — сказал старик, помолчав. — Слышал я, что у отца нашего Рехава был, кроме Ионадава, другой сын, по имени Невуэль; и спорили Ионадав с Невуэлем, какой путь лучше для искупления каинова греха. Невуэль говорил: «Надо нам рассыпаться среди людей и учить их словом»; а Ионадав говорил: «Надо уйти от людей и учить их примером». Не поладили они и разошлись, каждый своей дорогой. Мы от Ионадава; может быть, ваши пророки и ты, назорей, — от Невуэля. Чей путь вернее, не нам судить; может быть, оба верны.

Много еще они беседовали в тот день, и назавтра, и потом на пути к оазису, когда Самсон и Нехуштан в первый раз в жизни ехали на верблюдах. Самсон рассказал старику о себе — о той его жизни, которая протекала на земле Дана; о Маное, о матери — но, по чутью, умолчал о ее божнице. Старик умел слушать. Но больше рассказывал ему старик: от него Самсон услышал подробно о Содоме и Гоморре, о Моисее, о родителях и дедах Иакова; и Самсон дивился его знанию и просил его:

— В городах у нас толпятся тысячи, и все время что-то рассказывают друг другу; ты живешь один, и говорить тебе не с кем; почему же ты знаешь и помнишь имена и дела, о которых нам ничего неведомо или мало?

Старик рассмеялся и в ответ рассказал еще одну притчу: был однажды народ, весьма мудрый; и, возгордясь этой мудростью, люди те решили выстроить высокую башню, чтобы с ее верхушки сосчитать звезды и услышать Божью думу. И вот одни пошли рубить дрова, другие тесали камни, третьи месили

известь. Но чем выше росла башня, тем больше они глупели; потому что одни весь день думали о балках, другие о столбах, третьи о замазке, а о звездах уже не думал никто. И когда башня была готова и уперлась в облака, оказалось, что они забыли, к чему им эта башня, и разучились понимать друг друга; и они разбрелись по всем странам света, а на верхушке башни поселился коршун.

К полудню доехали они до кочевья; оно стояло среди пальмовой рощи, у тихого глубокого ручья, и далеко вокруг паслись стада Элиона и его сыновей. Навстречу им вышел весь табор, мужчины, жены, девушки и дети. Лучшую палатку дали Самсону, и там он прожил с ними семь дней, покоя себя в их безмятежности. За семь дней он не слышал между ними ни спора, ни просьбы, ни приказа, ни вопроса. В их быту не было неожиданностей; немногие нужды улаживались по заведенному порядку, сами собою. Элион был глава, но и его главенство казалось ненужным, потому что все думали так же, как он, и делали, что надо, без его слова. У них не было алтаря; они никогда не молились; малые дети знали, что Иегова — Бог, ему все подвластно и все известно и не о чем ему напоминать.

В первую ночь, когда Самсон вошел в свой шатер, он увидел там девушку. Ее звали Эдна; это была старшая дочь Элиона. Она сказала ему:

— Отец велел мне быть с тобою, если ты пожелаешь.

Самсон этого не ожидал; но уже так успела захватить его та жизнь, несложная и торжественная, что он не удивился. Ночь их прошла так, как будто и он родился и вырос в святости пустыни: оба первые, оба робкие и серьезные, оба счастливые.

На заре он проснулся оттого, что она поднялась.

— Ты придешь сегодня вечером? — спросил он.

— Если ты пожелаешь.

Он хотел было, по-городскому, лукаво откликнуться: «А ты?», вырвать у нее смущенное признание, но передумал. Зачем спрашивать, играть, мутить ручей илом? Он просто ответил: «Приди».

Самсон даже не знал до конца, любит ли она его, что и кто он в ее жизни. У нее была жаркая кровь и бесконечная простая покорность, не знавшая, когда они были вдвоем, ни стыда, ни робости. Но никогда она ничего ему не шептала, даже в невольном стоне. Только раз она, может быть, проговорилась. Самсон спросил:

— Если это будет сын, как ты назовешь его?

Она ответила:

— Элеавани.

Это значит: Бог полюбил меня. Но, возможно, это было просто одно из странных имен, обычных в ее племени.

Так прошла неделя, и на седьмой день он сказал Элиону:

— Завтра я уйду.

— Мы тебе рады, — ответил Элион, — но по нашему обычаю нельзя просить гостя остаться. Что решил человек, то есть обет; нельзя бороться против обета ни в великом деле, ни в малом.

В самом деле, Самсон заметил, что они никогда ничего не повторяли дважды. Даже за обедом его не потчевали: все твое, бери или не бери, как хочешь. И Эдна не просила его остаться; в последнюю ночь была такая же, как в остальные. У них была поговорка: лето проходит, осень приходит, а ты молчи.

У Самсона не было никакого обета, и некуда и незачем идти, и с ними было ему хорошо; но еще хотелось одиночества.

* * *

Так много месяцев он прожил в пустыне, пробавляясь охотой, иногда гостеприимством кочевников, иногда грабежом караванов. Ему даже не приходилось нападать: он просто становился на дороге, и купцы ему давали все, чего он требовал, пугаясь его роста. И прошел почти целый год.

Глава XIX. РЕМИДОР И МЕРИДОР

— Путники на ослах, — сказал однажды Нехуштан, сидя на верхушке утеса.

На ослах — значит, нездешние.

— Трое, — продолжал Нехуштан свой доклад, с перерывами, пока вглядывался. — Четвертый осел с поклажей. — Потом, еще вглядевшись, он спустился к Самсону и тронул его за плечо: — По-моему, это твой отец и домоправитель твоей матери.

Самсон обрадовался отцу и вышел ему далеко навстречу. Сильно поседел и согнулся Маной за эти месяцы; но и у Самсона выросла борода, сдвинулись брови, ранняя складка легла между бровей, и все лицо потеряло молодость. Они долго держались за руки и смотрели друг на друга. Потом Самсон обернулся к Махбонаю бен-Шуни. Левит пополнел, приобрел

что-то барское в осанке; но глаза его остались те же, щупали сто вещей разом, как будто ему необходимо было спешно сосчитать все дыры на плаще Самсона, оценить добротность каменной породы этамских утесов, прикинуть, сколько в пустыне песка. Самсон вдруг весело расхохотался; отец, никогда не слыхавший его смеха, посмотрел на него удивленно; Махбонай нашел удобным счесть это за привет, улыбнулся с достоинством и еще раз поклонился.

Ацдельпони была здорова и прислала поклон, одежду и разные лакомства; дом в порядке, приплод и урожаи удались. Но остальные вести были у них невеселые; только прежде, чем заговорить об этом, левит подробно рассказал, как они его нашли. Это было не так трудно: уже за Хевроном все знали, что на юге бродит длинноволосый великан; купцы из ограбленных караванов сказали коробейникам, а коробейники были все из колена Махбоная. Так, от одного к другому, они и дошли. Трудно было только ослам; в Эн-Геди им советовали купить верблюдов, но Маноя стошнило от качки.

После этого, помолчав, они рассказали Самсону, что творится в земле Дана. Говорил, конечно, Махбонай; Самсон слушал его, а смотрел на отца и, таким образом, по выражению лица его знал, когда левит умалчивает и когда преувеличивает.

Дело было так: когда Самсон ушел, все люди постарше вздохнули облегченно. Хоть и недолго был он у них на виду (кроме Цоры, где он еще ребенком колачивал больших мальчиков), но и за короткое время они поняли, что опасно иметь в стране такого человека. А теперь оказалось, что еще опаснее — потерять такого человека.

— Такова природа людская, — сказал Махбонай. — Можно прожить и без палки; но если раз уже видели тебя с дубиной — больше не выходи на дорогу с пустыми руками: не вернешься.

Словно забор какой-то был и свалился. Соседей узнать нельзя. Иевуситы, которые прежде и воровать не решались, приходят теперь таборами в Айялон и даже дальше в глубь страны, с самками и приплодом, днюют и ночуют у самых ворот; одежды на них почти никакой нет, срам и соблазн, а от козлиного запаха невозможно в такие дни горожанам собираться у ворот на беседу. (Маной заморгал неуверенно.) Вениамин обнаглел до неслыханных пределов. В Шаалаввиме почти не осталось овец; а во время весеннего праздника шайка богатой

молодежи из Бет-Хорона, пришедшая будто бы в гости, окружила девичий хоровод и угнала почти всех девушек к себе, а мужчин перебила или покалечила.

Но это мелочи; гораздо серьезнее положение на границе Филистии. (Маной кивнул.) Выдача Гуша и Ягира не помогла, хотя некоторые из старейшин, люди недальновидные, думали, что она успокоит обиженную Тимнату. (Маной поднял брови и вздохнул: он, хотя не был в том собрании, но помнил, каков был совет левита, когда филистимские послы пришли в Цору.) Поразительна слепота человеческая, неумение понять жадную душу необрезанного народа: уступки только разжигают ее; страшная казнь, которая тянулась с утра до заката, на которую сошлись глазеть и вельможи, и простой люд, и туземцы со всех концов побережья, никого не насытила. На филистимских заставах обыскивают данитских купцов и берут с них тройные пошлины; в Яффе учинили погром данитских моряков; в Гимзо пришла филистимская стража из Лудда с конным офицером требовать выдачи беглого раба, которого никто не видел — решительно никто не видел этого беглого раба. (Маной опять заморгал.) Так и стоят они по сей день постоем в Гимзо, и уже даниты начали разбегаться из города. А завершилось тем, что в Цору опять явились послы из Экрона и поставили странное требование: так как даниты, не имея своих ковачей, приносят железные заступы для починки в филистимские кузницы, то саран требует, чтобы ему за это все селения Дана платили ежегодную подать.

— Кроме богатых людей, все мы пашем деревянными гвоздями, — возразили старосты. — Много ли у нас железа?

— С каждым годом больше, — ответили послы, — мы ведем счет. Оттого и подать должна быть чем дальше, тем больше.

— Но ведь мы платим кузнецам.

— Не платите, если не хотите.

— Так они же не станут починять!

— Это ваше дело, не наше.

Послали гонцов во все стороны, и собралась великая сходка старейшин; такой многолюдной давно уже не было. И обо к Маной отправили посольство горожан: с самого пожара Тимнаты он не ходил к воротам, и никто по нем не тосковал, а теперь все нашли, что без него нельзя совещаться. Сходка была шумная. Все понимали, что кузнецы — только предлог, а речь идет о том, чтобы стать данниками Экрона. Никогда, за память отцов и дедов, никому племя не платило дани. Иуда платит

Газе, Нафтали, говорят, посылает какие-то подарки Дору; но Дан — земля свободная, с первых дней заселения, когда еще пашню пахали туземцы. Два и три дня говорили; наконец приняли два решения.

— Первое...

— Первое я сам знаю, — прервал Самсон, — платить дань.

— Пока, — дополнил Махбонай; а Маной вздохнул, дергая бородку, и потер шрам у себя на лбу.

— А второе решение?

Левит указал на Маноя, как бы передавая ему право слова. Старик низко опустил голову и сказал:

— Послали нас обоих разыскать тебя и просить, чтобы ты возвратился.

После этого Махбонай бен-Шуни рассказал еще много других новостей. Главная была о том, что ходоки, посланные на север год тому назад, по совету Самсона, вернулись с удовлетворительным докладом. Есть свободная земля, на крайнем севере, за пределами Нафтали; почва хорошая, среди трех рек, так что и воды много. Земля эта свободная в том смысле, что живут там, главным образом, аморреи, народ бессмысленный, певучий и ленивый. Край этот далек и от Сидона, и от Тира, власти нет, и поселенцам никто мешать не будет. Это хорошо. Но вот что плохо: так тесно и тяжело стало жить в старой земле Дана, что чуть ли не все простонародье заговорило о выселении, особенно кто помоложе; и старейшины боятся, что некому будет пахать и некому пасти...

— Не бойтесь, — сказал Самсон. — Первые пойдут и скоро застонут, и из каждого десятка один вернется, ругая ходоков и старост и меня. Тогда многие, уже навьючившие ослов, снимут поклажу и останутся дома. На словах любит новизну тысяча, а на деле один.

* * *

Раб, с ними прибывший, разбил палатку, и в первый раз за девять месяцев Самсон заснул на мягкой постели; а на заре они отправились в путь. Как всегда, Самсон шел пешком: осла, который выдержал бы такую ношу, не было в природе.

К вечеру нагнал их бедуин на верблюде. Опять Нехуштан узнал его издали: это был один из младших сыновей Элиона рехавита, брат Эдны. Самсон подождал его; тот спешился, и пошли они рядом, далеко позади остальных.

— Сестра моя родила двух мальчиков, — сказал юноша. — Отец слышал от кочевников, что ты еще в Этамских горах, и прислал меня к тебе. Он спрашивает: как назвать сыновей? Ибо, может быть, есть у тебя на этот случай какой-нибудь обет.

— Назовите одного Ремидор, а второго Меридор, — сказал Самсон.

Это значит: Поколение обмана. Поколение раздора.

Молодой человек приложил руку к груди и ко лбу, сел на верблюда и уехал на восток.

Но, когда он вернулся в оазис рехавитов, Элион покачал головою и решил:

— Грех давать невинным младенцам имена проклятия.

Тогда Эдна сама назвала старшего, как еще Самсону сказала, Элеавани, а младшего Адалори.

Никто не понял, почему такое имя: «Доколе свет мой не погаснет». Может быть, она подумала: не забуду, пока светит мне солнце; но ее не спрашивали. Имя ребенка тоже есть обет отца или матери; нельзя допытываться, почему.

Глава XX. КОЛЕНА

Есть пещера недалеко от Артуфа, уже в отрогах Верхней Иудеи; до сих пор ее называют пещерой Самсона. В то время еще не было Артуфа, и те горы принадлежали не Иуде, и даже не Дану, а иевуситам, но иевуситы редко туда забредали. Место считалось нечистым, и ту пещеру тогда называли Чертовой дырой.

В этой пещере Самсон назначил свидание трем важным своим современникам. Еще в Эн-Геди, куда они свернули потому, что прямая дорога на Маон была не под силу Маною, привел к нему бен-Шуни трех юрких левитов, скупщиков шерсти, фиников и соли. Махбонай за них поручился.

— Они из моего города, — сказал он. — Если придут они к тебе с товаром — не верь ни одному слову; но тайного дела не выдадут.

В Иуде самым смелым человеком тогда считался бен-Калев из Текоа — Иорам, сын Калева, сына Амминедера, сына Бохри, сына Мархешека. Махбонай знал всю цепь его предков до десятого рода и отзывался о нем с особенной почтительностью. Род его был один из самых богатых в стране; старший брат его был начальником города, и отец, и дед, и десятый

прадед тоже — по иудейскому обычаю должности не зависели от прихоти народной, а переходили от первенца к первенцу. Иорам считался грозой волков, медведей и скотокрадов; самые именитые грабители обходили его пастбища; и в народе шептались, будто он придумал такую военную хитрость, при помощи которой можно будет взять неприступный Иевус; а это был бы мудрый шаг, ибо в Иевус три раза в год приходят племена со всех берегов Соленого моря и приносят несметные дары козлоному, рогатому, косматому Сиону, богу пустыни.

Из богатырей Вениамина славился одноглазый Мерав, по прозвищу Хаш-Баз, краса и гордость Гивы; славился и силой, и тем, что не давал проходу ни одной крутобедрой девушке и ни одному пухлому мальчику. Туземцы в долине Иордана были не те, что в Ханаане: там у них были свои села и свои князья, и они метко стреляли из лука; но когда не вовремя поступала от них подать, к ним на усмирение посылали Мерава, и это они его прозвали Хаш-Баз — «спорый грабитель». У него, говорили, прекрасный голос, и он сам сочинял песни о разных способах и разных предметах любви; Земер, кудрявая служанка из харчевни госпожи Дергето в Тимнате, прежде изучавшая основы своего ремесла в Вениаминовой Гиве, часто забавляла филистимлян отрывками из этих песен, закрывая лицо при некоторых строфах. Он был небогат, ростовщики давно забрали у него родовые поля и стада, но как-то всегда в кошельке у него звенели серебряные кольца.

Тавриммон, по прозвищу ха-Шилони, то есть уроженец города Силома, проживал, однако, в Галгале Ефремовом, что когда-то назывался «Галгал разноплеменный»: это в горах, ровно полдороги между Иевусом и Сихемом. Жил он там широко: вымостил площадь вокруг своего дворца каменными плитами (он видел такие мощеные площади в Доре), и горожане называли его «князь». О нем рассказывали, будто он умел править колесницей и будто несколько раз одержал победу на гонках в Доре; или будто однажды, в земле Нафтали, он переплыл озеро Генисаретское в самом широком месте.

К этим трем вождям отправил Самсон своих гонцов из Эн-Геди. Чтобы придать им больше посольской важности, Махбонай каждому из них вручил по свитку из тонкой, чисто выглаженной козьей шкуры, на которой он нарисовал ровными строками очень много палочек, крестиков и крючков; но, предвидя, что ни один из вельмож не умеет читать, посоветовал

Самсону в то же время растолковать посланцам устно, в чем их задание. Это было приглашение бен-Калеву, Хаш-Базу и Тавриммону тайно встретиться с Самсоном в Чертовой пещере в первое новолуние от сего дня по делу исключительной важности. Какое дело, сразу не надо говорить; но если те будут настаивать, то можно намекнуть.

Самсон выбрал это место с расчетом, обличавшим уже тогда, несмотря на его молодость, большое чутье людских предрассудков. Это земля иевуситов: не Дан, не Иуда, не Вениамин, не Ефрем; никому не обидно. И название пещеры — Хор ха-Шедим — окажется, может быть, добавочной приманкой для людей, дорожащих своей репутацией бесстрашия; ибо Самсон далеко еще не был уверен, что они придут на его зов без других приманок, хотя Махбонай и уверял, что слава о нем уже успела прокатиться по всему Ханаану.

Они, однако, пришли; не из-за приманки, а из-за славы Самсона и еще больше из страха перед тем замыслом, который шепотом и обвиняками передали им левиты. Не пришел только Тавриммон ха-Шилони, князь Галгала Ефремова, который вместо себя прислал чистенького одетого молодого человека лет тридцати, правда, широкоплечего, но глуповатого на вид.

— Меня зовут Ярив, — сказал он, и переливы голоса его несколько напомнили Самсону изысканный говор его прежних филистимских друзей. — Я сын кормилицы князя и вырос в его доме. Князь просит тебя и остальных князей извинить его, но он занят именно теперь неотложными делами.

Самсон нахмурился: и эти «князья», и вылощенная речь, явно заученная, не понравилась ему; и не понравилось то, что ха-Шилони отказался прийти. Мерав из Гивы усмехнулся и пробормотал завистливую поговорку:

— Пышно расцвел Иосиф, словно куст у ручья.

Ярив даже не покосился на него, как будто не слышал.

Самсон коротко спросил:

— Дал ли тебе право Тавриммон ответить за него: да или нет?

Про себя он решил — если не дал, он скажет этому щеголю: «Уходи». Ярив замялся: вопроса он не предвидел, ответа на него не приготовил. Но потом он сообразил, что на главный вопрос, по которому их созвали, ответ «князя» уже готов заранее и ему известен; поэтому он закивал головой и поспешно сказал, даже забыв второпях свои переливы:

— Конечно, конечно; я уполномочен.

Привели их сюда те же левиты: в качестве бродячих торговцев они умели найти любое место, даже такое, где нечего продать. Они — с Нехуштаном, с чернокожим слугою Иорама из Текоа, с пухлым и томным юношей, сопровождавшим Мерава из Гивы, и с тремя оруженосцами Ярива — остались у порога пещеры на страже. В глубине пещеры, при свете одного факела, Самсон изложил перед воеводами Иуды и Вениамина и пред сыном кормилицы воеводы Ефрема свой план союза против филистимлян.

Он обдумал давно все подробности. Поход надо начать сразу в четырех направлениях; первая задача — забрать склады медного и железного оружия и угнать к себе кузнецов; вторая — поднять туземцев. Говорил он спокойно и разумно; его голос, как всегда в таких случаях, располагал к нему людей, шевеля все, что было в их сердце хорошего. Собеседники его знали, что он много моложе своей внешности; пришли они, должно быть, с намерением напомнить ему об этом, и о бедности Дана тоже, — хотя все-таки пришли, потому что силу уважали; но, слушая его, они потеряли охоту портить отношения с ним лично, и, может быть, не только из-за того, что он был ростом выше их на голову и еще на полголовы, а от плеча до плеча на плечо шире.

«Хороший человек, нам бы такого», — подумал Иорам из Текоа, когда Самсон кончил и никто еще не собрался отвечать.

Он же, Иорам, и заговорил первый.

— Подумал ли ты, — спросил он, — о разнице в вооружении? Каждый воин у них выходит на битву с двумя мечами, кроме копья и щита. Конечно, ты предлагаешь с самого начала забрать у них арсеналы и кузнецов. Но главные склады у них не в пограничных селениях, ибо филистимляне осторожны, а в пяти столицах. Как добраться до столиц? И что будут ковать те кузнецы, даже когда мы их уведем к себе и заставим работать? В наших землях меди не хватит на одну тысячу, а железа на десять десятков.

— Посмотри кругом, — сказал Самсон. — От Сихема до Эйн-Геди — все это склад оружия, которое бьет дальше меча и даже копья. Это — камень. За два месяца до похода пошлите рабов и туземцев колоть каменный щебень. А Филистия — глина да песок; метать они умеют, я сам это видел, да нечего метать. И их мало, а нас много; можем завалить целое поле, пока первый из них добежит на копейный перелет. Все дело в том, чтобы нас было много; для того и нужен союз.

— А кони в медных сапогах? А колесницы с железными кольцами вокруг колес? — продолжал Иорам, качая головою.

Хаш-Баз, богатырь из Гивы, подмигнул единственным глазом и вмешался:

— Брат наш Иуда, к сожалению, не пожелал в свое время прийти на зов пророчицы Деборы, а потому нет у него и опыта. У Сисары на Киссоне тоже были колесницы, но Дебора и Варак побили его. Почему? Правданит: потому что был союз; на одну колесницу сотня наших. Пятерых она раздавила, кони запутались и стали — бери их руками.

Но Ярив ему ответил:

— Я видел колесницы в Доре; князь, мой брат, сам умеет править парой. Трудно устоять против колесницы; даже на ристалище, когда чудится, что летит она прямо на тебя (хотя сам знаешь, что сейчас она свернет по кругу), — и тогда страшно, и хочется отступить в толпу. Велика сила колесницы, а ужас еще больше: кто встретит ее стоя и не побежит?

Хаш-Баз пробормотал, сохраняя напев, отрывок из собственной песни:

— «Повернись, дружок, и беги подобно серне на горах»... Ефремовых.

Ярив и это пропустил, не моргнув, как из родового презрения к Вениамину, так и из личного благоразумия.

— И кто знает, — заговорил опять Иорам, обращаясь к Самсону, — кто сосчитал их колесницы — и наши полчища? Может быть, тех не так мало, этих не так много.

Хаш-Баз опять подмигнул и сказал хотя и громко, но сам себе:

— Иуда — что лев, только лежачий; кто его подымет? Никто.

Бен-Калев к нему повернулся и спросил без всякого раздражения в голосе, как будто просто желая выяснить мнение каждого:

— Очевидно, брат наш от Вениамина склонен пойти с братом нашим данитом? Мы хотели бы услышать его веское слово.

Глаз Мерава из Гивы вдруг загорелся в полутьме насмешливой злобой.

— Вениамин — младенец, — сказал он, — последний по счету среди колен; не дорос он решать дела перед старшими. Старший из нас Иуда. Глубок Иуда, не разглядишь. Виноградники у него, и стада у него. Посмотришь в очи его — пылают гневом, как от вина; а раскроет белые зубы, заговорит — молоко,

сладкое молоко. С чем пришел ты сегодня, бен-Калев бен-Бохри бен-Хишки бен-Нишки, бен-Иуда, — что в меху твоём — вино или молоко? Ты старший, ты и начинай.

Иорам сказал спокойно:

— Иногда пей вино, иногда молоко: что ко времени. Много отваги в делах твоих, Самсон, и не по летам много мудрости в словах. Но время еще не пришло. Мерав напомнил о Сисаре; но не приравнивай пса ко льву. Кто был Явин, царь Хацора, и воеводы его, и народ его? Сброд ханаанский, те же наши туземцы, данники Сидона — да и Сидон немногим лучше. Совсем не то филистимляне: кровь их одна, без примеси; они дети своих отцов. Пусть и смеется над этим наш родич из Гивы, измышляя имена моих дедов; но кто помнит прадеда, в том есть наука и сила четырех поколений. Газа не Хацор; еще не родился Варак для саронской долины, хоть ты сам и сильнее Варака.

— Нынче ты славишь Варака, — сказал одноглазый, — а когда звал он вас на гору Фавор, вы не пришли. Кстати: а Дан-то пришел? Не помню; надо будет расспросить стариков.

— И теперь не придем, — твердо ответил бен-Калев. — Не стригут овец, пока не обросли; не доят козы, пока не наполнилось вымя; не собирают винограда, пока не созрел. Прав молочный брат Тавриммона ха-Шилони: много ли таких, кто не побежит от колесницы, кто бросится под ноги коням? Сегодня мало. А будет много. Зреет виноград и в свое время созреет; тогда будет вино.

— А куда, — спросил Самсон, тяжело дыша, — Иуда согласен платить дань, и стража его ждет приказов из Гата?

— Невместно Дану говорить языком Вениамина, — сказал Иорам укоризненно. — Не дань, а подарки; не приказ это был, а просьба о выдаче беглого — как сосед у соседа, когда забредет овца в чужое стадо. Да, мы посылаем дары в Газу и воров из Гата возвращаем Гату; и вы поступайте так же, если придется. А что решат наши внуки, дело внуков.

Мерав засмеялся и хлопнул себя по животу.

— Вот он, Иуда! — крикнул он, обращаясь к Самсону. — Ты их не знаешь, а я знаю. Их и спрашивать не стоит. Хуже того: если и пойдут они с тобою, не иди: пересчитают, передумают и оставят тебя одного на дороге. Если бы он сказал: «Иду», я бы из-за этого одного сказал: «Нет».

Самсон спросил его:

— Иуда не идет. Пойдешь без Иуды?

Одноглазый опять подмигнул:

— Ефрем старше нас. Мы что? Волчата, а они «князья». Спроси раньше княжьего брата.

Посол Тавриммона оправил одежду и сказал с выражением уctивой усталости:

— Хотя и сожалею о горячности, с какою вы ведете эту беседу, но вполне понимаю причины ее. Дело это для вас — близкое дело. Но ведь мы иначе стоим. Между нами и филистимлянами лежит полоса земли, еще не занятой ни нами, ни ими, никем, кроме туземцев. Столкновений у нас не было. Дани мы не платим и даже подарков не посылаем — хотя я признаюсь, что разница между этими двумя видами подати мне темна. Для нас со стороны Кафтора опасности нет.

— А Бет-Шан? — спросил Самсон. — Разве не вторглись филистимляне в Бет-Шан к востоку от вашей страны и не стегрут вас теперь и с заката, и с восхода?

Ярив пожал плечами.

— Бет-Шан не Ефрем. Это дело Манассии или Иссахара — я не помню, чей это край.

Самсон усмехнулся.

— Справа горит, слева горит, — сказал он, — твой дом посередине; а тушить — не твое дело. Разве слеп Ефрем? Разве не отец ваш Иосиф учил: в год урожая готовься к засухе?

Это предание он слышал от Элиона рехавита.

— Хорошо, — ответил Ярив, — что ты сам произнес это слово: пожар. Мне поручено князем поговорить именно об этом; ради того он меня и прислал, но я колебался начать. Пожар, говорит князь, был, и был он в Тимнате. На этот раз он потух сам собою; потухнет до конца, если Дан не поскупится на подарки. Во второй раз это может кончиться хуже. Мы не слепы, уважаемый князь из Цоры Дановой: мы знаем, что огонь у соседа — опасная вещь. Оттого мы и просим: не умножать огня. Ни князь мой, ни я не хотим никого упрекать; но правду сказать надо.

— Каково? — вставил Хаш-Баз. — Жаль, что вытащили Иосифа из ямы, жаль.

— Бет-Шан, — повторил Самсон упрямо, — ты забыл о Бет-Шане. Там ведь я не поджигал. Этот огонь — из земли.

— Бет-Шан да Бет-Шан, — ответил Ярив с нетерпением и даже привзвизгнул, — я тебе говорю разумные доводы, а ты повторяешь одно слово.

— Это не слово, а крепость. Крепости строят тогда, когда есть умысел. Если одна в Экроне, а другая в Бет-Шане, значит, хотят овладеть всей областью между Экроном и Бет-Шаном. Это не только Дан; это и Ефрем, и Манассия.

Ярив был очень недоволен; что-то забормотал, даже совсем неожиданно для всех поскреб затылок — очевидно, в большой забывчивости; наконец угрюмо заявил:

— Князь говорит: не пойдем, — и отвернулся.

— Сколь прекрасны два языка твои, Ефрем! — воскликнул Хаш-Баз. — Слышали вы этого посла? То он поет величаво, как царедворец из Сидона; то визжит, как туземная торговка на рынке. Два языка у Иосифа, два и больше. Когда ефремлянка Дебора прислала гонцов к Вениамину за помощью, старосты наши тоже спросили: что за дело Вениамину до Хацора? Тогда ефремляне говорили совершенно как ты, Самсон, — точь-в-точь как ты теперь. А при дележе добычи, когда нас обсчитали, язык уже был другой. А сегодня — третий.

Самсон обратился к нему:

— Может быть, у Вениамина зато один язык — что говорит Вениамин?

Мерав из Мицпы раскрыл рот, поднял брови, выпучил глаз, развел руками:

— О чем?

— Пойдете?

— Куда?

— С Даном, на филистимлян.

— Это что за новизна? Зачем?

У Самсона лицо вдруг налилось кровью; он сказал медленно, негромко и настойчиво:

— Ты мой гость; но худо будет, если я подумаю, что ты смеешься. Отвечай по-людски.

Одноглазый внимательно посмотрел на него, прицениваясь; сообразил, что издеваться дальше опасно, это не Ярив и не Иорам; но язвить можно. Он ответил:

— Непонятно вы судите в земле Дана; и память у вас дырявая. На филистимлян? С Даном? Почему? Не из Экрона филистимского пришли, год тому назад, разбойники, в наше село Хереш, угнали овец и перебили народ: пришли они из Шаалаввима и назвались цоранами. Экрон нас не трогал. А затронет — сами справимся. Волком вы прозвали Вениамина, и пускай. Волк сам себя защищает; не пойдем кланяться за помощью ни к козлам, ни к ослам, ни к баранам.

Страстно захотелось Самсону схватить их всех за бороды, пачкой, в одну руку, и стукнуть головами об утес; но они пришли по его приглашению. Молча он встал, поклонился и вышел.

У входа в пещеру жирный юноша, слуга Хаш-База, причесывал гребнем волосы и зевал. Увидя Самсона, он сказал томо и тягуче:

— Благодарение Молоху, кончили. Где ты, Мерав? Мне скучно.

* * *

Так остался Дан, среди всех колен, один лицом к лицу с могучим соседом.

«Хорошо, — подумал Самсон, когда прошел его гнев. — И еще лучше: один Самсон изо всего Дана.»

Еще накануне он думал собрать войско, превратить весь край в военный лагерь. Но теперь это не имело смысла. Все — это сила; часть только помеха. А сильнейшая сила — один. Ангел, пришедший к его матери, знал это. «Назорей» значит отшельник: рожден не как все, живет не как все, творит суд не по обычаю, веселится по-чужому, воюет в одиночку и умирает по-своему.

Большинство «шакалов», услышав о его приходе, вернулись к нему в Цору; но не все.

— А где Мевуннай? Где Нимши, Цалаф, Азур?

Мевуннай женился; Цалаф получил наследство; Азур обиделся за то, что выдали Гуша и Ягира, и сказал: «Это не мой народ»; Нимши просто передумал.

— И вы ступайте все по домам, — сказал Самсон. — За прошлое спасибо, а дальше нам не по пути.

Они разошлись; только Нехуштан не тронулся.

— Ты не слышал моего приказа? — спросил Самсон.

Нехуштан ответил вопросом, очень спокойно:

— Разве я раб твой?

— Нет.

— Что же мне за дело до твоих приказов? Я остаюсь.

Глава XXI. ДОМ И ЧУЖБИНА

Десять лет или больше был Самсон судьей и пугалом у Дана, грозой и любимцем у Филистии.

В земле Дана произошли за это время большие перемены. Стало просторнее, много народу ушло на север, и ежегодно уходили новые. Там они сожгли город Лаиш и потом сами жалели, что сожгли: пришлось строить заново. И с туземцами поступили на первых порах нерассудительно: перебили не только аморреев, от которых в самом деле не могло быть никакой пользы, но и хиввейцев, которые, при хорошей хозяйской палке, давали прилежных рабов. Потом пришлось учинить большой набег на соседние земли Ашера и Нафтали и угнать оттуда гуртом несколько деревень туземцев с женами, детьми и скотом. Из-за этого была война с Ашером — впрочем, небольшая. Но пока все это улаживалось, жить на выселках было трудно; как предвидел Самсон, многие вернулись, обзывая глупцами встречных, которые плелись с поклажей на север. Самсону это надоело.

— Сам буду отбирать, кому идти, а кому оставаться, — объявил он однажды.

Права на это он не имел; но Дан уже стал привыкать к парадоксальности его решений: к тому, что из них часто все-таки выходила какая-то польза. И люди, думавшие о переселении на север, стали приходить к нему за спросом. Присмотревшись несколько раз, кого он отбирает, старики Цоры, по обыкновению, покачали головами. Когда приходил человек толковый, расторопный, явно добрый хозяин, Самсон ему по большей части приказывал остаться; а бессмысленный сброд, таких, что уже три раза начинали разные дела и бросали, не доделав, отпущал охотно.

— Для нас-то здесь оно лучше, — сказали ему старосты, — но честно ли это перед северянами?

— Честно, — ответил Самсон. — Хорошие люди разборчивы. Новая страна — как песок: пшеницу на нем не посеешь, а репейник можно.

Около того времени пригнали к нему много народу на суд. Были среди них воры и один убийца. Обыкновенно Самсон тут же производил расправу. На этот раз он велел всех осужденных связать и бросить в яму. Когда суды кончились, их опять к нему вывели. Самсон им сказал:

— Выбирайте: или палки — а тебе камни, — или ступайте на север; и если вернетесь — смерть.

Они предпочли, конечно, север. И опять возмутились старики.

В конце концов оказался прав Самсон: суровая жизнь и короткая расправа нового края скоро отучила воров от проказ, а ловкость рук и энергия осталась и пошла впрок — у тех, которые выжили.

Из люда честного он отпускал охотно или холостых или давно женатых, но молодоженам запрещал трогаться с места.

— Дозволь нам уйти, судья, — просил один из них и при этом указал пальцем на жену, задорно скалившую зубы. — Смотри, что за грудь и бока, — она выносливая. Ты отоцалых старух отпускал, а ее не отпустишь?

— Не отпускаю, — сказал Самсон. — Она тебя загрызет. Куда не ходят коробейники, там не житье мужу молодичи.

Только одному цоранину с молодой женою разрешил Самсон уйти на север; женщину звали Карни.

* * *

Легче стало жить на границе Вениаминовой. В Хереше, главном гнезде овечьих воров, вообще не осталось ни вора, ни честного. Произошло это совсем просто. Однажды, вскоре после совета в Чертовой пещере, Самсон пришел в Хереш один, сел у ворот и ничего никому не сказал — но через минуту собрались перед ним старосты, а народ столпился вокруг и подавленно перешептывался.

Самсон посмотрел на стариков пристально и сказал:

— Отныне вот вам закон: если пропадет одна овца на границе — деревню сожгу, а вас, старейшин, повешу на деревьях.

И здесь тоже никому не пришло в голову спросить, по какому праву, или усомниться, может ли он исполнить угрозу. Как деловитые люди, которым не до пустых разговоров, они стали торговаться.

— Разве мы одни на границе? — спросили они. — А если придут воры из другого села — мы чем виноваты?

— Некогда мне ходить по вашим селам, — ответил Самсон. — Пропала овца — пропал Хереш.

Они развели руками:

— Нам ли сторожить всю границу?

— А то кому же? Вам расплачиваться — вы и сторожите.

— Господин, — заговорил один из них, — ты человек мудрый, с тобой хитрить нельзя. Это правда — херешане живут

чужими стадами. Так ведется у нас со времени дедов. Без этого мы — как земледелец без сохи. Сам посуди, чем прожить нам после твоего приказа?

— Разве не обещал я вам помочь? — спросил Самсон.

— Помочь?

— Село сожгу, вас повешу — вот и не останется больше забот, чем прожить.

Сказав это, Самсон поднялся и ушел обратно, а старики и весь народ начали совещаться в великом замешательстве.

Около полудня проехали через их село богатые молодые люди из Бет-Хорона. Это была вещь обычная: несмотря на уводы девушек и другие бесчинства, их еще все-таки ласково принимали в Шаалаввиме, угощали и пускали на пляску. На молодых людях были праздничные платья, и ослы их были разубраны по-праздничному.

Херешане рассказали им про Самсонов приказ. Те их высмеяли и уехали дальше по дороге в Шаалаввим, а сходка у ворот разошлась, ничего не решив.

Но на рассвете молодые люди из Бет-Хорона опять показались на околице деревни. Теперь они шли пешком, совершенно голые; и у всех до одного были острижены бороды, а это считалось наибольшим срамом, какой может постигнуть человека.

Вскоре после этого Хереш начал пустеть, пока совсем не опустел. Часть ушла в глубину Вениамина, часть на Иордан, остальные к Иуде или Ефрему. Потому и не осталось памяти от села Хереш, что на полдороге между Шаалаввимом и Бет-Хороном, — ни слова в книгах, ни развалин на земле.

* * *

И иевуситов раз навсегда отучил Самсон от непрошенных посещений Айялона. Бить их он не хотел: они его любили, всегда выслеживали для него пантер и медведей и, очевидно, считали богом. Он для них придумал совсем небывалую острастку. Пришли они раз толпою к воротам Айялона и расположились на ночлег, рассчитывая на поживу утром, когда откроется рынок. Но на заре их окружили, отобрали каждого десятого, потащили в купальню и, несмотря на их отчаянные вопли, с головы до ног вымыли щелоком и горячей водой. Такого погрома никогда еще не переживал иевуситский народ. В земле их было так мало источников, что тратить воду на пустяки считалось смертным грехом; только жрецам их при

капище бога Сиона-Азазеля в Иевусе предписывалась эта роскошь три раза в году. Табор в ужасе разбежался; опозоренные жертвы расправы поплелись к себе в горы с опущенными головами; семь недель после этого считались они у своего народа нечистыми, спали на голой земле, и никто с ними не хотел иметь дела; только жены их, воротя носы, каждый день натирали их козьими следами, чтобы опять вытравить неприятный человеческий запах, по которому иевуситы в темноте издали опознавали чужеземца.

* * *

Судил Самсон только у себя в Цоре; к нему приходило много народу, хотя не по сердцу людям были его приговоры. Кривды он не допускал и с дурными людьми расправлялся жестоко, но почти всегда было в его решении что-то неожиданное, раздражающее. У людей поумнее сложилось смутное чувство, что он издевается и над сторонами, и надо всею сходкой вокруг; издевается, не улыбаясь, сохраняя черствую суровость на лице, роняя слова скупо и резко, резче и скупее с каждым годом. И все-таки ходили к нему на суд.

Неплохо жилось Дану в годы судьбы Самсона. Ему верили, без его совета не начинали никакого дела; повторяли его поговорки; тревожились, когда он долго не возвращался из Филистии; и терпеть его не могли.

* * *

Зато обожала Самсона Филистия. О туземцах нечего говорить: они были все у него на посылках, шли за него под кнут и пытку, прятали его, шпионили для него, с радостью давали ему на ночь не только дочерей, но и жен; говорят, делали себе идолов с семью рожками и приносили им жертвы трижды в году или особо в случае беды. Это и была, конечно, главная причина его неуловимости, всезнания, вездесущности.

Но страннее всего (если только вообще это странно) было отношение самих филистимлян. По закону их он был разбойник, свирепый и коварный; за его голову была назначена цена (которой, впрочем, уже никто не помнил), за приют, ему оказанный, плети и смерть; среди стражи на пограничных и внутренних заставах мечтою каждого очень молодого сотника было привести Самсона в Газу или в Экрон на веревке. И вместе с тем уже давно, или еще никогда, не было у филистимлян такого общего любимца.

Однажды в Газу прибыл важный гость из Египта, и друзья повели его смотреть красоты города. Показали ему свою гавань, называвшуюся Маим; показали мощеную площадь перед храмом, на которой было, говорят, десять тысяч квадратных каменных плит; показали внутри храма истукан Дагона и шепнули гостю на ухо (он был человек свободомыслящий) любимую в Газе остроуту о своем боге — «помесь осла и скумбрии»; показали последнюю свою гордость, Железные ворота, знаменитые во всем Ханаане; но при этом все время, наперебой, с возмущением и восхищением, перечисляли ему проделки Таиша. В конце концов египтянин написал домой такое письмо:

«...Строения здесь небольшие и бедные, хотя для этой грубой страны и они, бесспорно, являются достопримечательными. Пресловутый идол во храме здешнем вытесан из цельного камня, величиною с быка или больше, и стоит на золоченой подставке, под навесом, опирающимся на четыре столба; каждый столб из другой каменной породы. Все это довольно убого. По мнению жрецов, идол изображает рогатую акулу с туловищем быка; ибо Дагон, согласно преданию, родился от очень странного брака. Отцом его был наш собственный золотой телец, которому некогда поклонялись и на Крите, ибо глупость легко переплывает моря; а мать его — морское чудище, божество рыбаков на малых островах. Образованная молодежь Газы, однако, смеется над этим: истукан очень стар, привезен еще с Кафтора, весь обтерся и похож на что угодно.

Вообще вельможи здешние сами сознают захудалость своей роскоши и, показывая иноземцу свои дворцы, укрепления и капища, подтрунивают над ними, над собою и вообще над всем, что на земле и в небесах, не хуже, чем мы с вами в Мемфисе.

Единственное, чем они, по-моему, действительно гордятся, это некий разбойник из дикого племени, живущего на востоке от Филистии».

* * *

Как-то назначили в Асдоте нового начальника стражи. Он был очень юн, мечтал об отличии и служил до тех пор только в сельских округах, надзирая за тем, чтобы туземцы работали и не бунтовали. К своей новой должности он отнесся добросовестно. Город был полон притонов, где каждую ночь игроки спивали и обирали корабельщиков, и каждую ночь это кончалось поножовщиной. Молодой офицер начал лично с отрядом обходить по вечерам харчевни.

На третью ночь он остановился у забора одного из крупнейших постоянных дворов: еще издали поразил его шум, доносившийся оттуда. Большое общество пировало там на открытом воздухе; лиц он не видел, но по выговору понял, что это не сброд, а молодежь из богатого круга. Один из них изображал в лицах обряды газского храма. Сотник, подслушивая, сам начал смеяться: рассказчик удивительно похоже передавал гнусавую молитву старшего священника на древнем языке Кафтора; сам он, как и все остальные, конечно, этого языка не знал, но уморительно подхватил его свистящую и шипящую скороговорку. Особенно смешно было то, что в молитву, через каждые два-три слова, врывалось тоскливое бляение жертвенного барана, и минутами казалось, что это баран молится, а жрец ему только вторит. Компания помирала от хохота, причем некоторые гудели тем важным басом, который дается только лицам большого чина.

Офицер хотел идти дальше, как вдруг его остановила знакомая кличка. Кто-то из веселой гурьбы закричал:

— Таиш! Когда ты сдержишь обещание — «по шапке на косицу»?

Сотник сдвинул брови, бесшумно вошел во двор и увидел Самсона. Тот сидел на дальнем конце стола, а на ближайшем к калитке возлежал, держась за бока, главный судья Асдота. Молодой офицер растерялся. С огромными предосторожностями удалось ему вызвать сановника из-за стола в неосвещенный угол, и там он, стоя навытяжку, заявил вежливо, но твердо:

— Судья, у меня строгий наказ — захватить этого разбойника живым или мертвым.

Судья потрепал его по плечу:

— Ты недавно в Асдоте, — сказал он. И, взяв под руку молодого человека, усадил его рядом с собою и велел подать еще вина. Так и просидел там сотник далеко за полночь, смеясь до икоты Самсоновым островам; и Самсон действительно сдержал то обещание, о котором напомнил ему один из пировавших, и поборол семерых разом — это и называлось у них: по одной филистимской шапке на каждую его косицу. А в конце попойки судья снова потрепал сотника по плечу и сказал ему довольно отчетливо:

— Что ты знаешь наказ, это хорошо; но надо знать также и обычай.

* * *

В конце концов сложился неписанный закон, честно соблюдавшийся обеими сторонами. Если Самсон приходил к туземцам — значит, беда: берегите дома, караваны, заставы; двойная стража, обыски, облавы — и тут, если бы его нашли и если бы одолели, был бы ему конец; но, конечно, трудная была задача — изловить человека среди тысяч туземных хуторов, где каждый батрак охотнее умрет, чем выдаст. Если же являлся он открыто сразу к филистимлянам — тогда был он гость, и желанный. С ним пировали тогда лучшие люди страны, судьи, начальники, придворные саранов; пировали бы сараны, если бы не запрещал им обычай ходить по харчевням. Но и дома богатейших открыты были Самсону, только сам он их избегал: там были женщины.

Много заглядывалось на Самсона филистимлянок — и блудницы, и мужние жены, и барышни; но он на них не глядел. Однажды в Аскалоне жена казначея, первая красавица города, подослала к нему вернейшую из молодых своих рабынь.

— Госпожа моя ждет тебя в горнице, — шепнула ему девушка, — я тебя провожу.

Самсон ответил:

— Не хочу я твоей госпожи; ты лучше. Остаешься со мною.

Она осталась, хоть знала, что утром, вернувшись во дворец, дорого расплатится.

* * *

Самсон тоже любил Филистию. Знал он ее теперь вдоль и поперек, и в душе судил о ней трезво. Это было государство красивых пьявок. Труд у них даже не считался позором: он просто был вне поля зрения. Бедных было много, особенно разоряла их игра: обедневшие кормились подачками вельмож или опять игрою в кости, или уходили в Египет, или кидались на меч: мысль о труде руками не могла им прийти в голову, как мысль о ходьбе на руках вместо ног.

Все, что носит имя работы, — кроме женского рукоделья, — все, до чего дотрагивается рука и от чего рождаются вещи, делал у них туземец. Трудно было сказать, у кого хуже было жить обломкам прежних племен Ханаана — у колен израильских или в стране Пяти городов. Они тут не вымирали и не растворялись: напротив, их было много, по меньшей мере впятеро против филистимлян. Но каждый час их жизни принадлежал господам; и филистимляне, между собою ветреные

и нерасчетливые, умели в отношении к туземцу следить, чтобы ни одна минута из этого часа не пропала даром. Они были прекрасные хозяева и любили порядок.

Их порядку Самсон дивился больше всего. Их строя понять он не мог: точная, разработанная, многоветвистая иерархия, разграничение функций, твердые правила для каждой стороны управления — все это было ему недоступно, казалось путаницей. Но он ясно видел, что выходит из этого не путаница, а великий лад. Были какие-то заведенные пути, по которым стройно текли дела от заставы до сарана; были незыблемые обряды для взаимодействия между пятью саранами — им не приходилось созывать друг друга тайком на советы в Чертовой пещере! Жизнь бежала ровно, как по воде круги от брошенного камня.

Однажды в Газе он видел зрелище, о котором когда-то рассказывала ему Семадар.

На площади перед храмом собрались на праздничную пляску юноши и девушки. Их было несколько тысяч — по одному на каждой плите. Все они были одеты одинаково, все в белом; на юношах были короткие опоясанные рубашки, на девушках — платья с оборками до самой земли, в талию, с длинными рукавами, как обычно, только с голым вырезом во всю ширину и глубину груди. Выстроили их по росту, двумя лагерями: справа молодые люди, а девушки слева. Управлял танцем безбородый жрец; он стоял на верхней ступени паперти, и в руках у него была палочка из слоновой кости.

Когда началась музыка, все застыли — и участники пляски на плитах, и громадная толпа кругом, на деревянных подмостках, на крышах домов, на немощенных обочинах площади; слышен был рев прибоя с набережной далекого Маима, порта Газы. На танцующих не колыхнулась ни одна складка; даже у оголенных девушек трудно было заметить дыхание. Безбородый жрец побледнел и ушел глазами в них, они в него; он бледнел все больше — казалось, что весь задержанный порыв этих тысяч сгустился в его груди и сейчас его задушит насмерть. Самсон и сам чувствовал, что кровь прилила к его сердцу и, если это продлится еще несколько мгновений, он захлебнется. Вдруг этот жрец быстро, почти незаметно, едва-едва поднял палочку, и все белые фигуры на площади упали на левое колено и выбросили к небу правую руку — одним движением, с одним отрывистым аккордом шороха, точь-в-точь. У десятитысячной толпы вырвался вздох или стон; Самсон пошатнулся и заметил, что облизывает кровь — так он закусил перед этим губу.

Вся пляска состояла из таких поворотов по мановению палочки, то резких, то плавных, и тянулась она недолго. Но Самсон ушел с праздника в глубокой задумчивости. Еще в передаче Семадар его поразила эта картина единой воли, стройно движущей тысячами. Теперь она его подавила своим колдовством. Он не мог бы высказать эту мысль, но смутно чувствовал, что тут ему показали главную тайну народов, создающих государства.

Глава XXII. В ОДИНОЧКУ

О разбоях и проделках Самсона ходило по стране много легенд. Большинство были вымышленные; остальные чаще всего сводились к одному превосходству мускулов, и рассказывать о них не стоит. Он просто был сильнее всех людей, живших на свете до него и после; в расцвете зрелости мог повалить кулаком буйвола, перетянуть четырех лошадей; и все это знали. Потому действительно бывали случаи, когда он ходил в одиночку, с дубиной, может быть, и вправду с тут же подобранной большой костью, на вооруженную толпу: еще до стычки передние теряли бодрость и веру в себя, он их давил, как муравьев, а остальные разбежались. Однажды в харчевне он нарочно дал себя сковать, потом связать и разорвал не только медные кандалы, что не такое уж чудо, но и путы из сыромятной кожи, чего люди никогда не видали и не увидят. А кровь в нем была такая терпкая и здоровая, что сейчас же створаживалась, закрывая самую глубокую рану, и порезы его заживали с быстротой, о которой филистимские лекаря посылали доклады египетским.

Но, кроме силы мышц, у него были и другие преимущества. Главное было дано ему с детства и до смерти, само по себе не редкое, но в редкой степени: он читал человеческие мысли безошибочно. Против него не помогала никакая военная хитрость. Большинство офицеров он знал лично: довольно было ему раз увидеть человека, услышать его голос, чтобы понять его насквозь, знать, что тот замыслит, как ухитрится в любом случае. Но и о человеке, никогда не виданном, по двум-трем отзывам он умел составить живой образ и уже дальше знал его наизусть.

Об этой его черте филистимляне рассказывали такую басню. На правом берегу Яркона, недалеко от устья, был пригорок, на котором еще первые филистимские завоеватели выстроили

сторожевую башню. Они ее прозвали по-своему, башней царя Миноса, — и до сих пор то место носит похожее название. Это был у них главный военный пост северного побережья.

Однажды Самсон кутил со старым знакомым из Аскалона; звали его, как и большинство знатных филистимлян, Ахишем. Он сказал Самсону:

— Беда тебе готовится, Таиш. Скоро переведут начальником на холме царя Миноса земляка моего Таргила, а он давно поклялся, что поймает тебя, как только попадет поближе к Цоре.

— Я его не видал, — ответил Самсон. — Что за человек?

— Опасный человек. Вспыльчивый, смелый и хитрый. Солдаты его боятся, как грома. Но мы его любим: гостеприимный хозяин, а лучшего обеда, чем в его доме, не найдешь во всем Аскалоне.

— И он побожился, что поймает меня?

— Об заклад побился!

— А ты ему скажи: прежде чем он доедет до башни царя Миноса, я на дороге сниму с него меч и отберу всю поклажу.

— Передам, — сказал аскалонец.

Через несколько времени после того ехали к Яркону два всадника, а за ними рысцой бежал нагруженный осел. Всадники были одеты в дорожное платье египетских купцов. Доехали они до пустого, ровного места, где на утопанной глинистой земле, уже окаменелой от жары, рос только одинокий пыльный кактусовый куст. Когда они поравнялись с кустом, из-за него поднялся человек огромного роста и сказал:

— Здравствуй, Таргил. Я пришел за твоим мечом и поклажей.

Когда оба уже были связаны и офицер увидел, что Самсон собирается уйти со своей добычей, не сделав им лично никакого увещья, он спросил:

— Кто тебе сказал, что это я? Ведь я нарочно поехал без свиты и переодетый.

— Никто не сказал, — ответил Самсон, — а что ты поедешь без свиты и в другой одежде, это я сам знал.

— Откуда?

— Друг твой Ахиш предупредил меня, что ты человек смелый и хитрый. Смелый — значит, постыдится взять с собой великую стражу. Хитрый — значит, оденется так, чтобы его не приняли за начальника.

— Но неужели ты целый месяц сидел тут за кустом? И мало ли ездит по дороге людей, похожих на офицера? А в лицо меня ты не знаешь.

— Сегодня утром, — объяснил Самсон, — проходил я мимо харчевни. Слышу, пахнет не бараниной, как всегда, а жареной рыбой со всякими приправами. Смотрю в дверь — у одного раба свежий синяк под глазом. Я ничего не спросил и прямо полями пошел сюда. Мне еще Ахиш говорил, что ты человек раздражительный и любишь вкусно поесть.

* * *

Первое из походов, которое сделало его любимцем Филистии, относится к тому времени, когда он вернулся из Этамских ущелий и только что распустил навсегда своих «шакалов». Тогда его, кроме Тимнаты, в других углах Филистии в лицо еще не знали; и он еще был молод и, хотя высок и широк, еще не так громаден, чтобы чужие догадались, кто он такой. В это время филистимская стража занимала Гимзо; почти все даниты ушли оттуда, и городок считался потерянным.

Однажды ночью Самсон бродил вокруг Гимзо, придумывая, что бы сделать, — и так, чтобы не навлечь новую злобу на все колено. Иначе он просто напал бы на стражу. Нужна была тут ловушка. Так, занятый мыслями, он обогнул филистимскую заставу и полями вышел на дорогу из Гезера в Лудд и услышал топот. Два всадника неслись во весь опор с юга на север; Самсон увидел, что это военные гонцы; передний был мужчина большой и грузный. Самсона осенила мысль.

Он остановил коней, оглушил кулаком по скуле обоих всадников, связал их, набил травой рты и отнес подальше от дороги; сам оделся в платье толстого и привесил к поясу его меч. Он столько жил с филистимлянами в Тимнате и был так приглядчив, что никакой ошибки в одежде, в манерах, в посадке верхом не боялся. И он умел подражать их выговору в совершенстве и вообще подражал кому угодно: совы его принимали за сову, волчица раз убежала от ослиной туши на его жалобный вой испуганного волчонка.

К седлу второго коня был привязан тугой кожаный мешок, тщательно запечатанный, — судя по звону, деньги. Самсон взял мешок с собою, сел на коня и поскакал в Лудд, держа вторую лошадь за уздечку.

Было уже за полночь, когда он явился к начальнику тамошнего полка.

— Я прибыл из Экрона, — сказал он, — и мне велено еще до зари вручить эту казну начальнику нашей стражи в Гимзо. Но то чужая земля, могут меня ограбить: и у нас по дороге моего солдата убили разбойники; дай мне конный отряд провожатых.

— Я тебя не знаю, — сказал офицер, дивясь его мощности, — кто ты такой?

Самсон объяснил, что его на днях перевели с египетской границы и сам он родом из южной пустыни (по выговору себе-седника он понял, что тот из Яффы). На юге действительно жили остатки племени анакитов, славившиеся огромным ростом; филистимляне считали их, как и амалекитян, почти людьми и охотно принимали в солдаты, хотя своих, местных туземцев из саронской равнины, в войско не пускали.

Самсон, кроме того, небрежно упомянул несколько имен экронской знати и мимоходом изобразил старшего военного писаря из Экрона так похоже, что начальник не только уверовал, но и возлюбил его. Подействовал и мешок — его печати, тяжесть и звон.

Поэтому Самсон явился в Гимзо уже во главе взвода конницы, и тамошний сотник принял его с почетом. По выговору он был из Газы, а потому Самсон — оставив свой отряд шагов на тридцать — говорил с ним сюсюкая, как уроженец Яффы.

— Приказ тебе идти с отрядом в Баал-Салиса. Немедленно; и вот мешок с деньгами.

— Баал-Шалиша? — спросил сотник. — Неужели у нас война с Дором?

Самсон внушительно промолчал: не дело гонца из столицы рассказывать мелкому офицеру государственные тайны, хотя ему-то они, конечно, ведомы.

— А кто останется в Гимзо?

— Я, — сказал Самсон, — и эта конница.

Через час сотник увел свою стражу по северной дороге. Тогда Самсон приказал десятнику своей конницы:

— Скачите во весь опор назад; и скажи начальнику Лудда, что все исполнено и что я в Экроне доложу о его расторопности и неутомимости его солдат.

Вот как он освободил Гимзо, никого не убив и даже никого не ограбив на земле Дана, так что филистимляне и придрататься не могли. А жители Гимзо вернулись и построили укрепления, и город остался у Дана, и только после смерти Самсона филистимляне его заняли опять.

* * *

— Вы твердо решили послать в Экрон кузнецкую подать? — спросил Самсон у старейшин.

И они снарядили стражу, навьючили ослов, отсчитали, сколько нужно было, овец и отправили это посольство в Экрон.

Но на филистимской земле, в нескольких часах пути от Экрона, Самсон их нагнал; всех избил, хотя не до смерти, но настолько тщательно, чтобы не было ни у кого сомнений в их неповинности, — в самом деле, филистимляне потом их подобрали замертво; а ослов с подарками и стадо он угнал обратно в Цору.

Старосты переглянулись, покачали головами, но потом улынулись и послали Махбоная в Экрон жаловаться:

— В вашей земле нет порядка. Мы вам послали подать, а ваши разбойники смотрите, что натворили: стражу нашу искалечили, а добро увезли неведомо куда.

На это нечего было возразить.

— Ладно, — сказал саран, — в будущем году мы примем вашу подать на границе.

* * *

Когда пришло время, Самсон приказал старейшинам:

— Смотрите, чтобы ваш обоз дошел до границы не раньше заката.

Филистимский конвой прибыл в назначенное место еще в полдень; но никого там не застал, кроме грязного, лохматого калеки, скрюченного корчей в один огромный комок; под мешком, надетым на него, трудно было разобрать, где плечи, где ноги; у него, очевидно, была водянка, таким большим он казался, ползая по земле. Он подполз к офицеру просить милостыни; тот швырнул ему подачку и, от нечего делать, стал над ним подгрудничать. Солдаты тоже. А нищий жалобно ныл, клячил и все к чему-то прислушивался; и еще была у него странность — он почти каждого спрашивал:

— Как тебя зовут?

Наконец он уполз, бормоча не то слова благодарности, не то бранные.

Только на закате запыхала дорога и показался караван из Цоры. Офицер обругал их за промедление, принял мешки, сосчитал стадо, выдал начальнику обоза казенную печать в качестве расписки и погнал овец и ослов по дороге в Экрон; а данисты, исполнив свой долг, побрели домой.

Ночью, на полпути между границей и Экроном, солдаты стали: дорога между холмами была завалена утесами. В ту же минуту где-то в темноте зарычала пантера, откликнулась ей другая, раздался отчаянный храп зарезанного осла — и все ослы бросились врассыпную, толкая солдат и валя на землю сбившихся овец. Солдаты смешались. Вдруг они услышали голос своего офицера, кричавшего откуда-то справа: «На помощь!» На самом деле офицер уже был убит, а кричал за него Самсон; и обе пантеры, и храпевший осел — все это был Самсон. Часть отряда кинулась на голос начальника; но тут поднялось что-то невообразимое — в темноте и суматохе они ясно слышали голоса товарищей, вопивших: «Погибаю, спасайте! Где ты, Харон? Сюда, Гехаз!» Так перебил их Самсон, двадцать пять человек до одного; собрал ослов и стадо и погнал обратно; и еще хуже — забрал мечи и копыя и унес их тоже в Цору и роздал верным людям по своему выбору.

С тех пор, по преданию, перестали филистимляне требовать кузнецкую подать от Дана. Вместо того они обложили своих же кузнецов, а те стали брать дорожке с данитов; это гораздо проще и для казны столь же доходно.

А у Самсона после этого случая появилась новая забава — охота за медью и железом; и почти все сказания о проделках его говорят об этой охоте.

* * *

Однажды Самсон пришел к филистимлянам в Гезер с большой поклажей сошников и заступов для починки. Отнес их в кузницу, передал точильщикам, а сам присел отдохнуть на улице. Вокруг него собралась, по обыкновению, толпа ребятишек и взрослых, и он их забавлял прибаутками и фокусами. В толпе этой был смуглый юноша лет восемнадцати; голова у него была бритая, как у жителей Синайской пустыни, и лохмотья кочевых народов. Почему-то он Самсону не понравился, и Самсон ему. Юноша сказал назорею что-то грубое на своем ломаном языке; Самсон ударил его, тот отлетел прямо на кузницу, едва не упал в огонь; и когда пришел в себя, то стал проклинать Самсона по-своему, а потом прибавил по-ханаански, неуклюже коверкая слова: «Я тебе отомщу!»

На другой день Самсон пришел забрать свою поклажу. Когда он расплачивался, вдруг из-за угла выскочил этот юноша и закричал:

— Он украл пять топоров, я сам видел!

Надзиратель кузницы велел развязать тюки, и там действительно оказалось пять топоров, Самсону не принадлежавших. Самсон очень смутился; запустил камнем в юношу, но тот увернулся, спрятался позади толпы и издали дразнил данита срамными телодвижениями. Другого за эту кражу бросили бы в тюрьму, но Самсона уже знали, а потому отпустили с суровым наставлением.

Надзиратель кузницы был филистимский чиновник, а рабочие все из уроженцев северного побережья — из Дора, из Тира, даже из Сидона. Надзиратель подозревал юношу и хотел дать ему денег за услугу.

— Лучше возьми меня на работу, — сказал тот.

— А кто ты родом?

— Я из шатров Амалека в пустыне; убил там одного и бежал.

Амалекитян брали даже в солдаты. Надзиратель принял его в кузницу. Юноша оказался понятливый: начал с раздувания печи, скоро перешел в точильщики, а потом научился ковать и стал хорошим мастером. И тут он вдруг исчез.

Юноша этот был Нехуштан. Еще задолго до того послал его Самсон в пустыню, учиться говорить по-амалекитянски и коверкать ханаанскую речь на ихний лад.

Так появился у Дана первый кузнец, а потом и ученики его. Они работали потаенно в пещерах; потому что старейшины, боясь войны, были против этого новшества.

* * *

У Самсона было правило: после разбоя на филистимской земле не оставлять таких следов, которые вели бы в области Дана. Если за ним снаряжали большую погоню с луками и стрелами — редкое оружие и единственное, которого он боялся, — то он уходил от нее или в пустыню, или в землю иевуситов. Дикари эти его любили; а филистимляне, привыкнув жить на равнине, карабкаться по горам не хотели.

Один раз, отчасти по нужде, а главным образом из умысла, он миновал землю иевуситов и скрылся по дороге в Гивеон. Гивеон принадлежал Вениамину. Из-за этого стали филистимляне придираться к Вениамину. «Хорошо», — подумал Самсон и в следующий раз повел за собою погоню прямо в область Иуды.

В земле Иуды, впрочем, были у Самсона друзья. Там подрастала хорошая молодежь вокруг Вифлеема; они ловко метали камни из гнезда, пришитого к короткому ремню, и почтительно слушали рассказы Самсона, когда он останавливался там по пути.

Был он желанный гость и в Хевроне, но по другой причине. Там было главное кодро левитов. Они упрямо величали себя «коленом»; может быть, и вправду был у них особый родоначальник с непобедимой душой бродяги. Почти все левиты, шатавшиеся по стране с товаром или колдовавшие в божницах от побережья до Эн-Геди, были родом из Хеврона или окрестностей.

Они сказали Самсону:

— Если нужно сбыть краденое добро так, чтобы следа не осталось, — помни о нас.

— Всякое? — спросил он. — И мягкое, и твердое?

Они сразу поняли. В то время уже зародился в горах спрос на боевое железо.

— Твердое добро тяжело развозить, — сказали они, — мы тебе за него меньше заплатим. Но товар всегда товар.

— Хорошо, — сказал Самсон. — Когда пришло вам сказать: готово, соберите большой караван и ждите меня к югу от Вирсавии.

Около того времени он опять услал Нехуштана — в Яффу, пожить среди моряков и грузчиков. Там данитов брали на суда охотно. Нехуштан был и проворен, и пронырлив; хозяевам он понравился и через месяц уже с бичом в руках покрикивал на грузчиков, а еще через несколько месяцев был допущен к кормовому веслу.

Однажды он разыскал Самсона в хижине туземца близ Бет-Дагона и шепнул ему:

— Скоро должен прийти корабль с острова Куфри с грузом меди и железа.

В темную ночь они встретились на набережной Яффы. Там стоял часовой, но труп его назавтра выбросили волны. Самсон и Нехуштан сели в одну из лодок; Самсон разорвал ржавую цепь, и лодка ушла в открытое море.

Около полудня завидели они сидонскую бирему. На палубе ее сидело двадцать гребцов, а еще двадцать весел работали снизу, сквозь отверстия во чреве корабля.

Лодка пошла навстречу биреме, а Нехуштан закричал в сложенные руки:

— Эй, капитан! Мы слуги Махона из Яффы: он шлет тебе важные вести.

Махон из Яффы был тот купец, которому предназначался груз; и корабельщики уже знали Нехуштана. Они остановили гребцов и бросили канат; юноша вскарабкался на палубу, за ним Самсон, и моряки и гребцы, разинув рот, смотрели на великана.

Юноша сказал капитану:

— У берега Яффы рыщут разбойничьи барки; они уже потопили Бен-Шиммуна, нубийца Баголу и две лодки из нашего флота. Говорят, они подстерегают тебя. Поэтому велел тебе Махон держать на Газу.

— А это кто? — спросил капитан, дивясь на Самсона.

— Это новый десятник береговой стражи в Яффе; я приказал ему ехать со мной, — важно сказал Нехуштан, — на случай, если бы мы повстречались с теми барками.

Бирема повернула на юг, держась открытого моря вне вида берега. По расчету капитана, сутки с половиной надо было идти на полдень, а тогда можно будет свернуть к востоку, пока не покажется Маим, порт филистимской Газы.

По дороге Самсон подружился с корабельщиками, заучил их имена и голоса. На вторую ночь капитан, оставив своего помощника на вахте, ушел в каюту спать. В полночь он услышал голос помощника, звавший его на палубу. Еще через несколько минут боцман услышал голос капитана, звавший его на палубу. И так до конца. Все они поодиночке вылезли вверх по узкой лесенке; ни один не успел крикнуть, а всплеска воды нельзя было расслышать из-за ударов весел. Наружные гребцы сами точно не знали, что творится в темноте, но смутно видели, что происходит нечто грозное; матрос-понукала, отбивавший для них такт, свалился первым, и за него молотом стучал Нехуштан.

Когда все кончилось, Нехуштан пошел к кормовому веслу (кормчий был выброшен в воду сейчас же за понукалой), а Самсон остановил гребцов и сказал им:

— Если будете слушаться, отпущу вас на волю.

И дал им по тройному пайку еды и велел не торопиться: ему нужно было, чтобы они подкормились и отдохнули.

Так они шли на юг всю ночь, и день, и еще ночь; а на восходе солнца выбросились на песчаный берег далеко южнее Газы, в самом сердце пустыни.

Здесь Самсон нагрузил ящики с медью и железом на гребцов, сколько хватило плеч и силы; а их было восемьдесят человек. Этот караван и погнал он через пустыню Амалека в Вирсавию; Нехуштан, уже бывавший в тех местах, указывал дорогу от колодца к колодцу. А у Вирсавии ждали их левиты с вереницей верблюдов; и тут Самсон отпустил гребцов на волю и каждому дал по монете серебра.

Глава XXIII. ТОВАР — МЯГКИЙ И ТВЕРДЫЙ

Еще и в другой раз доставил Самсон левитам Хеврона большую поклажу твердого товара, такую, что по сей день живет о ней предание среди всех народов мира. Случилось это через много лет после пожара Тимнаты; и было в этом деле то новое, что в первый раз за десять лет он коснулся филистимской женщины; правда, не по собственной воле, а так сложились обстоятельства.

Самсон чуждался всех филистимлянок без различия — и мужних жен, и блудниц; впрочем, и различие было невелико — оба сословия пользовались одинаковым почетом. Филистимляне называли блудницу словом древнего островного языка; в переделке на ханаанейский лад оно произносилось «пиллегеш» и в старину означало жрицу. Те из блудниц, у кого был хороший голос, и теперь пели по праздникам в храме наряду с дочерьми начальников города; в праздничном хороводе тоже блудницы и мужние жены плясали наравне и, встречаясь на улице, говорили между собой приветливо. Некоторые блудницы были очень богаты, владели землями, что замужним и вдовам не разрешалось, или давали деньги в рост. Некоторые славились умом и тонкостью обращения; те, что были похуже и победнее, содержали харчевни в городах и по дорогам.

Женщина, о которой будет речь, появилась в Газе недавно. Приятели Самсона по выпивкам очень ее хвалили: она долго жила в Египте и знала все искусства тамошней любви. Однажды на улице ее показали Самсону. Она была рыжая, напомнила ему Семадар, и его сердце сжалось. Как и все женщины, она благосклонно оглянулась на него: глаза у нее были тоже как у Семадар, зеленоватые.

— Ты ей понравился, — сказал один из его спутников, рассмеявшись.

— Таиш не любит наших красавиц, — ответил другой и рассказал первому, который этого не знал, случай с женой казначея в Аскалоне.

— Ваши слишком тоненькие, — отшутился Самсон, — они пьют уксус для стройности. — И в противовес он перечислил преимущества аввейских женщин, но повторить это нельзя.

Через несколько месяцев после того Самсон опять пришел в Газу, но не открыто, а к туземцам, то есть на разбой. В этот раз он натворил такое, что саран вышел из себя и приказал его изловить во что бы то ни стало.

Дело было так: незадолго до того произошел бунт среди туземцев. Филистимляне, дорожившие рабочей силой, всегда по возможности избегали того способа укрощения, который называется: утопить восстание в крови. Но они отобрали двенадцать коноводов и распяли их живьем на пригорке у большой дороги, близ самой Газы, и оставили их там издыхать под сильной стражей. А среди туземцев этих были трое, у которых Самсон часто прятался от облав.

Так они провисели на пригорке, пока не стемнело. Что произошло, когда стемнело, точно никто не знал; но позже ночью прибежали в Газу два солдата, оба раненные, с вестью, что все туземцы сняты с виселиц и на их месте повешены стражники с офицером посредине; спаслись только они двое; за ними тоже гнался Таиш до самой Газы, и они едва ускользнули от него по извилинам туземного предместья.

Это было чересчур. Еще до полуночи войско оцепило весь город и предместья. Даже простые горожане схватили мечи и присоединились к обходам; и начался повальный обыск во всех лачугах туземного квартала.

— Господин, — шепнул аввеец, у которого Самсон укрылся на ночь, — они идут сюда.

Это был зажиточный плотник, по имени Анкор; хижина его была просторнее других, и Самсона в его доме принимали всегда с божескими почестями. Но Самсон знал, что с бедняги живьем сдерут кожу, если застанут здесь хоть малый след его. Он влез на крышу, оттуда перелез на соседнюю и дальше. Когда обход приблизился, он соскочил прямо на голову факельщику, схватил горящий сук, сунул его кому-то в лицо, ударил кулаком влево, ногою вправо, прорвался и побежал. Стража неслась за ним. Из переулка в переулок он добрался до филистимского квартала; но здесь на каждом углу светились факелы, и при свете их он увидел, что солдат вооружили луками.

Он остановился в тени какого-то дома, соображая, что делать. Вдруг над ним послышался шепот:

— Самсон?

Он почему-то сразу догадался, кто это и что она не собирается его выдать. Он откликнулся. Через мгновение она открыла маленькую дверь, взяла его за руку и ввела к себе.

— Запри дверь, — шепнула она. — И делай все, что я велю.

Он пошел за нею по лесенке в верхний ярус дома. В небольшой комнате слабо светилась лампадка под синей кисеей. Мягко было ступать по полу, а посреди комнаты стояла большая квадратная постель.

— Молчи, — сказала женщина, выжидательно глядя в сторону окна. Она стояла спиной к лампе, лица не было видно, только рыжие волосы отливали золотом. Опять у Самсона сжалось сердце; на мгновение он забыл о Газе и вспомнил другую ночь и другую толпу врагов, много лет тому назад. Лево́й рукой она еще сжимала его руку, правой взялась за пряжку на левом плече, которая придерживала ее ночное платье.

Скоро на улице послышался гам и топот погони; отсвет факелов несколько разогнал в комнате полумрак. Комната была убрана богато; в потолке над кроватью было вделано медное зеркало.

Она толкнула его к постели. Он сел.

— Не так, — шепнула она.

Он хотел лечь.

— Не так, — шепнула она, указывая на его платье.

Он послушался, снял с себя все и лег.

Внизу раздался стук. Слышно было, как сбежала по лестнице служанка и с кем-то объяснялась у двери. Женщина быстро отстегнула свою пряжку, выступила из упавшей сорочки и легла на постель, обвившись вокруг Самсона так, что лица и плеч его не было видно.

Служанка подымалась по лестнице вверх. У входа в комнату качнулась занавеска, выглянуло лицо негритянки. Она всмотрелась, кивнула головой и опять побежала вниз.

— У госпожи моей гость, — сказала она. — Они спят; чего вы шумите?

Женщина встала и подошла, потягиваясь, к окну. Факелы, очевидно, хорошо осветили ее: на улице раздался приветственный хохот и восторженные отзывы о ее красоте. Кто-то, судя по голосу — из молодой знати, крикнул ей:

— Прости, что мы тебя разбудили, Далила; но мы ищем Таиша, того косматого данита; он добежал до этой улицы, и мы боялись, не ворвался ли он к тебе.

— Я для него недостаточно жирная, — сказала она, зевая.

Тот же голос ответил:

— О, это я знаю — и полк не загонит его в твою постель: он не то, что мы, которых и полк не удержит, если бы ты поманила. Мы боялись, не убил ли он тебя, чтобы спрятаться.

— Я живая, как видите, — сказала она, выгибаясь напоказ при свете факелов.

— Видим! — ответили они весело и хором.

— И ступайте; мне не до вас. — Тут она повернула голову к постели, как будто ее зовут назад, и сказала: — Иду, желанный.

Скоро стихло на улице; но ее руки сплелись вокруг шеи Самсона, и ему не хотелось их разнять. Волосы, щекотавшие его губы, отсвечивали тем же отливом, так же зеленовато мерцали глаза, как в те семь ночей в загородном доме Бергама; тот же аромат каких-то духов, то же шелковистое прикосновение.

— Почему ты спасла меня? — шепнул он.

— Захотелось. Ты мне нравишься, Самсон, — отозвалась она губами в губы.

— Меня все зовут Таиш.

— То все, а это я.

— Откуда ты знаешь мое имя?

— Все его знают. И я знаю. Все о тебе. Что ты разбойник, и пьяница, и шут у филистимлян, а у себя в племени судья, чьей улыбки никто не видел. И еще...

— Что?

— Ты взял когда-то жену филистимлянку, и она тебя обманула, и с тех пор тебе противны наши женщины.

Он промолчал; думал сказать: «Ты мне ее напоминаешь», — но сообразил, что женщины за это обижаются; и вообще он не хотел говорить о Семадар.

Она спросила:

— И я тебе тоже противна?

Вся она к нему прильнула; у него по спине бежали обжигающие токи. Он уже не знал, что говорит; он ответил как попало:

— Я тебя не знаю.

Она обвилась еще теснее и шепнула одно слово, и это была игра слов, которую лучше не переводить: «Даэни...»

Перед зарей, еще затемно, он ушел. Улицы были пусты, но на городской стене виднелись силуэты часовых с луками. Он пробрался дальше, выглянул из-за угла и увидел ворота. Там были факелы: у ворот стояла обычная стража, с мечами и копьями, даже не удвоенная. Газа полагалась на свои ворота, знаменитые во всей земле. Они были сделаны из толстого железа, а сверху украшены решеткой с острыми зубцами.

Хорошая мысль пришла в голову Самсону: самая удачная мысль за все годы его подвигов.

Начал он ее выполнение с обычного своего приема; из соседнего переулочка слышались крики мужчин, женщин и детей: «Держи его! На помощь! Стража!» Начальник караула у ворот бросился на шум со всеми солдатами, оставив на месте только часового. Вопли слышались все дальше, погоня бежала за ними. Когда Самсон решил, что достаточно далеко увел их от ворот, он перестал кричать и по другой дороге быстро вернулся обратно. Часовой стоял, прислушиваясь, и факел его освещал. Самсон пошарил в кошельке, вынул оттуда плоский камень, изогнулся и бросил. Даже не застонав, часовой свалился на землю.

Через минуту начальник караула, стоявший со своими солдатами где-то на углу, среди не одетых, заспанных горожан, которых он расспрашивал, что случилось, — и они его о том же, — вдруг услышал гулкий удар и треск со стороны Железных ворот. Они бросились обратно. Когда добежали, между огромными косяками была только черная дыра: ворота были сорваны с петель и исчезли, а часовой лежал на земле с разбитым черепом.

Начальник стражи не растерялся — в том смысле, что сейчас же сделал из положения совершенно правильный личный вывод: он вытащил свой меч, упер его рукоятью в камень и плотно ребрами налег на острие. По долгу службы ему следовало раньше поднять тревогу; но он очень торопился — ему не хотелось умереть под палками.

Сколько времени прошло, пока затрубили трубачи, пока прибежали свежие офицеры, пока вывели лошадей, — никто не считал. Между тем стало светать. Дорога, ведущая от ворот к холмам, была мощеная, следов не могло быть; но одно было ясно — даже Самсон не уйдет далеко с такой ношей. Его уже не поймать; но ворота вернуть необходимо.

Во все стороны понеслись конные отряды. К полудню они вернулись: ни ворот, ни Таиша, ни следа ноги его на песках.

У сарана собралось совещание.

— Надо обыскать туземные хутора, — предложил кто-то из советников.

— Зачем? — спросил саран.

— Может быть, в одном из них, под стогом сена, спрятаны наши ворота...

— Невозможно, — ответил войсковой начальник. — У самой дороги нет селений, справа и слева от нее поля; даже склоны холмов повсюду распаханы. Если бы Таиш свернул с каменной дороги на хутор с такою ношей, остался бы глубокий след. А следов нет. Кто унес ворота, унес их по мощеной дороге, никуда не свернув.

— Что же, — гневно сказал саран, — неужели взвалил человек на спину поклажу, которую с трудом волокли сюда четыре буйвола, и побежал с нею так быстро, что конные наши его не нагнали?

Все молчали, а войсковой начальник, пожав плечами, объяснил:

— На то он Таиш.

Вся Газа волновалась; изо всей тирании шел народ смотреть на дыру в городской стене. Одни бранились, другие, по филистимскому легкомыслию, смеялись сами над собою. Только туземцы не ходили глазеть на бывшие ворота, чтобы не напоминать о себе. Еще с вечера они ждали беды за то, что Самсон снял с виселицы распятых и повесил стражников. Теперь о них забыли, и они старались держаться подальше. Один за другим они подводили своих волов и ослов к водопою: это был прудок у дороги, шагах в пятистах от ворот, на полпути к холмам, что перед Газой; но ближе к городу не подходили. Видно было, что они встревожены: толкали и торопили животных, а те оступались и мутили воду в пруде до того, что она казалась желтою. Благодаря этой муте, никто не заметил того, что знали туземцы: на дне пруда, всего под тремя локтями воды, лежат железные ворота.

Ночью Самсон вышел из хутора, где его спрятали братья одного из туземцев, снятых им с виселицы. Не плеснув водой, он вытащил ворота из пруда, взвалил их на плечи и понес не спеша, от времени до времени отдыхая; сначала по мощеной дороге, потом холмами и полями; к утру он был уже в горах Иуды, близ Хевронской дороги. Там он спрятал свою добычу в пещере, дошел до Хеврона и сказал левитам; и потом целый месяц Нехуштан и ученики его тайно ковали клинки из ворот филистимской Газы.

Глава XXIV. ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ

Даже в земле Дана чувствовалось, что на этот раз Филистия не простит. К тому странному сочетанию вражды и терпимости, которое издавна установилось между филистимлянами и Самсоном, даниты привыкли: о каждой проделке его они говорили кто с восторгом, кто с порицанием, но без тревоги. На этот раз было иначе. Все как будто притихли и ждали бури.

Путники и торговцы передавали, что и в городах филистимлян с ними теперь обращаются не так, как прежде. Больше стало придирок на заставах, но главное — какая-то недобрая появилась сдержанность в обращении. Прежде, торгуясь из-за размера пошлины, с ними там шутили или бранились; теперь говорят мало, отрывисто и глядят куда-то мимо.

В доме Самсонова отца тоже отразилась эта подавленность. Маной, сильно уже одряхлевший, был молчаливее обыкновенного; Ацдельпони чаще прежнего уходила в божницу и даже за столом бормотала какие-то заговоры — впрочем, ее уже давно считали в Цоре помешанной и за то вдвое уважали. Сам Махбонай часто не находил, о чем говорить, когда семья была в сборе, хотя был он теперь не меньше словоохотлив, чем прежде. Он все еще состоял домоправителем у них, но вместе с тем уже давно числился в ряду важнейших граждан; божницу Ацдельпони он расширил и обстроил, и она теперь слыла чем-то вроде главного капища Цоры и всего округа; а в голосе левита всегда звучала важная внушительность.

От него — со слов левитов-коробейников, торговавших на юге, — Самсон узнал, что еще больше тревоги в земле Иуды. Его все-таки проследили: кто-то видел на рассвете великана с чудовищной ношей на дороге, ведущей в Хеврон. Открылись и прежние тайны. На морском берегу, день пути к югу от Газы, нашли разбитый корабль, поймали одного из гребцов, он выдал — этот след опять вел от Самсона к земле Иуды, и опять это было железо, тайна и залог филистимской мощи. А теперь к ущербу и опасности еще прибавилось издевательство. Уже остряки, чтобы назвать человека обжорой, говорят ему: пасть у тебя настезь — словно Железные ворота! Но это еще не страшно, это свои; а скоро басня дойдет до Египта и Сидона; стыдно будет смотреть в глаза и туземцу, и путнику...

Очень встревожился тогда Иуда. Старосты благоразумного колена давно косились на опасную торговлю железом, но не хотели ссориться со своей молодежью. А теперь — рассказывали

коробейники — молодежь сама оробела, и старейшины чуть не каждый день совещаются. Больше всего пугает их то, что филистимляне еще не прислали обычного при всякой ссоре посольства. В Иудее говорят, будто состоялось уже два съезда всех пяти саранов, один в самой Газе, второй в Экроне...

Самсон кивнул головою.

— Загорается, загорается, — сказал он.

И ему вспомнилась Чертова пещера, где он когда-то, десять лет тому назад, пытался доказать Иуде, что юношеская ссора его с вельможами Тимнаты была только предвестием неизбежной войны между Кафтором и всеми коленами. Иуда не поверил; Иуда сказал: хватит покоя на мой век. Хватит ли?

Так минуло около месяца; и однажды ночью пришла к Самсону негритянка, поклонилась в ноги по-заграничному и зашептала:

— Далила, госпожа моя, у которой ты провел ту ночь, когда случилось несчастье с воротами Газы, шлет привет. Госпожа моя стосковалась по тебе и покинула столицу тайно, и шатер ее теперь стоит в уединенной местности, в долине Сорека, у поворота сухого ручья.

Самсон посмотрел на нее пристально и ответил:

— Переночуй.

Сам он долго не мог заснуть в ту ночь. Ему пришло в голову, что то могла быть приманка и засада, но не это мешало ему спать. Он почти забыл о Далиле; вдруг теперь весь жар того странного часа воскрес в его памяти. Оттого ли, что ее ласка была не похожа ни на коровью покорность, ни на визгливую жадность туземных его наложниц, оттого ли, что глаза и волосы ее и что-то еще, может быть, общее всем филистимлянкам, напомнили ему те семь ночей в Тимнате, но и его потянуло к этой женщине. Засада? Немыслимо — ведь она сама спасла его; да и не боялся он засад.

— Передай, что приду, — сказал он утром эфиопке.

* * *

На третий день он пошел один в долину Сорека. У сухого русла стоял большой шатер, какого он никогда не видал, с окнами, закрытыми кисеей, и с цветными занавесками у входа. Там провел Самсон семь дней и семь ночей, почти не выходя из палатки. Три недели тишины и счастья дала Самсону жизнь — одну в Тимнате, одну в оазисе Элиона рехавита и последнюю здесь.

Женщины не были редкостью в жизни Самсона. В стране своего назорейства он, правда, чуждался и этого опьянения; но в Филистии дочери, сестры и жены туземцев ждали только его знака, и это были часто женщины из красивейших рас Хаанаана. Он привык считать себя пресыщенным. Только теперь он понял, до чего изголодался. Он любил пить из кованого кубка, не из глиняной плошки, хотя бы тот же напиток; потому и тянуло его к быту филистимлян. Но в этой, «женской» полосе его жизни была до сих пор только плошка. Тонкий серебряный кубок была Семадар; и Эдна была тихим родником без пылинки, в чаше из Божьего хрусталя; но то было давно. С тех пор все подруги его ночей, бесчисленные и безымянные, были рабыни из десяти поколений рабов; за перегородкой его брачного чертога в дождливую ночь храпел осел, в летнюю — родной брат того осла, отец или муж его наложницы. Еще в Этамских утехах Самсон запретил своим думам возвращаться к Семадар; он сдержал запрет и научил себя тешиться без сравнений. Но, бессознательно, душа его изголодалась.

Далила сама, по-видимому, была из непростого дома где-то в Филистии; уже и в те времена не принято было спрашивать блудницу об отчестве, но ее порода бросалась в глаза. Много лет она прожила в Но и Мофе — Фивах и Мемфисе — у людей, перед которыми даже филистимляне были полудикарями. Она была умна, умела слушать и учиться и умела передавать. С ней опять он жил среди колонн и статуй; любил ее не только под шелком и парчой, но как будто и среди мрамора дворцов, о которых она рассказывала.

Она была очень красива; ей вряд ли было много больше двадцати двух или трех лет — высший расцвет созревания женщин ее племени. Первое впечатление сходства ее с Семадар, когда Самсон привык, исчезло: Далила была много прекраснее, и внутренне глубже, и особенно совсем иная в любви. Семадар шалила и играла, Эдна радостно покорялась; эта — владела и сжигала.

И она была несказанно изящна и нарядна. Каждое утро наемный туземец приносил ей издалека мех воды для ее купаний, и часами после того негритянка ее растирала, натирала, раскрашивала, причесывала, иногда одевала, иногда оставляла неодетой. Самсон сидел на полу и смотрел. В первый раз он хотел уйти, чтобы не стеснять ее; но она рассмеялась и спросила: почему? До тех пор он думал, что обряды, при помощи которых освежает и украшает себя человек, сами по себе обидны для гла-

за и совершать их надо украдкой. Теперь он увидел, что есть и такая высота утонченности, где каждая ступень к красоте по-своему красива.

Масти для своего туалета Далила готовила сама. У нее были разноцветные дорогие баночки с пахучими порошками, маслами, каплями; она их замысловато смешивала, терла, встряхивала, процеживала, а Самсон глядел.

— Это яд, и это, — говорила она, указывая на разные крошечные сосуды. — Я ученая: умею сделать отраву, и сонное зелье, и любовный напиток. Берегись, не трогай!

Самсон покачал головой.

— Меня зелья не берут, — ответил он просто; и это была правда. В жилах его бежала кровь небывалой чистоты и крепости. Никогда не удалось никому напоить его допьяна. Если бы не лень говорить о себе, он мог бы рассказать ей, как дважды его ужалила змея-медянка, но от укуса не осталось даже опухоли. В Асдоте скупая хозяйка харчевни однажды накормила гостей тухлою рыбой, приправленной так вкусно, что никто не заметил: шестеро умерли после этого пира, но Таиш, хотя съел больше всех, даже на час не занемог.

* * *

— А царя их ты видела? — спросил он однажды.

Она царя не видала. Во время шествий фараона носили по улицам в занавешенных носилках, а во дворец имели доступ только знатные люди. Во всем Мемфисе было, верно, не больше ста человек, которые видели фараона лицом к лицу. Но из этих ста вельмож многих она знала.

— Когда подвыпьют, — сказала она, смеясь, — они любят шепотом издеваться над фараоном и говорят, что он — самый глупый мальчишка во всей долине Иора.

— Кто же правит страной? — допытывался назорей.

Далила задумалась. Она точно не знала, кто правит. Однажды видела там она войско; полдня просидела у окна, глядя, как проходит по улице полк за полком — пешие, всадники на конях и на мулах, всадники на верблюдах, колесницы и снова пешие; полдня просидела, но конца полкам не дождалась. Впереди, однако, ехали в золоченой броне полководцы — они, должно быть, и правят страной?

Самсон покачал головою: нет, не полководцы. Они уходят на войну — не могут они управлять.

Далила также видела жрецов. Они живут монастырями; в монастырях много великолепия, но у каждого священника бедная голая келья и жесткая постель, и едят они мало. Самые мудрые из них часто ездят во дворец на совет; те, что еще мудрее, даже во дворец не ходят — днем они спят, а ночью смотрят на звезды и записывают по ним судьбу Египта. Может быть, они-то и правят? Старшие жрецы, и воеводы, и начальники городов — словом, все, кто собирается на совет во двореце? Ибо все это — люди важные и могучие: когда они проезжают по улицам, вокруг стоят толпы народа; а когда ведут из них очередного кого-нибудь казнить, то на площади и с бичом в руке протолкаться нельзя.

Самсон покачал головою:

— Кого можно казнить, тот не правит.

И еще видела Далила, как они в Египте строят дворцы и царские могилы. Об этом Самсон охотнее всего слушал — это, верно, было еще лучше той пляски на храмовой площади Газы: как тысячи рабов волочат огромные скалы из глубины пустыни, по несколько шагов в день, и так каждый день, и много лет подряд; как привозят на судах железные цепи с запада, канаты с севера, балки из Ливана, и в Мемфисе мастера скрепляют это все в подъемные машины; а в это время другие тысячи рабов делают сотни других работ, десятники хлещут их плетью, верховые надсмотрщики скачут от одной работы к другой — иногда час пути и больше, и потом, через много месяцев и лет, вырастает громадное здание, где каждый столб и каждая ступень знает свое место — как будто выстроил один человек...

— Один человек и выстроил, — сказал Самсон с глубоким убеждением. — Один человек правит.

— Какой человек?

— Фараон, царь Египта.

* * *

— Да ведь он дитя, и к тому же глупое?

— Фараон правит, — повторил Самсон упорно, и при этой вере остался.

Самсон говорил редко, больше слушал ее или просто сидел у ее ног и думал. Несколько раз, в первые дни, она его спрашивала, то смеясь, то даже с тревогою:

— О чем замечтался?

Он отвечал не сразу, и видно было, что ему трудно вспомнить, о чем он только что думал. Раз он даже спросил, просто душно глядя ей в лицо:

— Разве знает человек, что в нем за мысли?

Она была умна: больше не спрашивала. Только в ночь после той беседы она шепнула ему на ухо упрек:

— Ты назорей — даже у меня на груди тебе нужно твое одиночество...

Вслух она перестала выпрашивать, но Самсон знал, что она допытывается молча, и не любил этого — когда замечал. У него — наряду с умением, когда надо, читать невысказанное — была и обратная, счастливая способность человека, привыкшего к успеху и власти: не замечать.

* * *

Далила была очень умна, тонкого ума и чутья. Она ни разу не спросила его, как спрашивают женщины обычно: любишь? Но зато она призналась ему однажды:

— Я тебя ревную.

Это было в день, когда пришел к нему Нехуштан, проведать и рассказать о том, что нет новостей. Далила смотрела на юношу исподлобья, словно маленькая девочка, когда она дуется. После его ухода она сказала:

— Ненавижу его...

— За что?

— Он говорит с тобой о делах, которых я не знаю.

Тогда она и созналась, что ревнует его:

— Так ревную, что спать иногда не могу.

Самсон удивился:

— К кому? К туземным девушкам?

— Что мне за дело до них? — ответила она презрительно. — Ты ведь и имен их не помнишь. Это все равно, что моя негритянка: забавляйся, если хочешь.

— А тогда к кому же ревнуешь?

Она стала шептать ему на ухо: к отцу твоему — ты его любишь. И к матери — она тебе чужая, но она когда-то носила тебя на руках и видела, как из ребенка выросла богатырь. И ко всему Дану...

Тут она остановилась, стараясь найти слова, и прибавила еще тише:

— Они тоже тебе чужие — но зато на них ты сердиться, а на меня никогда... Сладок твой гнев и удар, Самсон!

— Ты откуда знаешь?

Она засмеялась и обвила вокруг него крепче:

— Догадываюсь...

— И еще, — шептала она после, — я тебя ревную к нашим филистимлянам: ты жить без них не можешь. И вообще к обеим твоим жизням, судьи и разбойника. А горше всего...

Она сама себя прервала, и долго пришлось Самсону допрашивать, пока она сказала, запинаясь:

— ...Горше всего — к тому... к чему-то, чего я не знаю, о чем ты не говоришь... с чего началась твоя двойная жизнь — десять лет тому назад.

Он покачал головою и тихо отстранил ее. Она смутилась и оробела; взяла лютню и стала играть, напевая без слов, с закрытыми губами. Самсон молчал и смотрел перед собою на короткий закат, а потом оглянулся на нее и залюбовался. Ничего на ней не было, даже колец и запястьев — все ей мешало, когда она любила его; даже волосы она взбивала тогда высоко над головою, чтобы отдать ему шею, лоб, уши. Но теперь, когда она склонилась над лютней, красновато-золотой ворох шелковой пыли, окровавленный заходящим солнцем, заслонял ее поникшее лицо. Долго смотрел на нее Самсон, не мигая; вдруг она бросила лютню на ковер и сказала досадливо:

— Ты так на меня глядишь, будто я тебе кого-то напоминаю...

Самсон встрепенулся и ответил:

— Соловья.

Недаром он жил с филистимлянами, которые умели говорить любезно. Но она передернула плечами и отвернулась.

Так прошло время, сумерки совсем посинели, и опять она пришла к нему и спряталась на косматой груди его.

— Расскажи мне, — попросила она, дрожа и так тихо, что он едва разобрал, — расскажи мне о твоей жене из Тимнаты... какая она была?

Не шевельнувшись, одним напряжением мускулов, вдруг окаменевших, он столкнул ее со своих колен и сказал чужим голосом, коротко и грубо:

— Обгорелая, с перерезанным горлом.

Больше она этого не делала, и других размолвок у них не было, и третью неделю счастья в жизни Самсона ничто не омрачало.

Глава XXV. О НУЖНОМ И НЕНУЖНОМ

На восьмое утро опять пришел Нехуштан. Было это на заре; Самсон еще спал, но Далила встала рано и вышла поглядеть на облака. Еще далеко было до начала дождей, но по утрам бывало прохладно; Далила сидела на крутом берегу сухого русла, кутаясь в широкий мягкий плащ из верблюжьей шерсти. Она увидела Нехуштана издали, сделала гримасу, но решила ради Самсона принять его приветливо.

— Спит, — шепнула она, — посиди со мною; негритянка принесет тебе козьего молока.

Ей хотелось спросить его о новостях — лицо у него было озабоченное, — но она чутьем поняла, что ей он ничего не скажет. Пока он пил, макая сухари в чашку, она его разглядывала. Он был ее лет или немногим старше, не очень высок ростом, но тонкий и упругий; хорошее открытое лицо, с глазами непривычного серого цвета, с редкой темно-русой бородою; даже несмотря на встревоженную морщину поперек его лба, видно было, что он охотно улыбается.

— Есть у тебя жена или невеста? — спросила она.

— Нет, — сказал он, засмеявшись, — я ведь юнак у Самсона; разве можно творить его приказы с поклажей на спине?

Она проговорила, пожимая плечами:

— Но ведь и сам ты живой. В чем твоя жизнь, твоя собственная?

Он кончил завтрак, осторожно поставил чашку на землю и учтиво поблагодарил, а потом ответил:

— Моя жизнь? Я с Самсоном.

— Разве Самсон не уходит один, без тебя, на долгие дни и недели?

— Уходит; тогда я жду его или делаю, что он велел; а потом он приходит обратно.

— Крепко ты его любишь, — проговорила она.

Нехуштан покачал головою.

— «Любишь», — повторил он, проверяя и взвешивая это слово. — Это не так. Разве он брат мне или приятель? Он мой господин.

Он произнес «господин» как-то по-особенному, точно это было самое главное слово на всех языках человеческих; и Далилу вдруг почему-то взяла на него ревнивая злоба. Ей захотелось уколоть его. Она сказала:

— Я думала, что только у пса есть господин или у раба из туземцев.

Он не обиделся: посмотрел на нее внимательно, потом задумался, стараясь что-то сообразить, и ответил:

— «Пес» у людей бранное слово. А по-моему, самый свободный зверь на свете — собака. — Видно было, что ему трудно все это объяснить, но он попытался: — В детстве я был пастухом, знаю животных — и стадо, и зверя, и хищную птицу. Все они как наш туземец: ничего нет у них на душе, кроме заботы. Куда летит орел, куда крадется пантера? Не туда, куда хочется, а туда, где лежит добыча. Вся хитрость их и вся отвага — только для этого. А у собаки нет заботы — еду швыряет ей пастух, и думает за нее пастух, и посылает ее пастух...

— Разве это — свобода?

Он кивнул головой с большой уверенностью:

— Кто свободен? Тот, кто может делать вещи, в которых нет нужды. Собака может: она прыгает, как малое дитя, она кладет лапы мне на плечи, и воет на луну, и защищает овцу и меня, даже до смерти. Орел может делать только то, что ему нужно, потому что у него забота, а у пса ее нет. — И он опять улыбнулся ей, совсем беззлобно и приветливо: — Ты права, госпожа, я — как пес: пастух забрал себе мою заботу, и ему трудно, а я скачу на свободе.

Далила смотрела на него исподлобья и проговорила, почти про себя:

— Все они, видно, ищут фараона...

Он не расслышал или не понял, кроме слова «все», и на это слово отозвался:

— Все не все, но таких, как я, много у нас, и в земле Дана, и в земле Иуды, сердце их в груди у Самсона. Если бы он только захотел их созвать!..

— Что тогда?

— Повел бы, куда угодно.

— А если бы завел в беду и погибель?

— Это все равно. Не наше дело думать. Он бы за нас думал. Заблудился — значит, так надо. — Он тряхнул головой и закончил: — Но не позовет их Самсон. Самсон не любит людей.

— Ни мужчин, ни женщин? — спросила она, глядя на него исподлобья.

Он смутился и ответил уклончиво:

— Я не о том говорю...

Оба они долго молчали. Потом она спросила поддельно-звонким голосом:

— Разве не любил он ту женщину из Тимнаты?

— Не знаю... Это было давно.

— Но ведь ты уже тогда служил ему — разве не помнишь?

«Она знает обо мне — Самсон ей обо мне рассказывал», — подумал Нехуштан, и это ему польстило. Но в то же время ему вдруг почему-то стало тяжело и душно: такое чувство, как будто ночью, в лесу, из-за куста глядят на него украдкой ядовитые чьи-то глаза.

— Расскажи мне, что было в Тимнате, — проговорила она вкрадчиво; легла ничком, протянувшись к нему, подперла голову прекрасными своими руками и старалась встретить его взгляд. — Что там случилось? Я слышала давным-давно — о пожаре; и что та женщина его бросила; или тесть обманул; или лучший друг изменил — но точно не знаю.

— Все это неправда, — ответил Нехуштан с ненавистью. — Ни та женщина, ни друг, ни старый тесть не виноваты. Был там змееныш, дочка аввейской рабыни: это она всех ослепила и погубила. Зато и была ей расплата!

Он это выговорил с дикой и грубой радостью; Далила смотрела на него и ждала.

— Нам потом рассказали: до зари тешились над нею рабы и туземцы; а когда надоело — распороли ей живот, взяли за руки и за ноги, раскачали и швырнули в огонь.

Далила молчала.

— А того Ахтура, это и был прежде друг его, — продолжал Нехуштан, — его Самсон повалил на землю, присел над ним и зажал ему голову между коленями, пока не затрещало и не брызнуло — только не сразу...

* * *

Потом Самсон проснулся, и Нехуштан рассказал ему свои новости. Пришли послы от Иуды, в тревоге и великом озлоблении. Они рассказали, что наконец прибыло в Хеврон филистимское посольство — не от Экрона, как обычно, а от имени всех пяти саранов; и за посольством будто бы вторглось в пределы Иуды филистимское войско и грозит разорить все колена, если Иуда — именно Иуда — не выдаст им Самсона.

Самсон простодушно удивился:

— Как так выдать? Меня?

Нехуштан объяснил, с улыбкой, как говорят о замысле ребяческом и несбыточном:

— Живым или мертвым. Если живым, то в связанном виде; и ремней должно быть столько-то, из сыромятной кожи.

Потом он рассказал дальше: по требованию иудейских послов, ушли гонцы во все стороны Дана звать старейшин на сходку, а ему, Нехуштану, велено разыскать Самсона. А пока — послы ходят по Цоре и повторяют свои разговоры с филистимлянами. Вот несколько отрывков:

— Разве он наш? — отпирались старейшины Хеврона. — Он данит, требуйте его у Дана.

А филистимляне отвечали:

— Не то важно, откуда вышел вор, а важно, куда он унес добычу.

— Как мы можем связать его? — говорили старейшины Иуды. — Он нас перебьет.

Но филистимляне потеряли терпение и сказали:

— Хуже будет, если перебьет вас наше войско.

Тогда старосты попросили время на размышление и послали троих от себя в Цору.

— Кто они? — спросил Самсон.

— Иорам бен-Калев из Текоа...

— Знаю, — сказал Самсон. — Хороший человек.

— Цидкия бен-Перахья из Хеврона...

— Старая змея, — сказал Самсон, — отец ростовщиков Ханаана, голова над скупщиками краденого. Это он дал левитам деньги снарядить караван в Вирсавию для моего корабельного груза.

— И Дишон бен-Ахицур из Вифлеема.

— Он плюется, когда говорит, — сказал Самсон, — мало зубов, а злобы много. Есть у меня друзья в Вифлееме, хорошие юноши, мечтают забрать Иевус; и у них поговорка: пошлем к иевуситам Дишона — он заговорит, они подумают «баня!» и разбегутся. Ладно, ступай домой, скажи: завтра в полдень приду.

Нехуштан поднялся, но видно было, что он колеблется.

— Стоит ли тебе, Самсон, идти к ним в Цору? — спросил он тихо, не глядя.

Самсон взял его за подбородок и посмотрел ему, смеясь, прямо в глаза.

— А что, — спросил он, — или уже нарезаны сыромятные ремни?

Нехуштан покачал головою:

— Не даст ремней на это Дан — скорее сдерет их со спин иудейского посольства. Но, может быть, лучше будет для всех, если Дан просто скажет: нет Самсона, ушел.

— Не хочу, — сказал Самсон решительно. — Полно Дану почивать на пуховике: пусть учится ответ держать.

В тот вечер была у Самсона и Далилы долгая беседа, необычная тем, что больше говорил он, а она слушала; и хотя беседа сама по себе была незначительна, она оказалась важной впоследствии.

— Странная природа человечья, — говорила она. — Вот уже скоро год, как я вернулась в Газу. С первого дня стали они мне рассказывать о твоих набеггах; и всегда весело, без злобы, точно хвастая тобою. Не гневались по-настоящему ни за разбой, ни за обман, ни за убитых. А теперь вскипели. Ведь ворота можно поставить новые, а убитого не воскресишь. Странно...

В этот день она оделась как египтянка: открытые плечи, руки, ноги до колен; и на груди у нее висел на цепочке резной овальный аметист в форме большого жука. Филистимляне, по созвучию с каким-то египетским словом, называли его «кафтор».

Он вдруг протянул руку и отстегнул цепочку.

— Так лучше, — сказал он.

— Разве? — спросила она; взяла медное зеркальце, посмотрелась, сделала гримасу и сказала: — Глупый. Идиними все или отдай мой камень. Это платье иначе не носят.

Самсон вернул ей ожерелье, а потом пояснил:

— Это я нарочно, чтобы ты поняла. Видишь: малая вещь, а без нее тебе даже со мною неловко.

— Ничего ты не смыслишь, — сказала она с искренним возмущением. — Все люди знают, что к египетской одежде полагается кафтор.

— И все люди знают, что во рту полагаются зубы, а в стене ворота. У того посла от Иуды, может быть, и красивое лицо, но это я не помню, а помню только то, что у него спереди нет зуба.

Он задумался и вдруг рассмеялся, вспомнив одну свою забавную месть. Давным-давно когда-то понадобилось ему проучить молодых дворян из Вениамина, которые повадились соблазнять девушек из пограничных селений Дана. Он их поймал, но не велел ни бить, ни калечить: только сбрил им бороды — и урока этого не забыл Вениамин и по сей день. Да и Самсон не забыл этой картины: он ей в лицах изобразил, как они стояли после стрижки оцепенелые, все еще не веря, что взаправду стряслась такая беда, и дрожащими руками шарили у себя на голых подбородках.

И, думая вслух, он рассказал ей о разных народах. Жены иевуситов ходят почти голые, только в передничке и с повязкой на голове. Но передником не дорожат: если украдут каравай

хлеба, завернут его в передник и спокойно пойдут по большой дороге. А зато если упадет повязка — это срам, женщина нечиста. В Этамских утесах он видел черных невольников из страны, что за Египтом, купцы гнали их в Индию продавать: в носу у них были кольца, иногда золотые. Самсон спросил у купцов: волю вы у них отняли, а золотые кольца оставили? А купцы ответили: отними свободу — он тебе покорен; вырви кольцо — ляжет на песок и умрет под бичами.

— Таков, видно, человек, — заключил он раздумчиво, — важно ему не то, что нужно, а то, что выставлено всем напоказ. Далила рассмеялась и захопала в ладоши.

— И юнак твой Нехуштан, — сказала она, — обучал меня сегодня на рассвете науке, похожей на твою: что нужно, то не нужно... впрочем, я уже забыла. Мудрые вы стали, даниты, не хуже Мемфиса — там тоже любили мои гости толковать о том, что вода сухая, а земля вертится вокруг солнца. Но они при этом не морщили лба!

И, чтобы закрыть наморщенный лоб, она устроила ему прическу, то есть надвинула его космы чубом до самых бровей и закрепила золотым обручем; а он покорно сидел и улыбался.

Утром он ушел в Цору. Она топала ногами и плакала — ей не хотелось отпускать его.

— Поклянись, что завтра вернешься.

— Завтра не завтра, — сказал он, — но вернусь.

Ему самому неохота была идти. Никогда еще не подходил он к своей границе с таким отвращением. Опять нахмуренные лица, забота, глубокомысленные старосты, крикливая толпа... Очень устал от них, изголодался назорей Самсон, и слишком хорошо было ему в ту последнюю неделю, в шатре за поворотом сухого ручья.

Глава XXVI. БЕЗЗУБЫЙ

Его ждали у ворот. Еще за версту до Цоры высматривали его добровольцы-ребятишки и, завидя, пускались во весь опор назад — оповестить сборище; а некоторые остались и пошли за ним, держась подальше и тихо переговариваясь.

Сходка была большая: спешные гонцы созвали старшин изо всех главных поселений, как в тот день, много лет назад, когда решено было послать ходоков на север и Самсон стал у Дана судьей. Были среди старост и прежние, и новые лица; был тут и древний Шелах, сын Иувала, начальник Шаалаввима,

совсем уже скрюченный старостью, но с теми же хитрыми глазами; были и пророки из окрестных пещер — те же или другие, никто их не помнил в лицо. Три посла от Иуды сидели на особой скамье, за ними стояла большая вооруженная свита. Среди старшин Цоры был Маной, а левит Махбонай, слегка переваливаясь, ходил от человека к человеку, о чем-то расспрашивал и что-то доказывал.

Самсон вышел прямо на середину круга. Сидевшие поднялись в молчании. Он ни с кем не поздоровался, только глазами встретился с отцом — у того был усталый вид глубокого старца — и с Иорамом из Текоа, с которым виделся когда-то в Чертовой пещере.

— Что надо? — спросил Самсон.

Никто ему не ответил. Три посла смотрели в землю, остальные на них. Махбонай, крикнув, сказал:

— Не лучше ли было бы сначала братьям нашим из колена Иуды поговорить с судьейю наедине...

Самсон его прервал:

— Пусть говорят здесь.

Люди стали опять усаживаться с шопотом и шумом; только Иорам бен-Калев из Текоа не сел. Он тоже сдал и поседел за эти годы, и, кроме того, сегодня на лице его лежала тяжелая неловкость и гнула его голову книзу. Тем не менее, он сказал свои слова громко, ясно, без колебаний и запинок. Филистимское посольство пришло с полком стражи, чего никогда не бывало; целый военный стан разбили они чуть не у самых ворот Хеврона. Но на равнине, близ границы, собирается настоящее войско из всех пяти тираний; командует им сын экронского сарана, а племянник того же сарана, Ахиш по прозвищу Бритва, стоит во главе послов и того полка, что пришел с послами. Человек он свирепый и ненасытный...

— Знаю Бритву, — прервал Самсон, — говори про дело.

С этим Ахишем он часто играл в кости: тот, когда выиграет пригоршню серебра, кричит восторженно: «Обрил!», — и руки у него трясутся от жадности; когда проиграет, лицо его черно от скупой досады. Зато был он лучший наездник на всем побережье, и кони его славились даже в Египте.

Бен-Калев продолжал. Дело обстояло именно так, как передал Нехуштан: или выдаст им Иуда Самсона, или филистимское войско пройдет потопом по всей Иудее от Вифлеема до Эн-Геди. Никакие отговорки не будут приняты.

Посол остановился, ожидая слова Самсона. Самсон молчал и глядел на него, глазами спрашивая: дальше?

Иорам тяжело вздохнул и заговорил дальше. Было у них, старейшин Иуды, ночное совещание. Говорили долго и разное, но важен вывод: Иуда не может воевать с Филистией. Даже без колесниц, которые в горах неприменимы, у врага есть кони, много железа и обученные солдаты. Иуда может сделать одно: бросить города свои на разграбление, засыпать источники и колодцы и разбежаться по ущельям — жить отныне, как живут иевуситы. Но на это Иуда не согласен. И вот — пришел Иуда к Дану за советом: что делать?

Он сел; собрание перевело глаза на Самсона, но Самсон молчал; он низко нахмурил брови, и глаз его не было видно. Постепенно вокруг поднялся подавленный шепот. Потом нерешительно выступил из круга некто Хермеш, цоранин, человек еще молодой — когда-то он был у Самсона среди «шакалов». Он спросил:

— Я все же не понимаю, почему грозят они Иуде, а не Дану?

Бен-Калев развел руками и ничего не ответил. Но старый Шелах из Шаалаввима забормотал что-то на ухо сыну, стоявшему по правую руку его, и тот, выслушав, сказал:

— Отец мой говорит: филистимляне хорошо рассчитали. Зачем им самим воевать с Даном? Пусть лучше воюет с Даном брат наш Иуда.

По толпе сначала пробежал смех, потом тревожный ропот, потом ропот гневный. Три посла молчали, опустив глаза, с непроницаемыми лицами. Хермеш подошел к ним ближе и спросил в упор:

— Говори прямо: если мы не выдадим судью, вы пойдете войной на нас?

Стало очень тихо. Вдруг Дишон бен-Ахицур, посол из Вифлеема, поднял голову, уткнулся лицом в лицо Хермеша и закричал, обрызгивая его слюною:

— Дурак! Уже если нам воевать по вашей вине, то, конечно, не с Пятью городами!

Остальные двое молчали. Цидкия бен-Перахья, посол из Хеврона, зажмурил глаза и жевал тонкими губами на лисьем лице; Иорам из Текоа стиснул зубы и побагровел от стыда — но молчал.

Сходка загрохотала; со всех сторон неслась брань — круг, посреди которого сидели послы Иуды, стал вдруг суживаться, иудейская свита тревожно зашевелилась — но Самсон остановил это резким окриком:

— По местам!

Только Хермеш остался перед послами, и теперь можно было разобрать, что он им кричит. Он кричал, тряся кулаком:

— Если бы вы не были псами, то сказали бы нам: вооружайтесь, будем вместе воевать, позовем на помощь другие колена...

— Не пойдут колена, — ответил бен-Калев, — и лучше всех знает это сам судья. А ваша помощь нам не помощь. Против медведя все равно — что один ребенок, что два.

— Или полтора, — пробормотал Дишон, и все его услышали. Но прежде, чем разразилась новая вспышка гнева за эту обиду, он вскочил и закричал на Самсона: — Ты, господин судья, ты чего стоишь, как куча навоза на поле, и ничего не скажешь? О тебе речь, не об этих дровосеках и водоносах — только о тебе.

Самсон усмехнулся:

— Хорошо ты меня знаешь, бен-Ахицур, — проронил он, — я посла не трону: ругайся.

В эту минуту нашел необходимым вмешаться Махбонай. Заговорил негромко, но сразу все замолчали. Большой был теперь человек Махбонай бен-Шуни, почитаемый у Дана и даже у соседних колен.

— Жаль, — начал он плавным и рыхлым своим голосом, — жаль, что не принял судья моего доброго совета поговорить обо всем наедине. Но раз уже мы беседуем на сходке, то надо беседовать спокойно, как подобает великим старшинам. И вот что хочу я выяснить: почему так уверены послы филистимлян, посетившие ваш город, будто мы, даниты, можем всегда разыскать Самсона? Разве он прикован к Цоре и Дану? Разве не мог он уйти от нас — уйти на север, где живут наши новоселы вокруг Лаиша, или к Вениамину, к Ефрему, в Галаад — мало ли куда?

Его слушали внимательно. Кто-то в толпе зашипел: «сссс...», — как будто призывая к новой и разумной мысли; и многие, подняв брови, приставили пальцы ко лбу и закивали головами.

— Был уже такой случай, — продолжал левит, — давно это было, когда после дела в Тимнате пришли к нам послы от Экрона; но мы им объяснили, что Самсон ушел в пустыню, и они удовлетворились (он замялся, вспомнив о коже, содранной с Гуша и Ягира) — удовлетворились малой данью и ушли. Кто из нас может удержать Самсона, если бы он и теперь захотел уйти?

Встал опять Иорам бен-Калев.

— Тяжело мне вести с вами эту торговлю, — сказал он усталым голосом. — Будем говорить напрямик: ты, бен-Шуни, предлагаешь судье бежать из земли Дана. У нас в Хевроне много левитов, и есть среди них такие же мудрые, как и ты, бен-Шуни. Мысль эта первая пришла нам в голову, и мы сразу так и сказали Ахишу, племяннику сарана: уйдет Самсон, кто за ним угонится? И ответил нам Ахиш точными твоими словами, бен-Шуни: «Раз уж так было, что он ушел. А потом? Потом он вернулся, и с тех пор не стало покоя на равнине. Где теперь Самсон — это ваше дело, не наше; вы его ищите, вы приведите — а не приведете, погиб Иуда». Так ответил Ахиш, и так будет.

Махбонай молчал, глядя бороду; молчала и вся толпа, и никто не глядел на соседа. Из угла, где столпилась шайка пророков, послышался чей-то возглас: «Собака!» — неизвестно в кого брошенный, но продолжения не было.

— Отец хочет говорить, — сказал сын Шелаха, старосты шаалаввимского.

Шелаха слышали только ближайšie к его месту, но и среди остальных была тишина, пока он говорил. Самсон повернулся к нему и смотрел на старика пристально, сначала просто с любопытством, потом с удивлением. Вот что прошамкал Шелах, сын Иувала:

— Лжец и вор денной Вениамин, чванная блудница Ефрем; но хуже всех Иуда. Сам он не грабит, не охотится: как вороненок, сидит он в высоком гнезде, разевая клюв, и ждет, пока принесут ему кусок падали; вкусно поест, насытится — а сам не в ответе: это падаль, я никого не убил. По всем коленам торгует Хеврон медью и железом; за клинок отдай ему полвеса серебра, за копейный наконечник — столько пшеницы, сколько может унести верблюд; вон тот бен-Перахья, посол, который молчит, уже сколько зарыл у себя на дворе кувшинов золота — выручку от этого, не от иного промысла! В каждом селении Иуды стучит теперь кузнечный молоток; молодежь его учится лязгать мечами; скоро будет Иуда могуч — но того человека, что принес ему эту силу, Иуда готов отдать на потеху филистимлянам; и клинками, добытыми отвагою Дана, грозит Иуда разорить землю Данову, если Дан не пойдет на последнюю низость.

Двое из послов, Иорам и Дишон, вскочили — первый побавровел еще гуще, второй обливался слюною, но прервать старика не посмели, заметив, как грозно обернулась на них толпа. Бен-Перахья не шевельнулся, только приоткрыл один глаз и скосил его на Шелаха.

— Прогони их, Самсон, — шамкал дальше бен-Иувал, — не следует юношам нашим слышать их речи. Не выдадим мы тебя. Часто мы тебя огорчали, и часто ты нас, и обычай твой странный; но ты нам дал покой и защиту, ты нам дал новую землю на севере, ты... Пусть идет войной на нас Иуда, хоть у него больше тысяч, чем у нас сотен; пусть идут на нас хоть сами сараны — Дан не ворона. Дан с тобою, Самсон.

Но этого конца его речи уже и близкие не слышали из-за восторженного вопля всей толпы. Понявшие, старики, молодые, ребятишки, мужчины и женщины, даже туземцы на окраинах площади замахали руками, закричали каждый что-то свое и все одно и то же; Хермеш влез соседу на плечи, Нехуштан тоже, и, надрываясь, они о чем-то спрашивали толпу — должно быть, вербовали бойцов.

Послы уже все стояли и смотрели на Самсона, желая, по-видимому, что-то сказать. Он давно не показывал данитам своего умения покрыть одним окриком тысячный гам — не приходилось; но теперь это понадобилось — и опять в одно мгновение все стихли.

Тогда бен-Калев из Текоа обратился к Самсону и сказал, тяжело дыша:

— Мы готовы идти обратно; но последнее слово за тобою. Говори, Самсон.

— Говори, собака! — закричал тот же голос из кучки пророков, и на середину круга выбежал пожилой дервиш, лысый до затылка, с шишками на черепе и с черной бородой, в которой застряли какие-то клочья; одет он был в изорванную циновку из древесного луба. Теперь уже было ясно, что слово «собака» относится к Самсону.

— Кабан нечистый! — вопил он, прыгая вокруг назорая и тряся кулаком. — Шут! Пьяница! Распутник! Душегуб народа Божьего! Это ты завел свое племя и все колена в трясины, и нет выхода! Не язычник идет на нас теперь — хуже, хуже, Иуда подымает руку на Дана, Дан на Иуду; братья загрызут друг друга, как звери в лесу, и необрезанный возликует, а ты, ложный судья, — ты спрятался, как хорек зловонный, в яму!

Дишон даже засмеялся от радости.

— Правильно говорит сын пророческий, — закричал он, — хорош у вас судья: пусть гибнет земля, пусть восстает колено против колена — лишь бы ему спасти свою душу!

Но у пророка была своя особенная логика. Он вдруг забыл Самсона и набросился на послов, выкрикивая:

— Позор вам и развратным матерям вашим, семя предательское! Гаже филистимлян Иуда. Когда сторела Тимната, старый кафторянин, тесть этого Самсона, и дочь его, юное дитя, оба молча понесли пытку и смерть, но Самсона не выдали; а кто был он им? Чужой! Вы же готовы предать во вражьи руки брата вашего, плоть от плоти отца нашего Иакова.

Тут Дишон бен-Ахицур внезапно расхохотался так визгливо, что даже пророк удивился и замолчал, забыв закрыть рот. Пророк смотрел на него и задыхался, а Дишон тоже по-своему задыхался, корчась от беззубого смеха, держась то за живот, то за ребра; и вдруг, перестав смеяться, он закричал среди полной тишины, тыча пальцем в сторону Самсона:

— Этот? Брат наш? От плоти Иакова? Эй, Дан, стадо слепых безумцев! Сколько лет можно вас дурачить нелепой сказкой? Или вправду по сей день вы не поняли, откуда, из чьего семени пришел к вам этот судья, этот чужак под гривой назорея?

Толпа глядела на него, не понимая, но еще больше замерла в предчувствии чего-то нового и доселе небывалого. Шевельнулись только три человека: старый Маной схватился за горло, Махбонай бен-Шуни протянул руку, словно желая, но не смея вмешаться, а Самсон резко обернулся назад: ему показалось, что оттуда на него кто-то пристально смотрит. Там, за собою, в толпе женщин, он увидел мать; но она смотрела не на него, а на Дишона, вся скорчившись, и глаза ее выкатились. И Самсону вдруг почудилось, что на него надвигается громадная черная туча или туша и сейчас она его обхватит и начнет душить.

Дишон продолжал уже не крича, не спеша, с ядовитой отчетливостью:

— Он такой же данит, как саран из Экрона данит. Сами вы знаете, что обычай его не ваш и душа у него чужая: потому что и кровь его — не ваша. Кто из мудрых людей верит басням об ангеле, который в весеннюю ночь явился к женщине и возвестил ей о рождении сына? К честным женам не приходят ангелы ночью, в пустынном месте у колодца. Это не Самсон, имя ему Таиш, филистимляне правы, и недаром они его любили: он от плоти Кафтора, и тот ангел у колодца, любовник его матери, был филистимский бродяга!

В мертвой тишине послышалось одно только движение — это Нехуштан, с широким ножом в руке, без возгласа бросился на посла. Самсон схватил его за руку и отшвырнул далеко в толпу; он стоял весь бледный и не сводил глаз с Ацдельпони.

Женщины, переглядываясь, расступились; старуха — она давно была старухой по виду, — тряся головою, медленно вышла на середину круга. В тяжелом молчании все взоры скрестились на ней. Не дойдя до сына, она споткнулась; к ней хотел побежать Махбонай, но и его Самсон остановил.

Ацдельпони приподнялась и поползла на руках по земле. Теперь она смотрела на Маноя и старалась что-то прошептать, но слова не выходили; тогда она подняла руку и протянула в сторону мужа скрюченный палец.

Самсон, сам того не замечая, перевел ее жест. Потухшим, безучастным голосом он сказал Манюю:

— Отец, она спрашивает у тебя, правда ли это.

Маной стоял с закрытыми глазами, одной рукою держась за глотку, другой потирая свой шрам на лбу. Услышав слова сына, он слабо шатнулся вперед; в ту же минуту его лицо исказилось, веки широко распахнулись, из горла вырвалось отрывистое, заикающееся хрипение; руки его повисли, колена подогнулись, и он свалился на землю.

— Он-то знал, — насмешливо сказал Дишон.

Самсон медленно повел головою вправо и влево, вправо и влево: ему нужно было что-то сбросить с тмени, что-то гнетущее, но оно впилося ему в виски и не отступало. Опять было с ним так, как было давным-давно, один только раз в жизни, тогда в Тимнате, — горы валились ему на голову, гора за горою, вышибая, одну за другою, каждую мысль, разрывая, одну за другою, каждую струну сознания. Но теперь он все-таки вспомнил, что вокруг него толпа и что нельзя им показать свою муку. С огромным усилием он стиснул мускулы вокруг глаз и обвел взглядом все эти сотни лиц, растерянных, подавленных; и, несмотря на туман и хаос, старый звериный инстинкт мгновенно отпечатал в его мозгу их общую думу. Он ясно прочел: они поверили сразу, без колебаний; теперь они молчат и вспоминают. Все вспоминают; все, что с раннего детства отдаляло их от него, все, чего нельзя в нем было понять, всю загадку Самсона и Таиша...

Он подошел к Манюю, нагнулся, повернул его навзничь: голова старика отвалилась, из раскрытого рта сочилось что-то черное. Он отвернулся; постоял еще мгновение, потом двинулся, осторожно поднял на руки Ацдельпони и понес ее прочь, а толпа широко расступалась перед ним — и даже ребятишки за ним не побежали.

Глава XXVII. ВО ВЕСЬ РОСТ

Одна только соседка пришла к Ацдельпони и ходила за нею всю ночь: это была мать Ягира и Карни. Самсон сидел один над телом Маноя; но в течение ночи три раза приходили к нему люди по делу.

Первыми пришли Хермеш и Нехуштан и с ними еще человек десять: эти остальные столпились в тени, лиц их не было видно.

— Мы не от своего имени пришли, — сказал Хермеш. — Нас послали другие, и их очень много; и нам велено сказать тебе вот что: мы за тебя до конца.

Остальные сзади крикнули подтвердительно. Самсон всмотрелся в них, и сердце его на миг остановилось. Он их вспомнил, это все были когда-то его «шакалы». Вспомнили что-то и они: повинувшись безмолвному призыву, они вдруг затолкали друг друга, переместились и выстроились в один ряд, навывтяжку, по его старой науке.

— И вся Цора за нами пойдет, — продолжал Хермеш, — и весь Дан. Сегодня они шепчутся по закоулкам о том, что было на сходке; но если быть войне, каждый мужчина и каждый юноша встрепнется и скажет: мне все равно, я за Самсона!

Самсон тихо сказал, помолчав:

— Дана ты сосчитал; сосчитал ли Иуду?

— Есть время считать, — ответил Хермеш, — и есть время взвешивать. Иуда силен; но все равно. Пусть рухнет Дан от края до края; в Лаиш на север уйдут остатки, но имя наше останется Дан и Лаиш — судья и лев. Для имени живет народ, не для домов и пастбищ.

Самсон смотрел на них молча; они поняли, о чем он думает, так ясно, как будто он это выговорил: война с родными — за чужого? Они все потупились, не зная, как ответить ему; только Нехуштан робко сказал — робко, потому что не привык говорить с Самсоном длинными словами:

— Это не наше дело. Вероятно, солгал тот беззубый; но это не наше дело. Был или не был тогда у колодца ангел Божий, этого мы не знаем. Но одно мы знаем: в другую ночь по всем домам нашим прошел ангел Божий, забрал у нас каждую мысль, и надежду, и самые сны, смешал воедино, сделал из них одно сердце и вложил в твои ребра, Самсон. Ты — это мы; не за тебя мы, а за душу Дана.

— Верно, — отозвался Хермеш; и остальные, все разом, твердо и громко повторили:

— Верно!

Самсон молчал, тяжело дыша. Опять они поняли молчаливый приказ, и Хермеш ответил:

— Мы пойдем, каждый к своей сотне, и будем ждать твоего слова.

И они ушли, а Самсон вернулся к телу Маноя.

* * *

Много прошло часов; было совсем тихо, только из-за простенка невнятно слышался минутами визгливый бред Ацдельпони и тихая речь соседки, которая успокаивала ее. Вдруг за скрипела дверь. Самсон не обернулся, пока за ним не раздался рыхлый и плавный голос.

— Это я, Махбонай бен-Шуни.

Самсон оглянулся на него и глазами спросил коротко: что надо?

— Я был в той комнате, — сказал левит, указывая на простенок.

Самсон опять спросил глазами.

— Встань, Самсон, — ответил Махбонай с неожиданной настойчивостью в голосе, — встань и пойдя к своей матери.

Самсон не двинулся, и они долго смотрели друг на друга, на зорей с хмурой неприязнью, левит с учливой уверенностью. Самсон, хотя ему было не до того, подивился, что левит, против обычая, стоит прямо, не суется, и глаза его не бегают по сторонам. Но это все же был откормленный Махбонай, барышник и заклинатель, которого Самсон брезгливо не любил, и теперь он ему напомнил сразу тысячу вещей, о которых вспоминать не хотелось. Одному воспоминанию Самсон засмеялся без улыбки и сказал вслух:

— Ты оказался провидцем, левит. Это ты, еще с первой нашей встречи, назвал меня: сын Ацдельпони. Так и будут звать меня люди с этого дня.

— Пойди к своей матери, — повторил Махбонай, не обращающая внимания на его слова.

— Зачем?

— Она в горячке, и рука ее шарит кругом. Пойди, дай ей схватиться за твою руку.

— Зачем?

— Тогда можно будет ей умереть, — сказал левит.

Самсон промолчал и отвернулся, кончая беседу; но Махбонай не ушел.

— Сделай, как я говорю, — сказал он еще настоятельнее. — Она не может умереть. Она повторяет одно и то же. Вопрос, который ты знаешь. Она спрашивает: «Маной — неужели это правда?»

— Ей лучше знать, — грубо отозвался Самсон.

Левит уверенно ответил:

— Нет. Она всю жизнь прожила в горячке. В ту ночь, у колодца, она тоже была в бреду. Она не знает. Знал, быть может, Маной. Многое знал Маной, о ней, о тебе и обо всем; знал, может быть, и об этом.

Самсон молчал.

— Пойди к ней и возьми ее за руку, — повторил левит, и голос его звучал не рассыпчато и не умилительно. — Возьми ее за руку; тогда она поймет, что то была неправда, и ты ей закроешь глаза.

Самсон резко повернул к нему голову.

— Неправда? Откуда мне-то знать, что неправда?

Левит медленно двинулся к нему и подошел совсем близко; и Самсону вдруг показалось, что он этого человека еще ни разу по-настоящему не видел, что это не бен-Шуни, жирный нахлебник его матери, а кто-то иной, важный, величавый и по-своему сильный. Самсон невольно поднялся и смотрел на него; он был много выше, но этого как-то не чувствовалось — словно глядят друг другу в лицо два человека, равные ростом.

— Правда, — сказал Махбонай бен-Шуни, — правда — это не то, что было или чего не было в одну ночь из ночей. Правда есть то, что останется в людской памяти навсегда; и знает ее один человек на свете: я.

Самсон указал на Маню и тихо спросил:

— От него?

Левит покачал головою.

— Он об этом не говорил, и я не спрашивал, — сказал он строго, — и не из расспросов познается настоящая правда. Не допрашивай меня и ты. Пойди в ту комнату, возьми ее за руку, и это будет правда. Тогда она умрет. Когда-нибудь и ты умрешь; и умрут все люди, что были сегодня на площади, даже малые дети; и умрут с ними все их мысли, и слова, и пересуды. Одно уцелеет навеки, то, что назову правдой я, левит Махбонай.

Самсон смотрел на него пристально, слегка ворочая головою, как всегда, когда старался понять трудное.

— Ты презираешь меня и мое дело, судья, и всю мою породу, — говорил левит, — ибо велика, но коротка твоя мудрость. Ты человек могучий, но мера твоей силы — один день: будет ве-

чер, будет утро, и народятся новые люди, не знавшие Самсона. А я и порода моя — мы, по твоей мере, червяки: мы бродим из края в край, мы бормочем заклинания, мы чертим крючки на козьей шкуре. Но жить будет только то, что я закрепил в молитве и записал на лоскуте кожи: это и назовут люди правдой, а все остальное — дым.

Он пошел к двери и приоткрыл ее.

— Пойди к матери, Самсон. Много лет тому назад она мне сказала: возьми шкуру козленка и записывай на ней жизнь моего сына, от чудесного рождения его и до конца. Так я и сделал; и то, что я записал, то и останется правдой из рода в род. Я, Махбонай из Хеврона, когда-то сказавший тебе по неведению «сын Ацдельпони», — я червь, я умру; но то, что я записал, никогда не умрет, а там написано: сын Маноя. Ступай за мною, судья, — твоя мать боится умереть без моей правды.

* * *

Перед зарей, когда перестала хрипеть Ацдельпони, пришли к Самсону еще двое: Иорам, богатырь из Текоа, и Цидкия бен-Перахья, ростовщик из Хеврона, послы Иуды. Бен-Перахья сел на скамью, зажмурил глаза и стал жевать губами. Иорам, стоя, склонил голову перед назореем и сказал тихо и твердо:

— Не пришли бы мы к тебе в первую ночь твоего сетования; но горше будет, если раздерут одежды свои два колена Божьего народа. Слово за тобою, судья: страшное слово, тяжкое слово, но сказать его можешь только ты.

Самсон молчал.

— Когда-то, — опять заговорил Иорам, — когда ты был еще юношей, а у меня на плечах уже лежало бремя полужизни, ты держал со мной совет; и мне помнится — ты тогда отличил мои слова от речей других советчиков. Хочешь ли выслушать меня снова, Самсон?

Самсон отозвался:

— Говори.

— Люди Цоры, — говорил посол, — не спали в эту ночь. Товарищи твоей молодости, которые шли за тобою когда-то, покинули свои дома и созывают теперь бойцов; вокруг них уже собрались сотни, но соберутся тысячи. Недаром жил ты, Самсон: Дан не знает ни трусости, ни измены — Дан тебя не выдаст.

Самсон молчал, глаза его глядели в темноту.

— То, что они сегодня слышали, — продолжал бен-Калев, — и чему поверили (хотя я и не верю), то не смутит их решимости. Может быть, оно и укрепит ее. Я стар и хорошо знаю все наше племя: ниже, вдвое ниже преклонится оно пред таким вождем, над которым распростерлось покрывало тайны; если он чужой, тем больше его могущество. В этом похожи друг на друга все колена; вероятно, все народы. Дан тебя не выдаст.

Цидкия бен-Перахья разжмурил на мгновение глаза, что-то промычал и кивнул головою подтвердительно.

Иорам продолжал:

— Но Иуда, если бы ты был судьей в Хевроне и дело сложилось так, как сложилось, — Иуда посыпал бы пеплом голову и отдал тебя филистимлянам. Я тебе скажу то, чему ни ты и никто другой еще сегодня не поверит; но это правда. Не трус Иуда; но Иуда хочет жить, потому что в душе его затаен замысел. Какой замысел — я не знаю; не дано человеку самому толковать свои сновидения, и не всегда помнит он поутру, что приснилось ему ночью. Но такой это замысел, какого нет в душе других колен. Иаков, отец наш, разделил свою душу между сынами и внуками: вкрадчивое очарование свое отдал Ефрему; страсть любовника, покоряющую женщин, — Вениамину; жажду скитания, создающую новые города, — Дану. Но свой дар сновидца и свое упорство погони за невнятными снами он завещал Иуде; и, как он, пойдет Иуда ради невнятного замысла, на раздор и с отцом, и с братом, и с Богом; и схитрит, и солжет — и изменит, Самсон, предаст лучшего и ближайшего, ради того замысла, на неслыханные муки.

Цидкия бен-Перахья неожиданно фыркнул с явным пренебрежением и насмешливо отозвался:

— «Муки»? Ха! — И, зажмутив теперь один только глаз, он этим глазом, непонятно зачем, как будто подмигнул Самсону.

— Даже на муки, — повторил Иорам сурово. — В последние годы, на покое, часто я слушаю рассказы бродячих левитов о старине нашего племени. Много в этой повести измен. Авраам, первый наш родоначальник, святой и мудрый человек, не одно, а три предательства совершил на своем веку: старшего сына, малютку, вместе с матерью неповинными бросил на безводную смерть в пустыне; другого сына сам поверг на костер и от жены своей Сарры, нашей матери, отрекся пред язычниками, отдал ее в наложницы князю Герара, лишь бы не погибнуть. Ибо Иегова заключил с ним союз и дал ему замысел; и сегодня, через цепь поколений, Иуда хранит древнюю запо-

ведь. Она для нас то, что для Дана судья: ее мы не выдадим, но ради нее предадим все остальное. Иуда должен жить, Самсон: жить — какой бы ни было ценою.

Самсон молчал.

— Значит, быть между нами войне, — говорил Иорам из Текоа. — Дань, которой требуют сараны за твою шутку, Иуда уплатит; если не может он дать им одну твою голову, должен будет отдать за нее тысячи голов Дановых, и сожженные виноградники, и разрушенные города от Гимзо до Айялона. И помни мое слово, Самсон: тогда от Гимзо до Айялона не вспомнит ни один из сирот дановых о том, что сегодня у ворот ты, Самсон, не произнес ни слова, что сами пришли к тебе ночью отцы их и сказали: мы с тобою, судья! Забудут они об этом и скажут: он подстрекал, он молил бойцов Дана: «Спасите меня!», он за себя одного обездолил наше колено. И сотрется тогда навеки имя Самсона, спалившего Тимнату, — поджигателем Цоры останешься ты в людской памяти. Не принимай жертвы, Самсон. Я стар, я знаю природу человека: ростовщик он по природе, его жертва — заем; горе должнику, если не уплатит он сторичного роста.

Цидкия бен-Перахья, услышав слово «ростовщик», опять разжмурил один глаз — и кивнул головою, подтверждая правильное рассуждение.

После этого они долго молчали. Иорам тяжело и устало сел на скамью; в его голосе, когда он говорил, этого не чувствовалось, но все в нем изнутри было разорено и выжжено, как та земля после нашествия, которую он только что описывал. В то самое время, как он убеждал Самсона, вспоминалась ему беседа в пещере и юный великан, который тоже пришел тогда с большим и дерзким замыслом; вспоминалась Иораму и его собственная молодость, боевые набеги в пустыне, погоня за врагом, вражья погоня за ним, три дня без воды — дела простые и честные, непохожие на то, что выпало ему на долю сегодня. Сто раз ему хотелось оборвать свою речь и крикнуть Самсону другое; но он продолжал свою речь, и теперь у него не было силы, и он горько и гневно думал о том, что нет грани между правдой и кривдой. А о чем думал Самсон, того и Самсон не мог бы рассказать: как тучи за бурей, неслись в его мозгу черные обрывки мыслей.

Тем временем стало светать; и, преодолевая усталость и стыд и отвращение к самому себе, Иорам из Текоа сказал свое последнее слово:

— Легче было бы мне вырвать язык из гортани, чем произнести все то, что я произнес; и, хотя ты молчишь, мне понятна речь твоей души: вся она в одном слове — презрение. Слушай, Самсон. Люди говорят, что ты нас всех презираешь, Дана, Иуду и Ефрема; и, быть может, ты прав, ибо есть народы, созданные из мрамора, а нас вылепил Иегова из скользкой глины и хрупкой соломы. Но глина с соломой вместе дают кирпич: крепкий это камень. Приходили к тебе в эту ночь товарищи даниты; я знаю, что они сказали тебе: скала так не загремит под ударом, как гремела их прямая и верная речь. Был у тебя в эту ночь Мах-бонай бен-Шуни, родом левит, осколок бездомного сброда из помета всех колен: я знаю, что сказал он тебе, и знаю, что ты встал перед ним и покорился, ибо и в его словах был отголосок величия. Теперь мы пред тобою; мы люди худые и малые, говорим недостойными устами, но мысль наша — куст неопалимый, лестница от земли до неба. Кто бы ни был отец твой, Самсон, не презирай и нас, семя твоей матери. Большие сердца, одно за другим, распахнулись пред тобою в эту ночь; ты ли, самый могучий среди нас, окажешься малым? Больше говорить я не буду; решай.

Он встал и пошел к выходу; Цидкия бен-Перахья поднялся за ним, посмотрел на Самсона и вдруг уже совсем явно подмигнул ему и снова сказал неожиданно и непонятно:

— Пустяки, все кончится по-хорошему. Ха!

Но Иорам еще остановился у порога и через силу, запинаясь, прибавил:

— Одно я забыл. Даже если ты согласишься, Цора тебя не отдаст и приказу твоему не подчинится, и будет война.

Самсон усмехнулся и спросил:

— Что же, не скрыться ли мне от друзей и бежать потайно в землю Иуды — для вашего удобства?

Иорам ответил:

— Да.

Когда закрылась дверь за послами, Самсон опять подошел к телу Маноя. От сквозного ветра с груди Маноя сползло одеяло. Самсон поправил одеяло, застонал долгим, глубоким стоном, повернулся и вышел на двор. Город еще спал после бессонной ночи.

* * *

Через три дня пришел в Текоа гонец и сказал Иораму, сыну Калева:

— Самсон ждет один в пустыне Иудейской, в утесах близ Баал-Меона. Присылай стражу.

Глава XXVIII. ОСЛИНАЯ ЧЕЛЮСТЬ

— Эту поклажу взвалите на моего запасного коня, — брезгливо сказал Ахиш по прозвищу Бритва, племянник сарана экронского, — другая лошадь не выдержит.

Солдаты посадили Самсона, связанного так, что из-под ремней почти не видно было платья. Конь, действительно великолепный, сначала захрапел и рванулся, но, очевидно, узнав Самсона, сразу притих. Еще недавно, и не раз, скакал на нем Самсон. Ахиш, когда собиралась в Экроне веселая компания, любил устраивать гонки и охотно давал лошадей из своей конюшни — но при этом всегда были денежные заклады, и, кто бы ни состязался, деньги всегда выигрывал Ахиш.

Они развязали пленнику ноги, чтобы можно было усадить его верхом, но потом опять связали их под брюхом у лошади: замысловато и прочно связали и долго с этим возились.

Было это в горах, недалеко от Хеврона, близ деревушки Адораим, где стоял тот полк, что пришел в землю Иуды с посольством. Полк был настоящий, в несколько сот пехоты, с двенадцатью конными офицерами, не считая начальника. Иудейский отряд, приведший Самсона с юга, по дороге из Ютты, ушел на Хеврон, не оглядываясь, с понурыми головами. Самсон остался один среди филистимлян — как всегда, но по-другому; и, поводя глазами вокруг, он старался понять и поверить, что это действительно он и они и что все это правда.

Таковыми он филистимлян еще не знал. Сотники, с которыми он недавно пил и шутил и играл в кости, смотрели теперь на него, как на пустое место. Ахиш сказал о нем «поклажа»; это слово точно выражало их отношение, в котором не было ни любопытства, ни торжества, ни вражды. С любопытством глядели на него только простые солдаты: среди них было много амалекитян и других инородцев из Синайской пустыни, которые его никогда не видали; и все они были озлоблены долгим ожиданием. Осень шла к концу, ночи были холодные, земля жесткая, воды мало. Дни проходили за днями, а пленника все не было; то и дело приезжали какие-то посланцы из Хеврона и уговаривали Ахиша потерпеть еще и еще; двое из них — один полный, суетливый, многословный, другой старик с тонкими губами на лисьем лице и с прищуренным глазом — просидели наедине с начальником в его палатке целую ночь, и утром он с ними куда-то ездил, — а солдаты изнывали и бранились между собою. Теперь они, должно быть, охотно избili

бы связанного Самсона; не имея на то приказа, они, по крайней мере, с наслаждением, как можно туже, затянули на его ногах узлы.

Выдача Самсона замедлилась потому, что старосты Иуды приказали своему отряду везти его по самым безлюдным тропинкам, а через места населенные, если нельзя их обойти, проходить по ночам. В стране было много ропота среди молодежи. Из Баал-Меона вышли на дорогу тысячи народу, ошибочно полагая, что конвой пройдет этим путем; и, по слухам, в толпе было много вооруженных. Сам Ахиш это понял и согласился ждать.

Но теперь Самсон был у него в руках, филистимская пехота шла спереди и сзади, и бояться иудейской черни было нечего. Полк медленно шел по главной дороге и еще засветло прошел чрез Адораим. Вся деревня вышла смотреть; женщины плакали, мужчины хмурились, но никто ничего не сказал. Только ребятишки, пропустив передовой отряд, побежали за Самсоном, и солдаты, ведшие под уздцы его лошадей, отгоняли их пинками. Подальше за деревней к мальчишкам присоединился лохматый, невероятно грязный пророк: он запустил в Самсона камнем, грозил ему кулаками и кричал: «Пьяница! Развратник! Сдерите с него шкуру!» Солдаты посмеивались; но и пророка отогнали, и он, задыхаясь и бормоча, пошел за тыловым отрядом.

Самсон все еще не мог одолеть того чувства, будто это не взаправду, не настоящее. Мысли его были несущественные, пустые. Откуда на небе столько туч? Он стал подробно высчитывать сроки и пришел к убеждению, что не время еще для дождя; тем не менее, тучи густые, похоже на то, что близится ливень; как же так? И он стал припоминать, тоже очень подробно, в какие годы за его память случались ранние дожди: было два таких года — один в его детстве, другой тогда-то и тогда-то. Потом мимо него проскакал сотник, и Самсон подумал о том, какие жалкие у всех этих сотников лошади по сравнению с конями Ахиша. Тот, на котором ехал он сам, почти всегда побеждал на состязаниях; раз он обогнал даже собственную лошадь самого Ахиша — но, конечно, тогда сидел на ней кто-то другой, не Ахиш. Ахиша нельзя обогнать. Самсон вдруг улыбнулся: вспомнил, в чем они все подозревали саранова племянника. Его кони знали его голос, и с каждым конем он говорил по-другому, и когда он щелкнет языком или свистнет, каждый конь знает, к нему ли этот знак относится или нет. Когда сопернику начи-

нало казаться, что вот-вот он опередит Ахиша, Ахиш оглядывался на его лошадь и свистел или щелкал — и лошадь соперника вдруг замедляла галоп или осаживала и подымалась на дыбы. А доказать нельзя было ничего, и заклад доставался Бритве. Ловко бреет Ахиш...

Только от времени до времени становилось Самсону невыносимо. Не в душе, а рукам и ногам и всему телу. Из Баал-Меона он шел, конечно, несвязанный: связали его сегодня на расвете, миновав Ютту, а теперь уже скоро сумерки. Каждый мускул его просился на свободу; каждая жила бунтовала против заторможенного бега сочной и богатой его крови. И члены его ныли от узлов, а Самсон, никогда не хворавший, до сих пор не знал, что такое медленная боль. Это все, когда он вспоминал об этом, было невыносимо. Но в душе у него не было никакой боли, мысль упрямо не поддавалась, упрямо отворачивалась от той истины, что он в плену и ведут его в Газу.

Полк остановился. Сотники передавали друг другу, что решено идти всю ночь, а теперь будет большой отдых. Самсону развязали ноги; стащили его с коня, положили на землю и снова опутали ремнями колени. Дервиш, опять подбегавший поближе, сидел на корточках у края дороги, хохотал, плевался и выкрикивал ругательства; солдатам это нравилось, и они его подстрекали, когда офицер отходил в сторону.

Подошел Ахиш, бегло покосился на ноги Самсона, проверяя путы.

— Ночью будет гроза, — сказал ему сотник.

Ахиш посмотрел на хмурое небо; солнце, которого тут уже в горах не было видно, освещало края туч, и они казались оттого еще более зловещими.

Самсон загадал про себя: «Сейчас он сострит. Скажет что-нибудь в таком роде: не страшно, не подмокнет наша поклажа».

Но и этого внимания не оказал ему Ахиш, а просто ничего не ответил офицеру. Он был человек высокомерный и с подчиненными грубый.

— Накормить, — сказал он коротко, хлыстом указывая в сторону Самсона, и ушел.

Самсона посадили, и солдат ткнул ему в губы ложку с варевом из чечевицы. Одну Самсон проглотил; но когда солдат поднес вторую, пророк внезапно пришел в бешенство, подбежал к нему с криком, похожим на лай, и вышиб ложку.

— Пусть издохнет с голоду! — вопил он. — Гиена! Блудница! Истребитель народа Божьего!

Солдат был амалекитянин и, видимо, не решался ударить юродивого. Подошел сотник, человек образованный, без предрассудков; одним пинком повалил он пророка на землю и, не топаясь, раз десять хлестнул его толстым конским бичом по лицу и по голым ногам. Пророк извивался, визжал и плакал; но, поднявшись, даже не огрызнулся на офицера, а только плюнул в сторону Самсона, отбежал на край дороги и присел, зализывая кровь на руке по-собачьему.

Солдаты-филистимляне смеялись, но инородцы были, видимо, недовольны. Когда сотник ушел, один из них наполнил кашей плошку и поманил к себе пророка. Тот стал жадно есть, все еще всхлипывая; а амалекитянин сказал что-то солдатам на своем наречии, указывая на пленника, и они засмеялись: вероятно, о том, как любит народ Самсона в его собственной земле.

Но Самсон не заметил их смеха. Он напряженно думал о другом. Этот юродивый, когда его хлестали, кричал от боли не тем голосом, которым прежде ругался. Тот прежний голос был Самсону незнаком, но этот новый, невольно вырвавшийся под ударами, он хорошо знал. Что это? Просто ли не своим голосом взвыл полоумный бродяга — или, напротив, именно своим, настоящим? Самсону хотелось взглянуть в него; но солнце уже зашло, сумерки быстро темнели, и от туч было еще темнее; и, главное, не следовало, может быть, показывать солдатам, что пленник присматривается к дервишу.

Толстый десятник, филистимлянин, видя, что подходит ночь, распорядился зажечь факелы.

Самсон лежал навзничь, насторожась и прислушиваясь к каждому звуку. В тяжелой безветренной полутьме стоял нестройный подавленный гул солдатской массы. Потом раздался резкий шорох — на Самсона капнуло, еще и еще, и вдруг, без перехода, словно небо лопнуло во всю ширину, хлынул сплошной ливень. Десятник пространно выругался: потухли факелы. Солдаты поспешно натягивали на головы кожаные плащи.

Самсон повернул голову, чтобы не захлебнуться, — повернул ее в ту сторону, где у края дороги видел, пока не стемнело, сидящего на корточках пророка. Теперь уже ничего нельзя было различить через дорогу: видны были только черные фигуры солдат, тоже скрюченные на корточках. Но Самсон уже наверняка чувствовал, что это не все. Сквозь гулкий ропот ливня ему слышался, может быть, только в воображении, едва заметный ползущий шорох; среди черных пятен то одно, то другое почему-то казалось ему непохожим на остальные. Он тесно

прищурился, изо всех сил взвинчивая силу взгляда, и теперь уже ясно увидел: одна из фигур, сидя, медленно подвигалась в его сторону. Вот она уже рядом с солдатом, который сидит ближе всех к Самсону.

Вдруг у Самсона захватило дух: этот солдат повернул голову к той фигуре и сказал что-то вполголоса по-амалеки-тянски.

Но фигура ответила ему на том же гортанном языке и тоже негромко. Солдат кивнул головой, пробормотал что-то ленивое и раздраженное и опять скорчился под своим плащом. И Самсон вспомнил: когда-то, тому много лет, он сам послал Нехуштана в пустыню учиться наречию Амалека.

И, задерживая дыхание, он увидел, как поднялась черная тень медленно и лениво и, сгибаясь под дождем, подошла к нему вплотную; подойдя, нагнулась над ним, совсем как часовой, ошупывающий путы, и опять, но совсем уже громко, сказала что-то по-амалеки-тянски; и теперь Самсон узнал уже и голос, и веселые лукавые глаза. Что-то вдруг тихо лопнуло у его щиколоток, потом между локтями, потом на шее, и при этом оцарапало шею что-то холодное и острое.

В это мгновение, словно бы срезанный, остановился дождь, так же внезапно, как ударил; по ущелью промчался ветер и наполовину как будто смел темноту. Солдат, сидевший ближе к Самсону, радостно выбранился, скинул с головы плащ — и вдруг закричал во все горло по-ханаанейски:

— Это что такое?

Прямо с места, одним прыжком, он бросился на Нехуштана. Самсон рванулся изо всей силы, плечами, руками, ногами, всем телом. Но ремней на нем было еще много. Нехуштан успел разрезать всего три узла. Только ноги Самсона были свободны, от колен книзу; бешеным напряжением он разорвал путы над коленами, вскочил и, как жука, раздавил ногою череп солдата, боровшегося на земле с Нехуштаном. Той же ногой встретил он десятника, бросившегося к нему с мечом: тучный десятник согнулся пополам, только икнул и повалился; и еще третьего проткнул ножом Нехуштан. Но уже было поздно. Их окружили; сзади слышалась команда — десять или двадцать копий со всех сторон уперлись в грудь и плечи Самсона, в грудь и плечи Нехуштана. Почти разом запылали кругом факелы. Самсон смотрел на Нехуштана. И теперь за маской грязи трудно было узнать его, только серые глаза были те же, с тем же прямым и верным взглядом — и та же улыбка.

— Жаль, — сказал Нехуштан, тяжело дыша, но совсем спокойно.

По всей дороге слышались окрики, слова команды, стук оружия. За кольцом, окружавшим Самсона, толпа расступилась; показался Ахиш, без кольчуги и шлема, что-то еще жевавший. Бледный сотник начал ему докладывать, волнуясь, про дождь и темноту...

— С тобой мы объяснимся в Газе, — оборвал его начальник, прожевывая. Потом он глотнул, утер губы тылом ладони, посмотрел на Нехуштана и распорядился: — Приколоть.

Мерно, как один человек, пять солдат наклонили плечи и ступили на шаг вперед; и с гулким ударом их тяжелых сапог о каменистую почву Иудеи смешался треск лопающихся ребер и хриплый крик Нехуштана:

— Он отомстит!

Не по-человечьему, как еще никогда в жизни, зарычал Самсон и кинулся грудью на копьё. Но солдаты знали свое ремесло: в то же мгновение, разом, они опустили свои пики остриями до земли, и Самсон, споткнувшись о труп десятника, повалился ничком на дорогу. Дюжина рук впелась ему в волосы, прижимая голову к земле, пока другие вязали ему ноги.

— Не затягивайте, — сказал Ахиш, — сейчас надо будет его сажать на коня.

Когда опять его повернули навзничь, Ахиш взял у солдата факел и осветил лицо Самсона, и в то же время свое. Сквозь пыль и кровь у разбитого носа было видно, что Самсон очень бледен; глаза его ушли под брови, на губах была пена. Ахиш улыбнулся.

— Никакого нет у вас порядка, Таиш, — сказал он неизвестно почему. И вдруг совершенно как бен-Перахья, ростовщик из Хеврона, подмигнул одним глазом.

Потом он велел привести коня; сам следил за посадкой пленника и сказал солдату:

— Не затягивай снизу, мерзавец, — лошадь искалечишь.

Снова двинулся полк по дороге, но теперь лошадь Самсона шла впереди, сейчас же за конем и свитой начальника; и дождь начал накрапывать.

* * *

Долго они шли; сколько, Самсон не считал и не заметил. Все в нем теперь онемело; даже пустые мысли не приходили больше в голову. Может быть, он и дремал временами; раз он даже,

наверное, заснул и увидел долину, скелет пантеры и костер; по долине прямо на костер шел мальчик, высоко подняв руки, и над ним тучей вились темные мелкие пчелы; он, Самсон, сидел над обрывом, и рядом сидела женщина; и он не мог вспомнить, кто этот мальчик — Ягир, или Гуш, или кто-то третий, и никак не мог разглядеть лицо женщины, а когда почти уже разглядел, лошадь под ним рванулась, и он проснулся. Лошадь оттого, должно быть, рванулась, что где-то далеко загрохотала гроза. Дождь хлестал сильнее. В темноте было видно, что горы стали ниже, дорога шире — уже недалеко равнина, а там земля филистимлян.

Опять донесся гром, и конь опять рванулся. Конь Ахиша даже осадил и замотал головой; Ахиш по-своему защелкал языком, и оба успокоились.

— Ничего они на свете не боятся, — сказал Ахиш своей свите, — только грозы.

Сотники его засмеялись.

— Слишком они у тебя благородные, — сказал один, — наши кони — мужичье, зато не пугаются.

Вдруг шум дождя усилился, изменился, точно спереди кто-то бросил в лицо Самсону пригоршню крупного ледяного песка; по камням и по медным каскам затрещали и зазвенели бесчисленные щелчки града. Лошади отчаянно замотали головами, норовя повернуть назад. Ахиш выругался, помяная недобрыми словами и Вельзевула, и Дагона; и как будто в ответ на богохульство, прямо над ними небо раскрыло горящую пасть, и в три стороны побежали три ветви молнии. Конь под Ахишем встал торчком на дыбы и заржал, конь под Самсоном тоже заржал, метнулся в сторону и едва не свалил солдата, который вел его на поводу. Свита начальника и передовые ряды полка за нею остановились, дожидаясь грома: от первого раската задрожала земля, но второй и третий были еще громче; и на третьем раскате лошадь Ахиша рванулась и понесла. Из темноты, сквозь затихающий гром, едва слышно донесся его свист. Тогда и под Самсоном конь поднялся на дыбы, швырнув привязанного всадника назад чуть ли не головой до земли и сейчас же обратно вперед, так что он грудью ударился о конскую шею.

Конь быстро пошел, таща за собою солдата. Опять послышался спереди свист Ахиша; лошадь Самсона резко дернула головой, одуревший солдат выпустил повод, и она, прорываясь среди шарахнувшихся коней свиты, понесла прямо в темноту. Самсону пришло в голову, что он может ее остановить — у него

достаточно было силы в коленях, чтобы одним добрым нажимом переломать ей ребра; но зачем? За ним раздались крики, свист, топот; но и спереди доносился топот другого коня — и время от времени свист Ахиша, совсем не похожий на те звуки, что могут успокоить обезумевшую лошадь. Путы на ногах у Самсона, уже не стянутые по приказу Ахиша, почти не мешали ему взлетать и садиться по мере галопа; он еще вытянул ноги как можно дальше вперед и книзу и, чтобы не свернуться, пригнулся к шее коня и поймал зубами косму длинной гривы. Опять ударила молния: в полусотне шагов перед собою он увидел ту лошадь и всадника — ясно увидел, что всадник оглянулся; и перед самым раскатом грома еще раз услышал спереди свист, сзади нестройные крики погони. Он ничего не понимал; никогда не слышал о том, чтобы лошадь понесла ночью, по темной горной дороге; но какой-то хмель уже ударил ему в голову; и сквозь зубы, стиснувшие прядь от гривы, он сам зацелкал языком, как делал во время скачек, понукая этого самого коня. Но конь и без того несся во весь опор, особенным чутьем своим распознавая в темноте рытвины и камни. Град прекратился; дождя уже не было; все тише и глуше доносились сзади звуки погони; и спереди, через ровные промежутки, раздавался свист Ахиша. Потом погоня совсем замолкла. Топот первого коня стал как будто ближе. «Обгоню? В первый раз!» — подумал Самсон весело. Скоро он увидел в темноте всадника — тот ему крикнул:

— Держишься?

Теперь уже ясно было, что ни первая, ни вторая лошадь больше не несут, а просто мчатся по воле хозяина. Назорей ничего не понимал и не старался понять. Смутная белизна дороги вдруг расширилась. «Перепутье?» — подумал Самсон. В самом деле, всадник перед ним круто повернул вправо и опять засвистал, и конь Самсона тоже свернул вправо. Эта дорога была много уже и не спускалась, как прежняя, а вела сначала ровно, потом в гору. Ахиш засвистал на другой лад; кони пошли тише. Еще поворот, и еще. Ахиш остановился; лошадь Самсона поравнялась с ним и стала.

Самсон выпустил гриву, выпрямился и посмотрел на Ахиша. Лица не было видно, только ясно белели на нем оскаленные зубы, и Ахиш со смехом сказал:

— Не свалился? Хороший ездок. Только все же нет у вас никакого порядка.

Вдруг Самсон увидел, что тот вытаскивает меч. У него мелькнуло в голове: нельзя ли метнуться в ту сторону, сбить его с коня плечом или головою? Но Ахиш его понял и опять засмеялся:

— Не нарежу, не бойся. Поверни ко мне локти.

Возиться пришлось ему долго, и освободить он успел только правую руку Самсона.

— Довольно с тебя, — сказал он.

Нагнувшись, он перерубил толстый жгут из перекрученных ремней, соединявший ноги Самсона под брюхом у коня, и сказал:

— А теперь дальше.

* * *

Перед зарей они доехали до селения. У околицы ждали их три человека: один был Махбонай бен-Шуни, другой Цидкия бен-Перахья, ростовщик из Хеврона, третьего Самсон никогда не видал. Подальше от них он заметил четырех осликов, нагруженных мешками, с негром-погонщиком.

Ахиш остановил коня, ткнул пальцем в сторону Самсона и сказал:

— Получайте.

Бен-Перахья подмигнул, ткнул пальцем в сторону ослов и отозвался:

— Получай.

— Без обмана? — спросил Ахиш. — Я пересчитаю.

Бен-Перахья ответил:

— Не в первый раз ты продаешь, а я покупаю. Когда я тебя обсчитывал?

— Правда, — согласился племянник сарана.

Самсон глядел и слушал, все еще не понимая. Махбонай помог ему слезть; третий, что был с ними, достал из-за пазухи нож и начал разрезать оставшиеся ремни.

— Это кто? — спросил Ахиш.

— Мой человек, — ответил бен-Перахья, — верный человек. Доведеет тебя и твоих ослов и серебро до Египта по такой дороге, где не встретишь ни своих, ни разбойников.

— Доведу, господин, — подтвердил третий.

Ахиш потянулся с удовлетворением.

— Это хорошо, — сказал он; потом посмотрел на изумленное лицо Самсона, рассмеялся и прибавил: — Только порядка у вас нет никакого. Увязался за нами один из его молодцов

и чуть-чуть не погубил все дело; пришлось его приколоть — а жаль, хороший малый. Нет у вас порядка и никогда не будет: каждый хочет по-своему, друг другу на ноги наступааете...

И, смеясь, он пошел к ослам и велел негру снять и развязать мешки. Мешки тяжело и звонко брякнули о землю.

Самсон повернулся к Махбонаю и резко спросил:

— Что это все значит?

За левита, который замаялся, ответил бен-Перахья, жмуря левый глаз:

— Пустяки. Я ведь тебе сказал, что это пустяки и пустяками кончится. По-твоему, сила в плечах да еще в железе. Ха! Настоящая сила — в уме да в серебре. Любит Ахиш серебро, еще больше — золото; а в Мемфисе египетском веселее живется, чем в Экроне.

Самсон ворочал головою, стараясь понять.

— За деньги? — спросил он. — Племянник сарана?

Бен-Перахья подмигнул.

— Проигрался, — сказал он, — даже лошадей своих проиграл, кроме этой пары. И всегда был в долгах. Мы с ним приятели старые; ты только не рассказывай, но от него я, пожалуй, еще больше получил «твердого товару», чем от тебя.

Самсон спросил:

— А откуда столько денег? Кто дал?

— Я, — ответил бен-Перахья. — Четверо сыновей у меня, люди молодые, и очень уже они за тебя огорчились. Я и решил: их это дело, им же меньше останется, когда я умру.

Махбонай кашлянул и вставил — вежливо, но с уверенностью:

— И не так уж это много денег, Цидкия: на одном том корабельном грузе ты вдесятеро больше заработал.

Цидкия вдруг рассердился:

— А ты считал? Неправда. Корабельный груз! А караван во сколько обошелся? А твоим левитам, вороватому отродью, сколько пришлось уплатить?

Самсон тупо смотрел в землю, машинально шевеля ногою какие-то камни или кости, валявшиеся на дороге. От бессонных ли ночей, или от галопа со связанными ногами, или от этой простой разгадки его спасения, но ему стало тошно; стал гадок этот торгаш, и тот предатель над мешками с серебром, и сам он, Самсон, — поклажа, которую можно продать и купить. Лицо его исказила гримаса отвращения. Он вспомнил слова Иорама в ту ночь, о великих сердцах, и о замыслах, и о лестнице от земли до самого неба: «Ты ли, судья, один среди нас окажешь-

ся малым?» Словно с верхней верхушки этой лестницы он свалился теперь в придорожную грязь. Все пустяки; все кончилось по-хорошему: Дан и не пострадал, но и не посрамил своей чести; Иуда выполнил требование саранов, не к чему придраться; и он, Самсон, цел и свободен, и все это была шутка — только Нехуштан, его любимец, его сын и товарищ, сероглазый, веселый, удалой, не понял, что это шутка, и умер ни за что ни про что, с нерасшатанной верой в могущество своего брата и князя — с криком: «Он отомстит!..»

Самсон отшатнулся, как будто его хлыстом ударили по лицу.
— Отомстит, — сказал он глухо.

На земле перед ним валялась большая, тяжелая кость от ослиного черепа, еще со всеми зубами. Он ее поднял, взвесил, потом взглянул вперед; Ахиш кончил проверку мешков и шел, помахивая хлыстом, обратно. Самсон быстро двинулся навстречу и на ходу швырнул ему кость прямо в лицо. Одновременно треснули оба черепа, ослиный и человеческий; не застав, Ахиш раскинул руки и повалился навзничь. Самсон подошел ближе и ткнул его ногою.

— Можешь забрать свое серебро, бен-Перахья, — сказал он; взял под уздцы усталую лошадь и пошел по дороге на север.

* * *

Махбонай тщательно подобрал обломок ослиной челюсти и, вернувшись домой (за ним, без спора, остался теперь дом Маноя со стадами, полями и угожьями), записал это событие на козьей шкуре, но по-своему; и его рассказ, а не то, что было на самом деле, остался навеки в памяти людской.

А расчетливый бен-Перахья велел своему человеку забрать труп Ахиша и сбросить его где-нибудь на филистимской земле: тогда не за что будет придраться к Иуде — Иуда свое сделал.

Глава XXIX. ТРИ ЗЕЛЯ

Скоро должно было взойти солнце; а на небе от недавней грозы уже не осталось ни одного облака. Зато богатый след она оставила на земле. И холмы, и долина Сорека умылись начисто и теперь сами себе радовались, как малое дитя, когда мать уже кончила его купать, и вытирать, и причесывать, поцеловала и сказала: «Вот теперь ты красавец!» Когда побежали по ней первые лучи, зелень со всех сторон засверкала так задорно,

что Самсону почудилось, будто она звенит. За две ночи ливня пробила новая трава и цветы красные, лиловые, желтые и других окрасок. Самсон старался припомнить, как назывались все эти оттенки. В бедном и сухом словаре данитов почти не было таких слов: Семадар когда-то учила его, но это было давно. Одно он запомнил: есть зеленый камень чудного блеска, по имени изумруд; однажды Семадар пела песню, где было такое место: «виноградники наши похожи на изумруд» — «керамэну семадар...»

Самсон ехал на коне со стороны земли иевуситов. Почему в ту ночь он вдруг повернул коня к западу, на равнину, в сторону Сорека, — он и сам не знал. Он вообще не знал, даже когда держал прямо на север, куда едет: может быть, в новую землю Дана близ Лаиша, может быть, за Иордан, совсем на чужбину. Вдруг, среди ночи, его потянуло к руслу Сорека. Во все эти дни он почти ни разу не вспомнил о Далиле, а теперь его потянуло к руслу Сорека, где стоит ее шатер. Он даже забыл рассудить, что ни шатра, ни Далилы, вероятно, там уже не будет. Больше недели прошло с их прощанья; и, должно быть, она слышала о его судьбе и вернулась домой. Он и не подумал об этом. Он ни о чем определенно не думал; он так устал, что и спать не мог; когда нужно было дать отдых коню, он сидел неподвижно часами на камне, а потом ехал дальше; но, хотя двигались его руки и ноги, голова не работала. Он только смутно чувствовал, что теперь он бродяга и нет у него нигде близкого человека, а в том шатре будет уют и радостный прием.

Но солнце и зелень подбодрили его; он пустил коня вскачь. Он опять уже был на филистимской земле; но то был округ малолюдный, часто попадались дикие заросли, встретить было некого — да и кто его тронет, когда он не связан? Скоро он обогнул последний холм и сквозь деревья увидел воду. Сухое русло наполнилось, Сорек на зиму стал речкой. Потом он увидел и шатер, и только тут сообразил, что мог бы и не застать его, и весело улыбнулся. Привязав коня, он осторожно, без шума, обогнул палатку и подошел ко входу, чтобы нагнуться над постелью и разбудить — но полотно у входа уже было отвязано, а сзади он услышал возглас и свое имя.

Он обернулся и с крутого берега увидел Далилу в речке; вода ей доходила до колен, волосы под солнцем отливали красной медью, руки были подняты ему навстречу, и, вся вытянувшись к нему, она казалась тоненькой, словно подросток.

— Я знала! — крикнула она; выбежала на берег, подхватила с земли на бегу мохнатый плащ и на бегу закуталась, и через мгновение Самсон на руках уносил ее в шатер.

Она плакала и смеялась заодно, ее руки жадно бегали по его лицу, волосам, по плечам и коленям; она шептала, задыхаясь, какие-то бессвязные слова радости и нежности и повторяла:

— Я знала, что ты вернешься; не хотела уйти...

Потом, не отпуская, она стала совсем по-женски задавать вопрос за вопросом, такие вопросы, что на каждый надо было бы ответить длинным рассказом, а ответов она не дожидалась. Ее расспросы были пока только другой формой ласки, еще одним способом прижаться к нему теснее. Она была в самом деле сама не своя от счастья. Но вдруг ее голос оборвался, она отстранилась и тревожно окликнула его:

— Самсон? Что такое?..

С ним и вправду было что-то странное. Он морщил лоб, моргал, медленно поводил головой, как бывало, когда старался понять трудную мысль. Какую мысль — он и сам бы не умел сказать: он был утомлен вконец, как еще ни разу в жизни; даже имя «Далила» ему трудно было выговорить. Но что-то ему казалось неладно; особенно только что, когда он ее увидел с берега; почему-то это было нехорошо, этого не должно было быть. В просвете вялой памяти мелькнул опять сон, который ему привиделся тогда связанному на коне, — долина, пчелы, стройный мальчик и еще что-то, самое важное, — но просвет сейчас же потух, и он только беспомощно моргал ресницами, глядя на нее.

— Ты устал, бедный мой, — сказала Далила. — Не рассказывай ничего, не надо; потом. Я тебя накормлю, и ты выспишься.

Не замечая, что с ним делают, он проглотил и выпил, что подали, дал себя разуть и обмыть ноги, лег, куда положили, закрыл глаза и не двигался. Далила села на пол у изголовья. Но не шел к нему сон. Спали мысли, спали мускулы, но сам он не спал; это было мучительно, вроде голода или той ноющей боли от тугих веревок. Долго он так пролежал; наконец открыл глаза и встретил взгляд Далилы. Опять мелькнул просвет в его памяти: что-то неладно... — и опять лень было доискиваться, что именно. Только, несмотря на туман сознания, он заметил, что Далила под его взглядом вздрогнула, потом побледнела. На полмгновения проснулось в нем старое, особенное его чутье, обычно помогавшее ему читать мысли человека, но и этот инстинкт, словно один из тех голубей, которым бен-Шуни отрывал у алтаря головки, только махнул крыльями и не полетел.

— Не спится... — протянул он досадливо.

Далила встала, отошла так, что ее не было видно, и оттуда сказала:

— У меня есть сонная трава: но тебя ведь зелья не берут?

Он отозвался:

— Сейчас я не я; меня и ребенок повалит. Может быть, и зелье меня сегодня возьмет.

Она пошла к столу, где расставлены были ее флаконы и баночки: взяла одну, потом другую; но глаза ее тревожно бегали, она закусила губу. Вдруг она пристально взгляделась в него, улыбнулась, подошла к нему неслышно, наклонилась, закрыла ему глаза обеими руками и шепнула:

— Самсон... Я тебе дам сонной травы, только не сразу. Раньше выпей другую. — Он молчал; она шепнула еще тише: — Раньше такую траву, от которой ты меня будешь любить; это будет, как гроза; а потом тебе станет легко, и тогда я дам тебе сонное зелье, и снова все будет по-хорошему...

Он ничего не ответил; она побежала к столу, что-то раскупирила, что-то высыпала в чашечку, стала смешивать и растирать — остановилась, обернулась в его сторону и сказала вполголоса, сквозь дрожь подавленных слез:

— Потому что сегодня ты меня не любишь...

Он не ответил; должно быть, и не расслышал.

* * *

Самсон был прав: прошедшая неделя сломила его, сегодня он был такой же, как другие люди, без защиты пред силой могучих и тонких настоев, которые привезла Далила из мудрого Египта. В шатре было темно: Далила завязала дверь, как будто на ночь; но и ночи такой у них еще никогда не было.

Нельзя про это рассказывать. Но в стране было предание, что когда-то сходили на землю сыновья богов и брали в жены человеческих дочерей для нечеловеческой радости. Далиле казалось, что сегодня это правда. В жилах Самсона плыла самая ясная земная кровь, беспримесный, беспорочный сок всех почв и деревьев и родников Ханаана; только у вола, у коня, у пантеры может быть такая кровь — среди людей ее не бывало и никогда больше не будет. Это принес на пир их Самсон; а Далила принесла свою любовь, похожую на жажду. Если бы можно было человеку много лет прожить в пустыне без капли воды, в каждое мгновение томясь о воде, и не умереть, а только накопить раскаленную жажду: такую жажду принесла на пир их Далила. Но ученые жрецы Мемфиса в течение долгих столетий кипятили в изогнутых склянках семена, травы, орга-

ны зверей, гадов и букашек, отбирая и сочетая острые яды плодородия: десять капель этого зелья брызнула Далила в вино для Самсона и сама до него отпила один глоток. Оттого и нельзя, даже если бы дозволено было, рассказать этот день, как нельзя рассказать солнечный свет или бурю.

Можно было бы рассказать их слова; но они их сами не слышали: говорили, как в бреду, каждый свое.

Так убыло много времени. Солнце шло к закату, когда Далила откинула завесу над входом шатра и опять села на полу изголовья постели. Самсон лежал и смотрел на нее; карие глаза его ушли глубоко под брови и казались черными от расширенных зрачков; но она выпила только один глоток — ее глаза из темно-лиловой рамки утомленных век переливались зелеными огоньками. Солнце било наискось в ее волосы, вся голова ее была в пушистом ворохе золота, и оттуда, как из окошечка, выглядывало бледное, усталое, счастливое лицо. Она гладила его лоб и волосы; расплела ему косицы, проскользнула сквозь них пальцами к самой коже и несколько раз провела кончиками пальцев по темени. Он закрыл глаза и сказал:

— Это хорошо. Еще.

Через минуту она спросила:

— Теперь сам заснешь? Или дать тебе то другое зелье?

Он покачал головой и тронул ее руку: по прикосновению она поняла, что еще первое не развеялось и скоро снова вспыхнет. Она засмеялась от гордого счастья. Несмотря на утомление, ей хотелось плясать или бить в ладоши. На столбе висела лютня; она скрестила на полу ноги, положила лютню на колени и запела что-то задорное по-египетски, оборвала и начала другое, опять оборвала и перешла на песню, которую много пели когда-то в Филистии, но давно уже забыли:

«Я твоя, милый, когда ты со мною; когда ты уйдешь на войну — что тебе до того, чье ложе услышит мой шепот? Я верна тебе, вечно тебе.

Море в часы прилива плещет навстречу луне. Пусть в безлунные ночи кажется звездам, будто ради них вздымается морская грудь. Глупые звезды! Светит ли месяц, скрылся ли месяц — но прилив от него, для него и к нему».

Самсон приподнялся, не раскрывая глаз, и протянул к ней руки; и когда она была в его руках, он, сквозь стиснутые зубы, вдруг сказал ей слова, которых еще никогда она от него не слышала, о которых даже в чаду тех часов не посмела просить:

— Голубка моя — любимая...

Ей казалось, что она задохнется, так застучало ее сердце от радости; солнце для нее померкло, весь мир исчез, только она и он остались, и между ними это страшное слово «люблю», которого никто, даже сам вечер, не должен подслушать; и, прильнув к его уху, она едва внятно переспросила:

— Любишь?

— Люблю.

— Давно ли?

— Всю жизнь.

— Отчего не сказал?

— Я говорил, ты забыла.

Он откликнулся как в бреду, без смысла, но ей казалось, что она понимает; или ничего не казалось — просто было без конца хорошо.

— А ты знаешь, сколько я по тебе тосковала?

— И я по тебе тосковал.

— Еще до той ночи — в Газе?

— Еще с того первого утра — весной — когда ты сказала: «Я боюсь» — помнишь? — в Тимнате.

Что-то резко ушибло Далилу в самое сердце. Ей стало страшно и холодно; она попыталась высвободиться и жалобно сказала:

— Пусти меня, Самсон, я хочу видеть твои глаза...

Но уже в глазах Самсона ничего нельзя было прочесть, кроме горячки от последних капель ее зелья; и глядели они как будто не видя, взором человека в горячке. Она хотела вырваться, но он притянул ее к себе и говорил, задыхаясь:

— Я тебя любил все эти годы. Только я не знал, что ты можешь вернуться. Ты не умерла? Или умерла и все-таки вернулась? Я отомстил за тебя — я сжег Тимнату дотла, я раздавил Ахтуру череп между коленями. Но я не думал, что ты вернешься. В Газе, в ту ночь, когда ты меня спасла, мне казалось, что я узнал тебя, — почему ты не назвалась, не сказала, кто ты? Но я узнал тебя; только вслух не говорил, но в душе, каждый раз, и тогда в Газе, и в эти семь ночей в твоём шатре, и сегодня — я про себя твердил твоё имя.

Еще до того, как он договорил, она пыталась высвободить руку, чтобы закрыть ему губы, не дать произнести то имя; но в тисках его рук нельзя было шевельнуться, и прямо в лицо ей, обжигая дыханием, он повторил два раза:

— Семадар... Семадар...

Она закричала: «Пусти меня — я тебя ненавижу!» — но крик утонул в его поцелуе, и она не могла оторвать губ. Со стоном и хрипом последнего бешенства она укусила его; но Самсон не почувствовал. Крепкие снадобья делали жрецы в Мемфисе; пять капель считалось довольно, а она дала Самсону десять; и, должно быть, последняя капля была крепче других.

Стемнело. У входа показалась негритянка со светильней в руке. Она осторожно заглянула в шатер. Госпожа ее лежала на ковре, лицом вниз, закутав голову в скомканное платье; при неверном свете эфиопке почудилось, что шелк этого платья изодран в лоскутья. Далила подняла голову, и лицо ее тоже показалось рабыне странным. Без слов, она жестом спросила, подавать ли ужин; Далила жестом ответила: ступай прочь. Негритянка оставила светильню у двери и ушла.

Далила поднялась. Зубы ее стучали, стало холодно; она завернулась во что попало. Самсон давно лежал с закрытыми глазами, не шевелясь; на шорох ее движений он не отозвался. Она подошла к постели: он, по-видимому, спал, но дышал беспокойно и двигал губами. Она усмехнулась горько и злобно; сто недобрых мыслей хлынуло ей в голову, но для больших решений она еще недостаточно пришла в себя от той минуты пытки и позора. Ей только захотелось разбудить его и сказать... Что сказать, она так и не придумала. Пусть спит. Чем крепче, тем лучше. Можно будет придумать, из ста недобрых мыслей выбрать одну; только нужно время и чтобы он спал. Но спит ли он? Крепко ли?

Она его окликнула, не очень громко, первыми словами, какие пришли в голову:

— Самсон! Филистимляне идут!

Он сразу рванулся на постели, сел и оглянулся вокруг.

— Я пошутила, — сказала она, — хотела проверить, уснул ли ты.

Подняв светильню, она пошла к своему столу, отобрала нужные флаконы и смешала ему сонное питье. Он сидел, бормоча, потирая то лоб, то затылок, то грудь. Каждый звук его движений хлестал по ней противно и ненавистно; ее рука задрожала от отвращения, она едва не сбилась в счете капель. Опять ровно десять. Ей подумалось: почему не больше? не двадцать? не весь флакон? От двадцати, говорят, человеку не проснуться. Но другая какая-то мысль, еще не вполне созревшая, перебила эту. Десять, больше не надо. Пусть заснет; она останется одна, в тишине, и можно будет думать: это главное.

— Пей.

Он выпил послушно, обтер губы тылом руки, по-мужицки, лег и закрыл глаза. Даже вкус того, что выпил, он не сразу понял; только спустя минуту он сделал гримасу и лениво проговорил: «Горькое». Вдруг у него как-то отвалились и голова, и руки, и дыхание выровнялось, и он заснул.

Далила долго стояла у входа. Было совсем холодно: опять застучали у нее зубы. Из зарослей позади шатра донеслось ленивое чавканье и стук переступающих копыт о траву, и голос негритянки, ласкавшей привязанную лошадь. Далила прислушалась, сдвинув брови; оглянулась на постель и неслышно пошла в сторону рощи.

Эфиопка была родом из нубийской пустыни, где мужчины и женщины с детства умели держаться верхом на верблюде, на муле, на чем угодно, даже на лошади. После разговора с Далилой она тихо увела коня подальше от речки, трепля ему шею и уговаривая не топать и не ржать. Отойдя достаточно далеко, она вскочила на него без стремян и понеслась в сторону Экрона.

* * *

Далила снова сидела на ковре, не сводя глаз со спящего. Она закуталась и сгорбилась, не было видно ни лица, ни волос; со стороны можно было ее принять и за ребенка, и за старуху. Самсон не шевелился; он дышал во сне ровно, медленно и беззвучно. Он лежал на правом боку; волосы, которые она оставила незаплетенными, рассыпались на подушке. Одна прядь упала ему на лоб и дальше, до самых губ. Сама не замечая, по привычке, Далила протянула руку и откинула прядь; ее пальцы при этом нечаянно коснулись щеки Самсона — она вся сжалась от испуга, но он не проснулся, даже не двинулся. Близко где-то вдруг хором заплакали шакалы; потом что-то живое грузно бухнулось в воду; Самсон спал.

Осмелев, она поднялась оправить светильню. Свет упал на Самсона с другой стороны; его лицо показалось ей таким прекрасным, что сердце ее на мгновение остановилось и глазам стало горько от слез. Ей хотелось броситься к нему, не то целовать, не то душить. Не от любви, не от ненависти: все в ней теперь отупело, и чувства, и воображение, только работала четкая, упругая, быстрая мысль. План у нее был, но не картина: она послала нубийку в Экрон, знала, что произойдет, но еще не представляла себе, как это получится и на что будет похоже. Поче-

му-то ей захотелось опять окликнуть его — не то снова проверить, крепок ли сон, не то испытать судьбу или саму себя подразнить страхом. Она повторила несколько раз, все громче и громче, тот же оклик: «Филистимляне идут, Самсон!» Самсон не слышал. Она совсем уже громко рассмеялась. Задор охватил ее: она ударила сразу по всем струнам лютни, топнула ногою, толкнула стол с зазвеневшими склянками и баночками, провела всей ладонью по лицу Самсона — он не двинулся, не перевел дыхания. Ей стало смешно и весело, захотелось дурачиться; она присела за изголовьем и заплела одну из его косиц, посмотрела на свою работу, надула губы, опять расплела. Вдруг она изменилась в лице, бросила прядь, отодвинулась, сжалась и забилась в угол. Жуткое чувство охватило ее: все это уже было когда-то. Спящий великан, который не слышит прикосновения; женская фигура у его постели; ночь. Вот-вот он проснется и проговорит то же имя, с которым уснул, самое ненавистное имя на свете, и толкнет ее пяткой в лицо... Она быстро нагнула голову и заслонила ее руками; опомнилась, вскочила, укусила свою руку до боли и сказала, задыхаясь и стуча зубами:

— На этот раз не ударишь.

Только тут она заметила, что ей холодно. Платок, в который она прежде завернулась, давно соскользнул. Надо одеться по-настоящему: к рассвету приедут гости. Она пошла за перегородку шатра, где на длинном толстом шнуре висели ее платья, ощупью выбрала и вернулась к свету одеваться. Теперь она была совершенно спокойна. Поглядевшись в зеркало, распустила и причесала волосы, вытерла лицо и шею сначала мазью, потом насухо; провела рукой осторожно под мышками — гладко ли, не нужно ли провести бритвой или раскупорить баночку ароматного щелока, что лучше лучшей бритвы: но оказалось — не нужно. Потом она оделась, внимательно продельвая все подробности, завязывая, застегивая. Это был один из ее нарядов египетского покроя. К нему полагался «кафтор»: она открыла шкатулку и достала оттуда, из вороха цепочек и ожерелий, аметистовый овал в форме жука; и ей вспомнилась беседа с Самсоном об этом украшении, о золотых кольцах в носу у невольника, о дворянах из земли Вениамина, которым он обрил когда-то бороды, и о том, почему важней человеку ненужное, чем нужное.

В светильне перегорел какой-то комок, мешавший фитилю разгореться, и пламя вдруг вспыхнуло ярче; оно как будто осветило пред Далилой ее собственные думы. Только теперь она

их поняла — отдала себе отчет, почему отлила в сонную чашу только десять капель, а не двадцать и не сто. Убить можно в оплату за боль; но за срам — смерть не расплата. Жить весь век, сколько себя помнишь, одним и тем же голодом; с первого утра ненавидеть одно и то же существо, заслонившее тебе дорогу; пронести свою мечту сквозь семь костров пекла, называемого жизнью, под надругательством пьяных туземцев в ночь пожара, под плетью работорговца, в грязи дешевых египетских притонов, в гареме гнилого старика, покрытого чесоткой, — через это все, и даже через тупо-сытое однообразно-пьяное веселое житье богатой блудницы пронести мечту об одном облике, одном голосе; найти его, взять его, пить его близость... И вдруг узнать, что ты для него не ты, что твои волосы, глаза, песня и ласка милы ему только через память о другой — о той же самой другой, которая отняла его у тебя с первого утра... За это нельзя просто убить: срам останется неутоленным, зеркало, и птицы, и ветер будут над ней издеваться. Одна расплата за срам: срамом.

Ее движения были теперь неторопливые, точные и бесшумные. Она аккуратно расставила у изголовья свои баночки, положила на ковер подушки, уселась на них так, чтобы ей было удобно работать; обмакнула губку в теплую жирную воду, провела ею по волосам спящего, опять и опять, с каждым разом смелее и крепче выжимая ароматную пену. Потом опустила кончики пальцев в одну и другую из банок, растерла пахучую смесь и осторожно вползла пальцами обеих рук в скользкую гриву. Ее пальцы двигались медленно, как гусеницы, подбираясь к коже темени, висков и затылка; добрались, прильнули, нежно и ровно зашекотали, вперед и назад, вправо и влево. Со стороны это было похоже на ласку; самой Далиле минутами казалось, что у нее заснул усталый ребенок и она его гладит по головке, — ей хотелось запеть над ним колыбельную песню; может быть, она и запела ее вполголоса. Но Самсон ничего не слышал.

...Кончив, она так же аккуратно собрала все пряди в сноп, выровняла, уложила в корзиночку; принесла светильню и долго смотрела на лоснящийся череп. Ей даже не пришло в голову, что Самсон теперь сам на себя не похож; она смотрела не на Самсона, а на череп, как рабочий, который выложил ряд кирпичей и проверяет, ровно ли выложил, а про то, какой получится из этого дом, он и не думает. Зато она решила, что теперь надо смыть с черепа мазь и мыло, а то некрасиво: достала другую

губку и полотенца, смыла Самсону темя, лоб, виски; хотела омыть и затылок, но нашла это невозможным и озабоченно прошептала: «Жаль».

Вдруг издалека донесся до нее топот; и, оглянувшись, она увидела, что светает. С той же методичностью хорошей бережливой хозяйки она прикрыла колпачком светильню; в шатре стало темно; и как прежде вспышка фитиля, так теперь вспышка темноты вдруг толкнула и разбудила ее мысли, и они смерчем закружились у нее в голове.

Далила на цыпочках выбежала из шатра. Полнеба уже посерело; со стороны моря, которого отсюда не видно, подымался предрассветный перламутр. Топот стих; отряд, должно быть, спешился, чтобы не шуметь. Скоро она услышала смутный отголосок шагов; потом на пригорке, среди низкой заросли, показался человек. Он ее не мог видеть, но сам он ясно очертился на заревой стороне неба, и каска его тускло блестела. По жестам видно было, что он рассылает солдат направо и налево, чтобы оцепить место со всех сторон. Небо с того краю быстро розовело. На пригорке показался отряд, человек двадцать и больше; у них были копыя. Потом, ближе к реке, выступила на алом небе другая группа; у этих не было копий, но по негромкой команде офицера они подняли кверху тонкие длинные шесты, держа их над головами горизонтально; по второй команде перечеркнули их наперерез другими палками, еще тоньше, и отвесными; по третьей команде горизонтальные шесты изогнулись дугою и превратились в натянутые луки со стрелами наготове, и опустились книзу. Тогда сотник обернулся к шатру, увидел Далилу, махнул ей приветственно рукою и знаком спросил, указывая на шатер: «Там? Спит?»

Далила кивнула головою; хотела было пойти навстречу, но ноги не тронулись с места. Опять охватил ее озноб и застучали зубы. Солдаты медленно подвигались вперед, одни с пиками наперевес, другие с луками пред собою. Офицер шел впереди, подняв рукоятку меча вровень с головою. Он смотрел куда-то через голову Далилы, вытягивая шею; увидел, кого ждал, и замахал им мечом. Далила обернулась: с той стороны тоже шли солдаты. Ей стало страшно, как будто она сама попала в ловушку; и особенно страшными показались ей два солдата без копий и луков, они тащили на ремнях какие-то бревна. Еще через мгновение она узнала эти бревна — видела такие на торговых площадях и в Египте, и в Филистии. Это были колодки для рук и ног, для рук Самсона и для ног Самсона...

Далила пошатнулась, схватилась за голову, закричала что-то непонятное. Офицер встревоженно погрозил ей пальцем и негромко, но внятно сказал — или ей так показалось (между ними еще было шагов тридцать): «Разбудишь».

Она бросилась в шатер. Не отдавая себе ни в чем отчета, с головы до ног дрожа, она схватила спящего за плечи, изо всей силы тряхнула их, застучала кулаками по его груди, по лицу, по голове. Он перевел дыхание, забормотал, но не проснулся. Она нагнулась к его уху и, что было голоса, завопила:

— Самсон, это филистимляне!

Крик ее разнесся далеко во все стороны: снаружи послышалось громкое ругательство сотника, торопливый топот бегущих к шатру солдат. В полумраке палатки она видела, что Самсон мотнул головою; он опять что-то проговорил, двинул рукою — но не проснулся.

Шаги офицера слышались у самого порога. Далила бросилась ему навстречу, заслоня вход. Он грубо выругался, схватил ее за плечо и отшвырнул назад. Она упала у изголовья постели; все помутилось у нее в голове, силы не было больше кричать; но еще одна отчаянная, нестерпимая мысль пролетела в ее сознании — и, ударив себя обоими кулаками в виски, она простонала:

— Самсон, они меня режут — меня — Семадар!

Что-то тяжело рванулось на постели над ее головой. Самсон лежал, но его ровное дыхание оборвалось. Глаза Далилы, привыкшие к темноте, увидели, как поднялись его веки — и сейчас же зажмурились.

Сотник стоял уже внутри шатра и вглядывался. Самсон не шевелился.

— Если ты еще раз откроешь рот, гадина, — прошептал сотник, наклоняясь над Далилой, — я тебя приколю.

Она молчала и смотрела на него, он на Самсона. Самсон опять дышал ровно, как спящий. Офицер повернулся к выходу, уже протянул вперед руку, чтобы жестом позвать солдат, — в это мгновение Самсон, почти не шевелясь, вытащил из-под затылка подушку и швырнул ее сотнику в голову. Сотник пошатнулся, взмахнул руками; прежде, чем он успел упасть ничком, Самсон зажал его руки за спиною в левой руке, а правой закрыл ему рот.

Далила поднялась на колени и, опираясь обеими руками о ковер, подняла к нему лицо.

— Это не я, — сказала она, плача, — это моя негритянка по-скакала за ними...

Он спросил без выражения, как человек, еще не совсем проснувшийся и действующий только инстинктом:

— Много их?

— Много...

— У них луки?

— Да...

Самсон поднял офицера с полу и, держа его пред собою, как щит, выступил за порог шатра. Там стояли солдаты сплошным полукругом; все копыя наперевес, все луки наготове. Два полусотника поместились с обеих сторон входа; у обоих, при виде Самсона с его живым нагрудником, вырвалось одно и то же проклятие.

Самсон держал их начальника на весу одной рукою, другая все еще прикрывала ему рот. Он слегка свернул голову офицера вправо и сказал громко, но спокойно, щуря глаза — потому что прямо против него над зарослями показался край солнца:

— Положите на землю копыя и луки, а сами отойдите на полстрелы назад; иначе я у вас на глазах сломаю ему шею.

Офицер барахтался и что-то мычал — вероятно, пытался крикнуть солдатам, чтобы они его не жалели и делали дело. Полусотники в нерешительности переглянулись между собой, потом оба разом ступили было к Самсону — он двинул рукою, зажимавшей лицо офицера, и тот протяжно застонал. Полусотники отступили назад, растерянно глядя на Самсона. Самсон засмеялся и обвел прищуренным взглядом весь полукруг. Солдаты смотрели прямо на него; но ему надо было разглядеть выражение лиц, чтобы рассчитать момент, когда можно будет броситься напролом к зарослям, — а солнце почему-то сегодня мешало ему видеть. Никогда ему солнце так не мешало — всегда косматый чуб помогал. Он потрянул головою, но еще прежде, чем это сделал, ощутил какую-то странную легкость и прохладу на темени. И еще прежде, чем он успел изумиться, почему не падает ему на глаза тяжелый чуб, левый из полусотников, старый приятель его по ста попойкам, расхохотался и закричал:

— Вот за что ты убил Ахиша — обрил тебя Бритва!

Из полукруга солдат тоже послышался подавленный смех. Самсон мотал головою, как всегда делал, когда силился что-то понять; и каждый поворот головы подтверждал то же странное жуткое ощущение. Пальцы его, сжимавшие обе скулы офицера,

сами собою разжались; он поднял руку к темени, поперхнулся и пробормотал, как-то совсем по-домашнему, словно обращаясь к друзьям:

— Что это такое?

Ему ответил дружный хохот всего отряда. Солдаты сразу, еще раньше полусотников, заметили, что он лыс, как кочевник из Синайской пустыни, и через силу удерживались от смеха; теперь, видя, что и начальники взялись за бока, они дали себе волю, тыкали пальцами, махали копьями, приседали и наперебой выкрикивали какие-то остроты. Теперь было время кинуться на них, прорваться и бежать; но Самсон не двигался, только голова его дрожала мелким трепетом и хлопали глаза. Офицер что-то кричал солдатам; вдруг он, по-видимому, почувствовал, что и на руках его ослабли тиски; почти без усилия он вырвался, отскочил вперед, обернулся на Самсона, раскрыл глаза, разинул рот и тоже расхохотался:

— Как мать родила, — закричал он, — голый, босый и лысый!

Далила подползла к Самсону, тронула его колено и жалобно сказала:

— Это не я, это...

Ей больше ничего не пришло в голову. Самсон не оглянулся на нее, только поднял ногу и босой пяткой ткнул ее в лицо; потом поднял обе руки и прикрыл ими глаза и голову, как ребенок, ожидающий пощечины. Хохот утих; в воздухе засвистел аркан и обвился вокруг его колен — его рвануло вперед, он зашатался, едва не упал, но не двинул руками и только еще ниже наклонил голову. Еще через мгновение он лежал на земле под грудой солдатских тел и не защищался.

Глава XXX. В ЯМЕ

— Это не просто, — ответил саран Газы своим вельможам на совещании после того, как трое из них произнесли горячие кровожадные речи.

Совещание носило городской характер. Из остальных четырех саранов трое сообщили, что не видят надобности в съезде. «На каком дереве повесить пойманного разбойника — сами можете решить». Только саран Экрона обещал прибыть, но от него накануне пришло известие, что расследование по делу о побеге Самсона и смерти Ахиша приняло новый оборот, очень любопытный, и теперь нельзя отлучиться.

— Врет, — сказал один из начальников Газы, когда пришла эта весть. — Вероятно, привезли ему новую певчую птицу заморскую, и сидит он у клетки и слушает.

У сарана экронского действительно была репутация великого любителя соловьев.

Газа, однако, была в сильном возбуждении, и вельможи настояли на том, чтобы совещания о казни Самсона дальше не откладывать. Но на все их мстительные речи старый саран качал головой и упрямо повторял:

— Это все не так просто.

Он был человек образованный и вдумчивый. Знал языки египетский, греческий и арамейский, вел переписку с учеными и правителями других стран; кроме того, хорошо знал и старинное островное наречие филистимлян, так как сарану полагалось на больших праздниках выступать в должности главного жреца и говорить с богами Кафтора на любимом их языке. Население уважало его и охотнее, чем к саранам остальных четырех городов, применяло к нему титул местного происхождения — «авимелех», то есть старшина царей. Но у него бывали странности, и одну из них он проявил на этот раз, отказавшись назначить срок для казни.

Совещание затянулось до полудня.

— Подождите, — сказал саран наконец, — через три дня соберемся опять, и тогда я решу.

* * *

Хотя взяли Самсона экронцы, но, по приказу тамошнего начальства, они отвезли его, вместе с колодками, прямо в Газу.

Экронский саран был человек рассудительный и считал, что украденные ворота — гораздо больший ущерб, чем смерть его беспутного племянника; поэтому удовольствие расправы надо предоставить Газе. В Газе пленника, не снимая колодок, опустили в глубокую каменную яму с маленьким окошком наверху. В первую же ночь он разбил колодки о стену, что сейчас разнеслось по всей Газе и передавалось из уст в уста с удовлетворением; ибо Газа так и ожидала, что Самсон еще не раз успеет ее удивить, даже когда сдерут с него кожу. Но вылезть из ямы по гладкой стене даже он не мог.

Еду и питье спускали к нему через окошечко, и в изобилии — так было приказано; и ел он много. Но голоса его никто не слышал; впрочем, никто с ним и не пробовал заговаривать через окошко, вокруг которого стояла всегда стража.

На закате того дня, когда во дворце состоялось совещание, сотник сунул голову в окошко и сказал:

— Саран хочет говорить с тобой, но не хочет видеть на тебе ни цепей, ни колодок. Обещаешь ли ты спокойно пойти, спокойно держать себя и спокойно вернуться сюда?

Кому я нужен, тот пускай сам придет.

Через час сотник опять просунул голову:

— Если саран придет к тебе, обещаешь ли ты не сделать ему вреда? Саран велел передать тебе так: если Таиш даст слово, я поверю.

Самсон молчал.

Сотник прибавил:

— И еще он велел передать тебе: приду один, когда совсем стемнеет, и без факела.

Самсон думал именно об этом и оттого молчал: засветло ли придет саран смотреть на его лысую голову? Вдумчивый и тонкий человек был старый владыка Газы.

— Обещаю, — сказал Самсон.

* * *

Полночи просидели они оба в черной темноте, Самсон на полу, саран на каменном выступе. Страже велено было не подслушивать, и никто не слышал их беседы.

— Ты наш, — сказал ему саран. — Я знаю все, что произошло на собрании старшин ваших в Цоре. Ты не гневайся, что я об этом говорю: я человек старый. И наши обычаи не ваши: нет во всем этом деле — если так оно и было — позора ни для женщины, ни для ее сына. Но не в крови суть человека, а в душе. Ты наш; в преданиях Крита и Трои говорится о богатырях, которые были похожи на тебя как братья; но никогда не бывало таких людей в роду твоей матери, ни у других колен ее племени. Ты им чужой; может быть, наполовину чужой по крови, но совсем чужой сердцем и обычаем.

Самсон долго молчал, потом спросил:

— Для чего ты говоришь об этом?

— Иди к нам, Таиш, — ответил саран. — Ты будешь у нас полководцем над полководцами. Ты создашь для нас — для народа твоей души — великое царство ханаанское. Дор будет наш, и Сидон будет платить нам дань на севере; Амалек на юге станет нашим уделом до самой границы Египта.

Самсон беззвучно усмехнулся, и саран это угадал, несмотря на мрак.

— Я знаю твой ответ. Ты хочешь спросить: а на востоке? Да, и на востоке должны мы создать единство, порядок, власть и суд. Один Ханаан, от Газы — до Рамота, что в Галааде за Иорданом. Но не торопись отвечать; выслушай до конца. Я тебя знаю. Свой или чужой, ты служил Дану; свой или чужой, ты никогда не согласишься стать разрушителем ни Дана, ни остальных колен. И не это я тебе предлагаю.

Даже в темноте саран увидел светящиеся глаза, устремленные в его сторону, и догадался об их выражении гнева и насмешки.

— Понимаю, — сказал Самсон. — Я покорю для вас юг и север, вы наберете оттуда новые тысячи войска и пойдете жечь и грабить Дана, Ефрема и Иуду — только без меня.

Саран покачал головою.

— Нет, ты не понял. Мы пойдем на Дана, и Ефрема, и на Иуду, и впереди войска пойдешь ты сам; но не жечь и не грабить, а строить. Строить так, как строится от века все великое на свете — силою меча. Скажи, Таиш: вот уже много лет, как ты правишь коленом Дана. Но разве был ты начальником Иуды, судьей для Вениамина? И разве не гневалась твоя душа на этот разброд и раздор между потомками одного праотца? Я говорю с тобой впервые; молодежи нашей, с которой ты пировал, ты тоже говорил только свои прибаутки, а не замыслы; но я твои замыслы знаю, потому что вожди, рожденные вождями, понимают друг друга без слов. Разве не живет в твоем сердце мысль о едином порядке над всеми коленами, до самых далеких, за Иорданом, под Хермоном, где сегодня, быть может, и имя твое неведомо?

Самсон не ответил, но сарану и не нужен был словесный ответ.

— Никогда, ни в одной стране, ни в одном племени, — продолжал он, — не создавался единый порядок по доброй воле старшин на сходке у ворот. Мечом строятся большие царства; чаще всего мечом иноземца. В старину, когда мы еще владели островами на море, много таких царств, больших и малых, создали наши полководцы. Налетали в лодках на берег, где жило племя, не знавшее чина и суда; и, покорив, давали ему власть и порядок и гордость. По сей день на всех языках Моря зовут таких завоевателей нашим княжеским званием — саранами, хотя произносят по-разному. Это пришел я предложить и тебе. Судье не создать царства: царства создают покорители. Покори с нами колена, чью кровь передала тебе твоя мать; железным

молотом скуй из них один прочный слиток; создай из них народ, научи его всему, чему ты сам научился у нас — строю, мере, нравам, и, может быть, настанет день, когда будет не пять, а шесть саранов в Великой Филистии, и шестым будешь ты.

Самсон не спускал горящих глаз с того места в темноте, откуда доносились эти слова. До сих пор он откликался небрежно и раздраженно; теперь его голос прозвучал иначе — голос вождя, беседующего с вождем.

— Ты умеешь говорить, старшина царей, — сказал он. — Умеешь ли ты молчать, когда другой думает?

— Умею. Обдумай, — ответил старик.

Так они просидели в молчании долгое время; потом саран опять увидел против себя две светящиеся точки.

— Знаешь ли ты Филистию, господин? — спросил пленник.

Саран ответил:

— Ни один человек не знает своего лица. Он может знать только отражение в зеркале; если он крив на правый глаз, в зеркале это левый. Что ты знаешь о Филистии?

— Знаю певучую речь, нарядные одежды, учтивый обычай. Знаю и то, что важнее: есть у вас правила для всех дел жизни, от главного до нестоящего дела; чинный порядок на войне, на молитве, в городе. И знаю то, что еще важнее — сытое сердце. Бывает сердце голодное: оно всегда настороже, оно забрасывает сети и высматривает добычу. И бывает сердце сытое, которое зевает перед сном и ни о чем больше не тоскует.

Теперь саран молчал; его глаз Самсону не было видно — они вообще не блестели, а теперь старик еще прикрыл их опущенными веками.

— Судья, городской начальник, сотник, — говорил Самсон, — я всегда на них у вас любовался, так они ловко и точно проделывают обряд своей должности; но потом они приходят в дом блудницы и смеются над этим обрядом. По праздникам они все надевают платья древнего образца, сидят во храме неподвижно и бесшумно. Но потом, за чашей, они говорят про то, что праздничная одежда женщин, с голой грудью, много приятнее будничной, и спорят, у кого круглее грудь, у Харситы или Агувы; а Дагона, которому утром молились, называют помесью осла и селедки, и Вельзевула — если это в Экроне — царем блох.

— В деле, не в забаве познается корень человека, — строго сказал саран.

— В деле познается, что за человек он сегодня, — ответил Самсон, — но только за чашей открывает он тебе, каким он будет завтра; сам, или его внук. Дело? Делают они все, что нужно; так, как нужно. Но надо всем, что делают, трунят; и корень, о котором ты говоришь, давно изъела эта насмешка. Строй вашей жизни подобен лучшей ткани, пригнана каждая нитка к нитке; но ткали ее ваши деды и их давно уже нет; вы ее храните и носите по привычке, без ревности — никто не порвет; но, если порвется, никто не починит... Корень? Все я видел у вас в этой земле, а корня не видел. Пьете вы вкусно, красиво преломляете свой хлеб; но ваши земледельцы, рыбаки, пастухи все остались там, на островах, а здесь вы — как масло над водой, как мох на стене...

— Но нас ты любишь, — сказал саран.

— Вас я люблю, — подтвердил Самсон. — Дана зато не люблю, его родичей ненавижу. Там все по-иному. Когда приходит человеку возраст сидеть у ворот на сходе старейшин, невыносим в своем доме становится тот человек: за месяц до схода и месяц потом говорит только о городской заботе и волчьими глазами глядит на соседа, старого друга, который рассудил по-иному, не по его суждению. Там левит — пройдоха с масляным языком; разбуди его со сна — он тут же сочинит молитву новому богу, о котором никогда не слышал; но если ты посмеешься над этой же молитвой, он огорчится и отвернется. Жизнь их — как песок, вся из мелочей, но за каждую мелочь они готовы ссориться, радоваться безмерно, убиваться безгранично. У вас есть порядок даже в пашне туземца; он, под вашим надзором, тоже проводит ровные полосы. У Дана нет надзирателя, пашет он сам, суетливо, бестолково; завидует и соседу, и туземцу, всегда кого-то хочет опередить на всех дорогах, — и оттого повсюду заброшены его сети, повсюду засеяно его зерно. Чина и правила там нет: есть мешанина городов, божниц, мыслей; земледелец ненавидит пастуха, Вениамин Иуду, пророки — всех. Но над этим есть одно единое для всех: голодное сердце. Жадность ко всем вещам, виданным и невиданным. В каждой душе мятеж против того, что есть, и возглас: «Еще! Еще!»

— Сброд, — брезгливо отозвался саран, — объединит его только палка. Это я тебе и предлагаю.

Самсон засмеялся:

— Зачем это вам, саран? Чтобы они вас еще скорее проглотили? Все равно проглотят.

Саран отшатнулся; но он был человек сдержанный. Не подаваясь раздражению, он спросил:

— Неужели ты в это веришь?

Он при этом поднял веки и снова увидел глаза Самсона: они как будто вонзились ему теперь глубоко в самый мозг. Самсон ответил:

— Вожди, рожденные вождями, понимают друг друга: неужели ты в это не веришь?

Теперь в голосе сарана проскользнуло нетерпение. Он сказал:

— Вот во что я верю: когда человек любит одно племя, а другое ненавидит, и в первом у него друзья, а во втором — предатели, то место его — среди своих и против чужих.

— «Любит», «не любит», — ответил Самсон презрительно, — мудрый ты человек, а со мной говоришь языком женщин. Разве по любви распознается свое и чужое? Разве ты любишь должность сарана, любишь считать налоги и судить воров? Я много слышал о тебе: любишь ты свитки из папируса, звезды в небе и рассказы мореходов. А ты все-таки саран.

— Мой отец был сараном, и все деда, — напомнил ему голос из темноты.

В ответе Самсона уже послышался гнев:

— Твой намек я понимаю. Оставь это. Если бы и правдой было то, что дошло до тебя со сходки в Цоре, — что в этом? Пусть один из двух предков моих играл на лютне и носил пеструю шапку. Но второй муравьем прополз через рабство, через пустыню; муравьем прорыл ходы в сухой земле этого проклятого края; и все, что встречал, обглодал и проглотил. Может быть, и встретились они лицом к лицу в час моего зачатия; но, если и так, то и во мне давно обглодал муравей твою пеструю шапку. Ваша кровь — кубок вина; та кровь — чаша яду; если смешались они — что осталось от вина? Я не ваш. Зови меня на свои попойки, филистимлянин, — я приду и позабавлю тебя... даже если попойка будет вокруг моей плахи. Пить и шутить с вами я люблю. Но строить? Ты сказал «строить»? С вами? Из вас? Я в вас не верю.

Саран вздохнул, поднялся, пошел прямо на блеск самсоновых глаз и положил ему руку на плечо.

— Юноша, — заговорил он совсем по-другому, голосом, от которого Самсон сразу притих, — я не хотел упоминать о плахе, но ты сам о ней заговорил. Пойми хоть это: я не хочу плахи.

Для меня ты — как конь чистой породы, как статуя, сделанная большим искусником, как один из героев, которых когда-то рожали наши женщины от поцелуя богов. Я хочу тебя спасти. Я трижды старше тебя, я все знаю; но я хочу тебя спасти.

Под его рукой огромное плечо дрогнуло. Самсон осторожно взял эту тонкую, хрупкую руку и долго держал ее, не отвечая. Потом он вдруг поднес ее к губам и поцеловал.

— Иди с миром, добрый человек, — сказал он. — Пропадать коню, так пропадать; но это конь — не гиена.

* * *

На третье утро опять собрались вельможи во дворце у сарана. Прибыл и экронский саран и рассказал им подробно о следствии. Сначала он думал, что Самсона в пути плохо связали и плохо стерегли и виноваты офицеры. Но офицеры все единогласно присягнули, что Ахиш сам велел посадить пленника на лучшую лошадь в отряде и не стягивать ремней под брюхом коня; и что сам, как только понесла его лошадь, он два раза свистнул коню Самсона по-своему, тем свистом, который хорошо знали все его приятели. Выяснилось также, что во время стоянки близ Адораима он вел какие-то тайные переговоры с людьми из Иуды, людьми вида хитрого — и зажиточного. Также выяснилось, что Ахиш недавно проигрался дотла.

— Словом, измена, — закончил саран Экрона свой доклад. — Стыдно мне, что это был мой племянник; но дрянной был он человек, и давно все это знали.

Советники переглянулись.

— Странно, — сказал один, глядя в землю, — странно, что именно ему было поручено такое важное дело.

— А кого я мог послать? — спросил саран, разводя руками. — Все старшие офицеры просили их освободить. Все говорили так: брать Самсона силой, хоть и трудно, мы бы охотно пошли; но ведь вы, сараны, решили иначе — получить его связанным, словно тюк шерсти в счет подати; это работа не для нас. Один Ахиш согласился, и еще с радостью — собака!

И хотя слова его были гневные, но он очень весело рассмеялся. Он был человек живого нрава, охотник поест, сам большой игрок, и ничего близко не принимал к сердцу.

— А что вы решили сделать с Таишем? — спросил он.

Все обернулись к сарану Газы. Старик беспокойно заерзал в своем кресле, замылся, закашлялся; но все же ответил твердо:

— Мое решение постановлено: пусть сидит в тюрьме, а казнить его не позволю.

Вельможи развели руками.

— Старшина царей, — сказал один из них, дозволю представить доводы о том, как опасно держать такого пленника в тюрьме. Человек он необычайный, преград для него нет; если вырвется даже из каменной темницы, никто не изумится. И где порука, что колено его не подошлет в Газу таких же проныр, как те, что подкупили Ахиша? Игроки, по горло в долгах, найдутся и среди наших офицеров. Хуже всего то, что половина сотников у нас — его друзья. Теперь они сердиты на Таиша, помнят еще о том, как он осрамил нас и обесчестил городскую стену. Но через несколько месяцев досада забудется. Такой уж мы народ: мало думаем о том, что было, и о том, что будет. Солдаты хорошие, но сторожа плохие.

Старый саран, которому эти слова еще живее напомнили беседу в тюремной яме, нетерпеливо и упрямо замахал на говорящего рукою.

— Ты меня не учи, — сказал он раздраженно. — Не позволю казнить, и кончено. Нельзя рубить голову такому человеку, все равно как нельзя сжечь свиток, исписанный стихами, или разбить серебряный кубок критской работы. Для зловонного туземца это дело — не для народа, чьи прадеды еще рождены были во дворцах. Таких людей, как он, редко посылают на землю боги. Ахтур, защитник Трои, был из той самой породы; грек, убивший его, привязал его тело к колеснице и волок его за ноги по полю — но на то и был он грек, сын безродного и необразованного племени разбойников. Разве мы греки?

Вельможи переглянулись и опустили головы. Они знали: начал их саран поминать старые сказания — спорить с ним дальше бесполезно.

— Я вас помирю, — вмешался гость из Экрона. — Твои советники правы, отец и брат мой: держать этакую птицу в клетке — все равно, что разложить костер на гумне в день умолата. Но я вас помирю. Я ведь уже давно вожусь с птицами в клетках. Есть у меня на службе раб из холодного заморского края, большой искусник в обхождении с соловьями. Он им осторожно выкалывает глаза: тогда они лучше поют, а улететь не могут. Прав и саран ваш, господа вельможи: пристойно ли вам

собрать на площади сволочь нашу и туземную и драть кожу с человека, с которым вы сто раз сидели за столом? Да и я, признаться, благодарен ему за то, как он расплатился с моим вороватым племянником; странное, конечно, спасибо за помощь в побеге из плена, но это его дело, не наше. Словом, поступите с Таишем, как с соловьем: тогда он будет безопасен, малое дитя с ним справится; а он погорюет несколько дней — и примирится, и станет опять любимым шутком Филистии. Я этих дикарей знаю: подвесь его хоть вверх ногами — он через час привыкнет.

— А Железные ворота? — спросил один из собрания, человек мстительного нрава.

— Что такое ворота? — ответил саран экронский. — Ворота в стене — что глаз во лбу. Око за око — это, кажется, их собственная поговорка. И прекрасно.

* * *

Так они и сделали. В темную ночь разбудили Самсона окриком сверху и спустили к нему в яму толстую плетеную веревку: вылезай. Он полез, хватаясь обеими руками за кожаные узлы. А наверху по обе стороны окна стояли два солдата с прутами из раскаленного железа и ждали, чтобы в окне показалась его голова...

Глава XXXI. СРЕДИ ДРУЗЕЙ

Слепой Таиш жил в туземном предместье Газы. Ему дали было знать, что он может поселиться в пристройке саранова дворца и что дадут ему мальчика-поводыря и молодую рабыню; но он ничего не ответил и ушел в предместье, опираясь на плечо водоноса.

Это все не сразу случилось. Когда Самсону выкололи глаза горячими прутьями, он взвыл от боли, но не сорвался с каната, а схватился рукой за подоконник, протиснулся наружу и, рыча, бросился неведомо на кого. Но все разбежались; только один солдат, как раз ни в чем не повинный, споткнулся и упал. Самсон услышал, навалился, выломал ему руки и свернул голову, как птице на кухне. Потом он остался на опустелом темном дворе, мотая головой и бормоча. Он не сразу понял, что с ним

проделали; или, может быть, уже знал, что теперь он слепой, но не это владело им, а гнев за то, что с ним посмели сыграть такую шутку. Время от времени он выкрикивал грязные ругательства, окликая сотников по именам и вызывая их всех разом на бой. Ему не отвечали: так было приказано — не дразнить пленника и не подходить к нему, пока не успокоится.

Он пошел куда попало, протянув вперед руки, добрался до какой-то стены, сел под нею и заснул. Когда проснулся, ему издали крикнули, что рядом стоит тарелка варева и кувшин вина. Он съел и выпил все до конца и задумался.

Так продолжалось долго, несколько дней по счету людей, для которых день — день и ночь — ночь. После этого он ушел в предместье.

Там сбежались туземцы и стали ссориться — кому его притюжить. Каждый выхвалял свою хату. Самсон не вмешивался. В конце концов одна старуха решила спор, сказав:

— Жить господин должен у Анкора-плотника. Никому его не уступит Анкор — сами знаете.

И все, притихнув, сразу согласились, что честь эта по праву принадлежит Анкору-плотнику; хотя Самсон, если бы его спросили, не мог бы ответить, почему. Он знал Анкора, как знал почти каждого из них; должно быть, и прятался не раз в его хижине, как и в лачугах других туземцев. Но они его не спросили и порешили в пользу Анкора-плотника. И плотник и его семья ходили за Самсоном с жалостью и благоговением.

Он не горевал. Один раз в жизни испытал он настоящее горе, настоящий голод о чем-то страшно дорогое и страшно невозвратимое: он любил женщину, ее убили, и он долго тосковал по ней в пустыне. Но тогда он был очень молод. Теперь он ни по чем не голодал и не тосковал. Очень было неудобно без света; но Самсон давно не дорожил всем тем, что может увидеть человек, и не скучал ни по облику вещей, ни по облику людей. Давило его только унижение, целый ряд унижений: то, что его за деньги выкупили у Ахиша; то, что на глазах у него убили Нехуштана и он не мог заступиться; то, что ему обрили голову и до сих пор она лысая, только начинает щетиниться; также, между прочим, и то, что ему выкололи глаза. Только постепенно он сообразил, что последняя обида — самая важная, что жизнь его кончена, даже если бы он еще хотел жить; но это он сообразил только рассудком, словно выкладку делового расче-

та, — к его самочувствию это ничего не прибавило. Видно, он уже раньше внутренне покончил с жизнью — еще тогда, когда, разбив череп Ахишу, поехал, куда глаза глядят, прочь и от Дана, и от Филистии. Когда-то ему рассказывал путник, побывавший на Хермоне, как его там захватила в горах холодная буря: снег валился со всех сторон, руки и ноги онемели, человек сел под камнем и скорчился и перестал заботиться о том, что есть и что будет: еще один палец отмерз, ушей как будто не стало — но не все ли равно? Самсон замерз еще в ту ночь после сходки в Цоре.

О Далиле он по-настоящему и не вспомнил ни разу. Он, вероятно, уже знал, кто она была и за что мстила ему; но, может быть, именно поэтому никогда о ней не думал. Совсем как тогда, в молодости, в Тимнате и в доме Бергама, где вертелась у него пред глазами ревнивая девчонка, дочь аввейской кухарки, и он привык не замечать ее, как она ни навязывалась, и даже забыл расспросить, что с нею стало во время пожара, — так и теперь она для него была вроде докучливой осы: надо было ее прогнать или убить, но вспоминать о ней, даже если укусила, человек не станет. А по ночам к нему приходили дочери туземцев; иногда он их отсылал, иногда оставлял, и был равнодушно сыт.

Постепенно прошла и острая боль унижения, особенно по мере того, как подымались у него на темени новые волосы, уже не колючая щетина, а волосы, в которые можно было запустить пальцы. Он перестал прятаться в лачуге, начал выходить на улицу предместья, держась за руку ребенка. Там вокруг него собирались дети туземцев, и он вел с ними долгие беседы. Он привязался к ребятишкам, научился распознавать их черты, проводя пальцами по лицам; иногда позволял им гладить свое лицо, шутливо захватывал в рот их руки и рычал, когда они с хохотом и визгом старались вырваться. Он им рассказывал свои похождения и задавал загадки. Взрослых кругом не было: взрослые туземцы днем все были на работе, а филистимляне в предместье не приходили.

* * *

Давно прошли дожди. Волосы у Самсона были теперь такой же длины, как у всех людей, и он уже не стыдился выходить из предместья. Но в главную часть города, где жили филистимляне, его не тянуло. Зато он уходил с гурьбою детей в сторону

Маима, гавани Газы, и там сидел с ними на песчаном берегу или учился у них искусству плавать. Эта наука далась ему легко; скоро он стал заплывать совсем далеко, так далеко, что не слышал уже детских окликов с берега и находил обратный путь только по тому, с какой стороны жгло солнце или дул ветер; вообще по звериному своему чутью, которое за эти месяцы в нем еще больше развилось.

Здесь, на берегу, однажды произошел такой случай: море было беспокойно, и вдруг неподалеку раздались женские крики, а с моря послышался жалобный детский зов. Самсон подумал, что это зовет на помощь кто-нибудь из его маленьких вожатых; он пошел в воду и поплыл в сторону крика, чутьем угадывая приближение каждой волны; и, плывая, он кричал тонущему ребенку: «Где ты? Отзовись!» Два раза он услышал слабый отклик, и наконец рука его дотронулась до головки с длинными волосами: девочка. Он взвалил ее себе на спину (он был так велик, что и с этой ношей подбородок его остался еще высоко над водой) и поплыл назад. На берегу его окружили плачущие женщины, кто-то взял у него девочку, потом кто-то закричал: «Жива!» — потом нежные тонкие руки схватили руку Самсона, губы прижались к ней, и женский голос сказал:

— Ты мне спас мою старшую дочь — после всего зла, что мы тебе сделали. Как мне отблагодарить тебя?

Самсон нахмурился. Давно уже не слышал он филистимского говора, отчетливого и певучего, особенно у женщин из богатого круга. Он высвободил руку, отвернулся, окликнул свою туземную детвору и ушел.

Но на следующий день, когда он сидел на улице среди ребятшек и учил их клокотать горлом по-верблюжьему, дети вдруг притихли и шепнули ему:

— Вот идет та маленькая госпожа, которую ты вчера вытащил из воды, и с нею негритянка.

Они расступились. Девочка подошла прямо к Самсону и сказала мягко, но без робости:

— Не сердись, добрый господин, что я пришла. Мать моя очень огорчилась, что ты не позволил ей поблагодарить тебя; но ведь мне ты позволишь?

И она тоже поцеловала ему руку, и он не отнял руки. Он ясно представил ее себе: по голосу, лет девяти; не такая, как туземные дети, которые глядят на чужого человека издали, исподобья, с пальцем во рту; и не как дети из Цоры, которые

подбегают вплотную и смотрят во все глаза, готовые распрашивать или насмеяться; спокойная, уверенная, без смущения и без любопытства, стоит она пред ним, должно быть, среди толпы чужих детей, ни на кого не обращая внимания, как будто и нет никого.

— Как тебя зовут? — спросил он.

— Амтармагаи. Мой отец — Таргил, начальник морской стражи Маима; он говорит, что знает тебя, господин, еще с того времени, когда был он сотником на холме царя Миноса.

Самсон улыбнулся: он тоже вспомнил сотника Таргила, жареную рыбу в харчевне и синяк под глазом у раба. И — Амтармагаи? Так звали жену Бергама в Тимнате; Самсону когда-то рассказывали филистимские приятели, что это было имя троянской царевны. Видно, девочка была из знатной семьи.

— Отец, — продолжала она, — прислал тебе кувшин вина с островов; прими его, добрый господин, и разреши мне побыть с тобой недолго.

Он погладил ее волосы; потом коснулся лба — и остановился, боясь, что она отшатнется; но она стояла спокойно. Он осторожно провел пальцами по ее лицу, по тонким изогнутым бровям, по длинным ресницам; ноздри у нее были упругие и слегка дрогнули, раздуваясь, под ее прикосновением; лоб и нос представляли одну черту без перерыва; губы были слегка пухлые, но не торчали вперед, как у туземных детей. Когда он кончил, девочка просто спросила:

— Я тебе нравлюсь? Говорят, я похожа на маму; но она гораздо красивее.

Потом, сев возле него, она рассказала ему, что видела его часто в Газе и что вчера у них дома целый вечер говорили о нем, и Таргил, отец ее, утверждал, что другого такого богатыря не было и не будет; а мать сказала, что все ее подруги, и даже она сама до замужества, заглядывались на Таиша. При этом в словах девочки не было ни одного намека на то, что он в плену, что он острижен и слеп: она с ним говорила так, как говорила бы год тому назад.

— Ты что-то рассказывал этим детям, — сказала она. — Почему они отошли? Я ведь не мешаю.

Он подозревал детей и представил им звериный совет в лесу, и Амтармагаи смеялась с ними вместе. Потом она сказала:

— Теперь мне пора домой; но я еще раз приду к тебе — можно? И скажи Уланголо, — это моя негритянка, — куда отнести вино.

Во второй раз она пришла через неделю, и он ей обрадовался. Она посидела с ним и с детьми, а потом спросила:

— Могу я поговорить с тобой одна? — Дети отошли в сторону, и она сказала:— Мама очень огорчается. Я — старшая дочь, и ты меня спас от смерти, и по обычаю ты должен был бы сидеть у нас почетным гостем на пиру. А ты и встретиться не хочешь ни с ней, ни с отцом. Им стыдно перед дедушкой; а он говорит, что, если бы мог двигаться, он бы сам к тебе пришел, несмотря на твой гнев; но он стар и не ходит, и притом он... — Тут она в первый раз замялась и прошептала: — Он слепой. Он очень мудрый человек, дедушка; он знает все обычаи. Он говорит, что боги на нас сердятся — оттого я и тонула; и он говорит, что, пока мои родители не поблагодарят тебя как следует, боги не простят, и со мной еще случится беда.

Она прижалась к Самсону и погладила его лицо — она видела, что так делали туземные дети, и что ему это приятно.

— Приди к нам, добрый господин. Если ты не хочешь, никого не будет, кроме отца и мамы и деда и меня. Я сама тебя приведу. Приди, я тебя очень прошу: ради меня, чтобы боги перестали сердиться.

* * *

— Самая тяжелая ноша на земле — досада, — сказал слепой старик, дед Амтармагаи. — И не стоят ни люди, ни боги, ни весь свет того не стоит, чтобы тащил на себе человек эту ношу. Я вот перестал видеть от старости: меня ослепили боги. А тебя — люди. Что за разница? На кого тут гневаться? Ты калечил наших, а потом наши пели с тобой песни вокруг стола. Теперь наши тебя искалечили. Где разница? Нет смысла в том, чтобы хранить друг на друга злобу. Что было, того все равно что не было. Пока живешь, надо жить так, как плывет щепка по реке: плывет, куда плывется, наскочит на камень, зароется в ил, опять уплывет, ни с кем не дружась и не ссорясь.

Самсон слушал его молча, долго думал и наконец кивнул головой, а Амтармагаи захлопала в ладоши.

Так стал Самсон понемногу встречаться с филистимлянами. Сначала только в доме Таргила, который принял его с шумной радостью, как старого друга, но потом и по-прежнему, в харчевнях Газы. На первых порах и они стеснялись, и он; но вино, песни, особенно искренность их радушия скоро стер-

ли неловкость. Они действительно были народ беззаботный, живущий сегодняшней погодой; долго не помнили ни им, ни ими причиненного зла. А Самсону было, в сущности, все равно, с кем играть, с детьми или взрослыми. И у них было много врожденного такта. Ни разу никто из них, даже пьяный, не обмолвился при нем, не сказал ему: «Посмотри», не предложил игры, при которой нужны глаза, не вспомнил о прежней гриве и косицах; даже Таишем они как-то перестали его называть — это прозвище было когда-то дано косматому человеку; они чаще звали его «Самсон». Зато о подвигах его говорили охотно и даже охотно трунили по поводу Железных ворот, которые ввиду пустоты городского казначейства пришлось заменить деревянными.

На пирушках они первое время не просили его ни петь, ни шутить: дали ему свыкнуться и разойтись. Понемногу так и случилось. Он начал подпевать хоровые припевы, начал вставлять остроты в общую беседу, начал задавать загадки. Правда, он это делал не сразу, а только тогда, когда сам он и все другие уже много выпили, и потому они, должно быть, не заметили, что прибаутки и загадки Самсона теперь не такие, как раньше, не просто шаловливое дурачество, а насмешки и горечь; но он сам того не знал, и они тоже не заметили.

Однажды он спросил:

— Что это такое: самые долгие похороны?

Они не отгадали, и он объяснил:

— Жизнь.

В другой раз он спросил:

— Что это такое: десять веков за это воюют десять народов, а кто победит, тому достанется ложе из репейника и чаша полыни?

Они не отгадали, и он объяснил:

— Земля Ханаанская.

Они были в восторге и хохотали без конца; и скоро — саран экронский был прав — Самсон опять сделался любимой забавой Газы. В первую ночь весеннего праздника друзья даже затащили его к себе во храм, усадили на первой скамье, у самого жертвенника Дагона, угостили пресным хлебом и четырьмя чашами вина: все это были обычаи, перенятые у туземцев, но в земле Дана, Ефрема, Иуды еще не привившиеся. Полагалось всю эту ночь провести во храме или на храмовой площади, и ни один приличный муж не спрашивал утром жену, с кем

и как она плясала. Некоторым из них мог бы это рассказать Самсон. Теперь он уже не чуждался филистимских женщин: все равно.

Только жил он по-прежнему у Анкора-плотника в туземном предместье.

* * *

Шел за месяцем месяц, подходила жатва, и Самсону стало скучно. Никуда его не тянуло, ни к свету, ни к своим, ни в драку: просто было скучно. Иногда ему казалось, будто и собутельникам его не так уже весело с ним, как бывало. Вернее, веселье было то же, что и раньше, но недоставало в нем какой-то острой приправы. И причину он тоже понял.

Однажды он загадал им:

— Что это такое: во дни бурь все ему рады, а летом никто?

— Солнце! — закричало несколько голосов, и Самсон кивнул головою, хотя задумал он совсем не то. Он задумал: Таиш. Таиш, когда был грозой, и Таиш, безопасная игрушка.

Глава XXXII. ШРАМ МАНОЯ

При храме Газы был особый двор, где содержали быков заморской породы, для боя и жертвоприношений; и однажды такой бык вырвался и понесся по городу.

Самсон сидел на завалинке у лачуги Анкора-плотника и, по обыкновению, шутил с малышами. Из дому доносились звуки ножа, которым Анкор обтесывал доску, и звуки песни, которую тот мурлыкал себе под нос.

Вдруг издали послышалась тревога; по улице бежали туземцы и что-то кричали; закричали что-то и дети и кинулись прочь. Какая-то женщина схватила Самсона за руку и сказала, задыхаясь:

— Беги со мною, господин: храмовый бык вырвался!

Но он, просто по привычке убежать, медлил и начал спрашивать; женщина с воплем отпустила его руку и бросилась прочь; а Самсон услышал за собою встревоженный голос Анкора-плотника, выбежавшего на улицу. В ту же минуту поразил его слух торопливый, семенящий, но грузный топот. Он поднялся и вытянул вперед руки, теперь только соображая, что он слеп и беззащитен. Со всех сторон, но издали раздались кри-

ки ужаса; но один голос — Самсон узнал голос Анкора-плотника — кричал прямо перед ним, в двух шагах, не больше. Сейчас же послышался тяжелый удар и новый вопль множества зрителей; и мимо Самсона прошла, задев его платье, громадная туша. Этого было ему достаточно: он навалился на быка сзади, дотянулся до рогов, соскользнул на землю и напряг мышцы, выворачивая заревевшему зверю голову. Ему стало весело: давно он не делал ничего путного, и теперь видел, что сила его не убывала. Рев скоро сменился хрипением, потом бык повалился рядом с ним; наконец затрещали позвонки, и дело было кончено.

— Господин, — сказали туземцы, когда он поднялся, — бык забодал Анкора-плотника. Бык бежал на тебя, но Анкор стал перед тобою, чтобы заслонить тебя.

— Где он? — спросил Самсон, тяжело дыша.

— Мы отнесли его в дом: слышишь, там уже голоса его жены.

Самсон пошел в хижину и сел на полу у шкуры, на которой лежал его домохозяин. Тот тихо стонал, пока другой туземец, очевидно опытный в деле врачевания, трогал его раны. Кончив осмотр, туземец сказал: «Помирает»; Анкор перестал стонать и только хрипел при каждом дыхании.

Самсон не знал, что сказать. Он вспомнил, что никогда собственно не говорил с приютившим его человеком. Люди в доме Анкора и вообще все туземцы смотрели на него как на существо сверхъестественное, служили ему молча и только отвечали на вопросы, и то робко, — а спрашивал он их редко. Но теперь надо было заговорить, и Самсон сказал:

— Ты спас мне жизнь, и ты принял меня в свой дом, и кормил меня, и заботился обо мне. Ты хороший человек, аввеец.

— Уходите все, — проговорил плотник; и его жены ушли из лачуги и увели плачущих детей. Самсон и Анкор остались одни; тогда Анкор сказал, с трудом и с долгими остановками: — Я счастлив, что мог сделать это малое для тебя; потому что ты — великий благодетель бедного люда; и еще потому, что ты — сын Маноя из Цоры.

— Ты знал моего отца? — спросил Самсон.

— Я был рабом в его доме, когда тебя, господин, еще не было на свете.

Самсон не сразу ответил. Его память напряженно работала. Это было, когда они все шли на свадьбу в Тимнату. Маной ехал на осле, а он, Самсон, шел рядом. Шрам на лбу Маноя,

который тот всегда потирал в минуты замешательства. И тогда Маной сказал, что был у него — «давно, до твоего рождения» — раб из аввейцев. И Маноя кто-то ранил; и аввеец защищал Маноя. «Я отпустил его на волю. Никогда не говори об этом с матерью, никогда не расспрашивай меня».

— Аввеец, — спросил Самсон, — это ты, значит, когда-то спас и отца моего от руки разбойника?

Плотник ответил:

— Нет, это было не так. Но я помог ему убить одного человека и зарыть его в землю; и за то он отпустил меня на волю.

— Убить? — повторил Самсон растерянно: это было так непохоже на тихую повадку Маноя. Вдруг его охватила какая-то еще смутная мысль; он весь насторожился и вытянул шею к умирающему. — Когда это было? — спросил он.

— Давно; твоя мать еще была бездетна. Это было в самый год землетрясения.

— Расскажи мне про это дело, — велел Самсон; голос его звучал хрипло, и вдруг пересохла гортань.

— Господин мой, — сказал аввеец, — заклил мне тогда никому не говорить про это дело; но он умер, и теперь я умираю, а ты его сын.

— Сын, — повторил Самсон, кивая головою.

— Он разбудил меня перед рассветом и сказал: «Анкор, возьми заступ и иди за мною». Все рабы еще спали. Мы пошли под гору к колодцу. У колодца на мокрой земле он нашел след босой ноги. Это была очень большая нога; нога сильного человека.

— Босая? — переспросил Самсон.

— Босая. Тогда господин мой сказал: «Анкор, ты умеешь идти по следам (я был охотником в юности) — пойдем за ним». И мы пошли по следам; шли сначала равниной, потом горами. След был ясный, потому что время было пыльное и человек тяжелый. Наконец около полудня мы его нагнали. На нем была шерстяная рубаха, как у скотовода, только вся в лохмотьях. Он сидел на камне и ел. Он спросил: что вам надо? У отца твоего была палка: он поднял палку и бросился на того человека; ничего не говорил, только стучал зубами; а я пошел с заступом за ним. Но человек был высокого роста, и посох у него был тяжелый. Когда господин мой напал на него, он ударил господина по голове, и господин упал; тогда я убил его заступом.

Анкору трудно было говорить, но Самсон не думал о нем.

— Дальше, — велел он.

— Я отнес господина моего к источнику, и там он очнулся, но еще долго не мог подняться. Перед вечером мы вернулись к тому месту; я стащил труп в долину и там зарыл его и набросал над ним каменную кучу. И мы пошли обратно в Цору. Ночью, когда мы почти уже дошли, отец твой сказал мне: «Отпускаю тебя на волю; но ты должен уйти навсегда из нашей земли; жди меня здесь завтра к вечеру — я принесу тебе серебра, и ты будешь зажиточным человеком; но никогда никому не говори об этом деле». Я поклялся ему и остался там в зарослях. Вечером он принес серебро, и я ушел к себе на родину, в Газу.

Нелегко уже было разбирать его слова; но в мозгу Самсона стоял еще один вопрос, и он хотел его задать и боялся задать. Стиснув зубы, он спросил:

— Кто был тот человек? Из какого племени? — И с напряжением, гораздо большим, нежели то усилие, когда он выворачивал шею быку, он произнес самое трудное слово: — Филистимлянин?

— Нет, — захрипел аввеец. — Когда я вырыл яму, господин мой велел мне открыть его бедра. Он был обрезанный, по обычаю вашего народа; и когда я сказал это господину, он заплакал.

А Самсон засмеялся; негромко, но долго смеялся и думал про себя: поздно. И все равно. Главное то, что Беззубому поверили — все поверили, сразу поверили, без заминки поверили.

Глава XXXIII. НА ПРОЩАНИЕ

За все эти месяцы он ни с кем не говорил о своем колене и при нем никто не упоминал о племенах и делах восточной границы. Врядли он и сам о них задумывался. Вообще он ни о чем определенном не думал, даже после признаний Анкора, и ни о чем не вспоминал.

Однажды в харчевне он услышал имя Далилы: кто-то кому-то рассказывал, что она теперь живет в Аскалоне. Дальше он не слушал — просто потому, что это его не занимало.

Только дважды еще пришлось ему вспомнить и говорить о прошлом и о своих; и было это в самом конце лета, уже незадолго до праздника жатвы.

Однажды дети сказали ему:

— Тут уже давно стоит какая-то женщина и смотрит на тебя; но она не здешняя, и не госпожа тоже. Она приехала на ослице и с погонщиком.

«Здешняя» значило на их языке: туземка, а «госпожами» они называли филистимлянок.

— Пусть стоит, мне что за дело? — ответил Самсон.

Но женщина, очевидно, поняв, что ее заметили, подошла и сказала нерешительно:

— Я хочу говорить с тобой наедине.

По выговору это была данитка; по голосу — женщина молодая, невеселая и усталая.

Самсон нахмурился.

— Что тебе надо? — спросил он холодно.

Она тихо ответила:

— Меня к тебе прислали.

— Откуда?

Поколебавшись, она еще тише сказала:

— С севера, из земли Лайша, где ты поселил выходцев.

Он подумал, повел головою вправо и влево и наконец велел двворе уйти. Женщина села возле него и долго молчала; Самсон чувствовал, что она смотрит на него пристально, а этого он не любил. Он спросил резко:

— Зачем тебя прислали и кто?

Голос ее дрожал и прерывался, когда она заговорила:

— Там страна богатая и спокойная; трудолюбивым людям хорошо там живет. Кто ушел на север бедняком, у того теперь поля, стада и рабы; и они все благословляют твое имя. — Самсон отвернулся и ничего не ответил. Она продолжала: — Только работа была тяжелая, и от нее много людей умерло раньше времени.

Самсон пожал плечами:

— Никто не умирает раньше времени. Но лучше было бы для человека умереть до своего часа, чем жить, когда час его прошел.

Женщина опять молчала; Самсон слышал ее тяжелое дыхание и боялся, что она расплачется. Никогда не любил он женских слез, а теперь ему было еще то неприятно, что она хочет плакать от жалости к нему.

— Говори, в чем дело, и ступай, — сказал он сурово.

Женщина спросила:

— Помнишь ли ты юношу — его звали Ягир, он служил тебе когда-то?

Самсон ответил раздраженно:

— Помню или нет, не твое дело. Но с него давным-давно содрали кожу филистимские палачи, и не он тебя прислал. Кто прислал тебя?

Женщина прошептала:

— У него была сестра Карни, дочь ваших соседей в Цоре. Когда взяли Ягира — много после, — она вышла замуж и ушла с мужем на север. Это она меня прислала к тебе.

Самсон поднял голову, как будто приглядываясь.

— А ты кто? — спросил он.

— Я служанка ее; но она меня любит, и я знаю все — всю ее жизнь, даже до замужества.

— Как им живется?

— Муж ее умер: там рано умирают мужчины.

— Дети?

— Сыну десять лет; и есть еще две дочери. Сына зовут, как тебя.

Самсон ничего не ответил. Его раздражение прошло, и прогнать ее теперь уже не хотелось; но ему стало грустно — он был бы рад, если бы она сама ушла.

— Зачем прислала тебя Карни? — спросил он после долгого молчания.

Женщина перевела дыхание, как будто набираясь смелости, и ответила:

— Она зовет тебя на север. Она сказала: дом мой — его дом, стада моего мужа — его стада, я и мои дети и рабы — его слуги. И весь народ будет ему рад; и он будет у нас судьей, как прежде в Цоре.

Она нагнулась к его уху и прошептала:

— Рыбаки из Дора примут тебя на лодку и отвезут на север, а там она будет ждать тебя с караваном.

Самсон опустил голову; отросшие волосы упали и наполовину закрыли его лицо, и опять он молчал несколько минут; он знал, что женщина смотрит на него, но ему уже не было стыдно.

— Долгая память у твоей госпожи, — проговорил он наконец.

Она прошептала:

— Годы меняют лицо; душа не меняется.

Он кивнул головой, усмехнулся и сказал с неожиданной горечью:

— Это правда: госпожа твоя не изменилась. Когда-то она хотела, чтобы тот, кто будет ее мужем, спал каждую ночь под ее кровлей и не глядел в окно. Таков я теперь; за порог не ступлю и в окошко не выгляну; и теперь она прислала за мною.

— Нет, — сказала женщина с внезапной твердостью. — Не потому зовет она тебя, что глаза твои потухли. Если бы дозволил Бог, она бы отдала свои глаза, чтобы ты мог встать и пойти куда хочешь. Если ты наденешь ей на палец кольцо, она будет тебе женою; но если не пожелаешь, все равно — дом ее будет твоим домом, и она будет твоей служанкой.

Самсон опять повернул к ней незрячие глаза.

— А если ты расскажешь ей, — спросил он, — что и теперь я по ночам не один у себя в туземной лачуге, что скажет на это Карни?

Он ясно расслышал, как она вздрогнула вся, с головы до ног; но она твердо ответила:

— Карни скажет: твой дом, и ночи твои; и я — твоя служанка.

Самсон покачал головою:

— Передай твоей госпоже, что и у меня долгая память. Я помню все ее слова — повтори их перед нею теперь от меня: не хочет Самсон, чтобы жена его плакала — ни над его бедой, ни над своею. И еще одно скажи ей. Когда-то она мне ответила так: тебе нужен котенок для забавы — а я не игрушка. Это правда, женщины Дана не на то созданы, чтобы развлекать человека в час отдыха. Но и женщины Дана любят игрушки, любят нянчить куклу или ребенка, или больного, у которого нет своей воли. Я теперь — игрушка. Пусть — для филистимлян, даже для туземцев. Но не для Карни.

Женщина плакала, но Самсону это не было тяжело, только грустно: за нее, за себя и за все.

— Скажи ей, — говорил он, — что никогда еще не прилетал раненый орел умирать у себя в гнезде. Умирает он в далекой расселине: там видят его ящерицы, жуки, коршуны — только не орлица.

Она простонала:

— Я не орлица...

Он ответил:

— Орлица.

Она взяла его руки и долго целовала их, плача, но ничего больше не говоря; потом поднялась, окликнула детей, поманила их обратно к Самсону и ушла со своим погонщиком.

* * *

Второй посетитель был Хермеш, тот самый, что когда-то был у Самсона «шакалом», и после той сходки в Цоре с послами Иуды хотел поднять колено Дана в защиту судьи. Он добрался до Самсона без труда: Самсона не боялись и даже издали не стерегли.

Печальные вести принес он Самсону, о которых Самсон и не подозревал. Филистимляне при нем об этом не говорили, и у него сложилось впечатление, будто все теперь утихло и они забыли о Дане, об Иуде — забыли, как он забыл. Но они не забыли. Опять, как в тот год после пожара Тимнаты, когда он ушел в ущелья Этама, словно стена обвалилась в осажденном городе, и нет больше защиты. Опять бродят филистимские отряды по окрестностям пограничного Гимзо и скоро, должно быть, опять займут город. Снова пришло в Цору посольство требовать дани; и с послами пришла вооруженная стража и внезапно учинила обыск во всех домах — искала кузнецов и склады железа; и хоть можно было стражу перерезать, никто не посмел даже огрызнуться. Только один из старейшин, Авирам, человек гордый, стал на пороге своего дома и кричал: «Не пущу!» — но посол Меродах велел его тут же на улице избить, а горожане стояли кругом и не заступились. Он, Хермеш, хотел было собрать молодежь и кинуться в драку, но староста Махбонай бен-Шуни запретил.

— Как звали того посла? — переспросил Самсон, тяжело дыша.

— Меродах. Он из Экрона.

— Когда это было?

— За неделю до весеннего праздника.

Самсон стиснул кулаки. В день весеннего праздника этот Меродах из Экрона кутил с ним на паперти храма, обнимал за шею, пел песни — и даже не похвастал, что на днях только был в Цоре и избивал тамошних старшин. И Самсону вдруг пришло в голову — как будто бы раньше нельзя было догадаться о такой понятной вещи, — что все они, чиновники и сотники, или почти все, не раз за это время побывали, вероятно, и в Цоре,

и в Хевроне, вымогали, обыскивали, убивали, а потом пиروвали с ним, Самсоном, и он им говорил прибаутки.

— А кузнецов и железо нашли? — спросил он сквозь стиснутые зубы.

— Нет, — ответил Хермеш. — За это спасибо Махбонаю. Ему еще накануне донесли какие-то левиты, что к нам идут; и он сейчас велел убрать все, что нужно было убрать, в горы за Чертовой пещерой.

Говорили они в Маиме, на берегу моря. Самсон встал, положил руку на плечо Хермеша и долго шагал с ним по песку взад и вперед, ничего не говоря, только мотая головою.

— А ты как живешь, Самсон? — робко спросил его Хермеш.

Самсон ответил резко:

— Весело живу; а дальше будет еще веселее.

И по движению мускулов на плече Хермеша под его рукою он почувствовал, что тот низко опустил голову.

— Мне пора, — сказал наконец Хермеш. — Отвести ли тебя к твоему дому, или позвать к тебе детей? Они недалеко.

— Оставь меня здесь. Они сами прибегут.

Хермеш помялся и спросил:

— Передать ли что нашим от тебя?

Самсон подумал, потом сказал медленно:

— Две вещи передай им от меня, два слова. Первое слово: железо. Пусть копят железо. Пусть отдадут за железо все, что есть у них: серебро и пшеницу, масло и вино и стада, жен и дочерей. Все за железо. Ничего дороже нет на свете, чем железо. Передашь?

— Передам. Это они поймут.

— Второго слова они еще не поймут; но должны понять, и скоро. Второе слово: царь. Передай это Дану, Вениамину, Иуде, Ефрему: царь! Один человек подаст им знак, и тысячи разом подымут руку. Так у филистимлян; и оттого филистимляне — господя Ханаана. Передай от Цоры до Хеврона и Сихема, и дальше, до Эндора и Лаиша: царь!

— Передам, — сказал Хермеш.

— Ступай, — сказал Самсон.

Хермеш схватил его руку и стал ее целовать; и, не отрываясь от руки, он спросил трепетным голосом:

— Эти два слова я скажу от тебя народу; но людям, нам, которые тебя любили, — нам и нашим детям ничего ты не хочешь сказать?

На руку Самсона упала теплая капля, и еще, и еще; на минуту захватило его искушение — рассказать Хермешу то, что открыл ему, умирая, аввеец Анкор. Но зачем? Поздно. И они поверили. Пусть. И он высвободил руку и ответил, отворачиваясь:

— Ничего.

Хермеш побрел по песку назад; вдруг Самсон его окликнул. Он оглянулся: Самсон старательно вытирал влажный тыл ладони, и сказал ему:

— Я передумал. Не два, а три завета передай им от меня: чтобы копили железо; чтобы выбрали царя и чтобы научились смеяться.

* * *

В первый день праздника жатвы, на этот раз выпавшего поздно, так как год был високосный, старый саран Газы, действуя в качестве первосвященника, произнес во храме перед кумиром Дагона особенно длинную молитву. Как всегда, никто ее не понял, даже остальные жрецы, которым полагалось знать островной язык. Саран был большой начетчик в старинных свитках и подбирал редкие слова и трудные обороты. Поэтому никто и не слушал его: граждане, столпившиеся во храме, спокойно перешептывались между собою во время его служения; но саран был несколько туговат на ухо, и, кроме того, очень увлечен беседой с богами, так что ему это не мешало.

А говорил он, между прочим, вот что:

— Боже Дагон, сын Великой Матери Реи-Диктинны, царицы морей и островов, снизошедшей во время оно, еще до рождения людей, на зеленое пастбище к божественному Быку, чтобы сочетать в своих чреслах плодородие земли со свободой водных пространств, — здравствуй и прощай, боже Дагон. Здравствуй в день твоего торжества на нивах этой чужой земли; и прощай, ибо скоро умрет недостойный служитель твой, и скоро, быть может, через недолгий ряд поколений, умрет и последний остаток твоего народа, — а за ними и ты.

Ибо вот ползет навстречу нам с востока другое племя — ползет, как ползет иногда песок из морской глубины на берег, когда в пучинах содрогнется Великая Акула от злого сна и ударит хвостом по темному дну. Странное это племя: словно нарочно создали его дьяволы пустыни для безотрадной страсти достижения. Эти люди не знают улыбки; пришли неведомо откуда и хотят неведомо чего. Но все они чего-то хотят, всегда хотят,

никогда не уступают; падают и снова подымаются; набирают что-то по крохам и берегут свои крохи. Кафтор их презирует, Кафтор хлещет их бичами по лицу и считает себя властелином: так туземный раб, когда двинулся с моря песок, отбрасывает его лопатой от своего сада и думает, что он победил. Не победил. Не победит.

Прощай, боже Дагон, и не гневайся на жалобу старого слуги, в сердце которого накопилась горькая боль. Твой народ погибнет; и сегодня я, предпоследний из людей твоего избрания, стою пред тобою, последним из богов истинных, и прощаюсь навсегда.

Глава XXXIV. ПОСЛЕДНЯЯ

О заключительном дне того праздника подробное письмо написал очевидец, знатный египетский путешественник, не раз уже бывавший в Филистии. Письмо начертано было демократическим шрифтом, которым в то время уже пользовались только немногие, потому что у жрецов и правительственных писцов он считался выдумкой легкомысленной и безбожной. Несмотря на сравнительную простоту этого способа начертания, автор диктовал его ученому рабу две недели подряд, — что, впрочем, его не стеснило, так как он в это время все равно лежал в постели и оправлялся от ожогов. Письмо было адресовано приятелю автора в Мемфисе, и вот существенная его часть:

«...Праздник жатвы считается главным праздником этого края. Обряды, которыми он обставлен, кажутся мне смесью двух преданий: большая часть их заимствована у здешних коренных племен, теперь уже давно порабощенных, но кое-что, по-видимому, действительно занесли предки филистимлян со своих островов. Так, божество Дагон, о котором я писал тебе несколько лет тому назад, в первую поездку мою сюда, а также многолюдные пляски, праздничная одежда — все это, я полагаю, островного происхождения. Но обычай в эти дни украшать храм изнутри камышом, листьями пальмы, ветвями смоковницы, маслины, платана, кипариса и дуба до того, что и вид, и запах этого убранства напоминают молящимся лес, — этот обычай распространен во всем Ханаане. Даже в туземном предместье Газы, где в обычное время глаза встречают рели-

ще грязи и нищеты невообразимой, накануне праздника над дверью каждой лачуги торчало по несколько тощих, но зеленых веток.

Эту особенность внутреннего убранства капища следует тебе, любезный Тефнахт, тщательно усвоить, если ты хочешь правильно понять как причины, так и размеры того замечательного события, слух о котором, как я вижу из твоего запроса, дошел и до вас в Мемфис. Подробное описание самого здания ты, быть может, помнишь из старых моих писем, так же как и описание главной его части — навеса на четырех колоннах из разных каменных пород, под которым находятся идол на золотой подставке и жертвенник. Итак, постарайся представить себе все эти столбы, карнизы, шипы для факелов и статуи обвитыми зеленью до того, что мрамор и гранит только пятнами проступают сквозь зеленый переплет. Зеленым, впрочем, можно было назвать его лишь в первые дни: праздник продолжается неделю. Причем, если в строгом смысле богослужения главным днем считается первый, то в смысле народного разгула особенного внимания заслуживает последний день, или, вернее, следующая за ним ночь. О проявлениях этого ликования и о размерах, какие они принимают в эти заключительные часы праздника между закатом солнца и зарею, мне заранее столько тут рассказывали, что я, признаться, с великим любопытством готовился воспринять их всеми органами, предоставленными мне природой; и поверь, любезный Тефнахт, памятуя, что и ты в не меньшей мере одарен тем же родом любознательности, я почел бы долгом представить тебе точный отчет обо всем, если бы событие, которому, взамен того, я вынужден посвятить нынешнее письмо, не произошло как раз перед закатом в седьмой день праздника и, таким образом, не оборвало естественного хода вещей.

Но, хотя не вполне подобает, говоря о происшествии такого печального свойства, останавливаться на вещах свойства игривого, я не могу не упомянуть о том, что зрелище, какое представлял собою храм в тот предвечерний час, внушало самые бодрящие ожидания. Достаточно указать на два обстоятельства. Первое — это праздничный наряд женщин, как бы нарочно придуманный для того, чтобы довести здорового человека до высшей степени предвкушения; впрочем, и его я тебе уже неоднократно и с достождным одушевлением описывал. Второе же обстоятельство заключается в том, что факелов

в эту ночь не зажигают, ибо это было бы опасно ввиду обилия ветвей, уже совсем засохших; и, таким образом, по мере наступления ночи, внутренность храма постепенно погружается в темноту, среди которой слабое тление догорающего жертвенника пред кумиром Дагона должно, я полагаю, оказывать то же действие, как крупица острой приправы к сочному блюду.

Долг человека просвещенного и привыкшего к доброму обществу обязует меня, однако, также упомянуть, что и в другом — хотя, по моему, гораздо менее привлекательном — смысле внутренность храма представляла в эту ночь немало замечательного. Здесь присутствовали все пять саранов Филистии, каждый со своею свитой, половина коей, говорят, до сей поры вербуются из уроженцев острова Керэта, а вторая половина из местной молодежи высшего происхождения. Вообще я должен сказать, что храм этот, хотя по размерам своим остался бы незамеченным в Мемфисе или даже Фивах, ибо скамей в нем едва хватало для тысячи, и еще полутысяча могла уместиться стоя, — вмещал в тот день почти все именитое население Газы и немалую часть высшего сословия остальных четырех филистимских столиц. Причем, как я слышал, сараны и старейшие сановники по наступлении темноты удаляются, дабы не покровительствовать своим высоким присутствием происходящему народному веселию — или, быть может, дабы не мешать таковому; но, покуда светло, и они восседают на отдельных своих сиденьях, хотя и не принимают прямого участия в развлечениях толпы.

Богослужение давно закончилось, солнце только еще клонилось к закату, и мы во храме доедали пряные сласти, запивая их довольно сносным вином местного изделия, когда слышались приветственные возгласы и я увидел в среднем проходе между скамьями самого замечательного человека, какого довелось мне встречать на веку. Я писал тебе в прежнюю свою поездку, а потом и устно рассказывал, что этим разбойником из дикого племени, живущего где-то в предгорье Филистии, разбойником, причинившим Филистии немало ущерба, Филистия, по-моему, гордилась (противоречие, которое у нас, египтян, было бы невообразимо, но которое вполне вяжется с беззаботным легкомыслием здешнего населения). Около года тому назад, однако, лопнуло даже здешнее терпение: разбойника взяли в плен, но (черта опять-таки непонятная для нас, воспитанных в карательной твердости Египта) почему-то не

казнили, а только выкололи глаза и оставили его на свободе, и постепенно он снова сделался желанным гостем на всех пирах Газы.

Теперь я впервые увидел его. Передай твоему длинноногому негру Шормасте, который столько раз после ужина уносил меня, человека плотного, как младенца на руках, что бритая макушка его не дотянулась бы до подбородка этого великана. Однако плечи его были так широки, вообще все члены так соразмерны, что он ничуть не показался мне чудовищным. Лицо же его поразило меня своей красотой даже в этой стране, где прямые носы с едва заметным изгибом, тонкие губы и маленькие уши столь радуют египетский глаз и, увы, столь омрачают завистью египетское сердце. В отличие от филистимлян, шапки на нем не было, и в его темных, но далеко не черных волосах, очень тщательно расчесанных, я заметил широкую белую прядь. Единственное, что было мне в его лице неприятно, это, конечно, закрытые, неестественно впалые глаза; помнится, я тогда же подумал, что у нас в Мемфисе даже рабы из хорошего дома не согласились бы пировать с человеком, столь явно обезображенным. Но, с другой стороны, когда он уселся на одном из табуретов, приготовленных для жреческого сословия у самого жертвенника, лицом к обществу и, откликаясь на шумный хор приветствий, очень весело улыбнулся, я и сам забыл о его глазах ради очарования этой улыбки. Рядом с ним стояла маленькая девочка, приведшая его за руку (он признавал, говорят, только малолетних вожатых, упорно отклоняя предложения услуг со стороны взрослых людей; и вообще был любимцем у детворы). Судя по нарядному платью, девочка была из богатого дома. Усевшись, он погладил ее по голове и приказал ей безотлагательно идти домой: может быть, просто потому, что детям в эту ночь никак не подобало оставаться во храме, а может быть (если предположить — в чем я отнюдь не уверен, — что дальнейшие события были им уже заранее предусмотрены), и из привязанности к этому именно ребенку.

Его приход внес большое оживление. Со всех сторон его окликали и откликался он; и на каждый ответ его все общество отзывалось веселым смехом, часто даже рукоплесканиями. Не стыжусь признаться, что и в хохоте, и в плеске по прошествии недолгого времени начал принимать участие и я; и должен признать, что этот троглодит оказался далеко не лишенным лицедейского дара. Лицо его, несмотря на закрытые глаза, способно

было принимать любое выражение и даже сходство с другими лицами: при помощи самых несложных приемов, как, например, легкого перемещения локтей или едва заметного наклона шеи, он придавал своему высокому и стройному стану то вид коротенького толстяка, то обличье молоденькой девушки. Что касается до его голоса, то подобной гибкости я еще не встречал. Он передавал речь людей, тут же сидевших, с таким совершенством, что даже я, забыв обо всех правилах нашего столичного изящества, вынужден был от времени до времени прижимать обе ладони к животу, дабы не задохнуться от хохота.

Особенно мне понравилась одна картина, которую он разыграл в лицах, воплощая с изумительным искусством около десяти человек, говорящих почти одновременно. Но филистимским друзьям моим она пришлось почему-то не по вкусу. Насколько я понял (ибо он при этом употреблял много слов простонародных, мне неизвестных, а также подражал ломаному выговору разных племен), он тут изобразил перебранку на одной из пограничных застав, где филистимская стража собирает пошлину от купцов разных народностей. Вначале слушатели смеялись очень весело; но вдруг, когда пленник заговорил каким-то особенно отрывистым говором и при этом слегка насупился, как человек, глядящий исподлобья, смех оборвался, а сидевший рядом со мною приятель с некоторым смущением шепнул мне, что теперь пленник изображает купца из своего собственного народа и что этого не следовало бы ему делать. Пленник, однако, не смутился и показал в чрезвычайно забавной смене вопросов и ответов, как его сородич, прикидываясь тупым простаком, постепенно вгоняет в пот и высокомерного сотника, и кропотливого счетовода пограничной стражи и в конце концов их же обсчитывает. На этот раз ему хлопали гораздо меньше прежнего, — за одним исключением, на котором я теперь и останавливаю твое внимание тем охотнее, что речь идет о нашей с тобою старой приятельнице.

Ты, конечно, помнишь общую нашу подругу, которую мы за красоту называли царевной Нофри, хотя она была иностранного происхождения, — и которая исчезла из Мемфиса года два тому назад? Здесь она, оказывается, слыла под другим именем, но я ее сейчас же узнал, как только обратил внимание на то, что она, одна среди всех сидевших на передней скамье, шумно рукоплескала пленнику именно после этого, почему-то никому не понравившегося представления. Она даже несколь-

ко раз повторила одобрительный возглас, и, так как остальные молчали, великан, очевидно, расслышал и узнал ее голос, ибо на мгновение быстро повернул голову в ее сторону, хотя тотчас же и отвернулся. То обстоятельство, что она оказалась и его старой знакомой, меня, конечно, не удивило, принимая во внимание ее ремесло и его богатырскую осанку; но с тех пор мне удалось выяснить, что именно эта женщина каким-то образом помогла филистимлянам захватить в плен дотоле неуловимого разбойника, за что и получила впоследствии от казны крупное денежное вознаграждение.

Она, однако, не удовлетворилась тем, что обратила на себя его внимание, а, по-видимому, решила привлечь также и внимание всего общества; и действительно с этого мгновения и почти до самого конца взор и слух присутствующих остались уже сосредоточенными не только на пленнике, но и на ней. Причем все дальнейшее произошло так быстро, что я, диктуя это описание, далеко не уверен, удастся ли мне припомнить и передать главные черты происшедшей между ними беседы. Постараюсь, однако, изложить то, что сохранилось в моей памяти.

Начала беседу женщина, а именно тем, что, слегка приподнявшись с места, воскликнула, обращаясь к пленнику:

— Ты умеешь загадывать загадки, Самсон (это, как я забыл тебе сообщить, было его имя; или, может быть, кличка, ибо в прошлый мой приезд его называли иначе), — но умеешь ли ты отгадывать?

На что он, помолчав несколько мгновений, со смехом ответил:

— Какие у тебя загадки, красавица? Даже узор голубых жилок на твоих ляжках — ни для кого не загадка: все его видели!

Это опять вызвало общий смех, и женщина сильно побледнела, но тем не менее крикнула еще громче:

— Нет, у меня для тебя иная загадка. Что это такое: из пожирателя вышло лакомство, из могучего — забава, из истребителя — шут?

Он, услышав этот вопрос, унижительный смысл которого даже для меня был ясен, дрогнул всем телом; голос его, однако, звучал совершенно спокойно, когда он ответил ей:

— В самом сладком лакомстве иногда таится отравка — так же точно, как в ласке блудницы часто прячется предательство.

Филистимляне опять засмеялись, но сейчас же смолкли, ожидая с любопытством, что скажет она: по-видимому, такие поединки обидной колкости не считаются у них противными

праздничному обычаю. И действительно, женщина продолжала, причем мне показалось, что в ее голосе, кроме запальчивости и ненависти, чувствовалось также заглушенное начало рыдания:

— Вот еще одна загадка: из отверженной вышла победительница, и глаза, когда-то глядевшие на нее с презрением, никогда уже ни на что не взглянут. Знаешь ли ты имя этой загадки?

На что он немедленно и спокойно ответил:

— Знаю, слышал: пять тысяч и пятьсот серебряных монет.

Она, однако, покачала головой и сказала, наклонясь вперед:

— Нет, не отгадал. Имя этой загадки иное: мое имя — Элиноар!

Она произнесла это имя с такой силой выражения, что и у меня, никогда его не слыжавшего, прошла щекочущая дрожь вдоль спины, и я понял, что для пленника это имя должно было иметь какое-то особенное значение, и с любопытством взглянул на него. Так как лучи предвечернего солнца, прорываясь в открытые двери храма, очень ярко освещали его лицо, я мог ясно видеть сменявшиеся на нем выражения. И опять я вынужден повторить, что — если только имя, ею произнесенное, было ему действительно знакомо — этот дикарь оказался лучшим лицедеем, какого я когда-либо наблюдал. Он изобразил на лице все признаки простодушной растерянности, поднял брови, даже раскрыл рот, повел головою вправо и влево, как бы спрашивая всех присутствующих, и наконец проговорил:

— Элиноар? Это кто такая? Не помню.

При этом неожиданном ответе женщина пошатнулась совершенно так, как будто ее ударили в лицо, и прижала руки к своей открытой груди. Но через мгновение, преодолевая себя, она закусил губу, обернулась к задним рядам храма и кого-то оттуда поманила. В ответ на это к ней подбежала нубийская рабыня, на руках у которой я заметил нечто вроде свертка, окутанного прозрачною белой тканью. Женщина взяла у нее этот сверток и, опять повернувшись к пленнику, воскликнула:

— А теперь отгадай третью загадку!

Произнеся эти слова, она быстро развернула ткань и извлекла оттуда голого младенца, которому на вид было едва ли больше трех или четырех недель от роду и который, очевидно, потревоженный со сна, сейчас же громко заплакал. Она поднесла его к самому лицу пленника и приложила маленькие руки младенца к его бородастым щекам; и как только осуществилось

это прикосновение, дитя перестало плакать и потянулось к нему, причем я вспомнил уже упомянутые мною рассказы о том, что великан этот вообще пользовался любовью детей. И действительно, от ощущения детской ручки его лицо странным образом стало вдруг само похоже на черты малого дитяти, и несколько мгновений он сидел, не шевелясь, а только подставляя то одну, то другую щеку, то нос, то лоб, то закрытые глаза под неловкие пальцы ребенка. Но внезапно он отстранился и быстро встал, делая такое движение руками, как будто хотел схватить младенца; чему, однако, женщина помешала, столь же быстро прижав дитя к себе и отступив на несколько шагов назад. Тогда он спросил, но уже не прежним своим голосом, полным насмешки, а так, как говорит человек, обуреваемый сильным волнением чувств:

— Чей это ребенок?

Женщина же рассмеялась и ответила ему:

— Отгадай! Он будет храбр и могуч, как отец его; и я, чье молоко стало ядом, научу его ненавидеть отцовское племя; и от судьбы и заступника произойдет недруг и разрушитель.

Тогда в его гортани послышалось странное для меня хлокотание, мало похожее на человеческий звук, и он ступил вперед, протягивая руки; но наткнулся на один из столбов, поддерживавший навес над идолом Дагона и над жертвенником. Женщина же, уверенная в том, что он ее не схватит, стояла на месте и хохотала, прижимая к груди младенца, который опять жалобно заплакал. Сосед мой, с явным неудовольствием в голосе, негромко заметил, что это все уже приняло оборот, не соответствующий обычаям праздника; но общество, по-видимому, настолько было увлечено происходящим перед ним состязанием, что в храме господствовало глубочайшее безмолвие, а в задних рядах почти все стояли, устремляя взоры то на женщину, то на пленника. Я же смотрел в особенности на него, замечая, что дыхание его вырывается из груди с чрезвычайным трудом и шумом и руки бесцельно бродят — одна по гладкой поверхности столба, другая по медной решетке, ограждавшей жертвенный очаг, на котором все еще тлела гряда раскаленных углей. Но внезапно волнение его утихло, на лице вновь появилась улыбка, и он проговорил прежним своим голосом, хотя чрезвычайно громко и медленно:

— Теперь отгадайте вы все эту последнюю загадку Самсона: многих перебил при жизни, но еще больше — в час смерти?

Я не сразу понял, шутит ли он или грозит; но через несколько мгновений, по особенному шороху, который, несмотря на общее молчание (нарушаемое только плачем ребенка и треском утлей на жертвеннике), пронесся по всему храму, почувствовал и я, что готовится нечто небывало опасное. В то же время, однако, мне казалось, что члены мои связаны до полной невозможности шевельнуться; и, полагаю, такое же безволие сковало и все собрание. Как, должно быть, и все остальные, я мог только смотреть на великана и дивиться (еще не понимая, что нам предстоит) новой перемене в его лице, которое постепенно багровело; дивиться толстой жиле, почти черного цвета, которая обозначилась на лбу его, и могучей шее, которая как бы стала вдвое шире прежнего; дивиться крутым холмам мышц, которые медленно вздулись на его плечах и поползли вдоль обеих рук, опиравшихся одна о столб, другая о решетку жертвенника; дивиться всему этому, как дивится дитя или невежда редкому явлению природы, еще не догадываясь, что оно является предвестьем ужасов. Но в это время из задних рядов слышался беспокойный, хотя сначала еще заглушенный ропот встревоженных голосов, который, катясь все ближе к нам и разрастаясь, скоро превратился в общий вопль, такой громкий, что, казалось мне, и гром небесный трудно было бы сквозь него расслышать. Однако в этом последнем мнении я ошибся, так как над всеми этими голосами предостережения, страха и гнева вдруг совершенно внятно разразился крик того человека, крик, подобного которому по силе не может себе представить ничье воображение и который до сих пор еще не отзвучал в моих ушах, а именно:

— С вами вместе да погибнет душа моя!

С этого места рассказ мой, любезный Тэфнахт, поневоле должен превратиться в повествование о делах невероятных; сознавая, что и сам я, не доведись мне быть очевидцем этого события, никому бы не поверил на слово в возможность подобных небылиц, я заранее отказываюсь от попытки придать им в твоих глазах правдоподобие посредством подбора выразительных слов. Он подхватил снизу жертвенный алтарь — тяжесть, по виду своему превышающую груз для нескольких буйволов, — и, подняв его довольно высоко над головою, бросил прямо в ту сторону, откуда, среди опять водворившейся тишины, доносился плач ребенка; и еще прежде, чем жертвенник, среди грохота и воплей, обрушился на женщину с младенцем

и на ее соседей, из очага его по всем сторонам разлетелись бесчисленные красные угли. Совершив это и пользуясь замешательством, которое, при виде такого деяния, овладело даже сильнейшими, он уперся спиною в столб, у которого прежде стоял, а ногами в золотую подставку идола; и не прошло мгновения, как со страшным треском столб этот, толщиной в два человеческих обхвата и вышиною в три человеческих роста, пошатнулся и начал медленно склоняться в нашу сторону, а лежащий идол, подобно коню, встающему на дыбы, поднялся торчком и обрушился в том направлении, где помещались пятеро саранов и их свита.

Я предполагаю, что в это время храм уже полон был стонов, воплей и — конечно, только в задних рядах — метаний уstraшенной толпы; но я ничего этого не слышал и не заметил, ибо взоры мои пригвождены были к зрелищу разрушения. Предомною медленно и косо оседал тяжкий навес, еще за минуту до того осенявший Дагона и его жертвенник, но теперь лишенный и идола, и алтаря, и одного из опорных своих столбов. Когда же и прочие столбы наконец рухнули, погребая под своими обломками вместе со многими жертвами этого неслыханного дела также и виновника его, падение вынесло всю чудовищную тяжесть сквозь ничтожную преграду ста человеческих тел далеко в сторону, и край навеса, подобно ножу, отсекающему ветку, срезал две боковые колонны, на которых покоилась самая крыша здания. После этого я помню только хаотический обвал, где каменные глыбы смешаны были с корчащимися телами, между тем как вокруг бесновалось пламя, пожирая сухие ветви, перебегая по гирляндам от колонны к колонне во всю длину и ширину храма, и наконец — невыносимое воспоминание, любезный Тефнахт, — охватывая женские платья.

Изобразительный дар мой, однако, слишком ничтожен для того, чтобы дать тебе описание, достойное события. Признаюсь, я попытался продиктовать таковое; но, когда писец, по моему приказу, перечитал его мне вслух, я остался настолько неудовлетворен безжизненными строками, что, дав рабу пощечину, велел ему разорвать исписанный лист папируса; и от повторения этой попытки считаю как более скромным, так и более разумным отказаться. Но не могу воздержаться от искушения несколько развить в этом месте своего послания мысль, которая неотвязно тревожит мой ум с самого дня того события. Не странно ли, Тефнахт, что именно картины разрушения

потрясают душу своим величием, тогда как зрелище созидания, которое, казалось бы, во много крат значительнее — заставляет утонченный взор отворачиваться со скукой или даже отвращением? Почему так величава смерть, и в еще большей степени — битва, которая представляет собою смерть умноженную, — тогда как рождение являет вид не только лишенный возвышенности, но и непристойный, и даже тошнотворный? Почему так прекрасно землетрясение, разрушающее города; почему каждый из нас, если бы мог наблюдать его с высоты безопасного места, испытал бы при этом — конечно, наряду со скорбью по поводу гибели граждан и богатства — высокое восхищение ума, между тем как постройка таких же городов, когда случается нам быть ее свидетелями, оставляет в каждом из нас лишь отталкивающее воспоминание о беспорядке, о пыли, о стуке молотков, о запахе пота, о брани надсмотрщиков?

Но ты спросишь, и с полным правом, любезный Тефнахт, как же вырвался из этого сочетания пекла и бойни тот, кто ныне диктует настоящее к тебе письмо; вырвался, прибавлю я, с болезненными, но для здоровья не опасными ожогами. Объяснение, боюсь, покажется тебе еще более невероятным, чем все остальные части моего рассказа. Ведь если бы это самое событие случилось у нас в Мемфисе (чего да вовеки не допустят египетские боги, совершенно независимо от вопроса о том, существуют ли они), пожар храма несомненно сопровождался бы свалкою, достойной диких зверей, свалкою, где сильный бьет и топчет слабого, мужчина женщину — может быть, мать свою или дочь, или невесту, которая накануне, краснея, обещала в эту ночь подарить ему первую радость. Но у здешнего племени, несмотря на всю его склонность к шуткам, вину и разгулу, нет, должно быть, истинной привязанности ко благу жизни. Нечто подобное драке наблюдалось, если я не ошибаюсь, ближе к выходу, в задних рядах, где толпились обыватели более скромного сословия: там, по-видимому, люди толкали и даже опрокидывали друг друга, загромождая тем самым проходы и мешая самим себе добраться до двери. Но в передней части храма, занятой знатнейшими семьями Филистии, было, очевидно, сразу всеми понято, что пробиваться к выходу при таких условиях для огромного большинства безнадежно, а потому и непристойно.

Я счел бы преувеличением сказать, что все они приняли свою судьбу со спокойствием; напротив, и вокруг меня раздавались рыдания и стоны, некоторые женщины даже рвали на

себе волосы, и лишь немного было таких, которые, скрестив на груди руки, неподвижно ожидали своей участи; но тем не менее в высшей степени примечательным должно признать то обстоятельство, что даже отчаивающиеся, даже громко оплакивающие приближение гибели не пожелали в эти минуты уподобиться черни, пробивающей себе локтями и пинками путь к маловероятному спасению.

Стоя неподвижно среди них и вместе с ними — с теми, кого еще не коснулись ни обвал, ни огонь, — я вдруг заметил, что на сиденьях саранов уцелел только один из пяти, а именно правитель Экрона, старый мой друг, знакомый и тебе по тому времени, когда он был моим гостем под Мемфисом и когда в загородном доме у меня по утрам нельзя было протолкаться среди множества птицеловов, приносивших ему на продажу не то певчих, не то ученых птиц.

Встретившись со мной глазами, он совершенно спокойно кивнул мне головой, поманил к себе юного сотника в одежде керэтинской стражи и крикнул ему настолько громко, что услышал его и я:

— Проложи выход иностранному гостю — во что бы то ни стало!

Прежде, нежели я успел понять, что речь идет обо мне, схватили меня с обеих сторон сильные руки и потащили, среди дыма и стонов, по среднему проходу между скамьями. Верь или не верь мне, любезный Тэфнахт, но я тебе клянусь святынями всех народов, что на уровне первых рядов этот проход был почти свободен; и только дальше, по мере приближения к двери, сотнику, шедшему впереди, и солдатам его пришлось сурово пользоваться своими секирами, а под ногами я, вместо каменных плит, ощутил извивающиеся человеческие члены, и чьи-то зубы больно прокусили мне левую щиколотку.

Дойдя до двери, сотник посторонился, оттесняя и отгоняя секирой ломившихся из узкого прохода разночинцев; и подчиненные его, тащившие меня за руки, с силой вытолкнули меня на паперть.

Только один из этих солдат выбежал вместе со мною, остальные воздержались от естественного и простительного искушения; и, оглянувшись в последний раз с порога, я увидел, что молодой офицер, прямо по плечам и головам воющей толпы, шел обратно к своему сарану.

В это же мгновение затрепетала вся земля, из середины капища послышался новый грохот, и толпа, наполнявшая храмовую площадь, завопила, указывая вверх тысячами рук, что обвалилась крыша.

Да, любезный Тэфнахт, спасение мое воистину было чудом из чудес. Ибо нет, должно быть, ни более таинственного, ни более возвышенного дива, чем то непознаваемое, что гнездится в душе целого племени и отличает его от других обитателей земли: загадка самая неразрешимая изо всех, каким научил меня в эти часы и тот непостижимый человек, и народ, его любивший, его ослепивший и с ним погибший в одном огне».

ПЯТЕРО



Начало этого рассказа из быта прежней Одессы относится к самому началу нашего столетия. Первые годы века тогда у нас назывались «весна» в смысле общественного и государственного пробуждения, а для моего поколения совпали также с личной весной в смысле подлинной двадцатилетней молодости. И обе весны, и тогдашний облик веселой столицы Черноморья в акациях на крутом берегу сплелись у меня в воспоминании с историей одной семьи, где было пятеро детей: Маруся, Марко, Лика, Сережа, Торик. Часть их приключений прошла у меня на глазах; остальное, если понадобится, расскажу по-наслышке или досочиню по догадке. Не ручаюсь за точность ни в жизнеописаниях героев, ни в последовательности общих событий, городских или всероссийских, на фоне которых это все произошло: часто память изменяет, а наводить справки некогда. Но в одном уверен: те пятеро мне запомнились не случайно и не потому, что Марусю и Сережу я очень любил и еще больше их легкомысленную, мудрую, многострадальную мать, — а потому, что на этой семье, как на классном примере из учебника, действительно свела с нами счеты — и добрые, и злые — вся предшествовавшая эпоха еврейского обрусения. Эту сторону дела, я уверен, расскажу правдиво, без придиричivosti, тем более что все это уже далеко и все давно стало грустно-любимым. «Я сын моей поры, мне в ней понятно добро и зло, я знаю блеск и тлю: я сын ее и в ней люблю все пятна, весь яд ее люблю».

I. ЮНОСТЬ

В первый раз я увидел г-жу Мильгром и ее старшую дочь на первом представлении «Монны Ванны» в городском театре. Они сидели в ложе бенуара неподалеку от моего кресла; в ложе было еще трое, но из другой семьи. Я их заметил по причине и лестной, и очень нелестной для моего самолюбия. Началось

с того, что сидевший рядом со мною молодой коллега по газете, бытописатель босяков и порта, сказал мне под шум наполнявшегося зала:

— Посмотри вправо, на ту рыжую евреечку в третьей ложе — как котенок в муфте!

Ему иногда прекрасно удавались сравнения: барышня в самом деле выглядывала из своей пушистой ярко-красной прически, как кошечка из мехового кольца на конфетной коробке. В то же время я увидел, что дама показала девушке на меня и что-то сказала, видно мою газетную кличку, а дочь сделала большие глаза, недоверчиво пожала плечами и ответила (я это ясно видел по ее губам): «Неужели? Не может быть!»

Во втором антракте я пошел на галерку повидаться с приятелями-студентами. Важный институт была в нашем городском театре галерка — царство студентов; боковые сиденья, кажется, чуть ли не только им и выдавались. Поэтому всегда там особо дежурил околоточный надзиратель, всегда какой-нибудь благообразный богатырь с двумя бородами на груди, как у генерала, и в резерве у него имелись городовые. Когда студенты буянили (например, когда старый Фигнер пустил петуха на высокой ноте в «Гугенотах» и ему по этому поводу кстати еще припомнили небратское отношение к сестре, сидевшей в Шлис-сельбурге), появлялись городовые и выводили студентов за локти, а надзиратель шагал позади и почтительно приговаривал: «Пожалуйте, господин студент, как же так можно...»

В этот вечер никто не буянил. Газеты уже две недели готовили народ к постановке «Монны Ванны»; не помню как, но несомненно вложили и в эту пьесу некий революционный смысл (тогда выражались «освободительный»; все в те годы преломлялось, за или против, через освободительную призму, даже пискливый срыв голоса у тенора, именовавшегося солистом его величества). Представление оправдало все ожидания. Героиню играла актриса, в которую все мы тогда были просто влюблены, половина барышень в городе подражали ее ласково-унылому голосу и подавали знакомым руку не сгибая, ладонью вниз, как она. «Фойе» галерки, обычно в антрактах похожее на аллею бульвара, где тянулись параллельно одна другой две тесные реки гуляющих, теперь напоминало форум: всюду кучки, и в каждой кучке спор об одном и том же: мыслимая ли вещь, чтобы Принцивалле просидел с Монной Ванной в таком наряде целую ночь и не протянул к ней даже руки?

Об этом шумели студенты и в той группе, где я нашел своих приятелей; сквозь их весьма повышенные тоны я слышал, что и в соседней толпе, особенно многолюдной, кипятились о том же. Вдруг я заметил, что в центре там стоит та рыжая барышня. На вид ей было лет девятнадцать. Она была невысокого роста, но сложена прекрасно по сдобному вкусу того полнокровного времени; на ней был, конечно, тесный корсет с талией и боками, но, по-видимому, без «чашек», что в среднем кругу, как мне говорили, считалось новшеством нескромным; и рукава буфами не доходили даже до локтей, и хотя воротник платья по-монашески подпирал ей горло, под воротничком спереди все-таки был вырез вершка в полтора, тоже по-тогдашнему дерзость. В довершение этого внешнего впечатления до меня донеслись такие отрывки разговора:

— Но мыслимо ли, — горячился студент, — чтобы Принцивалле...

— Ужас! — воскликнула рыжая барышня. — Я бы на месте Монны Ванны никогда этого не допустила. Такой балда!

Окружающие засмеялись, а один из них совсем заликовал:

— Вы прелесть, Маруся, всегда скажете такую вещь, что расцеловать хочется...

— Подумаешь, экое отличие, — равнодушно отозвалась Маруся, — и так скоро не останется на Дерibasовской ни одного студента, который мог бы похвастаться, что никогда со мной не целовался.

Больше я не расслышал, хотя начал нарочно прислушиваться.

Закончился спектакль совсем величаво. После первого и второго акта партер и ложи еще выжидали, что скажет высшая законодательница-галерка, и только по ее сигналу начинали бурно хлопать; но теперь сами своевольно загремели и ложи, и партер. Несчетное число раз выходил кланяться весь состав, потом Монна Ванна с Принцивалле, потом Монна Ванна одна в своей черной бархатной драпировке. Вдруг из грохота рукоплесканий выпала главная нота — замолчала с обеих сторон боковая галерка: знак, что готовится высшая мера триумфа, до тех пор едва ли не исключительная привилегия итальянских певиц и певцов — студенты ринулись в партер. Остальная публика, не переставая бить в ладоши, обернулась выжидательно; расписной занавес опять поднялся, но еще никого не было на сцене — там тоже ждали высочайшего выхода юности. Через секунду по всем проходам хлынули вперед синие

сюртуки и серые тужурки; помню, впереди всех по среднему проходу семимильными шагами шел огромный грузин с выражением лица деловым, серьезным, грозным, словно на баррикаду. Подойдя к самому оркестру, он сунул фуражку под мышку и неторопливо, может быть и не очень громко, с великим уверенным достоинством мерно и отчетливо трижды ударил в ладоши («словно султан, вызывающий из-за решетки прекрасную Зюлейку» — было на следующий день сказано в одной из газет). И только тогда, в ответ на повелительный зов падишаха, вышла из-за кулис прекрасная Зюлейка; я видел: у нее по-настоящему дрожали губы, и спазмы рыданий подкатывались к горлу; кругом стояла неопишуемая буря; два капельдинера выбежали из-за кулис убирать корзины с цветами, чтобы очистить поле для того, что тогда считалось дороже цветов: на сцену полетели мятые, выцветшие, с облупленными козырьками голубые фуражки. Позади студентов стояли пристава и околоточные, каждый, как на подбор, с двумя бородами на груди; вид у них был благосклонный, разрешительный, величественно-праздничный, под стать пылающему хрусталу, позолоте, кариатидам, красному бархату кресел и барьеров, парадным одеждам хлебных экспортеров и их черноглазых дам, всему великолепию беспечной сытой Одессы. Я оглянулся на Марусю: она была вне себя от счастья, но смотрела не на сцену, а на студентов, дергала мать за вздутые у плеч рукава и показывала ей, по-видимому, своих ближайших друзей в толпе синих сюртуков и серых тужурок, называя имена; если правильно помню — до двадцати, а то и больше, пока не пополз с потолка, тоже величаво, пожарный занавес.

II. СЕРЕЖА

Кто-то мне сказал, что фамилия рыжей барышни Мильгром, и, уходя из театра, я вспомнил, что с одним из членов этой семьи я уже знаком.

Встретились мы незадолго до того, летом. Я гостил тогда у знакомых, доживавших конец августа на даче у самого Ланжерона. Как-то утром, когда хозяева еще спали, я пошел вниз купаться, а потом задумал погрести. У моих друзей была плоскодонка на две пары весел; я кое-как сдвинул ее в воду с крупнозернистого гравия (у нас он просто назывался «песок») и только тогда заметил, что кто-то ночью обломал обе уключи-

ны на правом борту. Запасных тоже не оказалось. Нелепые были у нас на побережье уключины — просто деревянные палочки, к которым веревками привязывались неуклюжие, толсторукие весла; нужно было мастерство даже на то, чтобы весла не выворачивались, не шлепали по воде плашмя. Зато никакого не нужно было мастерства на построение такой уключины: обстругать сучок. Но мне это и в голову не пришло. Наше поколение словно без пальцев выросло: когда отрывалась пуговица, мы скорбно опускали головы и мечтали о семейной жизни, о жене, изумительном существе, которое не боится никаких подвигов, знает, где купить иголку и где нитки и как за все это взяться. Я стоял перед лодкой, скорбно опустив голову, словно перед сложной машиной, где что-то испортилось таинственное, и нужен Эдисон, чтобы спасти пропащее дело.

В этой беде подошел ко мне гимназист лет семнадцати на вид; потом выяснилось, что ему едва шестнадцать, но он был высок для своего возраста. Он посмотрел на обломки уключин деловитым оком бывалого мужчины и задал мне деловито вопрос:

— Кто тут у вас на берегу сторож?

— Чубчик, — сказал я, — Автоном Чубчик; такой рыбак.

Он ответил презрительно:

— Оттого и беспорядок. Чубчик! Его и другие рыбаки все за босявку держат.

Я радостно поднял голову. Лингвистика всегда была подлинной страстью моей жизни; и, живя в кругу просвещенном, где все старались выговаривать слова на великорусский лад, уже давно я не слышал настоящего наречия Фонтанов, Ланжерона, Пересыпи и Дюковского сада. «Держат за босявку». Прелесть! «Держат» значит считают. А босявка — это и перевести немислимо; в одном слове целая энциклопедия неодобрительных отзывов.

Мой собеседник и дальше говорил тем же слогом, но беда в том, что я-то родную речь забыл; придется передавать его слова по большей части на казенном языке, с болью сознавая, что каждая фраза — не та.

— Погодите, — сказал он, — это легко починить.

Вот был передо мною человек другой породы, человек с десятью пальцами! Во-первых, у него оказался в кармане нож, и не перочинный, а финка. Во-вторых, он тут же раздобыл и древесный материал: оглянувшись, нет ли кого в поле зрения, уверенно подошел к соседней купальне со ступеньками

и выломал из-под перил нижнюю балясину. Сломал ее пополам о колено; половинку обстругал; примерил, влезет ли в дырку, опять постругал; выколулпал кочерыжки старых уключин и вставил новые. Только доставало, чтобы завершил стихами: «Ну, старик, теперь готово...». Вместо того он с той же непосредственной, прямо в цель бьющей деловитостью предложил мне способ расплаты за услугу:

— Возьмете меня с собой покататься?

Я, конечно, согласился, но при этом еще раз взглянул на его герб и для очистки совести спросил:

— А ведь учебный год уже начался — вам, коллега, полагалось бы теперь сидеть на первом уроке?

— *Le cadet de mes soucis*, — ответил он равнодушно, уже называя веревочные кольца с веслами на уключины. По-французски это у него искренно вырвалось, а не для рисовки: я потом узнал, что у них у младших детей были гувернантки (но не у Маруси и не у Марко, отец тогда еще не так много зарабатывал). Вообще он не рисовался, и более того — совсем и не заботился о собеседнике и о том, что собеседник думает, а поглощен был делом: попробовал узлы на кольцах; поднял настил — посмотреть, нет ли воды; открыл ящик под кормовым сиденьем — посмотреть, там ли черпалка, где-то постукал, что-то потер. В то же время успел изложить, что решил показничать, так как узнал от соученика, проживавшего пансионером у грека, т. е. у чеха, преподававшего греческий язык, что этот педагог решил сегодня вызвать его, моего нового друга, не в очередь к доске. Поэтому он оставил записку матери (она поздно встает): «Если придет педель, скажи ему, что я ушел к дантисту», — депонировал ранец у соседнего табачника и проследовал на Ланжерон.

— Компанейский человек ваша мама, — сказал я с искренним одобрением. Мы уже гребли.

— Жить можно, — подтвердил он, — *tout à fait potable*.

— Только зачем же тогда ранец у табачника? Оставили бы дома, раз мать согласна.

— Из-за папы невозможно. Он все еще необстрелянный. До сих пор не может успокоиться, что я за него расписываюсь под отметками. Ничего, привыкнет. Завтра я всю записку напишу его почерком: «Сын мой, Мильгром Сергей, пятого класса, не был такого-то числа по причине зубной боли».

Мы порядочно отъехали; он прекрасно греб и знал все слова на языке лодочников. Ветер сегодня опять разыграется часам к пяти, и не просто ветер, а именно «трамонтан». «Затабань-

те правым, не то налетим на той дубок». «Смотрите — подохла морская свинья», — при этом указывая пальцем на тушу дельфина, выброшенную вчера бурей на нижнюю площадку волнореза недалеко от маяка.

В промежутках между мореходными замечаниями он дал мне много отрывочных сведений о семье. Отец каждое утро «жарит по конке в контору», оттого он и так опасен, когда не хочется идти в гимназию — приходится выходить с ним из дому вместе. По вечерам дома «толчок» (т. е., по-русски, толкучий рынок): это к старшей сестре приходят «ее пассажиры», все больше студенты. Есть еще старший брат, Марко, человек ничего себе, «портативный», но «тюньтя» (этого термина я и не знал: очевидно, вроде фохана или ротозея). Марко «в этом году нищеанец». Сережа про него собственноручно сочинил такие стихи:

Штаны с дырой, зато в идеях модник;
Ученый муж и трижды второгодник.

— Это у нас дома, — прибавил он, — моя специальность. Маруся требует, чтобы про каждого ее пассажира были стихи.

Сестра Лика, по-видимому, тоже старше Сережи, «догрызла последние ногти и теперь скучает и злится на всю Одессу». Моложе всех Торик, но он «опора престола»: обо всем «судит так правильно, что издали скиснуть можно».

К маяку, я забыл сказать, мы попали вот как: завидя дубок, на который мы бы налетели, если бы он не велел «табанить», Сережа вспомнил, что теперь у Андросовского мола полным-полно дубков из Херсона — везут монастырские кавуны.

— Хотите, подадимся туды? Там и пообедаем: я угощаю.

Очень уютно и забавно было мне с ним, а на даче лодка никому до вечера не могла понадобиться; к тому же он обещал на обратный путь подобрать «одного из обжорки», тот будет грести, а я отдохну. Я согласился, и мы «подались» в порт, обогнув маяк и потратив на это дело часа три из-за ветра и зыби и необходимости каждые полчаса вычерпывать из под настила все Черное море.

— Сухопутные они у вас адмиралы, — бранился Сережа по адресу моих друзей, так нерадиво содержавших лодку.

К пристани среди дубков пришлось пробираться сквозь давку, словно в базарные часы на Толчке: малые суда чуть ли не терлись друг о друга, и Сережа знал, что дубок, что баркас, что

фелюга и еще пять или десять названий. Очевидно, и его тут многие знали. С палуб, загроможденных арбузами, раза три его окликнули ласково, приблизительно так:

— Ого, Сирожка — ты куды, гобелка? Чего у класс не ходишь, с. с.? Как живется?

На что он неизменно отвечал:

— Скандибобером! — То есть, судя по тону, отлично живется.

С одной фелюги ему, скаля белые зубы, молодец в красной феске что-то закричал по-гречески, и Сережа отозвался на том же языке; я его не знаю, но, к сожалению, разобрал окончание фразы: «тин митера су» — винительный падеж от выражения «твоя мамаша». В беседе со мной Сережа от этого стиля воздерживался. Впрочем, излагая мне свои взгляды на учениц разных одесских гимназий, он и раньше немного смутил меня своей фразеологией: «Самая шпацкая форма у Куракиной-Текели — фиолетовый цвет хорошо облегает, логарифмы сторчат, как облупленные!»

У пристани он, отказавши мне строго в разрешении внести свой пай на расходы, сбегал куда-то и принес целый куль съестного. Тут же на лодке, окунув руки для гигиены в прорубь между арбузными корками, мы совершили самую вкусную в моей жизни трапезу. Но еще слаще еды было любоваться на то, как ел Сережа. Великое дело то, что англичане называют *table manners* — не просто умение держать вилку и глотать суп без музыкального аккомпанемента, а вообще «обряд питания», ритуал сложный, особый для каждого рода пищи и для каждой обстановки, свято утоптаный поколениями гастрономической традиции. Что вилка? Немудрено, когда есть вилка, действовать так, чтобы и глядеть было приятно. Тут не только вилки не было, но она и вообще была бы неуместна. Бублик семитати: Сережа его не сломал, а разрезал его по экватору, на два кольца, смазал оба разреза салом, соскреб с глянцевитой поверхности кунжутные семечки, ровно, как опытный сеятель на ниве, рассыпал их по салу, опять сложил обе половинки и только тогда, не ломая, впился в бублик зубами. Тарань: Сережа взял ее за хвост и плашмя, раз десять, шлепнул о свой левый каблук, объяснив мне: «шкура легче слазит». Действительно, его тарань дала себя обнажить гораздо скорее и совершеннее, чем моя, хоть я над своею оперировал при помощи его финки; и я все еще подрезывал прозрачные соленые пласты на крепких иглах ее скелета, когда от его тарани давно только жирный

след остался у него на подбородке, на щеках и на кончике носа. Но высшей вершиной обряда был кавун. Я стал было нарезать его ломтями; Сережа торопливо сказал: «для меня не надо». Он взял целую четвертушку, подержал ее перед глазами, любуясь игрою красок, — и исчез. Пропал с глаз долой: был Сережа и нет Сережи. Предо мною сидела гимназическая форма с маской зеленого мрамора вместо головы. Зависть меня взяла: я со стороны почувствовал, что он в эту минуту переживает. Хороший кавун пахнет тихой водой или наоборот, это безразлично; но утонуть, как он, в арбузе — все равно, что заплыть перед вечером далеко в морское затишье, лечь на спину и забыть обо всем. Идеал nirваны, ты и природа, и больше ничего. Зависть меня взяла — я схватил вторую четвертушку и тоже распрощался с землей.

...Потом пришел тот «один из обжорки», и я невольно подумал по-берлински: — *so siehste aus*. Сережа его представил: Мотя Банабак. Тому было лет двадцать, но, несмотря на разницу возраста, это были, по-видимому, закадычные друзья. По дороге обратно я заснул и их беседы не слышал; но все остальное я вспомнил тогда, после театра, сидя за чашкой восточного кофе и блюдцем сирского рахат-лукума в любимой греческой кофейне на углу Красного переулка.

III. В «ЛИТЕРАТУРКЕ»

На субботнике в литературно-артистическом кружке, после концерта, пока служители убрали стулья для танцев, в «виноградном» зале Маруся, таща за рукав, подвела ко мне свою мать и сказала:

— Эта женщина хочет с вами познакомиться, но робеет. Анна Михайловна Мильгром. Между прочим, надо самой представиться: я ее дочь, но она ни в чем не виновата.

Анна Михайловна подала мне руку, а Маруся, наказав ей вполголоса: «веди себя как следует», ушла выбирать себе кавалера; ибо закон, по которому это делается наоборот, не про нее был написан.

«Виноградный» зал так назывался потому, что стены его украшены были выпуклым переплетом лоз и гроздей. Помещение кружка занимало целый особняк; кому он принадлежал и кто там жил прежде, не помню, но, очевидно, богатые бары. Он находился в лучшем месте города, на самой границе двух

его миров — верхнего и гаванного. До сих пор, зажмурив глаза, могу воскресить пред собою, хоть уже сквозь туман, затуманенный подробности, ту большую площадь, память благородной архитектуры заморских мастеров первой трети девятнадцатого века и свидетельство о тихом изяществе старинного вкуса первых строителей города — Ришелье, де Рибаса, Воронцова, и всего того пионерского поколения негоциантов и контрабандистов с итальянскими и греческими фамилиями. Прямо предо мною — крыльцо городской библиотеки, слева на фоне широкого, почти безбрежного залива — перистиль думы: оба не посрамили бы ни Коринфа, ни Пизы. Обернись вправо, к первым домам Итальянской улицы, в мое время уже носившей имя Пушкина, который там писал Онегина; обернись назад, к Английскому клубу и, поодаль, левому фасаду городского театра: все это строилось в разные времена, но все с одной и той же любовью к иноземному, латинскому и эллинскому гению города с непонятным именем, словно взятым из предания о царстве «на восток от солнца, на запад от луны». И тут же, у самого особняка «литературки» (тоже по-братски похожего на виллы, которые я видел в Сиене), начинался один из спусков в пропасть порта, и в тихие дни оттуда тянуло смолою и доносилась эхо элеваторов.

В то подцензурное время «литературка» была оазисом свободного слова; мы все, ее участники, сами не понимали, почему ее разрешило начальство и почему не закрыло. Прямой крамолы там не было, все мы были так выдрессированы, что слова вроде «самодержавия» и «конституции» сами собой как-то не втискивались еще в наш публичный словарь; но о чем бы ни шла речь, от мелкой земской единицы до Гауптманова «Затонувшего колокола», — во всем рокотала крамола. Чеховская тоска воспринималась как протест против строя и династии; выдуманные босяки Горького, вплоть до Мальвы, — как набатный зов на баррикады; почему и как, я бы теперь объяснить не взялся, но так оно было. Партий еще не было, кроме подпольных; легальные марксисты и народники не всегда точно знали, чем они друг на друга непохожи, и безропотно числились, заодно с будущими кадетами, в общей безбрежности «передового лагеря»; но вместе с тем, не имея программ, мы умудрялись выявлять запальчивую программную нетерпимость. Кто-то представил доклад о Надсоне, где доказывалось, что был он не поэт-гражданин, а поэт-обыватель, «Кифа Мокиевич в стихах»; два часа подряд его громили оппоненты за реакцион-

ность этого взгляда, и председательствовавший, грек, по профессии страховой инспектор, собственной властью лишил докладчика права на последнее защитительное слово, и так он и остался опозоренным навеки; а в чем был состав преступления, не помню, и неважно. Но тогда все это было потрясающе важно; и, как тот особняк стоял в главной точке города географически, так были четверги «литературки» средоточием нашей духовной суеты.

Оглядываясь на все это через тридцать лет, я, однако, думаю, что любопытнее всего было тогда у нас мирное братание народностей. Все восемь или десять племен старой Одессы встречались в этом клубе, и действительно никому еще не приходило в голову хотя бы молча для себя отметить, кто — кто. Года через два это изменилось, но на самой заре века мы искренно ладили. Странно, дома у себя все мы, кажется, жили врозь от инородцев, посещали и приглашали поляки поляков, русские русских, евреи евреев; исключения попадались сравнительно редко; но мы еще не задумывались, почему это так, подсознательно считали это явление просто временным недосмотром, а вавилонскую пестроту общего форума — символом прекрасного завтра. Может быть, лучше всего выразил это настроение — его примирительную поверхность и его подземную угрозу — один честный и глупый собутыльник мой, оперный тенор с украинской фамилией, когда, подвыпив на субботнике, подошел после ужина обнять меня за какую-то застольную речь:

— За самую печенку вы меня сегодня цапнули, — сказал он, трижды лобызаясь, — водой нас теперь не разольешь: побратимы на всю жизнь. Жаль только, что вот еще болтают люди про веру: один русский, другой еврей. Какая разница? Была бы душа общая, как у нас с вами. А вот Х. — тот другое дело: у него душа еврейская. Подлая это душа...

* * *

Анна Михайловна оказалась вблизи совсем моложавой госпожой с удивительно добрыми глазами; очень извинялась за выходку дочери — «вам не до старух, вы хотите танцевать». Я правдиво объяснил, что еще в гимназии учитель танцев Цорн прогнал меня из класса, обнаружив, что я никак не в состоянии постигнуть разницу между кадрилию и вальсом в три па. Мы сели в уголок за фикусом и разговорились; причем я сначала пытался беседовать галантно («моей дочери скоро двадцать лет» —

«кто вам, сударыня, позволил выйти замуж в подготовительном классе?»), но она просто отмахнулась и без церемонии сразу перевела меня в детскую:

— Слушайте, я действительно хотела с вами встретиться. Мой муж знал вашего покойного отца когда-то на Днепре; мы часто о вас говорим, и я хотела вас спросить: отчего вы, человек способный, околачиваетесь без профессии?

Для первого знакомства это был очень обидный вопрос; но у нее был особый талант (потом еще в большей степени я нашел его у Маруси) говорить самые неподходящие вещи как-то по-милому, словно ей все можно.

— Без профессии? Да ведь я уже сколько лет газетчик.

Она посмотрела на меня с неподдельным изумлением, словно бы я сказал, что вот уже десять лет прыгаю на одной ноге.

— Это ж не карьера. Писать можно еще год, еще два; нельзя всю жизнь сочинять фельетоны, Игнац Альбертович (это мой муж) охотно устроил бы вас у себя в конторе; или подумайте об адвокатуре; или что-нибудь, только нельзя же болтаться человеку в воздухе без настоящего заработка.

Я стал было доказывать питательные качества своего ремесла, но почувствовал, что не поможет ему защита: в ее представлениях о социальной лестнице просто не было для него ступени; в старину, говорят, так смотрели все порядочные люди на актеров, или, может быть, это проявился атавизм еврейский, и мое занятие казалось ей чем-то вроде профессии меламеда, за которую берется человек потому, что ничего другого не нашлось. Я бросил апологию и перешел в наступление:

— Откровенность за откровенность. Я знаю двоих из ваших детей — эту старшую барышню и Сережу. Скажите, как у них-то прививаются ваши благоразумные советы? Оба они прелесть, но что-то, боюсь, не в вашем стиле...

— О, это другое дело. Они мои дети; я скорее на крышу гулять полезу, чем стану им советовать.

— Как так?

— Последний человек, которого люди слушают, это мать; или отец, все равно. В каждом поколении повторяется трагедия отцов и детей, и всегда одна и та же: именно то, что проповедают родители, в один прекрасный день, оказывается, детям осточертело, заодно и родители осточертели. Спасибо, не хочу.

«Умница дама», — подумал я и решил, что занятнее не проведу вечера, чем с нею. Эта семья меня уже заинтересовала; я стал расспрашивать о ее детях, она охотно рассказывала, минутой с такой откровенностью, которая и вчуже меня бы резнула, если бы у нее все это не выходило «по-милому».

Между танцами подбежала к нам Маруся; сказала мне, указывая на мать:

— Берегитесь, она форменная деми-вьерж — обворожить обворожит, а на роман не согласится; и — тут же сообщила матери: — Весь вечер танцую с Н. Н.; влюблена; жаль, у него усы, но я надеюсь, что мягкие, царапать не будут... — И убежала.

— От слова не станется, — сказал я утешительно, думая, что Анна Михайловна смущена конкретностью этого прогноза; но она ничуть не была смущена.

— У девушек этого поколения, что слово, что дело — разница их не пугает.

— А вас?

— Всякая мать за всех детей тревожится; но меньше всего я тревожусь именно за Марусю. Вы в детстве катались на гигантских шагах? Взлетаешь чуть ли не до луны, падаешь как будто в пропасть — но это все только так кажется, а на самом деле есть привязь и прочная граница. У Маруси есть граница, дальше которой ее никакие усы не оцарапают, хотя я, конечно, не хотела бы знать точно, где эта граница... Но вот мой муж.

Игнац Альбертович был много старше, полный, с бритым подбородком, в очках; я и по виду сказал бы, что хлебник — так и оказалось. Судя по акценту, он в русской школе не учился, но, по-видимому, сам над собою поработал; особенно усердно, как было еще принято в его поколении, читал немецких классиков — впоследствии цитировал на память чуть ли не страницы из Берне, а из поэтов особенно почему-то любил Шамиссо и Ленау. В результате был на нем отчасти тот неопределимый отпечаток, который мы передаем смешным словом «интеллигент»; слово столь же зыбкого содержания, как у англичан «джентльмен». У подлинного джентльмена могут быть невыносимо скверные манеры, как и настоящий интеллигент может спокойно, даже зевнув, обнаружить незнание Мопассана или Гегеля; дело тут не в реальных признаках, а в какой-то внутренней пропудренности культурой вообще. Но вместе с тем, в Игнаце Альбертовиче прежде всего чувствовался человек из мира «делов», знающий цену вещам и людям и убежденный, что

цена, вероятно, и есть самая сущность. Это все я узнал после, когда сошелся с семьей, хотя и в той первой беседе мне врезались в память некоторые его оценки.

Анна Михайловна сразу ему пожаловалась, что я в контору не хочу, а намерен «весь век остаться сочинителем».

— Что ж, — сказал он, — молодой человек, очевидно, имеет свою фантазию в жизни. У нашего сына Марко, что ни месяц, новая фантазия; я ему всегда говорю: «С Богом, желаю успеха. Только помни — если тебе удастся, я скажу: молодец, я всегда предсказывал, что из него выйдет толк. А если проваляшься, я скажу: да разве я еще с его рождения не знал, что Марко дурак?»

Я поблагодарил за науку, но предпочел опять перевести беседу подальше от себя, на их собственных детей; это было нетрудно — Анна Михайловна явно любила эту тему, и муж ее тоже от нее не сторонился. Сережу они описали точно таким, каким я его уже знал; Игнац Альбертович, протирая очки, закрепил это описание формулой несколько неожиданной:

— Вообще шарлатан; люблю шарлатанов.

Зато о Торике (его звали Виктор), самом младшем, Анна Михайловна говорила почтительно: хорошо учится, много читает, ходит на гимнастику, недурно играет на скрипке, вежлив, охотно услужлив; когда у матери было воспаление легких, а Маруся тогда была за границей, Торик ходил за больной лучше всякой сиделки.

— Есть, — сказал Игнац Альбертович, — люди, которые любят суп с лапшой, а есть и такие, что любят его с клецками. Это не просто, это два характера. Лапша — дело скользкое: если повезет, наберешь целую копну; но есть и риск, что все соскользнет. А с клецками никакого беспокойства — больше одной не выловишь, зато с мясом, и уж наверняка. У нас Сережа любит суп с лапшой, а Торик с клецками.

Я долго смеялся, хотя слышал эту притчу и раньше, во многих версиях; но он очень сочно все это изложил. Я спросил:

— Теперь мне знакома вся галерея семейных портретов, но Сережа говорил, что есть еще сестра — Лика?

Анна Михайловна посмотрела на мужа, а он — на пол и сказал раздумчиво:

— Лика. Гм... Лика — это не сюжет для разговора во время танцев.

IV. ВОКРУГ МАРУСИ

Вскоре я стал частым гостем в их доме и при этом, странно сказать, на первых порах как бы потерял из виду самих хозяев дома — мать и отца и детей. Все они утонули в пестрой и шумной толчее Марусиных «пассажиров»; прошло много недель, пока я сквозь этот тесный переплет посторонних людей стал опять различать сначала Марусю, а потом и остальную семью.

В жизни я ни до того, ни после не видал такого гостеприимного дома. Это не было русское гостеприимство, активно-радушное, милости просим. Тут, скорее, приходилось припомнить слово из обряда еврейской Пасхи: «Всякий, кому угодно, да придет и ест». После я узнал, что Игнац Альбертович выражал эту же мысль формулой на языке своего житомирского детства, и это была одна из его любимых поговорок: «А гаст? Митн коп ин ванд!», т. е. открой ему, гостю, двери на звонок, скажи: вот стулья, а вот чай и сдобные булочки и больше ничего, не потчуй его, не заботься о нем, пусть делает что угодно — «хоть головой об стенку». Должен признаться, что это и в самом деле помогало гостям сразу чувствовать себя как дома.

Сквозь сумрак нескольких вечностей, пролетевших с той поры, я еще некоторых помню; большей частью не по собственной их выпуклости, а скорее при помощи Сережиных рифмованных портретов. Почти все это были студенты; было два-три экстерна, из тех, что носили тогда синие студенческие фуражки в предвкушении грядущих достижений, хоть и очень проблематических из-за процентной нормы; были начинающие журналисты, уже знаменитые на Дерibasовской улице; бывали, вероятно, и такие, которых даже Маруся точно по имени не знала.

Помню двух явных белоподкладочников. Один из них был степенный и благовоспитанный, вставлял французские слова, а по-русски пытался говорить на московский лад; только буква «р» у него не выходила, но он объяснял это тем, что «гувернантка акцент испохтила». Он готовил себя к карьере административной или дипломатической, намекал, что религия не есть препятствие, и писал на медаль сочинение на многообещающую тему о желательности отмены конституции великого княжества Финляндского. Являясь к Марусе, всегда подносил цветы; замужним дамам целовал ручки, а девицам — нет, как полагается (мы все, неотесанные, целовали руку и Марусе; кто-то попробовал это проделать даже над семнадцатилетней

Ликой, но жестоко пострадал). Но Сережа его постиг, и портрет этого «пассажира» гласил:

Вошел, как бог, надушен бергамотом,
А в комнате запахло идиотом.

Второй был раздуханчик, румянький, всегда счастливый, всегда с улыбкой на все тридцать два зуба. «Папаша меня гнал в медики, в Харьков, — объяснил он однажды, — но я был неумолим: пойду только на один из танцевальных факультетов — или юридический, или филологический». Обожал Одессу и всех не в Одессе родившихся презрительно называл «приезжие». С Марусей он познакомился таким способом: она как-то шла по улице одна, он вдруг зашагал с нею рядом, снял фуражку и заявил, сверкая всеми зубами:

— Мадемуазель, я — дежурный член Общества для охраны одиноких девиц на Ришельевской от нахалов.

Сережин портрет, скорее, злой, и вообще, я привожу его не без колебаний:

Он в комнату ворвался бурным штормом —
И в комнате запахло йодоформом.

Экстерны допускались наиболее благообразные и наименее глубокомысленные; собственно, только в этом доме я и видел таких. Вообще экстерны тогда составляли в Одессе очень заметную группу населения; наезжали из местечек близких и далеких, даже с Литвы («выходцы с пинского болота», — говорила Маруся), днем читали Тургенева и Туган-Барановского в городской библиотеке, а по вечерам разносили по городу — одни революцию, другие сионизм. На экзаменах за шесть и восемь классов их нещадно проваливали; многие давно махнули рукой, перестали зубрить и даже мечтать об университете, но продолжали считаться экстернами, точно это была сословная каста. Вид у них был строгий и сосредоточенный, я их всегда боялся, читая в их глазах библейский приговор: ты взвешен, взвешен — и оказался легковесом. Но к Марусе попадали только исключения из этого насупленного типа — «умеренные экстерны», как она выражалась, ручные, с галстуками и даже в крахмальных воротничках, и она, радея об их воспитании, старалась их отучить от бесед на грузные темы из разных областей любомудрия. Тем не менее остальные «пассажиры» на них косились, а Сережа охотно «цитировал» лингвистические жемчужины, якобы им почерпнутые из их сочинений, поданных на последнем неудачном экзамене:

«Человечество давно уже заметило просветительное значение науки...»

«На поле битвы (это был перевод с греческого) раздавались стоны гибнущих и гибнуемых...»

«Мать была поражена видеть сына бить отца...»

Был среди них, впрочем, и один неподкрашенный экстерн, как следует быть, в косоворотке; но он приходил не к Марусе, а к Лике и, как она, волком смотрел на всех нас, и вообще скоро исчез из круга. Сережин отзыв гласил:

Бог знает как одет, нечисто выбрит —
Того и глядь, он что-нибудь да стибрит.

Молодых журналистов я знал, конечно, и прежде. Один из них был тот самый бытописатель босяков и порта, который тогда в театре сказал мне про Марусю: «котенок в муфте». Милый он был человек и даровитый; и босяков знал гораздо лучше, чем Горький, который, я подозреваю, никогда с ними по-настоящему и не жил, по крайней мере не у нас на юге. Этот и в обиходе говорил на ихнем языке: Дульцинею сердца называл «бароха», свое пальто «клифт» (или что-то в этом роде), мои часики (у него не было) «бимбор», а займы просил так: «нема фисташек»? Сережа считал его своим учителем, вообще обожал и упорно отказывался посвятить ему «портрет». Его все любили, особенно из простонародья. Молдаванка и Пересып на его рассказах, по-видимому, впервые учились читать; в кофейне Амбарзаки раз подошла к нему молоденькая кельнерша, расплакалась и сказала:

— Мусью, как вы щиро вчера написали за Анютку-Божемой...

Другой носил тщательно растрепанные кудри и насаждал у нас в городе декаданс; несколько мешало ему то, что он не знал ни одного иностранного языка; зато с русским справлялся бестрепетно, и одну свою статью озаглавил: «У меня болит его голова». Он обильно цитировал из книги «Единственный и его собственность», но однажды выяснилось, что он ее приписывает Ницше; напечатал поэму в сто двадцать строк, но с подзаголовком «сонет». Беспощадный Сережа обессмертил его так:

Он был изысканно, возвышенно духовен,
Но путал имена Шпильгаген и Бетховен.

...Но это я еще и пятой, и десятой доли того населения не описал.

Присмотревшись к ним и наконец, словно ежика в густой траве, различив в центре Марусю, я залюбовался, как она ими всеми правит. Без усилий, даже без внимания, без всяких попыток «занимать», одним внутренним магнетизмом. Она не умела заразительно смеяться, у нее это выходило хрипло; по-моему, и говорила не так много — да и где перекричать такую толпу! — но от одного ее присутствия всем становилось уютно и весело, и каждое слово каждого казалось удивительно остроумным. Я субъект глухой к магнетизму; самый любимый человек может два часа смотреть мне в затылок — не почую и не оглянусь; но помню такой случай: раз я пришел к ним, никого не застал, сел в гостиной читать «Ниву»; полчаса так прошло, и вдруг меня буквально залило ощущением *bien-être*, словно в холодный день печку затопили или вытекла из глаза колючая пылинка, — это вернулась Маруся, а я, зачитавшись, ни звонка не слышал, ни шагов ее по ковру; и притом даже не был в нее влюблен никогда. Просто «так», просто вошло с нею в гостиную что-то необычайно хорошее.

Чем интимно были для нее эти «пассажиры», не знаю. Послушать ее — чуть ли не все, долго или мимолетно, озарены были по очереди ее щедрой милостью до той самой «границы», точного местоположения которой предпочитала не знать Анна Михайловна; Маруся, когда я как-то ей повторил эти слова матери, посоветовала: «А вы маму успокойте — до диафрагмы». Однажды из другой комнаты я услышал ее голос (она была в гостиной, и вокруг нее там гудело пять или шесть баритонов): «Ой, папа, не входи, я сижу у кого-то на коленях — не помню у кого». Уходя вечером на музыку с румяным белоподкладочником, она при мне сказала матери: «Побегу переоденусь, невежливо идти в парк с кавалером в блузке, которая застегивается сзади»; покраснел студент, а мудрая Анна Михайловна откликнулась критически только в литературном смысле: «Односторонний у тебя стиль, Маруся».

Когда мы подружились, я раз наедине спросил:

— Что это, Маруся, «стиль» такой или взаправду правда?

Она отрезала:

— Вас, газетчиков, я ведь не соблазняя, так вы и не беспокойтесь. Ну а если бы и правда, так что?

— Много их...

— А вы на меня хорошо посмотрите, особенно в профиль: убыло?

В конце концов, не мое это было дело; а лучше Маруси я не встречал девушек на свете. Не могу ее забыть; уже меня упрекали, что во всех моих, между делом, налетах в беллетристику так или иначе всегда выступает она, ее нрав, ее безбожные правила сердечной жизни, ее красные волосы. Ничего не могу поделать. Глядя на нее как-то из угла их гостиной, вдруг я вспомнил слово Энрико Ферри, не помню о ком, слышанное когда-то в Риме на лекции: *che bella pianta umana* — прекрасный росток человеческий; и тогда я еще не знал, какой воистину прекрасный, сколько стали под ее бархатом и как это все дико, страшно, чудовищно и возвышенно кончится.

V. МИР «ДЕЛОВ»

Конечно, была в этом доме и другая жизнь, помимо старшей дочери и собиравшейся у нее ватаги; только очень казалась она заслоненной, и сам Игнац Альбертович говорил о себе и жене и гостях не Марусиных: «Мы — вторая гарнитура...» Между тем вышло так, что в дальнейшем ходе разных ответвлений этой веселой и горькой истории тем «заслоненным» достались видные роли; надо и их помянуть.

Были «Нюра и Нюта» — мать и дочь; дочь называла мамашу по имени. Собственно, звали старшую даму Анной, а девушку Ноэми — на библейском имени настояла отец; он же, говорят, очень сердился за то, что мать и дочь, хотя бы неофициально, слынут как будто тезками наперекор еврейской традиции; но с ним мало считались, человек он был застенчивый, молчаливый и часто уезжал по делам. Нюра и Нюта не только себе клички придумали похожие — они и одевались одинаково, и причесывались друг подруга, и всегда были неразлучны. Кажется, они и губы подкрашивали — серьезная в те годы уголовщина. «В Нюре с Нютой есть что-то порочное», — уверяла Маруся; а Сережа их, напротив, защищал следующим образом: «Ничего подобного, просто дурака валяют»; причем этот обмен мнений произошел в присутствии самих Нюры и Нюты, и моим, и еще всякого разного народу, и никто не обиделся, только мать и дочь, сидевшие рядом, повернули друг к другу лица под одним и тем же углом и улыбнулись друг дружке одной и той же стороной губ. Дочери было, вероятно, лет двадцать пять, она формально считалась приходившей к Марусе (у которой вообще

бывало много и женской молодежи); мать ее числилась, конечно, гостьей Анны Михайловны; но впечатление было такое, будто Ньюра и Ньюта, где бы ни были, всегда, собственно, делают визиты друг другу.

Еще бывал там один гость, не разобраться чей; меня с ним раза три познакомили, пока я его заметил. Был это дальний племянник Анны Михайловны, уже взрослым юношей прибывший из местечка на Днепре; теперь ему было, по-видимому, лет двадцать восемь, не меньше. Он называл хозяев «дядя» и «тетя», со всеми детьми был на ты, но этим близость и ограничивалась; приходил часто, но ни в каких общих затеях, играх, прогулках не участвовал; все так привыкли к его пассивному присутствию, что оно уже никого не стесняло — ни хозяев, ни гостей, ни его самого. Я попробовал однажды с ним разговаривать, но успеха не имел; только вынес впечатление, что он и меня и всю компанию презирает и вообще мужчина угрюмый и не очень доброжелательный. Фамилия у него была странная — Козодой; в семье называли его Самойло; он имел звание помощника провизора и служил в аптекарском магазине, а слова «аптекарский магазин» произносил оба с ударениями на предпоследнем слог. Кто-то пустил слух, будто он влюблен в Марусю; но все они были в нее влюблены, и меньше всего был похож на вздыхателя именно Самойло — кажется, он даже не заговаривал с нею, а на ее редкие обращения отвечал равнодушно и деловито, не поощряя к продолжению беседы. Еще помню, говорили, что он о своем ремесле держится очень высокого мнения и называет себя не фармацевт, а фармаколог; Сережа это выговаривал: «фармаколух».

Затем помню еще двух родственников, между собою братьев, совсем пожилых; старшего звали Абрам Моисеевич, второго Борис Маврикиевич, и это различие в стилизации одного и того же отчества определяло многое в их несходных натурах. Старший, старик богатый, любил щеголять первобытной своей неотесанностью. Все ходячие престарелые словечки и остроты на эту тему я слышал от него. «Образование? — говорил он, вытаскивая бумажник. — Вот мое образование». Или: «Убеждения? Вот...». Или: «Что, Игнац, твой Марко опять остался на второй год? Это ты дурак, а не он. Мой Сема тоже лентяй, но я что делаю? Перед экзаменами встречаю в клубе его директора и говорю прямо: "Господин Суббоцкий, держу с вами пари на пятьсот, что мой сын опять застрянет". И дело в шляпе».

Брата своего, Бориса Маврикиевича, он терпеть не мог, всячески ему досаждал; за глаза называл его «этот шмендрик», а в глаза на людях — не Борис, но Бейреш.

Борис Маврикиевич был всего лет на пять моложе, но воспитан был или сам себя воспитал совсем по-иному. Выражался правильно по-русски, а оттенки акцента сглаживал тем, что в присутствии русских старался говорить басом (это, говорят, помогает). Много лет назад, принимая грязевые ванны на Хаджибейском лимане, он познакомился с писателем Данилевским; тот ему подарил на память свой роман «Девятый вал», и Борис Маврикиевич оттуда всегда цитировал места, подходящие к теме данной беседы. Более того, когда в кредитном обществе, где он и брат его Абрам Моисеевич оба состояли членами правления, появился вдруг некий строптивый пайщик и произвел не помню какой скандал в годовом собрании, я сам слышал, вот этими ушами, как Борис Маврикиевич о нем отозвался: «Это Робеспьер какой-то; кончит тем, что и его какая-нибудь Шарлотта застрелит в бане». Росту он был богатырского, грудь носил колесом; раз я встретил его на Дерибасовской в сизой крылатке вроде офицерской, а на голове у него была самая подлинная дворянская фуражка с красным околышком, и общий эффект был отменно православный. Он носил бакенбарды в полщеки, а подбородок брил ежедневно, с синевой, и по пятницам приходила к нему маникюрша. В клубе он играл в винт исключительно с чиновниками — тут-то и любил старший брат подойти и сказать во всеулышание: «Бейреш, пора домой, твоя жена Фейгеле беспокоится», — а тот был холостяк, и никакой Фейгеле и на свете не было.

Смешили они меня до уморы; но в одном должен признать: эти двое, и с ними еще Игнац Альбертович, первые мне показали то, что потом в жизни много раз еще подтвердилось: что гораздо любопытнее говорить с купцами, чем с профессиональными интеллигентами. В естественном кругу моем я встречался больше с литераторами и адвокатами: потолковав о книгах, больше не о чем бывало нам беседовать, разве что рассказывать анекдоты судебные или редакционные. Но когда те три «хлебника», уставши от вечной игры в очко и в шестьдесят шесть, клали локти на стол и начинали пересуживать свои биржевые дела, я невольно заслушивался, и мне на час открывался весь божий мир и чем он живет. По тысячам дорог Украины скрипят телеги, хохлы кричат на волов «цоб-цобе» — это везут зерно со всех сторон к пристаням кормильца-Днепра, и жизнь сорока

миллионов зависит от того, какие будут в этом сезоне отмечены в бюллетене одесского гофмаклера ставки на ульку или сандомирку. Но и эти ставки зависят от того, оправдаются ли тревожные слухи, будто султан хочет опять закрыть Дарданеллы; а слухи пошли из-за каких-то событий в Индии или в Персии, и как-то связаны с этим и Франц Иосиф, и императрица Мария Федоровна, и французский премьер Комб, и еще, и еще. Обо всем этом они говорили не вчуже, не просто как читатели газет, а запальчиво, как о деталях собственного кровного предприятия; одних царей одобряли, других ругали и о тех и других как будто что-то знали такое, чего нигде не вычитаешь.

Подтверждалось это мое впечатление также и тем еще, как тесно подружился с Абрамом Моисеевичем юнейший в доме Торик: Торик, несмотря на великую свою обходительность со всеми людьми без различия, не стал бы терять времени на разговоры, лишённые поучительности. Старик у него просиживал часами; хотя у Марко с Сережей была комната общая, Торику отвели, конечно, отдельную. Раза два и я напросился третьим в их беседу; в самом деле, занимательно и сочно рассказывал старик о севастопольской кампании, о смерти Линкольна, о парижской коммуна, о Скобелеве, о процессе Желябова, о Буланже и тому подобных явлениях из хроники черноморской хлеботорговли. Но помню, что больше всего при этом мне imponировал не Абрам Моисеевич, а Торик; еще точнее — не сам Торик, который слушал и молчал, а его комната. Она была вся заставлена книгами, отражавшими разные стадии его духовного развития. «Задушевное Слово», «Родник», «Вокруг Света» и так дальше до ежемесячника «Мир Божий» — все в сохранности, в комплектах, в переплетах; русские классики; целая полка *Bibliothèque Rose* и всяческих *Morheaux Choisis* даже, к моему изумлению, «История» Греца, единственная книга еврейского содержания во всем доме. Письменный стол содержался в порядке; правильным столбиком лежали школьные тетради в голубых обложках, из каждой свешивалась цветная ленточка, приклеенная облатками и к обложке, и к промокашке; на стене висело расписание уроков...

А однажды случилось так: Анна Михайловна, когда мальчиков не было дома, попросила меня принести ей словарь Макарова с полки у Торики, но я ошибся дверью и попал в комнату, где еще никогда не был. Полагалось бы сейчас же отступить, но я про это забыл, так меня разом удивила обстановка и атмосфера той комнаты. Словно из другого дома: железная кро-

вать, два некрашенных стула, облупленный умывальник, на нем гребешок, мыло и зубная щетка, и больше ничего. На столе валялись книжки; заглавий я не мог прочесть с порога, но узнал их по формату — эту словесность тогда просто называли «брошюрами», и о том же ходе мысли говорил прибитый кнопками к обоям портрет Лассалья. Подивившись на все это, я закрыл дверь, разыскал у Торика словарь, понес его Анне Михайловне и в коридоре встретил Лику: глядя прямо перед собою, она тщательно отвела плечо, чтобы я как-нибудь не задел ее за форменный темно-зеленый рукав, и прошла в ту комнату к себе.

VI. ЛИКА

Летом Мильгромы жили на Среднем Фонтане. Дача находилась на десятой станции: для старого туземца достаточно назвать этот номер, чтобы восстала из забвения пред очами души его одна из характернейших картин нашего тогдашнего быта.

Если бы мне поручено было написать монографию о десятой станции, я бы начал издадека и с сюжета чрезвычайно поэтического. Много раз уже, начал бы я, воспевали художники слова таинственную, влекущую силу ночного серебряного светила, которой, говорят, послушны морские приливы (на Черном море высота прилива около вершка, но это к делу не относится). Зато, насколько знаю, никем еще не воспет притягательный магнетизм светила дневного; а между тем есть в природе одно существо, которое не только имя свое и самый облик заимствовало у солнца, но и активно правит ему свое богослужение от восхода до заката, все время поворачиваясь лицом к колеснице жизнедателя Феба, и т. д. От подсолнечника монография перешла бы к его семенам и подробно остановилась бы на значении этого института, не с точки зрения ботаники и даже не гастрономии, но с точки зрения социальной. Символ плебейства, с презрением скажут хулители; но это не так просто.

На десятой станции я видел не раз, как самые утонченные формации человеческие, модницы, директора банков, жандармские ротмистры, подписчики толстых журналов, отрясая кандалы цивилизации, брали в левую руку «фунтик» из просаленной бумаги, двумя перстами правой почерпали из него замкнутый в серополосатую кобуру поцелуй солнца, и изысканный разговор их из нестройной городской прозы превращался в мерную скандированную речь с частыми цезурами в виде

пауз для сплевывания лушпайки. Этот обряд объединял все классы, барыню и горничную, панича и дворника; и должна же быть некая особая тайная природная доблесть в тех точках земной поверхности, где совершается такое социальное чудо, где обнажается подоплека человеческая, вечно та же под всей пестротой классовых пиджаков и интеллектуальных плюмажей, и, на призыв дачного солнца, откликается из всех уст единый всеобщий подкожный мещанин... Впрочем, это наблюдалось главным образом после заката упомянутого светила, так что символизм той монографии вряд ли удалось бы выдержать последовательно; но основная мысль ее, настаиваю, верна. Характернейшей чертой десятой станции было то, что все там лузгали «семочки» (никогда и никто у нас этого слова иначе не произносил) и любили это занятие, и несметными толпами ежевечерно стекались туда на соборный этот обряд и под аккомпанемент его заключали договоры, обсуждали идеи, изливали влюбленную душу и молили о взаимности...

Сюда я, с разрешения хозяев, привез однажды знакомого живописца. У нас была в городе дружная компания художников-южан; общий приятель наш, известный в те годы поэт, драматург и беллетрист, описал ее когда-то под кличкой «двенадцать журавлей»; дважды в месяц они пьяно и весело ужинали в одном из греческих ресторанчиков, позади Городского театра, скупо допуская в свою среду иногда и писателей; меня пускали по ходатайству того драматурга «за любовь к Италии» и под условием (после одного опыта) «никогда не писать в газете о картинах». Один из них, увидав меня как-то на спектакле в ложе у Анны Михайловны, попросил: «Познакомьте меня, интересные головы у всей этой семьи». Я сообразил, что множественное число — только для отвода глаз, а зарисовать ему хочется Марусю.

Но, сидя у них за столом, он вдруг обратился к Анне Михайловне громко, с деловитой откровенностью специалиста, говорящего о своей специальности:

— Что за неслыханная красавица ваша младшая дочь!

Мы все, человек десять за столом, изумленно обернулись на Лиду. Никогда ни одному из нас это в голову не приходило; вероятно, и родным ее тоже. Лика была едва ли не просто неряха, волосы скручивала редькой на макушке, и то редька всегда сползала на бок; она грызла ногти, и чулки у нее, плохо на-

тянутые, морщились гармоникой из-под не совсем еще длинной юбки. Главное, вся повадка ее, чужая и резкая, не вязалась с представлением о привлекательности — не взбредет же на ум человеку присмотреться, длинные ли ресницы у городского. Посвященный ей Сережей «портрет» начинался так:

Велика штука — не язык, а пика:
А ну-ка уколи-ка, злока Лика!

А прав был художник, я теперь увидел. Странно: простая милость сразу бросается в глаза, но настоящую, большую красоту надо «открыть». Черные волосы Лики, там, где не были растрепаны, отливали темной синевой, точь-в-точь оттенка морской воды в тени между скалами в очень яркий день. Синие были и глаза, в эту минуту с огромными злыми зрачками, и от ресниц падала тень на щеки. Лоб и нос составляли одну прямую черту, греческую, почти без впадины; верхняя губа по рисунку напоминала геральдический лук, нижняя чуть-чуть выдавалась в презрительном вызове навстречу обидчику. От обиды она бросила ложку, и я увидел ее пальцы, как карандашики, длинные, тонкие, прямые, на узкой длинной кисти; и даже обкусанные края не нарушали овальной формы ногтей. Прежде чем вскочить, она возмущенно подняла плечи, и когда опустила их, я в первый раз увидал, что они, хоть и очень еще детские, срисованы Богом с капитолийской Венеры — наклонные, два бедра высокого треугольника, без подушек у перехода в предплечья... Но ложка упала так, что брызги борща со сметаной разлетелись по всем окрестным лицам; стул повалился, когда она вскочила; и, не сказав ни слова, она ушла из столовой.

— Вижу, — вздохнул художник, — не захочет барышня позировать.

Анна Михайловна была очень сконфужена и без конца извинялась; гость, кажется, не обиделся, но почему-то очень оскорбленным почувствовал себя я. Если бы не то, что вообще я с Ликой никогда и двух слов не оказал, я бы в тот же вечер постучался в ее камеру, вошел бы, не дождавшись «войдите», и выбрал бы ее всеми словами, какие только в печати дозволены. Но случайно эта возможность устроить ей сцену представилась мне через несколько дней.

Было это так. Однажды ночью мы большой компанией взбирались по крутому обрыву, гуськом, я предпоследний, а за мною Лика. Утром прошел дождь, тропинка была еще рыхлая

и скользкая. Из-под ног у Лики вдруг выкатился камень, она вскрикнула, села, и ее медленно потащило вниз. Я опустился, нагнулся и схватил ее за руку.

— Пустите руку, — сказала она сердито.

Досада меня взяла; точно малого ребенка, я потащил ее вверх, и она, словно и вправду упрямый ребенок, выворачивалась и локтем, и плечами, но все-таки добралась до прочного устоя. Там я ее отпустил; она смотрела мимо, тяжело дыша, и видно было, что в душе у нее происходит борьба: обругать ли, сказать ли спасибо? Я отстранился, дал ей пройти вперед; она шагнула, слегка вскрикнула и села, потирая щиколотку.

— Не надо ждать, — сказала она сквозь зубы, глядя все в сторону.

— Пройдет, тогда и пойдем, — ответил я с искренним бесшестством. — По моим правилам не оставляют одной несовершеннолетнюю девицу, которая вывихнула ногу, даже если она невоспитанная.

Длинная пауза; сверху и голосов уже не было слышно, спутники наши перевалили через край обрыва. У меня отлегло раздражение, я рассмеялся и спросил:

— В чем дело, Лика; или, если угодно, в чем дело, Лидия Игнатьевна, за что вы так меня возненавидели?

Она пожала плечами.

— И не думала. Вы для меня просто не существуете. Ни вы, ни... — Она поискала слова и нашла целую тираду: — ни вся эта орава бесполезных вокруг Маруси, и Марко, и мамы.

— От ликующих, праздно болтающих уведи меня в стан погибающих?

— Можете скалить зубы, мне и это все равно. И, во всяком случае, не в стан «погибающих».

— А каких?

Она опять передернула плечами и промолчала, растирая ногу. Полумесяц светил ей прямо в лицо; очень прав был тот художник.

— Знаете, — заговорил я, — раз, когда у вас было такое выражение лица, Сережа подтолкнул меня и сказал: «Жанна д'Арк слышит голоса».

Вдруг она повернулась ко мне и взглянула прямо в глаза, в первый раз и, кажется, в последний за все наше знакомство; и невольно я вспомнил слова: посмотрит — рублем подарит. Не в смысле ласки или милости «подарок», взгляд ее был чужой

и ко мне совсем не относился; но предо мной открылось окошко в незнакомый темный сад; и, несмотря на темноту, нельзя было не дать себе отчета, что это большой чей-то сад.

— Вы меня вытащили, — сказала она другим тоном, спокойно и учтиво, — напрасно я на вас огрызнулась; в искупление я вам на этот раз отвечу серьезно, хотя, вообще, право, незачем и не о чем нам разговаривать. Сережа, если хотите, прав: «голоса». Я их все время слышу, со всех сторон; они шепчут или кричат одно и то же, одно слово.

Я ждал, какое, но ей, очевидно, трудно его было выговорить. Я попробовал помочь:

— «Хлеба»? «Спаси»?

Она покачала головой, все не сводя с меня повелительных синих глаз:

— Даже невоспитанной барышне трудно произнести — «сволочь».

Странно, меня не покорило (хотя написать только что эти семь букв на бумаге я не сразу решился): грубое кабацкое слово донеслось из глубины того чужого сада не руганью, а в каком то первобытном значении, точно вырвала она его, на языке ветхозаветных отшельников из затерянной гневной главы Писания. Теперь мы смотрели друг другу в глаза уже без насмешки с моей стороны и вызова с ее, серьезно и напряженно, два заклятых врага, которым настал час договориться до конца.

— Это вы о ком?

— Обо всех и ни о ком. Вообще люди. Итог. Вы думали, что мои голоса кричат «Хлеба!» и просят: «Приди и спаси»? Это вы мне много чести делаете, не по заслугам: я-то знаю про голод и Сибирь и все ужасы, но мне никого не жалко, и никого я спасать не пойду, и меньше всего в стан погибающих.

— Понял: в стан разрушающих? В стан сжигающих?

— Если хватит меня, да.

— Одна, без товарищей?

— Поищу товарищей, когда окрепну.

— Разве так ищут, каждого встречного заранее осуждая без допроса?

— Неправда, я сразу делаю допрос, только вам не слышно. Я сразу чувствую чужого. — Она подумала напряженно, потом сказала: — Трудно определить, но, может быть, критерий такой: есть люди с белой памятью и есть с черной. Первые лучше всего запоминают из жизни хорошее, оттого им весело...

с Марусей, например. А злопамятные записывают только все черное: «хорошее» у них само собою через час стирается с доски, да и совсем оно для них и не было «хорошим». Я в каждом человеке сразу угадываю, чернопамятный он или белопамятный; незачем допрашивать. Теперь я уже могу пойти и буду на вас опираться, и наверху скажу спасибо, только уговор... как бы это выразить...

Я ей помог:

— Будьте спокойны, обещаю и впредь обходить вас за версту.

VII. МАРКО

Перед выездом на дачу произошло важное событие: Марко получил наконец аттестат зрелости. В их выпуске было, кроме него, еще несколько закоснелых второгодников, поэтому освобождение от гимназического ига было отпраздновано с исключительным треском. Мой коллега Штрок, король полицейского репортажа в Одессе и на юге вообще, принес в редакцию восторженное описание этой вакханалии; конечно, не для печати, а просто из принципа, дабы в редакции не забыли, что Штрок все знает. Выпуск в полном составе явился в «Северную», славнейший кафешантан в городе, куда им еще накануне как гимназистам строго запрещен был вход; и так они там шумели, что дежурный пристав (хотя по традиции на июньские подвиги абитуриентов, все равно как на буйства новобранцев, полиция смотрела сквозь пальцы) не выдержал и пригрозил участком; на что старейший из второгодников дал, по словам Штрока, исторический ответ, с тех пор знаменитый в летописях черноморского просвещения:

— Помилуйте, господин пристав, раз в шестнадцать лет такая радость случается!

Потрясенный этим монументальным рекордом, пристав сдался.

После этого я помню Марко с синей фуражкой на голове; но был ли под этой фуражкой летний студенческий китель или просто пиджак, т. е. сразу ли его сквозь петли процентной нормы приняли в университет, — не могу вспомнить. Это любопытно: биографии сестер и братьев Марко, насколько они прошли в поле моего зрения или сведения, память моя сохранила, и внешность их тоже, включая даже милые, но курьезные жен-

ские прически и платья того десятилетия; а самого Марко я забыл. Ни роста его, ни носа его, ни воспетого Сережей неряшества не запомнил. Когда очень стараюсь воссоздать его облик в воображении, получаются все какие-то другие люди — иногда я даже знаю их по имени, иногда нет, но знаю, что не он. Знаю это по глазам: единственная подробность его лица, которую могу описать; не цвет, но форму и выражение. Очень круглые и очень навывкате глаза, добрые и привязчивые и (если можно так назвать без обиды) навязчивые: голодный взгляд человека, всегда готового не просто спросить, а именно расспросить и всему, что получил в ответ, поверить, поахать и удивиться.

В первый раз мы по душам поговорили еще когда он был гимназистом: он подсел ко мне где-то, или в гостях, или у них же дома.

— Я вас не слишком стеснил бы, если бы попросил уделить мне как-нибудь вечер наедине? Целый вечер?

— Можно, — сказал я, — а позвольте узнать, в чем будет дело?

— Мне нужно, — ответил он, вглядываясь круглыми глазами, — расспросить вас об одной вещи: чего, собственно, хочет Ницше? — И тут же «пояснил»: — Потому что я, видите ли, убежденный ницшеанец.

Я не удержался от иронического замечания:

— Это что-то не вяжется. Что вы ницшеанец, давно сказал мне Сережа; но ведь первая для этого предпосылка — знать, чего Ницше «хочет»...

Он нисколько не смутился, напротив, объяснил очень искренно и по-своему логично:

— Я его пробовал читать; у меня есть почти все, что вышло по-русски; хотите, покажу. Я вообще, видите ли, массу читаю; но так уж нелепо устроен — если сам читаю, главного никогда не могу понять; не только философию, но даже стихи и беллетристику. Мне всегда нужен вожатый; он ткнет пальцем, скажет: «Вот оно!» — и тогда мне сразу все открывается.

Тут он немного замялся и прибавил:

— В семье у нас, и товарищи тоже, думают, видите ли, что я просто дурак. Я в это не верю; но одно правда — я не из тех людей, которым полагается размышлять собственной головой. Я, видите ли, из тех людей, которым полагается всегда прислушиваться.

Эта исповедь меня обезоружила и даже заинтересовала, но я все-таки еще спросил:

— Откуда же вы знаете, что вы уже ницшеанец?

— А разве надо знать хорошо Библию, чтоб быть набожным? Я где-то слышал, что, напротив, у католиков в старину будто бы запрещено было мирянам читать Евангелие без помощи ксендза, чтобы вера не скисла.

Вечер я ему дал, это было нетрудно: мода на Ницше тогда только что докатилась до России, о нем уже три доклада с прениями состоялись у нас в «литературке»; книги его были у меня; все ли были тогда разрезаны, ручаться не стану, но рассказать своими словами — пожалуйста. Марко в самом деле умел «прислушиваться»; и, хоть я сначала мысленно присоединился к мнению семьи и товарищей, им же цитированному, вскоре, однако, начал сомневаться, вполне ли это верно. Если и был он дурак, то не простой, а *sui generis*.

Собственно, и «семья» держалась того же квалифицированного взгляда; по крайней мере, отец. На эту тему Игнац Альбертович однажды прочитал мне что-то вроде лекции. Началось, помню, с того, что Марко что-то где-то напугал, отец был недоволен, а Сережа старшим басом сказал брату:

— Марко, Марко, что из тебя выйдет? Подумай только — Александру Македонскому в твоём возрасте было уже почти двадцать лет!!

После этого мы с Игнацом Альбертовичем остались одни, и вдруг он меня спросил:

— Задавались ли вы когда-нибудь мыслью о категориях понятия «дурак»?

Тут он и прочитал мне лекцию, предупредив, что классификация принадлежит не ему, а почерпнута частью из любимых его немецко-еврейских авторов, частью из фольклора волынского гетто, где он родился. Дураки, например, бывают летние и зимние. Ты сидишь у себя в домике зимою, а на улице вьюга, все трещит и хлопает; кажется тебе, что кто-то постучался в дверь, но ты не уверен — может быть, просто ветер. Наконец ты откликаешься: войдите. Кто-то вваливается в сени, весь закутанный, не разберешь — мужчина или женщина; фигура долго возится, развязывает башлык, выпутывается из валенок — и только тогда, в конце концов, ты узнаешь: перед тобою дурак. Это — зимний. Летний дурак зато впорхнет к тебе налегке, и ты сразу видишь, кто он такой. Затем возможна и классификация по другому признаку: бывает дурак пассивный и ак-

тивный; первый сидит себе в углу и не суется не в свои темы, и это часто даже тип очень уютный для сожителства, а также иногда удачливый в смысле карьеры; зато второй удручающе неудобен.

— Но этого недостаточно, — закончил он, — я чувствую, что нужен еще третий какой-то метод классификации, скажем — по обуви: одна категория рождается со свинцовыми подошвами на ногах, никакими силами с места не сдвинешь, а другая, напротив, в сандалиях с крылышками, на манер Меркурия... или Марко?

Еще как-то наблюдал я его под Новый год на студенческом балу в «мертвецкой». Бал всегда происходил в прекрасном дворце биржи (пышному слову «дворец» никто из земляков моих тут не удивится, а с иностранцами я на эту тему и объясняться не намерен). «Мертвецкой» называлась в этих случаях одна из боковых зал, куда впускали только отборнейшую публику, отборнейшую в смысле «передового» устремления души; и впускать начинали только с часу ночи. Пили там солидно, под утро иные даже до истинного мертвецкого градуса; но главный там запой был идейный и словесный. Хотя допускались и штатские, массу, конечно, составляли студенты. Был стол марксистов и стол народников, столы поляков, грузин, армян (столы сионистов и Бунда появились через несколько лет, но в самые первые годы века я их еще не помню). За главным столом сановито восседали факультетские и курсовые старосты, и к ним жалось еще себя не определившее, внефракционное большинство. За каждым столом то произносились речи, то пелись песни; в первые часы ораторы говорили с мест, ближе к утру вылезали на стол; еще ближе к утру — одновременно за тем же столом проповедовали и со стола, и снизу, а аудитория пела. К этому времени тактично исчезали популярные профессора, но в начале ночи и они принимали перипатетическое участие в торжестве, переходя от стола к столу с краткими импровизациями из неписанной хрестоматии застольного златоустия. «Товарищи студенты, это шампанское — слишком дорогое вино, чтобы пить его мне за вас, тем более вам за меня. Выпьем за нечто высшее — за то, чего мы все ждем с году на год; да свершится оно в наступающем году...» «Коллеги, среди нас находится публицист, труженик порабощенного слова — подымите бокалы за то, чтобы слово стало свободным...»

В тот вечер пустили туда и Марко, хоть и тут я не помню, был ли он уже тогда студентом. Вошел он нерешительно, не зная, куда притулиться; кто-то знакомый его подозвал к столу, где сидя и стоя толпились черноволосые кавказцы — издали не разобрать было, какой национальности; там он уж и остался на весь вечер. Оглядываясь на него время от времени, я видел, что ему с ними совсем по себе: он подпевал, махал руками, кричал, поддакивал ораторам, хотя большинство их там, кажется, говорило на родном своем языке.

Когда сам мало пьешь, любопытно и грустно следить, как заканчивается разгульная ночь. Постепенно деревенеют мускулы зеленых или фиолетовых лиц, застывают стекляшками глаза, мертвенно стучаются друг о друга шатающиеся, как на подпорках, слова; на столах налито, у мужчин помяты воротнички и края манжет замуслены, а кто во фраке, у тех сломаны спереди рубахи; вообще, все уже стало погано, уже в дверях незримая стоит поденщица с ведром и половой тряпкой... Удивительно, по-моему, подходило к этой минуте там, в мертвецкой, заключительное «Caudeamus», самая заупокойная песня на свете.

Марко проводил меня домой; он тоже мало выпил, но был пьян от вина духовного, и именно кахетинского. Он мурлыкал напев и слова «Мравал джамиэр»; два квартала подряд, никогда не выдавши Кавказа, живописал Военно-Грузинскую дорогу и Тифлис; что-то доказывал про царицу Тамару и поэта Руставели... Лермонтов пишет: «Бежали робкие грузины» — что за клевета на рыцарственное племя! Марко все уже знал о грузинском движении, знал уже разницу между понятиями картвелы, имеретины, сванеты, лазы, даже и языком уже овладел — бездомную собачонку на углу поманил: «Моди ак», потом отогнал прочь: «Цади!» (за точность не ручаюсь, так запомнилось); и закончил вздохом из самой глубины души:

— Глупо это: почему нельзя человеку взять да объявить себя грузином?

Я расхохотался:

— Марко, есть тут один доктор-сионист, у него горничная Гапка; раз она подавала чай у них на собрании, а потом ее докторша спросила: как тебе понравилось? А Гапка ответила, тоном благоговейной покорности року: що ж, барыня, треба йихати до Палестыны!

Он обиделся; нашел, что это совсем не то, и вообще эта Гапка — старый анекдот, десять раз уже слышал.

— Кстати, Марко, — сказал я, зевая, — если уж искать себе нацию, отчего бы вам не приткнуться к сионистам?

Он на меня вытаращил круглые глаза с полным изумлением; ясно было по этому взгляду, что даже в шутку в пять часов утра не может нормальный человек договориться до такой беспредельной несуразности.

Теперь уже представлены читателю, на первом ли плане или мимоходом, все пятеро; можно перейти к самой повести о том, что с ними произошло.

VIII. МОЙ ДВОРНИК

Месяцы шли; я уезжал и приезжал, часто надолго теряя семью Мильгром из виду. Время от времени где-то стреляли в губернаторов, убивали министров; удивительно, с какой беспримесной радостью принимались эти вести всем обществом; теперь такое единодушие было бы в аналогичном случае немислимо — впрочем, теперь и нет нигде обстановки вполне аналогичной. Но для нашего рассказа одна только сторона этих событий существенна: то, что эпоха «весны», на первых порах, — с точки зрения таких, как я, сторонних наблюдателей, — веселая, безоблачная, мягкая, стала постепенно принимать все более жестокий и лютый характер. С севера приходили вести о карательных походах на целые губернии; уже ясно было, что одним «настроением» передового общества да единичными пулями переродить государственный строй не удастся, что и «весна» окажется массовой трагедией; только одного еще мы не понимали — что трагедия будет затяжной. Соответственно этому на глазах менялся и быт нашего города, еще недавно такой легкий и беззаботный.

Прежде всего я это заметил по личной эволюции одного скромного гражданина. Он состоял дворником нашего двора, звали его Хома, и был он чернобородый мужик из Херсонщины. Я в том доме жил давно и с Хомой поддерживал наилучшие отношения. По ночам, на мой звонок у ворот, он сейчас же вылезал из своего подпольного логова, «одчинял фортку» — т. е. калитку — и, приема гривенник, вежливо, как бы ни был заспан, кивал чуприной и говорил: «Мерси вам, паньч». Если, войдя на кухню, кто-либо из домашних заставал его в рукопашном общении с хорошенькой нашей горничной Мотрей, он быстро

от нее отстранялся, снимал картуз и смущенно докладывал, что визит его объясняется заботой о наших же интересах — побачить, например, чи труба не дымить или чи выюшки не спорчены. Словом, это был прежде нормальный обыватель из трудового сословия, сам жил и другим давал жить и никаких притязаний на высоты командной позиции не предъявлял.

Но постепенно стала в нем намечаться психологическая перемена. Первой, помню, отметила ее Мотря. Раз как-то не хватило дров; ей сказали, как всегда, попросить дворника, чтобы поднял из погребца охапку; она сбегала во двор и, вернувшись, доложила:

— Фомы Гавриловича нема: воны ушедши.

Я даже не сразу понял, о ком она говорит; особенно потрясло меня деепричастие вместо простого прошедшего. Мотря, до нас служившая у генерала, точно соблюдала эти глагольные тонкости и всегда оттеняла, что прачка «ушла», а барыня — «ушедши». Я смутно ощутил, что в общественном положении нашего дворника совершается какой-то процесс возвышения.

После этого я лично стал наблюдать тревожные признаки. Ночью приходилось простаивать у ворот, топя озябшими ногами, и пять минут, и десять. Получая традиционный гривенник, Хома теперь уже нередко подносил монету к глазам и рассматривал ее в тусклом освещении подворотни, с таким выражением, которое ясно говорило, что традиция не есть еще ограничительный закон. Свою формулу благодарности он стал постепенно сокращать: «мерси, паныч», потом просто «спасибо», причем опять-таки не только опущение титула, но и переход с французского языка на отечественный звучал многозначительно. Однажды, продержав меня чуть не полчаса на морозе, он мне даже сделал замечание: «Тут, паныч, не церква, щоб так трезвонить!» А в следующий раз, покачав головой, отозвался назидательно: «Поздно гуляете, то и для здоровья шкода!»

Кончилось тем, что я, по робости натуры, звонил один раз и покорно ждал; гривенник заменил пятиалтынным; сам, вручая монету, произносил «спасибо», а Хома в ответ иногда буркал что-то нечленораздельное, а иногда ничего. Но не в этом суть, много характернее для охватившей империю огневицы (как солнце в капле, отражалась тогда империя в моем дворнике) было то, что Хома с каждой неделей становился все более значительным фактором моей жизни. Я ощущал Хому все время, словно не удавшийся дантисту вставной зуб. Он уже давно не сочувствовал, когда у меня собирались гости; однажды по-

звонил в половине двенадцатого и спросил у Мотри: «Чи то не заседание, бу за пивом не послали, и шо-то не слышно, шоб спивали, як усегда». В другой раз забрал мою почту у письмоносца и, передавая пачку мне, заметил пронзительно:

— Заграничные газеты получаете?

Я поделился этими наблюдениями со знакомыми: все их подтвердили. Дворницкое сословие стремительно повышалось в чине и влиянии, превращалось в основной стержень аппарата государственной власти. Гражданин думал, будто он штурмует бастионы самодержавия; на самом деле осаду крепостей вело начальство — миллионов крепостей, каждого дома, и авангард осаждающей армии уже сидел в подвальных своих окопах по сю сторону ворот.

Любопытно было и ночное оживление на улицах. Несмотря на всю нашу столичную спесь, мы привыкли к тому, что в два часа ночи, когда возвращаешься домой с дружеской беседы, никого на улицах нет, и утешали муниципальное самолюбие наше ссылкой на Вену, где люди тоже рано ложатся спать. Но теперь я почти еженощно в эти часы где-нибудь наталкивался на молчаливое шествие: впереди жандармский ротмистр, за ним свойственная ему свита — и уж где-то некий другой Хома или мой собственный, загодя предупрежденный о назначенном обыске, ждал, не засыпая, властного звонка и уже завербовал приятеля на ампула второго понятого.

С другой стороны слышно было и видно; что и осажденные готовятся к вылазке: во всем городе шептались, что предстоит «демонстрация». Что такое демонстрация, никто точно не знал — никогда не видал ее ни сам, ни дед его; именно поэтому чудилось, что прогулка ста юношей и девиц по мостовой на Дерibasовской улице с красным знаменем во главе будет для врага ударом неслыханной силы, от которого задрожат и дворцы, и тюрьмы. Народный шепот несколько раз даже называл точный месяц и число того воскресенья, когда разразится эта бомба; покамест еще, однако, невпопад. Но уже ясно было, кто будут участники этого грозного похода с Соборной площади на угол Ришельевской улицы: они так отчетливо бросались в глаза на каждом шагу, и молодые люди, и девицы, словно бы уже заранее для этого облеклись в какую-то особенную форменную одежду.

Впрочем, это и была почти форменная одежда: не в смысле покроя и цвета, а в смысле общего какого-то стиля. Об экстернах я уже говорил; теперь в еще большем, пожалуй, количестве

появились в обиходе их духовные подруги. Сережа первый принес в нашу среду сборное имя, которым (он божился) их обозначали заглазно даже собственные товарищи, хотя я долго подозревал, что кличку придумал он сам: «дрипка», от слова «задрипанный», которого, кажется, нет еще и в последнем издании словаря Даля. Соломенная шляпка мужского покроя в виде тарелки, всегда плохо приколота и съезжавшая набок, причем носительница время от времени подталкивала ее на место указательным пальцем; блузка того кроя, который тогда назывался английским, с высоким отложным воротником и с галстуком, пропущенным в кольцо, — но часто без галстука и без кольца; юбка на кнопках сбоку, но одной по крайней мере кнопки обязательно всегда не хватало; башмаки с оборванными шнурками, переплетенными не через те крючки, что надо, и на башмаках семидневная пыль всех степей Черноморья; надо всем этим иногда очки в проволочной оправе и почти всегда розовая печать хронического насморка.

— А ты не смейся, — выговаривал мне приятель, бывший мой одноклассник, которого потом повесили под Петербургом на Лисьем Носу. — Ты их только мысленно переодень и увидишь, кто они такие: дочери библейской Юдифи.

— Юдифь? — рассмеялся, когда я это ему повторил, Сережа. — А вы на походку посмотрите. Самое главное в человеке — походка: ее не переоденешь. Юдифь шествовала, а эти бегут.

«Бегут» — меткое слово. У них самих оно всегда было на языке. Точно выпали из обихода все другие темпы и способы передвижения: «Передать записку? Я бегу». «Забегала проведать Осю, но его дома нет». Даже в редкие минуты роскоши: «Сегодня вечером идет в театре "Возчик Геншель", надо сбегать посмотреть».

Но тот приятель мой в одном был, во всяком случае, не прав: я не смеялся, а, скорее, тревожился. Однажды утром в глухой аллее парка, за той ложбиной, что называлась у мальчиков Азовским морем, я издали увидел одну из дочерей Юдифи. Она шла мне навстречу с юношей в косоворотке, и, проходя мимо, оба и не посмотрели на меня, только понизили голоса. У этой не было ни очков, ни насморка, и походка была не та, но все остальное имелось в наличии: шляпа-тарелка, оборванные кнопки, перепутанные шнурки на пыльных башмаках; и я узнал Лику.

Еще в одном смысле начинала портиться наша весна. Рассказывая о той ночи в «мертвецкой» на студенческом балу, где Марко чуть не поступил в грузины, я забыл упомянуть об одной речи. Произнес ее второкурсник по имени Иванов; я его знал, иногда встречал и в еврейских домах — обыкновенный Иванов 7-й или 25-й, уютный, услужливый и незаметный, от которого никто никогда никакой прыти не ожидал, меньше всего речей. Он выступил рано, когда еще и пьян не был; начала речи и повода к ней я не слышал, но было в ней такое место:

— Позвольте, коллеги, нельзя нас обвинять во вражде к определенной нации, даже если эта нация не имеет отечества и потому, естественно, не воспринимает понятия «отечество» так, как мы, — и то еще не грех. Но другое дело, если эта нация является носителем идей, которые...

Помню, я подивился, что в «мертвецкой», в исконном царстве единой и бессменной Марсельезы, стали возможны такие тона, без аплодисментов правда, но и без скандала. Я только не мог еще догадаться тогда, что, случись это годом позже, был бы уже и сочувственный отклик.

IX. ИНОРОДЕЦ

Я начинал входить в общественную деятельность: секретарь временного правления «Общества санаторных колоний и других гигиено-диетических учреждений для лечения и воспитания слабых здоровьем учащихся неимущего еврейского населения города Одессы и его предместий»; факт — именно так оно называлось, и в молодости я долго еще умел выговорить весь титул одним духом. Возникло это общество тоже отчасти с крамольным замыслом: под видом «гигиено-диетического учреждения» можно устроить занятия гимнастикой, а под видом гимнастики — самооборону. На юге начинали поговаривать, что скоро это пригодится. Но пока что правление мне предложило набрать несколько добровольцев для обхода бедноты — записать, кому нужен даровой уголь; или, может быть, даровая маца, не помню. Я передал это старшим детям Анны Михайловны. Марко записался (потом не пошел, забыл и очень извинялся); Лика, не подняв глаз от брошюры и не вынув пальцев изо рта, сделала знак отказа головой; Маруся сказала: «В паре с вами, хорошо?»

В ее согласии ничего неожиданного не было: я уже знал, что у нее в натуре есть дельная заботливая жилка. Это она, когда Самойло приехал из местечка, за полтора года подготовила его к экзамену, какой требовался для аптекарской его карьеры, а сама тогда еще была девочкой; она и теперь занималась с племянницей кухарки, очень аккуратно. Когда заболел один из ее «пассажиров», приезжий без родни в Одессе, она ходила к нему по три раза на дню, следила, чтобы принимал лекарство, меняла компрессы, хотя час его милости (знаю от нее) тогда уже давно был позади. Она умела даже сварить приемлемый завтрак и перешить блузку.

Когда зашел за нею в назначенный день, в передней я застал уходящего Самойло. Он был чем-то расстроен, кусал губы, даже ворчал неясно; о чем-то хотел меня спросить и не спросил. В гостиной я застал мать и Марусю; обе молчали так, как молчат люди, только что поссорившиеся. Маруся явно обрадовалась, что можно уйти; по дороге, на извозчике, была неразговорчива и тоже кусала губы.

— В чем дело, Маруся, кто кого обидел?

— Имеете прекрасный случай помолчать, — сказала она зло, — советую воспользоваться.

Я послушался.

Помню один дом, кажется Роникера, в том участке, который мы с нею должны были обойти. Там была особенность, для меня еще тогда невиданная: двухэтажный подвал. Окна обеих этажей выходили, конечно, в траншею; но и за окнами внутри был сперва коридор во всю длину фасада, и только уже из коридора «освещались» комнаты. Не умею описывать нищету, как не сумел бы заняться обрыванием крыльев и лапок у живой мухи или вообще медленным мучительством. Помню, что неотступно зудела в мозгу одна банальная мысль: на волосок от того было, когда ты должен был родиться, чтобы вышла у Господа в счетной книге описка или передумал бы он в последнюю секунду, что-то перечеркнул и что-то строчкой ниже вписал, — и здесь бы ты жил сегодня, в нижнем подвале, завидуя мальчикам из верхнего, а они бы «задавались». Совестно было за свое пальто; за то, что перед этим просидел час в греческой кофейне Красного переулка за кофе с рахат-лукумом, растратив четвертак, бюджет их целого дня. И, как всегда бывает, когда совестно, я проходил по берлогам насупленный, говорил с обитателями суровым казенным голосом, на просьбы отвечал сухо: «Постараемся. Увидим. Обещать не могу».

Зато Маруся сразу — нет другого слова — повеселела. В первой же комнате она подошла к люльке, сделанной из ящика; я за нею. В люльке, под ключьями цвета старого мешка, лежал серый ребенок; от краев губ у него к ноздрям шли две морщины, глубокие, как трещины, и черные луночки под веками. Когда над ним наклонилась Маруся, серое лицо вдруг мучительно исказилось, трещины растянулись до глаз, изо рта показались багровые десны, крошечный подбородок заострился, как у мертвого. Мать стояла тут же; она обрадовалась и сказала по-еврейски, и я Марусе перевел:

— Чтоб мне было за его сладкие глазки, барышня: он смеется.

У Маруси там все дети смеялись; сбегались, ковыляли, ползли к ней сразу, точно это была старая знакомая и все утро ее ждали. Я оставил ее где-то на табуретке с целой толпою кругом, запись dokonчил один и все время слышал из той комнаты гвалт, возню, писк, заливающийся детский хохот, как будто это не подвал, как будто действительно есть на свете зеленые лужайки и запах сирени, и солнце над головой...

— Не знал, — сказал я, когда мы кончили, — что вы такая бонна.

От ее прежних нервов и следа не осталось; она весело ответила:

— Дети ко мне идут; я и сама на них бросаюсь на улице, няньки часто пугаются. Мама только на днях меня просила не трогать русских детей, а то еще подумают, что я им даю леденцы с мышьяком: она прочла в газете, что был такой слух где-то пушен в Бессарабии.

Мы опять сидели в дрожках; по уставу того времени, я обнимал ее за талию. Уже смерклось; вдруг она потянула мою обнимающую руку, чтобы стало теснее, сама ближе прижалась, повернула ко мне лицо и шепнула:

— Хотите, отдохнем от жидов? И от богатых, и от бедных? Идемте со мной сегодня вечером к Руницким; Алексей Дмитриевич просил и вас привести — он только нас двоих и не боится. А вы его?

— Гм... побаиваюсь, — честно признался я, и вдруг сообразил: — Эге, Маруся, не из-за него ли вышла у вас сегодня трагедия с мамой? Потому что трагедия была, это ясно: пахло на всю квартиру Эсхилом, Софоклом и Эврипидом.

Она, подтверждая, заодно закивала головой:

— Ключья летели. Кстати пришел Самойло, мама еще и его на помощь призвала!

— Я не подозревал, что на верхах у предков смятение... О, Мария, неужели есть опасность, что тебя выкрестят и — как это выразить — примут в командный состав Добровольного флота?

Она все с тем же задором смотрела мне в лицо, близко-близко, и смеялась так, что зубы сверкали в блеске только что зажженных на улице фонарей:

— О нет, этого мама не опасается; она умная, она все знает.

— Что «все»? Не пугайте меня.

— Все, что со мною будет. И что я, в частности, и не выкрещусь, и не выйду замуж за моряка из Добровольного флота.

— Чего ж она боится?

— Мама, в сущности, очень консервативный человек: любит, чтобы во всем был раз навсегда заведенный порядок.

— Заведенный порядок? Когда речь идет о Марусе? Дитя мое, вашему бытию имя катавасия, а не заведенный порядок.

— Значит, надо, чтобы и в катавасии была система, без неожиданностей и без новых элементов; и вообще, это не ваше дело. А к Руницким пойдете?

Этого Руницкого я видал у них уже раза три, с большими перерывами из-за рейсов его парохода (чина его не помню; что-то ниже капитана, конечно, ему и тридцати лет не было — но уже серьезный какой-то чин). Он и мне действительно показался неожиданным элементом в их обстановке. Невидалью русские гости в наших домах, конечно, не были, хотя встречались редко и туго акклиматизировались; но это бывали адвокаты, врачи, купцы, студенты — в каком-то отношении свои люди. Моряка никто никогда не видал, кроме как на палубах. Маруся была в Мариинской гимназии вместе с одной из барышень Руницких, потом обе семьи жили рядом на даче одно лето, когда Алексей Дмитриевич получил отпуск; там он, кажется, катал ее со своими сестрами на маленькой яхте, но и это еще его «не обосновывало». Сами сестры бывали у Маруси редко, и вообще, дачные дружбы не указ для зимних знакомств между людьми таких друг для друга экзотических кругов. Он это чувствовал, явно между нами робел; Маруся втягивала его в беседу, он честно старался попасть в ритм, ничего не выходило; да и нам всем было при нем чуть-чуть несвободно, словно это не гость, как мы, а наблюдатель. Был он недурной пианист, и гора, видно, у него спала с плеч, когда Маруся его просила играть: наконец не надо разговаривать, а в то же время развле-

каешь общество, как полагается по вежливости. Увидав его там в первый раз, я подумал: больше не придет, но он вернулся из Владивостока и опять пришел, и еще опять.

Зато у них дома мы с Марусей провели чудесный вечер. Отца не было в живых, но при жизни он был думский деятель доброй эпохи Новосельского; до того был, кажется, и земцем; это чувствовалось в климате семьи (тогда еще, конечно, не говорили «климат», но слово удачное), и еще дальше за этим чувствовалась усадьба, сад с прудом, старые аллеи, липовые или какие там полагаются; Бог знает сколько поколений покоя, почета, уюта, несуетливого хлебосольства, когда гости издалека оставались ночевать и было где всех разместить... Культура? Я бы тогда именно этого слова не сказал — слишком тесно в моем быту было оно связано с образованностью или, быть может, начитанностью. Мать, смолянка, не слыхала про Анатоля Франса, дочери называли баритона Джиральдони «душка»; Алексей Дмитриевич и в ятях был нетверд, хотя (он говорил: «потому что») учился в Петербурге в важном каком-то лицее, по настоянию сановного какого-то дяди. Только сидя у них, я оценил, сколько было в наших собственных обыденных беседах, дома у Маруси, дразнящего блеска, — и вдруг почувствовал, как это славно и уютно, когда блеска нет. Пили чай — говорили о чае; играли на рояле — говорили о душке Джиральдони, но младшая сестра больше обожала Саммарко; Алексей Дмитриевич рассказал про Сингапур, как там ездят на джинриксах, а мать про институтский быт тридцать лет назад; все без яркости, заурядными дюжинными словами, ни длинно, ни коротко, ни остроумно, ни трогательно — просто по-хорошему; матовые наследственные мысли, липовый настой души, хрестоматия Галахова... чудесный мы провели вечер.

— Отдохнули? — лукаво повторила Маруся, когда я провожал ее домой.

Через несколько дней со мной о Руницком заговорила Анна Михайловна; мы тогда уже сильно успели подружиться; сама первая заговорила, и с большой тревогой.

— Он не то, что эта ваша ватага. Для них все — как с гуся вода; а он всерьез принимает. Да неужели вы сами не заметили, просидев с ним и с Марусей целый вечер?

— Право, не заметил; или сам не приглядчив, или уж такое у меня пенсне ненаблюдательное.

— А я вам говорю: он начинает влюбляться, по-настоящему, по-тургеневскому.

— Но ведь главное тут — Маруся; вы мне сами когда-то сказали, что за Марусю не боитесь.

— Сказать сказала, но тогда вокруг все были свои. А такого морского бушмена я ведь учесть не умею. Что, если он не из тех, кого можно подпустить вот на столько и не дальше, а потом до свиданья, и не дуйся? Я боюсь: тут не бенгальским огнем пахнет, а динамитом.

— Что ж она, по-вашему, от натиска сдастся врасплох и замуж выйдет?

— Замуж она выйдет, только не за него; глупости говорите. Но взволнована как-то не по обычному и она тоже... Мне жутко; уехал бы он поскорее туда к себе на Сахалин, и хоть навсегда.

— Можно спросить прямо?

— Да.

— Вы боитесь, что Маруся... забудет про «границы»?

Мы уже очень сблизились, она много и часто говорила со мной о детях, поверяла мне свое беспокойство за Лику и безнадёжного Марко; вопрос ее не мог покоробить. Она подумала.

— Это?... Это мне в голову не приходило; нет, не думаю. Непохоже. Какая беда выйдет, не знаю, а выйдет... Словом, бросим это, все равно не поможет. — Она встала и пошла поправить подушки на диване, вдруг остановилась и обернулась ко мне:

— Замуж? Глупости говорите. За кого Маруся пойдет замуж, я давно знаю, и она знает; и вы бы знали, если бы дал вам Бог пенсне получше.

Х. ВДОЛЬ ПО ДЕРИБАСОВСКОЙ

Это произошло на Дерibasовской, года через два после начала нашего рассказа. Редакция наша находилась тогда в верхнем ее конце, в пассаже у Соборной площади, и по дороге туда ежедневно я проходил по всей длине этой улицы, королевы всех улиц мира сего. Почему королевы, доводами доказать невозможно: почти все дома с обеих сторон были, помнится, двухэтажные, архитектура по большей части среднего качества, ни одного памятника. Но такие вещи доводами не доказываются; всякий титул есть мираж, и раз он прилип и держится,

не отклеиваясь, значит, носитель достоин титула, и баста. Я по крайней мере никогда в те годы не мог бы просто так прошмыгнуть по Дерibasовской как ни в чем не бывало, не отдавая себе отчета, где я: как только ступала нога на ту царственную почву, меня тотчас охватывало особое сознание, словно произошло событие или выпала мне на долю привилегия, и я невольно подтягивался и пальцем пробовал, не развязался ли галстук; уверен, что не я один.

Свое лицо было и у фрейлин королевы, поперечных улиц на пути моего паломничества. Я начинал шествие снизу, с угла Пушкинской; важная улица, величаво-сонная, без лавок на том квартале; даже большая гостиница на углу почему-то не бросалась в глаза, не создавала суматохи, и однажды я, солгавши друзьям, будто уехал за город, прожил там месяц, обедая на террасе, и никто знакомый даже мимо не прошел. Кто обитал в прекрасных домах кругом, не знаю, но, казалось, в этой части Пушкинской улицы доживала свои последние годы барственная, классическая старина, когда хлебники еще назывались негодичниками и, беседуя, мешали греческий язык с итальянским.

Следующий был угол Ришельевской; и первое, что возвещало особое лицо этой улицы, были столы менял, прямо тут же, на тротуаре под акациями. На столах под стеклом можно было любоваться и золотом, и кредитками всех планет Солнечной системы, и черноусый уличный банкир, сидя тут же на плетеном стуле с котелком или фетровой шляпой на затылке, отрывался от заморской газеты и быстро обслуживал или обсчитывал вас на каком угодно языке. Так знакомилась с вами верховная артерия черноморской торговли. Пересекая ее, всегда я бросал завистливый взгляд налево, где с обеих сторон сияли золотые вывески банкирских контор, недостижимых магазинов, олимпийских цырюлен, где умели побрить человека до лазурного отлива...

Именно здесь однажды зимою часа в четыре дня увидел я странную сцену: постовой полициант, правивший движением извозчиков на этом ответственном перекрестке, на минуту куда-то отлучился, и вдруг его место заняли два взрослых молодых человека, один в студенческой шинели, другой в ловко сшитом полушубке и с высокой папахой на голове. Пошатываясь и томно опираясь друг на друга, они на глазах у изумленного народонаселения вышли на самую середину перекрестка; добросовестно и вдумчиво, на глазомер, установили центр,

подались слегка вправо, подались чуть-чуть назад, пока не попали в геометрическую точку; тогда учтиво и с достоинством раскланялись между собою, повернулись друг к другу тылом, оперлись для твердости спиной о спину и, вложив каждый по два пальца в рот, огласили природу свистом неподражаемой чистоты и силы. Услыша знакомый сигнал, все извозчики и все лихачи с севера, юга, востока и запада машинально замедлили санный бег свой, ругаясь сквозь зубы и глазами ища городского, подавшего такой повелительный окрик, — и, увидя на месте его этот необъяснимый дуумвират, опешили и совсем остановились.

Юноша в папаше, хотя нетвердо в смысле произношения, но грозным басом великого диапазона, возгремел: «Езжай, босява, чего стали!» — и они действительно по слову его тронулись, а оба друга указующими белыми перчатками направляли, кому куда ехать. Бас тот из-под папашки показался мне знакомым; но уже неся откуда-то на них городской, со свирепыми глазами навывкате, явно готовый тащить и карать, — и вдруг в пяти шагах от узурпаторов выражение лица его стало милостивым и даже сочувственным: увидел, что пьяны, и братская струна, по-видимому, зазвенела в православном сердце. Что он сказал им, нельзя было расслышать, но несомненно что-то нежное: не беспокойтесь, панычи, я сам управлюсь, — и они, важно с ним распокаявшись, побрели рука об руку в мою сторону. Когда поравнялись со мною, папаша — и тут я окончательно опознал Сережу — склонилась ко мне на плечо, и тот же голос прозвучал конфиденциально:

— Уведите нас куда-нибудь за ворота: второй звонок, через минуту поезд отходит в Ригу...

Потом Екатерининская: бестолковая улица, ни то и ни се; притязала на богатство, щеголяла высокими франтоватыми домами вчерашнего производства, и почему-то «сюдою» по вечерам вливался и на Дерibasовскую, и на близкий бульвар главный поток гуляющих; а чуть подальше, справа, шумные, как море у массивов, запруженные сидящими, окруженные ожидающими, темнели биржи-террасы кофеен Робина и Фанкони. Но в то же время «сюдою» и няньки водили малышей в детский сад, что ютился под обрывом у самого бульвара; и приказчики и посыльные, с пакетами и без, тут же сновали между городом и портом; и сама портовая нация, в картузах и каскетках набекрень, а дамы в белых платочках, часто предпочитали, чем тащиться по отведенным для этого сословия плебейским «балкам»

и «спускам», гордо взмыть к высотам прямо из гавани по ста девяносто восьми гранитным ступеням знаменитой лестницы (одно из восьми чудес света) — и наверху, мимо статуи Дюка в римской тоге, сразу вторгнуться в цивилизацию и окропить тротуары Екатерининской водометом подсолнечной шелухи. Не просто угол двух улиц, а микрокосм и символ демократии — мешанина деловитости и праздношатания, рвани и моды, степенства и босячества... Одного только человека не ожидал я встретить на том углу, а встретил — моего дворника Хому.

Уже несколько недель подряд, каждое воскресенье, попадался мне на Дерibasовской Хома — причепуренный, кубовая рубаша и белый фартук только что стираны и выглажены, борода расчесана. В первый раз, встретясь с ним глазами, я удивился: что он тут делает, за тридесять полей от своей законной подворотни? В руках у него не было папки — значит, не в участок идет прописать жильцов и не из участка; да и не по пути это совсем к его участку. Гуляет, как все? Не могло того быть, по самой природе вещей и понятий; притом он и не двигался, а стоял в подъезде чужого какого-то дома с видом гражданина, знающего свое место, и тут оно, его место, и находится. Только на следующее воскресенье заметил я, что он не один: позади, в тени подъезда, виднелось еще несколько белых передников. На этот раз, случайно, был со мной Штрок, наш полицейский репортер, мужчина всеведущий; он мне объяснил:

— Разве не знаете? Все по поводу ожидаемой демонстрации; вот и вызвали со всего города дворников позубастее на подмогу городовым.

Квартал между Екатерининской и Гаванной я проходил с ощущением (хотя бы даже только что и пообедал) гастрономического подъема, чаще всего машинально переправляясь на правый тротуар: там в огромном и приземистом доме Вагнера, в глубине пустынного двора ютилась старая таверна Брунса, где в полночь, после театра, ангелы небесные по волшебным рецептам рая создавали на кухне амброзию в виде сосисок с картофельным салатом, а Ганимед и Геба (я путаю демонологические циклы, но благодарный восторг не покоряется правилам) сами за перегородкой отцеживали из бочонка мартовское пиво. Здесь, у Брунса, в одну такую ночь по поводу, о котором будет рассказано в другой раз, Марко вдруг отстранил от себя уже поданное блюдо с сосисками и заявил мне, что отныне переходит на сурово-кошерную диету.

...Рука зудит воздать подробную хвалу и остальным углам: Красному переулку с крохотными домиками в сажень шириной, последней крепости полутурецкого эгейского эллинизма в городе, который когда-то назывался Хаджибеем; тихой Гаванной улице, куда незачем было сворачивать извозчикам; Соборной площади, где кончалась Дерibasовская и начинался другой, собственно, мир, с иным направлением улиц, уже со смутным привкусом недалеких оттуда предместий бедноты — Молдаванки, Слободки-Романовки, Пересыпи, словно здесь два города встретились и, не сливаясь, только внешне сомкнулись. Но нельзя без конца поддаваться таким искушениям; а главное сделано: мы добрались до угла Дерibasовской улицы и Соборной площади, где это началось — и там же, минуту спустя, кончилось.

Я не видел; но внезапно прибежал в редакцию коллега Штрок, поманил всех к себе и сообщил полупшепотом: только что произошла «демонстрация». Их было около сотни, все молодежь, и больше евреи; около трети были девушки; одно красное знамя, и знакомый пристав божится, что на нем было вышито «долей самодержавия», в родительном падеже. Двадцати шагов они не прошли, как налетели со всех сторон полчища городских и дворников, понеслись женские вопли; свалка и ужас; появились казаки и стали разгонять публику, очищая тротуары копытом и нагайкой. Теперь демонстрантов угнали в соседнюю полицейскую часть; там заперты ворота, перед воротами стража, никто и мимо не проходит, только по всему городу у людей испуганные, придавленные лица, и все шепчутся: «Смертным боем бьют, одного за другим...»

Часа в три меня вызвал в приемную редакционный сотрудник; он был единственный православный во всем помещении, кроме наборной, но и его звали Абрам: «Там до вас дама пришла».

Дама была Анна Михайловна. В первый раз видел я так близко большое человеческое горе; хуже горя — горюешь о том, что уже случилось и прошло, — но у нее было такое лицо, точно ржавый гвоздь воткнули в голову, он там, и нельзя от него избавиться; не «прошло», а происходит, в эту самую минуту совершается, вот-вот за углом, почти на глазах у нее, и она тут сидит на кожаном кресле, и помочь нельзя, а кричать стыдно.

— Там была Лика!

Я ничего не сказал; велел Абраму никого не впускать, приотворил дверь, стоял возле нее, она сидела, оба молчали и думали, и вдруг и я почувствовал тот самый ржавый гвоздь у себя

в мозг: о чем ни старайся подумать, все равно через полминуты вспомнишь о ржавом гвозде. Оттого, должно быть, и говорят: «гвоздит». Одна мысль у меня гвоздила: как я тогда летом на даче взял Лику только за руку, только помочь ей на крутой тропинке обрыва, и как она вырывалась; и как, проходя мимо человека в коридоре, она вся сторонилась, чтоб, не дай Бог, и буфом рукава до него не прикоснуться. Недотрога, всеми нервами кожи, всеми нитками одежды; а теперь ее там бьют шершавыми лапами эти потомки деда нашего гориллы. Так просидела у меня Анна Михайловна час и ушла, ничего не сказав.

Несколько подробностей я услышал вечером у себя дома, от нашей горничной Мотри, а ей рассказал очевидец и участник, Хома. Над мужским составом демонстрантов, когда закрылись ворота, потрудился и он, до сих пор ныли у него косточки обоих кулачищ; загнали на пожарную конюшню, выводили оттуда поодиночке, а потом уносили. Другое дело барышни, с барышнями так нельзя, полиция тебе не шинок. Барышень, передавал Хома, покарали деликатно, по-отечески и без оскорбления стыдливости — в том смысле, что никого при этом не было, кроме лиц вполне официальных. Он, Хома, и тут предложил было свои услуги, но пристав не разрешил; дверь той комнаты была плотно закрыта, и работали исключительно городовые.

XI. МНОГОГРАННАЯ ДУША

В редакции была для меня открытка с раскрашенной картинкой и письмо из Вологды. Разрывая конверт, я тем временем посмотрел на открытку. Штемпель был городской; раскрашенная картинка изображала злую худощавую даму, избивавшую большой деревянной ложкой собственного мужа. Под этим было чернилами приписано, без подписи и печатными буквами: «Так будет и с тобою за статью о шулерах». Я действительно за неделю до того написал, что в городе появилась молодежь, нечисто играющая в карты, иные даже в студенческих тужурках, и что это очень нехорошо; в то подцензурное время и не по таким обывательским руслам приходилось унылому публицисту сплавлять залежи своего гражданского негодования. Но это было первое анонимное письмо в моей карьере, и еще с угрозой: очень я был польщен и решил показать документ коллеге Штроку.

Письмо в конверте было от Маруси; она писала приблизительно так:

«...Каждое утро себя проверяю: помню ли, как называется этот город? Все боюсь его спутать не то с Суздалью, не то с Костромой: никогда не представляла себе, что можно сюда попасть, и еще по железной дороге; я думала, что это все только у Янчина в учебнике написано. Очень милый городок, приветливые люди, только они по-русски говорят ужасно смешно, как в театре; но на рыжих барышень на улице оглядываются, совсем как у нас. Да, представьте, я только после приезда по-настоящему сообразила, что у меня нет права жительство; папа что-то говорил об этом, но я торопилась успокоить маму (и сама тревожилась, как тут Лика устроится одна-одинешенька на весь Ледовитый океан); буркнула им, что все это улажено, и примчалась, и в тот же день меня позвали в участок. Принять святое крещение было некогда, поэтому я в беседе с приставом низко опустила девическую головку и исподлобья стрельнула в него глазками. Это у меня — исподлобья — самый убийственный прием, испытанное средство, et me voilà коренная перьячка, или как там они называются, местные жители.

...Лику я устроила легко, тут вообще много ссыльных, есть и женщины; необычайно славная публика — не забудьте мне напомнить, когда приеду, надо будет записаться в какую-нибудь партию, только чтобы там не было евреев. Лика с еще одной девицей того же цеха поселилась, вообразите, у попа, матушка и три поповны ее прямо на руках носят; я только чувствую, что она скоро и на них начнет огрызаться.

...Пойдите к маме и накричите на нее и натопайте обеими ногами. Она думает, что тут все в кандалах и что в июле тут на коньках катаются; что я ей ни пишу, не верит. Объясните ей, что я пишу всю правду. Я просила об этом и Самойло: он основательный, ему предки доверяют. Вы, правда, натура фельетонная, но мама вас любит, а любовь слепа и доверчива.

...Недели через две думаю приехать; а пока прижимаю вас к моему любвеобильному бюсту (чисто по-матерински, не беспокойтесь). Вечно твоя М.

(Приписала бы, что Лика вам кланяется, но она вовсе не кланяется)».

Я, конечно, решил опять поговорить с Анной Михайловной; но уже много раз с нею говорил на эту самую тему; и дома у них уже начали успокаиваться. Из восьмого класса Лику исключили, но в тюрьме продержали недолго и сослали всего на

два года. Я ее, конечно, не видел, и почему-то не хотел спрашивать у родных о ее настроении; знал только, что здорова; и еще как-то Анна Михайловна сказала вскользь, что Лика, узнав о приговоре, обрадовалась вологодским перспективам. Большой подмогой оказался Игнац Альбертович: принял несчастье как человек твердый и современный, не ворчал, не скулил и нашел много цитат у Гейне и Берне в доказательство, что не жертвой быть позорно, а угнетателем; даже при мне однажды принес из кабинета красный томик Ленау и прочел нам стихи про трех цыган; не помню подробно, в чем не повезло трем цыганам, но очень не повезло; и один тут же заиграл на скрипке, второй закурил трубку, а третий лег спать. Конец я помню по переводу Сережи:

И тройной их урок в сердце врезался мне:
Если муку нести суждено нам —
Утопить ее в песне, в сигарке, во сне,
И в презренье тройном и бездонном.

Помогли и дети. Даже никудышный Марко, хоть и тут не нашел в перекрученном мозгу своем для пришибленной матери ни одного слова впопад, ходил за ней повсюду, как лохматый неуклюжий пес, и глядел растроганными глазами навываке, словно спрашивая, чем бы услужить. О Марусе и говорить нечего: она взяла мать под команду, заставляла есть, не давала задумываться. Торик делал что мог: приносил домой пятерки, в июне принес первую награду, при переходе в шестой, кажется, класс. Но лучше всех и полезнее всех был Сережа: он, как только улеглась первая боль, стал лечить Анну Михайловну вернейшим лекарством — смехом.

Уже давно полюбился мне Сережа, а в эти месяцы еще больше. Из любой, должно быть, черты характера можно сделать красоту и художество, если отдаться ей целиком; у него эта черта была беззаботность. И по пояс ему не доросли те три цыгана: когда не везло, не нужно было ему ни скрипки, ни трубки, ни даже презрения — просто не замечал, как миллионер, потерявший полтину. Весь он был соткан из бесконечной искренности, даже когда сочинял небылицы: он так и начинал: «Что со мной сегодня было! Только, чур, — я буду врать, но вы не мешайте». И рассказывал то, что «было», лучше всякой правды; каждая фигура, им задетая мимолетно, словно тут же, в гостиной, оживала от макушки до носков; до сих пор я помню людей, которых, собственно, забыл начисто, но помню

голос и жесты по инсценировкам Сережи. Щедр он был нескончаемо, и великий мот — «шарлатан», как выражался по-южному Игнац Альбертович, несколько раз отказавший ему в карманных деньгах из-за непомерного перебора, но Сережа всегда как-то был при деньгах и всегда опять-таки без гроша. Танцевал мазурку лучше всех на студенческом балу, а там были специалисты-поляки; раз на даче запустил литой мяч высоко в небо и, когда мяч стал падать, попал в него другим мячом; раз доплыл от купален Исаковича до маяка и обратно, не отдыхая. Умел провести электричество, жонглировать тарелками, набросать пером карикатуру Ньюры с Ньютой в порыве нежности или Абрама Моисеевича с Борисом Маврикиевичем в перебранке; или выстроить карточный дом во сколько угодно этажей. Не зная нот, играл и Шопена, и вальсы Штрауса на флейте, на рояле, на виолончели; уверял, что за сто рублей сыграет на всех трех инструментах сразу, и я ему верю. И во всем, что говорил и делал, искрилась на первом плане беззлобная смешная соль вещей, нравов и положений; и все это он в те недели повел приступом на горе Анны Михайловны. Она сначала попыталась не поддаться, но не помогло; и как только стало ясно, что ничего особенно страшного с Ликой больше не будет, постепенно опять наполнилась весельем их квартира, снова появились «пассажиры», прежде спугнутые трауром, тогда еще редким для нашего круга; дом стал как дом, и напрасно тревожилась издалека Маруся. А показать ее письмо и «накричать» — это, конечно, не повредит.

Я спрятал письмо и вспомнил об открытке; кстати, из репортерской уже слышался взволнованный голос коллеги Штрока. Всегда был у Штрока взволнованный голос: он не просто «вел» у нас отдел полицейской хроники, он душевно переживал вместе с вором каждую кражу, с искаленным каждое крушение на станции Раздельная, а уж полным праздником для него был удачный пожар или замысловатое убийство. Это был в ту эпоху, вероятно, единственный на всю Россию труженик печати, имевший право похвастаться: я удовлетворен — пишу именно о том, о чем люблю писать. Ему не мешал цензор, у всех остальных «резавший» целые полосы, даже из передовиц о городском хозяйстве и полях орошения. У Штрока была одна только живая помеха — наш собственный коллега, редактировавший городскую хронику; человек положительный, уравновешенный и точный. Он у Штрока не посягал на содержание, но стиль его портил вандалически. У Штрока в рукопи-

си женоубийство на Кузнечной изображалось так: «Тогда Агамемнон Попандопуло, почувствовав в груди муки Отелло, занес над головой сверкающий кухонный нож и с диким воплем бросился на беззащитную женщину. Что между несчастными произошло после того, покрыто мраком неизвестности». А в печать попадало: «Владелец бакалейной лавки греческий подданный такой-то вчера зарезал свою жену Евлалию, 34-х лет, при помощи кухонного ножа; обстоятельства дела полицейским дознанием пока еще не выяснены».

Штрок знал в городе всех, и все его знали, начиная с самых верхов. Литературную свою деятельность он начал еще при моряке-градона начальнике Зеленом, одном из величайших ругателей на морях и на суше (а какой это милый юноша в «Палладе» у Гончарова, где он, еще «мичман 3.», вечно поет и хохочет и ест виноград с кожурой, «чтобы больше казалось»!). Некий заграничный профессор Рудольф Фальб тогда предсказал близкий конец мира; Штрок ответил ему научной брошюрой, где доказывал, что беспокоиться не о чем: все равно будет одно из двух — или Земля когда-нибудь остынет, или упадет на Солнце. По этому случаю он и познакомился с градона начальником лично: Зеленой послал за ним околоточного, и сцена, которая тогда во дворце произошла, действительно да останется открыта мраком забвения. Зато с околоточным, по пути во дворец и оттуда в участок, он подружился, а тот околоточный теперь уже давно сделался приставом, и теперь у всей полиции Штрок числится своим человеком и бардом ее сыскных подвигов. Знали его и просто горожане, по летучей репутации, хотя печатался он, конечно, без подписи. Знали и «низы»: бывало, что через три дня после выхода сенсационного номера приваливала в контору целая делегация с Пересыпи: «Нам, будьте добрые, барышня, тую газету, где господин Штрок отписали за кражу на Собачьей площадке». Мы его дразнили, что он «свои преступления» сочиняет по копеечным романам, ходким тогда в простонародье со времен дела Дрейфуса, но он гордо отвечал:

— Я чтоб делал свои преступления по ихним романам? Это они сочиняют романы по моим преступлениям!

— Штрок, — сказал я, подавая ему открытку со злой женою и страдальцем-мужем, — скоро будет у вас в хронике покушение на убийство молодого фельетониста, подававшего надежды.

Он прочитал, покрутил открытку в руке и вдруг сказал мне:

— Идите сюда; я давно хотел с вами вот об этом поговорить.

Мы вышли в пустую комнату.

— Вы напрасно это затеяли, — начал он, — лучше было не трогать эту шулерскую компанию.

— Штрок! — отвечивал я, выпячивая грудь. — За кого вы меня принимаете? «Я тверда, не боюсь ни ножа, ни огня».

— Да никто вас не тронет, ерунда, дело не в этом. А просто — незачем задевать своих собственных друзей.

— Каких друзей? Что вы плетете, коллега?

— Штрок не плетет, а знает. Давно вы не были у Фанкони?

— Вообще в таких шикарных местах не бываю.

— А вы возьмите аванс в конторе и сходите. Вечерком, часов в десять. Увидите всю эту компанию, за отдельным столом. На первом месте, душа общества, обязательно восседает ваш приятель Сережа Мильгром.

XII. АРСЕНАЛ НА МОЛДАВАНКЕ

Я зазвал к себе Сережу и устроил ему без всяких церемоний жесточайший допрос. Он сначала сделал наивные глаза и спросил:

— А в чем дело? Почему нельзя обыграть богатого типа? И почему не все равно, как его обыграешь?

— Вы метафизику бросьте. Я вас спрашиваю: работаете вы с этой компанией или нет?

— Надо правду сказать?

— Всю!

— Так вот: я пока что больше присматриваюсь. Раза три уже дулся в банчок в одном таком доме, но мне так везло, что незачем было звать рыжего на помощь.

— К чему присматриваетесь?

— До хлопцев присматриваюсь и до техники. Хлопцы обворожительные, Маруся бы каждого мигом забрала в «пассажиры», на тебе даровой билет с пересадкой; только я их до Маруси не подпущу. А техника зато — палеолитическая. Курс четырех классов прогимназии. Я куды ловчее. Смотрите!

Он сунул руку мне за пазуху и оттуда двумя пальчиками, за кончик, извлек червонную даму; а у меня и колоды во всем доме не было.

— Сережа, — сказал я, сдерживая бешенство и тревогу, — дайте мне сейчас же честное слово, что вы бросите и эту компанию, и все это дело. Вы уже попали к репортерам на зубок.

Чего вы хотите? Осрамить отца и маму на всю Одессу? Мало у них горя без вас?

Он смотрел на меня пристально.

— Эк вы волнуетесь, — оказал он с искренним удивлением; ясно было, что он взаправду не видит, из-за чего тут горячиться. — Ладно, отошьюсь; жаль огорчать хорошую мужчину, хоть это вы и действуете против свободы личности, а потому реакционно. Отшился, баста; борода Аллаха и прочее. И насчет предков вы правы: нехай отдохнут от семейных удовольствий.

Я ему поверил, он в таких случаях, дав обещание, кажется, не врал; и после мне коллега Штрок тоже подтвердил, что Сережа «отшился». Месяца два у меня еще ныло внутри тяжелое чувство; но я его крепко любил, и скоро все стерлось.

А Марко действительно после того случая с сосисками у Брунса перевелся на кошерное питание. Началось это косвенно с того, что меня пригласили на тайное совещание об устройстве самообороны. Это было перед Пасхой; если я верно еще помню последовательность событий — но не ручаюсь, — то через полгода после несчастья с Ликой. Адрес мне дали незнакомый, на Молдаванке или где-то неподалеку. Оказалось помещение вроде конторы, но без дощечки на дверях; принимал нас молодой человек лет двадцати восьми, симпатичной внешности, с черной бородкой; Самойло Козодой, которого я там застал, называл его «Генрих», а другие никак не называли — по-видимому, и не знали его лично. Собралось человек шесть молодежи, большинство студенты. Генрих принес чайник, стаканы, печенье, сказал: «Если что понадобится, я к вашим услугам». И ушел в другую комнату, и никто его не удерживал.

Мы там решили объявить себя комитетом, собрать массу денег и вооружить массу народу. Говорили, главным образом, двое из студентов: один — большой видно философ, со множеством заграничных терминов в каждой фразе; зато другой, напротив, реального и даже немного циничного склада, с резкими еврейскими интонациями, удивительно как-то подходившими к его ходу мысли.

— Не могу, — излагал философ, — никак не могу отрешиться от некоторого скепсиса пред этой концепцией: наша еврейская масса в роли субъекта охраны.

— Вы боитесь, что разбегутся? Ну а если разбегутся, так что? Накладут им? И пускай накладут: это их проучит, на следующий раз храбрее будут.

— Но не рациональнее ли было бы, — настаивал первый, — утилизировать элементы более революционные: поручить эту функцию, например, сознательному пролетариату?

— Вот как? — отвечал второй. — Мы за каждый «бульдог» должны заплатить три рубля шестьдесят, и я еще не вижу, где мы достанем три шестьдесят; а потом дадим эту штуку вашим сознательным, и спрашивается большой вопрос: в кого они будут палить?

— Это совершенно необоснованная одиозная инсинуация!

— Может быть; но чтобы на мои деньги подстреливали моих же — извините, поищите себе другого сумасшедшего.

Самойло, все время молчавший, вдруг сказал (я чуть ли не в первый раз тогда услышал его голос):

— Сюда пригласили, кроме нас, еще двоих, которые «состоят в партии», но они не пришли.

— Им квартира не нравится, — объяснил кто-то, понизив голос и оглядываясь на закрытую дверь второй комнаты.

— Ага! — подхватил циник. — Ясно: для них квартира важнее, чем еврейские бебехи; а нам нужны такие, для которых те бебехи важнее, чем эта квартира!

Мне из самолюбия неловко было спросить, чем плоха квартира; остальные, по-видимому, знали, и я тоже сделал осведомленное лицо. Большинство высказалось за точку зрения циника; мы приняли какие-то решения, вызвали Генриха попроситься и разошлись. Самойло жил в моей стороне города, мы пошли вместе по безлюдным полуденным улицам.

— Что это за Генрих? — спросил я.

Он даже удивился, что я Генриха не знаю. Оказалось, это был местный уполномоченный хитрого столичного жандарма Зубатова, который тогда устраивал (об этом слышал, конечно, и я) легальные рабочие союзы «без политики», с короткой инструкцией: против хозяев бастовать — пожалуйста, а государственной строй — дело государево, не вмешивайтесь.

— Гм, — сказал я, — в самом деле, неудобная штаб-квартира.

— Найдите другую, чтобы дали всем приходиться и еще склад устроить; а Генрих ручается, что обыска не будет.

— А сам не донесет?

— Нет; я его знаю, он из моего городка. Дурак, впутался в пропавшее дело; но донести не донесет.

— Только ли «пропавшее»? Люди скажут: скверное дело.

— Почему?

— Ну как же: во-первых, с жандармами, а главное — в защиту самодержавия.

Говорить можно было свободно, прохожих не было, и мы нарочно вышли на мостовую; конечно, беседовали тихо. Что Самойло так разговорчив, я уже перестал удивляться; мне как-то недавно и Маруся обмолвилась, что с ним «можно часами болтать, и куда занятнее, чем с вами».

Теперь он на мои слова не ответил, но через минуту сказал:

— Все не оттого треснет самодержавие, что люди бросают бомбы или устраивают бунты. По-моему, если хотите, чтобы непременно случилось какое-то событие, совсем не надо ничего делать для этого; даже говорить не надо. Просто надо хотеть, и хотеть, и хотеть.

— То есть как это? Про себя?

— Про себя. Где есть человек, хотя бы один на всю толпу, который чего-то хочет, но по-настоящему, во что бы то ни стало, — незачем ему стараться. Достаточно все время хотеть. И чем больше он молчит, тем это сильнее. Кончится так, как он хочет.

— Что ж это будет — черная магия или гипнотизм какой-то новый?

— Гипнотизм, магнетизм, это разберут доктора, а я только аптекарь. Я знаю по-аптекарски: если один человек в комнате, извините, пахнет карболкой, вся комната и все гости в конце концов пропахнут карболкой. И почему вы говорите: «новый»? Всегда так было, и в больших делах, и в маленьких делах; даже у человека в его собственной жизни.

Смутно мне подумалось, не о себе ли он говорит, о своих каких-то умыслах; и действительно он прибавил, помолчав:

— Я вот там кис у себя в Серогозах и мечтал уехать в Одессу и стать фармакологом, а денег не было; что ж вы думаете, я барахтался, лез из кожи вон? Ничего подобного. Просто хотел и хотел, мертвой хваткой. Вдруг приехал дядя Игнац, посмотрел на меня и сказал: укладывай рубахи, едем. И во всем так будет. Теперь мне направо; до свиданья, мсье такой-то, спасибо за приятную компанию.

Он все еще не привык называть людей по имени-отчеству, очевидно считая это фамильярностью. Мы расстались; я шел один и, по молодости лет, дивился тому, что вот и у такого рядового пехотинца жизни, оказывается, есть своя дума и своя оценка вещей.

Скоро все ящики в столах у Генриха наполнились «бульдогами» и патронами. Позже я слышал жалобы, что патроны не все были того калибра, а шестизарядные револьверы наши кто-то назвал «шестиосечками»; но разбирали их бойко, с утра до ночи приходили студенты, мясники, экстерны, носильщики, подмастерья, показывали записки от членов комитета и уходили со вздутым карманом.

Пришел и Сережа, ведя на буксире нахмуренного молодца в каскетке, вида странного, хотя мне смутно знакомого: для рабочего человека слишком чист и щеголеват, но и приказчики так не одеваются — на шее цветной платок, а штаны в крупную клетку; что-то в этом роде описывал тот сослуживец мой по газете, бытописатель нашего порта и предместий. Немного знакомо было мне и самое лицо.

— Это иудей Мотя Банабак, — представил его Сережа, — я вас когда-то познакомил на лодке; помните, когда еще учил вас, как едят арбузы? Дайте ему шесть хлопушек, для него и его компании; я за них ручаюсь.

На Сережино ручательство я бы не положился, но Мотя Банабак предъявил и подлинную записку от студента-циника, с пометкой «важно».

— Это что за тип? — спросил я у Сережи, когда тот ушел со своим пакетом. — Не сердитесь, но не сплавляет ли он барышень в Буэнос-Айрес?

— Вы, кабальеро, жлоб и невежда: те в котелках ходят, а не в каскетках. А вы лучше расспросите брандмейстера Мирошниченко про пожар в доме Ставриди на Слободке: кто спас Ганну Брашеван с грудным дитем? Мотя. Пожарные сдрейфили, а Мотя с халястрой двинули на третий этаж и вынесли!

— Что вынесли?

— Как что? Ганну и дите. Мало?

— А еще что? Не на руках, а в карманах?

Он очень радостно рассмеялся.

— Правильный постанов вопроса, не отрицаю. Но вам теперь какие нужны: честные борцы за мелкую земскую единицу или головорезы с пятью пальцами в каждом кулаке?

Пропало, тот уже ушел, дальше спорить не стоило. Впрочем, и студент-циник, тем временем подошедший, присоединился к мнению Сережи:

— Нация мы, — сказал он, — хотя музыкальная и так далее, но не воинственная; только вот такое жулье у нас пока и годится — как он выразился, тот пшютоватый? — «в субъекты охраны».

Марко у нас дневал и ночевал и тут же «учился стрелять». Кто-то ему сказал, что это можно и в комнате: надо стать перед зеркалом и целиться до тех пор, пока дуло не исчезнет и останется только отражение дырки. На этом маневре он умудрился разбить Генрихово зеркало, но сейчас же сбегал вниз и купил два — про запас. Успешно ли подвигалось обучение, сомневаюсь, потому что он поминутно отрывался от «стрельбы», как только приходил новый клиент: со всеми пускался в разговор, тараша вылупленные глаза, и жадно пил каждое слово. Лица Марко я все-таки не помню, но сейчас мне кажется, что у него должны были быть огромные уши, оттопыренные навстречу собеседнику, и из каждого уха широкие трубы вели прямо в сердце.

Самойло пришлось вызвать еще раз: он единственный из комитетчиков умел перевести на «жаргон» прокламацию и начертать анилиновыми чернилами квадратные буквы. Он же, пощупавши гектограф, покачал головою: тридцати копий не даст, я вам сварю на двести. Ушел, принес желатин, бутылку с глицерином и еще не помню что, целый час провозился и на завтра действительно отпечатал высокую кипу фиолетовых листовок. Когда он их выдерживал на массе, нажимая и поглаживая, я нетерпеливо спросил:

— Сколько времени на каждый лист?

— Иначе нельзя, — ответил он назидательно. — Для всякого дела два правила: не торопиться и мертвая хватка.

(Раздать пачки с листовками по десяти адресам взялся Марко, но по дороге чем-то увлекся, и через месяц я половину этой литературы нашел у него под столом; но я не виноват — ему это поручили, когда меня не было.)

Самойло оказался полезен и стратегически. Пока он варил на керосинке жижу для гектографа, мы обсуждали, где какую под Светлый праздник поставить дружину; одну из них решили поместить у лодочника в самом низу Карантинной балки — лодочник был персиянин и сочувствовал. Самойло вмешался:

— Когда есть балка, глупо ставить людей внизу. Вы их разместите у верхнего конца: сверху вниз удобнее стрелять.

Так и сделали; а, впрочем, все это не понадобилось. Погром в то воскресенье состоялся, и кровавый, и до сих пор не забыт; но произошел он в этот раз не в Одессе. Мы устроили последнее ликвидационное заседание, послали сообщить

владельцу оружейной лавки Раухвергеру, что уплатить ему долг в пятьсот рублей нам нечем, и попрощались с Генрихом. Он долго жал мне руку и сказал:

— Не благодарите: я сам так рад помочь делу, о котором нет споров, чистое оно или грязное...

В глазах у него было при этом выражение, которое надолго мне запомнилось: у меня самого бы так тосковали глаза, если бы заставила меня судьба — или своя вера — пройти по улице с клеймом отщепенца на лбу, и вокруг бы люди сторонились и отворачивались. Кто его знает, может быть, и хороший был человек.

Но Марко, отвергнув сосиски в таверне Брунса, пошел домой, разбудил Анну Михайловну и потребовал: во-первых, чтобы мясо впредь покупали в еврейской лавке; во-вторых, чтоб была посуда отдельная для мяса и отдельная для молочных продуктов, как у Абрама Моисеевича; и завтра же начать. Она его прогнала спать; тогда он на свои деньги завел две тарелки, сам их отдельно мыл, а домашних котлет вообще знать не хотел, и вместо того купил на запас аршин варшавской колбасы с чесноком. Колбасу он хранил на гвозде у себя в комнате, а комната у него была общая с Сережей; сколько из-за этого потрясения вышло у них в доме, я и рассказать не умею. Три недели это длилось, пока Марко не объявил матери, что постановил вообще обратиться в вегетарианство, а также — не помню, в какой связи — приступить к изучению персидской литературы в подлиннике и для того намерен с осени перевестись в Петербург, на факультет восточных языков.

XIII. ВРОДЕ «ДЕКАМЕРОНА»

По пути событий, определивших Марусину судьбу, особенно помню одну летнюю ночь, сначала на море, потом на Ланжероне. Трудно будет об этом рассказать так, чтобы ни одно слово не царапнуло: ради памяти Маруси мне бы не хотелось обмолвиться неловко или шероховато. У нее действительно (я уже сказал) все выходило «по-милому», даже самые — для того времени — взбалмошные безрассудства, но сберечь эту черту в моей передаче будет нелегко; очень боюсь за эти две главы, но надо.

В шаланде было нас семеро, большая шаланда; были одинаковые мать и дочь Ньюра с Ньютой, два белоподкладочника, однажды здесь описанные (или другие, не важно), Маруся, Са-

мойло и я. Самойло после той недели на квартире у Генриха уже не так сторонился, хотя снова замолчал. На четырех веслах мы ушли очень далеко и еще до заката съели все пирожки и груши.

Маруся была неровная, то хохотала и шумела, то задумывалась. Я знал почему. Когда мы опускались к берегу и отстали вдвоем, она вдруг обернулась и шепнула, вся клопоча внутри от возбуждения и радости:

— Через месяц Алеша приезжает.

Я не сразу понял, о ком это; потом сообразил — о Руницком. Когда мы у него были год тому назад, она его называла Алексей Дмитриевич. Сколько раз он с тех пор уезжал «на Сахалин», сколько раз возвращался, встречались ли они, я не знал; видно, встречались.

Теперь она в лодке минутами сходила с ума: скакала по всем перекадинам, садясь на плечи гребцам и раскачивая плоскодонку так, что Нюра с Нютой взвизгивали в унисон; завидя вдаль малорослый пароход «Тургенев», возвращавшийся перед вечером из Очакова, приказала «обрезать ему нос» и обязательно перед самым носом; вырвала у Самойло руль и провела предприятие так удачно, что с корабельной рубки понеслась хоровая ругань, которую, слава Богу, отчасти заглушили тревожные гудки; но Самойло сидел рядом с нею на корме и следил, прищуря глаза, и ясно было, что при надобности он ссадит Марусю на дно и выручит нас. После этого подвига она ушла на нос, свернулась там колючком и долго молчала, глядя на закат. Потом взяла урок курения у одного из студентов — женщины тогда еще у нас не курили; и много веселья было по поводу того, что у студента на крышке портсигара внутри, так что не мог не прочесть каждый, кому бы он предложил папиросу, оказалась известная надпись серебряной славянской вязью: «Куря, сукин сын, свои».

Тем временем коллега его поддразнивал Нюру и Нюту, уверяя, что обе они тайно влюблены в Сережу: «поровну, конечно». Их записки к нему начинаются так: «Родной наш...», и одну строку пишет мать, а следующую дочь.

— Это не нужно, — отшучивались Нюра и Нюта, — у нас один почерк.

Но я с удивлением заметил, что обе слегка — «поровну» — порозовели. Впрочем, это мог быть и просто отблеск заката: небывалой красоты развернулся в тот вечер закат. Мы бросили грести; лодка даже не покачивалась. Кто-то вздохнул: «Хороши у Господа декораторы».

После этого мы играли в Überbrettl — Нюра с Ньютой, женщины образованные, видели это недавно в Вене.

Студент с портсигаром очень мило пел гаванские песни. Большинство были обычные, но одной я ни до того, ни после не слышал: целый роман. Сначала он и она — еще малые дети: «играются» где-то на Косарке и дразнят улиток: «Лаврик, лаврик, выставь рожки, напеку тебе картошки». Потом она, подрастая и хорошея, дразнит уже его; дальше — он начинает ревновать: «Кто купил тебе сережки?» В конце концов, она его бросила; он — грузчик в порту, а она связалась с богатым греком и, встретив прежнего милого, уже отвернулась.

Лаврик, лаврик, выставь рожки...
Разошлись наши дорожки.

Нюра и Ньюта рассказали историю из французского сборника легенд. Умную историю: только много лет после того, и на иных опытах, я понял, какую умную. Жил-был рыцарь, у которого отроду не было сердца, но знакомый часовщик сделал для него хитрую пружину, вставил в грудь и завел раз навсегда. Рыцарь с пружиной вместо сердца ездил по дорогам и защищал вдов и сирот; в крестовом походе спас самого Бодуэна, первый взобрался на стену святого города; увез из терема, охраняемого драконом, прекрасную Веронику и обвенчался с нею в соборе; отличная была пружина. А после всего, покрытый славой и ранами, разыскал он того часовщика и взмолился Христа ради: да ведь я не люблю ни вдов, ни сирот, ни святого гроба, ни Вероники, — все это твоя пружина; осточертело — вынь пружину!

Нюра и Ньюта умудрились это рассказать «вдвоем», т. е. одна говорила, вторая кивала головою, а впечатление было, что вдвоем.

Второй белоподкладочник, очевидно, человек настойчивый, придумал кораблекрушение. Только трое спаслось на необитаемом острове: мичман и две пассажирки («второго класса», прибавил он ехидно), мать и дочь. На острове обе дамы влюбились в мичмана («поровну»), но, будучи «адски благовоспитанны», и помыслить не могли ни о каких вольностях. И вот случилось два чуда. Во-первых, оказалось, что на том необитаемом острове законом разрешается многоженство; а во-вторых, когда мамаша однажды хорошенько помолилась Богу, Бог сжалился: ее дочь перестала быть ее дочерью и стала ее племянницей и т. д.

Он очень забавно рассказал эту чепуху. Снова ли зарумянились Нюра и Ньюта, уже не было видно: быстро темнела ночь, пока еще безлунная. Только звезды светили так, что можно было разобрать, который час, и гладкая вода, полная фосфора, при каждом легком всплеске рассыпалась гроздьями хрустального бисера.

Самую лучшую историю рассказал, по-моему, я, и не ерунду, как он, а правду: про республику Луканию. Когда мы были в третьем классе, потрясающее впечатление произвели на меня и товарищей две строчки из оды «Уме недозрелый»:

Румяный, трожды рыгнув, Лука подпевает:
«Наука содружество людей разрушает».

Мы учредили тайное Содружество румяного Луки — программу незачем излагать, дело ясное, — оккупировали одну долинку, вон там, на Ланжероне, и в честь веселого патрона окрестили ее республика Лукания. Ввиду полудамского состава аудитории не всю летопись этого государства можно было им рассказать, но что можно было, прошло с успехом: как мы строили крепость из наворованных кирпичей; как функционировал у нас почтовый ящик — двухфунтовая жестянка из-под чая Высоцкого, зарытая глубоко в родную землю (когда мне нужно было снести по срочному делу с одним из сограждан, я на перемене в гимназии шептал ему на ухо: «Выглядай на почтальона»; после уроков он мчался на Ланжерон, откапывал, прочитывал, составлял ответ, закапывал и мчался ко мне домой — позвонить у двери и шепнуть: «Выглядай...»; тогда мчался я...), и про газету «Шмаровоз», где напечатан был приказ по министерству народного просвещения о реформе классического образования: «Заменить греческий латинским, а латинский греческим»; и как мы там провели в жизнь смелый и совершенно беспримерный государственный опыт — уже выбрав Лельку Ракло президентом, после этого, чтобы не обиделся его соперник Лелька Помидора, дополнительно выбрали того королем нашей республики. Отличная, по-моему, история; огорчило меня только то, что аудитория не поверила в ее подлинность; я обиженно показывал им пальцем в ту сторону, где ночь сокрыла берег Ланжерона, и божился, что и теперь еще мог бы найти ту долину и даже предъявить уцелевшие огрызки крепости...

Вдруг Маруся откликнулась:

— Покажете мне? Еще сегодня ночью, на обратном пути? Я домой пойду с вами.

После этого была очередь Самойло. Я ожидал, что он буркнет отказ, но он вместо того сейчас же внес и свою повинность, и именно так:

— Жила-была одна девушка и постоянно любила играть с огнем; вот и кончилось тем, что обожглась ужасно больно. Все.

Даже при свете звезд я разобрал, что Маруся высунула ему язык. Но... Теперь ли только мне кажется, что от его слов почему-то мне холодно вдруг стало у сердца или так оно и было? Вероятно, кажется: я не подвержен предчувствиям. Но уже вскочила во весь рост на носу закачавшейся лодки Маруся и заявила:

— Теперь я. Жила-была одна девушка и любила играть с водою; и однажды была чудесная ночь на море, и она решила купаться прямо с лодки. Мальчишки, не смей оглядываться! Самойло, убирайся с кормы и сядь спиною.

— Вы... не простудитесь? — робко спросила Нюра, мать Нюты; а больше никто ничего не сказал, даже Самойло молча пересел и закурил папиросу.

Что думали другие, не знаю; но у меня было странное чувство — как будто и эта ее выдумка в порядке вещей, так и должна кончиться такая ночь, и Марусе все можно. Я сидел на передней перекладине, ближе всех к носу плоскодонки, прямо над мной шуршали ее батисты; ничего стыдного нет признаться, что пришлось закусить губу и сжать руками колени от невнятной горячей дрожи где-то в душе. Говорят, теперь ни одного юношу из новых поколений это бы не взволновало, он просто сидел бы спиной к девушке и спокойно давал бы ей деловые советы, как удачнее прыгнуть в воду; но тогда было другое время. Ни одному из нас четырех и в голову не могло прийти говорить с нею в эту минуту — это бы значило почти оглянуться, это не по-дворянски. Белоподкладочник, сидевший со мною, вдруг опять запел; я понял, что это он бессознательно хочет заглушить шорох ее платья, и он в ту минуту сильно поднялся в моем уважении. Молчали тоже Нюра и Нюта, а лиц их я не видел, только заметил, что они для защиты ближе прильнули друг к дружке, словно Марусина дерзость и с них срывала какие-то невидимые чадры.

— Аддио навсегда! — крикнула Маруся, и меня обдало брызгами, а вдоль лодки с обеих сторон побежали бриллиантовые гребни.

Слышно было, что она уплывает по-мужски, вразмашку: хо-роший, видно, пловец, почти бесшумный; по ровным ударам

ладоней можно было сосчитать, сколько она отплыла. Десять шагов — пятнадцать — двадцать пять.

— Маруся, — тревожно позвала Нюра или Нюта, — зачем так далеко...

Оттуда донесся ее радостный голос:

— Нюра, Нюта, глядите, я вся плыву в огне; жемчуг, серебро, изумруд — Господи, как хорошо! Мальчики, теперь можете смотреть: последний номер программы — танцы в бенгальском освещении!

Что-то смутно-белое там металось за горами алмазных фонаров; и глубоко под водою тоже переливался жемчужный костер, и до самой лодки и дальше добежали сверкающие кольца.

Нюра спросила, осмелев:

— Не холодно?

— Славно, уютно, рассказать нельзя... — она смеялась от подлинного игривого блаженства. — Теперь отвернитесь: я лягу на спину — вот так — и засну. Не смей будить!

Через минуту тишины она добавила, действительно сонным сомлевающим голосом:

— Я бы рассказала, что мне снится, только нельзя...

А когда подплыла обратно к носу лодки и ухватилась за борт, у нее не хватило мускулов подняться, и она жалобно протянула: «Вот так катастрофа».

— Мы вас вытащим, — заторопились Нюра и Нюта, подымаясь.

Но еще больше заторопилась Маруся:

— Ой нет, ни за что, да у вас и силы не хватит. Не вы...

Она не сказала, кто; но Самойло молча поднялся, бросил папиросу в море и пошел к ней, переступая через сиденья и наши колени. Он сказал отрывисто: «Возьми за шею»; плоскодонка резко накренилась вперед, корма взлетела высоко; он вернулся обратно и сел на прежнее место на дне.

— Еще минутку, не сердитесь, — говорила позади нас Маруся, — надо обсохнуть. — Голос у нее был как будто просящий, но под ним чувствовалось, что она все еще смеется от какой-то своей радости.

Минута прошла (студент опять запел), потом опять зашуршало, и еще через минуту она шумно соскочила на дно, воскликнула:

— Готово — ангелы вы терпеливые! — Схватила моего соседа за голову, откинула ее назад и поцеловала в лоб, прибавив: — Относится ко всем.

Но еще это был не конец той ночи.

XIV. ВСТАВНАЯ ГЛАВА, НЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ

Честно: эту главу пишу только по чистой трусости. Я уже раза три начинал продолжение той ночи, но оно мне трудно дается, робею; три страницы бумаги только что разорвал. Для передышки напишу пока о другом. Один критик, разбирая книжку моего производства, указал с укором на большой недостаток: нет описаний природы. Это было лет десять тому назад, но мое самолюбие задето — надо попробовать. Конечно, такая глава — не для читателя: читатель, несомненно, описаний природы не читает; я, по крайней мере, всегда их при чтении безжалостно пропускаю. Я бы мог ради упомянутого самолюбия разбросать по разным местам этой повести десяток пейзажных воспоминаний, но это была бы ловушка; самое добросовестное — выделить их в особую главу (тем более что оробел и хочю сделать передышку) и главу честно так и назвать вроде «Не люблю, не слушаю».

Летом наш берег... (Летом: что зимою, того я знать не хочу. Я очень люблю жизнь вообще, и свою жизнь особенно люблю, и люблю ее припоминать, но только с апрелей до сентябрей. Зачем Бог создал зиму — не знаю. Он, бедный, вообще много напутал и лишнего натворил. Большинство моих знакомых уверяют, что им очень нравится снег: не только декоративный снег, верхушка Монблана, просто белая краска на картине, можно полюбоваться и отвернуться, но будто бы даже снег на улицах им нравится: а, по-моему, снег — это просто завтрашняя слякоть. Я помню только лето.)

Летом наш берег, глядя с моря, представляет сочетание двух только цветов, желтого и зеленого; точнее — красно-желтого и серо-зеленого. Берег наш высокий, один сплошной обрыв на десятки верст; никак теперь издали не могу сообразить, выше ли двухсот футов или ниже, но высокий. Желтый песчаник его костяка редко прорывался наружу, обрывы больше облицованы были той самой красноватою глиной, а на ней, в уступах или в расщелинах, росли рошицами деревья и кусты. Что за порода преобладала, из-за которой общий облик получался чуть-чуть сероватый, не знаю; может быть, дикая маслина. Господи, какие чудеса палитры можно создать из двух только оттенков! Однажды с лодки я засмотрелся — в тот час солнце освещало обрывы под особенным каким-то углом, — и вдруг мне представилось, что все это не глина и не листва, а все из металла. Спит у Черного моря, раскинувшись, великан, и это —

его медная кираса. Давным-давно спит, сто лет его поливали дожди, и во впадинах меди залегла густыми пятнами ярь. Как-то раз, уже много лет после разлуки с Одессой, я увидел эту самую радугу из двух цветов в Провансе и едва не запел от волнения, но в вагоне были чужие.

Настоящие каменные скалы помню только внизу, у самой воды или прямо в воде. Были и гранитные, где мы собирали креветок (их у нас называли «рачки») и миди, т. е. по-ученому «мидии». Но больше и скалы были из рыхлого песчаника; самая высокая называлась Монахом, у Малого Фонтана, и каждый год море смывало по кусочку, теперь уже, верно, ничего не осталось. А еще были «скалы» из какой-то зеленоватой глины, мы ее называли «мыло», и в самом деле, можно было отломать пригоршню и намылиться, даже в соленой воде.

Конечно, была и третья краска — море; но какая? Синим я его почти не помню, хорошо помню темно-зеленым, с золотистой подкладкой там, где сквозили полосатые мели. Кто-то удивлялся при мне, почему наше море назвали Черным, а я своими глазами видел его черным, прямо под веслами и на версту вокруг, и не в бурю или в хмурый день, а под солнцем. Но, по-моему, наше море надо было смотреть тогда, когда оно белое. Надо встать за час до восхода, сесть у самой воды на колючие гольши и следить, как рождается заря; только надо выбрать совсем тихое утро. Есть тогда четверть часа, когда море белое и по молочному фону простелены колеблющиеся, переменчивые полосы, все тоже собственно белые, но другой белизны: одни с оттенком сероватой стали, другие чуть-чуть сиреневые, и редко-редко вдруг промерещится голубая. Постепенно восток начинает развешивать у себя на авансцене парадные занавески для приема солнца, румяные, апельсиновые, изумрудные — Бог с ними, я и слов таких не знаю по-русски; и, отражаясь, весь этот хор начинает, но еще смягченными, чуть-чуть отуманенными откликами, вплетаться в основную белую мелодию моря — и вдруг все загорится, засверкает, и кончено, море как море. Это я лучше всего видел, когда рыбак Автоном Чубчик вез меня с Марусей к ней на дачу после ночи у меня в Лукании; но я забегаю вперед.

В описаниях природы принято называть по именам растения; я когда-то умел, только имена были все, кажется, ненастоящие. Был, например, плебейский красный цветок, на высоком стебле, а вокруг цветка колючий ошейник, его звали «турка» — идешь по тропинке и палкой сбиваешь турецкие головы;

однажды я сбил три сразу одним ударом, как пан Лонгинус Подбипента, герба Зерви-каптур, у Генрика Сенкевича. Или был такой куст, по имени «чумак»: если потереть листьями руки, они вкусно пахнут гречневой кашей. Лучше всего, однако, не ломать головы над именами: если просто лечь на спину и зажмурить глаза, одна симфония запахов крепче свяжет тебя навсегда с божьим садоводством, чем целый словарь наизусть.

Из божьего скотоводства самый прекрасный зверь у нас была ящерица. Оттого ли, что в Европе другая порода, или просто оттого, что сам я старею, но вот уже сколько лет и сколько стран ящерицы попадают только серые. Наши на Черном море были пестрые: самоцветная смарагдовая чешуя, хвост и мордочка, а горло и брюшко в переливах от розового до золотистого. Однажды вечером, еще второклассники в Лукании, наловили мы нарочно десяток, заперли в крепости и битый час освещали их толстыми бенгальскими спичками, красными и зелеными; перепуганные зверьки то шмыгали от стенки к стенке, то застывали на месте, и такое было это пьяное празднество красок, какого я с тех пор и в столичных феериях не видел, где режиссеры почитались мастерами color scheme и антреприза не жалела тысяч.

Еще был один хороший занятный зверь, но совсем иной — краб, и жил он в подводных расщелинах массивов. Массивы — это громадные каменные кубы, которыми на много верст в длину облицованы берега, молы и волнорезы нашего порта; под ними ютились камбала и бычок, даже скумбрия или паламида («или»: когда идет паламида, скумбрии не будет — паламида ее съела); но больше всего было крабов. Мы их удили при помощи камня, шпагата и психологии... Но я уже где-то в старом рассказе это описал; и так слишком много повторяюсь. Посидеть бы теперь на массивах полчаса; я бы и крабов не стал беспокоить: только посидеть, свесив босые ноги, прикоснуться, как Антей, к земле своего детства.

Еще было одно Черное море, и даже Азовское при нем, с проливом, как полагается, но без воды: это были две большие котловины в Александровском парке, нарочно не засаженные ни деревьями, ни травой: там мы гурьбою играли в мяч... Господи, как это безжизненно выходит по-русски: «играли в мяч». Не играли, а игрались; не в мяч, а в мяча; даже не игрались, а гулялись; и в гилки гулялись, и в скракли, и в тепки; впрочем, и это я уже где-то описывал. Когда всю жизнь пишешь и пишешь, в конце концов слово сказать совестно. Ужасно это

глупо. Глупая вещь жизнь... только чудесная: предложите мне повторить — повторю, как была, точь-в-точь, со всеми горестями и гадостями, если можно будет опять начать с Одессы.

* * *

Кстати, уж раз передышка: та песня про «лаврика» столько вертелась у меня на пороге памяти, так просилась на бумагу после того, как я мимоходом ее помянул, что я не выдержал: ночь отсидел и приблизительно восстановил. Зато теперь буду считать ее своим произведением: по-моему, лучший из всех моих поэтических плагиатов. Правда, иногородним читателям нужен для нее целый словарь — кто из них, например, слышал про «альвичка», разносившего липкие сласти в круглой стеклянной коробке? Но, в конце концов, я эту повесть и вообще не для приезжих написал: не поймут и не надо. Вот та песня:

Коло Вальтуха больницы
Были наши двory.
В Ньюты зонтиком ресницы,
Аж до рота й догоры.
Ей з массивов я в карманах
Миди жменями таскал,
Рвал бузок на трох Фонтанах,
В парке лавриков шукал.

Лаврик, лаврик, выставь рожки,
Я сварю тебе картошки.

Откогда большая стала,
Шо-то начала крутить:
То одскочь на три квартала,
То хотить и не хотить.
Я хожу то злой, то радый,
Через Ньюту мок и сох...
А вже раз под эстокадой
Мы купалися у-двох.

Лаврик, лаврик, выставь рожки,
Горько мышке в лапах кошки.

На горе стоить Одесса,
Под низом Андросов мол.
Задавається принцесса,

Бу я в грузчики пошел.
Раз у год придет до Дюка,
Я вгощу от альвичка...
И — табань, прощай разлука:
Через рыжаго шпачка.

Лаврик, лаврик, выставь рожки,
Хто куплял тебе сережки?

Год за годом, вира-майна,
Порт, обжорка, сам один...
Только раз шамлю нечаяно
Мимо Греца в Карантин —
У Фанкони сидит Ньюта,
На ей шляпка, при ей грек.
Вже не смотреть, вже как будто
Босява не человек.

Лаврик, лаврик, выставь рожки,
Разойшлись наши дорожки.

XV. ИСПОВЕДАЛЬНЯ НА ЛАНЖЕРОНЕ

Месяц над республикой Луканией взошел поздний, горбатый, но необычно яркий.

Трудно было пробраться среди сплошного кустарника, диких груш и маслин, акации, бузка и черемухи. Акация уже отцветала, в голубоватой лунной тишине стоял только намек на ее недавнее владычество. Было так безлюдно, как будто и вообще забыл весь мир о Лукании, даже днем сюда никто не заглянет: действительно, высокие шелковистые травы заполнили и дно ложбины, а в мое время оно всегда было утоптанно. Кругом со всех сторон толпились кудрявые холмы, не видать и не слышно было ни моря, ни дач, ни города; пока мы шли сюда, еще доносилась откуда-то издали музыка на гулянье, но теперь и оркестр уже разошелся по домам после полуночи.

— Дуетесь? — спросила Маруся все тем же голосом подавленной внутренней радости.

Назад она велела грести не к ним на дачу, которая лежала много дальше на юг, а сюда; выскочила на берег, потянула за руку меня, а остальным велела плыть куда угодно. «Он меня проводит домой еще на этой неделе; если кто завтра увидит маму —

велите ей не беспокоиться, младенца не будет». Они послушались и уплыли, отсалютовав *sans rancune*, — так она давно всех воспитала; но мне было не по себе.

— Не ворчите, — просила она, держа меня под руку и прижимаясь. — Дома ведь не беспокоятся. (Это была правда, с компанией на лодке в их беззаботной семье часто на всю ночь пропадали не только Маруся, но и младшие.)

— Разве я ворчу?

— Вроде. Вы... «молчите против меня». А как раз сегодня нельзя, сегодня надо меня все время по головке гладить. Я знаю, в чем дело. Вы боитесь, как они подумают: вот, наконец, и его Маруся в «пассажиры» взяла — не спасся! Так?

Я признался, что так; но от близости ее лица, от лунного света и всей красоты и тишины кругом досада моя быстро уже выветрилась.

— Сядьте, — приказала Маруся, — а я приклоню буйную голову на ваши колени — это ведь не такая уж великая вольность, правда?

Я разложил пиджак на траве, а сам присел на кочке; она легла, долго укладывала голову у меня на коленях, все время беззвучно смеяся чему-то своему; наконец устроилась, облегченно вздохнула, закинула руки и взяла обе мои:

— Удобно?

— Очень, а вам?

— О, мне страшно уютно. Как там, в воде, когда я купалась; только еще лучше. А вы на меня сердились за купанье с лодки?

Я высвободил одну руку и сделал жест, будто нарвал ее за ухо:

— Вот и все, теперь вы прощены.

Она тихо засмеялась и потребовала:

— А руку отдайте обратно, это часть моего уюта.

Потом оба мы замолчали и засмотрелись. По писательской привычке всегда придираюсь, я хотел было сказать себе с насмешкой, что все тут у нас, как по книжке, — летняя ночь, долина, эхо запаха отцветающих цветов, даже с луною, и ни души на версту кругом, — но не вышла насмешка; я вдруг почувствовал, что эти старые краски божьей палитры и в самом деле хороши, лучше всего другого на свете; нет у меня тут иронии в душе — в душе литургия. И еще одно сообразил я тогда, в первый раз за жизнь: что молодость — не просто счет годам, а какая-то особая, сущая, наличная эссенция, что будет время, когда ее не станет, — зато сегодня она во мне и в Марусе, и вся долина и небо над нею служат и поклоняются нам.

Маруся подняла ко мне глаза и спросила шепотом, очень естественно, как будто это совсем разумный вопрос:

— Можно поплакать?

— Можно.

Она закрыла глаза моими руками; щеки у нее были прохладные, ресницы ласково щекотали мои ладони. Плакала ли она, не знаю; плечи иногда чуть-чуть вздрагивали, но это не доказательство. Молчали мы долго; вдруг она отвела мои руки, опять подняла ко мне глаза — действительно влажные — и опять шепнула:

— Милый... побраните меня изо всей силы.

Я спросил, тоже вполголоса:

— За что?

— Нагнитесь ближе, а то букашки подслушают. За все, что вы обо мне думаете или думали бы, если бы не были такой глупый и добрый и... посторонний.

— Я не посторонний!

— Я лучше знаю; но теперь не о вас, теперь обо мне. Побраните!

— Зачем это вам?

— Так. Нужно. Иначе начну колотиться головой о стволы.

Что с ней творится, я не понимал, но видно было, что это не игра, не приемы: о чем-то она взаправду изголодалась — ей надо помочь, надо вторить. Но и само собой уже вторилось, помимо умысла — меня уже захватило все колдовство часа и округи, и ее близости. Я спросил послушно:

— Подскажите, за что бранить?

Она открыла глаза:

— За эту выходку на лодке; за то, что всегда всех дразню и щекочу и нарочно взбалтываю муть. За то, что я вся такая... захватанная руками. Правда, захватанная?

Я молчал.

— Повторите, — просила она, сжимая мне руки изо всей силы. — «Муть». «Захватанная».

Я молчал.

— И еще: «...недорогая». Повторите!

— Маруся, — ответил я резко, — вы откройте глаза и посмотрите, кто с вами. Это я, а не черниговский дворянин, столбовой или стоеросовый, или как это у них называется, по имени Алеша.

— Совсем он не стоеросовый, — шептала она, — не смейте. Он прав. — Я молчал; я действительно злился. — Разве не прав? Разве это все — про меня — не подлинная правда?

— Даже если «правда», — сказал я, — это еще не значит, что «прав».

Так часто бывает: прикоснешься к человеку наудачу — а попадешь именно в нервный узел боли. Вероятно, эти слова мои отозвались на то самое, что ее мучило. До сих пор, если напрягу память, почти слышу ту ее долгую страстную исповедь и защиту; наизусть ее помню. Ее лицо с закрытыми глазами, когда она говорила, было страшно серьезно: не я и даже не «Алеша» стоял тогда перед нею и обвинял, а что-то иное, чего до тех пор я за нею не знал.

— ...Бог мне свидетель: я не дразню нарочно и не щекочу. Я живу и смеюсь и... дружусь так, как само выходит. Если выходит гадко, значит, я сама в корне гадкая, Бог меня отроду проклял; но я ничего не делаю для цели.

...И никого я не ушибла. Вот они все мысленно предо мною сейчас наперечет, весь... список; кому из них хуже стало оттого, что я была с ним — такая? Покутили месяц, месяц потом потосковали, а теперь благодарны и за хороший час, и за конец. Я не глубокая, я не отравла на всю жизнь: я — рюмочка вина пополам с водою; отпил глоток, встряхнулся и забыл. Неужели нет и для таких права и места на свете?

...«Захватанная руками»... Хорошо, пускай. А я иногда так думаю: будь я большая певица, и пришел бы ко мне друг, просто обыкновенный приятель, и попросил бы: «Спойте мне, Маруся», — что тогда? Можно спеть или не надо? Можно подарить чужому что-то от моего существа? Все скажут: можно. А разве талант не ласка? Еще, может быть, гораздо святее и секретнее, чем ласка. Для меня ласка — простая деталь дружбы; пусть я гадкая, но это правда.

Я знал, что она умница, но до тех пор она никогда не говорила при мне с такой сосредоточенной убежденностью; я и не подозревал, что есть в ней такая своя работа мысли. Я спросил:

— Это софизмы, или вы вправду так думаете?

— Я клянусь.

Вдруг она открыла глаза, отпустила мои руки, прижала к груди свои кулачки и заговорила:

— Я вам в другом исповедаюсь; этого еще не сказала никому. Ласки мне не жалко, это мелочь — как доброе слово, как улыбка или сахарная конфетка. А вот если бы действительно был у меня талант, что-то единственное, неповторяемое, избранное — вот когда была бы я скупая! Может быть, и в самом деле не только для гостя бы не пела — и на концерте совестно

было бы выступить, выдать людям свою настоящую, настоящую тайну. Я бы, может быть, спряталась тогда в темном углу от всего света; ждала бы праздника — ждала бы того мне Богом назначенного рабовладельца, про каких пишется в романах; он один бы и слышал, как я пою, и ноги бы я ему целовала за слово похвалы: о, Маруся тоже знает цену святым вещам, только уж это пусть будут большие святыни!

Она несколько раз разжала и снова стиснула пальцы, словно что-то хватая в полную, нераздельную власть, и глаза ее смотрели на меня торжествующе. Я осторожно поднял одну из ее рук, поднес к губам и поцеловал.

— Оправдана? — спросила Маруся, опять укладываясь; и опять уже все в ней ликовало внутри, и опять месяц со всеми звездами на небе и вся зелень вокруг и я любовались одной Марусей. — Верните руки, — шептала она, — а то мне одиноко... — И снова она тихо смеялась, прижимая тыл моих ладоней к своим щекам, теперь горячим; только глаза и виднелись, невыразимо как-то счастливые.

— Маруся?

— Что?

— Можно дальше спрашивать?

— Все можно.

— Этот Алеша — это, значит, и пришел «рабовладелец»?

Она медленно покачала головой:

— Н...нет. Я ведь не глубокая — «пружина вместо сердца».

— Но пружина, кажется, очень уж туго закрутилась...

— Да; но надолго меня и тут не хватит, я себя знаю. А ради одного года хороших вечеров напутать столько путаниц: крещение, чужие люди кругом на всю жизнь, дети-мулаты, мои и не мои... Не гожусь я на такие подвиги. — Еще подумала и прибавила, почти про себя: — Выходить замуж надо несложно и незаметно и без надрыва.

Я сказал тихо и серьезно:

— Храни вас Бог, Маруся, — такую, как есть. Если бы и мог я вас переделать, я бы отказался. Может быть, каждый настоящий человек молится по-своему. Был *Jongleur de Notre Dame*. Может быть, и вы такая: это вы по-своему разбрызгиваете кругом тепло, или благодать, это вы молитесь по-своему, иначе не умеете и не должны. Сегодня я рад, что никогда до вас не дотронулся и никогда не дотронусь: зато мой суд крепче; нет на свете девушки лучше вас, Маруся.

Она порывисто отодвинула мои руки, открыв все лицо: оно было полно жадной благодарности, на ресницах переливались бледной радугой слезы.

— Милый, милый... Верно или не верно, не знаю, только вы милый. — Вдруг она рассмеялась своей какой-то мысли и объяснила ее так: — Хорошо придумано у христиан: исповедь. Но — я стараюсь продолжить ваши сравнения — снять с себя все, вот как я на лодке, ведь и это иногда может быть исповедью?

— Может, — ответил я. Еще накануне я бы не понял, почему это «исповедь», но теперь мне все казалось ясным, что бы она ни предположила. Кто-то осудил ее, сказал ей, что это все нечистое; и она зовет в судьбы Бога, и ночь, и море и требует оправдания: разве я нечистая? Вероятно, я вспомнил при этом Фрину; должно быть, и ей сказал про суд над Фриной; во всяком случае, понял и повторил уверенно:

— Может!

— Я с утра еще, — прошептала она (утром получила то письмо), — с самого утра бунтовала и мечтала об исповеди; оттого и бросилась в воду, оттого и затащила тебя сюда... и еще не сыта.

Постепенно ее выражение менялось, уходило вглубь, что-то напряженное, сосредоточенное проступило в глазах, как будто ей сейчас будет по-счастливому больно.

— Нагнитесь. — Она мне прошептала на ухо: — Вам я никогда ничего не подарила. Можно? Не так, как всем — по-иному?

— Можно.

— Закройте глаза.

Сквозь стучащие виски я слышал опять тот же шорох, что на лодке, чувствовал, как она передвигается и поворачивается у моих колен; отчего-то сладко не хотелось, чтобы эта минута кончилась и она позвала «откройте»; или да, хотелось — но потом, не сейчас. Она и не звала; уже снова не шевелилась, и шорох умолк, но не звала, а сначала тихо сказала:

— Страшный суд над Марусей. Жить не захочется, если вы подумаете, что я «дразню»; это не то... Теперь откройте глаза.

Я послушался. Меня поразило ее выражение — нахмуренное, тревожное, почти страдальческое. Как раньше на лодке, снова мне чудилось, что все нервы мои в голове и в груди дрожат до струнного звона. Я был не ребенок; в Риме, на Бабуино, однажды в лунную ночь пустил меня в студию сумасшедший художник, когда чочара Лола, *il più bel torso a piazza di Spagna*, ему позировала для шекспировской нищенки у ног легендарного

короля; но и Лола, тоже только в лунный свет одетая до пояса, была не краше Маруси. Опять я поднес ее руку к губам; так сделал и тот король на картине.

— Я должна была, — шепнула Маруся, — не сердитесь?

Но она по лицу видела, что «не сержусь», и опять уже смеялась. Вдруг и мне стало легко, словно все так и должно быть; я почувствовал, что снова могу с ней быть и говорить и шутить просто и свободно; только в висках еще бьется, но и это не стесняло.

— Дай обратно руки; обе!

— На, Маруся; только — чур!

— Почему? — Она счастливо смеялась. — Я не добиваюсь; но почему «чур»?

— Каждый любит молиться по-своему, не так, как молились до него другие.

— Хорошо. Обещаю. Но говорить можно все?

— Говори.

— Нравлюсь?

— Сама знаешь.

— И не боишься, что ушибу на всю жизнь?

— Руки коротки, — смеялся я.

Она мне сделала гримасу:

— Или бульон у тебя вместо крови. Нет, нет, это я так себе стрекочу; не сердись. А вы мне навсегда останетесь другом? Когда я забьюсь в темный угол — приедете навестить?

— Разве уж решен темный угол?

— Будто ты не знаешь, за кого я замуж пойду, и скоро.

— Что скоро, не знал; а за кого, сегодня на лодке догадался.

— Благословишь?

— Все, что соизволит Маруся, — благословляю.

Вдруг мне захотелось задать еще один вопрос, и она поняла:

— Говори. Вы сегодня мой, все мысли мои.

— Я опять об Алеше; потому что вы сказали про бульон. Это, должно быть, правда, все мы такие в нашем этом кругу: раса, что ли, устарела. Но другое дело чужой. Кто их, печенегов, знает: у них, может быть, сердце вместо пружины? Разобьешь — не починишь...

Она зажмурилась, вся вытянулась, всеми зубами закусила губу — что-то волчье или беличье, первобытное, было в ее лице на мгновение.

— Все равно, — прошептала она, — будь что будет — попляшу...

...На рассвете я вытащил из куреня над берегом старого приятеля моего, рыбака Автонома Чубчика; он дал нам по куску вчерашнего житняка с брынзой и отвез к Марусе на дачу, и она всю дорогу сидела тихонько и про себя улыбалась.

XVI. СИНЬОР И МАДЕМУАЗЕЛЬ

Осенью того года я очутился в Берне; а туда попал из Италии, где провел очень забавный месяц.

На сентябрь ожидался визит Николая II к итальянскому королю; и когда в Риме об этом было торжественно объявлено в палате, кто-то с крайней левой закричал:

— Предупредите в Петербурге, что мы его освищем!

Вся благомыслящая половина Монтечиторио ответила хохотом на такую похвальбу. Говорили после, что именно этот взрыв веселья и сыграл решающую роль: выкрик того депутата был экспромт и отсебятина, все бы о нем забыли, но в ответ на хохот крамола решила поставить на своем. По всей стране начались митинги с резолюциями: освищать. Радикальная печать уверяла, будто в лавках тысячами раскупаются свистки и свистелки; будто правительство думало запретить вольную продажу этого товара, только воспротивился министр юстиции. Печать умеренная, с другой стороны, намекала, что в римских тюрьмах заготовлено очень много вакантных помещений и накануне визита будет великая чистка. Не только в кафе Араньо, но в каждой харчевне гул стоял из-за спора между свистунами и рукоплескателями. Очень забавный месяц.

Раз я, помню, пошел на Монтечиторио полюбоваться на очередной парламентский пандемониум. Спектакль удался на славу: президент обеими руками тряс свой колокол, но и звона не было слышно из-за хоровых усилий со всех радиусов палаты. На галерее среди публики ходили пристава и зорко следили, чтобы мы, посторонние, как-нибудь не вмешались в эту законодательную процедуру; но, воистину, если бы вдруг сосед мой справа запел во все горло «Карманьолу» или «Боже царя храни», пристава разве бы только по движению губ догадались о таком нарушении тишины и благолепия.

Этот сосед справа, кстати, оказался моим старым душевным приятелем — так он, по крайней мере, сам считал — едва не обнял меня, когда я сел рядом, жал мне обе руки и что-то

оживленно говорил; но что говорил и даже на каком языке, осталось тайной между ним и всеслышащим Ухом небесным. По виду, однако, был это несомненный итальянец, и лицо его мне было смутно знакомо.

Вдруг, в самый апогей грохота, он меня толкнул и указал на крайнюю левую, и по губам его я разобрал имя: Ферри. Я посмотрел туда — тощая верстовая акробатская фигура знаменитого криминолога стояла не на сиденье даже, а на пюпитре; он обеими руками как будто придерживал ближайших соседей, а они возбужденно переталкивались с таким видом, словно кричали друг другу: вот сейчас оно произойдет! Ферри был когда-то моим профессором, чудовищный голос его я знал, но тут не верилось — тут и сирена океанского парохода, казалось, пропала бы втуне. Однако я ошибся: он открыл рот — и не с его места, а откуда-то из середины потолка понесся совершенно стальной звук, отчетливый даже без усилия, точно сделанный из другого материала или раздавшийся в четвертом измерении, звук, которому просто нет дела до других шумов человеческих, они ему не мешают, он сквозь них проходит без задержки, вроде луча сквозь воздух или ножа сквозь масло:

— А-мы-е-го-о-сви-щем!

Сосед мой почему-то махнул рукой, горячо со мной поспорчался за обе руки и убежал.

Около того времени в газетах проскользнула весть, что в Рим приехал синьор М.-М.: фамилия двойная, российская, и тогда уже и в России, и в Италии далеко не безызвестная. Этого М.-М. знал и я лично, хотя гордиться бы знакомством не стал. Еще задолго раньше, в годы студенчества, представил меня ему приезжий русский писатель, так же, как и я, невинный и не осведомленный по части личного состава отечественной охранки за границей. Помню, как-то мы вдвоем удивлялись, что за странная официальная должность у синьора М.-М.: на карточке начертано что-то вроде «уполномоченный при святом престоле» — хотя, конечно, не посол при Ватикане; занятие его состояло как будто в заведовании унаследованным от Речи Посполитой старинным подворьем на *via dei Polacchi*, которым на самом деле заведовал ничуть не он. Но мало ли бывает чудес в дипломатии; а господин это был уютный и ласковый. Только после, в России, узнали мы о его подлинной роли... За кем он тогда, состоя «при святом престоле», чинил слежку в Риме, где так мало было русских, я и сейчас не знаю; но теперь, в ожидании царского визита, ясно было, зачем вновь пожаловал: разведать на месте, освищут или не освищут.

Свою должность он, очевидно, исправлял добросовестно. В Риме у него самого было много знакомых; был и специальный туземец-осведомитель, которого я тоже когда-то встречал у него в отеле, некий дотторе Верниччи. Вдвоем они обследовали все точно и донесли честно: освищут. В один невеселый день было объявлено, что визит не состоится; забавный месяц кончился, и я уехал по личному делу в Берн.

Здесь я тоже в юные годы провел один семестр, еще когда университет помещался в одном почему-то здании с полицией. Я разыскал много старых знакомых из политических эмигрантов; но, как и *alma mater* уже давно перешла в новое и отдельное от участка помещение, так и студенческого состава «колонии» я не узнал. Первое впечатление было: прифрантились. «Дрипка» обоего пола была в меньшинстве. Барышни, в мое время все сплошь опрощенки, теперь причесаны были на высокий гребень; даже на лекции надевали блузки с прошивочками и юбки с оборками, а на вечеринки являлись прямо в цельных платьях: уже на горизонте чувствовалось, хоть я этого и не знал, будущее декольте. На мужчинах мне чего-то не доставало, и не сразу я догадался чего: не доставало желтоватых картонных воротничков лейпцигской фирмы «Мей и Эдлех», которую в мои годы мы поголовно считали всемирной законодательницей мод; а теперь воротнички были на всех явно текстильного происхождения, даже если за дату последней стирки трудно было поручиться.

Я пришел в союзную столовую после обеда, когда было пусто, и нашел на окне кипу книг, очевидно, до ужина оставленных спешившими на лекцию: подбор литературы тоже говорил о новых песнях. Был, правда, и Сеньобос, и Железнов; но была и истрепанная книжка «Северного Вестника» эпохи Волинского и Гиппиус (в мое время такой ереси в руки не брали); были «Цветы зла» в подлиннике; были даже какие-то опусы просто эротического содержания — и то я вежливо еще выражаюсь — с очень документальными картинками во всю страницу.

— Да, — сказала мне меланхолически деканша колонии, именитая меньшевичка, — по-видимому, что-то меняется там у вас в России. Приезжают начиненные декадентщиной, на сходках тараторят о какой-то половой проблеме... Впрочем, пока не опасно: потолковав, пока еще расходятся на ночь по одиночке — или так я, по крайней мере, полагаю...

Тем не менее горячо трепыхался и политический пульс. Но тоже по-новому: в мое время все заодно ругали самодержавие, теперь больше бранили друг друга. Это были первые годы после эдекского раскола: тут я впервые услышал названия

«большевик» и «меньшевик», в России тогда еще мало известные вне подполья. «Ваш Ленин — раздраженная тупица», — констатировал один, а второй отвечал: «Зато не пшют, как ваш Плеханов». Насколько я понял разницу, одни требовали, чтобы переворот в России произошел в назначенный день, по точно предначертанному плану и все партийные комитеты «до последнего человека» должны быть назначены свыше, т. е. из-за границы; а другие стояли за выборное начало и «органическое развертывание» революции. Присмотревшись, можно было явственно различить в этой пестроте строгую иерархию по степеням революционной ортодоксальности; никто, конечно, не признался бы вслух, что считает противника правовернее себя, но сейчас же бросалось в глаза, кто нападает, а кто оправдывается и клянется: «Позвольте, я тоже...» Плехановцы извинялись перед ленинцами, эсеры перед марксистами, Бунд перед всеми остальными, социал-сионисты разных толков перед Бундом; простые сионисты числились вообще вне храма и даже не пытались молить о прощении.

Мы, сидя в России, считали, что у нас «весна», у нас «кипит», но отсюда Россия накануне 1905 года казалась мелкой заводью, даже не тихим омутом — против этой бурлящей словочки, где не было нужды в намеках, где все можно сказать крайними словами и напечатать всеми буквами — и ничего нельзя сделать непосредственно. За тот осенний месяц в Берне я впервые понял ядовитое проклятие эмигрантщины, впервые оценил старые сравнения: колесо, с огромной силой крутящееся среди пустого пространства, именно потому с огромной силой, что привода нет и нечего ему вертеть; «и сок души сгорает в этой муке, как молоко у матери в разлуке с ее грудным малюткой». Но сгоревший сок души не рассасывается, а скопляется и твердеет и прожигает сознание навсегда; и если так судьбе угодно, чтобы скопом вдруг изгнанники вернулись на родину и стали ее владыками, извратят они все пути и все меры. Я вспоминал это часто после, когда видел в Стамбуле, как губили возвратившиеся младотурки освобожденную Турцию, и позже, по поводу русских событий, — но глава не об этом, глава, собственно, о Лике.

Однажды я вернулся из Лугано и застал дома телеграмму и письмо из Одессы. Телеграмме было уже три дня: «Лика Берне Матенгофштрассе, там-то; разыщите, перевела телеграфно двести такой-то банк ваше имя. Анна Мильгром». Письмо было от Сережи, посланное одновременно с телеграммой: он писал, что Лика бежала из Вологды и добралась до Швейцарии.

Помню почти дословно главные места: «Вообразите, даже не пряталась по дороге, просто умылась — и не только жандармы, но и родной обожаемый брат ее бы не опознал...» «А кто ей деньги достал? Же! Вы меня за шаровоза держите, а я и добыл, и доставил куда надо (через коллегу из банды Моти Банабака); а прародителям ни точки с запятой не сказал, чтобы сердца даром пока не тепались... А спросите: где Сережа слимонил такие квадрильоны? Читайте и стыдитесь: в году пятьдесят две недели, в колоде столько же карт, и гений остается гением, даже несмотря на чугунные кайданы, которыми вы оковали свободный полет моей методики... Если свидание с неукротимой Катариной кончится тем, что у Петруччио на ланите останется лазурный отпечаток, то сообщаю на основании личного опыта, что от фонарей помогает арника...»

Дальше он сообщал, что у Анны Михайловны была инфлюэнца, но она выедет в Берн, как только оправится; в другое время поехала бы Маруся, но она «теперь с глузду съехала — мореплаватель причалил: в замке нашем мороз и осадное положение, но об этом расскажут вам, когда ступите под его готические своды».

Я поспешил в Матенгоф и постучался в указанную дверь на мансарде; оттуда послышалось «Entrez», такое подлинно и шикарно гортанное, что я подумал: не ошибка ли? — но вспомнил, что у Лики и младших братьев долго была гувернантка. Я вошел и едва не ахнул. Сережа непомерно упростил ее перевоплощение: «умылась». Предо мной стояло существо с другой планеты, изысканно-изящное от высокой прически до узеньких туфель на вершковом каблучке. Так врезался мне в память этот силуэт, что с него, если бы умел, я бы и сегодня взялся нарисовать моду того времени — высокий воротничок до ушей, блузку с массой мелких пуговиц впереди, у плеч в обтяжку, у талии свободную и «перепущенную», и рукава тоже сверху тесные, а у манжет широкие. Теперь уже не нужен был взор художника, чтобы распознать в Лике совершенно ослепляющую красоту. Только на руке, которую она мне подала и сейчас же потянула обратно, я заметил обкусанные ногти: право, единственная черта, которую я действительно узнал. В самом деле, так она могла не то что по Вологде, но и дома по собственной гостинной пройти в полном инкогнито.

По дороге в банк она разговаривала вежливо, но мало и смотрела перед собою; о своем побеге не упомянула, о домашних не спросила, а обо мне самом только одно: когда собираюсь уехать. Сказала, однако, что хочет поступить в университет.

В банке вышло затруднение. Деньги получились на мое имя — у Лике не было, конечно, бумаг; но я совсем забыл, что и сам уехал из России — уже не помню по какой причине — с паспортом коллеги Штрока (жандарм на границе в Волочиске, помню, долго качал головою на то, что я такой молодежавый для тридцатилетнего). В те счастливые годы можно было кочевать по всей Европе без документов, но в банке нужно было предъявить нечто солиднее визитной карточки. Я очень смутился. Можно было, конечно, съездить за кем-нибудь из знакомых старожилов для установления моей личности; но уже близко подходило к четырем часам, это значило бы отложить все на завтра, а я чувствовал ясно, что Лике и одной встречи со мной по горло достаточно и вообще она тут стоит и презирает меня за нерасторопность.

Вдруг ко мне подошел — вернее сказать, подбежал — элегантный господин в котелке, схватил меня за обе руки и радостно заговорил по-итальянски. Я опять узнал того соседа справа из Монтечиторио, и опять сообразил, что где-то встречал его раньше. Он тряс мои руки и расспрашивал, как я поживаю, но я заметил, что смотрит он не на меня, а на Лику, и притом во все глаза.

— Простите, я невольно подслушал: у вас тут какая-то заминка? Если надо засвидетельствовать, что вы — вы, я к вашим услугам: меня тут знают. Или это нужно для синьорины? Пожалуйста. — И, сняв котелок, он тут же представился Лике, сказав довольно правильно по-русски: — Очень рад быть полезен, люблю ваших компатриотов; меня зовут Верниччи.

Еще до того, как он произнес это имя, едва только он заговорил по-русски, я вдруг вспомнил, кто он такой: дотторе Верниччи, соратник римского М.-М., итальянский сотрудник охраны. Я чуть не расхохотался: нашла судьба с кем познакомить именно Лику!

Но Лике суждено было сегодня меня удивлять. Во-первых, она ему подала руку не только величаво, но и любезно; во-вторых, ответила по-французски таким подлинным говором, который, вероятно, убедил бы и природного парижанина — во всяком случае, парижанин принял бы ее, скажем, за уроженку Лиона:

— Я по-русски не понимаю, зато немного по-итальянски; очень признательна, перевод действительно для меня.

В одну минуту он все устроил. Лика спрятала деньги и сказала «мерси» ему, а заодно уж и мне. Он предложил выпить кофе, и я предоставил решение, конечно, Лике в полной уверенности, что она откажет, а она согласилась, кивнув головой с совершенно патрицианским снисхождением. Я кусал губы от смеха и досады, но поплелся с ними; должен сознаться, что они составляли эффектную пару — встречные туристы оглядывались (сами швейцарцы на приезжих вне дела не обращают внимания). Верниччи перешел на французский язык, которым владел недурно; Лика отвечала приветливо и, главное, — говорила! Раз мне даже показалось, что улыбнулась. Я молчал и старался понять, в чем дело. Может, на человека из другого мира не распространялось у нее то озлобленное отвращение, которым она дарила нас — все равно как может и нелюдим любить, скажем, лошадей или кошек? Или смягчили ее три вологодские поповны? Или просто — *menschliches, allzumenschliches* — понравился кавалерственный южанин? Он был очень корректен: хотя узнал, что она остается в Берне, но не спросил ни зачем, ни адреса ее, ни даже имени; зато спросил мой адрес (я сказал, будто уезжаю завтра), дал мне свой и объяснил, что пробудет в Швейцарии месяца три «по частной надобности».

На улице он откланялся. Я не знал, как быть: соблюсти приличие, т. е. проводить ее домой, или обрадовать ее и тут же распрощаться? Но она сама решила мои сомнения: не остановилась у выхода и не спросила меня многозначительно: «Вам в какую сторону?» — а двинулась по дороге, и я за ней; и почти сейчас же осведомилась, не глядя на меня:

— Кто этот господин?

Я объяснил правдиво и даже извинился за то, что ей пришлось с ним поручкаться; но вина действительно была не моя.

Вдруг она усмехнулась и сказала:

— Ничего не имею против такого знакомства. Может пригодиться.

Я довел ее до дома; на прощанье она ни приходить меня не пригласила, ни поклона своим не передала; однако еще раз поблагодарила, вытащила руку из моей руки и ушла к себе походкой царевны.

XVII. БОГОИСКАТЕЛЬ

Из Швейцарии я уехал, но еще долго шатался по заграницам, а перед самым началом японской войны попал в Петербург.

Марко изучал там уже не персидский язык, а санскрит и жил в студенческих номерах. Был ли он еще вегетарианцем, не помню; но душа его была полна теперь новым увлечением — он ходил в заседания религиозно-философского общества. Именами преосвященных, иеромонахов и иереев он сыпал так, словно обязан и я знать, кто они такие. В номере у него лежали кипами какие-то экзотические тома, и он занимал меня беседами о ставропигии, автокефалии и роли мирян в соборе; сообщил мне, что в армяно-грегорианской церкви не один католикос, а два и, кроме того, три патриарха, а при них «вартapedы» шестой и десятой степеней; а вот армянские мхитаристы в Вене и Венеции — те другое дело, те монахи-католики (он презирал католиков). Косвенно заинтересовался он даже иудаизмом и восторженно рассказывал мне про «лысого Боруха». Оказалось, в собраниях религиозно-философского общества очень популярен некий бородатый еврей по прозвищу Борух лысый; в миру он был марксист и считался истребителем Бунда, но с юности, заодно с непобедимым литвацким акцентом, сохранил огромный запас цитат из Талмуда и даже Каббалы, а в смысле казуистической изворотливости «бил» (по словам Марко) всех православных академиков. На чем он их «бил», мне трудно было понять по круглому невежеству моему; но Марко знал теперь все оттенки различия в восприятии божества между иудейством и христианством, сопоставлял эманации Шехины с идеей триединности и вообще был невыносимо глубок.

Я его не очень слушал, зато присматривался к его обстановке. Странно, неужели в номерах такая чистеха горничная? Непохоже: в коридоре в два часа дня я пробирался через несколько поколений неподметенного сметья. И не только опрятность меня поразила, но и зеркальце в бантиках, и картинная галерея на стене — все открытки, и все на подбор уездного вкуса: он и она и луна, Дед Мороз в слюдяных блестках, ареопаг голеньких младенцев в позе деловитой и физиологической; между прочим, несколько поодаль — портрет пухлой барышни в большой шляпе с тропическим лесом на полях. Я сделал лицо Шерлока Холмса и спросил без церемоний:

— Соседка?

— Соседка, — ответил он и вдруг завозился с книгами на столе. — Курсистка; то есть она, видите ли, еще не на курсах, я ее готовлю.

Когда он меня провожал до лестницы, дверь рядом с его дверью приоткрылась и выглянула та самая девица. Она была не только пухлая, но и густо нарумяненная, с подведенными глазами; однако еще в халате, и за нею виднелась разбросанная постель и наляпанная вода на полу под принаряженным умывальником.

— Я сейчас, Валентиночка, — сказал ей Марко.

Недели через две я пошел вечером в гости и там узнал, что завтра утром появится в газетах объявление войны. Возбуждение было за столом огромное — и, как теперь особенно издали видно, странное: вряд ли повторялась эта психология когда-либо в образованном обществе другой страны. Семья была коренная русская, хорошего земского направления, и почти все гости тоже; но война эта их волновала не как собственное личное событие, а как что-то разразившееся рядом, очень близко, вот прямо перед глазами, но все же не совсем у них; словно заболел сосед по комнате, или словно потрясла и захватила их, до дна души захватила, драма на сцене: они сидят в партере, в двух шагах от рампы, но по сю сторону рампы.

Самое странное было, что никто ничего не знал. О Японии помнили по уже далеким учебникам, привыкли считать ее маленькой страной вроде Голландии, не понимали, как такая мелюзга топорщится воевать с Россией, и широко распахивали глаза, слыша нежданно, что там больше пятидесяти миллионов народу. Не представляли себе и того, что Россия на Дальнем Востоке совсем не тот великан, что туда ведет за тысячи верст ниточка жалкой одноколейки, по которой медленно будет просачиваться взвод за взводом, еще скупее — провиант и амуниция. Еще меньше знали, конечно, где Маньчжурия и кому она нужна; если что знали, то устные пересуды о каком-то Абазе, о каком-то Безобразове, которые там не то напутали, не то накрали — а что и как, неведомо.

И, несмотря на эту, сегодня утром еще несомненную, непомерность между мелюзгой и великаном, все почему-то оживленно предвещали: наших побьют; и никто во всем доме от этой уверенности не пригорюнился. Там, на сцене, побьют; тут, у нас, в зрительном зале, насущная забота совсем иная — если пьеса провалится и лопнет вся антреприза, нам же лучше... Тогда меня это, конечно, несколько не поразило, я ничего

иною и не ждал; только теперь, оглядываясь назад, соображаю, как все это было странно, сколько нагромоздиться должно было вековых отчуждений, чтобы так извратился основной, произвольный, первоприродный отклик национального организма на вонзившийся в тело шип.

Еще накануне Марко со мной договорился на послезавтра встретиться за пирожками у Филиппова; он, конечно, опоздал на час, но я так и знал. Сетовать не пришлось: у Филиппова я застал знакомого, большого столичного литератора. Имени не назову, но все его помнят. Был это, по-моему (хотя общее мнение до сих пор другое), человек не подлинно талантливый, а только зато с крапинами истинной гениальности: самая неудачная и несчастная комбинация. Талантом называется высокая степень способности что-то хорошо сделать; он, по-моему, ничего хорошо сделать не умел, и все большие книги его о русских романистах и итальянских художниках, напряженно-вдумчивые, но никуда не доводящие, будут забыты. Но отдельной строкою он умел иногда поразить и даже потрясти — вдруг приподнять крышку над непознаваемым и показать на секунду отражение первозданности в капле уличного дождя. Я раз от него (но речь шла о другом авторе) услышал хорошее слово для определения этой черты: «пхосвэты в вэчность» — он был выходец хедера и говорил с этим оттенком. Беседовать с ним, когда в ударе, было большое наслаждение: как ночью в море плескаться в фосфоресцирующей воде, думал я не раз, вспоминая прошлое лето.

В тот день он был не просто в ударе, а весь трепетал от волнения. Подсев к нему, я ждал, что тут уже услышу далеко не вечерашние суждения. Он всю жизнь страстно рылся в капиллярнейших извилах русской души и мысли; мог посвятить целую страницу умствованиям о том, что означают черные волосы у какого-то героя «Бесов» («мертвая крышка между сознанием и бесконечностью»); прочел как-то лекцию в Одессе (именно в Одессе!) о какой-то иконе «Ширшая небес», и еще об одной — кажется, о панагии, — и вообще о разнице между византийской иконописью и славянской (а сбор отдал целиком в пользу жертв кишиневского погрома); тогда мы и познакомились. Я считал, по простоте душевной, что такой человек, особенно по еврейской прямолинейности этих горящих натур, должен стоять за Россию органически, слепо и *quand même*.

— Разгром, — пророчил он вместо того, — предначертанный разгром. И совсем не потому, что режим плох: само племя неудачливое.

— Вы это говорите? Вы, который?..

— О, не смешивайте двух разных ипостасей национального лика. Русские на высотах зажигают несравненные всеенские огни, но на равнине мерцают лучины. В этом залог их величия: косная тусклость миллионов — ради того, чтобы гений расы тем ярче сосредоточился в избранных единицах. Полная противоположность нам, евреям: у нас талант расплывается, все даровиты, а гениев нет; даже Спиноза — только ювелир мысли, а Маркс просто был фокусник.

— Почему же тогда не явиться у них гениальному полководцу?

— Современная война — как современная индустрия: никакой Кольбер не поможет и никакой Суворов. Тут нужна инициатива каждого унтера; и больше чем простая смекалка — нужен факел осознанной воли к победе в каждой безымянной душе.

— Разве его нету — хотя бы в неосознанном виде?

— Нету. Этот народ — богоносец; избитое слово, но правда. А вышнее богослужение, как в древнем Израиле, осуществляется трижды в году, не чаще. Бог японца — земной Бог: государство; это сподручный Бог, у каждого солдата в ранце, ежечасно к услугам.

— Что ж, — сказал я утешающе, — зато многие надеются, что поражение даст нам конституцию.

— Какая пошлость! Не хочу всех парламентов мира за развороченный живот одного ярославского мужика. стыдно и думать об этом: учитывать кровавые векселя.

— Господи, но уж если мучиться ярославскому мужику, то хоть недаром...

— Муки всегда «недаром»; все муки всегда и всюду — родовые муки; но незримых родов, где возникают новые стадии проникновения, новые акты надземных трагедий, а не новые аршины благополучия.

Тут уже мне стало трудно понимать его метафизику, и дальше я не помню; но вскоре пришел Марко, и я наконец нашел первого на весь Петербург цельного патриота. Он даже не извинился за опоздание и сидел с поднятым воротом, ибо швейцар в воинском присутствии дал ему понять, что из-под его тужурки высматривает фуфайка, а рубаху надеть он забыл — очевидно, убежал из дому еще до того, как встала поздняя Валентиночка.

— Позвольте, зачем воинское присутствие?

Оказалось, он решил пойти на войну добровольцем. С утра кинулся наводить справки, только никак не мог еще попасть именно в ту комнату, куда нужно, и в скитаниях не по тем канцеляриям претерпел уже много поношений; но видно было, что он приемлет страдания с радостью. Насчет солдатчины он решил бесповоротно: сегодня пишет домой; завтра пойдет в присутствие с одной знакомой курсисткой — то есть она еще не на курсах, но и т. д. — она человек распорядительный и сразу найдет надлежащий стол, где его приведут к присяге и вооружат и посадят в вагон. То есть, конечно, будет еще обучение, но вряд ли надолго — он, видите ли, «учился стрелять» еще тогда, в самообороне, на квартире у Генриха.

Мой собеседник его издали знал, встречал его на религиозно-философских беседах. Он деликатно усомнился, нуждается ли теперь отчизна в добровольцах; Марко, отвечая, подошел к предмету с более широкой стороны — насчет Одина и Зевса, св. Августина и Будды, и шинтоизма, и провиденциального посредничества России. Между ними завязался разговор не для моей темной головы; я молчал и думал об Анне Михайловне. Сережа мне, правда, писал, что «Марусин аргонавт» уплыл пока еще без катастрофы, но что «по гулким галереям дедовского замка бродит еженощно родовой призрак Мильгровов и каждую полночь вопит дискантом: гевалд!». Невесело там с Марусей; Лика — Лика; и Сережа — Сережа, и не раз у матери затуманивались мудрые терпеливые глаза наедине со мною при его имени. Там невесело в их веселом хохочущем доме; а теперь еще этот остолоп хочет подбавить радости. Мне пришла в голову мысль; я их оставил за пирожками и богопознанием и уехал к Марко в номера.

Валентиночка смутилась, но приняла меня радушно: Марко хвалил. Теперь уже было и у нее прибрано; та же пригородная роскошь, что у Марко, но, конечно, без книг, зато с чайниками, чашечками и канарейкой. Румяна были наложены заново и плотно, в русых кудряшках торчал бархатный бантик, на плече — другой. Настояла, чтобы я снова пил чай с вареньем, несмотря на пиршество у Филиппова; и оказалась одесситкой — судя поговору, с Пересыпи. «Не люблю выходить, — объясняла она, разливая чай, — такой поганый народ, все пристают; конечно, я теперь, чуть что, моментально даю отскок на три франзоли». Слово «теперь» у нее повторялось почти в каждой фразе автобиографического содержания: ясно было, что «прежде» и «теперь» (так она и выразилась) — две большие разницы.

— Марко вас на курсы готовит? — спросил я участливо. — Фребеличка, бестужевские, или что?

Она посмотрела исподлобья, не издеваюсь ли я; действительно, сглупил, не надо было спрашивать.

— Марк Игнатьевич — добрая душа, — сказала она, и вдруг у нее дрогнул голос: — Горобчика подберет на улице, так и из него захочет сделать не знаю что; павлина. Никуда я не на курсы; шить вот хочу поучиться, только еще не умею рано вставать. Он меня в Художественный театр водил, когда москвичи приезжали — и то насилу отпросилась.

Ее чистосердечие мне понравилось, и я без обиняков перешел к делу: чтобы не давала Марко идти в солдаты — на нее одна надежда.

Валентиночка буквально рассвирепела; в голосе ее зазвенели громкие ноты, явно занесенные из того ее быта, который был «прежде».

— Ему в стрельяки? И я чтоб его повела в присутствие? Зеньки я ему выцарапаю... Он! Если есть на Колонтаевской лужа, а он сам на Канатной — обязательно хлюпнется в тую лужу; как по-вашему, извините, говорится: шлимазель; или в театре я у москвичей слышала: двадцать два несчастья. Да в него еще тут на ученьи оттуда японская пуля попадет! Я ему...

Дело было в шляпе, Марко спасен; я подивился путаным стезям Провидения — не угадаешь, что человеку на беду и что может оказаться на благо. Я взял с нее слово, что об этой беседе Марко не узнает.

— Не беспокойтесь, — ответила она воинственно, — так богато ругаться буду, что и про вас забуду.

Больше я Марко в тот месяц не видел; вскоре уехал на юг и там обнаружил, что дома и не слышали об этом его проекте: быстро управилась Валентиночка, даже написать не успел.

Встретились мы с ним опять в Петербурге летом того же года. Я написал ему свой адрес; на другой день, часа в три, он влетел ко мне сам не свой от счастья, схватил обеими руками за рукав, утащил из передней в комнату и сказал, задыхаясь:

— Знаете, что только что случилось, полчаса назад? Плеве убит, бомбой! — И, подбросив фуражку в потолок, он в голос закричал: — Банзай!

Это «ура» на языке самураев и гейш, самый тогда популярный возглас на устах читающей протестующей России, стоило целой исповеди. Даже сквозь искреннюю радость мою по поводу его потрясающей новости, я не мог опять не подивиться могучему размаху его душевного маятника.

Мы решили пойти пошататься, подслушать, что говорит улица. Но удалось это не сразу: фуражка его, оказалось, улете-ла не в потолок, а на вершину саженого шкафа. Никак нель-зя было достать со стула, пришлось придвинуть стол; но нако-нец мы вышли.

Улица оказалась в том же настроении, что и Марко и я. Кто шел вдвоем, те улыбались и одобрительно качали голова-ми; которые встречались и, останавливаясь, пожимали руки друг другу, с первого слова говорили: «Здорово!» Но по-настоя-щему вслушаться в людской говор мне не удалось: Марко меш-шал. Всю дорогу он мне рассказывал о себе. Он окончательно решил сделаться брамином. Кроме того, он теперь учится у на-стоящего йога искусству дышать. Это, видите ли, самая важная вещь на свете — вводить кислород во все закоулки дыхатель-ной системы; это очищает не только кровь, но и серое вещест-во мозга и самую мысль. Каждое утро — десять минут упраж-нения; еще лучше вдвоем, только надо обязательно утром, а вот если кто поздно встает, тогда хуже...

XVIII. ПОТЕМКИНСКИЙ ДЕНЬ

Через год после того помню большой и страшный день, и помнит его вся Одесса и вся Россия.

Осень, зиму и весну я провел в вагонах, но домой наезжал и бывал у Анны Михайловны. Господь ей послал передышку. Лика училась (в Париже, куда перевелась из Берна), писала редко и сухо, но хоть была, спасибо, там, а не здесь. Сережа кон-чал третий курс и вел жизнь многостороннюю, но, по край-ней мере, вне поля зрения моего коллеги Штрока.

Марко уже целый год прожил без новых опасных проек-тов — он был в хороших руках; однако не совсем без проектов. Он приехал домой на пасхальные каникулы, и тогда и вышло у него огорчение с табачной фабрикой Месаксуди. Он узнал, что эта фирма, если прислать ей столько-то тысяч «картонок» от ее собственных папирос, оплачивает усердному клиенту (или, скажем, его даме) месяц жизни в Ялте. Марко еще с осе-ни, отказавшись от теории дыхания, сделался бешеным куриль-щиком, хотя и до сих пор не умел затянуться; в Одессе обложил картонной податью всех знакомых, и особенно привязался тогда к братьям-хлебникам Абраму Моисеевичу и Борису Ма-врикиевичу, которые зажигали одну папиросу об окурочек дру-гой. Но когда он собственноручно упаковал пудовый тюк, лич-

но отнес на почту и отправил в контору Месаксуди, оттуда ему написали возмущенно, что ничего подобного — где он это вычитал? Он мне тогда признался, что слышал это в Петербурге от полового греческой кухмистерской; был очень смущен и подавлен и скоро уехал на север оправдываться.

Вокруг Маруси было новое поколение «пассажиров», такое же веселое, хоть уж это теперь были помощники-юристы и оперяющиеся врачи; но мне почему-то казалось, что теперь она их держит только в общем вагоне, а в свое интимное купе, так сказать, не пускает, или редко. О Руницком она мне как-то сказала, что мать его с сестрой переехали в черниговское имение и свои редкие высадки он теперь проводит у них; но больше о нем не говорила со мною и не рассказывала содержания писем, изредка приходивших с диковинными марками.

— Слава Богу, — призналась однажды Анна Михайловна, — а то за прошлое лето, когда они жили тут, я, смотрите, поседела.

Я, конечно, не спрашивал, но из отрывочных ее упоминаний узнал, что был месяц, когда она вот-вот ждала «землетрясения». Маруся уезжала с ним на лодке вдвоем и возвращалась перед зарею. Один раз была буря, Анна Михайловна всю ночь не легла; Маруся приехала на дачу под утро на извозчике и сказала, что они еще вечером, как только стало качать, пристали к берегу. Мать тревожно спросила: «Но... где же вы были все время?» И Маруся ответила, что сидели и болтали в долинке на Ланжероне близ дачи Прокудина, где жила тогда его семья.

Мне, сознаюсь, стало обидно немного, но, в конце концов, ведь уж не моя была теперь республика Лукания.

Уехал из Одессы и Самойло Козодой: купил собственное «фармакологическое» дело в Овидиополе, на берегу Днестровского лимана. Сережа как-то гостил у него и привез о нем поэму, из которой я помню только один куплет:

Так как в разных краях и язык не один,
А изменчив и разнообразен, —
Он, покинув аптекарский здесь магазин,
Там открыл аптекарский магазин.

Торик был, как всегда, безукоризненно безупречен. В то лето он перешел в восьмой класс и усердно работал на медаль; вообще много читал и учился. Однажды я совсем удивился, увидя у него на столе Ветхий завет в подлиннике и учебник библейского языка с массой карандашных пометок; никогда этого духу ни в их семье, ни в их среде не было, и даже я сам у них на такие темы не заговаривал.

— Это ж естественно, — объяснил он в ответ на мои вытаращенные глаза, — ведь я еврей, значит, полагается и это знать; хотя язык скучноватый.

— Да вы не сионист ли?

— Как вам сказать? Столько же сионист, сколько и сторонник гомруля: если Редмонду нужна автономия, а вам Палестина — я голосую за; но сам не поеду, мне это ни к чему.

Тесная дружба его с Абрамом Моисеевичем не ослабевала. Бездетный старик (сын его, Сема, умер он скарлатины еще в пятом классе) души не чаял в Торике, забыл ради него свое презрение к «образованию», верил в него, советовался о делах. Он сказал мне:

— Это растет лучший адвокат на всю Одессу. У него никогда нет того, чтобы судить по догадке, по «хохмологии»; это вам, извините, не газетчик, он раньше все должен изучить. Основательный человек, солидный.

По вечерам в малой гостиной, отдельно от молодежи, по-прежнему оба брата с Игнацом Альбертовичем и другими зерновиками играли в очко и в шестьдесят шесть, или говорили об урожае, или спорили, какой лучше всех был тенор за сорок лет в Городском театре; Борис Маврикиевич стучал по столу, утверждая:

— Другого такого Арамбуро не было и не будет.

— Бейреш, ты корова, — отвечал Абрам Моисеевич, — ты вовсе забыл Джианини в «Гугенотах».

И оба они, изучая карты и двигая бровями, мурлыкали «У Карла есть враги», а Игнац Альбертович цитировал что-нибудь подходящее из немецкого поэта Цшокке, жившего, говорят, еще за сто лет даже до тенора Арамбуро.

Часто приходили Ньюра и Ньюта, по-прежнему двойня с головы до ног, и поровну тихо, как от невидимой щекотки, смеялись каждому слову Сережи. Кто-то мне сказал, что дома у них нелады с отцом семейства, но ведь они его с собой не приводили.

* * *

Большого дня в одной главе не расскажешь: как уже раз для большой ночи, понадобятся две, а здесь будет только начало.

Было это летом. Анна Михайловна с мужем уехали в Карлсбад или куда-то; дети жили еще в городской квартире.

В полдень, когда я шел в редакцию, дворник мой — все тот же Хома — проворчал мне вдогонку:

— Нечего у такой день валандаться по городу.

Я не спросил, в чем дело сегодня; но на улицах действительно чувствовалось необычное, а в редакции мне рассказали, что на рейде стоит взбунтовавшийся броненосец, ведет какие-то переговоры с властями и грозит обстрелять город. Коллега Штрок уже побывал в порту и все видел: на шлюпке с корабля приехали матросы, раскинули палатку и уложили в ней мертвого товарища; на всех молах толпятся торговые матросы, лодочники, фабричные, грузчики, сносчики и просто босяки, а полиции нет. От Дюка вниз по лестнице и обратно снизу вверх непрерывно струится толпа молодежи — сначала город, теперь двинулись и предместья, и никто не мешает; только на бульваре вокруг дворца генерал-губернатора стоят большие наряды. Штрок уже точно знал, что именно телеграфировали власти в Петербург и что ответа еще нет, но какой он будет, и что сказал градоначальник полицмейстеру («Сам не знаю, как быть»), и кто убил матроса, и почему бунт, и все. Штрок торопился, хотел это сейчас же настрочить со всеми разговорами в кавычках; его успокоили — цензор уже телефонировал, чтобы ничего не сообщать; он вздохнул, но все-таки сел писать, душа требовала.

В это время прерывисто прокатился над Одессой первый из двух пушечных выстрелов, пущенных в тот день по городу с «Потемкина». Почти для всех жителей это был еще ни разу не слышанный звук: и у нас в редакции, и на последних окраинах показалось людям, что снаряд разорвался тут же, во дворе. Мы выбежали на улицу. Там колыхались громадные толпы: я в первый раз еще видел тысячи в таком состоянии духа. Слово перст какой-то коснулся нас, выбрав этот наш город изо всех городов России. «Настало», и честь выпала нам. Лица, как на подбор, все были напряженные и тревожно-радостные. Сословия перемешались, хлебники забыли биржу, рабочие высыпали из заводов, женщины в шляпах и женщины в платочках тесно жались одна к другой; говорят, и жулики в толпе тогда не таскали — может быть, и правда. Полиции действительно не было; но оказалось, что и сила теперь не справится: куда и зачем они все напирают, они сами не знали — толпа несла почему-то к памятнику Екатерины — но куда бы ни рвались, уж туда прорвутся и не отступят.

Это, конечно, только так казалось. Не доходя памятника, масса внезапно ринулась назад: по мостовой скакали казаки. Меня притиснули к дереву, и тут я увидел Руницкого с Марусей. Они, видно, переходили мостовую, когда народ кинулся

бежать; но он остановился прямо на пути казаков, обнял за плечо Марусю и прижал ее к себе. У нее тоже на лице не было испуга, она поправила широкую шляпу, которую сдвинул на бок кто-то из убежавших. Увидя морскую тужурку, казаки разделились и обскакали их; сотник, объезжая, нагнулся и что-то сказал Алексею Дмитриевичу, указывая нагайкой в сторону Дюка и порта.

Когда казаки свернули на Дерibasовскую, Маруся подбежала ко мне, а за ней подошел Руницкий. Оказалось, пароход его прибыл час назад, она его встречала, заставила обойти с нею весь порт, и они все видели и слышали. Она мне повторила рассказ коллеги Штрока, но теперь уже с новой чертою: повсюду на бочках и тумбах стоят ораторы и говорят такие вещи! Есть даже барышня, курносенькая, в очках.

— Не подействует, к сожалению, — резко вдруг проговорил Руницкий.

Почему не подействует, он не прибавил; но так ясно, как будто бы он это предо мной отстукал по телеграфу (я не знаю Морзе, но другого сравнения нет), я прочел за его отрывистым раздражением: оттого не подействует, что все ораторы «из ваших» — или еще точнее. Вообще видно было, что он раздражен, а Маруся и тоном речи, и всей повадкой старается его утешить или задобрить.

Он посмотрел на часы, потом на Марусю вопросительно. Она сказала мне:

— Обещайте Алексею Дмитриевичу, что вы меня саму одну не отпустите и доставите домой на извозчике. Ему нужно в контору с отчетом, а он боится, как бы я еще не уехала на броненосец.

Я ответил что полагалось; и он попрощался, даже не сговариваясь с Марусей, где и когда они снова встретятся. Это могло означать и то, что они повздорили, и то, что уже раньше сговорились; я сообразил, что скорее второе.

Как только он нас покинул, из Маруси словно завод вышел. На дрожках она сидела подавленная и расстроенная, молчала, и я молчал. Только и в ее мозгу неслышно стучал телеграф, и мне снова казалось, что я понимаю. Вероятно, и ей чувствовалось, что я слежу за ее мыслями, потому что недалеко уже от своего дома она вдруг заговорила не глядя:

— Вы были правы.

Я обернулся к ней, но ничего не спросил. Незачем было спрашивать, все ясно. Не для широкой степной и морской природы твои полуподарки, Маруся; или все, или...

Через минуту она сказала, скорее не мне, а для себя:

— А я по-другому не могу. — Я молчал. — Душонка такая, без размаха; на короткую дистанцию, — прибавила она зло.

Я молчал. Она не двигалась, сидела прямо под моей рукой, обнимавшей ее талию, но впечатление было: мечется. Еще через минуту она с бесконечной тоской прошептала:

— Дайте совет... если смеете.

— Смею, — ответил я резко. — Надолго он здесь?

— Завтра хочет ехать в Чернигов.

— Так вы мне прикажите сейчас же, хоть на этом извозчике, увезти вас в Овидиополь; а завтра к маме в Карлсбад.

Она передернула плечами и перестала разговаривать. Мы подъехали к ее дому; звоня у двери, она мне бросила:

— Овидиополь, кстати, тоже сегодня здесь.

* * *

Не люблю я вспоминать о том дне: суеверно не люблю — с него началось вокруг семьи, ставшей для меня родною, то черное поветрие, которому суждено было за три года превратить Анну Михайловну в Ниобею и самый путь моих друзей окружить чужими надгробными надписями. Но не люблю того дня и помимо этой личной боли. Мы его встретили благоговейно, верили, что это Он — денница денниц, начало долгожданных свершений. Может быть, исторически оно так и было; но глупые, неопытные, молодые, мы не предвидели, что хорал его, начавшийся набатом, в тот же вечер собьется на вой кабацкого бессмыслия.

ХІХ. ПОТЕМКИНСКАЯ НОЧЬ

Вечером, когда я был дома, зашел за мной Самойло; тоже, оказалось, случайно приехал за покупками для своего магазина и попал на праздник. Он у меня был впервые, сесть отказался: на улице ждет вся компания, решили пойти в парк и оттуда с обрыва глядеть, что будет твориться в порту; говорят в городе, что — будет «твориться». Все там, только Сережа-головорез в третий раз за день ушел в порт, уже прямо по массивам — все спуски теперь заперты полицией, — но обещал тоже прийти в парк.

Меня что-то задержало на пять минут; он ждал, но не садился. Нынче и у него громко в мозгу стучал явственный для меня телеграфный аппарат, очень беспокойно стучал; я ничего не говорил, он смотрел в окно и не хотел садиться. Вдруг он сказал:

— Мсье Руницкий тоже сегодня приехал из Шанхая, только на один день; завтра утром уезжает к матери в усадьбу.

А я слушал стук телеграфа. Хуже всего — именно этот «один только день». Если надолго приехать, все еще может сососаться; но когда утром нужно проститься, за один день и одну ночь непременно должна повернуться как-то судьба, в одну сторону или в другую. Но на лице у Самойло ничего не выразилось: из прочной кожи и мускулов сшито было лицо; я ему тоже ничего не ответил.

В той части парка, что над обрывом, есть пригорок или насыпь, а на ней стена с широкими зарешеченными арками; у нас ее называли «крепость». Там мы все кое-как устроились, прямо на газоне. Толпы таких же зрителей сидели всюду вдоль обрыва, или по скату среди кустов и сдержанно переговаривались. Ночь была горячая и темная; глубоко под нами в порту горели, как обычно, все фонари на молах и на судах, дрожа отражениями, а далеко в заливе, на версту и больше, одиночкой светилась неподвижная группа огней, и люди на нее молча указывали заново приходящим: броненосец. В свете гаванных фонарей иногда сновали тени, но никто из нас не захватил бинокля; Ньюра и Ньюта сказали: «Мы было думали, на неловко, это же не опера». Из порта шел смутный ровный гул, где ничего нельзя было разобрать; иногда доносились отдельные выкрики, тоже неразборчивые; раза два загремели массовые клики, и тогда весь обрыв затихал и ждал, и только медленно снова пробуждался подавленный говор.

Маруся и Руницкий сидели на разных концах нашей компании; я себя спрашивал: не помирились... Или дипломатия? Он на расспросы Ньюры и Ньюты, где какой мол и где та палатка с убитым, больше отмалчивался; Маруся негромко, но совсем по-всегдашнему болтала с соседями из ее свиты — я опять подумал: тоже не из рыхлого теста женщина. Самойло молчал, по обычаю, и, по обычаю, никто с ним не заговаривал.

Вдруг толпа кругом загудела, сотни рук протянулись куда-то вниз: там понемногу расплывалось огневое пятно, и оттуда же, спустя мгновение, поднялся тысячный рев, на этот раз долгий, убывающий и опять наполняемый и такой по звуку, что и слов не нужно было: ликующий рев.

— Это они склады у элеватора подожгли, — резко проговорил Алексей Дмитриевич, — а радуются. — Он обернулся к Марусе: — Я вам еще днем сказал, Марья Игнатьевна, что вся шпана перепьется и станет безобразничать. Освободители...

Странно, порта жаль было и нам, и жаль огромного дня, который не по-великому как-то складывался, но мы все вдруг почувствовали в эту жаркую ночь, как потянуло к нам от Руницкого холодом. То же самое сказал бы каждый из нас, те же слова, с тем же раздражением, — а не то: как будто на другом языке, как будто вызов. Я уверен, что у всех в эту минуту промелькнуло в уме одно и то же слово — «чужой». Может быть, оттого, нарочно или бессознательно, Маруся поднялась и перешла сесть рядом с ним.

Сзади подошел Сережа, только что снизу; он искал нас вдоль всего обрыва и наконец нашел. Он был в штатском, без шапки и вообще сегодня простонародного облика: нарочно, должно быть, так переоделся. В темноте за ним виднелся другой такой же демонический силуэт, но тот остался поодаль. Сережа был утомлен и совсем не по-своему невесел; только речь осталась та же красочная. Он подтвердил, что в порту еще с захода солнца шибко текет монополька; уже давно, махнув рукою, подались обратно в город обманувшиеся агитаторы, «а то уж ихних барышень хотели попробовать вприкуску»; нет уж и матросов, ни с «Потемкина», ни с торговых судов и дубков — все поховались на палубы. Склады подожгли при нем и радостно, с кликами «вира помалу»; и еще поджигают. Уверены, что скоро начнется пальба со всех обрывов, но что ж — нехай, зато хочь побаловались.

Силуэт позади вдруг меня тронул за плечо и поманил пальцем: Мотя Банабак. Я отошел с ним подалее. Помня меня с самообороны, он, очевидно, решил именно со мной поделиться самым, что его, человека бывалого, горше всего задело:

— Скажите вашим: зекс. Чтоб опять раздавали трещетки; бу оны там, вы знаете, что галдят? За жидов галдят, холера на ихние кишки.

Подошел к нам Сережа, Мотя Банабак ему сказал:

— Ну, я попер, Сирожка.

— Тикай, — благословил его Сережа; а когда тот удалился, пояснил для моего сведения: — Пошел в публику подкормиться насчет часиков и кошелечков, погода на то стала симпатичная.

Мы вернулись к компании; тем временем уже в трех новых местах горело. Сережа сел между Нюрой и Нютой и заговорил с ними о чем-то постороннем, и не вполголоса, как мы переговаривались до тех пор, а громко; и вдруг я заметил, что теперь уже вся толпа вдоль обрыва и на склонах гомонит возбужденно вслух. Оборвалась самородная нитка, с утра связавшая все мысли с мятежным кораблем и с каким-то полуосознанным ожиданием; это прошло, ощущения кануна больше нет, остался просто редкостный цирк, такого никто никогда не видал — жаль, не захватили биноклей. Уже слышался кое-где смех, особенно ниже, из кустарника по скату, и в девичьих голосах иногда уже звенела взвизгивающая нотка — из привычной гаммы очень темных и очень обыденных вечеров.

Еще опять на минуту замолчала толпа, когда снизу и слева, совсем недалеко, затрещали первые стаккато пальбы; но только на минуту, сейчас опять все загудело оживленно и весело. Маруся спросила:

— Алексей Дмитриевич, это пулеметы?

— Нет, из ружей; это называется «пачками».

Но она спросила особенным тоном, словно ласково погладила; не для того, чтобы узнать, пулеметы или пачками, а чтобы словами дотронуться; и в его ответе уже не было того прежнего лязга — был бархатный сигнал, давно долгожданный. Я вдруг заметил, что обе руки Сережи обвилились вокруг талий Нюры и Нюты, и те, что-то вместе журча радостным тихим унисоном, опирались плечами о его плечи; никогда этого не бывало, до того они часто выдавали себя голосом, иногда взглядом, но не движениями. Некий общий маятник, прежде залетевший было в чистое сияние высот, быстро теперь падал обратно в атмосферу уличной пыли. Или нет, глубже: я и на себе чувствовал, что развязались у меня какие-то не только сегодняшние, особые, но и вчерашние, всегдашние путы: что теперь уже не только то «можно», что можно было накануне, но и многое такое, чего прежде никогда нельзя было. Я могу скатиться по склону вон в ту внизу хохочущую под выстрелы группу, которая полчаса еще тому назад едва-едва перешептывалась, и мужчины и дамы там примут меня как своего и будут продолжать сыпать остроты; молодой юрист, которого мы привели с собой, уже так и сделал. Какие там путы, какие правила, когда все ни к чему, земля сотворена из сора и слякоти, маятники всегда возвращаются, мечта кончается насмешкой; увидишь яблоко — сорви, а все остальное насмешка. Если бы теперь у меня спросила совета Маруся...

«Пачки» стрекотали то ближе, то дальше; Руницкий по звуку называл обрывы: это с Гаванной улицы, это с Надеждинской. Но все время за именами улиц опять отбивал у него свои другие буквы тот черепной телеграф, так четко, что еще, кроме меня, двое по крайней мере явственно должны были слышать: брось их, голубка, брось это все, там у нас в долине доцветает акация, и сегодня и ты меня любишь, по-моему.

Маруся поднялась.

— Уйдем, Алеша; отвезите меня куда-нибудь, где выстрелов не слышно.

Он встал, ничего не говоря, опять такой милый, робкий, трогательный, каким я видел его несколько лет тому назад у матери-смолянки. Маруся оправляла зонтиком смявшееся легкое платье. Алексей Дмитриевич прощался; Нюра и Нюта, которым он, видно, сказал, что завтра уезжает, вежливо желали ему счастливого пути, остальные присоединялись. Последним он подошел к Самойло, сказал ему что-то любезное, тот молча подал ему руку; Руницкий осторожно спустился несколько шагов по скату попрощаться с беглым нашим юристом, и все глядели туда. Вдруг мне бросилось в глаза изменившееся лицо Маруси: она стояла поодаль и, с раскрытыми губами, тяжело дыша, смотрела на Самойло так пристально, точно вдруг он чем-то приковал ее глаза.

Но он и не глядел на нее, только стоял перед нею, освещенный фонарем, с опущенными веками, квадратно, тяжело, мешковато; стоял, свесив руки, неуклюжий, второсортный, так и одетый нескладно и бездарно, как полагается аптекарю из местечка; не шевелился, не видно было дыхания, ни одна мышца не вздрагивала. Вокруг глаз у него было много мелких морщин, по бокам за недостриженными усами тоже; много за тридцать лет было ему по виду. Выражения сразу я никакого не прочел, стоит просто человек молча и не глядит; но вдруг я сообразил, что и я уже глаз не могу оторвать от этого замкнутого, запечатанного лица. Если одно за другим, долгой дрессировкой воли, смести все, чем может выдать человек движения своей души; ждать не показывая, добиваться не рассказывая, срываться не моргая, ставить ставку молча, брать удачу молча и молча потерю, и так годами — тогда сложится у человека такое лицо, которому не нужно выражения, даже глаза не нужны. Достаточно глаз того, кто смотрит на это лицо, уж он прочтет все, что там написано и раз навсегда вытравлено и раз навсегда въелось в самую ткань. Безучастное лицо и немое,

как тяжелые дубовые ворота, которые недаром тяжелыми выстроил хозяин: мертвое лицо, как у дикарем отесанного фетиша, на которого глядя, начинают биться в пене виноватые женщины; такое мертвое, что я вдруг припомнил его собственные слова: «мертвая хватка».

— Отчего ж, покатайтесь, — сказал он просто; как будто она его спрашивала, можно ли. И сказав это, не подымая глаз, отвернулся и пошел сесть на свое прежнее место, с видом человека, дело которого сделано: распоряжения, какие нужны, отданы и будут выполнены точно. Можете ехать «покататься», пожалуйста. Можете отпустить извозчика у ворот Прокудинской дачи и, пройдя среди мало еще населенных домиков, спуститься по заросшему обрыву к безлюдной долине, где и днем никто не бывает, а теперь ночь. Пожалуйста. Как вы там привыкли проводить лунные или безлунные часы, до того Самойло нет дела; давно и раз навсегда отстранил это он от своего сознания. Но на чем молча Самойло поставил штампель «нет», тому не бывать: мертвой хваткой впилося это «нет» тебе в душу и будет стоять между вами ледяною стеной. Ступайте; играть можно, Самойло не вмешивается, но игра остается игрой и ничем иным не будет.

* * *

Мне никогда ничего не снится, но в те годы я умел до того, как засну, сам себе рассказывать сны. В ту ночь пришел мне в голову такой сон.

Завтра утром я встал и пошел в редакцию; у ворот Хома дал мне, конечно, понять, что не одобряет всего произошедшего и меня тоже не одобряет; а на улице, близ Карантинной балки, проехали мимо меня две телеги с поклажей, крытой рядом, и из-под рядна торчали синеватые голые руки и ноги.

Вся редакция была в полном сборе, и шум слышен был еще на лестнице. Во сне я точно распределил, что говорит о вчерашнем беспартийный редактор, что передовик (он был народник), что фельетонист на серьезные темы (так его называли в отличие от меня, и был он искровец), и что репортеры пограмотнее. Только главного лица не было: Штроку рано телефонировали друзья из полиции, что есть иное сенсационное происшествие, о котором писать дозволяется — там-то и там-то, бери извозчика и езжай.

Наконец вернулся Штрок и сейчас же бросился писать, а вид у него был многозначительный. Мне он отдельно шепнул: «Читайте полоску за полоской, куда я пишу, вам будет

особенно интересно; а за то вы мне поможете насесть на заведующего хроникой, чтобы хоть на этот раз не покалечил мне стилия».

Я стал читать полоску за полоской с еще влажными последними строками. Так и есть: самоубийство на Ланжероне. Младший помощник капитана в Добровольном флоте; семья, хорошо известная в Одессе, отец был гласным эпохи Новосельского (Штрок писал, мне это отчетливо «снилось»: «незабвенной эпохи Новосельского, совпавшей с первой зарей всероссийской эпохи великих реформ»). Тело, в морской торговой форме, найдено было сегодня на заре лодочником Автономом Чубчиком в уединенной густо заросшей ложбине на полпути между Ланжероном и дачей Прокудина. «Холодная рука несчастного еще сжимала в последней судороге смертоносный револьвер». По мнению полицейского врача, смерть последовала между третьим и четвертым часом ночи. Семен Позднюрка, дворник Прокудинской дачи, показал, что покойный подъехал к дачным воротам накануне вечером около десяти часов в обществе молодой дамы; внешность обоих ему хорошо известна, так как погибший («столь трагически погибший моряк») проживал на даче прошлым летом с матерью и сестрами, и молодая дама нередко бывала у них. Приблизительно во втором часу ночи Семена Позднюрку разбудил звонок («властный звонок»). Моряк («над головой которого уже реяли крылья самовольной и безвременной смерти») приказал дворнику отпереть калитку, посадил даму в ожидавшие за воротами дрожки, и она уехала, а тот, вручив Семену рубль, остался на даче («и скрылся в тени развесистых аллей, чтобы никогда больше не вернуться»). «Что произошло между этими двумя участниками таинственной драмы от десяти до часу, останется навеки покрытым мраком неизвестности; что произошло после отъезда молодой дамы — к сожалению, слишком ясно».

На самом деле, конечно, это произошло не так, как у меня во «сне». Слишком приличный был человек Алексей Дмитриевич, чтобы так уж ясно для всех связать свой уход от жизни с Марусей. Коллеге Штроку вообще не пришлось о нем писать: телеграфное агентство, и то через четыре месяца, сообщило о случайной гибели его где-то по пути в Бомбей — в бурю его смыло с палубы; а Маруся уже тогда была замужем и жила в Овидиополе.

XX. НЕ ТУДА

Я сказал, что история Анны Михайловны — почти история Ниобеи; теперь дошел до рассказа о первой стреле этого божества. В котором точно году это произошло, не помню; знаю только, что было это зимою, в самом конце зимы, даже в начале петербургской весны, когда вот-вот уже должен был тронуться лед на Неве.

Сам я этого, конечно, не видел. Пишу по двум женским показаниям: первая женщина была очевидица (отчасти: конца не видела и она, и никто его не знает), и слышал это я от нее лично; вторая, рассказ которой, изложенный почерком писаря, показал мне потом дежурный пристав в полицейской части, куда я ходил за справками, вообще никакого отношения к делу не имела и иметь не могла, и в этом и лежит вся нелепая горечь этой страшной бессмыслицы.

Во всяком случае, произошло это после октябрьских дней 1905 года, потому что Марко, несомненно, в те дни принимал участие в петербургских ликованиях по поводу манифеста о конституции. Мне рассказывали приятели: одна из манифестаций проходила по Каменноостровскому проспекту, и вдруг кто-то закричал:

— Вот в этом доме живет Победоносцев!

Раздался рев враждебных выкриков, даже камень какой-то полетел в окно; толпа остановилась, повернулась к дому, образовала осадный круг, передние грозили кулаками, задние напирали — постепенно круг дотиснулся до самых ступеней крыльца, и кто-то, вырвавшись вперед, поднялся по ступеням и гулко ударил дубинкой в резные двери.

В эту минуту, растолкав ряды, на крыльцо взбежал студент с глазами навывкате, оттолкнул стучащего и стал перед дверью лицом к манифестации, раскинув обе руки крестом.

— Товарищи! — кричал он. — Протестую! Нельзя, видите ли, добивать побежденного врага. Ему один приговор: презрение и забвение!

Стимулы в душе толпы были тогда отменно высокие; говорят, его послушались, хотя до того немного и потрепали, пытаясь оторвать от двери, а он отбивался руками и ногами и кричал:

— Не допущу!

Марко в то время, по-видимому, уже вообще забросил Ригведы и увлекся политикой. Есть даже доказательства, что прильнул не только просто к освободительному подъему, но да-

же к определенному его крылу. Это он сыграл решающую роль на знаменитом собрании зубных врачей Васильевского острова, где шла такая упорная борьба между формулами резолюций, предложенных, с одной стороны, оратором-марксистом, а с другой, народником. Как и почему очутился Марко среди лиц этой профессии — его тайна; но мне говорили бывшие на том митинге, что это именно он, выйдя на трибуну, обеспечил победу второй из двух соперничавших резолюций, и так ее проголосовали: «Мы, работники зубоврачебного дела Васильевского острова, считая себя неразрывной частью трудового крестьянства...»

После этого, а может быть, и одновременно, участвовал он в спиритических кружках, а также слушал доклады о тибетской медицине по учению монгольского целителя Бадмаева; а в течение последних месяцев перед тем происшествием на Неве страстно собирал почтовые марки. Валентиночка честно послала Анне Михайловне толстый альбом, весь почти заклеенный, и я видел его однажды и помню, что великолепно отгравированная марка одной из южноамериканских республик, с неразборчивым из-за густого штемпеля именем страны, но с надписью «Corgeos» — что по-тамошнему значит, кажется, почта — красовалась в пустой клетке на странице Кореи.

Об окончательном происшествии первая свидетельница, известная санитарному надзору столичной полиции одесская мещанка Валентина Кукуруза, дала показания и в полиции (из газетного отчета о ее сообщении я и узнал, что случилось), и потом лично мне; передам — больше своими словами — рассказ ее мне, насколько удастся припомнить.

Дело было так. Она в тот апрельский вечер взяла Марко с собою в гости к подруге, вышедшей замуж за телеграфиста. Провели вечер приятно: хозяин играл музыку на гитаре, Марко пробовал показать столоверчение, но не вышло; затем главным образом сражались в дурачки — искусство, которому по ее просьбе Марко в последнее время научился. Были блины. Пили? Чтобы да, так нет: то есть пили, но помалу. Вы, главное, за Марко спрашиваете? Он пить много не мог: две рюмки — уже голова болит целое завтра, поэтому она сама всегда на людях следила, чтобы его не подбивали; а то Марко по доброте своей считал, что нельзя отклеиваться от компании, как ни противна ему самому водка. Словом — выпить он выпил, но совсем чуть-чуть; конечно, у него и чуть-чуть — что у другого бутылка. Во всяком случае, когда они вышли, а это было уже после

часу ночи, пьян никто не был, но Марко был, ну, такой радый. Шел с нею под руку, вовсе не спотыкался, раз или два наступил ей на мозоль, но это он всегда на мозоль наступал, когда гуляли под руку. Называл ей всякие звезды, указывая пальцем, и говорил, что думает перевестись на другой факультет и заняться астрономией; так и сказала: астрономией. Вообще, на этот раз она выражалась правильнее, хотя не без отечественных одесских перебоев.

Телеграфист жил на Выборгской стороне, а квартирka их (они давно оставили номера и поселились вместе) была на Знаменской. Сани брать им пока не хотелось — оба считали полезным проветриться ввиду предыдущего и поэтому шли среди полного безлюдья вдоль Большой Невки, рассчитывая перейти Неву по Александровскому мосту, и добрались до военного госпиталя, где Невка впадает в Неву, когда вдруг издали послышался отчаянный женский крик.

Что кричала женщина, разобрать было невозможно за дальностью; но ясно было, что зовет на помощь. Крик повторялся с короткими перерывами. Они остановились; Марко прислушался и сказал:

— Валентиночка, это со льда — с Невы. Тонет кто-то?

Валентиночка, напротив, думала, что это кричат справа, со стороны Невки; и настолько издали, что, вероятно, не со льда — Невка не такая ведь широкая, — а просто, должно быть, с того берега.

— Кавалер какой-нибудь лупит свою мамусю, — предположила она, — пьяное дело, дрянь гулящая; идем.

У Валентиночки очень строгое было теперь отношение к гулящему элементу, особенно если женского пола.

Они двинулись, но через несколько шагов Марко опять стал: крик повторился еще отчаяннее. Теперь она уже совсем была уверена, что это со стороны канала; а Марко еще убежденнее утверждал, что с реки. Они подошли к речному парапету, «коло фонаря», и прямо под собой увидели начало дощатых мостков, устраиваемых на зиму через Неву. Первые доски у берега уже были разобраны ввиду приближавшейся весны; но рабочие или не успели, или, холера им в сердце, сбежали в шибнок — снято было только сажени две, а дальше мостки, еще целехонькие, наперерез уходили в темноту.

— Знаешь что, Валентиночка, — заговорил тут Марко, — ты подожди, а я, видишь ли, пройду несколько шагов посмотреть.

— Да это ж не там!

— Право, там: вот — слышишь?

Опять она божиться готова была, что справа, и опять он уверял, что с Невы, и именно оттуда, куда уходят мостки.

— Ты пьян или сбесился, лед уже трескается!

— Да нет же, Валентиночка, я только по мосткам, и всего шагов двадцать; ну пятьдесят, оттуда слышнее будет. Может быть, поскользнулась, а там действительно трещина? То есть где-нибудь сбоку, у самых мостков; я с мостков, видишь ли, ее и вытащу.

Валентиночка уже крепко держала его обеими руками за рукав; но тут опять раздался крик, и Марко, вырвавшись, перелез через парапет, оступился, поскользнулся, скатился на лед, встал, пробежал по пустому месту до начала мостков и пошел по доскам. Она хотела броситься за ним, но тут увидела, за три фонаря, фигуру полицейского. Полагаясь больше на авторитет власти, чем на свой, она кинулась навстречу городовой; бежала и кричала изо всей силы «Караул!». Городовой, слыша теперь женские вопли с обеих сторон, видимо, растерялся и остановился. Покуда она добежала, покуда тащила его к мосткам, объясняя, что с ума сошел человек, пьян с одной рюмки, дай ему в морду и заberi в участок...

Уже на досках, сколько хватало свету от того фонаря, никого не было видно; один раз донесся из темноты голос Марко, взывающий: «Где вы? Я иду на помощь!» — а больше он и кричать не кричал и не вернулся.

Странная вещь: ни в ту ночь, ни утром, ни еще неделю после того не нашли там на льду около мостков ни одной трещины. Кое-где проступила вода, но мелкими лужами, вершок или полтора. Была в той стороне прорубь, но очень далеко от мостков, вправо саженой двадцать и больше.

И еще странная вещь. Потом ударила весна, лед прошел, река очистилась, а Марко так и не прибило к берегу. Ни на островах, ни на Стрелке, ни на каналах, ни в рукавах Невы — нигде. Нашли бродяг и женщин, нашли банкрота, пропавшего без вести, но студента, одетого так, как описывала Валентиночка, не нашли. Так далеко забрел Марко, что и следа не осталось.

И самая дикая вещь: а ведь та женщина действительно совсем не на льду Невы кричала, а именно там, где слышала Валентиночка, — справа через Большую Невку, недалеко от Самсоньевского моста. Писарь в полицейской части точно записал:

звали ее Марья Петрова, крестьянка Псковской губернии, 28 лет, и на набережной бил ее сожитель по имени Иван Сидоров или Сидор Иванов; смертным боем бил, в участок привели всю в крови; проходил мимо господин и вступился, и за это, чтоб не смел вмешиваться, Марья вместе с Иваном набросились на него с кулаками и непотребной руганью, повалили в снег, разбили очки, изорвали шубу — поэтому только, собственно, и попали в полицию. И по сей день еще не знает Марья Петрова и никогда про то не узнает, как бежал «к ней» по мосткам бестолковый божий дурак, бежал не туда, и, прислушиваясь (он ведь сам о себе как-то сказал: я — из тех, которые прислушиваются), — взывал в пустую темноту: «Иду на помощь!»

XXI. ШИРОКИЕ ЕВРЕЙСКИЕ НАТУРЫ

Тускло и неуютно было теперь в доме у Анны Михайловны. Игнац Альбертович начал заметно горбиться, говорил, что так сказано где-то в мидраше или, может быть, в изречениях старых волынских мудрецов: у человека две матери, одна — его родная мать, а вторая — земля. Покуда мал, он слушает голос первой, но она выше его ростом, и оттого он все подымает голову; когда подходит старость, начинает с ним беседовать вторая, и к ее шепоту надо прислушиваться, наклоняясь. Анна Михайловна зато не пыталась объяснить свою все густевшую проседь. Сумно было в доме, гости приходили только пожилые; даже Нюра и Нюта являлись реже редкого, Сережа без Маруси перестал собирать у себя друзей и после ужина часам к десяти уходил на свободу, а степенный Торик сидел у себя за книгой.

Начали портиться у Игнаца Альбертовича и дела. Слишком ли часто закрывал падишах Дарданеллы; или Херсон, углубивший недавно днепровские «гирла», и Николаев у широкого устья начали обгонять сухую Одессу, или другая причина — только заметно стала пустеть Карантинная гавань, поредели и дубки на Платоновском молу и на Андросовском, и тысячный гомон маклеров и на бирже, и на тротуарах перед Робина и Фанкони (эту незаконную, но главную биржу все называли «Грецк») если не утих, то зазвучал тревожно. За столом у Игнаца Альбертовича по вечерам все ворчливее ссорились Абрам Моисеевич с Борисом Маврикиевичем; старшего брата особенно раздражало новое слово «конъюнктура», которое «Бей-

реш» вычитал в передовице моей газеты и произносил своеобразно, вроде «кунтатурия»; сам же он, старший брат, во всей беде винил «банки».

— Эх, молодой человек! — говорил он мне. — Посмотрели бы вы, что творилось на Днестру лет тридцать тому назад, когда только и было два царя от порогов до нашего элеватора: Вебстер-Коваленко — один, а другой, еще важнее, — «Русское Общество». Едет себе вверх на колесном пароходике от Херсона такой еврей Ионя, главный скупщик «Ропита»; борода черная, очки золотые, живот как полагается. Едет, как цадик у хасидов, пятьдесят человек свиты — бухгалтеры, лапетуты, пробирщики и так себе дармоеды. Всю дорогу дают чай, а то можно и по стаканчику водки с пряником; и до трех часов ночи играют в шестьдесят шесть — что вы думаете, по пятьсот карбованцев проигрывали; я сам знал идиотов, что даже платить платили! А мимо бегут пристани — Большая Лепетиха, Малая, Берислав, Каховка, Никополь, аж до Александровска. На каждой пристани еще за три часа до приезда Иони сам губернатор не протолкается: агенты, маклера, перекупщики, биндюжники, чумаки, вся площадь завалена мешками, позади волы и возы. Вы что думаете, Ионя ночь не спал, так он усталый? Как увидит пристань, он кричит матросу: «Юрка, сюды — качай!» Сам подсунет голову под «крант», Юрка давай накачивать воду, пол-Днепра вылетит ему на лысину, и опять Ионя хоть на свадьбу готов. Стоит на палубе и еще издали кричит: «Наше вам-с, Ставро Лефтерьевич, как живете? Вижу, пополнели, летом вместе в Мариенбад поедем. Гей, Куролапченко, что мне в Каховке сказали, опять уж у тебя дочка родилась? Седьмая? Окрести ее Софья — пора сделать „соф“! Шулем-алеихем, мусью Гробокопатель; швыдко, ты Гамалию-ротзей, видчиняй гамазей!» (Это магазин по-хохлацки.) Для каждого доброе слово, а те стоят и смеются, руки целовать готовы... Был Днестро, а теперь извините. Банки!

— При чем банки, однако?

— Стали позычать деньги всякой мелюзге; против «Ропита» и Вебстера с Коваленкой развелась целая хевра куцего сметья — «господин экспортер», а на нем штаны с бахромою, и то дядькины. Самим нечего есть, и большим тоже не стало ни воды, ни воздуха. Умирать надо, Игнац Альбертович; только ты, пожалуйста, Бейреш, помирай первый.

Неуютно стало и вообще в Одессе. Я не узнавал нашего города, такого еще недавно легкого и беззлобного. Ненависть его наводнила, которой никогда, говорят, не знала до того

метрополия мягкого нашего юга, созданная ладной и влюбленной хлопотнею в течение века четырех мировых рас. Вечно они ссорились и в голос ругали друг друга то жульем, то бестолочью, случалось и подраться; но за мою память не было настоящей волчьей вражды. Теперь это все переменялось. Исчез первый знак благоволения в человецех — исчезла южная привычка считать улицу домом. Теперь мы по улице ходили с опаской, ночью торопились и жались поближе к тени...

Дело, впрочем, было теперь не в одной племенной распре. Когда все мы два года назад читали о первых героических налетах из подполья на конвой казенного золота, никто не подозревал, до чего постепенно демократизируется та система финансирования безденежных начинаний. Теперь она в Одессе кратко называлась «экс» и применялась уже просто и открыто для пополнения личной кассы налетчиков. Первое время, подкидывая письмо с угрозами или подставляя револьвер, они еще ссылались на какую-то непоименованную «партию»; но вскоре и это бросили и стали просто грабить без вуали. В смысле размаха appetitов отличались спартанской скромностью: хоть и были еще редкие попытки сорвать толстый куш с отдельного пугливого богача, но обычным типом «экса» был визит вдвоем в бакалейную лавочку и конфискация утренней выручки в размере двух рублей с копейками. Всего любопытнее было то, что свирепствовал «экс» у нас в городе только среди евреев: евреи были все объекты его, жирные и тощие, и, как божились потерпевшие, все без исключения субъекты. «В два кнута хлещут еврейскую массу, — меланхолически писал мой коллега по газете, фельетонист на серьезные темы, — ночью дубинками — чужая сволочь, днем — своя».

Редакционный служитель наш Абрам доложил, что спрашивает меня студент, а назвался он Виктор Игнатьевич.

Торик вообще мало к кому ходил, а тут у меня был в первый раз. Я понял, что дело важное, и велел Абраму никого не пускать в приемную. Дело оказалось и в самом деле нешуточное, но по-началу скорее даже смешное. Торик изложил его систематически, в порядке хронологии событий и открытий, одно за другим, не забегая вперед, а подталкивать его не полагалось; очень солидный, благоустроенный юноша был Торик.

У Абрама Моисеевича состоялся вчера «экс». Явились к нему на дом два молодых человека, один вида простонародного, другой «образованный», предъявили бумажку со штемпелем

и два «пистолета с вот такими барабанами» и потребовали пять тысяч, а не то — смерть. Он посмотрел на них, подумал и спросил:

— Откуда вы узнали, что я в городе? Я вчера только вернулся из Мариенбада.

Юноши гордо объяснили, что комитету все известно: такая система слежки.

Он еще подумал, вдруг рассмеялся и сказал им:

— Слушайте, молодые люди: хотите получить не пять тысяч, а пятнадцать? Пойдите к моему брату Бейрешу, покажите ему эти ваши пулеметы и возьмите с него десять. После того приходите ко мне: если покажете мне его десять тысяч, я вам тут же вручаю мои пять.

Они вытаращили глаза; конечно, заподозрили, что пошлет за полицией. За совет спасибо, к «Бейрешу» пойдут, но деньги на бочку моментально.

— Э, — ответил он, — когда с вами говорят как с людьми, не будьте пархами. Мое слово — слово. Каждый банкир в Одессе на мое слово даст пятьдесят тысяч без расписки, а тут два смаркача. Убирайтесь вон или делайте, как я велю. Ваши пистолеты? Чихать я на вас хотел; бомбах я не боюсь (наиболее характерные места его рассказа Торик передавал и грамматически дословно). А вот если сделаете мне удовольствие насчет Бейреша, так это «да» стоит пяти тысяч: пожалуйста.

Они пошептались в углу и решили, что надо запросить «комитет» по телефону. Простонародный тип увел его в другую комнату и запер за собою толстую дверь, а «образованный» остался телефонировать. Через десять минут он их вызвал обратно и сообщил решение комитета: согласны, только вот он должен с вами остаться в комнате, пока я вернусь от вашего брата Бейреша.

— Можно, — сказал Абрам Моисеевич. — Он сигары курит? Я привез отличные — «что-нибудь».

Так и просидел простонародный с Абрамом Моисеевичем два часа, курил сигары, и понемногу дружески разговаривались. Рассказал, что он совсем не жулик, а человек порядочный и хороший еврей, участвовал в самообороне 1905 года, даже целую дружину привел с собою, и здорово они тогда в октябре после манифеста поработали. (В этой части рассказа я перестал улыбаться: мне что-то начало мерещиться недоброе.) Словом, через два часа вернулся «образованный» и показал десять тысяч; Абрам Моисеевич сейчас же открыл

несгораемый шкаф, спокойно вынул оттуда кучу бумажек, при них отсчитал пять тысяч, потом подумал и прибавил шестую; при них спрятал остальное — им даже в голову не пришло помешать — и закрыл сейф.

— Идите с Богом, — отпустил он их, — кончите Сибирью, но меня вы порадовали.

Сейчас же после того Абрам Моисеевич вызвал к себе Торика и представил ему следующие соображения. Во-первых, очень странно, что они пришли к нему сейчас же назавтра после его приезда из Мариенбада: кто мог им это сказать? Во-вторых, они даже не спросили у него адреса «Бейреша», а тот тоже всего неделю назад переехал на новую квартиру. В третьих, простонародный его собеседник, хвастаясь подвигами и передавая, как его хвалили организаторы самообороны, обмолвился, что зовут его Мотя, а это имя Абрам Моисеевич как-то где-то слышал. Наконец, когда они шептались в углу, ему показалось, что расслышал он еще одно имя.

— Сережа?!

— Не совсем так, но еще хуже: «Сирожка». Улики слабые, как видите; но Абрам Моисеевич верит в свою интуицию. «Я, — говорит он, — сам старый конокрад, и уж по тому одному, как уведена кобыла, знаю нюхом, кто увел». Он голову дает на отсечение, что звонил «образованный» не в «комитет», а по телефону 9-62.

Торик и сам произвел дома небольшое дознание. Сережи не застал, но осторожно расспросил горничную. Она сказала, что около одиннадцати утра паныча Сергей Игнатьича вызывали по телефону, и он ее тогда выслал из отцовского кабинета, где она вытирала пыль, и запер двери.

Рассказал мне Торик эту повесть так, что я невольно любовался, хоть и не до того было. Ровно столько огорчения, сколько нужно было, и ровно столько юмора, сколько можно при данной степени огорчения. Ни одного осудительного слова против брата, словно шла речь о больном человеке, которого лечить надо, а не судить. А ко мне пришел затем, что для Сережи я, когда нет Маруси, единственный, который...

XXII. ЕЩЕ ИСПОВЕДЬ

В тот вечер я пошел говорить с Сережей. Торик предупредил меня, что родители уйдут в оперу, и сам он тоже уйдет, чтобы никто не мешал, а Сережа раньше десяти не уходит. В самом деле, еще из передней я услышал Сережин голос: он что-то наигрывал на рояле и подпевал.

— Чудесную песенку привез знакомый из Парижа, — сказал он мне, сияя. — *Janneton prend sa consigne pour aller couper les joncs*. Говорят, старинная. Вот уже час корплю, хочу перевести. Нравится вам начало?

Наступил июль горячий,
По деревьям бродит сок.
Прогуляться в лес на даче
Вышла Таня на часок.

— Я к вам не за тем, Сережа: у меня серьезное дело, и неприятное.

— Погодите, сейчас; ужасно трудно подобрать все рифмы не просто на «ок», но на «сок», *avec la consonne d'appui*. Слушайте:

Вдруг четверку повстречала:
Каждый строен и вы-сок.
Первый скромно, для начала,
Ущипнул ее в... висок.

В висок ущипнуть нельзя, но это — для ваших целомудренных ушей: у меня на самом деле другая рифма, более щипательная. Дальше еще не готово. Слушаю; только не ругайтесь, если вдруг сорвусь на минутку напеть следующий куплет. Что нового на Риальто?

Я притворил дверь гостиной и сказал очень просто:

— Сегодня Мотя Банабак еще с одним товарищем произвели «экс» у Абрама Моисеевича и сделали это по вашему поручению. Вы знаете, чем это пахнет?

Он стоял предо мною, ловкий, стройный, изящно одетый во что-то специально домашнее, одна рука в кармане, в другой — папироса. Ни одна бровь не дрогнула, но ход его мыслей отразился на лице явственно. Сначала он удивился, откуда я знаю, хотел было отрицать; сейчас же сообразил, что не стоит, улыбнулся чистосердечно и спросил тоном любознательной деловитости:

— Чем пахнет?

— Чем угодно — от арестантских рот до расстрела.

— Кабальеро, я четыре года проторчал на юридическом факультете. Почтенный хлебник Авраамий, сын Моисеев, будет молчать, как скумбрия, немая от рождения, пойманная, нафаршированная, зажаренная, съеденная и переваренная.

— Не ручайтесь!

— Ручаюсь. Что визит к нему произошел по моей инициативе, он доказать не может; а зато есть два свидетеля, что он подговорил их учинить налет на своего же брата Бейреша, сына Маврикиева, и еще заплатил им за это шесть тысяч рублей. Знаете, чем это пахнет?

Это была здоровая логика, бесспорно. Первый натиск мой, со стороны самосохранения, он отразил. Я на минуту сбился с нити; стоял и почему-то думал о том, что сегодня он все время говорит по-русски, без обычных своих гаванных словечек, и это с самого моего прихода: сразу, что ли, почуял, что я пришел не по шуточному делу?

— Дело не в этом случае, Сережа, — сказал я, собравшись с мыслями. — Я теперь не сомневаюсь, что вы связались с налетчиками вообще. Никакого оправдания у вас нет, вы это не для «партии» делаете — да еще через Мотю. Это просто гнусная низость.

Он прищурил глаза и проговорил раздумчиво:

— Я бы мог, собственно, указать вам на дверь и даже помочь вам в деле утилизации одного отверстия.

Я ответил опять очень просто:

— Не будьте идиотом, Сережа.

Он пожал плечами; несколько минут ничего не говорил, только постукивал носком; вдруг потер лоб, просиял, счастливо кивнул мне головою, сел к роялю и, сказав мне: «Минутку!» — запел, брэнча аккомпанемент:

— Но второй был смел, и смело
Бросил Таню на пе-сок.
Третий ловко и умело
Развязал ей поя-сок,
А четвертый...

Вот еще только четвертый, собака, не дается. *Se que fit, le quatrième...*

Я бесновался внутри; право, не за него тревожился, пусть идет ко всем, если так ему нравится: Анна Михайловна не выходила у меня весь день из головы, моя старшая и первая

любимица в этом доме. Это ради нее, чтобы не стыдно было смотреть ей в глаза, я тогда в Лукании сказал Марусе «чур» и не дотронулся — только ради нее, пора выдать правду. Женщина с изумительным гением понимания, безропотно несущая свое бессилие — бессилие всех матерей и отцов в том поколении перелома и распада; женщина, вздернутая Богом на дыбу, чем дальше, тем выше; и вот ей этот обаятельный мерзавец готовит еще один поворот колеса, натягивающего канаты. У! Портовые словечки знал и я, самые последние, самые хамские: страшно хотелось бросить их все ему в лицо и еще плюнуть в придачу, по-настоящему плюнуть, мокро, и уйти. Но хватило, спасибо, рассудка поступить иначе. Я собрал у себя в глотке самые ласковые, самые музыкальные и задушевные ноты голоса и сказал ему:

— Сережа, за нами столько лет дружбы. Если вы не слышите, что за крик боли стоит у меня теперь в душе, вы глухой. Ради Бога, Сережа!

Он медленно повернул ко мне крутящийся табурет у рояля, оперся локтем о зазвеневшие клавиши и посмотрел мне в глаза по-своему, открытым и честным взглядом удалой и безграничной своей натурой.

— Во второй раз вы меня спасти хотите, — сказал он тоже с глубокой, грустной дружбой. — А я во второй раз спрошу вас, и, поверьте, не для зубоскальства, а совсем искренно: в чем дело? Почему нельзя? Это ведь не то, что взять у нищего. Может быть, я нравственно глух, но ведь это от природы, это органическое мое увечье, а не вина.

— Но зачем, зачем?!

Он опустил голову и задумался на минуту. Потом он заговорил, рассеянно слегка постукивая пальцами по клавишам; и всю эту речь его я помню сквозь тихую втору отрывистого рокота рояля, как ту исповедь Маруси помню сквозь лунный свет и зеленый шелест. Наигрывал ли он бессознательно какую-то знакомую мелодию, или просто сами невольно создавали ее одаренные пальцы, но даже меня, туго откликающегося на музыку, странно захватило и подчинило ее подавленное журчание, и с ним уже без отпора вливались в мое сознание его слова.

— Все равно, милый друг мой, — говорил он, — я ведь пропаду. Я не прилажен для жизни. Это дико звучит, когда речь идет о человеке, сплошь усеянном, как я, полуталантами: и на рояле, и карандашом, и стихотвор, и острослов, и что хотите. Может быть, в этом и болезнь, когда все человеку дается, к чему ни приложит руку: как тот царь, у которого все в руках превращалось в золото, и он умер с голоду.

— Неправда, из вас бы вышел отличный адвокат...

— Да я у кого-то и состою помощником — даже где-то записал, у кого именно. Ничего не выйдет — не могу я работать. Даже легкой работы не выношу: не в усиллии дело — для игры я целый день вам пудовые мешки буду таскать; но если это не игра, если «нужно» — не могу. Вы прочли Вейнингера?

— «М» и «Ж»? При чем это?

— «Ж». Я знаю, это еще более дико сказать о малом с такими широкими плечами; и гимнаст я хороший, и, честное слово, совсем нормален в том — вы знаете — специфическом смысле; но ведь я, собственно, женщина. Барышня-бабочка, рожденная только для холи и забавы и баловства. Родись я девушкой, никто бы не попрекнул меня за то, что я не создан для заработка: у них это в порядке вещей, если внешность подходящая. Кто-нибудь тогда бы кормил и наряжал меня для украшения своего быта и дома и еще благодарил бы каждый день за то, что я позволяю. Меня бы тогда «содержали»... Сознаться вам? Это слово «на содержании», которое для каждого настоящего мужчины звучит так погано, меня оно не коробит. Уже несколько раз я был на самом пороге и этого переживания; почему-то не подался, сам не знаю почему; но и это еще возможно.

Я почти застал: гнев мой давно прошел, осталась только тупая, тяжелая боль. Я сказал:

— Вы говорите так, как будто теперь вы нищий.

— Я и есть нищий. Куда плывут у меня деньги, сам не знаю. Выпил кофе за четвертак, ничего не купил, а ушло пять рублей. Тоже черта той дамочки: легче далась бы черная магия, чем арифметика собственного кошелька. Это и значит «нищий»: тот, у которого над душой каждую секунду висит гнусная, подлая забота — где достать? Для дамочки это просто — потерлась плечиком о плечо отца или мужа, или друга и попросила умильно: дай! Пусть иногда откажет — но хоть не стыдно. А на мне галстук и брюки, я числюсь мужчиной. Папа, *c'est un chic type*, сам приносит конверт 1-го и 15-го, а мне это — как хлыстом по лицу. Никудышный я; пропаду все равно, не стоит хлопотать.

Мы оба молчали; вдруг он заговорил бодрее, и аккомпанемент на рояле зазвучал громче:

— Между прочим, этот подвиг с Авраамием в моей биографии первый. Вдруг осенило. И денег его я пока не тронул; собственно потому, что не привык еще как-то принимать ассигнации из рук моего друга Моти Банабака — привык наоборот. Предрассудок...

Он повернулся к роялю и стал наигрывать внимательнее, что-то бормоча, потер лоб одной рукою, нахмурил брови, кинул мне рассеянно:

— Простите... — и опять запел, сначала вполголоса, но со второй строчки уверенно:

— А четвертый... Но из драмы
Надо вычеркнуть кусок,
Чтоб, узнав, и наши дамы
Не сбежали в тот лесок.

И он совершенно преобразился. Отпихнулся ногой, три раза перекрутился вместе с табуретом, удержался против меня: его лицо сияло подлинной беспримесной радостью, он с силой провел ногтем большого пальца по всей клавиатуре с диезами и бемолями и закричал:

— Готово! Нравится?.. И вы не тужите, во второй раз обещаю вам честно — ни-ни. Этого — ни-ни; не хочу вас отпустить опечаленного. А пропасть — пропаду.

XXIII. В ГОСТЯХ У МАРУСИ

Еще только раз увидел я Марусю (хотя и после того однажды поехал к ней в гости и опоздал). У меня была в Аккермане лекция, и оттуда Самойло с Марусей увезли меня через лиман к себе в Овидиополь.

Чуть было не написалось: «Я ее не узнал». Это была бы неправда, Маруся ни на пушинку не изменилась. «Не узнал» я не ту Марусю, которую прежде знал, а ту новую, которую подсознательно рассчитывал найти в этой новой обстановке. До встречи я, по-видимому, думал так: ей теперь чего-то недостает, к чему она привыкла, следовательно, я в ней замечу какой-то голод. Оказалось — ничего не оказалось.

Ни на волосок она не изменилась. Разве что стала очень деловитой домоправительницей, но это не было неожиданностью, все мы всегда знали, что Маруся, за что бы ни взялась, будет мастерицей. Несколько лет тому назад она раз пришла ко мне, всплеснула руками при виде беспорядка (а по-моему, никакого не было беспорядка), дала мне пощечину, повязала волосы платочком, повозилась два часа, все подмела, перетерла, передвинула, повыкидала все женские фотографии («и набрал же мальчик галерею крокодилов!»), кроме двух подлинно хорошеньких и своей собственной («по-моему, я самая лучшая»);

и получился такой рай, что мне жаль было после того мыть руки в умывальнике — она так уютно прикрыла кувшин полотенцем. Не чудо, что у нее дома оказалось еще лучше; и что горничная понимала ее с полуслова, и что обед был вкусный и на столе цветы, и что ребенок был счастливый, розовый и для своих восемнадцати месяцев благовоспитанный. Даже то не чудо, что Самойло стал человечнее, уж не так неуклюж и угловат; я этому совсем не удивился, значит, и это подсознательно предвидел, издавна зная, как Маруся покоряет людей.

Неожиданным оказалось вот что: она говорила, смеялась и светилась точь-в-точь, как в самые первые годы нашего знакомства, до той тревоги из-за Руницкого. Перед вечером пришли к ним гости, какой-то грек-сосед с женою, которую звали Каллиопа Несторовна, а муж был, по-видимому, владелец баштанов в окрестности; и немец-аптекарь из Гросс-Либенталя, приехавший на собственной бричке, тоже привез жену и двух красавиц дочек, степенных и глупых. Говорили об огурцах и арбузах, о скарлатине и земском враче, то есть, в сущности, о такой же обыденщине, о какой во дни оны шла, бывало, болтовня в гостиной у Анны Михайловны; только все же там, во дни оны, темы обыденщины были рангом выше, там чувствовалась близость большого театра, четверги в «литературке», университет. Но Маруся и тут была как рыба в воде: ни одного ложного тона, всем было по себе, вся комната опять звенела ее колокольчиками — точно тут родилась и выросла Маруся и ничего ей другого не нужно.

Я присмотрелся, как она себя держит с мужем и ребенком; нечего было присматриваться, ничего нового. С Самойло она говорила, как когда-то со мною или с теми белоподкладочниками: когда о пустяках — задорно, а когда о деле — деловито. С ребенком возилась ровно столько, сколько нужно было, раз нету няньки, но как-то не было впечатления, чтобы «нянчилась»; прикрикивала, шутила, когда ушибся — приласкала, но ничуть не нежничала; а когда заснул, искренно сказала: «Уф! Здорово вы мне надоели, Prince Charmant; сто рублей дам, если не проснетесь до половины пятого»; потянулась, схватила меня за руку и увела в сад, прибавив:

— Ступай в аптеку, Самойло, нам не до тебя — мы продолжим наш роман.

Я провел у них двое суток и все время, как собачка, ходил по дому и садику за Марусей. С утра она надевала тоненькую цветную распашонку, она ее называла «балахон» и уверяла, что в этом наряде удобнее варить что-то такое для ребенка, хо-

тя мне все время казалось, что вот-вот загорятся от пламени керосинки широкие висячие рукава. Ибо и на кухню я ходил за нею. «Кум-пожарный при кухарке», — смеялась она. Накормив сына, она повязала рыжие волосы платочком, надела передник и прибрала с горничной квартиру, а я помогал — лично стер пыль с глянцевиной рамы зеркала; но с шероховатых поверхностей отказался и Марусе не дал, потому что все равно не видно. И она, хлопоча, все время щебетала, называла меня бездарностью и смеялась по-прежнему немного хрипло.

— Не разберу, Маруся: изменились вы или нет?

Она подумала и решила, что только в одном отношении — «да». Она мне напомнила: давно, когда раз я «прочел ей нотацию» за слишком вольный язык, она мне объявила свою классификацию неприличностей. Есть неприличности, которых детям знать нельзя; и есть та категория, которую детям знать не только разрешается, но даже неизбежно. В обществе, где есть и мужчины, и женщины, «детские» неприличности строго воспрещены, это дурной тон; но те, что не для детей, — пожалуйста.

— А теперь, — призналась она, — я могу нечаянно порадовать вас и анекдотом из категории младенческих вольностей; хотя постараюсь воздержаться. Трудно, понимаете, когда весь день с полуторогодовалым малышом.

Тут она вдруг меня притянула к себе и шепнула на ухо:

— Через пять месяцев будет второй.

— Вот бы не догадался!

Она повернулась профилем и весело спросила, следя за моим выражением:

— Не прибыло?

Я честно сказал, что нет, но она заметила что-то у меня в глазах:

— Вы чему смеетесь?

Я, расхохотавшись, сознался:

— Вспомнил. Когда-то — после другой моей «нотации», на другую тему о... вольностях, — вы тоже повернулись ко мне профилем, но спросили наоборот: «Что же, убыло?»

Она меня за эту справку расцеловала и затихла на минуту с головой у меня на плече.

— А встречаете вы моих «пассажиров»? — спросила она потом.

В двух шагах была Одесса, но она редко туда ездила, гораздо чаще Анна Михайловна к ней; и, когда гостила у матери, никого из прежних друзей не вызывала. Мне пришлось ей рассказать, кто остался, кто уехал, у кого какая служба или практика, и что

все, когда со мной встречаются, до сих пор говорят не о былой юности, а про Марусю. Она слушала внимательно и растроганно, о каждом расспрашивала, вспоминала словечки, выходки, странности каждого, и о каждом наизусть Сережин «портрет»:

Вошел, как бог, надушен бергамотом,
А в комнате запахло идиотом...

— Милые они все, — сказала она искренно. — Чудно мне с ними жилось, так бы каждого сейчас и расцеловала — как вас; не ревнуйте.

— А вы, Маруся, никогда не тоскуете? — спросил я, осмелев.

— Нет, — ответила она просто, качая головою. — Ведь это было как купанье: плескаться в море — прелесть, но поплескался и баста; а выйдя из воды и надевши туфли и шляпку и все, кто разве тоскует по воде?

Показала она мне комнатку вроде своего будуара («моя личная норка»); там на столике я увидел карточку Руницкого, но о нем в этот раз она не заговорила, и я тоже.

На второй день, вскоре после завтрака, Самойло уехал в Одессу что-то закупать и сказал, что вернется поздно, после полуночи; в аптеке у него был ученик-помощник. Хоть он и стал много милее прежнего, я без него себя чувствовал куда свободнее; но Маруся, по-моему, ничуть, — только, понятно, у нее больше было времени говорить со мною наедине; а говорила так же точно, как и накануне.

В десять я пошел спать — на рассвете надо было ехать — и скоро заснул. Разбудил меня плач ребенка; через минуту из той комнаты послышались шаги босиком и уговаривающий голос Маруси. Хотя толковала она с ним вполголоса, чтобы я не проснулся, но все слова доносились ясно, только половины их я все равно не понял: это все было на языке того заколдованного края, куда от нас уносят боги девушек, преобразенных первым материнством. «А-ба-ле-ба-ле-ба-ле... А-гудь-гудь-гудь-гудь...» Иногда, впрочем, слова были русские, но такие, которых я никогда не слышал: «шелковиночка серебристая», «светлячок», «лепесточек»... Потом запела потихоньку:

Ули-люли-люли,
Чужим деткам дули,
Зато нашим калачи,
Чтоб не хныкали в ночи.

Он наконец утомился; босые ноги зашуршали к моей двери, и Маруся шепнула:

— Спите?

Я отозвался; она вошла, в косах и в том балахоне поверх сорочки, сказала: «Подвиньтесь», села с ногами на кровать и заговорила:

— Полагалось бы выразить сожаление, что мы вас разбудили, но я страшно рада: покуда я там укачивала это добро, все молилась Господу, чтобы вы проснулись. Как-то за этот час больше «за вами» соскучилась, чем от сотворения мира.

Недопопрощалась, видно. Бог знает, когда я снова тебя увижу, молодость моя...

Было не совсем темно, с улицы косо падал свет керосинового фонаря. Она пристально вглядывалась в меня; протянула руки, погладила мой чуб, потом взяла за уши, я вспомнил, где-то читал, что в Древнем Риме женщины, целуя, тоже брали за оба уха... Маруся немножко наклонилась, как будто хотела поцеловать, и уже косы упали мне на лоб; но передумала, отодвинулась, велела: «Дайте вторую подушку», — положила ее себе за спину и оперлась.

Я сказал ей, не для того чтобы вызвать опровержение, а совсем честно:

— На что вам молодость, Маруся? Ведь вам хорошо в этой новой молодости, во сто раз лучше; я не знаю, как это вышло, прежде бы не поверил, но ведь вы словно для этой жизни и родились и все годы к ней себя готовили, только по-своему готовили; и мама это знала — она мне давно предсказывала, только не называя Самойло, что так будет.

Маруся помолчала, потом ответила:

— Мама — великая умница. Никогда мы с ней об этом не говорили, она еще раньше знала, чем я.

— А вы давно знали?

— Ей-богу, не помню. Всегда. Папа его привез, я еще была гимназисткой и готовила его к экзамену; и мне страшно imponировало, что он так умеет сосредоточиться на главном и отметать пустяки, ничем его не обманешь и ничем не сманишь. Металлическая душа или дубок, что ли. Тогда еще, верно, и порешила; а момента не помню. — Она вдруг засмеялась: — Знаете, Самойло по-своему — такой же тонкий умница, как мама (это у них в крови — он ведь ей родня, а не папе). Раз он мне сказал: «Если бы ты со мной попыталась флиртовать, я бы ушел навсегда. Что ты там набуянила

с другими, мне все равно, а со мною нельзя. Не важно, если человек свистит на улице — главное, чтобы он понимал, что в синагоге свистеть не полагается».

Потом она поправилась, не глядя:

— Он сказал так: «Мне все равно, что с другими — кроме Руницкого».

У нее слегка дрогнул голос; я инстинктивно выпростал из-под головы руки и протянул их ей навстречу — она переплела свои пальцы с моими и долго не выпускала. Мы молчали; я где-то прочел или сам придумал и где-то написал: «молчать в унисон» — это когда мысли сами между собою перестукиваются. Поэтому вышло совсем не «вдруг», а вышло естественно, по ходу и логике бессловного разговора и с ее бессловного позволения, когда я спросил:

— Что тогда было в долине Лукания?

Маруся легла ко мне, обвила мои руки тесно вокруг себя, свои вплела мне в волосы, прижала губы к уху и зашептала:

— Страшная вещь была. Я туда ехала, как одержимая, с обрыва бежала, как одержимая: знала, что это конец, через минуту я буду женой Алеши, я так хочу и так надо, пусть мне будет больно и страшно и все развалится навсегда. Так и сказала Алеше, внизу, на том самом месте, где ты меня судил и простил; даже не сказала — велела. И вдруг — даже объяснить не умею — как будто лопнула во мне пружина, и я не я, и все по-другому, чужой человек с чужим человеком. Он еще только руки протянул ко мне — и разом отстранился, и сразу все понял. Не сказал больше ни слова, отвел меня вверх, отыскал извозчика, отвез домой; помню, зубы у меня стучали. У подъезда помог мне вынуть ключ из сумки, сам отворил дверь и снял шляпу. Я хотела сказать: «Прости меня», или еще иначе — «Прости ты меня Христа ради» — ведь я за полчаса до того уже была в душе крещеная и венчанная в церкви. Ничего не сказала, и он ничего не сказал.

Маруся толчком откинулась от меня, опять села, оперлась о ту вторую подушку, закинула голову; потом подняла руки и долго смотрела на них в косом свете с улицы.

— Собственно говоря, — сказала она громко, равнодушно, даже усмехнувшись, — ведь у меня, собственно говоря, кровь на руках.

— Не болтайте глупостей, — отозвался я сердито.

— О, меня это не мучит. — Она говорила в самом деле очень спокойно. — Может быть, это мы в такое время живем:

все пистолеты, виселицы, погромы. Меня кровь не пугает. Я только за маму тревожусь.

Я не понял:

— За маму? В чем дело?

Она объяснила медленно, с долгими запинками, подбирая слова; говорила опять совсем спокойно, по-видимому, ничуть не испытывая той жути, которой во мне отзывались ее странные мысли. Странные? Не уверен, чтобы совсем неожиданные: в этом рассказе уже несколько раз сорвалось у меня имя «Ниобея», и теперь я не помню, родилось ли оно в моем сознании только после этой беседы и после всего — или тоже, как Марусино предчувствие, задолго раньше, «так», «почему-то».

— Так, почему-то, — говорила Маруся. — Почему-то мне мерещится, что мамины дети все плохо кончат; то есть все, кроме Торики — Торик не наш. Вот уже Марко пропал, как-то совсем по-дикому, как никто никогда не пропадал. Лика — Лика палач до корня волос, до обкусанного края ногтей; кого задушит, ее ли придушат, не знаю, но я как-то уже давно ее списала со счета. А Сережа... Сережа меня затащил однажды в кавказский кабачок, там один черкес плясал с пятью кинжалами во рту: это ведь и есть Сережа — ох, напорется. И хуже всего одно — мама это знает, мама всегда про это думает.

Я молчал, настолько подавленный, что даже не попытался вставить подходящее возмущенное замечание — «какая чепуха!» или в этом роде.

— Кроме Торики, — повторила она. — И еще я пропустила Марусю. Я зверек без когтей, никого не придушу, и кинжалов у нас в доме нету; но убейте меня — как-то не могу вообразить себя старушкой, или просто пожилой дамой. Это свои вы мне когда-то читали стихи: «Цветок сирени, ты свой убор покинула весенний, когда весна прошла»?

Я наконец взял себя в руки.

— Весьма польщен: мой; но вы, мой друг, оказывается — тайная истеричка. Гидропатия вам нужна: на такую блажь один ответ — холодная вода или отгаскать за косы.

Но Маруся уже смеялась, тормоша мои волосы.

— И то правда; вероятно, сама в это не верю, иначе не жилось бы мне так безоблачно, как живется. Утром забуду все, что теперь вам нагадала.

Я сказал:

— Хотите, я вам скажу, как я вас «разгадал», здесь, за эти два дня?

— Хочу.

— Вы мне тогда в Лукании сказали: будь у меня талант певички или другой талант, я бы спряталась от всего мира, одна-одинешенька или с моим рабовладельцем. А я спрашиваю: может быть, есть женщины, для которых высшая песня, песнь песней — это ребенок и муж, и вообще вся эта ванна спокойной нежности, в которой вы живете?

— «Весьма польщена», — передразнила она мой давешний ответ, но глаза ее смотрели серьезно.

— Понимаете, — настаивал я, — жил-был человек, отроду художник, но не знал, что он художник; только почему-то все портил чужие обои, рисуя на них арабески. И вдруг его взяли на выучку, дали полотно и краски: целый день вымазаны у него руки и лицо и самый нос, и ничего ему больше на свете не нужно. Или жила-была девушка, отроду с неслыханным, несметным зарядом нежности в душе; разбрызгивала эту нежность направо и налево, не считая и не жалея и не выбирая, стоит ли, пока...

— Пока не попала в ванну? Может быть. — Она зевнула и соскочила с кровати. — Одно несомненно: мой наряд скорее подходит для ванны, чем для визита. И мы уже опять вернулись к началу начал — к истории о том, как ваша героиня «разбрызгивала нежность»; значит, круг сюжетов завершен, и я иду спать. Утром напою вас кофе; только еще булочек не будет, но я вам поджарю сухариков. Яйца как хотите — всмятку или яичницу?

Но она еще с минуту простояла у моей кровати, прощаясь за руку; смотрела на меня задумчиво, склонив голову на бок и щечоча себе губы пушистым кончиком одной косы; опять как будто хотела нагнуться и раздумала.

— О чем это вы молчите так нерешительно, Маруся?

Она не ответила, высвободила руку и пошла к двери, но у двери опять остановилась и повернулась ко мне лицом.

— О чем? — Она засмеялась и ответила мне так, как будто снова ей двадцать лет, снова она рыжий котенок в муфте, ничему не научилась и ничего не забыла: — Я вам признаюсь. Я стояла и думала: надо бы с ним попрощаться по-особенному — может быть, и в самом деле не увидимся? Но, как изволите видеть, я передумала. Мы с вами все сроки пропустили; и вообще не надо, пусть так останется, как было. Монна Ванна (она опять зевнула) бьет челом Жофруа Рюделю; впрочем, это, кажется, из двух разных опер. Засни, мой родной; «сни меня», если можно так выразиться.

Она ушла. Где-то пробило час ночи; после этого я слышал, как она спускалась на нижний этаж, на цыпочках, но уже не босиком — очевидно, решила дожидаться мужа. Потом приехал Самойло; потом я заснул. Утром они меня накормили кофе, яичницей, хрустящими горячими сухариками, проводили оба ласково; бричка довезла меня до Люстдорфа, оттуда я на трамваях добрался до Большого Фонтана и до Одессы, а назавтра уехал в Петербург.

XXIV. МАДЕМУАЗЕЛЬ И СИНЬОР

В том году в Петербург на гастроли приехала Лина Кавальери; кто-то меня зазвал полюбоваться на знаменитую красавицу не то в «Лакмэ», не то в «Таис». Впрочем, не кто-то, а старый друг, которого уже раза два я в этом рассказе поминал, не называя; и теперь не хочется назвать. Это он мне когда-то сказал, что кургузые «дрипки», подружки революционных экстернов 1902 года, были переодетые дочери библейской Юдифи; и это он, через год или меньше после того спектакля с Линой Кавальери, погиб у царя на виселице под Сестрорецком. Теперь он жил в столице инкогнито: коренной одессит, мой соученик по гимназии, он выдавал себя за итальянца, корреспондента консервативной римской газеты, не знающего по-русски ни слова; говорил по-итальянски, как флорентиец, по-французски с безукоризненно подделанным акцентом итальянца, завивал и фабрил усы, носил котелок и булавку с цацкой в галстук, — вообще играл свою комедию безошибочно. Когда мы в первый раз где-то встретились, я, просидевший с ним годы на одной скамье (да и после того мы часто встречались, еще недавно), просто не узнал его и даже не заподозрил: так он точно контролировал свою внешность, интонацию, жесты. Он сам мне открылся — ему по одному делу понадобилась моя помощь за границей; но и меня так захватила и дисциплинировала его выдержка, что даже наедине я с ним никогда не заговаривал по-русски. Он был большой любитель оперы и большой приверженец Лины Кавальери; а кроме того, объяснил он мне, даже бровью не моргнув, «ведь она моя соотечественница».

— Зовите (по-русски мы были на ты) меня изменником, — шепнул он мне в антракте, — но дама в той ложе еще лучше Лины.

Я оглянулся на ту ложу и внутренне согласился с ним; и не удивился — я давно знал, что другую такую красавицу, как та дама в ложе, вряд ли доведется встретить; мне, по крайней мере, не довелось ни раньше, ни после. У нее были черные волосы и профиль греческой статуи, лоб и нос — в одну черту без перерыва, и роскошные плечи (я их помнил по-девичьи худыми) были покаты, как очертание амфоры там, где вместилище постепенно переходит в горлышко сосуда. В волосах у нее была диадема, на груди тоже что-то сверкало; вечерний туалет, на тогдашнюю мерку «нескромный», от большого мастера, она носила, как мы с вами пиджак, просто, привычно, незаметно. В бомонде жила, подивился я, вспоминая прошлое. На голых руках у нее были высокие перчатки; я подумал: а ногти под ними теперь — все еще обкусанные или же только подпилены маникюршей? Ее глаза я не сразу увидел, она сначала сидела боком; потом повернула голову, отвечая своему спутнику во фраке, и стали видны синие-синие глаза, совершенно небывалой, неправдоподобной какой-то синевы. Но цвет их я помнил, а вот что было ново и меня поразило: выражение этих глаз. Не великий я чтец физиономий и взглядов, но тут и подслеповатому было ясно, что в этих глазах четко прописана огромная любовь — странная любовь, редкая в людском обиходе, жадная, властная, нетерпимая, суровая, а в то же время нежная и послушная. Потом она взглянула на зал; мой сосед ей поклонился, она кивнула с величавой любезностью и тут встретилась глазами со мною. Что-то мне шепнуло: не кланяйся, ей этого не хочется. Действительно, она равнодушно отвела взгляд дальше. Но в эту минуту обернулся ее кавалер, сидевший к нам раньше спиною, и я невольно проговорил вслух его имя:

— Дотторе Верниччи?

— Вот как? — спросил мой сосед с любопытством. — Вы и его знаете? А ее — неужели не узнали?

Верниччи, увидав нас обоих, радостно закивал и стал знаками звать в их ложу. У меня на то не было никакой охоты, во-первых, из-за нее, а кроме того — в зале могли оказаться знакомые, для которых не было тайной его ремесло. Но сосед мой пробормотал под усы римское ругательство:

— *Accidenti a li mortacci sui!* Я должен...

— Скажите ему, что мне надо звонить в редакцию, — попросил я, — или что хотите, только выручите меня. Да и синьора его по мне вряд ли стосковалась.

После спектакля мы долго тащились на извозчике в ресторан «Вена», и он мне рассказывал об этой паре. По своему титулу консервативного журналиста он бывал у Верниччи в Париже, где тот, конечно, тоже выдавал себя за представителя седьмой державы; а по истинной своей профессии хорошо знал крамольную профессию моего римского знакомого.

— Его шефы, — говорил он, — очень им дорожат, а по-моему, он — то, что сказал когда-то Бисмарк о Наполеоне-малом: «Крупная, но непризнанная бездарность».

— Почему бездарность?

— Да хотя бы вот почему: вы поверите — он до сих пор не подозревает, что мадемуазель Лаперванш — ваша соотечественница?

Я вспомнил, что в Берне, когда мы встретились в банке и потом сидели в кафе, ее имя не было названо, и выдала она себя ему сразу за иностранку. Теперь оказалось, по рассказу моего приятеля, что вот уже сколько времени она считается в Париже официальной подругой Верниччи, ездит с ним в качестве «секретарши» по разным Европам, куда заносит его сыскная служба, и называется Мадлен Лаперванш, или даже де Лаперванш; и бумаги в порядке, получила визу на приезд в Россию.

— И по-русски ни слова не знает: как я.

Он замолчал, потом вдруг наклонился к моему уху и в первый раз за все эти месяцы прошептал по-русски:

— Большая женщина. Таких после революции история на золотую доску записывает.

Тут я совсем удивился и посмотрел на него вопросительно; он, однако, покачал головою с видом, ясно говорившим: не спрашивай, не имею права объяснить; даже и то, что сказал тебе сейчас, ты забудь.

Остаток дороги мы молчали; и я про себя старался построить из осколков портрет новой Лики. На золотую доску? Это, в его устах, может означать только одно: Лика по-прежнему работает для какого-то подполья. В то же время — диадема, ожерелье, содержанка этого хорька... Собственно говоря, он-то чем занимается? Иностранец, не могущий ни к кому из политической эмиграции втереться в доверие, — какая от него польза сыску, за что деньги платят? Но видно, что платят; и он, по всем отзывам, правая рука того М.-М., ласкового, приветливого выкреста, которым так дорожит российская охранка. Значит, и Верниччи им полезен; но что тут делает Лика? Что тут за роль играет при нечистом человеке эта странная душа,

когда-то откликавшаяся только на злопамятные голоса ненависти, а теперь так явно прильнувшая к нечистому человеку? Ничего у меня не получалось, портрет не складывался; я только смутно чувствовал, что дотронулся до какой-то путаницы, может быть, и святой, но нечистой.

В «Вене» было, как всегда по ночам, полным-полно. Не помню, как мы там провели время, кто к нам подсел и почему так долго мы там засиделись; только помню, что спутник мой и на людях разыгрывал свою роль иностранца изумительно. Был даже такой случай (может быть, не в этот раз, но все равно): пришел с ночной работы другой журналист, тоже одесит, тоже наш одноклассник, сел у нашего столика и провел с нами час; я их познакомил, был им за переводчика; новопришедший посреди разговора вдруг мне сказал: «А в нем есть что-то похожее на Л., правда?» — и я подтвердил, что есть; и тот ушел, так и не догадываясь, что это и есть Л.

Вдруг, уже очень поздно, публика зашевелилась, шеи вытянулись, сидевшие спиною повернули головы; и я тоже повернул голову — метрдотель торжественно вел к свободному столу Лику и Верниччи. У нее на плечах было что-то меховое, очень богатого вида, и шла она сквозь строй восторженных взглядов спокойно и равнодушно. Провожатый уже указывал им жестом отменного изящества, какой-то особенно почетный столик, но в эту минуту Верниччи увидел нас. Он бросился ко мне со всегдашней своей экспансивностью, опять тряс мою руку обеими руками нескончаемо, за одну минуту произнес длинную речь о том, как он рад этой встрече, а потом указал на Лику:

— Неужели вы не узнаете мадемуазель Мадден? Ведь это вы нас и познакомили.

— Здравствуйте, мсье, — сказала она по-французски, подавая мне руку; ее голос звучал учтиво и равнодушно, глаза смотрели на меня спокойно и уверенно. Я пробормотал:

— Мадемуазель де Лаперванш так изменилась... — Тут я вспомнил, что при таком случае в присутствии итальянца надо вставить комплимент, и прибавил: — Звезда стала солнцем, — или что-то в этом роде.

— Разрешите присесть? — спросил он. — Мерси, метрдотель, мы останемся здесь.

Я уж внутренне махнул рукою на страх, что люди увидят меня, либерального журналиста, в таком дружеском соседстве с господином, о котором они, быть может, слышали; но от самой

создавшейся неразберихи меня в холодный пот ударило. У меня за столом две маски, и все мы втроем дурачим четвертого; он того стоит, мне его не жаль, но сумею ли я, совершенный новичок, выдержать свою роль в этом лицедействе? И зачем? Я-то, собственно, тут при чем? Была у меня мысль извиниться, отговориться работой и уйти; но все знают, до чего это трудно. Актеры соловцовской труппы, с которыми я когда-то в Одессе был близок, объясняли мне, что самое трудное на сцене — это уметь «отшиться», уйти без неловкости, ничего не зацепив; в жизни это еще сложнее, чем на сцене. Я остался, взял себя в руки и решил поменьше говорить, чтобы как-нибудь не выдать моих переодетых одесситов. Это оказалось не так трудно — Верниччи говорил без умолку, мой приятель ему вторил, моего содействия почти не требовалось.

Верниччи оказался интересным и очаровательным собеседником. О чем он рассказывал, я, конечно, уж не помню; но тут была и мировая политика, и все новые книги, что вышли на западе, и закат Элеоноры Дузе, и школа Маринетти, и двадцать анекдотов о королях и министрах, один другого забавнее. В то же время он выбрал из списка вин какую-то особенную марку, метрдотель даже вытянулся навывтяжку, услышав название. У меня в душе заворчали сразу все мои меццанские предрассудки: пить из его бутылки? Но вырубил мой приятель: объявил безапелляционно, что хозяева стола — мы, никакими возражениями: «Когда встретимся у вас в Париже, вы реваншируетесь»... У меня атлегло от сердца, и на радостях я пил больше всех; мы заказали вторую бутылку и третью, и понемногу мое смущение прошло.

Помню такой момент. Лица разговаривала с моим другом, Верниччи хотел ей что-то сказать и положил руку ей на руку. Она повернула к нему голову и слушала, но смотрела не на него, а на его руку: и опять у нее в глазах и во всем лице отпечаталось то самое выражение «твоя», хищное и покорное, рабье и рабовладельческое, что меня давеча поразило в театре. «Господи! — подумал я, действительно ломая голову над этой загадкой. — Влюблена, как цыганка, и лжет ему, как цыганка? В чем дело?»

Он сказал ей, что хотел, снял руку; она опять заговорила с моим приятелем, все по-французски, мсье, мадемуазель. Верниччи обернулся ко мне, но сначала молчал; вдруг он поднял на меня глаза, и, несмотря на все мое предубеждение, это был подлинный душевный взгляд очень искреннего доброго малого.

— Вы, — проговорил он вполголоса, — сами того не зная, сделали мое счастье на всю жизнь.

От вина, должно быть, я расчувствовался, его слова меня прямо тронули. Без вины виноватый, я в душе застыдилась: уж не мог разобрать, кто тут кого больше обманывает, кто кому глубже копает яму, но этого гоя, уж каков он ни есть, помогаю сегодня дурачить я. «Счастье на всю жизнь»... Собственно, раз он у моего стола и пьет мое вино, полагалось бы хоть намекнуть ему, что ненадолго такое счастье, что где-то в его перине уже торчит ржавая игла — какая не знаю, но ржавчина ядовитая, и конец будет плохой. Конечно, ничего я ему не сказал, молча дал ему опять потрясти мою руку и запил свое смущение пятым или шестым стаканом.

А в конце помню и такой момент, когда Верниччи и мой приятель вышли, и я остался с Ликой вдвоем. Мы сидели друг против друга; она мне указала на место Верниччи: «Сядьте ближе». Я послушался. Кругом стоял полупьяный говор, на наш стол уже никто не обращал внимания; она проговорила по-русски, почти беззвучно:

— Вы давно из Одессы?

Я так же беззвучно ответил, что все здоровы (а жив ли был еще Марко — не помню); и про Марусю и ребенка в Овидиополе.

— Ставлю вам пятерку, — сказала она, — я сначала боялась, что вы как-нибудь обмолвитесь. Нашим тоже не говорите об этой встрече.

Тон ее, хоть она в эту минуту говорила со мной о своих секретах, был ее старый тон, холодный, неподпускающий — я подумал: «Точно с прислугой, которой велят унести объедки». Вдруг мне в голову ударила огромная злоба — неприязнь целой жизни, вся взаимная полярность нашего склада, вся моя жуть перед такой душой без святынь и без категорий добра и зла; может быть, сознаюсь, еще больше ударили в голову те несчетные стаканы Vendange 1872. Я ответил ей резко:

— Не только им не расскажу, а сам об этом кошмаре постараюсь забыть. Вы чудовище, Лика: живете со шпионом, влюблены в него, как кошка, и сами за ним шпионите для других. Я не верю, чтоб и хорошему делу стоило так служить.

Синие глаза смотрели на меня высокомерно и безучастно; она медленно и очень спокойно ответила:

— Стоит.

Карьера Верниччи оборвалась через год после того; катастрофа, подробности которой и до сих пор еще неизвестны, едва не опрокинула, говорят, и его шефа, выкреста М.-М. Какую они тогда вдвоем затевали гнусность, я точно не знаю; говорят, тут и Евно Азеф был замешан, предполагалось подготовить важное покушение, в последний момент его расстроить, переловить множество ценного народу из боевой организации; может быть так, а может быть, и не так. Но что-то затевалось крупное, и нити шли из Парижа; и накануне развязки весь план, за который отвечал Верниччи, появился в нелегальной печати. Верниччи с того дня исчез; даже в Италии о нем больше никто никогда не слышал; кто-то мне говорил, будто он уехал в Аргентину и там пропал. Не по дороге ли туда пропал он, тоже давши смуть себя с палубы волною? Потому что уж очень доверчиво сказал он мне тогда за вином: «Счастье на всю жизнь».

О Мадден де Лаперванш не попало в печать ни слова. Анна Михайловна как-то мне сказала, что Лика уехала из Парижа, а где она — неведомо; и у Анны Михайловны при этом уже тряслась по-старушечьи почти совсем седая голова. Я бы расспросил о Лике того друга, но его вскоре выследили и захватили, все еще с итальянским паспортом, и теперь его уже не было на свете.

XXV. ГОМОРРА

У турок еще до сих пор, кажется (и я уже где-то этим похвастался), Одессу в официальных документах называют Хаджабей, по старинному имени того места на черноморском берегу. У нас в городе это имя сохранилось только в названии одного из лиманов: Хаджибейский лиман. На Хаджибейском лимане, летом 1909 года приблизительно, кончился любимец мой Сережа; впрочем, технически остался жив и, пока живы были родители, конечно, не покинут; я даже думаю, что не будет покинут, куда жив Торик; а живы ли еще Анна Михайловна и Игнац Альбертович и Торик, и сам Сережа, не знаю — с 15-го года не был в России, с 17-го никто мне оттуда не пишет. Во всяком случае, тогда, на Хаджибейском лимане, он остался технически жив, но для себя и для всех кончился. Я его с тех пор не видал. Несколько месяцев после того события он еще проживал

у отца, но гостям не показывался, даже мне; потом уехал из дому и зарылся в нору, неведомо где, без знакомых, без книг, один-одинешенек в вечной темноте. Если жив еще, то сегодня, может быть, рвет на себе волосы или тихонько стонет, шепча: «Если бы я только еще на полвершка дальше отшатнулся, вправо или влево...»

Знаменитый у нас адвокат, который защищал Ровенского (добился для него действительно большого снисхождения — полтора года арестантских рот, если верно помню), был хороший мой знакомый. После процесса я просидел у него долгий вечер, чуть не ночь, и расспрашивал, чего никак понять не мог. Не о роли Сережи, конечно: для Сережи, должно быть, и это необычное переживание, пока не кончилось такой страшной расплатой, было только еще одним любопытным опытом над неограниченными возможностями жизни; проделывая тот опыт, он, вероятно, совсем не был ни потрясен, ни даже просто захвачен его чудовищной неестественностью. Сережа, вероятно, опять только развлекался и через час после начала «опыта» уже внутренне подавлял легкую зевоту. Но те? Как это могло случиться? Я знал их давно, с первого своего посещения Анны Михайловны; знал, что весь наш круг и «весь город» подтрунивал над их причудами, над их подчеркнутым сходством и одинаковыми платьями; пусть даже над их увлечением Сережей, под конец уже совсем явным; но я знал их давно и, как мне казалось, знал насквозь, помнил их безукоризненную светскую сдержанность — кажется, никогда (кроме разве той пьяной «потемкинской» ночи в Александровском парке, под крепостью — но ведь тогда все устои мира у нас на минуту пошатнулись), никогда с их стороны я и мало-мальски вольного жеста не видел; и вдруг...

Я ничего не понимал.

— Все дело в постепенности, — говорил мне адвокат, — в постепенности, и еще в одной коротенькой фразе, вопросительной фразе из трех коротеньких слов. Вы мне только что рассказали, что давно слышали именно эту фразу от самого Сергея Мильгрота, когда еще юношей отговаривали его от общения с какой-то шайкой шулеров. Но дело не в Сергее Мильгроте, дело в том, что эта фраза характерна, убийственно характерна для всего его поколения. Фраза эта гласит: «А почему нельзя?» Уверяю вас, что никакая мощь агитации не сравнится по разъедающему своему действию с этим вопросом. Нравственное равновесие человечества искони держится именно

только на том, что есть аксиомы: есть запертые двери с надписью «нельзя». Просто «нельзя», без объяснений, аксиомы держатся прочно, и двери заперты, и половицы не проваливаются, и обращение планет вокруг Солнца совершается по заведенному порядку. Но поставьте только раз этот вопрос: «А почему нельзя?» — и аксиомы рухнут. Ошибочно думать, будто аксиома есть очевидность, которую «не стоит» доказывать, до того она всем ясна: нет, друг мой, аксиомой называется такое положение, которое невысказано доказать; невысказано, даже если бы весь мир взбунтовался и потребовал: докажи! И как только вопрос этот поставлен — кончено. Эта коротенькая фраза — все равно что разрыв-трава: все вдребезги; нет больше «нельзя», все «можно»; не только правила условной морали, вроде «не укради», «не лги», но даже самые безотчетные, самые подкожные (как в этом деле) реакции человеческой натуры — стыд, физическая брезгливость, голос крови — все рассыпается прахом. Для нравственных устоев наших этот коротенький вопрос то же самое, что та бутылочка серной кислоты для глаз и лица. Ваш Сергей Мильгром только получил обратно ту же дозу, которую сам первый плеснул куда не полагается.

Большой оратор был тот адвокат; и я всегда замечал, что в беседе с такими нужно сто пудов терпения. У них на душе всегда лежит запас неиспользованного красноречия; надо ему дать излиться, покада начнется разговор о сути. Они — вроде крана для горячей воды: сначала идет холодная, и долго. Впрочем, может быть, я слишком любил Сережу и злился за эту правду.

— А второе — постепенность, — продолжал адвокат. — Нет такого трудного предприятия, которого нельзя было бы одолеть секретом постепенного воздействия. Нужно только хорошенько разобраться в понятии «трудность», расчленив его на отдельные моменты и не браться за все сразу, а по порядку, один за другим: на каждый сначала брызнуть той самой кислотой, подождать, пока подействует кислота и пройдет боль, а потом — номер второй, по очереди. Разрешите задать нескромный вопрос, ведь мы наедине: случилось ли вам когда-нибудь — я ищу слов — *débaucher une jeune fille très pure*? Или лучше оставим личные наши тайны, обратимся к литературе: что такое был Дон-Жуан? Не байроновский, и даже не тот, которого изобразили Тирсо де Молина и особенно потом Соррилья. Тот действует натиском, магнетизмом, ему достаточно одного монолога, после которого чистейшая девица на двенадцатом стихе уже побеждена. Это чепуха. Нет, вы попробуйте вообразить себе

настоящего «исторического» Дон-Жуана: Хуан Тенорио, сын захудалого помещика из окрестностей Севильи, мот и бретер, но совсем не Адонис. Чем он брал? Тысяча три жертвы в одной Испании, не считая заграничных, и в том числе такие недоτροги, как донна Анна; чем он их победил, одну за другой? — (Мой собеседник хорошо знал по-испански и выговаривал «донья Ана»; но мы не обязаны.) — Я утверждаю: не магнетизмом, — продолжал он, — а исключительно постепенностью. Донна Анна говорит: не хочу вас слушать, «нельзя!» А Дон-Жуан спрашивает: а почему «нельзя»? И готово — через два дня она уже слушает. Но есть у нее второй окоп: на свидание ночью ни за что не приду — уж это действительно нельзя! Он опять: а почему «нельзя»? И через три дня, уже на тайном свидании, он начинает применять ту же разрыв-траву к поцелую руки, к поцелую щеки, потом постепенно к каждой пуговке или пряжке ее многосложного наряда...

Я потерял терпение и прервал:

— Но ведь то была каждый раз одна донна Анна, а не две сразу! И не мать и дочь!

— Разница, если вдуматься, только в том, что слушали силлогизмы вашего друга две пары ушей, а не одна; а силлогизмы придумать и на эту тему нетрудно. Тем более, что влюблены в него были несомненно обе; и времени было много. Дружба эта тянется лет восемь. Очень легко могу себе представить все стадии развития этого милого *ménage à trois*. Сначала, скажем, сидели они втроем на скале, где-нибудь на берегу моря, луна и прочее; он сидит посередине; взял обеих за руки, маму Ньюру за правую, дочку Ньюту за левую, держит и не выпускает. В первый раз они, впрочем, высвободили руки, мама Ньюра даже, вероятно, погрозила ему пальцем: нельзя. А он обиделся, огорчился, надулся: почему нельзя? Докажите. Конечно, нельзя доказать; в следующий раз руки остались у него. Через месяц — или через год, времени было масса — уже его руки вокруг обеих талий; сначала без прижима, потом «с»... Не стоит продолжать, можете и сами дополнить, мне тошно. Только поймите одно: если это все проделывать осторожно и постепенно и медленно, то обе дамы так с этим нарастанием тройственной интимности свыкаются и срастаются, что посторонние, конечно, ничего заметить не могут. Вы говорили давеча: как же могло это за столько лет никому не броситься в глаза? «Бросаются в глаза» только резкие, внезапные перемены; выдают себя только люди, еще не свыкшиеся с новым положением; посте-

пенность, напротив, — залог полного самообладания. Вероятно, уже давно они втроем проводили афинские ночи — содомские ночи, если хотите, — по разным гостиницам, и в той именно обстановке, которую мне описывал, задыхаясь, несчастный Ровенский... брр! А назавтра, на людях, при вас, ни намек нескромного, ни лишнего прикосновения, только невинно влюбленные женские глаза... сам-то ваш Сергей, конечно, ничуть не был «влюблен».

Я заходил по комнате, стараясь придумать форму для вопроса, который мне почему-то казался тогда самым важным и самым страшным; но ничего не надумал, остановился и спросил в упор:

— А это правда, что они ему давали деньги?

Он ответил:

— Несомненно. Установленный фактический факт. Между нами, — хотя я считаю Ровенского очень порядочным человеком, — у меня ясное впечатление, что именно эта сторона дела и явилась для него последней каплей яду. Не по скупости, совсем он не скупой человек и не копеечник; типичный одесский еврейский коммерсант, прибрел когда-то нищим из местечка Волегоцулово, попал в эту портовую метелицу радужных и «катенек» и векселей приходящих и уходящих и сразу потерял счет деньгам. Разве вы сами не замечали, что дед наш Шейлок, к сожалению, давно умер и потомства не оставил? Нет теперь во всем православии, несмотря на всю ширь славянской души, такого безнадежного мота — по-одесски «шарлатана», — как этот тип полуобруселого еврея. Если бы ваши Ньюра и Ньюта разоряли его на брильянты, Ровенский бы только кряхтел да подписывал вексельные жиры. Но *это* — брр!

Тут он вспомнил посмотреть на меня и увидел, должно быть, что со мной творится. Я забился в самый далекий угол; если бы мог, в стену бы влип от боли и стыда. Это, правда, говорил мне сам когда-то о себе Сережа, у них в гостиной, в перерывах между куплетами французской песенки: *Si vous le saviez, mesdames, vous iriez couper les joncs* — еще тогда говорил или намекал, что ничуть ему не страшны были бы женские подарки; и мне тогда показалось, что я ему поверил. Теперь было ясно, что не поверил; всему поверил, только не этому...

Мой собеседник был хороший, душевный человек; напрасно у меня до сих пор о нем проскальзывали досадливые нотки, словно его это вина, что свихнулся у меня большой и красивый любимец. Он заговорил по-другому, участливо:

— А вы на это иначе взгляните. Тот же вопрос и та же, верно, постепенность, но уже не с его стороны. В первый раз он с хохотом рассказал Нюре и Нюте: «Вдрызг проигрался, хоть стреляйся!» Они сейчас предложили ему помочь; он их высмеял, может быть, и слегка отодрал за уши, если они уже были достаточно тогда между собою близки для такой формы выговора за несуразное предложение. Но при этом Нюра, или Нюта, или обе успели спросить: «Позвольте, Сережа, в чем дело — почему нельзя?» Его же собственным оружием, понимаете. Прошел месяц или год, или три, кислота действовала, предрассудок разрыхлялся (ведь это же действительно только предрассудок: что деньги будто бы не пахнут, это обонятельная и химическая неправда, но ведь пола-то у денег в самом деле нет). Словом, неизбежно пришел момент, когда оказалось, что «можно»...

— Страшное это слово «можно», — говорил он мне потом, чуть ли не на заре. — И вот что я вам скажу, только не повторяйте от моего имени — я, вы знаете, давно переменял в паспорте вероисповедную пометку и тем отказался от права судить свою бывшую общину; да и принципиально я, как вы знаете, не ваш единомышленник, верю в ассимиляцию и сознательно хочу ассимиляции. Но нельзя закрывать глаз на то, что первые стадии массовой ассимиляции — тяжелое явление. Русская культура велика и бездонна, как море, и чиста, как море; но когда вы с морского берега сходите в воду, первые сажени приходится плыть среди гнилой тины, щепок, арбузных корок... Ассимиляция начинается именно с разрыхления старых предрассудков; а предрассудок — святая вещь, это еще Баратынский пел: «Он — обломок древней правды». Может быть, все истинное содержание морали, даже содержание самого понятия культурности состоит из предрассудков; но в каждой культуре они — свои, самобытные, и при переходе от одной ко второй получается долгий срок перерыва — прежние пали, новые еще не усвоены; очень долгий срок, может быть, и не одно, и не два поколения, а больше. И знаете что? Только не рассердитесь, вы большой у нас муниципальный патриот, я тоже, а все-таки это правда: нет во всей России более яркой панорамы этого перерыва культурной преемственности, чем наша добрая веселая Одесса. Я не только о евреях говорю. То же с греками, с итальянцами, с поляками, даже с «русскими» — ведь и они, в массе, природные хохлы, только «пошылысь у кацапы»; но всего яснее, конечно, это сказалось на евреях. Оттуда, вероятно,

и особая эта задорная искрометность здешней среды, над которой так смеется вся Россия и которую мы с вами так любим: так ведь нередко бывает, что эпохи развала устоев считаются эпохами блеска. Но оттуда же и жульничество наше, и ласковое отношение к вранью бытовому и торговому, и что на десять девиц из почтенных домов девять деми-вьерж, а десятая зеро-вьерж; и Сергей ваш оттуда, и Ньюра, и Ньюта.

— ...А как это все произошло? — спросил я.

Градоначальник запретил газетам писать о подробностях дела на Хаджибейском лимане, суд прошел при закрытых дверях; репортер Штрок из нашей редакции, конечно, все знал, пытался даже рассказать и мне, но я его прогнал. Зачем тут спросил, сам не знаю; ответ адвоката хорошо помню, но подробно рассказывать не хочется, разве что несколько штрихов.

Ровенский еще за три месяца до того раздобыл эту бутылочку с кислотой; очень мучился человек, уже больше года почти не говорил с женой и дочерью, старался по делам уезжать из города, чаще всего без надобности. В этот вечер тоже сказал (горничной), будто уезжает, а сам спрятался в кофейне на Ланжероновской, наискось против своего подъезда; видел, как подъехал на лихаче Сережа, и как уехал с дамами. Проследил их до лимана и до той гостиницы; околавивался под освещенными окнами час и два, пока там не потухла керосиновая лампа. Тогда позвонил, снял и для себя комнату, в чулках прошел по коридору, в левой руке была бутылочка, в правой нарочно заготовленный молоток; молотком он и прошиб расшатанный дешевый замок того номера и ворвался в комнату. Лампу они потушили, но на столике горела стеариновая свеча. Увидя молоток и сумасшедшие глаза, Сережа вскочил и бросился вырывать молоток; Ровенский не боролся, уступил, но перенес бутылочку из левой руки в правую и плеснул Сереже в лицо. Потом он говорил, что хотел то же сделать и с женой, а дочку Ньюту «просто хотел задушить», но уже не поднялась рука или «сразу все равно стало», как он говорил потом на суде.

Седенькая уже была старушка Анна Михайловна, когда я ее после этого увидел, а ведь только лет пять тому назад казалась старшей сестрой Маруси. Я у них долго просидел, дурень-дурнем, слова не шли из горла; она тоже молчала. Игнац Альбертович, тоже страшно подавшийся по внешности, и тут еще не сдался внутренне: старался поддержать разговор на посторонние темы, цитировал длинные строки из Виландова «Оберона»; даже из Клопштока.

XXVI. НЕЛАДНОЕ

Письмо, под влиянием которого я собрался еще раз поехать в гости к Марусе, было длинное и беспорядочное. Конечно, слов я уже не помню, и нечего притворяться, будто помню; а все же так оно живо у меня в памяти, что не только его мысли, но и звучание берусь восстановить.

«Милый друг, милый друг, мне что-то неладно стало. Самойло — прелесть, на редкость тонкая душа и рыцарь; даже то умеет, чего никто не умеет, — молчать и ступшеываться, когда я зла на все планеты. Он, верно, думает, что больше всего я зла на него; честное слово, неправда. Иногда про себя перебираю: за кем было бы мне лучше замужем изо всех, кого можно было женить на себе? Ни за кем бы так хорошо не было. Он даже сердиться умеет красиво, как природный барин. Мы не разлюбились, у нас и теперь бывают совсем пьяные встречи. Этого не полагается докладывать знакомым мальчикам, но „Марусе все можно“. Самойло ни при чем.

Дети мои — оба лучше. Старший уже помощник, волочит мне метелку или приносит спички: спички приносит, когда я подметаю, а метелку — на кухню, когда я кипячу молоко; но намерения у него самые благосклонные. Смотрит при этом в глаза снизу вверх серьезными глазами честного пса... Вся душа переворачивается. И язык у него смешной — наполовину хохлацкий в честь горничной Гапки, и все глаголы в женском роде из-за привычки к дамскому обществу — ввалится ко мне в спальню и заявляет: „Бачь, мамо, я пришла!“ Меньшой при обряде лишения прав по закону вашей нации окрещен Жоржиком; его главный вклад в семейное благополучие состоит в том, что он никогда не плачет, даже когда мыло попадает в глаза: выдержанный мужчина, в дедушку пойдет, надо будет пригласить фрайлен, знающую стихи *Leier und Schwert*, чьи не помню; но пока ему еще до первого годового юбилея далеко.

Мне с ними со всеми тремя страшно уютно. Ничего мне больше не надо. Не осталось никакого любопытства ни к чему, кроме одного — какой будет Мишка через месяц и Жоржик через неделю (у них это целые возрасты). Так бы села и написала книгу „Домострой счастливой женщины“. Каждое слово было бы в ней святейшая правда; а вся книга зато — вряд ли.

„Ничего больше не надо“ — это правда. Только вот в чем ноза: люди думают, будто „ничего больше не надо“ — то же самое, что „достаточно“. Не знаю... Ведь бывает, что у Мишки нет аппетита, но это не значит, что Мишка тогда сыт.

Стольный город Овидиополь тоже не виноват. Прошлой зимой, когда вас не было, провела месяц в Одессе, была во всех театрах и на двух балах; ничего, не скучала, но уехала обратно с удовольствием. „Ничего мне не надо“.

Я адски похорошела; летом сюда съезжается много молодежи, по большей части русские; успех имею у них великий, но никто не смеет ухаживать по-настоящему — такая у меня репутация семьянинки. И слава Богу: я знаю, что теперь (порви письмо, кусочки сожги) меня кто угодно, лишь бы только был чистенький, одним мизинцем мог бы снять с полочки верных жен; даже, вероятно, без всяких прежних „границ“, прямо на седьмое небо. И ничуть не потому, чтобы меня тянуло на седьмое небо, я ведь сказала: не осталось у меня никакого любопытства, просто так. Идет человек по дороге, дорога ведет именно туда, куда ему надо и куда хочется; вдруг справа тропинка, самая обыкновенная, ничуть не живописная, не таинственная; может быть, даже написано на ней „тупик“. А человек вдруг остановился и думает: не свернуть ли? Зачем свернуть, куда свернуть, он и сам не знает; но я не ручаюсь, что не свернет. Не о таких ли говорят умные люди: пропащий человек?

Я теперь ужасно много про себя философствую; не рассердитесь, если выйдет бессвязно. Может быть, есть души, которыми нет на свете места вне молодости. „Молодость“ — это значит такая пора, когда ничего еще не решено, поэтому все еще можно решить, как хочется или как тебе хоть кажется. Стоишь себе на пороге всего мира, перед тобою сто дверей, можешь открыть какую угодно, заглянуть, не входя, — не понравится, захлопни и попробуй другую. Это дает страшное ощущение всемогущества: молодость и есть всемогущество. А потом, когда все это прошло, — точно сняли с тебя императорскую корону. Все люди с этим мирятся, то есть даже не подозревают, что была корона и ее сняли; но есть, очевидно, исключения. Иногда мне кажется так: низложенных королей много было в истории, но у них оставалось важное утешение — мечтать о реванше. Но представьте себе такого короля, который на минуту отлучился из королевства, — а королевство взяло и утонуло, как Атлантида. Ходи весь век разжалованный, и даже мечтать не о чем. Должно быть, годам к тридцати пяти это все пройдет.

Милый друг, приезжайте ко мне хоть на неделю. Это звучит подозрительно после того, что я писала только что о мизинце, которым можно меня снять с полочки; но ведь уже мы оба знаем, что этого романа почему-то Господь Бог решил никогда

не дописывать. Часто я думаю, что это странно и жаль. Одну главу Он написал, и это была лучшая ночь моей жизни. Но продолжения не будет, не бойтесь и приезжайте. Ничему вы не можете, ведь нельзя лечить от болезни, которой нет; но мне хочется хоть недели каникул».

* * *

Еще помню, что около того времени пришел я раз в парикмахерскую Фонберга на Ришельевской, и подмастерье Куба, повязывая салфетку, в сотый раз сказал мне сочувственно:

— Напрасно вы бреетесь: волос у вас жорсткий, а шкура нежная.

В эту минуту с соседнего кресла мне сказали «драсте», и, повернувшись, я под сплошным париком из шампуня узнал Абрама Моисеевича. Мы разговорились, сначала на нейтральные темы, из-за публичного места.

— Как поживает брат ваш Борис Маврикиевич?

— Бейреш? Бейреш в Италии; не более и не менее. Не мог поехать в Мариенбад, как все люди; непременно ему нужно в Италию. Аристократ. Пишет письма с описаниями.

И, невзирая на публичное место, Абрам Моисеевич вытащил из кармана открытку и, мешая работать подмастерью, вслух прочитал мне «бейрешево» сочинение. Были там действительно описания соборов и каналов отменно возвышенного слога, но я их не помню. Запомнил только две фразы, в таком роде: «Зато кормят неважно, особенно мясное: сегодня подали такой антрекот, что я подозреваю, что это вовсе конница, а не антрекот».

«Передай мой низжайший поклон Игнацу и особенно незабвенной Аноте; я положительно убит горем по делу о недоразумении с Сережей, хотя он всегда был такой шалопай».

Подпись: «Твой истопреданный брат Бор.»

Когда мы вышли, я его проводил до его дома на Колонтаевской, и всю дорогу он говорил о разных членах семейства Мильгром; с большим чувством говорил.

— Шалопай он был шалопай, я ему тоже еще не простил тот «экс», хотя, конечно, большую радость они мне доставили, что обобрали Бейреша тоже. Но надо быть такой коровой, как Бейреш, чтобы теперь так писать. Как будто весь итог Сережиного баланса — это и есть «шалопай». А я вам говорю, что Сережа просто на тридцать лет поздно родился или, скажем,

на пятьдесят. Когда я был еще дитем, только такие люди тут в Одессе и делали карьеру. Один богател на контрабанде, другой на том, что грузил зерно по тридцать процентов мусора на мешок; а третий просто подкупал приемщика, получал у него обратно погашенные коноссаменты, смывал печати фотоженом и потом продавал их дуракам в Херсоне — на то и Херсон. Зато сами были богаты, и вокруг каждого кормилось сколько душ. Честное слово, тогда лучше было. В портовом городе, который хочет расти, нужны жулики, шесть пальцев на каждой руке, и на каждом пальце крючок; сибирники тут нужны, а не честные телята, как я и Бейреш или Мильгром, — нам место в бейсамедреше, учить мишнаес, а не по хлебной части. Смотрите, был город первый на всю Россию, а теперь скисает, уже завидует какому-то Николаеву, еще завтра будет завидовать Очакову. Сорок лет тому назад был бы этот Сережа, верно, первый гвирь на все Черное море, и мы с Бейрешем были бы при нем лапетутниками, и этот болван Ровенский тоже, не смотря на.

Потом он мне рассказал про Анну Михайловну; странно, до того разговора я ничего не знал о ее прошлой жизни.

— Э, что там ваши либеральные правила, будто жениться надо по любви. Это все равно, что материю на пиджак выбирать с завязанными глазами. Когда мальчишка и девчонка влюбились, это ведь значит, что оба слепые. Хотите знать, как вышла замуж Анюта Фальк? Старый Фальк был умница, посмотрит на человека и сразу может составить гроссбух всей его натуры. Едет он однажды из Киева в Одессу, а напротив сидит молодой человек и читает немецкую газету. Разговорились. На какой-то станции Фальк хотел пойти в буфет, а молодой человек говорит: не надо, у меня хватит на двоих. Снял с полки корзиночку, а там у него чайник, нарезанные булочки, сало, варшавская колбаса, крутые яйца, ножички, вилочки, блюдечки, все привязано ремешками. Фальк закусил, а потом спрашивает: как вас зовут?

— Мильгром. — Из каких Мильгромов — волынских или таврических? — Из Житомира. — Холостой? — Холостой. — Слушайте, заезжайте не в гостиницу, а ко мне: я посмотрю — может быть, выдам за вас свою дочку, девятнадцать лет, сделала гимназию, играет на пианино (но не каждый день), приданое двадцать тысяч.

Через месяц поставили свадьбу, и вышла самая любящая пара на весь город. Я бываю во всех знатных домах, адвокаты и доктора, и даже у гофмаклера свой человек: я у них всегда

чувствую, что достаточно жене сказать самое обыкновенное слово — ну, «крышка» — и уже господин хозяин злится, потому что ему эта «крышка» напоминает какую-то ихнюю драку в позапрошлом году. А у Мильгромов — никогда.

А что они вытерпели! Старый Фальк сейчас после свадьбы прогорел; тогда была турецкая война и закрылись Дарданеллы. Он, конечно, ни зятю, ни дочке ни слова не сказал. Но они сами три дня думали и молчали, на третий день пошли в театр на какую-то комедию, Островского или как его зовут; на галерку пошли, они помаленьку еще тогда жили, квартира на Кузнецкой. Комедия была, видно, очень такая: просто взяла обоих за печенку; вышли из театра и решили вернуть Фальку все двадцать тысяч. Вы скажете: это Игнац? А я вам говорю: это она. Вообще знайте раз навсегда про все еврейские дома: если нужно решить что-то очень трудное, всегда решает «она». Моя Лея уж на что была глупая, как пробка, но мне бы и в голову не пришло, скажем, баржу купить или продать дом на Слободке Романовке, без того, чтобы она сказала: «Я знаю? Делай, как знаешь». Когда родилась Маруся, у них не то что няньки, даже горничной не было, Анюта на базар ходила...

Под конец он перешел на свою любимую тему:

— Я вам говорю, за все горе им заплатит Торик. Хотите знать Торику? Есть у меня служащий, так себе червячок, и фамилия обидная — Фунтик; я его, может быть, два раза посылал к Торику с бумагами. Так у него была на прошлой неделе у сына бар-мицва. Так что делает Торик? Послал поздравительное письмо и мешочек бархатный для тфилин; и не это главное, а в письме он самого Фунтика и мадам Фунтик назвал по имени-отчеству (я их сто лет знаю и не знал, что у них были папаша). Вот он Торик: все у него записано, со всеми вежливый, все равно Ашкенази или Бродский, или чей-то десятый приказчик. И какая деловая голова! Когда пишет бумагу, он уже раньше знает, что тот на нее ответит, — и так подставляет ему такие мышеловки, чтобы тот ответил глупость. Торик будет первый человек в Одессе; прямо жалко, что еврей, — был бы городской голова или прямо министр. Он, увидите, за все родителям заплатит; за Сережино «недоразумение» (как вам нравится мой Бейреш? Дал же Бог человеку талант найти самое подходящее слово, точка в точку); и за Лику, если она только прежде не приедет сюда всех нас повесить, начиная с родителей; и за Маркуса, который бежал на всякий звонок, не зная где звонят, и на том свете, должно быть, тоже еще не разобрал, где Ган-Эйден и где черти; и за Марусю...

Я насторожился:

— А чем плохо Марусе?

— Чем плохо, я не знаю. Говорят, живется им ничего себе. Только я вам ломаной копейки не дам за ихнее ничего себе. Я сам очень упрямый, но посадите вы около меня человека еще упрямее, который десять лет будет на меня смотреть из угла и — не то, чтобы вслух повторять, Боже упаси, — так, молча «думать на меня»: стань часовых дел мастером — стань мастером — стань... — в конце концов, ей-Богу, даже я начну починять колесики и закручивать пружины; а хорошего ничего не будет, извините. Так ее и обработал этот Самойло. Дурак Игнац, и Анюта дура: надо было сделать, как старый Фальк, самим для нее выбрать какого-нибудь такого, который умеет хоть раз в месяц ни с того, ни с сего перекувырнуться... Вроде вас.

Проводив его, я пошел на почту и послал Марусе телеграмму: «Приеду вторник на неделю».

XXVII. КОНЕЦ МАРУСИ

Я восстановил обстоятельства этого события сейчас же на месте — я прибыл в Овидиополь через сутки. Много мне помог наш репортер Штрок, которого редакция туда специально послала; и он был так потрясен, так лично принял это горе, что раз в жизни забыл прикрасы и выкрутасы, а просто действительно расспросил всех, кого можно было, и все передавал подробно мне. Очевидица была только одна, та гречанка-соседка, по имени Каллиопа Несторовна, и она тоже не все могла видеть — окна ее квартиры и квартиры Самойло Козодоя во втором этаже были не прямо одно против другого, а наискось. Я тоже говорил с Каллиопой Несторовной, после того как допрашивал ее Штрок, но через десять минут махнул рукой и попрощался: не хватило духу мучить молодую женщину, у которой и на третий день еще губы и руки тряслись от ужаса. Зато охотно и говорливо описывала горничная Гапка; хотя ее при этом не было, но из ее рассказов мне выяснилась обстановка, в которой это все произошло; и сам я тоже вспомнил одну часть той обстановки — в прошлый, первый мой приезд Маруся в той же кухне и в том же «балахоне» кипятила молоко для первого их ребенка. Словом, я всю картину вижу перед собой и уверен, что правильно. Только не хочется покороче...

Надо прежде объяснить про устройство их домика. В нижнем этаже была аптека, при ней склад и еще одна большая комната, из которой они сделали столовую и там же принимали гостей. Наверху была спальня, детская и две маленькие комнатки: одна — Марусина «норка», другая — где тогда поместили меня, и еще кухня довольно просторная, даже с полатями, по-местному «антресоли», где спала Гапка. Окно из кухни и было то окно, что наискось против окна Каллиопы Несторовны; а дверь выходила в коридор, и в коридоре, у самой двери, стоял деревянный сундук вышиною несколько ниже обыкновенного стула; и стоял он именно у той стороны кухонной двери, где ручка.

По утрам теперь Маруся в хорошую погоду отправляла Гапку покатать полугодовалого младшего; старший, которому шел третий год, уже проявлял характер. Очень активный ребенок был этот Мишка, да простит ему Бог это роковое качество. Он давно уже научился без помощи карабкаться по деревянной лесенке на второй этаж. Главное же его достижение было — собственноручно отворять дверь на кухню. С пола дотянуться до ручки он, конечно, не мог, но придумал ухищрение: взбирался на тот сундук, оттуда, пыхтя, обеими руками нажимал ручку, дверь открывалась, он слезал с сундука, входил и заявлял:

— Бачь, мамо (или: бачь, Гапко), — я видчиныла!

Когда Маруся на кухне возилась с керосинкой и при этом находился Мишка, ему запрещалось проникать в мамин угол, чтобы не обжегся, и он это правило научился строго соблюдать. Играл тогда у двери, по большей части открытой (чтобы мог выбегать в коридор, не заставляя Марусю отпирать — с этой стороны сундука не было), строил дворцы из кирпичей кухонного мыла или скакал верхом на палке половой щетки.

Тот день был жаркий, но ветренный, окна были открыты настежь. Самойло не было, ученик дремал в аптеке, Гапка ушла покатать Жоржика в колясочке, старший ребенок был в саду, а Маруся поднялась в кухню. Там она так поместилась у окна — сбоку, возле самой плиты, — чтобы видеть Каллиопу Несторовну, которая что-то шила, сидя у себя на подоконнике; и они оживленно переговаривались через неширокую тихую улицу. А на плите стояла керосиновая машинка.

Штроку гречанка рассказала, что она в то утро («в сотый раз») «смеялась с Марьи Игнатьевны», зачем та непременно три раза кипятит детское молоко. «И наговорили вам в гимназии за эту стерилизацию! Чепуха — как же мы с вами без этой церемонии такие мамочки-булочки выросли?» А Маруся тоже в со-

тый раз отвечала формулой из какого-то детского фокуса с игральными картами: «Наука имеет много гитик». Нет такого слова «гитика» — это для фокуса, но смысл был тот, что доктора так велят, они ученые, и не нам с вами против них спорить.

Потом что-то завозилось в коридоре, послышалось, вероятно, знакомое пыхтение, дверь отворилась, ввалился Мишка; объявил, вероятно, «видчиныла!» и, как полагалось по закону, не переступая черты маминого угла, где горит огонь, занялся своими делами у порога. Его Каллиопа Несторовна тоже все время видела со своего подоконника; запомнила, и рассказала Штроку, что — покуда совершалось второе кипячение — он гарцевал на половой щетке, а потом, когда надоело, бросил щетку на пол, широкой мохнатой перекладной к себе, а концом палки поперек кухни, к Марусе. Дверь он оставил открытой, а день был ветреный.

Молоко стало подыматься, Маруся сняла кастрюлю, остудила молоко (совсем? Или немного? Не знаю, как это приказано в науке) и опять поставила на огонь, повернувшись спиной к машинке, оперлась плечом об оконный косяк и продолжала переговариваться с соседкой. И тогда Каллиопе Несторовне вдруг показалось, что пламя на сквозняке высунуло шальной язычок и лизнуло рукав Марусино балохона. Я не знаю, как называется та материя, но одно хорошо помню — когда Маруся прильнула и шептала мне на ухо про ту ночь в долине Лукания: паутина.

Дальше, как передавал Штрок, соседка не умела ничего связно передать, все путала, описывала раньше такое, что по ходу вещей могло только быть позже, и наоборот. Но она ясно помнила, что даже крикнуть не успела вовремя — так ярко ей сразу представилось, что сейчас должно произойти, что у нее голос отнялся; и Маруся, очевидно, только по исказившемуся лицу гречанки поняла, что на ней загорелось платье. Каллиопа Несторовна уверена была, что Маруся только поняла, а не почувствовала: хотя она быстро повернулась и отскочила, но по лицу видно было, что ей еще не больно.

И еще за одно ручалась Каллиопа Несторовна: что в ту же самую секунду, еще прежде, чем начать срывать с себя распашонку, Маруся шарахнулась к половой щетке, нагнулась, схватила конец палки и «вымела дите в коридор» и щеткой же захлопнула за ним дверь.

После этого только попыталась она что-то сделать со своим платьем; но уже ничего нельзя было сделать. Каллиопа Несторовна уже нашла свой голос, уже кричала, и сквозь свой крик

услышала, что Маруся стонет; видела, как она, еще стоя на ногах посреди кухни, извивается и бессмысленно тормозит руками, хватаясь то за грудь, то за колена. Еще через секунду она что-то начала кричать, но гречанка сама кричала, ничего понять не могла. Кажется, Маруся подбежала сначала к окну, может быть, хотела выброситься, но не посмела и только потом стала кататься по полу; или сначала упала, потом вскочила и выснулась в окно — ничего уж нельзя было разобрать из рассказа соседки.

Нервно дергая редкие усы и не глядя на меня, Штрок объяснил мне, чего не видела Каллиопа Несторовна; чего, может быть, никогда и не бывало до тех пор на земле и не верю, что еще снова будет; и второй Маруси не будет.

— Главное вот что: когда ученик взбежал по лестнице, дверь на кухню оказалась запертой на ключ изнутри; а ключ потом нашли на улице. Понимаете? Там, за дверью, плачет испуганный Мишка и там этот проклятый сундук, и Мишка уже верно лезет на сундук и собирается «видчинять». Значит: она бросается к двери — или, может быть, уже ползет к двери на четвереньках — и поворачивает ключ. Я бы первым делом кинулся вон из кухни, к людям, а она запирается на ключ, потому что в коридоре Мишка. Пойдите, это еще не самое главное. Почему ключ оказался на улице? Ясно. Не только мне и вам, но всякому человеку в такую минуту прежде всего хочется выбежать. Мадам Козодой, в конце концов, тоже только человек, ей тоже хочется выбежать; чем дальше, все больше хочется выбежать или уже, скажем, выползти. Тут уже даже не на секунды счет, а на какие-то сотые доли; но для нее каждая такая доля — целый промежуток, и с каждым промежутком ей становится все яснее: не выдержу, выбегу! А там Мишка. Ключ у нее, скажем, остался в руке. Или еще иначе: ключ остался в двери, и вот пришла такая доля секунды, когда рука сама потянулась к ключу. И тут мадам Козодой говорит сама себе: «Нет. Нельзя». И чтобы не было больше спору, выбрасывает ключ на улицу. Это, должно быть, и есть то место в рассказе соседки: «подбежала к окну».

Аптекарский ученик был, как полагается в этом сословии, юноша узкоплечий и тонкорукий и выломать двери не мог. Пока сбежались мещане, покуда вышибли дверь, прошло много времени. Земский врач объяснил мне положение с точки зрения огнеупорности различных тканей. Распашонка сама по себе не такая страшная вещь: ее скоро не стало. Но ночные

сорочки Маруся получила в приданое, Анна Михайловна бережно выбрала самое дорогое полотно — прочный материал, упрямый, горит медленно. И лифчик был на Марусе, она после второго ребенка уже боялась за фигуру и с утра его надевала; и лифчик был тоже хорошего качества.

— Я видал виды, — сказал мне земский врач, — но такой основательной, добросовестной божьей работы, до каждого волоска на макушке, до каждого ногтя на ноге — это мне еще не попадалось.

Маруся умерла часа через три после того, как ее подобрали. Незадолго до конца прискакал Самойло: услышал, нахмурился, пошел к Марусе, посмотрел, еще глубже нахмурился; прошел в аптеку, отобрал, что надо, и вернулся к жене делать примочки или впрыскивания или что вообще полагается.

Врача в то утро куда-то далеко вызвали, он уже Маруси не застал; а у Самойло я не решился спросить, была ли она при сознании — так и не знаю. Но Штрок, человек все же не тонко такта, спросил его при мне:

— Очень мучилась мадам Козодой?

Самойло ему ничего не ответил. Потом, когда остался со мной наедине, он вдруг сказал отрывисто:

— Дурак. Мучилась, пока меня не было. Когда я приехал и увидел, в чем дело — баста: больше не мучилась. Муж фармаколог; «фармаколух», как выражался Сережа.

* * *

«Сни меня»... Я уже это писал: мне по-настоящему никогда ничего не снится, зато я по ночам, сам себя баюкая, иногда сам себе выдумываю сны. Или, скажем, письма, которых никогда никто мне не писал; например, письмо с того света. Оно мне столько раз «снилось», что и сейчас помню каждое слово наизусть; странно — не все подробности совпадают с реставрацией коллеги Штрока, и почему-то у гречанки отчество не то. Вообще глупо, что мне хочется приложить это «письмо», но все-таки приложу; не целиком, только последние страницы.

«Первое, что я заметила, это испуг Каллиопы Стаматиевны: у нее лицо перекосилось, голос оборвался, вытянула ко мне руку с указательным пальцем, перегнулась, чуть в окно не вывалилась; она еще совсем молоденькая девочка. Я оглянулась на себя, вижу — левый рукав у меня зацепился за гвоздь на шкафчике,

и огонек от спиртовки его облизывает. Я, знаете, прежде всего подумала: вот теперь Самойло скажет: „Ага? Я тебе что говорю? Не смей ходить на кухню в балахоне из паутины!“ И начала отцеплять рукав от гвоздика; глупая такая аккуратность — надо было просто рвануть и отскочить; впрочем, может быть, уже и не помогло бы, очень это все быстро сделалось. Словом... да Бог с ним, я описывать не умею.

Почему я подумала тут именно о щетке, сама не знаю; только я поклясться готова, что подумала о щетке, а вовсе не о Мишке; и с ключом то же самое. Я бы на суде присягнула, что даже мысли о Мишке у меня во все время в голове не было; правду сказать, не до Мишки мне тогда было; это страшно неприятная, совершенно сумасшедшая вещь.

Милый, вы только не подумайте, будто я жеманюсь или рисуюсь — что говорю „неприятно“ вместо „больно“. Конечно, это называется по-настоящему „больно“, и то еще не то слово. Но вам никогда разве не приходило в голову, какое это противное, унижительное понятие — „боль“? Самое пассивное переживание на свете, рабское какое-то: ты — ничего, тебя не спрашивают, над тобой кто-то измывается. Я и родов больше всего из-за этого не любила, из-за обидности, из-за надругательства. Хамом становишься от этого, скотиной без стыда, пусть все глазают, пусть весь городишко слышит... Не надо, милый, не расспрашивайте про это. Нехорошо было. Я к крану бросилась, но он не поворачивался; Каллиопа Стаматиевна что-то кричала, я тоже... Нехорошо.

Одно странно: как медленно догадывается человек, что случилось бесповоротное. Я думаю, так бывает, когда начинается у тебя злущая какая-нибудь болезнь — рак, что ли: „Неужели именно у меня? Не может быть!“ Уже давно знаешь, а не верится. Тут „медленно“ не подходит — вероятно, и шестидесяти секунд не понадобилось Господу Богу на всю эту шутку с Марусей; а все-таки медленно. Уже космы у меня шипели, и уже всюду было... ну, „больно“, а я все еще, кажется, сама над собою хохотала: точно борщом залила новое платье, стряхиваю капли и рассчитываю, что, может быть, еще удастся вычистить пятна кипятком и пойти в гости, и все сейчас станет по-прежнему — правда, все станет по-прежнему? Самойло, Мишка, мама, все ангелы небесные, скажите, что это ничего, это только так, сейчас все окажется по-прежнему...

Словом, — прошло, и не стоит об этом говорить.

Об одном, пожалуй, стоит. Я, конечно, понимаю, у людей все это называется „героическая женщина“... Первое слово совсем тут ни при чем, вся суть во втором слове. Я, сидя там, в Овидиополе, много думала о нас, женщинах. Я вам писала: были такие минуты, когда за один леденец, и даже леденца не нужно, могла бы я стать неверной женою; просто так, ни с того, ни с сего; и после того отряхнулась бы, напудрила нос и побежала бы кипятить молоко, безо всяких угрызений. Знаете что? Не подумайте только, что я кощунствую: мама для меня святая. Но если бы мне доказали, что и у мамы был в жизни такой леденец, я бы не очень огорчилась; кажется, и не очень удивилась бы. Не в этом суть, верные, неверные, серьезные, развратные... Мы — как это сказать — мы все „лояльные“. Все: мама, и Маркушина Валентиночка, и Лика по-своему — Лика, если не к людям, так, скажем, к идолу своему какому-то, которого еще даже на свете нет. Все такие, кого я знаю; вероятно, даже Нюра и Нюта, если бы с ними познакомиться (я их, собственно, не знала — как было разговориться по-настоящему, когда они всегда вдвоем?). Что такое лояльность, я определить не умею, только одно говорю вам наверное: если когда-нибудь, милый, все у тебя на свете треснет и обвалится, и все изменят и сбегут, и не на что будет опереться — найди тогда женщину и обопришь. Я не хвастаюсь, сохрани Боже, я не важничаю за наше сословие, только это правда.

Вот и все, друг мой. Не жалейте, что вы тогда приехали по-моему же вызову, а я вас не дождалась. Это лучше — я тогда была в таком настроении, что, может быть, не сдержала бы слова, которое вам дала в письме, и нам теперь обоим было бы не по себе. Так лучше; прощай, милый».

XXVIII. НАЧАЛО ТОРИКА

Полгорода было на похоронах, шесть колясок с венками, и почти целая страница объявлений в газете. Никто не знал и не думал, что столько народу слыhalo о Марусе. Наш редактор, который никогда ее в глаза не видал и вообще любил, чтобы его считали сухим человеком, тоже пошел, а потом написал в газете (хотя уже давно перестал сам писать): «Словно даже совсем чужие люди пришли, не только отдать поклон величию самопожертвования, но и просто попрощаться с прекрасным воплощением юности, прелести, всего чистого и хорошего в жизни».

Первый брел за гробом никчемный, растерянный старичок, с лицом давнишнего нищего; но все-таки одет был так, как полагалось в таких случаях по правилам его поколения, воспитавшего себя на почтенной и степенной немецкой литературе, — цилиндр и черные перчатки. Абрам Моисеевич, тоже в цилиндре, поддерживал его под руку. Анна Михайловна лежала дома, доктор не велел вставать, и она сама, говорят, не порывалась пойти, вообще ничего никому не сказала. Самойло я почему-то на похоронах не помню, хотя он, конечно, был. Помню Торика: шел бледный и строгий и незаметно, но точно следил за порядком. Перевозку тела и все прочее устроил он, ездил в братство отвоевать лучшее место на кладбище и лучшего кантора, и погребальщики все делали по его манованиям.

«...И приюти ее в высотах, где обитают святые и чистые — светлые, как сияние небес...»

Хорошие у нас есть молитвы. Но другая была странная, даже бессмысленная, где нет ни слова об утрате, а есть только безропотная хвала обидчику-Богу. Слушая, как бормочет ее не то Самойло, не то Игнац Альбертович, я кусал губы от бешенства и думал про себя: «Камнем бы я запустил в тебя, Господи, если бы ты не запрятался так далеко».

С кладбища я ехал на извозчике с Абрамом Моисеевичем; о чем мы сначала говорили, не помню; только одно меня поразило. Я ему сказал, думая, что это его порадует:

— Вы правы, Торик — золото. Надежный человек.

Вдруг я заметил, что у него лицо передернулось. Он и так все время был искренно подавлен, что называется убит, но держался; тут я почувствовал, что старик вот-вот разрыдается или опрокинется в беспомысленности. Но он взял себя в руки и только проворчал совершенно неожиданные слова:

— Гладкая гадюка, склизкая...

Хоть не до Торика мне было и не до их размолвок, но я вытаращил глаза при таком отзыве о стародавнем его любимце. Но расспрашивать не решился, кажется; или, может быть, спросил, в чем дело, но он не ответил.

На другой день, или третий, я пошел к старикам. К Анне Михайловне меня не пустила деловитая сестра, приглашенная из частной лечебницы; а Игнац Альбертович сидел, как полагается, на полу в гостиной, небритый по траурному уставу, и читал по уставу Книгу Иова, из толстой Библии с русским переводом. Принял меня спокойно, говорил тихо; не о Марусе, а главным образом об Иове.

— Замечательная книга. Конечно, только теперь ее понимаешь, как следует. Главное в ней — это вот какой вопрос. Если так случилось, что делать человеку — бунтовать, звать Бога на суд чести? Или вытянуться по-солдатски в струнку, руки по швам или под козырек и гаркнуть на весь мир: рады стараться, ваше высокоблагородие! И вопрос, по-моему, тут разобран не с точки зрения справедливости или кривды, а совсем иначе — с точки зрения гордости. Человеческой гордости, Иова (он, конечно, произносил «Йова»), моей и вашей. Понимаете: что гордее — объявить восстание или под козырек? Как вы думаете?

Никак я, конечно, не «думал», никогда не читал Иова; ничего не ответил, он ответил сам:

— И вот здесь выходит так: гордее — под козырек. Почему? Потому что ведь так: если ты бунтуешься — значит, вышла бессмыслица, вроде как проехал биндюг с навозом и раздавил ни за что, ни про что улитку или таракашку; значит, все твоё страдание — так себе, случайная ерунда, и ты сам таракашка.

Я начал понимать и стал больше вслушиваться и вспомнил, что когда-то мне эти люди с зерновой биржи и вправду казались большими жизнеиспытателями, и школа «делов» — большою школой.

— Но если только Йов нашел в себе силу гаркнуть «рады стараться» (только это очень трудно; очень трудно) — тогда совсем другое дело. Тогда, значит, все идет по плану, никакого случайного биндюга не было. Все по плану: было сотворение мира, был потоп, ну и разрушение храма, крестовые походы, Ермак завоевал Сибирь, Бастилия и так далее, вся история, и в том числе несчастье в доме у господина Иова. Не биндюг, значит, а по плану; тоже нота в большой опере — не такая важная нота, как Наполеон, но тоже нота, нарочно вписанная тем же самым Верди. Значит, вовсе ты не улитка, а ты — мученик оперы, без тебя хор был бы неполный; ты персона, сотрудник этого самого Господа; отдаешь честь под козырек не только ему, но и себе; то есть не все это здесь этими словами написано, но весь спор идет именно об этом. Замечательная книга.

Помолчав, он заговорил именно о той молитве, которая меня на кладбище разозлила:

— Вот возьмите этот самый Кадиш — заупокойная молитва, самая главная, на всех поминках ее говорят, и по нашему закону никакой другой не нужно. А содержание — «Да возвеличится и да будет свято имя Божие» — и больше ничего. Не только о покойнице ничего, но просто никакого намека на все

происшествие; ну хотя бы «покоряюсь Твоей воле» — даже этого нет. Вообще, если хотите, дурацкий набор слов: «благодарю, превозношу» — еще что-то, пять комплиментов того же сорта: совсем похоже, как «Бейреш» — Борис Маврикиевич, знаете, — писал Анне Михайловне из Италии: «Дражайшая, любезнейшая, пресловутая Аннюточка...» Кажется, будь у Господа желудок, его бы стошнило от таких книксенов. А на самом деле вовсе не чепуха: это он нарочно, это он черта дразнит.

— Кто «он», почему черта?

— Он — кто сочинил молитву, раби Акива, если верно помню; как раз очень умный человек. Рассуждал при этом так. Вот стряслась беда, стоит этакий осиротелый второй гильдии купец перед ямой, все пропало и больше незачем жить. Стоит перед ямой и мысленно предъявляет Богу счет за потраву и убытки; такой сердитый стоит — вот-вот подымет оба кулака и начнет ругаться, прямо в небо. А за соседним памятником сидит на корточках Сатана и ждет именно этого — чтобы начал ругаться. Чтобы признал, открыто и раз навсегда: ты, Господи, извини за выражение, просто самодур и хам и еще бессердечный в придачу, убирайся вон, знать тебя не хочу! Сатана только этого и ждет; как только дождется — сейчас снимет копию, полетит в рай и доложит Богу: «Ну что, получил в ухо? И еще от кого — от еврея, от твоего собственного уполномоченного и прокурис-та! Подавай в отставку, старик, теперь я директор». Вот чего ждет Сатана; и тот второгильдейский купец, стоя над могилой, это все чувствует. Чувствует и спрашивает себя: неужели так-таки и порадовать Сатану? Сделай черта на свете хозяином? Нет, уж это извините. Я ему покажу. И тут он, понимаете, начинает ставить Господу пятерки с плюсом, одну за другою; без всякого смысла — на что смысл? Лишь бы черта обидеть, унижить, уничтожить до конца. Иными словами: ты, Сатана, не вмешивайся. Какие у меня там с Богом счета — это наше дело, мы с ним давно компаньоны, как-нибудь поладим; а ты не суйся. Та же мысль, понимаете, что у «Йова»: еврей с Богом — компаньоны.

Анну Михайловну я, несомненно, после того видел, и не раз; но странно — ничего об этом не помню. Собственно еще раньше не помню, с самого несчастья с Сережей. Вероятно, так устроена у меня память. Когда-то Лика, еще подростком, — в единственном разговоре, которым меня в те годы удостила, — объяснила мне разницу между памятью белой и черной. И сама гордилась тем, что у нее память «черная» — удерживает только горькое. У меня, если так, «белая»: очень тяжелые впе-

чатления она выбрасывает, начисто и без следа вылушивает, и не раз я это замечал. Хвастать нечем — пожалуй, в своем роде права была Лика, считая свой сорт высшим сортом.

Ничего не помню о моей Ниобее со времени этих двух ударов; даже того, как наладились у нее отношения со слепым; даже того, очень ли она хваталась за последнего, Торика, в те короткие месяцы или два, что еще подарил ей Торик.

* * *

Торик выждал корректно семь дней, пока отец сидел на полу. На восьмой день Игнац Альбертович принял ванну, выбрился и пошел на биржу; а Торик созвонился со мною в редакции, что будет у меня вечером по личному и существенному делу.

Его-то я хорошо помню, особенно в тот вечер. Я, кажется, несколько раз написал о нем: «безупречный» или «безукоризненный», право, не в насмешку. Я действительно больше никогда не встречал такого человека: люби его, не люби его, придраться не к чему; даже к безупречности этой нельзя было придраться — она была не деланная, и ничуть он ее не подчеркивал, просто натура такая рясливая, без сучка и задоринки, неспособная ни передернуть карту даже случайно, ни обмолвиться неправдой, ни притронуться к чужому добру, ни даже просто в чем бы то ни было внешне или внутренне переборщить.

А пришел он сообщить мне большую новость и просить, чтобы я взял на себя подготовить стариков.

— Вы из нашего круга второй, которому я это рассказываю. Первый был Абрам Моисеевич: я, во-первых, именно пред ним считал себя нравственно обязанным — думаю, вы понимаете причины; кроме того, думал его просить переговорить с папой; но он это очень тяжело принял, так что я уж не решился.

Я молчал, глядя на ковер. Помолчал и он, потом вдруг заговорил:

— Мне бы хотелось, чтобы вы меня поняли, не «оправдали», но поняли. Если согласны выслушать, я постараюсь изложить свою позицию совершенно точно, не передвигая ни одного центра тяжести: это нетрудно, я все это продумал давно и со всех сторон, еще с пятого класса гимназии. Ничего не имеете против?

Я вспомнил, что это было приблизительно в его пятом классе гимназии, когда я застал его за учебником еврейского языка, или за «Историей» Греца, или в этом роде. Основательный

юноша, добросовестный: если что надо «продумать», начинает с изучения первоисточников. И столько лет вынашивает в уме такую контрабанду — и никто не заметил, даже друг его Абрам Моисеевич, мудрый как змий, насквозь видящий каждого человека, издали знающий, что творится в маленьком счастливом домике где-то в Овидиополе. Я сказал, не глядя на него:

— Слушаю.

— Начну с одной *mise au point*: я не хотел бы создать впечатление, будто мне это решение, что называется, «дорого обошлось», что пришлось «бороться» с самим собою. Эмоционального отношения к этой категории вопросов у меня нет, с самого раннего детства было только отношение рациональное. Но именно в рациональном подходе нужна особая осторожность; и рациональный подход, по крайней мере для меня, совершенно не освобождает человека от этической повинности быть чистоплотным. Например: мне кажется, попади я в кораблекрушение, никогда бы не соскочил в лодку, пока не усадили бы всех женщин и детей, и стариков, и калек; по крайней мере, надеюсь, что хватило бы силы не соскочить. Но другое дело — корабль, с которого уже давно все поскакали или внутренне решили соскочить; притом спасательных лодок вокруг — сколько угодно, места для всех хватит; да и корабль не тонет, а просто неудобный корабль, грязный и тесный, и никуда не идет, а всем надоел.

Я пожал плечами:

— Откуда вы знаете? Вы здесь в Одессе никогда и не видали настоящего гетто.

— Нет, видел: с отрочества и до последних лет, как почти все мои товарищи, готовил на аттестат зрелости экстернов, «выходцев с пинского болота», как их называла Маруся. Это, мне кажется, очень верный способ для изучения данной среды по образцам; может быть, гораздо более точный способ, чем разглядывать эту среду изнутри, когда из-за гвалта и толкотни ничего не разберешь. Толковый химик в лаборатории, повозившись над вытяжкой крови пациента, больше узнает о болезни, чем доктор, который лечит живого человека с капризами, припадками и промежутками. И мой диагноз установлен бесповоротно: разложение. Еврейский народ разбредется куда попало, и назад к самому себе больше не вернется.

— А сионизм? Или даже Бунд?

— Бунд и сионизм, если рассуждать клинически, одно и то же. Бунд — приготовительный класс или, скажем, городское училище: подводит к сионизму; кажется, Плеханов это сказал

о Бунде — «сионисты, боящиеся морской качки». А сионизм — это уже вроде полной гимназии: готовит в университет. А «университет», куда все они подсознательно идут и придут, называется ассимиляцией. Постепенная, неохотная, безрадостная, по большей части даже сразу невыгодная, но неизбежная и бесповоротная, с крещением, смешанными браками и полной ликвидацией расы. Другого пути нет. Бунд цепляется за жаргон; говорят, замечательнейший язык на свете — я его мало знаю, но экстерны мои, например, цитировали уайтчепельское слово «бойчикл» — хлопчик, что ли: ведь это *tour de force*: элементы трех языков в одном коротеньком слове, и звучит естественно, идеальная амальгама; но через двадцать пять лет никакого жаргона не будет. И Сиона никакого не будет; а останется только одно — желание «быть, как все народы».

Я мог задать еще двадцать вопросов (А религия? А антисемитизм?), но у него, должно быть, на все готовы были непромокаемые ответы; я промолчал, он продолжал:

— Лучшая школа для всего этого, по-моему, наша семья: дети, мы пятеро. Каждый — по-своему ценная личность, только без догмата; и смотрите, что вышло. Отдельно о каждом из нас говорить не хочу; только хочу защититься, чтобы вы не подумали, будто я Марусе не знаю цены. Хорошо знаю: стоило, тысячу раз стоило Господу Богу сотворить мир со всеми его мерзостями, и стоило целому народу для того протащиться сквозь строй мук и разложения, если за эту цену может раз в поколение расцвести на земле такой золотой василек; существо, одержимое одной заботой — всех приголубить, всем дать уют. Но вы сами знаете, что и Маруся — цветок декаданса.

Я помолчал и спросил:

— Чего торопитесь? Даст Бог, скоро помрут родители; а у вас времени много впереди.

— Не знаю, много ли времени. Говорят, министерство внутренних дел торгуется теперь с Синодом, хочет ввести новое законодательство, которое всю эту процедуру очень усложнит, во всяком случае отсрочит получение полных прав. Но не в этом дело, поверьте. Я по натуре строитель, человек плана и распорядка; план у меня большой, на долгую дистанцию; в этом году я кончаю университет, надо начать строиться. Не могу топтаться на месте — а еще выжидать с нетерпением, скоро ли похороню маму и отца и Абрама Моисеевича.

— Он при чем?

— Он как раз самая у меня болезненная точка; оттого я ему первому и сказал. Дело в том, что он давно составил завещание в мою пользу, и жирное. Потому что не знал: если бы знал, скорее, на призрение бездомных собак оставил бы свои деньги, как тот сумасшедший грек Ралли (это иждивением Ралли по всему городу у акаций стоят зеленые жестянки с водою, с надписью «для собак»). Что же — промолчать? Обокрасть человека? Это все не в моем вкусе: я пошел к нему и сказал, чтобы дать ему время переписать завещание; вероятно, уже переписано.

Тут я посмотрел на него, встретился глазами — он, по-видимому, и все время не прятал от меня взгляда. Прямой взгляд, глаза порядочного человека, которому нечего скрывать; и ни тени рисовки — рассказывает мне, в сущности, об очень благородном и тонком своем поступке, но просто, как о вещи сама собою понятной. Одет хорошо, без Сережиной щеголеватости, но хорошо; «standesgemäß», как полагается молодому интеллигенту, который подает надежды и будет персоной, но пока еще ничего особенного не совершил, и так и знает. Ни кольца, ни брелоков, в сером галстуке булавка с матовой головкой — вероятно, не дешевая, но маленькая и строго-матовая.

— А церковь выбрали?

— Выбрал. Думал сначала о том армянском иерее в Аккермане, который очень упростил церемонию; но слишком уж это было бы экзотично. Сделаю, как все, поеду в Выборг к тамошнему пастору Пирхо; я уже списался.

XXIX. L'ENVOI

Вероятно, уж никогда не видать мне Одессы. Жаль, я ее люблю. К России был равнодушен даже в молодости. Помню, всегда нервничал от радости, уезжая за границу, и возвращался нехотя. Но Одесса — другое дело: подъезжая к Раздельной, я уже начинал ликующе волноваться. Если бы сегодня подъезжал, вероятно, и руки бы дрожали. Я не к одной только России равнодушен, я вообще ни к одной стране по-настоящему не «привязан»; в Рим когда-то был влюблен, и долго, но и это прошло. Одесса — другое дело, не прошло и не пройдет.

Если бы можно было, я бы хотел подьехать не через Раздельную, а на пароходе; летом, конечно, и рано утром. Встал бы перед рассветом, когда еще не потух маяк на Большом Фонта-

не, и один-одинешенек на палубе смотрел бы на берег. Берег еще сначала был бы в тумане, но к семи часам уже стали бы видны те две краски — красно-желтая глина и чуть-чуть сероватая зелень. Я бы старался отличить по памяти селения: Большой Фонтан, Средний, Аркадия, Малый; потом Ланжерон, а за ним парк — кажется, с моря видна издали черная колонна Александра II. То есть ее, вероятно, теперь уже сняли, но я говорю о старой Одессе.

Потом начинают вырисовываться детали порта. Это брекватор, а это волнорез (никто из горожан не знал разницы, а я знал); Карантин и за ним кусочек эстакады — мы на Карантин и плывем; а те молы, что справа, поменьше, те для своих отечественных парходиков, и еще больше для парусных дубков и просто шаланд и баркасов; Платоновский мол, Андросовский, еще какой-то. В детстве моем еще лесом, бывало, торчали трубы и мачты во всех гаванях, когда Одесса была царицей; потом стало жеже, но я хочу так, как было в детстве: лес, и повсюду уже перекликаются матросы, лодочники, грузчики, и если бы можно было услышать, услышал бы лучшую песню человечества: сто языков.

Помню ли еще здания, которые видны высоко на горе, когда подъезжаешь с моря? Дума была белая, одноэтажная, простого греческого рисунка; на днях я видел в американском Ричмонде небогатый уездный тамошний Капитолий, немного похожий на нашу Думу, и час после того ходил сам не свой. Направо стройная линия дворцов вдоль бульвара — не помню, видать ли их с моря за кленами бульвара; но последний справа, наверное, видать — Воронцовский дворец с полукруглым портиком над сплошной зеленью обрыва. И лестница шириной в широкую улицу, двести низеньких барских ступеней; второй такой нет, кажется, на свете, а если скажут, где есть, не поеду смотреть. И над лестницей каменный Дюк протянул руку и тычет в приезжего пальцем: меня звали дю Плесси де Ришелье — помни, со всех концов Европы сколько сошлось народов, чтобы выстроить один город.

У людей, говорят, самое это имя Одесса — вроде как потешный анекдот. Я за это, собственно говоря, не в обиде: конечно, очень уж открывать им свою тоску не стоит, но за смешливое отношение к моей родине я не в обиде. Может быть, вправду смешной был город; может быть, оттого смешной, что сам так охотно смеялся. Десять племен рядом, и все какие, на подбор, живописные племена, одно курьезнее другого: начали с того,

что смеялись друг над другом, а потом научились смеяться и над собою, и надо всем на свете, даже над тем, что болит, и даже над тем, что любимо. Постепенно стерли друг о дружку свои обычаи, отучились принимать чересчур всерьез свои собственные алтари, постепенно вникли в одну важную тайну мира сего: что твоя святыня у соседа чепуха, а ведь сосед тоже не вор и не бродяга; может быть, он прав, а может быть, и нет, убиваться не стоит.

Торик сказал: «разложение». Может быть, и прав; адвокат, защищавший Ровенского, тоже говорил о распаде, но прибавил: эпохи распада — иногда самые обаятельные эпохи. А кто знает, может быть, и не только обаятельные, но и по-своему высокие? Конечно, я в том лагере, который взбунтовался против распада, не хочу соседей, хочу всех людей разместить по островам; но — кто знает? Одно ведь уже, наверно, доказанная историческая правда: надо пройти через распад, чтобы добраться до восстановления. Значит, распад — вроде тумана при рождении солнца, или вроде предутреннего сна. Маруся говорила, что сны самые чудесные — предутренние сны. Чьи эти стихи? «Еще невятное пророчество рассвета, смарагд и сердолик, сирень и синева: так мне пригрелись неспетые слова еще, быть может, не зачатого поэта, певца не созданной Создателем страны, где музыкой молчат незримые виденья, и чей покров на миг, за миг до пробужденья, приподымают нам предутренние сны». Боюсь, что стихи мои; старея, все чаще цитирую себя. Прочитирую (во второй раз) еще и это: «Я сын моей поры — я в ней люблю все пятна, весь яд ее люблю».

«Потешные»... Вот я бреду по улицам моего города и на разных углах встречаюсь с ними опять. Первый налетел на меня вислоухий ротозей с вытаращенными глазами: я лица его не помню, сто раз уже присягал, что не помню, но какие же другие могли быть у него глаза, всю жизнь высматривавшие, где начинается чудо, и во всем видевшие чудо? Англичанин один написал перед смертью глубокие слова: «Господи, я старик, обошел всю Твою землю и не нашел на ней ничего заурядного». Все чудо, каждая пылинка чудо, и Марко это знал; оттого и глаза должны были быть вечно вытаращенные. И какие могли быть, если не растопыренные, у этого человека уши, чтобы всю жизнь вслушиваться, не зовет ли кто — все равно, Грузия или Россия, с реки или с набережной, утопая в проруби или спяна? Зовут, и баста: надо пойти.

На следующем углу опять стоит молодцеватый студент в папаче и «правит движением», а сам пьян. Зачем правит движением? Так: взбрело на ум, подвернулся угол без городского, а извозчиков со всех сторон масса. Если бы чуть иначе сложились случайности его жизни и подвернулось бы племя в Африке, вчера похоронившее черного царька, или шайка контрабандистов в этой самой Одессе, семьдесят лет тому назад, или партия в литовском подполье, все равно какая — мог бы и там, ни с того ни с сего, вдруг стать на минуту правителем; или даже навсегда, потому что если ты рожден королевичем, то уж иногда нелегко выкарабкаться из-под мантии, как она тебе ни надоела. Что такое «рожден королевичем», это давно известно: это ребенок, которого поцеловала фея в колыбели. В день рождения Сережи большая была суматоха в замке у фей, всех вызвали на службу, всех до одной; всех добрых фей, только добрых, ни одной злой ведьмы к нему не пустили; каждая принесла подарок, которого хватало бы на жизнь богатырю из богатырей, богатырю духа или тела; только фей было слишком много.

На третьем углу, не благоволя меня заметить, прошла, брезгливо сторонясь, холодная синеглазая красавица в наряде богатой и утонченной содержанки — а я знаю, что под бархатом на ней жесткая власьяница и еще пояс из колючей проволоки. Если бы царапнуть ее и попробовать языком вкус кровинки — обожжет купоросом. Вся цельная страстность самой неукротимой расы скопилась в этой крови; каждая фибра души — металл; Бог ее знает, что за металл и в каких пропастях лежат его залежи, но металл сотой пробы. Я ее в последний раз видел в ресторации «Вена», но на самом деле живет она подвижницей в скиту, истязая себя во славу такого Христа, какого и хлысты еще не придумали: Христа-ненавистника; каждый псалом начинается со слова «проклиная», и молиться полагается сквозь зубы...

Лет десять назад я встретил в Париже знакомую, которую долго продержали на Лубянке. Она мне рассказала, что одно время с ней была в камере молодая или моложавая женщина, брюнетка с синими глазами, совершенно греческий профиль — нос и лоб одна линия. Эта вторая узница страшно убивалась не за себя, а за мужа, который попался серьезно, и раз ночью, сквозь сухие рыдания, нашептала моей знакомой на ухо всю правду про этого мужа: действительно, серьезно попался. У моей знакомой тоже был тогда муж, арестованный еще раньше; в ту ночь она тоже расплакалась и тоже расшепталась. На утро синеглазую «наседку» вызвали, и больше она не вернулась;

мою знакомую скоро выпустили и, отпуская, указали адрес, где можно получить вещи и документы, оставшиеся от ее мужа. Я спросил: «А ногти были обкусанные, не помните?» Но она не заметила.

Торика я ни на каком углу не встречу: «Не наш», — сказала Маруся.

С Марусей не на улице будет у меня свидание, мы сговорились встретиться у меня в Лукании. Но по дороге я проеду мимо их прежнего дома; не посмею позвонить и подняться, только сниму шляпу и проеду мимо. Звонкая мостовая покрыта соломой, чтобы колеса не грохотали, чтобы тихо было вокруг бойни Божией, бессмысленной и беспричинной, и вокруг бездонной и бесконечной боли. Наверху, во втором этаже, спальня убрана по милой наивной моде *fin de siècle*; с подушки два сухих глаза в упор глядят на комод, на комоде пять карточек, все малыши в коротеньких юбочках или в штанишках до колен, и в каждой карточке, посередине, насквозь торчит ржавый нож.

А над Луканией опять будет полумесяц, пахнет отцветающими цветами, слышится только что отзвучавшая музыка мелодий, которых давно уже нигде не играют; и опять все будет, как тогда в нашу безбрачную ночь, только говорить надо будет не словами, а думами. Я буду думать о том, какое чудное слово «ласка». Все, что есть на свете хорошего, все ведь это ласка: свет луны, морской плеск и шелест ветвей, запах цветов или музыка — все ласка. И Бог, если добратся до Него, растолкать, разбудить, разбранить последними словами за все, что натворил, а потом помириться и прижать лицо к Его коленям, — Он, вероятно, тоже ласка. А лучшая и светлейшая ласка — «женщина».

Потешный был город; но и смех — тоже ласка. Впрочем, вероятно, той Одессы уж давно нет и в помине, и нечего жалеть, что я туда не попаду; и вообще повесть окончена.

РАССКАЗЫ



ДИАНА

...Действие происходит далеко от нашей юдоли в пространстве и во времени — порядочно лет тому назад и в Риме. Действующие лица выяснятся дальше: впрочем, одно из них — я, а второе будет представлено сейчас. Я пошел раз в оперу, там встретил проезжего соотечественника и с удовольствием беседовал по-русски во время антракта. Язык русский, по-моему, для разговоров и литературы неудобен; очень богат, не спорю, но богатство это какое-то бесцельное, вроде русских рек. Рек этих много, и они громадны, а пользы от них мало, потому что текут или к северному полюсу, или в Каспийский тупик. Так и с языком. Оттенков масса, можно сказать и «зевать», и «зевнуть», и «позевывать»; а когда нужно перевести с немецкого «таубебед», так нечем. Но это все философия, а говорить по-русски приятно. Поэтому я толковал с проезжим соотечественником много и громко, так что соседи притихли и старались угадать, по какому это.

Около меня сидел молодой человек большого роста и широкоплечий, с белокурой бородой и весь в черном; вместо галстука был у него бант из широкой черной ленты; крылья банта раскидывались до самых плеч, а свободные концы с бахромою свисали до двенадцатого ребра; под стулом лежала его черная шляпа, мягкая, с такими большими полями, что обеими руками не в обхват. Между колен держал он толстую палку черного дерева, усеянную серебряными монограммами, датами, именами городов и женщин. Лицо было крупное, чуть-чуть рябоватое, без румянца, глаза серо-зеленые, веки чуть красноватые, руки в веснушках и ногти ужасно обкусаны; однако, в целом это была пышная фигура и не без своеобразия, непохожая на заурядного щеголя. Этот сосед больше других прислушивался, а в третьем антракте бесцеремонно тронул меня за плечо:

— Виноват, можно спросить, что это за язык?

Я ответил. Он шумно воспламенился.

— Русский! О, это прекрасно. Я очень люблю Россию, я знаю русскую литературу, я читал Достоевского и Толстого...

Он прибавил: «и Стринберга», но я не люблю придирааться к людям из-за мелочей, раз налицо добрые намерения. Кроме того, я бы и не успел остановить его. Ни до, ни после того не попадался мне такой говорливый мужчина; и притом его болтливость была совсем особенного типа. Он не торопился, не сыпал словами, говорил не быстрее, чем всякий другой человек, но так смело, громко, уверенно, с таким апломбом и с такой непринужденной настойчивостью, что собеседник терялся. Он мне задал несколько вопросов о России, один за другим, не дожидаясь или не слушая ответов; потом приказал нам еще поговорить по-русски, но не так быстро; потом стал всякую минуту спрашивать: — что он говорит? переведите, — и толкал меня при этом в бок; потом объявил, что это скучно, когда человек совсем не знает по-итальянски и все время говорит на непонятном языке; потом вышел из театра вместе с нами, сказал, что не стоит ехать трамваем, а чтобы мы лучше взяли двухместную коляску, где отлично усядемся втроем, причем, так как я поменьше, то могу сесть к нему на колени или уместиться посередине, в глубине сиденья; а когда я спросил, по дороге ли нам, он объяснил, что мы едем все трое в гостиницу к приезжему соотечественнику и будем пить у него русский чай.

В гостинице номерные уже спали, и на звон электрической кнопки никто не пришел; тогда он сам побежал через длинный коридор в людскую, привел слугу и велел изготовить чай. Потом потребовал, чтобы мы продолжали рассказывать о России, но прервал меня на втором слове и начал рассказывать о себе. Он родом из Сицилии, он адвокат, т.е. он, собственно, еще не кончил курса, но уже все знает и все адвокаты с ним советуются о важных делах; кроме того, он вертит как угодно несколькими девушками, для которых составляет речи; кроме того, он драматург, и где-то недавно шла его пьеса с громадным успехом; если хотите, он сейчас съездит за нею и охотно прочтет ее нам. Ах да, этот господин не понимает по-итальянски, очень жаль; но, собственно говоря, ведь я мог бы переводить ему фразу за фразой? Впрочем, так не будет никакого впечатления; оставим это до другого раза. Кроме того, он журналист, хотя пишет мало; дело в том, что ему это не нужно, он и без того много зарабатывает; знаете, он в этом году прожил 16 тысяч лир; не удивляйтесь, это вполне понятно — у него за этот год было девятнадцать любовниц,

не считая мимолетных, особенно много в Париже — ведь он полгода живет в Париже и полгода в Риме; он знает весь Париж, Прево и Анатоль Франс — его друзья, и, кроме того, он хорошо знаком с русским князем Файнбергом — где такая-то — вы его, должно быть, знаете?

Бедный соотечественник изнемогал; я поднялся, сицилийский господин пошел со мною и проводил пешком до самых дверей моих; он крупно, смело и гулко шагал и все время говорил уверенно и громко среди ночного затишья. Я молчал и безобидно дивился его фантазии, его поразительной активности, проявлявшейся в неутомном водоеме мыслей и движений; к тому же он был совсем не глуп и удачно комбинировал несколько вычитанных или подслушанных парадоксов. Мимоходом он спросил, кто я и сколько у меня дохода; я объяснил, что получаю из дому ежемесячно по двадцать пять рублей. Он обещал бывать у меня и попрощался, махнув шляпой в воздухе с широкой грацией мушкетера, а у меня в руке осталась карточка с его именем и титулом: редактор журнала «Социальное Пробуждение». Потом я узнал, что этого журнала еще нет, но что мой новый знакомый проектировал основать его и почти уговорил одного зажиточного купца дать на это дело пять тысяч лир под вексель; в качестве жиры на следующее утро после вышеописанной ночи он предложил купцу подписать молодого русского помещика, невероятного богача, оригинала, который носит обтрепанные брюки и тратит сотни тысяч на благо своих мужиков и студентов в университете своего родного города, а именно Полтавы. Так как читатель, должно быть, не догадывается, кто сей последний, то я мучить его не стану и прямо скажу: сей последний был я. Впрочем, купец отказался.

Имя белокурого сицилийца было Гоффредо; это второе действующее лицо в нашей истории. Мы сблизились — я не знаю сам почему. Приятели мне очень советовали не водить с ним компании; о нем дурно говорили, считали жуликом, способным на все, даже уверяли, будто в Сицилии, еще мальчиком, он предложил свои услуги сыскальной полиции и функционировал не без успеха. Доказать это никто не мог, но я бы и тогда не очень удивился, если бы мне все это неопровержимо доказали. Выбираю себе друзей не за добродетель, а за то, что они мне нравятся.

Он ко мне очень привязался. Приходил всякий день, мешал мне работать, читал мне все свои драмы и отрывки, излагал мне свои планы, как ему наискорейше пройти в министры; когда

не было денег пойти в харчевню «Трех разбойников», где мы обедали, сам бегал в лавчонку за хлебом, ослиной колбасой и оливковым маслом; меня он не пускал — его раздражала моя медлительность, хотя обыкновенные люди считают меня человеком подвижным и далеко не копуном. Когда у него были деньги, он никуда не ходил без меня; платил всегда за двоих, а моя доля тщательно записывалась в книжечку. Брюки мои, действительно, были плохи, это его коробило; он потащил меня к Боккони, выбрал мне штаны, и пришлось записать в книжечку еще 15 франков. Вместе с тем я не помню случая, когда бы он оказал мне хоть малую услугу; я был уверен, что попроси я у него двадцать лир взаймы на личные надобности, касающиеся меня одного, он ни за что бы не дал. А при малейшей резкости или холодности с моей стороны он по-детски огорчался, допытывался, оправдывался, лгал, сыпал клятвами, бил себя кулаком по голове и предлагал сунуть руку в железную печь. Это меня забавляло, так что я иногда нарочно его дразнил. Он, например, живописал красоту молодой актрисы, у которой провел одну ночь, а я спокойным деревянным тоном оспаривал в корне самое существование этой актрисы. Он выходил из себя, кричал на весь дом, предупреждал меня, что я сильно рискую, раздражая такого вспыльчивого человека, что вот уж он даже побледнел, а это очень плохой признак; если я был достаточно зол и выдерживал эту игру до конца, то он выхватывал и раскрывал свой карманный нож, изгибался, готовясь к прыжку, потом нож выпадал из его рук, глаза в изнеможении закрывались, он падал на кушетку, стоял и хватался за сердце, а потом мы шли в кафе Араньо выпить по капучину за мраморным столиком. В жизни я не видал более занимательного человека и любил его очень искренне.

Однажды я поджидал его у «Трех разбойников». Это — маленькая траттория, которая, может быть, и по сей час стоит в одном из переулков близ Корсо. На переулке и траттории совсем не отразилось соседство главной улицы города: переулочек напоминал самые глухие улицы Транстеверинского квартала, а харчевня носила первобытный характер; кормили просто, дешево и сытно. Мы ее называли: траттория «Трех разбойниц», потому что прислуживали там три хозяйские дочери, три великолепных типа настоящего, коренного римского простонародья, суровые, неторопливые, грубоватые, и одна другой краше. Лучше всех была старшая; однажды я поднял с полу шпильку и спросил ее: — Это не вы обронули? —

Она взяла, посмотрела, ответила «нет», спокойным, равнодушным и величавым жестом выбросила шпильку за окно и пошла по своим делам, не поблагодарив меня; все это не затем, чтобы меня унижить, а так, от простоты и цельности душевной.

В этот раз Гоффредо замешкался; я заказал себе ньокки (такие вареники) и пока болтал с другими завсегдастями. Это были студенты, приказчики, чиновники с окладом в тысячу двести, публика молодая и бойкая на язык. Она группировалась большей частью по симпатическим кучкам, одиночек было мало; более значительные содружества имели нечто вроде постоянной организации, председателя, казначея и занимали всегда определенные столы, над которыми водружали плакат с именем «общества», заключавшим нередко крупную двусмысленность. Их разговоры, особенно о хозяйских дочках, тоже состояли почти целиком из таких двусмысленностей; трактирщик, здоровенный сор Нино, ухмылялся и поддакивал из-за прилавка, а девушки оставались серьезны и спокойны, не обижались, но и не отвечали на намеки и делали свое дело как ни в чем не бывало, с безмятежной непринужденностью матери нашей Евы до яблока. В Риме это был тогда обычный тон беседы молодых людей с девушками, и далеко не в одном простонародье, а и повыше. Вам это, понятно, не нравится, но простите неисправимому обожателю милой Италии — и для меня в этом есть что-то симпатичное, подкупающее своим здоровьем. Это не сальность; по крайней мере, у них это не сбивается на сальность. Это искренняя, безыскусственная и безобидная игра пенящейся молодой крови, где обе стороны не лицемерят; юноша весело и смело, на глазах у всех, кричит девушке: «это я»; а девушка не краснеет, не жеманится, не дуется, только просто отмалчивается по девичьей скромности и проходит мимо, внутренне довольная своей женственностью, знающая свое предназначение и спокойно выжидающая своего срока.

Наконец Гоффредо пришел, а с ним пришла барышня лет восемнадцати в шляпке, одетая небогато и мило, с затейливой прической, славным личиком, маленькими руками и загрубелыми кончиками пальцев. Класс этот носит по-итальянски такое изящное имя — *sartina* — что прямо жалко перевести это слово некрасивым эквивалентом: «портниха» или «швейка». Это было третье и главное действующее лицо моей истории. Гоффредо нас познакомил, ее звали Диана; впоследствии оказалось, что имя это было выдуманное, она просто не решилась

сразу сказать настоящее, но мы уже не хотели называть ее иначе. Лицо у нее было привлекательное, фигурка небольшая и стройная, хороши были волосы, очень много волос каштанового цвета, а лучше всего были карие глаза с удивительно чистыми, синеватого отлива, белками и смех, какого я с тех пор уже больше не слышал. Люди обыкновенно не умеют смеяться, давятся, икают, задыхаются. Она закидывала голову и хохотала сколько угодно долго, ровно и чисто, как серебряный бубенчик. Кроме того, она себя держала скромно и за несколько часов не сказала ни одной глупости. Она мне понравилась.

Гоффредо ей сказал:

— Это мой единственный друг; я за него дам себя зарезать, и он за меня. Ты его должна любить. — Мы с Дианой пожали друг другу руки и выпили вроде брудершафта: по-итальянски вежливая форма обращения — в третьем лице, и это звучит слишком церемонно; говорить женщинам «ты» я не люблю, так что мы выпили на «вы». Это не принято, считается манерным, все равно как в польском языке, и это сразу, вероятно, придало нашим отношениям с Дианой, по крайней мере в ее глазах, оттенок некоторой изысканности. Гоффредо отвез ее домой и, вернувшись (мы тогда жили рядом), разбудил меня, чтобы сообщить, что Диана ему сказала:

— Твой друг очень симпатичный.

Гоффредо был в это время при деньгах. У него были разнообразные и подчас оригинальные способы доставать деньги; отчасти он приподнял над ними завесу еще в тот вечер нашей встречи: тогда я принял все, что он успел наговорить, за сплошную беллетристику, но после оказалось, что была в этом и кое-какая правда. Например, он действительно собирал материалы для речей одному депутату, титулованному дурню из южных округов, где крестьяне выбирают, кого ксендз велит. Как раз в это время разбирался на Монтеччаторио вопрос о понижении хлебных пошлин; гоффредов *oporévole* хотел выступить против этого невыгодного новшества, и мой друг по ночам энергично выстригал ножницами какие-то вырезки из разных газет королевства. Я тоже внес свою крупицу для защиты пошлин на зерно: мы выписали бюллетени одесского гоф-маклера, и мне было поручено выловить оттуда всю истину. *Oporevole* остался очень доволен и произнес такую свирепую речь, что социалистическая печать с того дня стала употреблять его имя как нарицательное или даже скорее бранное для обозначения законченного

феодала, реакционера и «вешателя». Гоффредо получил триста лир и еще два заказа, в том числе один от яркого противника хлебных пошлин; мы просидели ночь, скомбинировали те же вырезки на другой лад, и Гоффредо получил еще сотню франков. Зато мы почти всякий день ездили втроем за город кутить: он, я и Диана.

Нет на свете места лучше равнины кругом Рима. Она была в ту пору темно-зеленая, очень темного оттенка, строгая, величавая, под небом такой совершенной синевы, которую хочется назвать классической; на небе вырезывались резко очертания пиний — это, по-моему, самое простое и самое прекрасное дерево на земле, и тоже темно-зеленое; и гармония темной зелени с темной синью была так хороша, так возвышенна, что и говорить об этом жутко. По равнине изредка двигался грузный вол, за собою волоча плуг, и вол тоже был особенный. Это о нем в одном сонете Кардуччи сказано: «Благочестивый». И еще о нем у Кардуччи сказано: «Из широкой ноздри, влажной и черной, дымится твое дыхание; и, подобно радостному гимну, в ясном воздухе разносится мычание твое. И в суровой кротости влажного, темного ока, безбрежное и спокойное, отразилось божественное зеленое безмолвие равнин»... — Хорошо, правда? Но в жизни это еще лучше.

В полумиле от ворот Пия была таверна, которой теперь уже нет и которая так и называлась «Полумиля». Там мы обедали чаще всего; нам было очень весело от молодости и от того, что Диана умела веселить. Как ей это удавалось — тайна ее природы. Девушки из римского простонародья часто очень остры на язык, но у Дианы этого не было; она не отпускала словечек, не рассказывала ничего смешного, не тормозила, вообще никак определенно не старалась оживить беседу — она просто разливала кругом себя что-то неуловимое, бодрящее, как гвоздика свой запах. словно у нее внутри непрерывно звенел хрустальный колокольчик, даже когда она не смеялась.

Она мне нравилась больше с каждым днем. Она была умна, хотя писала с ошибками и говорила ближе к диалекту, чем к литературному языку. У нее было много наблюдательности, она умела заглядывать во все дальше показной стороны и часто определяла людей и вещи меткими, угаданными словами. Впрочем, ей помогал, должно быть, сам диалект, сочный и задорный. Римский говор очарователен. Все, что вынес этот город из уроков огромной своей истории, — скептицизм, самоуверенность, грубоватый юмор бывалого человека, запанибратское

отношение к жизни, к земному величию, к монархам и папам, которых столько прошло и столько еще пройдет перед глазами вечной столицы, и даже к самому Господу Богу, — все это осело на тамошнем *romanesco*, и во всяком его обороте чувствуется как бы отзвук любимого тамошнего девиза: «*Chi sse ne frega?* — Наплевать!

У Дианы была еще одна черта, которой я не мог досыта любоваться: ее жестокость, откровенная, простодушная, словно у котенка. Раз мы увидели очень уродливого горбуна: Диана убежала, чтобы не прыснуть ему в лицо. Раз перед нами опрокинулся велосипедист, у него было все лицо в крови, а Диана с полчася потом заливалась своим удивительным хохотом.

— Отчего же вы подаете милостыню? — спросил я.

Она подумала и ответила:

— Э! Так принято, а в душе мне ничуть не жалко.

Но всего отчетливее сказывалась эта черта в ее отношении к нам обоим. При ней мы с Гоффредо постоянно пикировались, отчасти потому, что все друзья так делают, а отчасти, должно быть, из бессознательного соперничества, хоть он и был тут признанный властелин, а я просто сбоку припеку. Гоффредо был остроумнее и, кроме того, знал множество итальянских двусмысленностей, на которые нетрудно было поддеть иностранца; зато у него было больше слабых сторон, и я их отлично изучил.. Поэтому состязание наше напоминало качели: то брал верх Гоффредо, и я бессильно злился, не находя ответа, и криво улыбался; то я одолевал, и Гоффредо выходил из себя, ерошил волосы, хмурил белые брови над красными веками и, наконец, предупреждал меня, что он уже побледнел и что это плохой признак.

И Диана всегда и во всякую минуту была на стороне того, чей был верх. Ей никогда не приходило в голову смягчить его или мое поражение, сгладить укол, переменить тему: она слушала с наслаждением, подстрекала, взвизгивала при удачных выпадах и под конец закидывала голову назад и беззаветно хохотала с ним надо мною или со мною над ним. И с кем хохотала, к тому ближе садилась, тому заглядывала в глаза, становилась как-то ласковее — не с умыслом, не по расчету, а по инстинкту неподдельной женской природы.

До сих пор я не знаю и никогда не буду знать, влюбился ли я. Пережил я из-за Дианы все то, что переживают влюбленные, и много больше; сам я считал себя одно время глубоко и мучительно влюбленным, но теперь я уверен, что если бы тогда или

позже, в самый разгар нашего странного романа, мне пришлось уехать из Рима, я погрузился бы до Анконы и уже в Фиуме, сходя с парохода, был бы совершенно спокоен. Но ведь дело не в этом. Я проводил с нею часы почти каждый день, иногда наедине; тогда у меня были очень рыцарские взгляды в вопросах дружбы. Гоффредо это знал, доверял мне безусловно, и Диана нередко оставалась у меня, пока он ходил к депутату или по другим своим делам. Я был очень корректен, но ведь она мне нравилась, и я был едва ли на три года старше своей миловидной гостью; мне приходилось следить за собою, держать себя в ежовых рукавицах, и эти упражнения в самообладании волновали меня еще сильнее, чем самая близость Дианы. В придачу, Гоффредо, если возвращался в хорошем настроении, — а ему как раз в это время везло, — испытывал потребность озарить вех лучами своего счастья и заставлял меня целоваться с Дианой; на третий раз я отказался, и она пристально взглянула на меня, а потом притихла на минуту. В другой раз Гоффредо начал при ней восхвалять мою дружескую верность; он бы никому не доверил Дианы, кроме меня; и отнюдь не потому, что считает меня мало опасным — *ma ché*, напротив, он кое-что знает о моих похождениях, *santo diavolone!* — но он уверен, что я сторю внутри до тла, а не прикоснусь к подруге моего друга. Диана все это слушала и опять притихла на минуту, и опять я встретил ее пристальный взгляд.

Через несколько дней после того мы обедали в «Полумиле». Гоффредо начал подтрунивать надо мной; наконец, он объявил, что я рисковую, что он уже бледнеет и все это может очень плохо кончиться; я ответил ядовито, он вдруг закусил губу, стих, медленно достал из кармана свой большой сицилийский нож и выбросил его за окно, прибавив многозначительно: — Так будет безопаснее. Когда я и в ответ прыснул, он заметался по комнате, хватая себя за волосы и жалуясь, что я его обижаю, а потом выбежал, повторяя:

— Я не ручаюсь... Я за себя боюсь... Это кончится плохо... Мне нужен свежий воздух, иначе это кончится плохо...

Надо признаться, что мы в тот день все трое выпили по лишнему бокалу Гротта Ферраты. Мое лицо пылало, возбужденное вином и удачей, я стал у окна, подышал ветром с широкой равнины и увидел на террасе Гоффредо. Терраса была пуста, он бежал по ней взад и вперед, скрестив руки, наклонив голову и кусая губы, с видом действительно взволнованного человека. Я сказал, не оборачиваясь:

— Диана, вы пойдите к нему, надо его успокоить.

В эту минуту я догадался, что она стоит совсем близко за мною, и мне вдруг захотелось не оборачиваться. Она мне ответила не сразу, ответила тихо и, действительно, у самого уха.

— Вы меня прогоняете?

Тогда между нами произошел короткий разговор. Вам он покажется стереотипным, потому что все это говорят обыкновенно и в книгах, но когда это переживаешь или через много даже лет вспоминаешь, это так ново и необычно.

Она сказала:

— Вы меня гоните.

Я сказал:

— Нет.

Она сказала:

— Да. Я вам неприятна.

Я сказал:

— Нет.

Она коснулась моей руки:

— Нет?

Я выпил лишний стакан в тот день, я сжал ее руку и молчал. Тогда она сказала мне:

— Я вас тоже люблю.

Я сказал:

— Неправда.

Она сказала:

— Я вам клянусь душой моего отца, *sull'anima di babbo mio!*

Я повернулся. Честное слово, она стояла на коленях. До сих пор не понимаю, зачем ей это понадобилось. Мы в тот день выпили, должно быть, по несколько лишних стаканов Грота Ферраты. Издали послышались шаги Гоффредо. Она вскочила и бросилась к нему навстречу с потоком ласковых укуров. Я с ней больше не разговаривал и скоро пошел домой, а они вдвоем уехали кататься.

На следующий день нам с Гоффредо предстояло переселение. Наша хозяйка отказала ему за неуплату денег, за шум и еще за обилие и разнообразие ночевавших у него дам. Тогда я тоже отказался от своей комнаты, и мы решили поселиться там, где жила Диана, — в Борго. Это часть города по ту сторону Тибра, между замком Св. Ангела и Ватиканом. Три узкие улицы, кривыми лучами расходящиеся от громадной площади Св.Петра, пересечены тесными переулками, где каждому дому больше ста лет, тяжелые деревянные двери ведут к темным и скользким лесенкам, по которым не пройти тол-

стому человеку, дворники увешаны бельем, и вечером соседи и соседки на улицах грызут каштаны и беседуют, ссорятся и кричат на детей. А если вылезть на шестой этаж и взглянуть в окошко, вам откроется картина невыразимой красоты и величия: круглый замок Св. Ангела, свинцово-синяя шапка Ватикана, холм Януса, где сидит на коне Гарибальди, повернув строгое лицо к убежищу папы, и между этими высотами и перед ними, и за ними дивная громада улиц, переулков, мостов, площадей, дворцов, обелисков, статуй, храмов и тюрем и мокрого белья на веревках — третий Рим под темно-синим небом, в темно-зеленой раме своей задумчивой равнины. А живет в Борго коренное, исконное римское мещанство, *romani de Roma*; мужья столярничают, чеботарствуют, куют для Ватикана или водят по Ватикану приезжих; жены шьют и стирают на Ватикан; и все они еще глубже остальных римлян знают цену папству и монархии, и всей тщете земной, и не веруют ни в сон, ни в чох, а с Мадонной живут запанибрата, и хотя любят ее, но, при случае, крепко и звонко вымещают на ней свою досаду. Только в Борго, да еще в Транстеверинском квартале, сохранился Рим первой половины прошлого столетия. Если в другой части города услышите ночью серенаду, не верьте: это хозяин соседней гостиницы послал переодетого полового разыграть комедию, чтобы иностранцы не жаловались на отсутствие *couleur locale*. Но в переулках Борго можно вечером подслушать неподдельные римские *stornelli*:

— Есть темница неподалеку от Ливорно, там плачут узники горькими слезами. Горькими слезами плачут они, но за одну ночь с тобой я пойду в тюрьму на всю жизнь. «*Una notte con voi, vita in galera!*»

Я в полчаса разложил по ящикам свои убогие вещи и пошел помогать Гоффредо. Он поселился через дорогу. Убранство его комнаты было куда сложнее. У него был солидный гардероб, кроме того, кокетки в Париже научили его драпировать стены разноцветной материей, в изгибах которой он не без вкуса разместил тридцать женских портретов и мадону Барабино. Книги он тоже не расставлял на этажерке, а развешивал по стенам на разноцветных шелковых лентах, завязанных кудрявыми бантами; книги эти были все французские романы — «*La Morphine*», «*L'Amoureuse Trinité*», «*La Vierge et la Verge*» — все с голой барышней на глянцевиной обложке.

Вбив последний гвоздь, Гоффредо расчувствовался.

— Как нам здесь будет хорошо втроем, — сказал он.

Я поправил:

— Вдвоем.

— Э?

— Вдвоем, я говорю.

— Почему? А Диана?

— Я буду к тебе приходить только в те часы, когда Дианы не будет.

Он распахнул воспаленные веки:

— В чем дело? Вы поссорились?

— Нет, — сказал я. — Но, *à la longue*, это смешно и неудобно.

— Что?

— Да вот, роль третьего лица.

Он вскочил и забегал по комнате. Он не ожидал от меня такой банальной выходки. Люди высшего полета, как он да я, не должны обращать внимания на такие малости. И я совсем не третье лицо, а необходимая струна в тройном созвучии души, которое он создал. Если я уйду, вся гармония испорчена. Он не может жить без гармонии. Я ему необходим. Без меня Диана теряет для него всю прелесть. Я не должен уйти; я преступник, если уйду. Вам я передал сущность его речи в немногих словах, но в подлиннике она продолжалась около часа. Я всю эту философию знал и раньше, наполовину из других разговоров с ним, наполовину из того самого романа «*L'Amoureuse Trinité*», что висел на желтой ленте над кушеткой. Мне это надоело, кроме того, как бывает в этих случаях, что-то меня толкало разболтать свою тайну. Я сказал:

— *Goffredo mio*, — я ведь не деревянный. Диана мне нравится. Я не хочу ни посягать на твои права, ни себя мучить. Пойми и не спорь. А пока — «чао», до свидания.

Я завернул сначала в библиотеку, потом побывал у друзей, которых уже месяц не видел, а потом пошел в кафе Араньо. В этом месте Корсо немного расширяется, в двух шагах дальше виднеется огромная Пьяцца Колонна, и тут считается главное средоточие Рима. Кафе было в мое время совсем не роскошное, просто уютное, с дымными зеркалами и синим плюшем диванов, но прелесть его заключалась в публике. Каждую знаменитость показывали тут в ее определенный час. Около пяти собирались самые боевые франты города; обычно они за столики не садились, а стояли живописною группой на тротуаре. «Постоять перед Араньо» считалось высшим испытанием элегантности, да и на это действительно не каждый решался. С шести часов появлялись деловые люди, грузные

банкиры, почтительные адвокаты: по дороге из конторы домой каждый заглядывал на минуту сюда, выпить рюмку туринаского вермута пред ужином и раскланяться с приятелями по сокращенному обряду, сделав ручкой и крикнув звонкое «чао». В восемь часов обыкновенно кончалось заседание на соседнем Монтечиторио, и кафе наполняли депутаты, шумное племя, приносившее с собою все двенадцать акцентов итальянского языка: венецианцы ласково и наивно припевали и называли свой город «Венесия», неаполитанцы с азартным и страстным томлением затягивали ударяемую гласную и глотали окончания слов, сицилийцы надували губы, говорили тоном обиженного ребенка и произносили «патшиот» вместо «патриот». К этому времени кафе окончательно наполнялось, приходили журналисты, поэты, художники, профессора, купцы, отставные министры, нарядные дамы, иностранцы с иностранками, студенты и все. Подымался гармоничный гомон итальянской толпы, не грубый, не резкий, не утомляющий слуха, благословенный каким-то массовым чувством меры и грации.

К тому времени было совсем уже темно, глубокое небо зажигало все свои свечки, и на улице начинался ежевечерний концерт газетчиков. Мальчишки и взрослые, они разлетались во весь опор по тысяче направлений, выкрикивая звучные имена то звонкими, то хриплыми голосами всех высот и оттенков. Словно в весеннее утро лес от птичьего щебета, звенело стройное Корсо от этого набега. Кафе мигом белело, и к запаху сластей, духов и летней ночи примешивалась струйка славного аромата типографии. А издали уже доносились звуки настоящего концерта: музыканты городского духового оркестра, в треуголках с петушиными перьями, играли марш из последней модной оперы на громадной площади, под колонной Марка Аврелия.

Я подсел к одному из завсегдатаев Араньо. Это был ученый, теперь уже покойный, с именем, хорошо известным даже в Германии и в России. Его считали одним из самых умных людей в Италии и самым злым на язык; о нем говорили, что у этого человека две кафедры — одна по философии истории в Сапиенце, другая по злословию в кафе Араньо. Люди с положением боялись его и старались не попадаться ему на глаза; только молодежь, над которой еще не за что ему было смеяться, толпилась вокруг его столика и училась горько-соленой мудрости житейской из его сарказмов об искусстве, политике, о людях.

Там я сидел, пока меня кто-то не хлопнул по плечу — это был Гоффредо. Я все-таки плохо знал его. Я думал, что он опешит и будет несколько дней ломать голову над новой ситуацией; оказалось, что он через полчаса после моего ухода принял совершенно твердое решение и пустился меня искать по всему городу. Он был очень утомлен, но тем не менее изложил мне свой взгляд на дело ярко и красноречиво. Сущность этого взгляда на дело заключалась вот в чем: он, во-первых, не желает лишиться моей дружбы и моего общества; но с другой стороны, если я и дальше буду себя сдерживать из уважения к его правам, это его тоже мало «устраивает». Он не желает благодарений, это бы его стесняло и унижало передо мною. Да и нет у него никаких прав, и я совсем не обязан насиловать себя. Мы, люди высшего полета, можем смело обойтись без устарелой терминологии: права нет, а есть сила, и борьба за власть — за власть над вещью или за власть над женщиной. Это он и предлагает.

— Что именно?

— Борьбу за власть.

— Милый, я не желаю с тобой враждовать; владей себе на здоровье своим добром и оставь меня в покое.

— Но мы не будем враждовать! Напротив! Мы останемся друзьями, как до сих пор; наша дружба, напротив, только очистится благодаря тому, что мы честно и открыто вынесем из нее за скобку единственный пункт, который нас разделяет, и локализуем всю борьбу на этом одном пункте. Очень просто.

— Ты — дитя, сказал я, — мы возненавидим друг друга на третий день.

— Почему? Вообрази, что мы бы ежедневно состязались в фехтовании или играли друг с другом в шахматы. Разве люди из-за этого ссорятся?

Я ответил, что пойду лучше послушать оперетту «Пять частей света», но он пошел за мной и в каждом антракте долбил свое. Когда дошли до Борго, поднялся ко мне и долбил свое. Нервы мои не выдержали, я почувствовал, что через секунду расплачусь, и мне, действительно, захотелось целовать Диану, как он, и еще лучше, чем он. Я повернулся к нему и сказал сердито:

— Хорошо. Принимаю вызов.

Тогда он протянул мне руку и торжественно произнес:

— Итак: мы остаемся друзьями; ты ради меня ни от чего не отказываешься и будешь добиваться любви Дианы, как сделал бы чужой; я тебе тоже не благодетельствую, ничего те-

бе даром не отдаю и буду стараться, чтобы Диана с тобой не виделась, запрещаю ей бывать у тебя; словом, мы в этом чужие люди до того момента, пока один из нас не признает себя побежденным! И мы остаемся друзьями.

Тут он, слава Богу, ушел, а я провел бессонную ночь. В эту ночь я, быть может, по настоящему любил Диану. Я вспоминал, как она в «Полумиле» стала передо мной на колени и поклялась, что любит. Она сказала «vi voglio bene» — какое хорошее, ласковое, сближающее слово. Если бы она пришла ко мне в эту ночь, я бы ей подарил всю жизнь — бери и играй, как хочешь.

Если вы ждете, что я теперь вам изложу военный план, проникнутый отвагой и фантазией двадцати лет, то ошибаетесь. Вести осаду, посылать записки, назначать свидания, рискуя ждать и не дожидаться, или подстергать у дверей — это не в моей природе. Из России я вывез одну внутреннюю ценность, еще доньше подкрепляющую меня на путях земного бытия: незыблемую, убежденную веру в святой авось. Я занялся, как ни в чем не бывало, своими учебниками, очень пострадавшими за время наших тройственных кутежей, и не беспокоился.

Когда пришел Гоффредо, я его принял очень просто и не обмолвился ни словом о Диане или о вчерашнем. Его это, видимо, коробило, беспокойная натура не переносила молчания о том, что на уме; он вглядывался в меня, делая нарочно паузы, как бы приглашая меня начать, и не мог ничего добиться. Тогда он сказал:

— А тебе кланялась Диана.

Я ответил:

— Спасибо, поклонись и ей. Пойдешь сегодня смотреть Джачинту Пеццана в «Терезе Ракэн»?

— Нет. Я занят. — В тоне этого «занят» ясно звучало приглашение спросить «чем?» Я сказал:

— А я пойду.

Тогда он сказал:

— Я занят. Мы с Дианой едем смотреть закат на вилле Боргезе и вернемся поздно.

Я сказал:

— Жаль. Пеццана удивительная артистка. В молодости она гремела. Ее помнят еще в России под именем Гвальтерри.

Он сказал:

— Что ж, я тоже недурно проведу время.

«Он начинает нагличать», — подумал я и сел молча за бюллетень одесского гоф-маклера. Он постоял у окна, посту-

чал пальцами о стекло, потом каблуком о каменный пол, потом не выдержал и обернулся.

— А я Диане все сказал.

Я тихо проговорил:

— Ульки — четырнадцать процентов, сандомирки — двадцать два процента.

Он продолжал:

— Все. Что она не должна с тобой видаться, а при встрече должна вежливо поклониться и пройти мимо и все рассказывать мне.

Я тихо проговорил:

— Остальное с мельницы Вайнштейна.

Он сказал:

— И она, знаешь, отнеслась вполне спокойно и была весь день в прекрасном настроении.

Я поднял голову и сказал ему:

— Я тоже. А теперь иди домой и не мешай, а то твой депутат наговорит глупостей, и все скажут, что ему дурак писал речь.

На другой день Гоффредо, не трогая опасных тем, только спросил у меня:

— Хорошо играла Пеццана? — И я видел, что он ждет с моей стороны такого же вопроса; я разразился диссертацией о натурализме на сцене, сопоставил Эомете Дзаккони с Эрмете Новели и не без удовольствия чувствовал, что в душе моего друга нарастает невнятное чувство тревоги. Он, по-видимому, органически не переносил недомолвок. Невысказанное слово жгло его, как горячая картофелина, лишало спокойствия и самообладания. Ему необходимо было знать, что я за теваю, по крайней мере, — что испытываю, но я молчал.

Я потом узнал, что он старался выпытать о моих планах у Дианы, даже довел ее до слез, но ей решительно не о чем было рассказывать.

Когда он пришел на четвертый день, я увидел, что он положительно несчастен и хочет вызвать меня на разговор о Диане во что бы то ни стало. Я сейчас же достал свои хлебные таблицы и начал пространное объяснение о движении зерновых грузов по Днепру. Он меня прервал на шестой минуте.

— Это после, я сейчас устал.

— Хорошо, — ответил я и запер аккуратно ящик. Мы молчали.

— Слушай! — начал он.

— Что?

— Не пора ли кончить эту комедию?

— Какую?

— Да вот эту. Ведь все равно — ничего не выйдет.

— Может быть.

— Я тебя уверяю, ничего не выйдет.

— Может быть.

— Не может быть, а навверное. Да чего тебе еще, сама мне сказала.

— Ну, и радуйся.

— Конечно, радуюсь. Но мне жалко тебя. Ты себя ставишь в глупое положение. Если бы ты знал, как она вчера хохотала при одной мысли!

Смешно сказать: игра была грубая, но меня она глубоко задела. Я почувствовал себя словно после пощечины. Я Диану знал, она всегда с тем, кто в эту минуту сильнее; может быть, она и действительно вчера хохотала при «одной мысли». Я напряг все силы, чтобы не выдать своих ощущений и найти колкий ответ, но ничего не находилось. Он это мгновенно понял, и мы оба почувствовали, что в эту минуту он получил надо мною верх.

— С тебя этого достаточно, — сказал он. — Послушайся меня, заяви, что отказываешься, и кончено.

— Давно ли ты сам настаивал, чтобы я не отказывался?

— То было другое дело! Ты считал, что можешь добиться всего, и только ради меня сдерживаешь свою волю. За это спасибо, мне благодарений не нужно. Теперь у нас речь идет о другом: ты убедился, что все равно ничего не достигнешь, признай это, и мы опять заживем по-старому.

— Да кто тебе сказал, что я убедился?

— Как? Ведь я тебе говорю, что она... Или ты мне не веришь?

Я успел взять себя в руки и сообразил, что лучшее оружие против него — уклончивость и отмалчивание, как до сих пор. Я постарался выразить на лице полное спокойствие и ответил ему так:

— Вот что я тебе лучше скажу: сегодня Мальдачеа читает неаполитанские куплеты в саду Савоя. Ты мне его всегда хвалил. Хочешь пойти?

Он криво улыбнулся.

— Хорошо, — сказал он, — тебе, видно, этого мало. Тебе нужны осязательные доказательства? Ты их получишь.

Я вернулся домой за полночь. Хозяйка случайно еще не спала. Она мне сказала через дверь:

— Ваш друг с рыжей бородой спрашивал вас недавно.

Раздеваясь, я услышал на улице условный свист: мы пересвистывались рефреном марсельезы: «Aux armes, citoyens». Я выбросил ключ, и Гоффредо вошел ко мне, в руках у него был запечатанный конверт.

— Пожалуйста. Это для тебя.

Адрес был написан каракулями Дианы. Я взял письмо и похолодел, во рту стало горько. Я не сомневался: ее можно было уговорить написать все, что только угодно. Сейчас я должен буду прочесть это письмо, сам прочесть, и Бог знает, какие обидные вещи там написаны... Он ждал и приговаривал с улыбкой человека, у которого дело в шляпе:

— Будь любезен, прочти. Я, конечно, не знаю, что там сказано. Не веришь? Честное слово, не знаю. Даже вышел из комнаты, пока она писала и запечатывала. Но ей я велел написать тебе всю правду. Надеюсь, это тебя вылечит.

Тогда я почувствовал, как вся кровь прилила к моему лицу; мне было стыдно, я был унижен, мне хотелось спрятаться; я попытался что-то сказать, но только застонал, удушье меня взяло, я разорвал письмо на мелкие кусочки, бросил на кровать и заплакал, как девочка. Он что-то говорил надо мною, трогал меня за плечо; я сказал ему: «Уходи», и он ушел, а я провел опять бессонную ночь. Это, кажется, была самая нехорошая ночь в моей жизни; Бог с нею, не хочу ее описывать. Да я бы и не мог ее описать. До сих пор не знаю, что это было: муки ревности или бешенство самолюбия. Мне с ужасной отчетливостью рисовалось, как он ее награждал за это письмо, и я рвал на себе волосы, как делают люди от ревности, но я в то же время сознавал довольно ясно, что если бы ее сто человек еще жарче ласкали, мне было бы все равно и корень моей муки не в ней, а в Гоффредо, в моей обиде... Нехорошая ночь!

А на завтра, часов около двенадцати, когда я еще спал, ко мне постучались. Я сказал «аванти» — я думал, что это Гоффредо, или другой знакомый, или, может быть, ничего не думал, а просто сказал «аванти» со сна. Сон оставил меня в одно мгновение: это была барышня с милым личиком, с каштановыми волосами и карими глазами в синеватой белизне яблочек, небольшая, стройная, свежая, лукавая, по имени Диана. Моя комната наполнилась звоном серебряных бубенчиков. О, нечего бояться, он уехал к своему депутату и будет там обедать. Ах, как он ее пилил в эти дни! Он только и говорил, что обо мне; она бы сама столько не думала обо мне, если бы он не напоминал всякую минуту...

— А вы какой глупый. На что было ему рассказывать, что я вам нравлюсь? Или вчера — почему не ответили ему просто: хорошо, я сдаюсь, признаю себя побежденным? Мы бы тогда гораздо удобнее устроились. Он ведь дикарь, они все такие в Сицилии; я ему всегда уступаю и потом делаю по-своему. Зачем вы не прочли моего письма? Уж я там написала все бранные слова, сколько знаю, так что он остался доволен. Делайте, как я, а то вы его дразните, и что в этом за смысл? Вы там, в России, тоже, видно, дикари.

И я рассчитался с Гоффредо за эту ночь, и за письмо, и за насмешки. В три часа мы видели сквозь зеленые жалюзи, как он проехал к себе домой; тогда она ушла и еще раз велела мне на прощанье:

— Делайте, как я.

Я сказал:

— Нет, Диана. Я вас не выдам, как бы он ни издевался надо мною, но признать себя побежденным — на это я не согласен.

Она пожалала плечами и вымолвила, уходя:

— Значит, послезавтра.

Гоффредо пришел ко мне вечером с бегающими глазами: он не знал, как себя держать со мною. Вчера он видел меня разбитым на голову и был бы очень рад заключить после этого мир. Но, как и Диана, он считал меня северным дикарем, который способен опять заартачиться.

Мой спокойный вид и прием укрепил в нем это последнее опасение. Я очень подробно расспросил его, как и что говорил депутат по поводу наших таблиц, о каждой мелочи переспрашивал десять раз, так что он, наконец, от нетерпения задержал плечами и ногами и сказал мне резким тоном:

— Да зачем ты все говоришь о том, что меня несколько не интересует?

— Потому что это интересует меня.

— А меня интересует вопрос, решился ли ты прекратить свои дурачества?

— Милый, — сказал я, — мы условились воевать до тех пор, пока один из нас не признает себя побежденным. Разве ты уже собираешься признать себя побежденным?

Он в досаде отшвырнул от себя какую-то из вещичек моего стола.

— Знаешь, — сказал он, — нужна большая развязность, чтобы говорить это после вчерашнего письма.

— Я не читал никакого письма.

— Рассказывай! После моего ухода ты собрал клочки и прочел. Я уверен.

— Наивный ты человек. Зачем мне читать письма, продиктованные тобою?

Он вскочил.

— Я сейчас притащу Диану сюда, она тебе все это повторит в лицо.

Я кивнул головой:

— Конечно, повторит. Я ей даже скажу: не стесняйтесь, Диана, говорите мне все, что он прикажет, — я ведь хорошо знаю, что вы этого не думаете.

— Как же не думает? — закричал он. — Если бы ты знал, что она мне говорила о тебе еще до письма! Еще до нашей войны! Мне жаль тебя, я не хочу повторять! Ты ей физически противен! Когда ты садишься возле нее, она старается отодвинуться. Твой вид ее смешит, и я даже сердился на нее за это... Что ты на меня так уставился? Да, да, она мне все это говорила. Что ты на меня так смотришь?

— Гоффредо, — спросил я самым спокойным тоном, какой имелся когда-либо в моем регистре ленивого человека, — а тебе не приходит в голову, что я в эту минуту, быть может, смеюсь над тобой?

Он опешил, глаза его забегали.

— Почему?

— Так. Я не спорю, ты прав, она тебе все это говорила, и ты пока победитель. Я-то это знаю. Но... откуда у тебя в этом такая уверенность? Подумай только, что за комичное положение у тебя, если я, допустим, в эту минуту слушаю твои ядовитые речи и хохочу про себя?

Он подскочил к моему лицу; я заметил, что на этот раз он действительно бледен.

— Ты с ней виделся?

— Я с ней? Боже сохрани!

— Дай сию минуту честное слово.

— Сколько угодно. Только ты вообще на мое честное слово не полагайся. Я, знаешь, в этих формальностях не щепетилен. Мы, люди высшего полета...

Гоффредо вышел из себя:

— Ты хуже всякого иезуита! — крикнул он, сильно акцентируя по-сицилийски. — Ты меня морочишь намеками и сейчас прячешься, выпускаешь яд и не даешь себя поймать. Не раздражай меня! Берегись!

И он бросился на стул, тяжело дыша и бегая глазами по углам. Так прошла минута.

— Видишь, — сказал я, — пусть эта сцена будет тебе уроком. Когда ты меня вызвал на эту борьбу, ты мне обещал, что мы останемся друзьями; а вместо того ты меня с первого дня дразнишь и вызываешь. Будь спокоен, я Дианы пока не видел, но советую тебе от чистого сердца — не заговаривай о ней со мною, иначе тебе всегда хуже будет. Потому что ты можешь только в е р т ь; з н а т ь правду могу только я, и это всегда мне дает преимущество над тобою. Самое смешное на свете — это хвастать своими богатствами перед человеком, который только что сунул эти самые твои богатства себе в карман; пойми это — и не рискуй. Будем говорить о чем угодно, только не о Диане.

Он совета не исполнил, и странные отношения завязались между нами с того дня; я никогда не наблюдал ничего похожего, даже в книгах, кажется, не читал. Он не мог послушаться меня и больше не заговаривать о Диане: ему необходима была уверенность, он не в состоянии был провести час спокойно без полной уверенности, а между тем он понимал, что я сказал истинную правду, вытекающую из положения: он мог только верить, но знать мог только я. Эта мысль не давала ему покоя. При каждой встрече Диана жаловалась, что он ее мучит подозрениями и допросами.

Со мной он беспрестанно нервничал. Каждый день с точностью закона повторялось одно и то же: он наводил разговор на Диану, убеждал меня отказаться от бесполезной борьбы; я отмалчивался; тогда он переходил на боевой тон, насмехался, говорил мне унижительные вещи от своего имени и от ее, пока я не задавал ему стереотипного вопроса:

— А что, если все воробьи кругом в эту минуту помирают со смеху, слушая тебя и зная что-то такое, чего ты не знаешь?

Десять раз я повторил эту глупую фразу и десять раз она вывела его из себя. Он чувствовал себя в какой-то ловушке, среди полной темноты; ему необходимо было кричать, беречь свою царапину, и он раздражался против меня обвинениями во всех пороках мира, переходил к угрозам — «это плохо кончится, берегись» — несколько раз чуть не довел себя до истерики, а назавтра начинал сначала.

Однажды мы с Дианой поехали далеко за город, на кладбище, где похоронено сердце Шелли; там же могила Китса, под камнем без имени, согласно воле поэта. Мы хорошо про-

вели время. Как раз у меня тогда не было денег, и даже в придорожный трактир нельзя было завернуть: она это называла «мигранья» и приняла как новое развлечение. На десять сольдов она умудрилась купить удивительно много хлеба и салами и даже четвертушку белого вина из Фраскати; мы позавтракали на траве, она хохотала и провозгласила напыщенный тост за здоровье всех *migragnosi* в Италии, в России и в целом свете. Потом она подробно расспросила про Шелли и Китса, и почему английский язык такой некрасивый. Потом мы бродили по окрестностям, она пела песенки на диалекте, плела венки и играла в прятки с детьми; прибежала, запыхавшись, и объяснила мне, что детки — прелесть, в особенности на расстоянии 15 сантиметров.

— Почему?

— Блохи дальше не скажут.

На обратном пути мы поместились на площадке трамвая; мы были одни, я расспрашивал о Гоффредо.

— Он стал совершенно бешеный. Знаете, недавно кулаком ударил меня по голове, так что гребешок врезался и у меня кровь пошла. Все за то, что я нечаянно повторила какую-то вашу остроту. А виноваты вы.

— Чем это?

— Вы его дразните. Я вам сто раз говорила: скажите ему, что сдаётся, потеряли надежду, я недоступна, и баста. Он успокоится и перестанет мучить меня. А то и его жалко.

— Скажите, Диана, — спросил я, — вы его любите?

Она подумала:

— Я такая: я всех люблю, кто со мной хорош. Вас, его... Его больше, потому что он любит меня по-настоящему.

— А я нет?

— Вы? Я вам нравлюсь и только. Если бы не вся эта комбинация и не ваше самолюбие, вы бы и не обратили на меня внимания.

— Вы давно такого мнения?

— О, я знаю человека с первой встречи.

— Отчего же вы не отогнали меня, коли так?

Она засмеялась по-своему, потом сказала неопределенно:

— Э!

Через десять минут стряслась беда. Я уговаривал ее пробраться в мастерскую глухими переулками: в восемь часов вечера Гоффредо обещал прийти за ней туда и отвезти домой. Но ей непременно хотелось пройти по Корсо. На Корсо была

нарядная толпа. Вдруг она вскрикнула. Прямо на нас шел Гоффредо; его лицо выражало невероятную степень бешенства, а в руках у него был букет, очевидно, припасенный для Дианы. Я не успел опомниться, как он подскочил к Диане и ударил ее по щеке. Она закрыла лицо руками и бросилась в переулок, он за нею, а я за ним. Из публики сзади кто-то засмеялся, кто-то свистнул. Гоффредо нагнал Диану и вел ее теперь под руку, почти тащил, говоря на ухо, вероятно, что-то очень грозное. Я не знал, что делать. По моим тогдашним понятиям о долге кавалера, мне следовало вернуть Гоффредо пощечину; может быть, я бы так и сделал — в те годы мы храбры, — но он усадил ее в коляску и, не глядя на меня, велел ехать в Борго. Я погнался за ним в другой коляске. Извозчики, стоявшие на том углу, народ бывалый, поняли сцену и тоже засвистали нам вслед. Но самый опытный из всех был мой извозчик. Он ни за что не хотел догнать коляску Гоффредо и всю дорогу советовал мне повернуть в другую сторону, уверяя с видом знатока:

— Они помирятся, вы только не мешайте.

Гоффредо увел Диану к себе наверх. Когда я взбежал за ними, дверь уже была заперта: я постучался — не ответили. Я прислушался: за дверью Диана говорила довольно спокойным тоном, Гоффредо молчал — он, очевидно, успел высказаться по дороге. Потом у Дианы изменился тон, стал не то мягче, не то жалобнее — я испугался, не режет ли он ее, но в эту минуту разобрал, что она говорила:

— Не плачь, как тебе не стыдно!

Это меня успокоило. Гоффредо очень легко рыдал, почти до истерики; он мне рассказывал, что в семье у них кто-то страдал падучей. Я знал, что его припадки гнева кончались слезами и после этого он был безопасен, по крайней мере, на полчаса. А за эти полчаса, они, без сомнения, помиряются. Умный человек мой извозчик.

Я пошел к себе. Уже темнело, и я машинально, по привычке, поставил кастрюлю с водой на спиртовую горелку и зажег, хотя мне совсем не хотелось чаю... Я был сильно взволнован, я ругал себя за всю эту историю. Что за глупая игра? Гоффредо ее любит, а я тешу свое ребяческое самолюбие; он страдает, ее срамят посреди улицы, а я, в сущности, тоже играю дурацкую роль. Я почувствовал, что все это мне надоело.

Так я просидел много минут; вода уже кипела, а я не заметил; вдруг моя дверь отворилась, и Гоффредо вошел, не постукавшись и не снимая широкой шляпы; войдя, он повернулся

и запер дверь на ключ, а ключ положил к себе в карман. Потом он остановился у двери и сказал:

— Я с тобой сейчас расправлюсь.

И он медленно достал из кармана кривой сицилийский нож и стал его открывать зубами. Я знал этот нож — у них в Сицилии такие называются «cinque soldi» — и не раз открывал его просто пальцами, чтобы нарезать колбасы, но Гоффредо был, видимо, под обаянием своей роли мстителя и действовал торжественно и картинно, подражая «маффиозо» своего родного острова. У меня была полная уверенность, что он меня не тронет, но стильность этой сцены захватила и меня. Я рванул свою кровать и поставил поперек комнаты, между нами обоими.

— Это тебя не спасет! — сказал он и поставил колено на край постели. Тогда я взял дымящуюся кастрюлю за длинную ручку и ответил ему:

— Если ты двинешься, я тебе ошпарю физиономию кипятком. Сиди спокойно.

Он улыбнулся, — я вспомнил, что в книгах моего детства это называлось «дьявольской улыбкой» — и сказал, любезно кланяясь:

— Ничего, я подожду, пока остынет.

Я молча поставил кастрюлю на стол, потушил горелку, долил спирт из бутылки и опять поставил кастрюлю на огонь.

— Бутылка полная, — прибавил я лаконически, — сегодня купил.

Затем я взял стул и бросил в ту сторону.

— Присядь.

Он ответил:

— Спасибо, присяду.

Мы помолчали.

— Она мне все сказала, — начал он знакомым, дразнящим тоном.

— Все? — спросил я.

— Все.

Я ответил по латыни: Блаженны верующие, таковых бо есть царствие небесное.

— Все. Как ты ее нагнал сегодня на улице и как клячил — да, клячил, слышишь? клячил!! — чтобы она прошлась с тобой, иначе ты грозил отравиться. Она говорит: «Я ему не поверила — разве такой трус покончит с собой? — Но я все-та-

ки испугалась, и мне стало жалко». Так она говорит. Ты ей теперь еще более гадок, чем до сих пор. Слышишь?

— Слышу.

— Она говорит, что на тебе был потертый воротничек и ей было неловко идти с тобою рядом. Понимаешь?

— Понимаю. Само собой. Худой воротничек — это непривлекательно, что и говорить.

— Она говорит, что ты скуп, как раввин, — ты угостил ее на поллиры черствым салами и заставил пройти полдороги пешком.

— А тебе не показалось в эту минуту, что комары, вьющиеся над лампой, что-то знают и смеются над глупым Гоффредо?

Он сорвался со стула, я ухватился опять за ручку кастрюли. Он положил руки в карман.

— Ты будешь со мной драться на дуэли. На пистолетах. Через платок. Один из нас должен умереть.

— Обязательно должен? — спросил я.

— Обязательно.

— Так иди на мост св. Ангела и утопись, потому что я намерен еще пожить.

Он опять улыбнулся той самой улыбкой; его осенила новая мысль, и он ее мне изложил мягким, учтивым и ядовитым тоном:

— Да, ты прав, нам, действительно, лучше не драться. Я сделаю иначе. Под нами у трактирщика есть слуга, он из моего города и большой молодец — *i cughiani ci sannu di pulveruzzu* — (это по-сицилийски высшая аттестация мужества и опытности, но при дамах ее нельзя перевести даже приблизительно). Я его найму сопровождать Диану повсюду, и если ты только покажешься на той улице, он тебе кости переломает.

— Нанимай, — сказал я.

— А кроме того, я пойду с Дианой в полицию, к самому квестору, и она заявит, что она моя невеста и ты ей не даешь проходу. Тебя выслет из Рима, можешь быть уверен. Квестор меня знает!

Я ответил:

— Мне действительно рассказывали, что квестор тебя знает и что ты ему даже оказывал маленькие услуги. Впрочем, это, кажется, не тут, а в Сицилии.

— Да я и без квестора обойдусь! — вскричал он. — Я пойду в русское посольство и заявлю, что ты компрометируешь свое отечество; они тебя этапом доставят в Россию и отдадут на попечение родителям.

— Ты дурень, — сказал я, — в русском посольстве тебе велят изложить это на бумаге и прийти за ответом через два месяца.

— Кончим это! — крикнул он. — Я тебе приказываю поклясться сию же минуту, что ты оставишь Диану в покое!

Я сказал:

— Ступай домой, Гоффредо. Не заставляй меня доливать горелку.

Он опять схватил нож, а я кастрюлю. Тогда он тяжело задышал, отпер дверь и вышел, а в сенях повернулся и сказал мне с глубоким убеждением:

— Ты злое, бессердечное существо, пусть тебе судьба отравит каждую минуту счастья.

В полночь ко мне вошла Диана. Я читал в постели; я приподнялся и удивленно взглянул на нее.

Она сказала:

— Меня прислал Гоффредо. Он ждет внизу.

— Что такое?

— Я должна вам наговорить кучу ужасных вещей, гром и молнию.

— Вы и так ему наговорили достаточно по моему адресу, — ответил я с горечью.

Она простодушно объяснила:

— Он меня щипал.

Я невольно улыбнулся: она смотрела на меня так наивно, миловидное личико было совсем спокойно, на синем отливе белков ни следа слез, не все пуговицы блузки были застегнуты, и каштановые волосы едва закручены. У нее бывали минуты, когда не было во всем Борго девушки лучше ее. Мне стало грустно, что сейчас она мне объявит о необходимости больше не видеться. Но она вместо того сказала:

— Завтра я весь день проведу с ним. Хотите, послезавтра утром, в восемь часов, на Пинчо, у большой стены?

И протянула мне руку; я взял обе и привлек ее к себе. Она испуганно оглянулась на окошко, и вдруг ей стало смешно. Она закинула голову и засмеялась, но не как серебряный звончок, а тихо, как шелест шелковистой травы под ветерком, перед зарею, а Гоффредо ждал внизу.

Все-таки через пять минут я остался один, и скверно было у меня на душе. Мне представилась сторона этого дела, которую до сих пор я как-то упустил из виду: что мы с Гоффредо, в сущности, как он тогда верно сказал у Араньо, играем в шах-

маты, а ставка у нас живая, и каждым ходом мы ее глубже запутываем во что-то нехорошее. До встречи с Гоффредо у нее не было ни с кем настоящего романа. Мы это знали наверное. Прошло два месяца, и вот она в один и тот же час и его и моя, так мило, легко, беззаботно. Зачем мы ее заманили на этот путь? И даже не мы, а я?

Мысли перешли на нее. Я до сих пор не умею «раскусить» человека. Знаю часто его привычки, знаю, что он сделает или скажет в любом случае, но определить его одной формулой, свести отдельные, хорошо мне знакомые черты к немногим основным свойствам, поставить диагноз личности — это никогда мне не удастся. Я живу с человеком годами и затрудняюсь сказать, добрый он или злой. В то время я был, понятно, еще слабее по этой части; Диана мне казалась величайшей из загадок мира сего. Для чего ей все это? Чувство? Может быть, его она еще любила, но ко мне была, по крайней мере, так же равнодушна, как я в глубине души к ней. О власти темперамента смешно было и подумать — ей недоставало еще добрых пяти лет до того дня, когда из этой *gamine* вырастет женщина. Не могло быть и расчета: Гоффредо за все время подарил ей кушак и перчатки, а я был и вовсе «миграньозо». Без любви, без страсти и корысти, зачем она скользила по канату между Гоффредо и мною, терпела его грязню и побои и такой стыд, и необходимость каждую минуту быть на стороже, лгать, изворачиваться? Тогда не мог понять, и по сей час не понимаю.

В восемь часов утра, на послезавтра, я был на Пинчо: может быть, опоздал на пять минут, и Диана была уже там. Она стояла спиной ко мне у парапета большой стены. Я остановился, смотрел на нее, и мне пришла в голову новая, хмурая мысль. Эта большая стена была любимым местом девических самоубийств. Точно такие *sartine*, как Диана, приходили сюда, надев чистое белье с самыми нарядными кружевами своего бедного гардероба — «чтобы городской не смеялся» — и бросались на мостовую с огромной высоты; каждую неделю случалось такое дело, и в газете «Месаджеро» даже был для этих случаев постоянный заголовок: «*Dal muraglione del Pincio*». Не придет ли за этим сюда через несколько лет и Диана? Чем она хуже других и чем она лучше?

Она стояла у парапета, заглядевшись пока не на мостовую внизу, а на Рим. Ночь была холодная, город только что начал освобождаться из тумана. Здания и площади уже были видимы,

но так, как видимо тело женщины сквозь летнюю ткань или как в очертаниях подрастающей девочки предугадываются будущие линии полного расцвета — полутенью, полутонном, полунамеком. Казалось, Рим заново создавался перед нами, уже задуманное, грандиозное, но недосказанное диво.

Я окликнул Диану; она сказала: «Как красиво!» — и я увидел у нее две слезинки на ресницах; если бы мне это рассказал другой, я бы не поверил.

Я повел ее в аллею и сказал ей, что во всей этой путанице нет ни капли смысла. Гоффредо мучит меня насмешками, и я не могу положить им конец; в отместку извожу его пыткой неуверенности, а он свою муку срывает на Диане, и она расплачивается за всех троих. Стоит ли? И ради чего?

— Добро бы вы хоть любили меня, но ведь этого нет?

— Э! — неопределенно ответила она и после прибавила: — я же вам говорила третьего дня...

Я ее тоже не любил, но в эту минуту мне показалось, что я мог бы всю жизнь играть ее каштановыми прядями и слушать ее смех. Неизъяснимая нежность переполнила мою душу, в гортани защекотало, что-то горячее подступило к глазам и остановилось на самом пороге. Я сказал:

— Бог с тобою, довольно, и так я тебе сделал много зла. Попрощайся со мною, поди своей дорогой и не поминай лихом нашего часа. Только уходи сейчас, а то тяжело.

Она взяла мою руку, погладила, посмотрела мне в глаза, улыбнулась грустно и так тонко, словно много знала о себе и обо мне такого, о чем не говорится, потом сказала:

— Хорошо, я пойду, проводите меня до конца аллеи, — и пошла.

Я шел за нею. В конце аллеи мы остановились. Она подавала мне руку и стояла спиной ко мне. Я глухо сказал:

— Диана.

Она глухо отозвалась:

— Что?

Я спросил:

— Если вы не любили, зачем все это?

Долго она думала, не отнимая руки у меня, потом сказала:

— А я откуда знаю?

И ушла, не оглядываясь, только на обороте еще раз улыбнулась и пропала с глаз.

В полдень я уложил свой чемодан и переехал к другому приятелю, не помню теперь, как его звали и кто был он такой, и был ли рад гостю, все равно. Помню только, что жил он в дальнем квартале, куда редко забредают люди из Борго. Оттуда я послал Гоффредо письмо: «Всего доброго. Если узнаешь мой адрес, не тревожь меня». Сам я никуда не ходил и не помню, о чем думал и что делал; кажется, ничего.

Так ушло несколько недель, настало мне время ехать домой, и по стечению личных и семейных дел видно было, что я, должно быть, уж не вернусь обратно. Тогда ощутил я, что нет на свете места, где можно человеку жить после Рима; мило, как улыбка покойного друга, стало мне все, что я знал, видел и пережил в этом городе — дома, случаи, люди. В вечер накануне отъезда я взял коляску и объехал несколько любимых мест, только в Борго не велел ехать. Но меня на Корсо заметили молодые люди и закричали:

— Куда вы спрятались?

А один прибавил:

— Бедный сицилийский друг ищет вас по всем катакомбам.

Я им крикнул:

— Завтра еду в Россию, «чао!»

Никто не провожал меня. Кондуктора уже прокричали: «In vettura!» и захлопнули дверцу моей уютной клетки. В это время я услышал знакомый свисток, на мотив припева Марсельезы.

Гоффредо шел вдоль поезда, заглядывая в окна третьего класса. Я не откликнулся. Жгучая горечь поднялась к моему горлу, прежде, давно не испытанное чувство обиды и унижения прихлынуло к вискам.

Он меня увидел:

— Отчего ты не известил меня, что уезжаешь? — спросил он, бегая глазами.

Я ответил:

— Долго объяснять, сейчас тронется поезд.

Он сказал:

— Я узнал и пришел пожелать тебе счастливой дороги. Когда вернешься?

— Я больше не вернусь.

Он замолчал. Ему было не по себе. Я не понимал, зачем он пришел сюда, но видно было, что ему опять хочется заговорить со мною просто и задушевно, как прежде, только он не

находит первого слова, и я должен начать. Оставалась минута или меньше, и вдруг это все мне показалось ужасно безразличным. Я внутренне махнул рукой и хотел сказать ему что-нибудь ласковое, но в эту секунду старший кондуктор закричал: «Partenza». И от этого слова мое чувство безразличия как будто еще углубилось и прошла даже охота сказать Гоффредо ласковое слово. Голос его дрожал:

— Ты сейчас уедешь. Ради всего святого!

Младшие кондуктора повторяли разными голосами на разных расстояниях от нас: «Partenza, Partenza!» — и мне казалось, что все уже далеко, все расплылось в одном бесцветном пятне; я скверно провел ту ночь, спать мне хотелось, а не разговаривать.

— Ради нашей бывлой дружбы! — сказал Гоффредо, держась за раму. — Я живу без минуты покоя. Я так больше не могу. Я хочу знать, я тебе клянусь — я не скажу ей ни слова, я сейчас забуду все, что ты мне откроешь; только дай мне вздохнуть свободно, ради Господа Бога!

Поезд пошел, и Гоффредо пошел с поездом, не выпуская рамы. Он смотрел на меня с отчаянием и растерянностью и повторил еще два раза:

— Я сейчас забуду, только скажи.

Поезд пошел скорее.

— Прими руку, милый, — сказал я торопливо и отогнул его пальцы осторожным движением. Маленькая заботливость его тронула, дала ему какую-то надежду, радость, почти жадность мелькнула в его глазах; он сложил руки и заговорил, ускоряя шаг вровень с вагоном:

— Ну? Одно слово. Если что было, скажи да, если ничего не было, скажи нет. Я остановлюсь, если тебе неловко, ты мне крикнешь издали, только крикни громко. Только крикни! Я тебя умоляю. Ты меня отравил, ты меня придавил к земле, освободи меня...

Он остановился и протянул ко мне руки; поезд уходил; я облокотился и смотрел на него с любопытством. Его лицо померкло снова, между нами было уже несколько метров расстояния; он изо всей силы крикнул:

— Скажи!!!

Я невольно засмеялся и отодвинулся от окна, а поезд пошел еще скорее.

ТРАТТОРИЯ СТУДЕНТОВ

Однажды я с приятелем поздно вечером набрел на харчевню, на вывеске которой значилось:

«Латинский квартал. Студенческая трагатория».

Мы вошли. В первой комнате не было никого; вторая наполнена была молодежью. Почти у всех на головах пестрели бархатные факультетские береты: редкость, потому что вообще итальянские студенты не носят своих традиционных головных уборов. Стены были расписаны масляной краской: видна была нелепая, но небездарная рука. Тут были все шесть героев «Богемы» в разных позах и комбинациях, но главное место занимали карикатуры и портреты завсегдагаев этой самой харчевни. Оригиналы фресок сидели тут же группами и орудовали безобразными итальянскими картами, выкрикивая:

— Тройка чаш!

— Конь мечей!

— Туз палиц!

— Валет гривен!

Одна, впрочем, из групп оказалась более серьезно настроенной. Насколько можно было понять, они обсуждали древний вопрос: какой есть наивернейший способ хорошо сдать экзамен? Мы пришли к разгару прений и начала не слышали, но было ясно, что один из возможных способов исключался а priori и бесповоротно как слишком примитивный и грубый: слушать лекции. Шапочки на них были юридические — мой факультет — и, действительно, ни одного из них я в аудитории не видал; впрочем, и они меня тоже... С разных сторон предлагались разные методы, иногда в качестве гипотезы, еще подлежащей проверке, а иногда на основании опыта. Из последнего разряда мне запомнился один. Рассказывал толстый римлянин с лицом Сократа, если Сократа побрить:

— Прихожу я на экзамен по инструкциям, с самыми серьезными намерениями, а именно — не сдавать. Собственно, только ради Чиччо пошел. Чиччо в меня верит: «такая физия», говорит, «верное средство против дурного глаза». Сел я в уголочек и жду очереди — чиччиной, понятно, не моей, — а пока слушаю, как Филомузи спрашивает. Вижу — свирепо спрашивает.

— Мямлите вы, — говорит. — Курс, пожалуй, знаете, но для юриста этого мало. Юрист не медик. Ответ юриста должен быть блестящий ответ. Меткий. Целый том в одной фразе!

— Студенты от страха в поту, а он требует блеска. Совсем, понятно, смутились, один за другим проваливаются, а бедный Чиччо стучит зубами и шепчет: «дай еще раз взглянуть на твою физию...»

— Вдруг, — смотрю — Филомузи глядит прямо на меня. Узнал, мерзавец! «Ага?» говорит, «синьор Малатеста? Редкий гость, редкий. С полгода уже не видал вас на лекциях. Что ж, удостоить решили, сдать экзамен?»

— И тут у меня вдруг разразился в душе громовой удар вдохновения. А, тебе нужен блеск? остроумие? целый том в одной фразе? Отлично. Я встаю и громко отвечаю: *sum beneficium inventarii*, профессор: хочу раньше послушать, строго ли вы нынче экзаменуете!

— Вижу: остолбенел профессор. Глядит на меня, словно глазам не верит. Потом посмотрел вокруг, ткнул в меня пальцем и сказал:

— Учитесь. Осел ослом, а отвечать умеет. Будете адвокатами, будете депутатами — вот как надо парировать. И хоть он невежда, но, вам всем в назидание, ставлю Малатесте высшую отметку.

Слушатели отнеслись сочувственно, смеялись и кивали, только один заметил совершенно серьезно:

— Все-таки не в этом вопрос. Малатеста, как ни как, очевидно просмотрел главу о наследственном праве. Задача в том, как извернуться, не прочитав вообще ни одной страницы.

В это время с другого конца комнаты на всю харчевню загудел внушительный бас, явно тосканский бас, произносящий «Энрихо» вместо «Энрико». Владелец его, красивый бородач лет тридцати пяти, без пиджака, в берете инженерной школы, явно обращался ко всей траптории и явно имел на то какие-то права.

— Внимание! Имею честь и удовольствие донести до сведения всех факультетов и курсов, что друг наш синьор «Энрихо» Ромуальди вчера получил первый приз за сонет в «Лазурной Жабе»!

Все захолопали, а я с любопытством всмотрелся в лауреата. Имя его я слышал, о нем говорили на окраинах литературной кружковщины, с которой я иногда встречался по долгу газетной службы, а «Лазурная Жаба» считалась нечестивейшим из декадентских подвалов, где, по слухам, ежемесячно устраивались черные мессы; три господина, каждый из другого источника, давно рассказывали мне об этом, хотя в чем заключается черная месса — объяснить не умели.

Лауреат оказался по виду подходящий: бледность, фиолетовые веки, черная бородка, бархатный воротник-ошейник, широкополая шляпа с высокой тульей: именно все так, как я представлял себе лазурную жабу.

— Внимание! — гудел бас в инженерном берете. — От вашего общего имени прошу синьора «Энрихо» Ромуальди прочесть нам оный премированный сонет. После чего — угощаю марсалай!

— Bravo, сор Эджисто! — закричали голоса со всех сторон. — Эввива хозяин!

И я с удивлением понял, что басистый флорентиец и есть содержатель этой харчевни.

— А зачем на нем шапочка инженерной школы? — шепнул я кому-то из завсегдатаев.

Он ответил очень рассудительно:

— Чтобы не простудить лысину.

Между тем лауреат уже встал, выбрал удобное место, оперся о подоконник правым локтем, нашел это неудобным, оперся левым, велел завесить газетой одну из ламп, потом другую, взял слово с сор Эджисто, что во время декламации половые не будут подавать — можно было бы еще десять строк заполнить его приготовлениями, но в конце сонет свой он прочел. Читал он, действительно, хорошо, низким грудным голосом, из-за которого каждое слово казалось непривычно ценным. А сонет был приблизительно такой:

Гашиш

В терзаньях неги одинокой
Я воскресал и умирал.
С Нагорной Троицы далекой
Колоколов плывет хорал.

Я гасну телом, никну духом,
Тускнеет ум, мутится взор;
И этот звон гремит над ухом
Неотвратимый приговор.

И — не касаясь, но сжигая —
В объятья призрака маня —
На ложе пытки вновь меня
Влечет она, мечта нагая,
И в упоительном бреду
Зовет «приди», и я иду...

Это приблизительно; у него слова были мудренее и слов много больше, но смысл тот самый. Я перевел это через месяц, по просьбе автора, и за то был допущен в «Лазурную Жабу», только черной мессы там никакой не оказалось...)

Похлопали. Половой раздал сор-эджистову марсалу; сквозь чоканье я расслышал такое замечание одного соседа другому:

— При чем тут гашиш? Дело житейское.

Все его расслышали, и долго хохотали, и Энрико Ромуальди с ними.

...В харчевню вошел человек без пальто, в костюме между приличным и трепаным, снял шляпу и начал натасканным тоном уличного продавца специальных откриток:

— Господа, прошу позволения произнести несколько слов перед этой *illustre assemblea*.

Воцарилось молчание.

— Слово принадлежит *onogévole* неизвестному, — сказал сор Эджисто, даруя вошедшему депутатский титул.

— Синьоры, — начал неизвестный, — вы сочли бы человеком неблаговоспитанным и даже не джентльменом того, кто бы осмелился заглянуть в ваш карман или попробовал бы выпытать у вас сведения о сумме, какую ежемесячно предоставляют в ваше распоряжение почтенные ваши родители или законно заменяющие таковых лица. Но я, не покушаясь на такой непристойный образ действий, просто и искренно позволю себе напомнить вам, что, какова бы ни была эта сумма, ее роковым образом хватает студенту не на месяц, а только на три недели.

— Совершенно верно, — поддержала аудитория, а сор Эджисто кивнул головой.

— Роковым образом, говорю я, ибо, если увеличить эту сумму для каждого студента на недостающую треть или, если угодно, четверть, то получится то же самое, то есть три недели веселого житья и одна неделя *migragna*.

— *Evviva la migragna!*

— При всем почтении не могу согласиться. Напротив, долой, *abbasso la migragna*. Из-за нее у студента воротнички из белых становятся серыми, истрепанные брюки не заменяются новыми, модисточку нечем угостить, и она переходит к художнику. *Nossignori, migragna* — вещь неприятная... и вместе с тем неизбежная. Но я, синьоры, пришел предложить вам спасительное средство для уничтожения этого недуга! Прошу внимания.

— Внимание, господа, это интересно.

— Синьоры, как бы вы ни относились к правительству, вы должны признать, что им создано одно безукоризненно благотворительное учреждение. Я имею в виду институт, именуемый официально Горою Милосердия и служащий для выдачи ссуд под заклад предметов обихода. Не буду распространяться о достоинствах этого института, ибо имею честь говорить перед молодежью образованной — и опытной. Я перейду прямо к моей задаче. Моя задача: выяснить, путем чистой дедукции, свойства идеального предмета, наиболее подходящего для залоговой операции. Во-первых, это не должен быть предмет первой необходимости, под каковым определением я понимаю предмет, выставляемый обыкновенно на вид окружающему обществу: это не должно быть ни новое пальто, ни золотая цепочка, ни дорогие запонки, ни кольцо, ибо такие заметные предметы самим своим фактом своего внезапного отсутствия подчеркивали бы состояние миграньозности, тогда как наша цель — уничтожить оную. С другой стороны, идеал закладываемого икса не должен, однако, быть и совершенно бесполезным предметом: например, если это — золотая лицейская медаль, то однажды попав на вершины Горы Милосердия, она там и останется навеки. Необходимо, чтобы в самом предмете заключалось побуждение к скорейшему выкупу. Правильно ли я рассуждаю?

— Правильно, — отозвался один голос.

— Но слишком распространенно, — отозвался другой.

— Я приближаюсь к окончанию, синьоры. Мне осталось сделать еще одно указание относительно свойств искомого идеального предмета: он не должен быть слишком дорогим. Если под него Гора Милосердия будет выдавать слишком большие суммы, то цель наша — уничтожение «миграньи» — не будет достигнута, потому что предмет такой цены, раз заложенный, уже нелегко выкупить, и в конце ближайшего месяца наш студент окажется опять « в зеленом состоянии ».

— Покороче.

— Я кончил, о синьоры. Мы вывели такой рецепт для получения требуемого идеала: предмет не первой необходимости, но и не излишний, и притом не слишком дорогой. Что же это за предмет?

— Носовой платок? Подтяжки? — попытались состричь слушатели.

— Нет. Часы! Позолоченные— но отнюдь не золотые. Их отсутствие не бросается в глаза, ибо часы носят в карманах; значит, их отсутствие не будет компрометировать студента, как компрометировало бы отсутствие цепочки. Необходимость же часов для студента есть понятие относительное. Если студент и опоздает на лекцию, это не беда. А на свидание он все равно не опоздает. В то же время за серебряные позолоченные часы на Горе Милосердия дают от тридцати пяти франков — сумма, которой вполне достаточно на приличную жизнь в течение одной недели.

— Уфф! — закричал сор Эджисто, — показал бы нам прямо часы и сказал бы, сколько они стоят, вместо всей этой философии. Ну, вытаскивай их из кармана.

— Извольте, — ответил неизвестный. — Я удивляюсь проницательности почтенного хозяина. Вот часы, идеальные серебряные позолоченные часы, в продаже стоящие сто франков и на Горе Милосердия ценящиеся в тридцать пять. Я уступаю их за пятьдесят франков и на условиях самой выгодной расщочки.

Часы обходят аудиторию. Никто их не покупает; неизвестный благодарит, желает всего лучшего *illustre assemblea* и уходит, и мы за ним.

VIA MONTEBELLO, 48

Уже давно Дзина зарыта под каменным крестом без венков на Кампо-Санто, и все мы четверо слишком ленивы, чтобы ходить к ней на могилу. Я даже ни разу не видел этой могилы. Но иногда по вечерам за работой неожиданно в мою память врываются несколько нот знакомого напева, и я тогда начинаю мучительную напряженную погоню за продолжением этой мелодии. Оно никогда не дается, и печальная любимая песенка Дзины по-прежнему остается в моей душе живым, но неуловимым, лишенным очертаний, воспоминанием.

«Fiore di giglio». Только что я нашел случайно слова этой песенки в старой грязной записной книжке; мне вдруг захотелось перевести их и рассказать о Дзине все, что знаю. В глубине души сам себя подозреваю, что главный мотив у меня — амбиция непризнанного стихотворца, — что не будь серенады, я бы и рассказом пренебрег: очень уж он обыкновенный...

Познакомил нас Гоффредо. Это был его стиль: как только у него появлялась новая подруга, он сейчас же спешил сдружить с нею того, кто в данный день был его лучшим другом, радовался, если подруга находила друга simpatico, и в конце концов предлагал другу поцеловать ее. В то время лучшим другом случился я. Дзина была очень мила: семнадцать лет, глаза ребенка, славное овальное лицо, чистосердечное и доброе. Она училась шить в одной лавке на улице Фонтанелла, была круглой сиротой и жила у родственников за рекой.

Гоффредо на второй день своего знакомства с нею посадил нас обоих на дрожки, так что Дзина была посередине, велел извозчику поднять верх и повез нас за город. Был теплый пасмурный день, начало весны, уже смеркалось; хозяин загородной корчмы не ждал гостей и с большим трудом устроил нам ужин из макарон без масла, жареной курицы и сосисок. Но белое вино было прекрасно, погода тихая, и мы провели вечер хорошо и уютно. Дзина спела нам свою песенку и простодушно объяснила, что слова и музыку сочинил в ее честь, для серенады, ее первый возлюбленный; Гоффредо пространно и цветисто — по-своему, должно быть, искренно — предложил ей рассказать об этой первой любви и не бояться, ибо душа его в эту минуту ясна и не ревнива. Тогда Дзина, между макаронами и курицей, при свете толстой свечи, приклеенной к скатерти, рассказала нам свою повесть:

Встретилась она с поэтом около прошлого Рождества. Он тоже студент, как и мы, теперь учится в Болонье и иногда пишет ей письма. Все хотел провожать ее по вечерам из лавки домой, но она боялась тетки. Тогда он сочинил эту серенаду и спел ее ночью под их окнами, то есть не всю целиком, конечно, а только начало. Тетка услышала и сказала, что пожалуется мужу. А дядя вспльчивый, ни за что готов схватиться за нож — romano de Roma.

Как раз на другой день после этого хозяйка послала Дзину отнести заказчице верхнюю кофточку. Заказчица оказалась барышней-учительницей, лет давно за тридцать. Дзина сразу заметила, что она не в духе. В кофточке пришлось переставить какие-то пуговицы, и Дзина тут же присела шить и, чтобы как-нибудь развеселить барышню, похвалила комнату за то, что все стены были увешаны детскими портретами с надписями, и прибавила:

— Ах, и мне бы хотелось стать учительницей в школе, а не портнихой!

В ответ барышня разразилась истерикой. Из ее выкриков и, когда успокоилась, признаний выяснилась Дзине история еще более обыкновенная, чем собственная история Дзины. Передать рассказ барышни Дзина толком не могла, и незачем было: и без того ясно — вялая безрадостная жизнь, опустылевшая «любовь» учениц вместо другой любви и роковая фраза-рефрен:

— Для чего я себя берегла? Дура!

Досказывать почти нечего. Ночью поэт снова запел под окнами «Fiore di giglio» — «Цветок лилии! у тебя в белой груди душа еще белее...» Дзина была под влиянием жалоб той учительницы, и, затем, она боялась, как бы опять не проснулась тетка; она приоткрыла форточку, шепнула ему: «Тсс! Zitto» и прокралась к двери и сбежала вниз, без шарфа — а дело было перед Рождеством и дула трамонтана. Дзине стало холодно, молодой поэт повел ее к себе домой и там, как она выражалась, обещал на ней жениться. Утром тетка выследила ее возвращение. Дзина провела очень тяжелый месяц, а дядя объявил, что если что-нибудь еще раз случится, он вышвырнет распутную девчонку на улицу. А студент раздумал жениться и к концу учебного года переселился в Болонью.

В заключение Дзина еще раз спела «Fiore di giglio». Я думаю, что это печальная серенада, посвященная какой-то умершей красавице, не могла быть написана для Дзины, но Дзине она очень нравилась, и по удовольствию, с каким она пела, видно было, что у нее не сохранилось никакой досады на поэта. Только любовь к нему прошла: Дзина была вся пленена и побеждена моим Гоффредо, его желтыми волосами и странным нарядом.

После этого ужина я не видел Дзины недели с две и встретился с нею в совершенно другой обстановке. Дело в том, что мы с Гоффредо и его младшим братом Лелло решили поселиться вместе; через три дня после этого решения Гоффредо объявил мне, что с нами будет обитать Джино (его лучший друг), — я пожал плечами и согласился; через неделю Гоффредо сообщил мне, что к нам присоединится Дзина. У него и Джино были насчет Дзины обычные проекты, вышедшие давно из моды в России, но очень смелые для Рима: обучить ее живописи (они усмотрели в ней дарование), развить умственно и, вообще, спасти. Я опять пожал плечами и не возражал.

Я не знаю, как Дзина развязалась с теткой и вспыльчивым дядей, только, действительно, она поселилась с нами четырьмя: на отдельной квартире о пяти комнатах, с кухней, via Montebello, 48, бель-этаж, сто двадцать пять лир в месяц, договор на год, швейцар к услугам... и длинный час ходьбы от университета.

И мы зажили на удивление и беспокойство всей улицы, которую особенно пугал Гоффредо.

Высокий, желтоволосый, желтоусый, белолицый, он выходил из дому во всем черном и в черном пальто до пят. Фигура представительная, но страшная на вид. На него оглядывались, и он был очень доволен, потому что обращать на себя внимание считал главной целью жизни порядочного человека. Впрочем, это был славный малый с огромной фантазией и живостью.

Джино был в другом роде. Надо рассказать, как я с ним познакомился.

Незадолго до моей первой встречи с Дзиной, я застал однажды у Гоффредо невысокого франтика лет двадцати, с желтым лицом и черными закрученными усиками, в коротеньком модном пальто в виде колокола, и жилет фантэзи. Он процеживал сквозь зубы свой неприятный абруццкий выговор, и все его мысли, все его движения тоже казались процеженными. Он посмотрел на старое разбитое фортепиано и сказал мне:

— Когда мои пальцы касаются таких пожелтелых клавиш, мною овладевает странное сладострастие при мысли о том, сколько рук оставили на слоновой кости невидимые поцелуи увлеченной души.

Потом его мышинные глазки увидели на столе «Изаотту» Д'Аннунцио; он сказал:

— Господи, сколько времени я уже не видел дорогого моего Габриэле! Больше двух недель, как он ко мне не заглядывает.

Вот вам Джино; я только прибавлю, что он писал звучные сонеты, и приведу один из них в точном переводе:

«О срезанная коса, о белокурая, в драгоценный ковчег заключенная коса умершей монахини! (Но что за эхо воскресшего голоса доносится из гробниц?). И я, замечтавшись странными снами, кладу твою косу, монахиня, на твой гроб. (О извилистая коса, пламенеющая и все еще живущая и говорящая о ненасыщенном желании покоя!) А ночь темна. Высоко и глубоко легли повсюду тени, и на побежденном Ужасами

кладбище видны только отсветы блуждающих душ — страшные, громадные призраки. Белые монахини воздымают руки — холодные тонкие — и разрывают свои шарфы, обвиняя себе шею твоими белокурыми прядями».

И таков он был и за обедом, и во сне, и всегда, и повсюду.

Лелло, брату Гоффредо, было семнадцать лет. Он готовился к экзамену зрелости, был кроток, мягок, нервен, поддавался чуждому настроению, подчинялся брату и очень любил Дзину...

Хорошее было время. По утрам Дзина стучалась в дверь комнаты, где спали Лелло и я, и приносила нам по чашечке крепкого черного чаю, который мы, ленивцы, пили в кровати. Потом, одевшись, я выходил в кабинет-гостиную, на дверях которой Гоффредо начертал: «Да будет здесь правилом молчание». Комната была — по мнению Гоффредо и Джино — красиво убрана, увешана портретами, завалена газетами, а посередине стоял круглый стол, разделенный на четыре места. Перед местом Лелло лежали учебники, перед моим была пустота, перед местом Гоффредо красовалась стопа дорогой серой бумаги и «Заратустра» по-итальянски, перед местом Джино — стопа такой же бумаги и «Заратустра» по-французски. Нередко с утра Джино и Гоффредо сидели уже на своих местах и строчили, когда я входил, Гоффредо выражал желание «Апостол»; если мне удавалось отговорить его, тогда Джино предлагал мне послушать свежую сцену своей психологической драмы, и тут уж нельзя было уклониться, а затем Джино неизменно советовался со мною, как озаглавить пьесу — «Победители» или «Побежденные». Между тем на столе, в особом треножнике, постоянно курился ладан, а на окне лежало под солнцем около полдюжины фотографических пластинок с портретами неведомых мне синьорин, и Джино поминутно бежал к ним менять бумагу. Около двух часов Джино, Гоффредо и я уходили из дому «по делам», а к Аве-Мария, то есть к сумеркам, все были опять в сборе. В столовой зажигалась всякая лампа, и начиналось пиршество. Гоффредо варил макароны художественно, Дзина изобретала жаркое, мы впятером выпивали четыре литра кьянти, потом ели яблоки и шоколад, потом пили чай, а потом пели хором сицилийские песни, которым нас обучили Гоффредо и Лелло, сыны благословенного острова. У меня в ушах до сих пор звенят эти заунывные, протяжные песни:

«Светило дня уйдет — и вновь вернется;
Уйду и я, — но не вернусь вовеки...»

Или Дзина, которой Джино вторил на мандолине, заливалась ритурнелью серенады, незадолго до того премированной на всенародном годовом состязании близ пещеры Позилиппо в Неаполе:

«Ой Мари, ой Мари,
Я не сплю от зари до зари:
Дай мне уснуть
Этой ночью с тобой грудь о грудь...»

Потом начиналась русская музыка или скорее цыганская: я научил их петь «Мой костер в тумане светит», и они (мне было велено не портить ансамбля) хором стонали: «Кетото дзаффтра, анджель мо-и...»

И за полночь все кончалось любимой серенадой Дзины «Fiore di giglio».

Хорошее было время. И никого мы не боялись, и на лекции не ходили, и никому не делали зла и не мешали...

И через десять дней эту идиллию пришлось оборвать. У Гоффредо и Джино было по невесте, и эти две невесты приходились друг другу сестрами; эти невесты узнали, что в нашем монастыре живет девица, и рассказали своей матери. Из того, что вознегодовала не только невеста Гоффредо, но и невеста Джино, можно понять, как эти дамы истолковали роль Дзины в нашем доме. Если бы третья сестра была невестой Лелло, а четвертая моей, против бедной Дзины выступили бы четыре ревнивицы вместо двух. Но и двух было достаточно. Их мать призвала Гоффредо и Джино в кабинет и объявила им ультиматум.

К чести моих друзей надо сказать, что они два дня колебались. За эти сорок восемь часов Джино только молчал и дулся. Гоффредо, натура слишком действенная, не мог. У него те двое суток разделились на три периода. В первом периоде он был усиленно нежен с Дзиной, но придирался к бедному брату Лелло — даже заставил его сказать наизусть *plusquam perfectum passive* от греческого глагола «апопемпо», а это очень трудно: апепепеммен, апепепемпсо... Во втором периоде он стал к Дзине утонченно вежлив, а придирался ко мне — пока я не пригрозил, что начну браниться по-русски, но в точном итальянском переводе. Тогда наступил у него третий период: он стал придирааться к Дзине.

На третий день, перед вечером, он и Джино надели рединготы и ушли вести переговоры об условиях капитуляции.

Лелло переводил Софокла в Комнате Молчания. Я лежал у себя на кровати в темноте. Дзина подошла ко мне и тихо сказала:

— Мне, Миро, нужно с вами поговорить.

— В чем дело, Дзина? — отозвался я.

Она села на край моей постели и спросила:

— Вы мне скажете правду?

— Не знаю, — ответил я, но вдруг догадался, о чем она заговорит, и прибавил: — Правду.

Она спросила:

— Джино и Гоффредо хотят от меня избавиться?

Я ответил:

— Да.

Она поднялась.

— Я сложу свои вещи.

Я вышел за нею и помог ей застегнуть полотняный чемодан. Я спросил ее:

— Куда вы переберетесь?

— К Элене: это — модистка, моя подруга, она живет одна.

Когда все было готово, она пошла к Лелло, поцеловала его и сказала, что больше с ним не увидится. Лелло был до того поражен, бедный мальчик, что мгновенные слезы утопили его голос: он, молча дрожа, стоял на площадке лестницы и только тогда, когда Дзина снизу махнула ему рукой и крикнула последнее прощальное: «Чао, Ле!», — он полуслышно отозвался: «Чао, Дзи!...»

Возле виллы Семирадского она остановила извозчика и попросила меня сорвать ветку ранней сирени, свесившуюся из-за каменного забора, потом я довез ее до дома, где жила Елена. Я поставил ее чемодан на первую ступеньку лестницы и хотел позвать швейцара, но она сказала:

— Не надо, спасибо. Эту ветку сирени передадите от меня Гоффредо. Чао, Ми...

— Чао, Дзи...

Больше я не видел ее. Ветку сирени я сначала думал отдать по назначению, но потом предпочел сохранить для себя, и она у меня затерялась.

Осенью, в России, я получил письмо от Лелло: он прочел в газете «Мессаджеро», что Дзина-Гуальберта Де-Санктис, римлянка, восемнадцати лет, отравилась раствором сулемы.

Это все, что я знаю и помню о Дзине. Лелло, у которого хороший слух, верно, еще помнит мотив ее любимой серенады, но я с тех пор и его больше не видел.

Я только что перечел ту серенаду и уступил искушению перевести ее. Она, вероятно, была сочинена не для Дзины, но судьба Дзины сложилась именно так, как говорится в этой серенаде.

Цветок лилеи,
твоя душа незлобная белее
груды твоей была.
Цветок отрады,
вокруг тебя сам Бог возвел преграды
от бурь земного зла.
Цветок гвоздики,
мой бедный сад, где травы были дики,
ты негой залила.
Цветок отрады,
как молния, был миг моей награды,
и сжег тебя до тла.
Цветок сирени,
ты свой убор покинула весенний,
когда весна прошла.
Цветок отрады,
созреет день — и утру нет пощады:
ты с утром отцвела.
Цветок мимозы,
свернулась ты, лишь только перст угрозы
коснулся до чела.
Цветок отрады,
тебя сам Бог под сень святой ограды
унес из мира зла.

БИЧЕТТА

Я жил тогда в очень бедном семействе почтового чиновника, против капуцинского монастыря. Чиновник постоянно возил почту на юг и на север, и это мне в нем очень нравилось. Дома оставалась его пожилая жена, добрая и неглупая женщина, и две дочки. Старшую звали Ольга, младшую Биче.

Биче было пятнадцать лет. У нее было такое славное серьезное личико, что все приходившие ко мне заглядывались и потом говорили:

— У твоей хозяйки прелестная дочка.

Мне там жилось очень уютно. Дверь моей комнаты выходила прямо на лестницу, а снаружи, рядом с дверью, висел выдолбленный чурбан для цветов, наполненный землей. Но цветов там не было, а лежал там ключ от моей двери. И все мои приятели знали, что ко мне можно прийти в любой час, взять из чурбана ключ и расположиться, как дома.

По утрам, около половины восьмого, ко мне стучались. Я просыпался и спрашивал:

— Кто там?

— Кофе.

Я оправлял одеяло и говорил:

— Войдите.

Входили Ольга или Биче, поздравляли меня с добрым утром и ставили на дешевый плетеный стул старенький поднос с чашкой забеленного кофе и куском белого хлеба. Кофе было скверное, блюдце немножко грязное и хлеб пресный, но Ольга или Биче были так милы, что я прожил там три месяца, ни разу не восстав против того, что мне подавали слишком скудный завтрак (а ведь я им обедал) на недостаточно перемытой посуде и невкусное вино. У меня еле хватало жестокости даже на то, чтобы вовремя требовать перемены наволочек. Ольга и Биче были удивительно милы, хотя на них были бедные платья, и не всегда чистенькие.

У Ольги был жених из немецкой Швейцарии, сахарный приказчик, здоровенный керл, который мог бы левой рукой отколотить двух корреспондентов из Одессы. Я его терпеть не мог. Стены моей комнаты были очень тонки. Вечером я садился работать — а в соседней комнате Ольга с женихом мне мешали. Не то, чтобы они говорили чересчур громко: они говорили чересчур тихо. Я слышал только журчанье двух голосов — баритона и контральто, и часто даже это журчание замолкало. Мне становилось не по себе. Не то завидно, не то обидно. В конце концов приходилось, бросив перо на пол, уходить в кафе Араньо или в театр, или просто по городу, лишь бы уйти от них.

Зато с Биче мы подружились. Когда Биче приносила мне кофе, мы всегда серьезно и тихо беседовали: я под одеялом, она — прислонясь у двери. Я ее называл «синьорина», она меня « синьорино».

Она мне рассказывала, что до последнего года жила у монахинь, но теперь дела дома стали хуже, и ее взяли домой. У монахинь ей жилось очень хорошо, и она бы охотно верну-

лась туда. Но учиться ее не тянуло, и читать она не любила, а нравились ей женские рукоделия.

— Вы и в монастыре, среди подруг, были всегда такой серьезной, синьорина?

— Девушка должна быть серьезной, синьорино.

— В ваши годы надо быть резвее.

— Девушка не должна быть резва, синьорино.

Она всегда говорила сентенциями.

Я спросил как-то:

— Вы любите синьорину Ольгу?

Она могла ответить «да» или «нет», но ответила буквально так:

— Мы должны любить наших родных, особенно в первой степени родства, синьорино.

И все это говорилось степенно, вежливо, негромко, отчетливо; она давала ответы немедленно, как хорошо обученный солдат, и глядела прямо в глаза своими славными, спокойными темными глазками.

Я привязался к ее милому и открытому, еще полудетскому личику и любил в него всматриваться. И меня удивляла одна вещь: откуда брался на этом лице какой-то неопределенный оттенок затаенной веселости или, может быть, невысказанной восторженности? Ведь это была кукла, прелестная кукла, искусно сработанная монахинями и говорящая сто слов. Неужели в кукле таилась скрытая жизнь?

Я спросил у ее матери:

— Отчего ваша младшая барышня так меланхолична?

Биче при этом не было. Мать всплеснула руками:

— Биче меланхолична?! Биче — дьяволенок. В этой девочке огонь говорит. Когда она вырастет, у меня с нею будет много хлопот.

На другой день Биче убирала мою комнату, сжав губы и внимательно следя за пучком перьев на палке, при помощи которого она стирала пыль с зеркала.

Я столь же внимательно всматривался в нее.

— Синьорина! — спросил я — почему вы не подымаете волос надо лбом?

Она носила гладкую прическу и косу.

Она выпрямилась и неторопливо, но немедленно ответила, смотря мне в глаза:

— Девочка моих лет должна причесываться скромно.

Я подошел и прикоснулся к ее волосам: она чуть-чуть улыбнулась и покорно наклонила голову. У нее были каштановые

волосы; я приподнял их спереди и закрепил гребешком, по тогдашней моде. Биче взглянула на себя в зеркало, опять улыбнулась и сказала:

— Мне еще нельзя так носить.

И хотела пригласить, и я с трудом упрямил ее оставить так до конца уборки.

Она стерла всю пыль, опустила руки будто по швам и сказала:

— Теперь я приглажу волосы.

И когда она, без зеркала, подняла левую руку — в правой была палка с пыльными перьями — к волосам, я ее поцеловал. Она поступила так: встрепенулась и убежала и через десять минут опять вошла и спросила:

— Синьорино будет обедать дома?

Я всегда обедал дома, спрашивать было незачем.

В сумерки она принесла мне новую свечу. Она всегда приносила свечи зажженными, а на этот раз не зажгла.

Мне казалось нехорошим целовать ее иначе, как в лоб; были густые сумерки, я поцеловал ее два раза в лоб, а она стояла тихо и терпеливо. Я отошел, и тогда она сказала, отчетливо, степенно и без выражения, как всегда.

— Прошу у вас извинения, синьорино, что не зажгла свечи. У нас вышли спички. Спокойной ночи, синьорино.

Я провел ночь у одного приятеля, с которым мы вместе переводили русского писателя Массимо Горки. Надо было завтра доставить «Старуху Изергиль» в готовом виде редактору журнала, так что мы работали до пяти часов утра.

Я лег спать у него и проснулся к полудню. Мы пошли завтракать, потом к редактору, который заплатил нам двадцать лир (честное слово), и только часа в четыре вернулся домой.

Биче услышала мои шаги и вышла на лестницу.

— Комната, синьорино, прибрана, — сказала она.

— Зачем же вы прибирали? Ведь я не ночевал дома, я ночевал у приятеля, с которым мы переводим одного русского писателя.

— Синьорино имеет право ночевать, где ему угодно, и не обязан давать отчет, где он провел ночь. Наша обязанность следить, чтобы все было прибрано каждое утро.

Я всматривался в нее изо всех сил, но у нее на лице нельзя было прочесть ни мысли, ни чувства; и слова, в которых был несомненный намек, она произнесла по-всегдашнему, официально, открыто и вежливо.

Я стоял и молчал, она стояла и молчала. Я кивнул ей и пошел к себе.

Прошло дня два. Я возвратился домой к десяти часам вечера; Биче встречала меня на лестнице и покорно подставляла головку, а потом спрашивала:

- Синьорино что-нибудь нужно?
- Благодарю вас, Бичетта, ничего.
- Спокойной ночи.

На третий день она принесла мне завтрак, отошла к двери и сказала:

- Синьорино больше не должен целовать меня.
- Почему, Бичетта?
- Не следует.
- Но почему же?
- Я не могу вам сказать теперь.
- А когда?
- Перед вашим отъездом.
- Как прикажете, Бичетта. Простите, если это было вам неприятно.

Она выдержала паузу и произнесла:

- Синьорино ничего больше не нужно?

Через два месяца я уложил свой гардероб в чемоданчик, и книги (у меня их мало: не люблю этого громоздкого предмета) обвязал веревочкой и пошел к хозяйке прощаться.

- Куда?
- В Россию.

Я расшаркался перед хозяйкой, учтиво попрощался с Ольгой и крепко пожал руку Бичетте.

- Синьорино ничего не нужно?
- Нужно, — ответил я, — вы мне обещали объяснить перед отъездом... Помните?

- Помню.
 - Объясняйте.
- Она колебалась.
- Я лучше напишу.

Она довольно долго возилась с карандашом, потом подала мне записку, а сама отошла в угол и отвернулась к стене.

Письмо начиналось: Mio... — потом «mio» было зачеркнуто и заменено так:

«Многоуважаемый синьорино!

Причина, которую вы хотите знать, очень проста. Я была с вами строга для того, чтобы сохранить свою честь.

Уважающая вас Беатриче N».

Я расхохотался.

— Да причем тут была ваша честь?!

Биче не отвечала. Я оглянулся и увидел, что она спрятала лицо в пыльную портьеру и как будто плакала.

Я подошел, поднял ее головку — она не плакала, но это славное личико было серьезнее и задумчивее, чем обычно, и не лежал уже на нем тот оттенок затаенной веселости, и глаза глядели хмуро.

И мне стало непередаваемо грустно.

— Прощайте, Бичетта...

— Вы вернетесь в Рим?

— Бог знает, вернусь ли.

— Я вас не забуду никогда.

И я ушел, унося на губах ощущение ее странного, неловкого, терпкого поцелуя — и в душе мятежное воспоминание об этом полуробенке, о дьяволенке, которого монахини наряжали куклой.

АКАЦИЯ

Еще один май кончился и опять отцвела акация. Кажется, ничто так не характерно для Одессы, ничто так ее не напоминает вдали, как запах акации. Даже море. Во-первых, море на море не похоже: под Петербургом море бледное, подлинное, «малосольное», как где-то кто-то выразился, и напомнить наше море оно может только по контрасту; а где-нибудь в Мессине или у берегов Крита море опять-таки другое, гораздо лучше нашего, и, глядя на ту роскошную синеву, трудно перенестись мыслью на Ланжерон. Акация же, где бы ни пахла, пахнет одинаково. Во-вторых — убеждены ли мы, что всякий одессит обязательно знает море? Мой знакомый учитель в одной школе на Молдаванке опросил как-то свой класс, и оказалось, что четыре малыша, лет по семи-девяти, никогда не видели море. В этом нет ничего невероятного. Я знал в Риме людей, там родившихся и выросших, которые никогда за всю жизнь не были в соборе св. Петра. Вообще человек далеко не так любопытен, не так жаден до впечатлений, как это считается. Но нет такого жителя в Одессе, который не знал бы запаха акаций, если только есть у него нос и в носу талант обоняния.

Мне лично запах акации напоминает страшно много. Первое воспоминание восходит еще к далям глупого детства. Чудесное майское утро, акация пахнет, а я бегу в про-

гимназию узнать — как мы тогда выражались на милом тамошнем наречии — «или я принят в подготовительный». Я очень волнуюсь. Во-первых, мне с вечера выстирали парусиновый костюм, а он за ночь недостаточно просох, поэтому мама велела мне идти в гимназию по солнечной стороне; я иду, и от моих подмышек и штанишек подымается пар, ergo, я сохну, но все-таки страшно: вдруг там учителя заметят, что я вохкий, и Бог знает что подумают? Это во-первых. А во-вторых, я уже раз пять экзаменовался и в первые классы, и в подготовительные, и в гимназию, и в реальное, и в погребальщики (это значит: в коммерческое, ибо тогда коммерсанты носили черную форму) — и все проваливался, и мне уже надоело проваливаться. И вот я пришел. В классы еще не пускают, публика толпится на дворе. Я помещаюсь на солнечной стороне, подымаю руки на голову, чтобы подмышками лучше просыхало, и веду пока деловой разговор с соседом. Он уже матерый гимназист: второгодник из того самого подготовительного класса. Оба мы — видные, хорошо известные в своем кругу коллекционеры: собираем «кардонки», т.е. верхние крышечки от папиросных коробочек. Оба люди опытные, с большим знанием биржи, но столкнуться трудно. За одну Одалиску Месаксуди он требует четыре бр. Поповых. По-моему, это живодерство; кроме того, я ему указываю, что одалиска неумытая, на декольте у нее размазанная сажа: ясное дело, подобрал на улице. Он утверждает, что украл у брата студента: новехонькая; папиросы он высыпал, а коробочку украл; и совсем это не сажа, а тени, сделанные художником именно там, где полагается по анатомии. Он, конечно, не говорит «анатомия» — он выражается гораздо определеннее, как прилично матерому гимназисту, и для убедительности божится: «Накарай меня Бог!». Я ему отвечаю на том же языке:

— Откогда (что значит: «с тех пор как») я собираю кардонки, не видал такого кадета. — Сам кадет! — отвечает он. («Кадет» означало тогда плута.)

— А ты — гобелка, — отвечаю я. (А что значит это ругательство, и по сей день не знаю).

В это время нас зовут наверх. Там оказывается, что и я, наконец, принят. Я в восторге. Бросаюсь со всех ног — обрадовать домашних. Но прежде разыскиваю своего давнишнего соседа. Разыскиваю довольно долго. Он тут свой человек, знает все углы и закоулки, и я слышал только что его фамилию

в списке получивших две передержки. Оказывается, он «сховался» и курит, выпросив бычка у коллеги-второгодника, только из третьего класса.

— Черт с тобою, — говорю я, — на тебе все, что холишь, и давай сюда твою сметь.

Он берет у меня четырех братьев, дает мне одалиску, пускает мне дым в глаза и назидательно говорит:

— Скажи мерси, блохой закуси и больше не проси.

Тут я улыбаюсь до ушей и объявляю:

— А меня приняли!

Он смотрит на меня презрительно:

— Нашел чему радоваться. Дурак.

Но я едва бормочу сквозь зубы установленную формулу ответа: «Дурак? твоё имя так; моё прозвище, а твоё родное». Мне не до него. Я мчусь домой в дикой радости, уже не разбирая солнечной и теневой стороны, а акация пахнет, пахнет во всю глотку.

Это воспоминание — из глупого детства. По мере того как я умнел и начинал понимать, сколь был горько прав мой скептический контрагент насчет того, что нечему радоваться, — по мере того и мои воспоминания о запахе акации начинают приобретать противоположный характер. Как только запахнет акацией, меня уже тянет не в храм науки, а из храма. Нас еще не распустили, и даже я знаю наверное, что учитель такой-то какой-то хочет меня сегодня врасплох вызвать на четвертную отметку. Нашел дурня! Я еще с вечера подготовил товарища. Мы встретимся на Старопортофранковской. Я аккуратно складываю книжки и даже — чтобы уж быть совершенно *en règle* — заранее изготавливаю записку: «Сын мой не явился такого-то мая по болезни» и виртуозно подписываюсь маминым росчерком. Ранец я оставляю у знакомого табачного лавочника и разыскиваю приятеля. Он уже, оказывается, подобрал на улице две «пересядки». Мы садимся на конку и едем к Ланжерону, словно князя какие-нибудь. Акация пахнет. Вы когда-нибудь ловили руками ящериц? Сбивали пряжкой пояса жесткую красную головку с колючего «турка»? Сомневаюсь даже, знаете ли вы, что это за цветок — «турка». И по массивам вы, должно быть, не лазили, и крабов не ловили. А мы ловили. (А мы «да» ловили, сказал бы я в то время). Ловить крабов на массивах — дело тонкое. Для этого надо знать психологию краба. В психологии краба есть два элемента: во-первых, он вспыльчив, во-вторых — глуп. Надо

навязать плоский камешек на веревочку и, зайдя в глубине под массивом отдыхающего краба, спустить веревочку и стукнуть его камешком плашмя по спине. Тут и начинается психология. Так как он вспыльчив, то сейчас же обернется и изо всей силы защемят клешнями ваш камешек. А так как он глуп, то будет цепляться за камешек, покуда вы его тащите вон из воды.

Дома вы сказали, что из гимназии пойдете к товарищу списать письменный ответ по алгебре, так что вернуться можно под вечер. Но нельзя вернуться домой с дюжиной крабов в носовом платке: и на алгебру непохоже, и в хозяйстве неудобно. Следовательно, крабов надо пристроить. Это, опять, не для простецов дело: нужна фантазия и техника. Вот, у дверей бакалейной лавочки, стоят два открытых боченка: один с солеными огурцами, другой с черной маслиной. От времени до времени выходит лавочник с покупателем, запускает руку в бочку и вытаскивает, что требуется; если покупатель брезгливый, лавочник не обижается: пожалуйста, выгребайте сами. Товарищ мой задерживает хозяина внутри, торгуясь на три копейки башмалы (как это сказать по-русски, но так же кратко?), а я тем временем колонизирую крабов: парочку в огуречный рассол, парочку под верхний слой маслин. Авось не задохнутся до ближайшего покупателя. Подальше стоит степенного вида господин, видно, ждет кого-то, поглядывая на окно второго этажа, а сам опирается на зонтик. Степенный господин, а неряха: не скрутил зонтика, черная ленточка с пуговичкой повисла зря, и фалды между проволочными ребрами пригласительно зияют. Туда мы и пристраиваем еще одного краба. Еще одного кладем вверх животиком на сиденье дрожжек: дрожки стоят у парадного хода, сейчас выйдет седок — даст Бог, это будет дама в легком майском платье, подходящем для сезона акации.

Все сильнее пахнет акация по мере того, как сиреневают сумерки, в домах позажигали лампы, с улицы видно, что кто делает в нижнем этаже. Вот сидит, через дорогу, девица у пианино; окно раскрыто, и исполняет она полонез Огинского. Мой товарищ останавливается, и я вижу ясно ореол внезапного вдохновения под его козырьком. Осенило! Улица пуста. Он тщательно выбирает краба, тщательно захватывает его тремя пальцами так, чтобы и держать его горизонтально, и под клешню не попасть. Он изгибается — так как надо, если хочешь пустить плоский камень по морской ряби, чтобы он

семь раз подпрыгнул рикошетом. Размахнулся — я замираю — и краб, перелетев через тротуар, улицу, еще тротуар, окно и полкомнаты, плашмя шлепается на третью октаву слева и дает смелый аккорд, сверхвагнеровский аккорд из четырех последовательных нот, не считая двух диезов. А акация пахнет, как скаженная.

Потом... потом наступает такое время, когда одного запаха акации недостаточно, а должна еще непременно светить луна. Как зовут барышню? Это, конечно, секрет, таких вещей не рассказывают, но у нее длинная коса и славные глазки, сто милостивых ужимок и легкий, добрый, уступчивый характер: если с ней хорошенько подружиться и не делать грубостей, то и она не станет особенно воевать за свою неприкосновенность. Она вообще не интересуется мелочами. Как поэт сказал: «ты не спрашивай, не распытывай, как люблю тебя, и за что люблю, и надолго ли». Она и сама не отрицает, что вы в ее шестнадцатилетней биографии не первый, и от вас не спросит никакой присяги и не потребует никаких лишних церемоний. Угостить ее можно мороженым или просто семечками, а вместо поднесения пышных букетов надо просто хорошенько подпрыгнуть на ходу и сорвать большую кисть акации. Тогда она вам позволит собственными руками приколоть эту пахучую кисть к ее тоненькой блузке. А дальше вы уже сами должны понять и найтись.

Каждый год отцветает акация, и что-то умирает. Вероятно, умирает только наша молодость, но почему-то нам кажется, что на белом свете постепенно убывает молодость вообще, нет уже той серебристой беззаботности у поколений, занявших теперь наше недавнее место на пороге жизни, город стал скучный и мрачный, и надежда померкла над землею. Только пахнет акация, как пахла всегда, и напоминает невозвратимое.

ОПИСАНИЕ ШВЕЙЦАРИИ

Вот уже больше недели, как пишуший эти строки живет вне цивилизации. Дал зарок не читать газет и никого не спрашивать ни о чем, разве только о том, куда ведет дорога, и свято блюду зарок. На плечах торба, подошвы подкованы гвоздями, в руках палка, в кармане карта Швейцарии, на душе легко и в голове пусто.

Одна поправка: я живу не совсем вне цивилизации. Есть один элемент культуры, которым я именно теперь очень пользуюсь и дорожу: шоссе. Вообще культура портит природу, но шоссе — исключение. Оно не пачкает ландшафта, напротив. Полотно железной дороги способно опоганить цветущую долину — словно страничка стихов, дважды перечеркнутая чернилами. Но белая лента шоссе вьется вокруг горы, как кушак вокруг стана красавицы, тянется по ровному месту, как серебряный позумент. Когда бредешь по такой дороге, думаешь о том, что она, в сущности, нигде не кончается, опутывает мириадами узлов всю Швейцарию, всю Европу, весь материк — идешь, собственно, в Рим, а то и по Владимирке. На белом грунте видны разные следы, живой дневник шоссе со времени последнего дождя: вот характерный след автомобиля, в котором сидели мужчины и дамы в звериных облачениях, а вот проехал велосипедист, вероятно, подняв ноги и бросив педали по случаю спуска, итальянец-каменотес отпечатал на белой дороге все гвозди своих грубых башмаков, и все же в его походке, в расстановке его подошв есть некая гармония, что-то от Дискобола, печать Средиземной воды, из которой возникла вся красота на свете: оттого я и решил, что он из Италии, а каменотес — потому, что итальянцы попусту не путешествуют. А вот шла городская барышня и с ней рядом господин, у которого стоптан левый каблук: эти, должно быть, студенты из России, потому что у заграничных кавалеров не бывает стоптанных сапог. Легко даже установить, о чем они говорили. Если бы это было лет шесть назад, они бы говорили о том, что лучше: устроить революцию в назначенный день или предоставить все стихийному ходу исторического процесса. Если бы это было года три тому назад, они бы смело, страстно разговаривали о проблеме пола и, дойдя до уединенной гостиницы на берегу озера, сладостно освещенного лунной, разошлись бы спать по разным комнатам. Но о чем они могли бы говорить теперь, когда все слова исчерпаны? Вероятно, брели и молчали. Право, это самое лучшее на свете: брести и молчать. Молчать и топтать свободной ногою по белому шоссе. *Nunc pede libero pulsanda tellus!*

Понятие молчания, однако, не противоречит понятию теплой компании. Напротив: всего слаще помолчать именно в теплой компании. Что такое теплая компания? Это — такая, в которой человек мало, но все хорошо спелось и, вместе с тем, не успели еще надоесть друг другу. Поэтому идеал

теплой компании — три друга детства, уже давно разбросанные жизнью по разным городам. Еще лучше — таких три друга, которым давно хотелось и все не удавалось устроить именно такую прогулку. Однажды, в ранней юности, уже было собралось, даже денег скопили по сорока рублей (в том возрасте этого хватило бы хоть на край света), но как раз двоих посадили в тюрьму за изм, не помню точно какой, и прогулка расстроилась. Опять было наладилась она года через три, но тут пришел в Одессу броненосец Потемкин «Т», и в участок посадили третьего, хотя он совсем и не ехал на «Потемкине». Наконец, через столько лет, все улажено и все трое сидят за пивом в одной из харчевен Кура, обсуждая детали предстоящего похода. Это и называется теплая компания.

Обсудить детали предстоящего похода — дело нелегкое. У теплой компании всегда мало денег, и тратит она их довольно бестолково. Один накупил себе дорожных вещей в Берлине, другой в Вене, а одеться для пешего хождения не во что. Третий купил великолепную палку с наконечником, такую палку, что можно было бы с нею взобраться на Эверест, если бы он ее не посеял где-то в поезде под Инсбруком. Все это чрезвычайно усложняет обмундирование и оборудование экспедиции. Начинается взаимная примерка чужих штанов, причем один член теплой компании — длинный и тощий, другой — маленький и толстый, третий — маленький и худой. В одном случае надо кое-что подстегнуть английскими булавками, а в другом приходится удлинить подтяжки посредством системы веревочек. Настоящий горный мешок всего один, остальные два заменяются самодельными торбами, к которым кое-как подшиваются ремни. В результате обнаруживается, что за те же деньги можно было приобрести и специальные костюмы туристов, и мешки, и все прочее: но теперь уже нечего делать, и теплая компания утешается сознанием, что самогон всегда слаще. С путеводителем тоже вышла история. В целях разумной экономии, чтобы не тратиться на дорогой Бедкер, каждый самостоятельно купил по дешевой книжечке. В результате — все три не годятся. Особенно невпопад вышла покупка у одного: он приобрел в Дрездене по случаю за три марки прекрасный гид по Шварцвальду и упорно настаивает, что эта страна находится в Швейцарии. До сих пор мы его не переубедили: на каждой остановке он берет у меня швейцарскую карту и тщательно обыскивает все кантоны, не

затерялся ли где-нибудь Шварцвальд. Такой недоверчивый. А окончил Ришельевскую гимназию и всегда имел по географии пять.

Впрочем, он и по языкам всегда получал пятерки, и второй мой приятель тоже. Зато надо послушать, как они тут объясняются. Один начал свою карьеру в Люцерне с того, что пришел в гостиницу, где назначено было наше свидание, и смело спросил: «Во штект херр такой-то?» Второй считает себя сильнее во французской речи и потому, когда у почтового чиновника на хватило пяти сантимов сдачи, сказал ему успокоительно: «Кантитэ неглигабль!»

Но все это пустяки. Главное то, что нам весело. Откуда-то выплыли на поверхность памяти клички, которыми нас называли в гимназии, и сам собой вспомнился своеобразный язык Молдаванки и порта, на котором воспиталось наше поколение в прежней Одессе. Прекрасный язык, сочный и звучный не только в смысле фонетики, но и в смысле богатства и смелости лексического материала. Вспомнились давно-давно забытые меткие словечки, добрую половину которых трудно воспроизвести в печати.

Кстати, один из приятелей всю дорогу настаивает на необходимости реабилитировать в общественном мнении ту категорию слов, которые для печати неудобны. Он уверяет, что как раз эта категория в каждом языке наиболее пропитана истинным национальным духом, наиболее полно выражает и выявляет народную психологию; оттого, говорит он, и нет лучшего средства облегчить и излить душу, как пустить с экспрессией два-три смачных термина из тех, которые при дамах не произносятся. Мой приятель называет это «высказаться» и владеет этой терминологией классически. Я лично не имею столь определенных взглядов на это дело, но должен признаться, что в некоторых случаях такой *modus loquendi* бесспорно имеет свою ценность. Например, теплая компания взбиралась (мы теперь выражаемся «перла») три часа по крутому подъему на высокий перевал в надежде полюбоваться оттуда прекрасным видом, и вдруг оказывается, что за перевалом все в густом тумане. Теплая компания в отчаянии; один говорит, что положительно не стоит путешествовать, другой начинает устанавливать ответственность — кто из трех настаивал, чтобы начинать восхождение именно сегодня? И в эту минуту, когда доброе согласие, основной статут теплой компании, начинает трещать по швам, третий вдруг предлагает

взять да... игнорировать все это, причем вносит он свое предложение в той именно сочной формулировке, о коей идет речь. И так выразительно, так убедительно звучит его формула, столько в ней первобытной, непосредственной силы, что и остальным обоим сразу становится ясна вся маловажность атмосферных явлений в общем учете бытия. В самом деле! С туманом, пожалуй, еще лучше. Английский какой-то поэт написал: сладка услышанная песнь — но много слаще те песни, которых мы никогда не услышим. Отчего не применить той же истины и к переживаниям зрительным? И теплая компания бодро продолжает путь, оглашая две страны — Швейцарию и Италию — каким-нибудь музыкальным номером черноморского производства. Например:

Папу я зарезал, маму я убил,
Ципку-невесту в море утопил.
Гляну на дорогу — дорога широко,
Погляжу на тюрьмы — ой, тюрьмы высоко...
Тряхну ж я кандалами еще в последний раз
И вышибу при этом смотрителю я глаз.
Погиб я, мальчишечка...

Поем стройно, даже собаки где-то заинтересовались и откликаются.

А все потому, что один человек сумел «высказаться».

Но и это пустяки, а главное то, что ноги топают по белому шоссе. Бредешь, куда угодно и покуда угодно, хочешь — скоро, хочешь — тихо, захотел — остановился, захотел — свернул с дороги. Слез к реке напиться, а назад на можешь вскарабкаться, а товарищи сидят сверху и бросают в тебя еловые шишки. Стемнело, а при дороге стоит трактир, мы туда и начинаем торговаться насчет платы за ночлег, причем торг ведется, ради разнообразия, иногда по-французски, иногда по-немецки; для немецких переговоров выпускается Штект, а для французских — Неглигабль. Получается и весело, и, в конце концов, дешево, потому что хозяйка перед лицом их лингвистического апломба обыкновенно сдается. И вот теплая компания готовится ко сну, только раньше идет починка всяческих аварий, главным образом, на ступнях и на штанах: то пузырь сделался, то мозоль натерлась, то сукно распоролось по шву. Один из членов теплой компании — тот самый, который специалист по немецкому языку — уже третий год

состоит хирургом при столичной больнице: он у нас починает брюки. Ко вскрытию пузырей мы его не допускаем — слишком много церемоний. Прокали ему ножик, да достань ему йоду, да еще не дрыгай ногами во время операции. Пузыри вскрывает французский специалист при помощи английской булавки черного цвета. Он же делает нам массаж ног, колотя подушками. В полночь приходит хозяйка ругаться за шум, и тогда теплая компания засыпает.

На этом заканчивается описание Швейцарии. Читатель может найти, что Швейцария тут описана недостаточно подробно. Что ж, если не нравится, поезжайте сами и опишите лучше. А я думаю, важно не то, по каким местам проходишь, а важно, как путешествуешь. Путешествовать по Швейцарии надо не как-нибудь, а с толком: пешком, в теплой компании, с путеводителем по Шварцвальду в кармане и, по возможности, в чужих штанах; тогда все места хороши, как та лучшая из песен — неподслушанная...

EDMÉE

Рассказ пожилого доктора

— Восток? Он совершенно чужд моей душе. Вот вам живое опровержение ваших теорий о расе, о голосе крови. Я рожден западником, несмотря на предательскую форму носа. Однажды, впрочем, и я рискнул заглянуть на Восток. Может быть, тут и сыграло некоторую мимолетную роль обиженное расовое чувство. Вы знаете, у нас в Германии еще сильны некоторые предрассудки. Без ложной скромности могу сказать, что я давно заслужил кафедру; полагаю, что и ваши русские специалисты слышали о моих трудах по анатомии. Я связан тесной дружбой с профессорами университета в нашем городе и знаю, что они с живейшим удовольствием приветствовали бы меня в своей среде. Но прусское министерство имеет свои пути и средства влияния, против которых бессильна академическая автономия. Доцентуру я мог бы получить, но согласитесь — в мои годы, с моим именем, это прямо неловко. Друзья в Берлине пробовали хлопотать, но им дали понять, что это преждевременно. Я был очень огорчен, до того, что работа валилась из рук. Вы поверите, надеюсь, что при моей практике я не нуждаюсь в выгодах государственной службы: я холост, братья и сестры имеют свои средства, а на мой век

хватит с меня и денег, и почета без этой кафедры. Но все-таки я был очень огорчен. Вы спросите: но ведь есть простое средство?... На это я вам скажу: ваших предрассудков я не разделяю, с религией и общиной давно порвал все связи, но есть вещи, которые мне эстетически противны. Осталось одно: примириться. Так я и сделал, а чтобы развлечься — поехал на Восток. Повторяю, возможно, что в выборе этого места отдохновения сыграл некоторую роль бессознательный протест расового чувства. Вы меня обидели, так вот же вам, назло вам еду в родную сторону моей расы. Однако же далеко я не поехал, а удовольствовался Константинополем.

Тут я и убедился, что душа моя — душа западника. Рискуя показаться вам человеком без чувства прекрасного, рискуя даже худшим — что вы меня заподозрите в желании оригинальничать, — я вам должен признаться, что Константинополь мне совершенно не понравился. Начиная с прославленного Босфора. Я не выношу этой яркости, этого солнца, которое не знает нюансов и полутеней, которое мажет грубыми крикливыми красками, словно деревенский маляр. Уверяю вас, что наш Гарц или Шварцвальд изобилуют видами, которые гораздо красивее Босфора и Золотого Рога. Наше солнце утонченнее, деликатнее, *plus distingué*, рассчитано на более благородный вкус. О самом городе нечего и говорить. Я ничего не имею против извилистых и гористых переулков, они представляют главную прелесть многих очаровательных старинных городов нашего германского юга, но при этом нужна ну хоть какая ни есть архитектура, стиль, тон. Переулки Стамбула по-моему просто безобразны. Со мною ходил по городу один художник и очень восхищался, но я в глубине души думаю, что это было из снобизма. А толпа! Шумная, пестрая толпа есть и в Италии, но там она всегда благородна, сохраняет и в разнообразии красок, и в гамме известное прирожденное чувство меры, никогда не превращается в то, что видишь на Востоке — в какую-то хроническую свалку воющих людей, одетых в дико окрашенные тряпки. Нет, я и в эстетике западник, европеец. Эта закваска во мне так сильна, что даже романтическое приключение, которое я там пережил, посвящено было дочери Запада и проникнуто западной мечтательностью — *von einem Hauch westlicher Schwärmerei*.

Ибо вы должны знать, что я там пережил и романтическое приключение, несмотря на свои пятьдесят два года, социальное положение и малую привычку к дамскому обществу.

Правда, это был чрезвычайно невинный роман; переживая это приключение, я даже не подозревал его романтического оттенка, и понял это лишь после развязки.

Я поселился на Принцевых островах. В сущности, жить по-человечески в Константинополе можно только в роскошных отелях Терапии и Буюк-Дере, потому что там много европейцев, мало туземцев и почти совсем не пахнет Константинополем. Но одна беда: все эти места лежат на Босфоре, и главной их прелестью считается вид на Босфор, а я вам сказал, что этот отвратительный пролив со своим морем, размазанным в синее, и берегами, размазанными в зеленое, был мне нестерпим. Я поселился на Принкипо. Не спору, хорошенький островок. Но... его следовало бы отнять у турок. Pardon, вы, кажется, туркофил. Но так как я-то не собираюсь выпросить у них Палестину, то могу искренно сказать свое мнение. Если бы отобрать Принкипо у турок да завести там европейский порядок, это был бы очаровательный остров. Я поселился в Hotel Ciasomo и там встретил ее. Ее звали Edmée, а было ей от роду двенадцать лет.

Завтрак и обед нам подавали на террасе, над самым морем, за отдельными столиками. Неподалеку от меня обедала семья французского консула; место службы его было не в Константинополе, но он сюда приехал отдыхать. Он и жена были парижане, младшие дети родились уже здесь, но Эдмэ увидела свет еще в Париже и росла там до четырех лет. Это мало, но не шутите с отпечатком Европы! Он сказывается. Ему достаточно маленькой щели и крошечного мгновения, чтобы пустить свои корни, оставить свой налет. Как это происходит, я не знаю, в этом есть что-то мистическое. Эдмэ не помнила, конечно, Парижа, воспитывалась она где-то в Дедегаче с дочерьми левантинцев, но на всем ее существовании лежала печать Запада, и она казалась воплощением утонченной западной культуры *in partibus infidelium*.

Я еще не был знаком с ее семьей, только раскланивался, но ее тотчас же заметил. Она выделялась. В нашем отеле было много левантинцев. Надо знать, что это за публика, что это за раса! Много трубят о нивелирующем влиянии Северной Америки, о ее великом котле, где перемешиваются и перевариваются все племена, сплавляясь в единый американский народ. И при этом никто еще, кажется, не заметил, что нечто подобное наблюдается в европейских кварталах Константинополя, Каира, Александрии. Туда тоже все нации сбываются

свои осколки, там они перемешиваются, и создается новый народ — левантинцы. В Константинополе это племя называют специальным прозвищем — *rérotte*, от квартала Перы, где живут обычно эти «европейцы». Хотите знать примерную типическую родословную средней перотской семьи? Отец — итальянец, рожденный от хорвата и шведки; мать — гречанка, рожденная от польского эмигранта и румынской цыганки; по паспорту они англичане, а в семье говорят по-французски. Представьте себе этот букет! Вообразите культурную атмосферу, в которой воспитываются дети такой семьи, эту бакалейную смесь традиций, предрассудков, обычаев, возникших под разными широтами, дисгармоничных, несоизмеримых, несовместимых! Они не могут привить своим детям ничего похожего на чувство общности, потому что эти люди живут абсолютно вне всякого гражданского обихода. У них не только нет гражданских мотивов в душе, но нет и почвы, на которой могли бы вырасти civic чувства. Возведите понятие *sans patrie* в куб, и вы получите отдаленный намек на эту психологию с совершенно атрофированным нервом патриотизма. Отсюда глубочайший эгоизм, самодовольная тупость, полное отсутствие стимулов к общественной жизни, невежество и, наконец, простая неблаговоспитанность, всегда свойственная среде, потерявшей прочные традиции. Таковы они, таковы их дети. Эдмэ была в этой обстановке, если позволите вспомнить Шекспира, словно белая голубка среди черных воронов.

Эдмэ была блондинка, личико было у нее миловидное, не больше. Фигура тоненькая, еще совсем детская, очень грациозная. Одевали ее просто, но мило, видна была рука умной матери, хороший вкус и хороший журнал детских мод. Ее левантинские сверстницы, игравшие вместе с нею на той террасе и в саду не помню в какие игры, были почти все гораздо красивее, притом это были уже маленькие женщины, и одевали их нарочно так, чтобы подчеркнуть зарождающиеся женские линии. Сами девчонки, казалось, об этом знали и поглядывали на мужскую молодежь отеля дразнящими взглядами. В этом антураже Эдмэ казалась воздушной, существом высшего разряда. Она резвилась гораздо искреннее своих подруг, с гораздо большим увлечением, потому что не думала в эту минуту о том, как бы казаться поизящнее, но выходило само собою, что она и в веселье изящнее, сдержаннее всех — более шаловлива, но не так криклива и не так резка в движе-

ниях. Чувствовалось хорошее воспитание, всосавшееся в самую кровь. Глядя на нее, я поверил в то, во что никогда не верил: что действительно бывают вполне нормальные, здоровые, даже умные девушки, которые созревают в спокойном неведении, недоступные даже мимолетному прикосновению нечистой мысли, недоступные даже простому любопытству. Система воспитания, сложившаяся в течение столетий, проверенная опытом многих поколений, так направила их мысль, что она сама собой инстинктивно отскакивает от точек, которых опасно касаться. Эти девушки созревают, не замечая своего созревания; бури переходного возраста у них где-то в сфере подсознательного; они растут в здоровой безмятежности, нечто предчувствуя, ничего не сознавая, ни о чем не любопытствуя. Такою будет Эдмэ.

Но и тогда она была уже не ребенком. Я это заметил, сравнивая с ее младшей сестрой, которой было лет десять. Та иначе обходилась с мальчиками во время игры, более запросто, более беззаботно, и сама еще была неуловимо похожа на мальчика. Эдмэ уже несколько сторонилась. Молодым людям отеля она еще кланялась первая и не обижалась, когда они говорили ей ты, но я видел, что при встрече с существом другого пола в ней уже что-то инстинктивно настораживалось, подбиралось, подтягивалось. Она этого не сознавала, но я это видел. Великое притяжение, первые признаки которого, по странной и мудрой воле природы, выражаются в отталкивании, уже смутно пробуждалось в тайниках души, недоступных ее собственному взгляду. Фигура у нее была еще совершенно детская, но жесты, походка, манера, когда она нагибалась, подымалась на цыпочки, останавливалась на бегу — все это уже было от девушки.

Когда я узнал ее ближе и присмотрелся к ней, мне пришло в голову, что это, быть может, самая красивая пора в развитии женского существа. Конечно, не у всех женщин. Есть ведь и знаменитый тип девочки-подростка с красными руками и угловатыми манерами; впрочем, поверьте мне, чем дальше на Запад, чем выше по культурной лестнице, тем реже он попадается. Но есть натуры, у которых этот перелом совершается без резкости, как бы внутренне, под кожей. У таких натур возраст подростка — самый обаятельный, самый поэтический, самый благоуханный. Я вообще того мнения, что заря лучше утра и полудня, апрель лучше мая. Именно там, где незаметно совершаются загадочные переходы природы от одного состояния

к другому, там всего явственнее внятен аромат великой тайны, веяние Бога, пролетающего мимо «с волшебной палочкой в руках». Там душа твоя смутно угадывает мириады дивных возможностей, из которых, вероятно, ни одна потом не осуществится. Три прекрасные вещи создал Бог: детство, юность и женщину. Вдумайтесь, как возвышенно красив должен быть момент, когда эти три прекрасные вещи сплетаются воедино — когда в душе и теле женщины совершается пере рождение от детства к юности! Если бы я не боялся, что вы меня примете, Gott bewahre, за любителя парадоксов, я бы сказал, что женщина, собственно говоря, с четырнадцати лет начинает стареть. Впрочем, может быть, это все объясняется тем, что я старый, убежденный холостяк, слишком мало женщин видавший на своем веку. Может быть. Как хотите. Но это — мое мнение, и при нем я остаюсь.

Мы подружались. Перед завтраком, кода дети переставали играть, Эдмэ приходила ко мне в сад, еще с куклой, серсо или скакалкой в руках, и мы начинали беседовать. Она говорила и как дитя, и как женщина. Болтала она обо всех пустяках детской жизни, об играх, о пансионе, мило и чуть-чуть сплетничала о своих подругах здешних и школьных, об их семьях и гувернантках, передавала свои проказы — чрезвычайно тонкие, грациозные, хорошего тона проказы, и вдруг переходила к серьезным вопросам — о добре, о зле, о Боге. Однажды она мне рассказала свои мысли об эгоизме. Ее мисс уверяет, что человек должен быть такой добрый, чтобы ему легче было самому умереть с голоду, чем не дать голодному хлеба. Но если так, то где же заслуга? Если творишь благо потому, что это тебе доставляет удовольствие, то разве это не тот же эгоизм? Она сама, Эдмэ, подарила однажды девочке в пансионе свою брошку с сердоликом, потому что девочка ужасно завидовала ей и плакала, но Эдмэ совсем не хотелось так поступить, она заставила себя и потом сама всю ночь горько плакала. Если послушать мисс, то это еще не значит быть хорошей, а надо стать такою, чтобы твои руки так и рвались сами все отдать. Как вы думаете, кто прав? Вдругой раз оказалось, что она сторонница смертной казни. Казнить надо убийц и политических преступников, а кроме того, таких мужчин, которые покидают жену и детей ради новой любви. Она не понимает, как можно примириться с изменой. Когда ей в пансионе изменила подруга, Эдмэ с ней перестала говорить и никогда в жизни уже не помирится. Со своего младшего брата Андрэ она взяла

клятву, что если когда-нибудь муж ей изменит, она вызовет Андрэ телеграммой из Сингапура, где он тогда будет консулом, и он убьет того человека.

Но о чем бы она ни говорила, о Лукени, который убил императрицу Елизавету, или о своей подруге Клео, которая ужасно прожорлива, она себя держала, как взрослая. Содержание беседы могло быть ребяческим, форма и манеры говорили о том, что передо мною женщина. В чем это проявлялось, я не могу точно определить. Un je ne sais quoi. Раз ко мне приехали два господина и провели на острове день; я их познакомил с Эдмэ, и они вынесли тоже впечатление. Она не дичилась, а просто сначала присматривалась и только отвечала на вопросы, но потом разговорилась, и получилось впечатление, что это маленькая умная хозяйка занимает свой салон. Она то шутила, то становилась серьезна, загадывала нам загадки, расспрашивала о России (мои гости были ваши соотечественники), рассказывала о городе, где папа был консулом. Старший из моих гостей был седой старик; когда смеркалось, она спросила, не сыро ли, не принести ли ему плед. Но другой был молодой человек, лет тридцати семи, с красивой бородой, и я заметил, что она несколько раз внимательно скользнула по его лицу глазами, а вообще держала себя с ним как-то осторожнее, чем с нами, избегала прямо к нему обращаться и на его вопросы отвечала короче, и голос ее тогда звучал замкнуто.

Через неделю после этого Эдмэ пришла в сад без куклы и серсо и сказала мне, что завтра они уезжают. Мне стало невыразимо грустно, до того грустно, что я мысленно разобрал себя. Что такое? Как не стыдно? С одной стороны, мне все-таки пятьдесят два года, и не мог же я влюбиться в эту девочку; с другой стороны, я все же еще не так одряхлел, как во время оно царь наш Давид, в котором только теплота чужой юности могла поддерживать биение жизни. Так я себя уговаривал, но сердце мое болело, и Эдмэ прочла это по моему лицу. Она вдруг стихла и пристально, не отводя взора и не мигая, смотрела мне в глаза; ее синие глаза совсем потемнели. Одно мгновение мне казалось, что из-под ее ресниц побегут слезы; еще одно мгновение мне казалось, что она станет коленями на скамью и кинется мне на шею. Но она не заплакала и не кинулась, а только тихо, почти неосознано положила руку на мой рукав и сказала особенным, тихим, грудным, сосредоточенным голосом, какого я еще не слышал и не подозревал, голосом женщины, которая все и давно поняла:

— Я тоже буду тосковать о вас, мой единственный друг на Принкипо.

Признаюсь, у меня было движение поцеловать ей руку, но я во время опомнился. Я уверен, что она бы не удивилась, но я сам почувствовал, что нельзя. Я даже не погладил ее волос. Я проглотил что-то такое, что стояло поперек горла, и сказал, лишь бы что-нибудь сказать, криво улыбаясь:

— Разве я ваш единственный друг на Принкипо, Эдмэ? А подруги ваши по играм? А Клео?

И тогда она мне ответила буквально следующее... Эти слова, что называется, еще звучат в моих ушах. Я, однако, начинаю колебаться, передать ли вам их: мне теперь только пришло в голову, что вы из них сделаете свои излюбленные выводы. Впрочем, так и быть, знаете роман, знайте и развязку. Она ответила буквально следующее:

— Ах, Клео... Знаете, ведь она еврейка, этим все сказано. Я вообще за то не люблю Принкипо, что тут всегда масса евреев. Они такие вульгарные, я не выношу. А вы?

ГУНН

Поезд из Парижа в Бордо — «экспресс» — ползет довольно медленно; сыро, мрачно, неуютно, окна исцарапаны брызгами косо дождя, от всех пассажиров пахнет мокрыми зонтиками. Не хочется снять пальто, так и сидишь, морщась на весь мир. Состав пассажиров обычный: дама, которая вяжет трико для солдат, две девицы в трауре и пожилой бельгиец с дочерью. Он рассказывает свою историю, тоже обычную: содержал гостиницу в Брюсселе, оттуда бежал в Антверпен, оттуда в Дюнкирхен, теперь едет в Бордо; у него — так он говорит — есть кое-какие соображения, и, если я верно понял, он собирается основать теперь в Бордо пансион для бельгийцев. Предприимчивый народ, неугомонный народ, молодец народ... Потом тема меняется — он начинает рассказывать ужасы. Надо отдать справедливость: он рассказывает ужасы и про немцев, и про бельгийцев — очевидно, и те и другие с большой примесью мифологии. Немцы вешают бельгийских велосипедистов за волосы и подпаливают им ноги, бельгийские женщины в Н. топили сало и лили его в кипящем виде на головы немецким солдатам, и так далее.

Станция. Кто-то выглядывает в окно и говорит:

— Смотрите, voilà des Boches.

Мы все жмемся к окну и смотрим на пленных. Их около 40, все раненые, но, очевидно, уже выписанные из госпиталя. Держаться довольно бодро, но на публику не смотрят. Если бы не перевязки, они были бы очень похожи на группу арестантских рот, какие у нас в провинции иногда починяют мостовую: и сероватое платье такого покроя, и, в особенности, бесцветная фуражка без козырька. Лица у большинства мужицкие, но есть несколько человек в пенсне, интеллигентского вида. Большую часть их усаживают в специальный товарный вагон, а для других — вероятно, послабее — отводят несколько купе в третьем классе, и туда же садятся два французских солдата с привинченными штыками и чин вроде сержанта с красным крестом на рукаве — должно быть, фельдшер. Майор, заведующий посадкой, входит в наше купе, и мы трогаемся.

Военного врача здесь называют просто «майором». Раненые пишут домой: «Мне было очень больно, но майоры говорят, что я скоро поправлюсь». Наш майор сообщает, что эта партия ранена еще во время сражения на Марне. Теперь их эвакуируют на юг, его тоже переводят заведовать большим госпиталем на юге. В его лице есть что-то для меня знакомое, и он тоже смотрит на меня, морща лоб для укрепления памяти. Наконец, мы решаемся и говорим друг другу:

— Вы?

Много лет тому назад мы познакомились в Монпелье, жили в одном пансионе, делали вместе экскурсии в Сетт и в Ним, он был тогда на последнем курсе и при мне женился на русской. И мы разговариваем о счастливом времени, которое было когда-то, давным-давно, в незапамятной древности, когда люди не воевали.

Пуатье. Он выскакивает посмотреть своих раненых. Я выхожу размять ноги. Он подымается на подножки, заглядывает в окна и спрашивает, все ли в порядке, потом влезает в товарный вагон и отдает там какие-то распоряжения. Когда он выходит, я прошу:

— Милый человек, позвольте мне поговорить с вашими немцами.

— Пожалуйста — отвечает он, — только придется при мне, вы ничего не имеете против? Кроме того, говорите с ними по-французски, и если будут спрашивать военные новости, отвечайте неопределенными фразами.

— Разве они говорят по-французски?

— Некоторые говорят, а остальные, право, не интересны. Один даже недурно говорит, с ним я вас и познакомлю. Чуть на тот свет не отправился, штыковая рана в животе, насилию отходили.

Мы садимся в вагон третьего класса. Отделение состоит из трех поперечных купе: в каждом купе двери с обеих сторон прямо наружу, сообщения между купе нет, но перегородки невысокие, только аршина на полтора выше сиденья. Два солдата, сидя в разных купе, могут озирать всю свою паству. В крайнем сидит фельдшер и два немца — сюда мы и входим. Один из немцев занимает половину скамьи, вытянув раненую ногу с огромной забинтованной ступней; его глаза закрыты и, когда мы входим, зажимаются еще плотнее. Другой беседует с фельдшером, бинтов на нем нет, он в роговых очках, худой, долговязый, лет 35-ти, чуть-чуть рыжеватый, с маленькой редкой, прилично подстриженной бородкой. Снять бы с него эту арестантскую шапку, и невольно скажешь: «Гутен таг, херр доктор!»

Он, оказывается, и действительно доктор философии. В свое время, по близорукости был освобожден от военной службы и теперь пошел добровольцем. Он отвечает очень охотно, приветливо, даже немного улыбается. Говорит по-французски точно, только ужасно осторожно, словно несет на ладони очень полный стакан воды и боится расплескать. Акцент — самый саксонский — «ба» вместо «па» и «душур» вместо «тужур». Пленные из других купе поднимают головы и заглядывают через нашу перегородку, но оба солдата в унисон кричат на них: «herr!», и головы скрываются.

Доктор философии — очень тактичный человек. В его положении уметь держать, знать меру и тон — очень трудно, а он умеет и знает. Когда майор нас познакомил, я не знал, подать ли руку, а он спокойно привстал и поклонился, держась правой рукой за ременной поручень у окна, и тем дал мне понять, что здороваться за руку нам не следует. Ответив на мои вопросы, он вежливо спросил, кто я и откуда, но не задал ни одного вопроса о ходе войны. Вообще держал себя так «unbefangen», что и у меня прошла неловкость. Вероятно, он уже привык к любопытству чужих людей.

— Да, — говорит он, — я знал много русских в Галле, у меня даже были приятели из их среды.

— Вы живете в Галле?

— Нет, я там учился, это было уже давно. Живу я во Франкфурте-на-Майне. Вы, может быть, слышали, что во Франкфурте с этого года открыт университет; я, — прибавляет он скромно, — хлопочу там о доцентуре и имею некоторые шансы.

Все это сказано в настоящем времени. «Живу», «хлопочу», «имею шансы»; маленькое интермеццо с войной и пленом, очевидно, не в счет.

— Какой предмет вы предполагали читать?

— Я, собственно, специалист по неороманской филологии, мне, вероятно, предоставят пока читать курс по истории средневековой латыни, конечно, необязательный. Но в будущем я надеюсь взять историю французского языка. Оказывается, его конек — диалекты Франции. Оказывается, у них во Франкфурте есть ферейн для изучения романских наречий; в журнале этого ферейна он поместил ряд статей. И он добросовестно перечисляет диалекты, о коих трактовал в упомянутом журнале: *vaudois, wallon, gascon...*

— Что ж, теперь в Льеже вы могли и практически познакомиться с валлонским наречием, — говорю я, не подумавши, и только потом, когда уже сказано, соображаю, что фраза эта похожа на насмешку или упрек и неуместна в обращении к раненому пленному. Но он не видит в этой фразе ни насмешки, ни упрека и радостно кивает головой:

— Да, да. Вообразите, раньше я ни разу не был в Бельгии. Ездил специально в Лозанну и в Лангедок, а Бельгию все откладывал. Мне действительно было любопытно слышать валлонское наречие, — он улыбается самому себе и со смаком произносит: — «Лидж». Знаете, по валлонски Льеж называется «Лидж»!

И спокойно, неторопливо, с уверенностью, что каждого порядочного человека это не может не интересовать, он сообщает мне, что в валлонском наречии имеются два звука, характерные для английского языка: «дж» и «w»: они произносятся *wallon* как *ouallon*. Эти два звука были свойственны и языку французских норманнов, а потом, после битвы при Гастингсе, занесены были ими в Англию и там привились. У меня вертится на языке вопрос: неужели об этом он думал, проходя по Бельгии? Но тут у него делается грустное выражение лица — ему, видно, жаль бедной Бельгии, и он это высказывает со вздохом:

— К сожалению, портится валлонская речь. Даже в деревнях, близ самого Шарлеруа, не только дети, но и старики употребляют массу французских оборотов.

И лицо его делается еще грустнее, и он заканчивает:
— Вообще боюсь, что все французские диалекты вымирают, за одним исключением: провансальский держится более или менее прочно. — И тут его лицо озаряется почти блаженством:

— Ах, какой чудесный язык!

Майор, который все время сидел молча, сам родом с устьев Роны.

— Да, — подтверждает он задушевно, — красивый язык. Помните, — обращается он ко мне, — как я вам когда-то в Монпелье декламировал:

O Magali, ma tant amado,
Mete la testo au fenestroun!

Лицо доктора философии принимает выражение мягкого восторга. Мистраль! Это, — говорит он, — был поистине великий поэт, он по таланту не ниже Ленау. Первые четыре песни «Mireio» достойны сравнения с Гомером или с Библией. — И он спрашивает майора: помните вы сцену, как прекрасная Мирейо собирает вместе с Винсэном тутовые листья? Помните сцену посиделок? Помните описание овечьего стада? — И он цитирует целые строки на языке подлинника. Во дни оны, когда майор был студентом и декламировал «Магали», в его устах этот язык действительно звенел, как стрекотание кузнечика в траве, опаленной солнцем, но в устах нашего саксонца это музыка точильного колеса, и я еще выражаюсь вежливо. Однако, я вижу, что майор тронут.

— Ну и память же у вас, — говорит он с завистью, — я одну только песню про Магали помнил из всего Мистраля, да и ту забыл. Пойдите, как это там: «О, Магали, если ты станешь розой...»

Немец трет лоб указательным пальцем и досказывает конец строфы.

И вот они оба начинают вспоминать, помогая друг другу, песенку про Магали. Магали была капризная красавица. Влюбленный юноша поет у нее под окном «Aubado» — серенаду на заре, — а она и слушать его не хочет. «Выгляни в окно», умоляет он, «звезды побледнеют, когда увидят тебя». А она его гонит прочь и грозит: «Если ты не уйдешь, я нырну в воду и стану рыбкой». — «А я стану рыбаком и поймаю тебя.» — «А я улечу птишкой в самое небо!» — «А я стану птицеловом и поймаю тебя.» — «А я, — говорит Магали:

Пока с силком за птичкой чуткой
Ты будешь красться, весь в пыли,
Я обернусь цветком-малюткой
В густой траве степной земли!
— Что ж, если станешь, Магали,
Ты незабудкой, —
Тогда росинкой стану я
И ты моя.

— Если так, Магали станет тучкой и улетит в Америку. — А он станет ветром, и унесет ее. — Тогда Магали станет солнечным лучом: «Умчусь я к солнцу под охрану, чтоб стать лучом его огня». — «Да, Магали, стань светом дня! Я змейкой стану: на солнце греется змея, — и ты моя»...

Нет спасения для Магали. Если она станет луной, он станет туманом, *la bello neblo*, и обнимет ее. Если она превратится в розу, он обернется мотыльком и поцелует ее. Она станет дубом, а он — плющом. Магали в отчаянии, она хочет прибегнуть к последнему средству: «Так в монастырь — моя дорога. Туда уйду от суеты, чтоб жить вся в белом, тихо, строго, среди молитв и чистоты...» — «О, Магали, хоть станешь ты невестой Бога, — святым распятым стану я — и ты моя».

Магали не сдается. Магали умрет, но не сдастся: «Нет! Если б хитрость или сила в мой монастырь тебя ввели, — увидишь гроб, и дым кадила, и крест, и насыпь из земли...» — «О, если скроет, Магали, тебя могила, — сырой землю стану я: там ты моя!».

И тогда, наконец, Магали сдается. «Постой, я выйду на крылечко, чтоб не услышали они... Возьми хрустальное колечко — не позабудь, — не обмани...» — «О, Магали! — восклицает счастливец, принимая драгоценный дар, а между тем, пока он за нею гнался, взошла заря, и он лукаво говорит:

... Теперь взгляни,
Мое сердечко,
Как побледнел весь звездный рой —
Перед тобой!

Оба морщат лоб, трут его пальцами, подсказывают друг другу; прелестная песенка, действительно одна из лучших идиллий мировой литературы, как будто у меня на глазах рождается заново из творческих усилий этих двух странных сотрудников. Я сижу, слушаю и дивлюсь, только не стихам Мистраля, конечно.

Наконец, они кончили работу, почти вспотев, и оба очень довольны, особенно доктор философии. Он рад был новому случаю послушать настоящий провансальский выговор, он заставлял майора повторять отдельные слова и даже добросовестно повторял их за ним, на свой лад. Теперь он приветливо смотрит на меня, поблескивая очками, точно уделяет и мне частицу своего полного удовлетворения.

Я задаю ему казенный вопрос: доволен ли обращением и уходом? Он дает казенный ответ: «Ничего, все в порядке». Еще две такие реплики без интереса, и на ближайшей станции мы выходим. Когда мы на перроне и отошли от вагона раненых, майор останавливается, разводит руками, ударяет себя по ляжкам, и спрашивает:

— Но, черт побери!.. Объясните это! Он, который все это носит в голове, он, который... как мог этот человек?.. Поймите: Лувэн, Льеж, библиотеки, церкви, женщины... Объясните мне это!..

Бедный майор выражается неясно — он от волнения потерял дар связной речи. Со своей стороны, не могу я ничего ответить. Пожимаю плечами, и мы усаживаемся обратно в свое купе...

ЗАВОЕВАТЕЛЬ

Всего минут восемнадцать ползет поезд из Пирея в Афины, но за восемнадцать минут можно припомнить очень много — столько, что и за час не напишешь.

Против меня в вагоне сидел господин уже солидно пожилой, но хорошо сохранившийся, белокурый, сероглазый, в тирольской шляпе и коротких штанах спортсмена: явно из Вены и, бесспорно, коммивояжер. Черты лица энергичные, отчетливые; такое лицо, что раз увидишь и тринадцать лет не забудешь. Дело в том, что я действительно видел его тринадцать лет тому назад, и тоже в этих местах. Тогда ему было лет под сорок, но годы почти не отразились на нем. С малым усилием я даже имя его припомнил: херр Густав Квада. Вспомнил и его забористое, зернистое венское наречие: nette Höllschaft вместо Gesellschaft, fesches Mädel, fideler Bursch. Вспомнил даже, какой он партии: христианский социалист и личный поклонник д-ра Люэгера.

Херр Квада, однако, меня не узнал, и я не нашел нужным беспокоить его возобновлением нашего знакомства. Вместо

того замелькали у меня в памяти разные мелочи первой нашей встречи и сложились в выпуклый образ. Не вполне уверен, стоит ли рассказывать: ведь это — письмо военного корреспондента, а та первая встреча случилась много лет назад и сама по себе ничего общего не имела с международными осложнениями. А с другой стороны — не так уж дико было бы сказать, что херр Квада, пожалуй, и есть настоящая причина этой войны. Вопрос спорный, судить не берусь.

Познакомились мы на пароходе из Канеи в Пирей. У нас была с ним общая каюта. Путешествовать в непосредственной близости с коммивояжером не всегда удобно, зато иногда очень удобно — именно, если вы ему понравились. Пока вы ему не понравились, он будет вас притеснять, он займет лучшее место, он взгромоздит свой чемодан с образцами на шляпную картонку вашей спутницы, а ноги положит на вашу газету. Но как только вы ему понравитесь, мгновенно обнаружится, что это за славный малый и что за бесценный попутчик. Он знает множество забавных анекдотов, умеет показывать потрясающие фокусы. Если попросить, или без того, он, прищурив один глаз и воззрясь другим, точно скажет вам и ваш возраст, и чем вы занимаетесь. В кармане у него великолепный энциклопедический нож с тремя лезвиями, с вилкой, ложкой, ножницами, ногтечисткой, зубочисткой, ухверткой, штопором и крючком для пуговиц; в другом кармане — портфельчик с нитками трех цветов и с иглками и с английскими шпильками. Все у него есть, и все у него так тщательно продумано и так ловко пригнано, что одно созерцание радует душу. Провизия у него в особой корзиночке с ремешками, отделениями и полным приданым посуды, а подобрана и выложена так, что и сытый, взглянув, тут же на месте похудеет от сладостного голода. И недолго придется худеть, ибо он, несомненно, сейчас же с фамильярным радушием пригласит вас к участию в трапезе. Вообще, предоставит себя в ваше распоряжение, искренно и всецело, себя и свои припасы, ножики, зубочистки, свой громадный опыт и свое бездонное *savoir faire*.

Мне больше всего импонирует именно эта последняя черта. Настоящий, прирожденный коммивояжер от небес одарен изумительным чутьем реальностей, умением точно и легко проделывать вещи, которые для нас, беспочвенных, словно с одуванчика сдутых, интеллигентов, немислимы. Он сразу видит, способен ли данный кондуктор за полтину произвести необитаемое купе или неспособен; по выражению спины

извозчика он чувствует, бодра ли его лошадь или устала; он знает цену всякому предмету и потому торгуется так кратко и метко, что самый внушительный приказчик растеряется и сдастся ему с первого выстрела: *inter doctores*. Где я особенно дивлюсь его безошибочной догадке и совершенству исполнения — это в тот самый критический из моментов бытия, что для нас, простых смертных, равносильна пытке; я разумею отъезд из гостиницы, шествие сквозь строй кокетливых горничных и величественных лакеев. Мы с вами в такие минуты трепещем, теряем голову, разоряем себя и семью и все-таки сознаем, что не купили уважения. Но полюбуйте на него: раз, два и готово, и все довольны, особенно он сам, ибо истратил во четырежды меньше, чем мы с вами, и еще в придачу ущипнул горничную — формальность, которую мы с вами упустили. Лучшее, что можете сделать, это отдаться под опеку на весь остаток пути; довериться же ему можно смело — если, конечно, вы не торгуете случайно тем же самым товаром, что и он.

Херр Квада торговал кожаными изделиями, а я нет, поэтому я ему понравился, и он меня усыновил. Его тронула моя тогда еще неопытная молодость, и всю дорогу он не только направлял мои стопы в смысле практическом, но и вообще заботился о моем образовании. Я ему и поныне благодарен. Никогда не забуду, что на судах пароходства Паппадаки нет смысла платить за стол в кассу агентства: надо просто поговорить на палубе с экономом. Он показал мне, какой толщины должен быть кусок колбасы, дабы бутерброд сохранился, не издавая никаких эманаций помимо чесночной, сорок восемь часов, учитываемая при сем температуру августа месяца и сороковой градус северной широты. Все при нем выходило дешевле и удобнее.

Но еще бесконечно больше благодарен я ему за другое: он учил меня наблюдать. Я этим не хочу сказать, что научил, но он пытался. Научиться таким вещам нельзя; я думаю, что это у людей от рождения. Херр Квада был так устроен, его глаза, нос, уши, весь организм и сам мозг так, очевидно, прилажены, чтобы ни одному впечатлению не дать пройти незамеченным: словно и для этой функции была у него особая корзиночка и в ней система, бесшумная, верная и непогрешимая.

Он мне сказал на пароходе, будто умеет свободно говорить по-гречески. Но в Пирее на таможне вышли у него какие-то затруднения с содержимым профессионального чемодана, и тут обнаружилось, что он ни звука по-ихнему не знает и должен выпутываться из беды на очень дырявом французском языке.

«Соврал», — брезгливо подумал я. Таможенные эллины что-то говорили между собою с явным негодованием, указывая на него и на кожаные образцы в чемодане, — он только хлопал глазами и спрашивал: «Куа?» Наконец, однако, все как-то уладилось, и мы, в предшестве носильщика с багажом, выпущены были на площадь. Семь извозчиков подлетели к нам в порыве состязательного красноречия, которое мне напомнило Смирну, Родос и Колофон, и херр Квада сейчас же вступил с ними в перекрестный торг самой подлинной сюсюкающей греческой скороговоркой. Когда мы поехали, я спросил:

— Что же вы не заговорили по-гречески с таможенными? Полчаса мы там потеряли даром.

Он ответил:

— Даром? Ничуть. Я всегда в таких случаях притворяюсь глухонемым.

— Это зачем?

— А чтобы они начали сердиться.

— А это зачем?

— Чтобы стали меня ругать в моем присутствии.

— А это зачем?

— So lernt man die Leute kennen.

В Афины мы прибыли поздновато и вышли из гостиницы уже затемно. У него на тот вечер было назначено с кем-то деловое свидание. На улице уже мало было народу, но единичные прохожие встречались. Он шел очень уверенно, но вдруг сказал:

— Надо бы спросить, где переулочек такой-то.

Идем мы правильно, вот только не знаю, который из поворотов.

— Так спросите.

— Давно бы спросил, но мы еще не нагнали никого, кто шел бы в том же направлении. Все прохожие, как на зло, идут нам навстречу.

— Вот и еще один идет навстречу, спросите его. Что за разница?

— Большая разница. Который идет навстречу — ответит и пойдет своей дорогой. Который идет в нашем направлении — с тем можно разговаривать. So lernt man die Leute kennen.

Вскоре мы нагнали солдата, шедшего в желательном направлении, и херр Квада, действительно, завел с ним на ходу оживленную беседу. На углу они остановили портового босяка (конечно, и он держал курс в том же направлении) и дальше пошли втроем: херр Квада в центре, один грек слева, другой

справа. Тротуар был узкий, я пошел позади. Так дошли мы до поворота, он попрощался со спутниками и приказал мне:

— Подождите четверть часа в той кофейне напротив.

Точь-в-точь через пятнадцать минут он явился, сел и произнес одно слово: «Кофе». Не выкрикнул, а просто произнес обычным своим разговорным тоном и ни к кому в отдельности не обращаясь; да и не к кому было обратиться — единственный половой как раз за минуту до того вышел. И все же — как-то так прозвучало это слово, что ясно было — даром оно прозвучать не могло. Настолько ясно это было, что величаво скусающая девица, восседавшая с видом отсутствия по ту сторону прилавка за стеклянными колоколами пирожного, фиников и рахат-лукума, нерешительно зашевелилась — встала — и, самолично подойдя к боковой двери, позвала полового:

— Юргаки!

Херр Квада проводил ее глазами и сказал мне:

— Fesches Mädel. Племянница хозяйки.

Кофе ему подали, и мы пошли обратно в гостиницу.

— Видите вот тот большой дом с башенкой? — спросил он.

— Вижу.

— Принадлежит вашему земляку. Грек, но из Одессы. Привезли туда ребенком. Чистил сапоги, потом занялся контрабандой. Разбогател, вернулся в Афины, построил две гимназии — одну здесь, одну в Патрасе — построил этот дом, а в прошлом году выдал младшую дочку за товарища министра и приданого отвалил сто тысяч. Ловкий народ эти греки.

— Откуда вы это все знаете?

— Солдат сказал.

Я подумал про себя: ловкий народ эти венцы.

С минуту он молчал, а потом вернулся к первой теме:

— Fesches Mädel, та хозяйкина племянница.

— Почему племянница?

— Босьяк сказал. Хорошая фигура, хотя колени кривые. Только жаль — плохо кончит.

Я невольно остановился от изумления, точь-в-точь как доктор Ватсон, друг Шерлока Холмса.

— Колени?

Юбки тогда носили длинные до пола, и девица из-за прилавка всего только раз и прошла перед нами, шагов пять до двери, не больше.

— Всегда смотрите женщине на носки, — объяснил он поучительно. — Если она ставит носки врозь, значит — ноги правильные, а если нет, значит — кривые ноги. Икс или О.

— Допустим. Но почему плохо кончит?

— Всегда смотрите женщине на носки, — повторил он. — Бедная девушка за прилавком в дешевой кофейне — а чулки на ней прозрачные, каблуки вершковские, и туфли стоят двадцать семь драхм пятьдесят лепта пара. Ясно, чем она кончит.

Долго я брел за ним, молчаливо дивясь, наконец робко спросил:

— Скажите: вы ведь продаете Wiener Lederwaren. Чего ради вы тратите время и внимание на таможенных, на грека из Одессы, на хозяйкину племянницу?

— So lernt man die Leute kennen, — ответил херр Квада.

...Теперь, тринадцать лет спустя, сидя против него в вагоне, я сообразил, что он был прав. Прошу заметить, что я здесь передал только события одного вечера, и то не все (когда мы пришли в гостиницу, он сообщил мне, что горничная нашего этажа проявляет к нему благоволение, но что он не решается ответить ей взаимностью, так как у молодого человека из номера тридцать седьмого ячмень на глазу). Но он наблюдал, подмечал, запоминал и по утрам, и в полдень, и ночью; все отправления его сознательной жизни приспособлены были к этой функции незримого аппарата, печатавшего моментальные снимки со всего, что попадало в поле его зрения. В наше военное время есть у этого типа готовое нарицательное имя: «немецкий шпион». Но я не согласен. Конечно, ежели родина того потребует, херр Квада с радостью предоставит к услугам австрийской разведки все архивы своей памяти, все свое поразительное знание людей, мест, отношений. Но никогда не был он шпионом. Он замечал — «просто так», «как соловей поет и роза благоухает». Это было искусство для искусства; если он этим и служил кому бы то ни было сознательно, то своей фирме, а не главному штабу. Вооруженный духовным своим кодаком, он победоносно шествовал по Балканам, завоевывая Ближний Восток для кожаных изделий Вены, и я готов присягнуть, что никакой другой цели у него тогда не было.

И все же — херр Квада в этой войне далеко не постороннее лицо. Весь пожар этот возник из соперничества за рынки Востока, и пред лицом этого факта вопрос о том, был ли он шпионом — мелочь. В судьбах мира сего херр Квада сыграл роль бесконечно более решающую. На востоке и на западе миллионы губят друг друга, а причина тому — он, херр Квада-завоеватель.

РАССКАЗ Г-на А.Б.

Г-н А.Б. состоит в Лондоне корреспондентом небольшой провинциальной русской газеты. Он говорит недурно по-английски, и его недавно пригласили прочесть лекцию о России в большом торговом городе. Слово принадлежит г-ну А.Б.

Я согласился. Доход — в пользу раненых солдат из того города; отчего же не согласиться? И англичане теперь так рады всякому слову о России. Я, правда, не оратор и Россию-то знаю только поверхностную, городскую; но, во всяком случае, так как я читаю русские газеты, а англичане их не читают, то можно составить приличную лекцию, особенно если ее заранее написать и дать знакомой корректорше на просмотр. Я согласился. Представлял я себе при этом, что лекция будет как лекция: часть публики придет послушать, а часть публики останется дома или разбредется по кинематографам, председательствовать будет скромный председатель благотворительного общества, в пользу которого я читаю, две-три газеты пришлют репортеров и напечатают отчет в три строчки, слушатели похлопают, а я — прямо на поезд и утром буду в Лондоне. Я согласился.

Вдруг за неделю до лекции я получил от секретаря благотворительного общества большое письмо на машинке. Там подробно излагалось, когда я должен приехать и когда уехать и как я там проведу время. Оказалось так: в час дня — завтрак в торговой палате под председательством ее выборного главы лорда М. От 3-х до 6-ти — осмотр заводов муниципальных и других и поездка в военный госпиталь. В 7 часов — обед у городского головы, в 8 часов — лекция. Меня оторопь взяла. Причем тут палата, лорд, заводы и городской голова? Я написал секретарю, что все это очень лестно и мило, но ведь я — маленькое частное лицо, смиренный газетчик, никого и ничего не представляю и никаких прав на чествование не имею.

Прежде, однако, чем это письмо дошло до него, я получил от него второе. Он просил прислать мой портрет для газет — если можно, в национальном русском костюме. Кроме того, он просил меня прислать программу лекции для напечатания в газетах, а чтобы избавить меня от лишнего труда, он прилагал тут же примерную программу, добавляя, что если не будет

с моей стороны возражений, он сдал ее редакциям. Я успел только заметить: «Часть вторая: Дух русского народа (вера, престол, отечество). Древняя и новая слава казаков. Великие полководцы от Суворова до Николая Николаевича». Очнувшись от обморока, я помчался на телеграф и послать депешу в три страницы.

И вот я приехал. Встретил меня секретарь, человек очень милый. Сожалел о недоразумении, сказал, что совсем вычеркнуть программу было неудобно, но, считаясь с моим желанием, он ее напечатал в сокращенном виде. Я уж порешил лучше не смотреть, что там сказано, — зачем себя даром расстраивать, раз это непоправимо. Мне только попалась на глаза одна строчка: «Мистицизм русской народной души». С ужасом вспомнил, что ни разу в жизни еще не прочел ни одной строчки по богоискательству. «Откуда вы все это взяли?» — спросил я у секретаря слабым голосом человека, который добит, которому все на свете все равно. Он посмотрел на меня удивленно, выражая всем лицом своим убеждение, что о России именно так полагается читать, а не иначе, но опять любезно говорил, что сожалеет о недоразумении. Однако пора было бриться и надевать визитку, и мы поехали в торговую палату.

Вообразите завтрак в парадной зале огромного дворца на восемьдесят персон. Все персоны — местные купцы. Мне потом объяснили, что они вместе представляли капитал в сто миллионов фунтов, или больше. Самому младшему было лет пятьдесят. Когда мне их представляли (так точно: не меня им, а их мне), я расслышал несколько имен фабрикантов, которые даже в России известны каждому покупателю, бывающему в хороших магазинах. Представлял сам лорд М., старичок с огромной репутацией финансиста и миллионер. В интересах справедливости должен отметить, однако, что было два исключения: епископу и городскому голове он представил меня, а не их обоих мне. Ибо да-с, там был и голова, и епископ. Вы вникните! Я получаю по военному времени три рубля за телеграмму с правом посылать не больше трех телеграмм в день, и в типографии нашей газеты еще даже нет линотипов!

За завтраком я сидел по правую руку лорда-председателя, городского голову посадили слева от председателя, а епископа — рядом со мной справа. У епископа было милое-милое лицо, но я никогда в жизни не разговаривал с епископами и даже не знаю, как сказать по-английски «ваше преосвященство». Лорд М., по-моему, раза два покосился посмотреть, как

я держу нож и вилку. Но я эти правила уже заучил. Нож и вилку надо держать легко, тремя пальцами, как можно ближе друг к дружке, а локти должны быть тесно прижаты к талии; если нужно положить вилку и ножик, хотя бы на минуту, надо класть целиком на тарелку, а не так, чтобы зубья были на тарелке, а черенок на скатерти; вилка должна быть все время тылом вверх, и, воткнув ее в кусочек мяса, надо прилепить к нему ножом капельку пюре, капельку горошку, капельку всего прочего, что есть на тарелке, изваять небольшую, но плотную, аккуратную, артистическую бульбу, содержащую в себе микроскоп питательных веществ, и отправить ее в рот. Лорд, очевидно, удовлетворился и тихо сказал мне:

— Первый тост будет за короля, тогда все встанут, и вы тоже встанете. Второй тост будет за нашего гостя, т.е. за вас, и все встанут, а вы не вставайте.

И вот он встал, сделалось тихо; он поднял бокал и кратко заявил: «Джентльмены, король!» Ах, хотел бы я быть королем в Англии. Есть два рода величия: праздничное и будничное. Первое не любит показываться в люди, кроме как по исключительным случаям, в торжественной обстановке, издали; слишком частое соприкосновение с толпой опасно для его престижа; попросту говоря, оно боится надоесть публике. Но есть великие вещи, которые будничны и вместе с тем никогда не могут надоесть, как хлеб, вода и воздух. Это-то и есть, я думаю, настоящее величие. Король в Англии — страшно будничное учреждение. Не только пьют его здоровье на всех обедах, где пьют вообще чье-либо здоровье: на каждом конверте из участка или почтового отделения напечатано: «Служба его величества», и в каждом кинематографе каждый вечер в 11 часов на экране появляется его портрет, как сигнал, что теперь конец и публику просят идти восвояси. Но надо слышать, как восемьдесят персон, восемьдесят пожилых фабрикантов и купцов кричат: «Хип, хип, хуррэй!» негромко, истово, основательно, с глубоким убеждением, с тем спокойным, тоже будничным энтузиазмом, которому нет износа.

После короля пришла моя очередь. Лорд мой опять поднялся, вытащил из кармана бумажку и стал читать мне речь. Да, читать; должен даже признаться, что бумажка содержала четыре страницы на ремингтоне. Сначала он описал размеры России, ее население, назвал главные города, остановился на важнейших предметах ввоза и вывоза, указал на горячее желание Англии завязать тесные торговые отношения с добле-

ственным и могучим союзником, упомянул с удовлетворением об интересе к изучению русского языка, проявившемся за последнее время всюду в Англии и, в частности, также в этом городе, но при этом, к его глубокому сожалению, он не мог скрыть от почтенного гостя той прискорбной истины, что главное препятствие к развитию торгового сближения заключается в высоте русских таможенных ставок, которые они вынуждены назвать почти запретительными, а потому он выразил надежду, что после войны русские тарифы будут пересмотрены в интересах обеих держав. На основании всех вышеизложенных соображений он предложил поднять бокалы за уважаемого гостя. И все восемьдесят персон встали, подняли бокалы, спели хоровую песню и закричали: «Хуррэй, хуррэй, хип, хип, хуррэй!» (хуррэй — значит «ура»), — куда громче, чем для короля, так громко, что мне почудился звон ста миллионов червонцев, и все это в мою честь.

Я понимаю: у вас на языке вертится слово: Хлестаков. Конечно, и я в это время думал о Хлестакове. Мои глаза открылись, и впервые в жизни понял я душу Хлестакова. Хлестаков — ничуть не обманщик и ничуть не пустейший человек. Он — просто жертва обстоятельств. Если вас почему-либо приняли за господина Финансова, то уж приходится держать себя соответственно, хочешь — не хочешь. Нельзя разочаровывать восемьдесят персон, делать их смешными в их собственных глазах. Я почувствовал ясно, что если ко мне сейчас подойдет любой из этих седоволосых миллионеров и спросит позволения назвать своего сына Рюриковичем, я невольно отвечу: пусть называется...

Словом, я встал и произнес речь высокого государственного значения. Я удостоверяю, что Россия будет чрезвычайно рада торговому сближению и охотно пойдет навстречу всем, чем только можно. Понизить пошлины я, однако, отказался ввиду огромной задолженности и особенно ввиду отпадения спиртного дохода. Я указал им, что запрещение продажи питей есть лучшее средство повысить платежеспособность населения, а тогда это население способно оплатить какие угодно пошлины плюс солидный барыш. Я напомнил им, что немцы ведь не испугались тех самых ставок, которые благородный лорд назвал запретительными. При этом случае я вообще пожурил их отечески за косность и негибкость их торговой традиции. В заключение прибавил, что, однако, экономическое развитие России будет в значительной мере зависеть от

того, кто будет хозяином Дарданелл, и закончил тостом за вечное согласие. Все персоны захопали, и лорд, епископ и городской голова пожали мне руку.

Я уже не хочу описывать, как мне показывали заводы и больницу. Я уже не хочу описывать обед у городского головы, где меня посадили на главном месте и где соседка обстоятельно расспрашивала меня о характере и здоровье высочайших из лиц, которых я в жизни не видал и даже не точно помню, как их зовут. Не хочу описывать и лекцию. Достаточно будет одной детали. Мы вошли в залу не просто, а гуськом в виде процессии из 12 человек. Впереди шел епископ (он председательствовал на лекции), за ним — я, за мной — голова с цепью на шее, за головой — лорд, за лордом — еще персоны. Как только мы показались, оркестр заиграл «Боже, царя храни», и под эту музыку и гром оваций мы гуськом поднялись на платформу...

В ТЕМНЫЕ ВЕКА

Эту историю рассказал мне профессор большого университета, человек знаменитый, но парадоксальный. До того еще он прочитал мне долгую лекцию о том, будто средние века были, в сущности, очень приятные века для большинства участников, века всеобщего довольства и равновесия; и будто многое, что мы понаслышке о том времени считаем проявлением гнета, часто совсем по-иному воспринималось объектами этих проявлений. Лекцию я тоже запомнил, но передам в другой раз, пока передаю историю. Профессор уверял, будто нашел ее в старинной рукописи, но я не ручаюсь ни за этот факт, ни за факты, изложенные в самой истории, ни за профессорские выводы.

Произошло это в 1358 году. Строго говоря, истинное средневековье уже было позади, но и официальный Ренессанс еще не начался — вернее, из Италии еще не перебросился в Западную Европу. Состоянию добровольного, блаженного сна, однако, уже давно пришел конец. Если не сам барон, то отец или дед его побывали в Константинополе или в Египте — среди расточительных князей Востока, которые, собственно, представляли собою единственное приличное общество той

эпохи, и барон привез оттуда и передал потомству яд несправедливости, искания, любопытства, желаний — тот именно яд зависти, отсутствием которого обуславливалось благополучие предшествовавшей эпохи.

Данте считает библейского змея олицетворением одного только порока: Зависти. Во второй раз в истории вкрадчивая гадина выжила Адама из райских садов. Адам вновь начал «желать»: профессия, неудобная в глазах божьих. Бароны возжелали золотых кубков, их дамы — жемчугов и шелков, торговцы — лишних барышей, а ростовщик, этот главный факелоносец прогресса, возжелал такой лихвы, которая оплатила бы риск его при пересылке мешков с червонцами по опасным дорогам из Милана в Ахен и Вену. Все это, в последнем итоге, взыскивалось с мужика — и, таким образом, зашаталась от новых «желаний» и его хижина, основа мира сего.

В 1358 г. это кончилось Жакерией; интересующая нас с вами деталь этого события заключается в том, что граф Альбер де ла Романд жил тогда в своем замке Коль дю-Лу, а вся Овернь вокруг замка уже была охвачена мятежом.

Автор хроники признает, что никого так не ненавидели вассалы во всей провинции, как этого магната. С юных дней он прослыл чудовищем артистической, феерической жестокости. Защитник его не мог бы даже сослаться на смягчающее вину обстоятельство горячего темперамента. Речь его была всегда спокойна, и в обращении с вассалами, особенно с женщинами, он всегда выказывал некую, я бы сказал, высокомерную учтивость — и, вероятно, прибавил бы я, самая учтивость эта еще в большей мере, нежели все его поборы и казни, наводила мужицкие головы на запрещенные мысли. Он предвосхитил одну из аффектаций, которой прославился Людовик XIV, — снимать шляпу в ответ на реверанс судомойки. С мужиками он разговаривал коротко и сухо, но без грубости. В то же время браконьерам в его владениях заливали горло или жилы топленным свинцом. В деревне Шардоньер за просрочку подати десять старших сыновей были по жребию повешены за одну ночь. Не проходило недели без большой порки в стенах замка Коль дю-Лу, когда граф Альбер там проживал, а плеть была специально куплена у туниССкого пирата и была сделана из шкуры какого-то полумифического зверя семейства толстокожих. Но (и это особенно показательно для того разложения, какое успел уже тогда внести в крестьянские умы так называемый дух времени) больше всего ненавидели

графа не за жестокость. Главной жалобой в устах вассалов было нечто другое: граф Альбер, последний приверженец традиции, которая в тот период уже почти всюду вымерла, все еще блюл и проводил в жизнь ту самую обидную из привилегий феодала, которую французы деликатно именуют *droit du Seigneur*.

Она вышла из моды в этой части Европы задолго до рождения графа Альбера. Никто, конечно, не возражал против обычных способов развлечения дворянина с женой или дочерью вассала, но то была процедура негласная, неофициальная. Совершенно иное дело — приказ о приводе невесты, чуть ли не прямо из церкви, еще с венцом на голове; холодное административное распоряжение без соблазна и без насилия, словно деталь казенного производства по взысканию налогов. Первыми запротестовали дамы, т.е. не в деревне, а в замке: еще один симптом той гангрены, которая начала разъедать организм еще недавно столь блаженно-снисходительного общества; и дамы, в конце концов, победили. И придворный Париж, и местная знать давно уже начали косо смотреть на тех немногих староверов, которые все еще придерживались отжившего обряда. Но дело в том, что на графа Альбера нельзя было смотреть косо. Ко двору он не ездил, а зато прекрасно владел мечом, и случалось ему, не убивая противника, отпустить его живым со срубленным ухом или носом. Овдовел он рано, а потому был недоступен и влиянию той первичной формы замкового феминизма, о которой мы только что говорили. К счастью для его овернских вассалов, за последние тридцать лет судьба их благословила урожаем исключительно некрасивых девиц, но в старшем поколении были женщины, теперь отцветшие, о свадьбе которых еще сохранилось оскорбительное предание.

И вдруг, всего за пять лет до Жакерии, граф Альбер превозмог самого себя. Этот подвиг вызвал серьезное возбуждение среди областного дворянства, и даже какой-то сердитый аббат в Клермоне произнес по этому поводу гневную проповедь. Происшествие это называется «*le scandale de Marie-Jehanne-Marie*». В том году в деревне Пре-ла-Гэп должны были венчаться в одно и то же воскресенье три девушки, более или менее сносной внешности. Случись оно десятью годами раньше, граф Альбер не испугался бы и тройного совпадения, но, хотя еще моложавый и стройный на вид, он подходил уже к концу пятого десятка. Поэтому он приказал справить эти три свадьбы не сразу, а в три воскресенья, одно за другим.

Память об этой обиде была еще свежа. Мельничиха Жанна, Мария Рыжая и Мария Курносая были не хуже других женщин на деревне, так же бодро тянули бабью лямку, так же мирно терпели мужнины побои, как и все, но чувствовалось, что они — отверженные, и они сами никогда не решались поднять голос в споре с соседкой из страха, как бы та в ответ не напомнила им *la chose*. Но мужья их поминали *la chose* в каждой семейной сцене, а по праздникам, сидя с приятелями в харчевне, каждый из них волком глядел куда-то мимо собутыльника, слишком пьяный или слишком осторожный — или слишком полный ненависти для слов.

И теперь вся провинция была в огне, и граф Альбер заперт в ловушке. Замок был осажден, мужики отвели даже воду — некоторые из них, постарше, ходили в свое время на войну и знали правила осады. Ждать помощи было неоткуда. Бежать? Был, правда, подземный ход из замка к берегу реки: когда-то, во времена более романтические, предки графа, по преданию, пользовались им для устранения неверных жен или отравленных гостей, и тогда его местонахождение, вход и выход содержались в строгой тайне. Но четырнадцатое столетие уже отвыкло от этих чудачеств. Уже давным-давно, три поколения, старая дыра над рекой поступила в нераздельное пользование деревенских мальчишек, там удобно было играть в разбойники, впрочем, уходить в глубину они не решались, так как слышали от бабушек, что там шныряет юркий Элекэн, один из популярных бесов того времени. С первого дня осады мужики не только завалили проход, но и поставили перед ним стражу. Из окна граф Альбер сам видел, как они с гвалтом и с гиком таскали в пещеру тяжелые камни, и потому знал, что и этот старомодный путь к свободе для него отрезан. Но еще больше он бы в этом убедился, если бы мог увидеть, из кого состояла стража засыпанного прохода.

За последние недели социальное положение Марии, Жанны и Марии резко изменилось. Это уже не были отверженные. Их позор стал ореолом, их три имени — программой. Память об их унижении превратилась как бы в символ всей феодальной неправды; мщение за их поруганную честь как бы заслонило или слило в себе все практические лозунги овернского крестьянства. Никто теперь так не свирепствовал на площади, как эти три растрепанные фурии с помарками преждевременной крестьянской старости на недавно еще миловидных лицах. Началось это с того, что мужья их вытащили свой стыд на улицу

и сделали из него знамя, но вскоре сами три жертвы приняли на себя традиционно женскую роль Деборы. Они были повсюду, они охрипли от крика, опьянели от своего триумфального срама. Они втроем составили подробный план расправы на тот день, когда граф Альбер будет взят живьем: в этом плане было все — и гиппопотамовая плеть, и топленое олово, и перед этим еще гнусное увечье. Они заставили мужиков целовать крест на том, что план будет выполнен до мелочи. А когда возник вопрос об охране заваленного подземного хода, о страже, не доступной ни усталости, ни сну, первыми вызвались Мария, Жанна и Мария, и им, с кликами беспримерного энтузиазма, и было доверено святое дело.

Прошла неделя. Гарнизон замка страдал от голода и жажды. Мельничиха Жанна в свободную ночь (они чередовались на страже) умудрилась пробраться к стене и предложить графской челяди всеобщую амнистию, если графа выдадут живым и связанным. Она им сказала, что предложение исходит от главварей, что главари готовы послать им распятие с алтаря сельской часовни в ознаменование присяги. Люди в замке знали, конечно, цену присяги, но это все же была искра надежды. Пошептавшись, они велели Жанне принести на следующую ночь распятие. Пропал граф Альбер!

В ночь, когда мельничиха снова отправилась в свой путь с серебряной ношей под платком, на страже была Рыжая Мария. Два сосновых факела торчали в расселинах, они освещали поперечную баррикаду из камней, нагроможденных во всю ширину прохода от верху до низу. Сама по себе баррикада не делала чести своим строителям — в ее щели свободно проходила рука, но чтобы ее разобрать, все же нужно было время, между тем как на первый крик Марии мгновенно сбежалась бы вся деревня. Не в камнях была мощь стены, а в ненависти трех озверелых женщин, терпеливой, уверенной ненависти сытых зверей — потому что теперь звери были сыты. Графская дичь была к их услугам, графский погреб тоже, потому что мужики продавали охране замка ведро воды за бочку вина. И сейчас на земле у ног Марии лежало ребро жареного мяса, стояла полная кружка. Но сочнее дичи, пьянее вина были ее мысли.

Жанна обещала прибежать сейчас же, как вернется. Вернется она, конечно, с вестью об успехе. Может быть, завтра! Она и Жанна и Курносая велят толпе отойти в круг, подальше, чтобы можно было самим заняться пленником — как следует. Ее мысли вдруг приобрели красочную, почти осязаемую

выпуклость; я не берусь их передавать, но это было видение — красные струйки, и из них причудливый узор на белой коже... Впрочем, не совсем белой, скорее смугловатой. Она еще не забыла, несмотря на эти годы.

Она отпила большой глоток из кружки. В вине тоже было свое воспоминание. До той ночи, пять лет назад, она такого никогда не пила. Вкус его где-то сохранился и был теперь словно голос, что-то рассказывающий; в плоском мозгу полудикого существа чувства удержали воспоминание прочнее, чем сама память. Вкус вина ей напомнил много разных других вкусов. Ей дали тогда полную тарелку сластей, такие жирные, липкие, пряные сласти. Даже в мучительном смятении того часа она невольно съела все, одно за другим, — и теперь она тоже невольно провела кончиком языка по губам, вдруг пересохшим. Она вспомнила старую ключницу, которая велела ей пить и есть, — толстую полубарыню с тяжелыми ключами, болтавшимися на поясе; она была не злая, она только раз крикнула на девушку, в самом начале, когда Мария так отчаянно отбивалась от попыток старухи обмыть ее с головы до ног. Но Мария скоро ей сдалась, может быть, потому, что вода была такая теплая и хорошо пахла, и тогда ключница опять подобрела и дала ей надеть что-то длинное, белое, мягкое, шелестящее, вместо свадебного наряда, в котором ее привели. Ее свадебное платье было, правда, гораздо красивее, чем та рубаха, и сверху еще одна рубаха поплотнее, что надела на нее ключница; ее платье было не просто белое, а красное с зеленым и желтым, но ключницыны вещи словно гладили кожу, чем-то напоминали прикосновение той теплой воды и все время забавно шумели, как листья.

Потом пришел он. Она помнила свою дрожь, желание спрятаться в углу, но только ноги ее отказывались служить, от вина и тепла и запаха — и вообще от всего. Она зажмурила глаза, дрожа и глотая рыдание, и ждала грубого прикосновения — потому что шестимесячный опыт невесты научил ее многому. Но он не дотронулся; вместо того она услышала голос. Голос был тоже похож на все остальное, на шорох той ткани, на сласти, на все это колдовство кругом. Говорил он то самое, что говорят другие люди, только иначе — а может быть, и слова были другие, трудно сказать. Единственное, чего Мария не могла вспомнить, это и были слова. Но она хорошо помнила колдовство, странное убаюкивающее чувство, от которого как-то ушел и страх; она помнила свой смех,

чудной какой-то смех, не похожий на ее — вроде тех звуков далеко в лесу, по ночам, когда старухи говорят, что это зеленоволосая лесная русалка веселится с Эллекеэном. Она помнила еще и более странные вещи, которые она сама делала и как будто не сама, в ту ночь тумана и колдовства и сладкого вкуса на губах. Нехорошая вещь колдовство, оно — как болотная немочь, оно забирается в самые кости и там остается навсегда, хотя бы и забылось на целый год или на пять лет.

Легкие шаги послышались у входа пещеры. Это была Курносая. Рыжая Мария смутно подивилась, зачем та пришла — ее очередь будет на рассвете. Но почему-то ей не хотелось спросить, не хотелось услышать ни свой собственный осипший голос, ни те крепкие слова, которыми славилась ее подруга. И Курносая тоже ничего не сказала, а просто села на пол и отпила маленький глоток, такой маленький, что Рыжая Мария опять подивилась про себя — и тут же подумала, что и ей самой не хочется пить, несмотря на пересохшие губы.

Молча сидели обе женщины друг против друга; у Курносой Марии глаза были закрыты — может быть, задремала, и Рыжая глядела на ее лицо с новым интересом. Сильно изменилась она за эти годы. Задорный вздернутый нос, когда-то главная прелесть ее лица, стал похож на обрубок. На лбу чуть ли не больше морщинок, чем у Рыжей Марии на ладони. Кожу было трудно рассмотреть в мелькании шипящих факелов, но Рыжая и так знала, что кожа у той загрубелая, в трещинах и грязная. Сколько тогда возилась толстая ключница над ее собственным лицом, сколько терла той упругой мокрой штучкой, похожей на ком желтого мха, что крестоносцы, говорят, привезли из турецкой земли!

Марии вдруг показалось смешно, что она так вглядывается в лицо другой Марии. За возней и работой, за родами, за грудными детьми, за всей каторгой мужицкого женского быта она давно забыла про то, какие бывают лица. Может быть, она совсем и не на курносую Марию смотрит; может быть, она просто глядится в живое зеркало, читая в его морщинах и шрамах свою собственную повесть о нищете и голоде, о грязи и побоях?

Курносая сидела тихо, будто заснула, но вдруг подняла голову, повернулась ко входу и прислушалась. Сквозь лепет реки и обычные хоры летней ночи доносились другие звуки: иногда шарпали доски о песок, когда течение наносило на низкий берег старую плоскодонку, привязанную в двух шагах

от пещеры, иногда смутные хриплые крики долетали из села и псы лаяли в ответ; и что-то было такое в человеческих голосах, что трудно, казалось, отличить крики от лая. Курносая сказала:

— Напились, как свиньи. Крикни теперь на помощь — прибежать не могут, приползут на четвереньках.

Опять они молчали и ждали. Обе теперь задремали, только изредка вдруг одна открывала глаза и встречалась с беглым взглядом другой. Еще раз слышались крики в деревне, и через несколько минут в пещеру вбежала Жанна. У нее был факел, лицо было ярко освещено, щеки и глаза ее горели, рот был слегка открыт, словно не хватало воздуха. Еще у входа она закричала:

— Готово, завтра его получим!

Обе Марии вскочили. Она рассказала им все подробно. Сам Ле Каталан, его правая рука, пришел взять у нее распятие; глупец — принудил ее поцеловать крест! Это неважно, хуже то, что он ее заставил ждать, страшно долго ждать, пока удалось ему пробраться к назначенному месту под башней... — Словом, все будет сделано завтра, между зарей и полуднем. Ночью нельзя: у самой двери спят два его заклятых телохранителя, с которыми не сговоришься. Но утром он пойдет проверять сторожевые посты, тут дворовые накинута и свяжут его по рукам и ногам. Она, Жанна, бежала всю дорогу назад, вне себя от счастья. Она и теперь еще вне себя от счастья... Только ждать было жутко. Хуже нет ничего, как стоять и ждать без конца. Мысли тогда приходят и уходят, и крутятся вихрем, как им угодно, словно голова твоя — не твоя, а ничья — беззаборный пустырь, где какой зверь ни захочет, тот и скачет, а ты хоть с ума сойди... — Все равно, завтра в полдень зато будет весело. Всем будет весело, хотя этот простак Ле Каталан, кажется, взаправду поверил, будто его и всю шайку отпустят добром. «Целуй крест». Подумаешь! Велика важность — поцелуй. Кто помнит поцелуи?

Мельничиха Жанна была известна свободой своих взглядов. Она рассмеялась и повторила:

— Кто их помнит?..

Рыжая Мария села, уставилась в угол и сказала глухо:

— Есть и такие, что помнят.

Жанна резко повернулась к ней, но ничего не ответила. Она потушила свой факел в куче сырой глины, ибо расчетливость была в ее крови, и села на корточки рядом с Курносой. И опять долго ничего не было слышно, кроме шипения

смолистых веток и скрипа лодки о песок, и реки, и шумов ночи, пьяниц, псов — издалека и с каждым мигом дальше. Ни одна из трех не спала, теперь их глаза были широко раскрыты, но друг на друга они не смотрели.

Есть мгновенья, когда мысли почти звучат вслух, но как раз в эти минуты они выскользывают за предел, доступный речи, и не догнать их человеческому слову. Есть унисон пения, и также бывает (но только на самых страшных, непоправимых поворотах жизни) унисон молчания. И ничего нет хуже, как ждать. Когда дойдешь до поворота, и надо ждать — тогда, в самом деле, душа становится как ущелье в горах, где ветер бушует справа налево и слева направо, пока не вырвет из тебя всю волю...

Стон прорезал тишину, низкий, полный, непередаваемый, как будто застонало животное, — а застонала Жанна. Она схватила потушенный факел, вскочила на ноги и ударила по каменной баррикаде с бессмысленным бешенством. Малый камень, не больше ее кулака, выкатился из расселины между двумя глыбами. Щель была невелика, но, по-видимому, сквозная: из отверстия подуло — чуть-чуть, но непрерывно. В этом слабом притоке воздуха было дыхание сырого подzemелья, холоднее речной свежести входа; и, может быть, для трех душ, измученных ожиданием, тем ожиданием, которое хуже всего на свете, было и другое в этом дуновении: был вкус пряного меда, был запах, зов — намек, нашептанный сатаной или проказливым его племянником Эллеканом — хвостик его похож на пъявку, а живет он, говорят, в подzemельях...

Молодой человек, можете считать это концом повести. Логически ясно, что такую баррикаду не трудно разобрать и что у крестьянской женщины, даже когда лицо ее увяло, остаются сильные руки. И мужики в Коль дю Лу были пьяны. И лодка плескалась тут же.

Рано утром Ле Каталан замахал со стены белым шарфом и сообщил крестьянам, что граф Альбер и оба его телохранителя ночью бежали из замка. Хроника, на которую, прошу помнить, я настойчиво ссылаюсь, содержит и подробный отчет о том, как было поступлено с Каталаном, с его шайкой и с толстой ключницей; и еще обстоятельнее там изложена судьба Марии, Жанны и Марии — когда мужики их поймали. Но это уж вы сами прочтите — если найдете ту старинную рукопись.

БЕЛКА

Было мне тогда семь лет, а теперь шестьдесят; легко вычитать, когда это случилось. Жил я в предместье крупного приморского города, у тетки-вдовы. В городе, в числе прочих неудобств, была двухклассная школа, основанная двумя барышнями. Публика смотрела на это учреждение косо; впоследствии я сообразил, что оно было, вероятно, создано с передовыми намерениями — барышни, по-видимому, начитались книжек. Нам, детям, велено было звать их не по имени-отчеству, а просто Катя и Маруся. Катя поставляла всю науку для первого класса, Маруся для второго. Переходных экзаменов не было: просто иногда врывается в первый класс Маруся, вдруг, посреди урока, и объявляет указ о том, что такие-то через «е» и такие-то через «я» переходят во второй, и оглашенные, забрав книжки и свертки с завтраком, «переходили» — причем обыкновенно стоял вой, ибо Катя числилась доброй, а Маруся напротив. Из вышеупомянутой вариации правописания вытекает, что школа была смешанная. Это и была главная причина, почему на нее косились. Многие недоумевали, как могло правительство разрешить училище — по выражению местного остряка — для мальчиков и девочек обоего пола. Но школ было мало, и потому у отважных барышень была целая толпа учеников, включая меня и Белку.

Настоящего имени ее не помню. Много лет спустя я встретил взрослую госпожу, которая училась когда-то в той же школе и которая мне почему-то показалась продолжением Белки, но она покраснела и ответила упорным отрицанием. Облика Белки я тоже не помню, хотя иные, выслушав мой доклад, почтут это странным в виду тех исключительно благоприятных для наблюдения условий, при коих однажды я имел возможность ее изучать. Помню только, что она была старше меня, лет одиннадцати, и принадлежала к аристократии второго класса. Это было для меня достаточной причиной, чтобы не интересоваться ни ею, ни ее именем, ни внешностью.

Мои друзья были Адмирал и Кися. Адмирал был мой сосед по парте, первый силач первого класса; я стыдливо обожал его манеру обращения со мною — это была упоительная, головокружительная смесь презрения с покровительством. Кися была еще моложе меня — «младше», на нашем наречии. Она была моя «пара». Парой называлась у нас потребительская кооперация: на большой перемене оба члена каждой пары

обязаны были предъявить друг другу свои съестные припасы в целях обоюдовыгодного обмена. Когда у меня была сардинка, Кися всегда получала хвостик или даже бюст, если я был ею (т.е. Кисей) доволен, зато мне предоставлялось право догрызть ее пшенку (на книжном языке она называется кукуруза) — только иногда приходилось во время дернуть ее за косу, иначе она по инерции вторгалась в мою половину этого деликатеса.

Я был вполне доволен обществом Киси и Адмирала (почему его так называли, рассказать не хочу) и знать не знал и думать ни думал ни о каких посторонних фигурах — менее всего о Белке.

Конец моему счастью положил водовоз. В теткиной семье не было мужчин, а потому некому было водить меня в баню, а потому тетка лично, раз в неделю, обрабатывала меня в корыте. Водовоз давно протестовал против такой экстравагантности, утверждая, будто лошадь его чует эти три лишних ведра в бочке, и потому с нею по субботам нет сладу. Разногласие кончилось оживленной дискуссией, он сказал тетке что-то ужасное, но был тут же — словесно — разбит на голову; однако победа осталась за ним, ибо он наотрез отказался впредь поставлять сверхсметные ведра. В то утро был на свете один счастливый мальчик, а именно я. Но счастье мелькнуло и отлетело, потому что тетка постановила взять меня в тот же вечер с собой и кузинами в специальное чистилище для дам. Кассирша была ее приятельница, а вид у меня был совсем еще безвредный: раза два на железной дороге тетя выдала меня за пятилетнего, и кондуктор поверил.

Не знаю, как для кого — теперь на свете много людей с опытом широким и разнообразным — но в моей жизни это было совершенно исключительное впечатление. Хуже всего то, что и впечатления никакого не получилось. Помню только большую комнату, полную дам, у которых у всех были чепчики на голове; было страшно жарко и скользко, пар стоял туманом, и тетка сто лет подряд царапала меня мыльной мочалкой, словно вымещая на моей коже водовозово красноречие. Покончив со мною, она увела кузин в другую комнату, где были полки, ибо любила забраться на самый верх, где, по ее словам, человек становится на десять лет моложе. Я остался один в этом странном и неприветливом мире, забился в угол на скамье, скрестил ноги по-турецки и предался грустным помыслам о несправедливости рока.

И вдруг я увидел — даже не знаю, как это сказать — увидел что-то, смутно похожее на что-то. Сначала я обратил внимание на эту фигуру потому, что костюм ее отличался от костюма других — т.е. на ней не было даже чепчика, и косы ее были связаны в смешной пучок на макушке. Но я тут же заметил, что и она почему-то глядит мне прямо в лицо с другого конца комнаты; и еще через мгновение, полный внутренней паники, я вдруг сообразил, что она принадлежит к миру, который я знаю. Трудно себе представить (впрочем, может быть, есть и такие, которым не трудно — это, опять-таки, дело опыта и навыка) — до чего не легко узнать человека при таких радикально измененных условиях. Только тогда, когда она медленно и уверенно двинулась по направлению ко мне, — только тогда я окончательно понял, что это Белка. Она подошла близко, на шаг или меньше, спокойно осмотрела меня с головы до ног и потом опять уставилась мне в глаза со строгим и неодобрительным выражением на лице. Я так смутился, что кивнул ей головою, хотя и отдавал себе отчет, что это вряд ли при таких условиях принято. Она не обратила на мое приветствие никакого внимания и сказала негромко, но тоном бесконечной повелительности:

— Этого чтоб никогда больше не было.

Госпожа царственных размеров, вероятно, мать, взяла ее после этого за руку и стала тереть мочалкой; тетка моя вынырнула из-за парной завесы, красная, как бурак, и мы пошли домой.

Я проснулся на следующее утро с ясным сознанием, что влюблен. *Noppi soit*, кто посмеет пришить к этому факту фрейдовскую подкладку. Я свои чувства помню ясно: я влюбился в ее лицо, и только. Тысячу раз бывает, что видишь лицо, картину, пейзаж чуть ли не каждый день, и никакого впечатления они на тебя не производят, но вдруг благодаря новой раме или новой шляпке, или случайной игре луча они тебя захватывают. Ее наряд накануне сыграл просто эту роль — новой рамки для ее лица.

Но я очень влюбился. Это выражалось даже в физическом неудобстве: когда я думал о Белке, мне трудно было дышать как следует — кто-то словно зажал в кулаке мое сердце, как воробьиного птенца, не крепко, но как раз достаточно для того, чтобы не дать человеку вдохнуть во всю ширину. Это было неудобно, больно и великолепно. Я не помню, как я провел то воскресенье, но я знаю, что это было блаженное и гордое

воскресенье. Гордость меня переполняла; я решил, что никто никогда ничего не должен узнать. Разве, пожалуй, чуть-чуть намекну Адмиралу: он такой мужественный, несмотря на колыбельное происхождение его клички, и приятно будет дать ему понять, что и во мне что-то есть особенное — а что, не скажу. А впрочем вряд ли стоит намекать даже Адмиралу. Кисе, конечно, ни слова. Но одно ясно: Белке я дам жить в безмятежном покое, не нарушенном ни даже дымкой подозрения о моей чудесной боли. Я решил не смотреть на нее. Пройдет — отвернусь. Может быть, даже попрошу тетку перевести меня в другую школу, хотя она способна разговариваться на тему о том, что только недавно уплатила двадцать рублей за полугодие. Как бы там ни было — Белке ни слова, ни взгляда; нельзя портить волшебную тайну бурю прозой встреч и бесед.

Вспоминая об этом теперь, начинаю понимать, зачем Петрарка и вся та компания так усердно всю жизнь старались держаться подальше от своих возлюбленных. Дело, очевидно, в том, что это были младенческие годы человечества. Поклонение Принцессе Грезе есть, в сущности, детская привилегия. И еще одно: да не дерзнет никто сказать, что я передаю свои воспоминания в неправильном стиле, вставляя мысли и выражения, недоступные ребенку. Я утверждаю, что чувствовал тогда все то, что здесь рассказано, и еще много больше, но только в других словах и образах, бесконечно более красивых. Ни одному поэту не сравниться с чудом детской мысли; а впрочем это не относится к делу.

В понедельник, по дороге в школу, я твердо решил не говорить даже Адмиралу. Но оказалось, что в это утро он почему-то действовал мне на нервы. Прежде я любил сознать его превосходство, любоваться небрежным молодечеством, с которым он списывал диктовку через плечо мальчика на первой скамье или съедал свой завтрак во время урока.

Но сегодня меня это раздражало. В конце концов, когда мне будет столько лет, сколько ему теперь, я могу сделаться таким же силачом, и еще в семьдесят семь раз сильнее, а кто ест свой завтрак до большой перемены, тот обманывает не просто Катю, что, конечно, «ловко», но и свою пару, что уже нехорошо. А списывать? Я и теперь мог бы его перещеголять, но только мальчик, сидящий перед ним, чересчур высок и широк для меня, а мальчик, сидящий передо мною, сам давно раз навсегда потерял в моих глазах свой научный авторитет:

не знал, где именно пишется «ять» в слове «дешевле». Общий вывод у меня получился тот, что глупо терпеть бессознательное адмиралово самомнение, когда у меня самого в кармане такая бомба. Словом, я низко уткнулся в диктовку и шепнул:

— А я тебе могу рассказать такое, что у тебя глаза на лоб вылезут.

— Ерунда. Что?

Кончено: я стоял на грани рокового шага, который раз навсегда отрежет всю мою прошлую жизнь, семь лет, четыре месяца, одиннадцать дней, — на пороге нового, жуткого, головокружительного бытия. Я зарыл свой нос в тетрадь и прошипел:

— Я влюбился в Белку-второклассницу.

В жизни я не видел, ни до того, ни после, чтобы человек так зарделся, как покраснел Адмирал. Он разинул рот. Он продолжительно заикался:

— В... врешь!

Шепотом я отчеканил формулу клятвы, которая в школе считалась нерушимой: начиналась она со слов «Покарай меня...», но конца я не смею процитировать — могу только упомянуть, что девочки этой клятвы не произносили, да она и логически не была к ним применима. По всем традициям, после этой клятвы сомневаться не полагалось. Но случай был слишком необычайный для точного следования традиции. Я почувствовал, что Адмирал все еще не убежден; и тут же, по тому беспроволочному телеграфу, которым Бог наделил зверей и детей, мне точно передалось, что именно должен я сделать, дабы уверить его окончательно. И сделал. Катя только что продиктовала: «возьми карандаш и листочек бумаги...». Вместо того я написал большими буквами «Белка», толкнул Адмирала ногой и шепнул:

— Смотри.

Он посмотрел и моментально убедился, навеки и бесповоротно, — я же намуслил палец, растер свежие чернила в бесформенное пятно (это гораздо радикальнее, чем просто зачеркнуть) и написал, как ни в чем не бывало, «лесточик».

Пятиминутную перемену после первого урока я провел отшельником. Мне не хотелось смешиваться с толпой. Я ушел в дальний угол двора и там, между курятником и колодцем, пять минут подряд шагал взад и вперед. Попытался было скрестить руки на груди, но тогда неудобно стало шагать, поэтому я скрестил руки сзади на поясице и принял выражение важное и недоступное. Я ни разу даже не оглянулся на чернь, хотя все

же не мог отделаться от снисходительного удовлетворения при мысли, что многие, вероятно, обратили внимание на мой образ действий и спрашивают друг друга: «чего этот осел бродит там один-одинешенек?» Раз мне показалось, что слышу голос Белки: «Ника, брось, а то опять отлуплю!» Судя по последнему слову, это был именно ее голос. У Белки была большая боевая репутация. Голос ее бросил меня в жар, но я не обернулся.

И во время урока я сохранял ту же холодную отчужденность. Это была священная история — предмет, который мы любили, потому что Катя увлекалась и забывала вызывать, и можно было спокойно беседовать друг с другом или меняться марками. У меня был в кармане красный Гонконг, Адмирал на днях обещал дать мне за него Монако, плюс старую семикопеечную без стрелок (большая редкость). Но я не хотел ни говорить с Адмиралом, ни осквернить свой праздник торговлей... Адмирал, очевидно, был и сам подавлен моим возвышением. Он не сказал мне ни слова — только изредка косился в мою сторону, крадучись, с видом почти испуганного любопытства.

Вторая перемена: десять минут. Я опять зашагал от колодца к курятнику. На этот раз сомнения не было: они все на меня смотрели. Не глядя, я видел, как они собирались кучками, но издали, обмениваясь замечаниями, которых я не слышал и которыми не интересовался. Большой, по-видимому, спрос был на Адмирала: некоторые кучки пригласили его на консультацию, к другим он подходил по собственному почину. Не слыша, я мог, однако, без труда построить в своем воображении весь ход их беседы. Я представлял себе загадочный вид, с которым Адмирал отказывался от дачи показаний. «Конечно, знаю. Очень удивительная вещь, но я обещал не рассказывать». Мне показалось, что кто-то захихикал — обычный отклик вульгарной души, когда она стоит лицом к лицу с таинством.

На третьем уроке Катя была невыносима надоедлива, и кто-то с камчатки запустил в меня комком жеваной промокашки. Я не оглянулся.

В начале большой перемены я сделал, по-моему, *un beau geste*. Кися, моя пара, ждала меня с широко раскрытыми глазами, полными вопросительных знаков. Я сказал: «Кися, я не хочу есть, возьми все, кроме половины моего кавуна», — и, не дожидаясь спасибо, я сломал ломоть надвое и удалился, погрузив рот и щеки в упругое, ароматное, прохладное мясо

монастырского арбуза и далеко выплевывая черные косточки с тщательным изяществом. На этот раз я уселся на срубе колодца, спиною ко всем. Я подобрал под себя ноги по-турецки; это мне живо напомнило тот вечер, жар и румянец залил мое лицо, и ясно опять я почувствовал ту чудесную жестокую руку вокруг сердца... Вдруг, безо всякого повода и перехода, страшная мысль ударила меня по темени. Ведь я забыл взять с Адмирала клятву, что он никому не расскажет! В первый миг я не поверил своей памяти. Это было чудовищно невозможно. Это было против всех обычаев школы. Даже ближайшим друзьям никто ничего не поверял, не потребовав заранее произнесения той самой непередаваемой формулы. Адмирал ее не произнес. Это было ужасно. Я начал подозревать, что лестное внимание моих коллег во время второй перемены обьяснялось, может быть, не столько заинтригованным изумлением, сколько точным знанием всех обстоятельств дела, и что весь ход их перешептывания с Адмиралом был совершенно не тот, как я воображал. Он разболтал, этот... И я безмолвно применил к нему краткое слово, живописующее ту непростительную слабость, которой он обязан был своим позорным прозвищем.

В эту минуту я услышал крик. Это взывала ко мне Кися, вопя из всех сил:

— Удирай! Белка ищет тебя! Белка идет тебя лупить!

Я обернулся и увидел свою «пару» — она бежала ко мне, и ее косы прыгали вокруг головы. Школа давно успела прожевать свои завтраки, и уже со всех сторон сбегались они полюбоваться на драку, а вдали, в первый раз за этот день, я увидел Белку, тонкую, быстроногую, без спешки несущуюся в направлении моего угла, бледную, как ангел смерти. Я знал ее воинские таланты, но срам мой был еще больше страха. Я вскочил и помчался в дверь, оттуда в сени, оттуда вверх по лестнице. Кися, запыхавшись, бежала за мной и все время выкрикивала что-то бестолковое; она была в таком перепуге, что уж и не помнила слов, — но я слышал ясно, как она кричала:

— Белка, Белка, он бежит по лестнице! Он спрячется в раздевальной!

Я уверен, что Кися не хотела меня выдать, но она была очень взволнована и просто не могла удержать впечатления.

Должен признаться, что я действительно спрятался в раздевальной. Я был раздавлен унижением, больше не чувствовал ни горя, ни обиды, с одним только желанием — умереть.

Готов и поныне настаивать, что я, собственно, не спрятался: эти пальто и кофточки, среди которых я забился, были, в сущности, единственным подвернувшимся мне суррогатом самоубийства. Но суррогаты всегда бесполезны. Пролетела секунда — и я услышал бегущие легкие шаги, сильная рука вытащила меня из-под чьей-то полы — я зажмурил глаза и подчинился. Слышал я гневные слова, чувствовал косточки твердого кулака на своей переносице, удар ее ладони на моей щеке — мне было все равно. Мое бесчувствие разозлило ее: она сказала: «А, ты так?» — и рука ее схватила меня за волосы, рванула голову назад и вниз; я был вынужден свалиться на колени, и она больно зажала мой затылок и шею в сгиб локтя. Тогда я взглянул и прямо над собой увидел бледное лицо и горящие глаза; ее зубы не были сжаты, словно она хотела укусить, и, опустив мои волосы, она высоко занесла правую руку для нового удара. Кися захлебывалась и бормотала у двери; прежде, чем ударить, Белка обернулась к ней и крикнула:

— Убирайся, не то...

Я услышал топот убегающей Кисы. Белка опять замахнулась. Но теперь на меня что-то нашло, теперь я ненавидел ее, во мне нарастал мятеж, желание унижить и оскорбить ее, и будь что будет. Прямо ей в лицо, так близко нагнувшееся к моему, что я чувствовал ее дыхание, прямо в лицо ей я злобно прошипел:

— Это правда, я тебя люблю, и ничего ты со мной не поделаешь!

Я опять зажмурился и ждал удара, дивясь, что он все еще не упал. Рука, сзади сжимавшая мою шею, стиснула еще сильнее, мне трудно было дышать. Вдруг ее дыхание на моей щеке стало еще жарче и ближе. Она в самом деле хотела укусить, с ней это бывало, я знал, и опять, в торжестве отчаяния, я шепотом повторил свое оскорбление:

— Это правда...

Странная оказалась у нее манера кусаться. Это было не так больно, как я ожидал — или если больно, то совсем по-другому. Оглядываясь теперь на то время, я вынужден прийти к заключению, что Белка была много старше своих лет. Укус ее тянулся без конца, века за веками, я задыхался; сначала это была пытка, но потом, по мере того, как скользили века за веками, пытка прошла, осталось только что-то новое и — не умею рассказать, какое. Вдруг это кончилось, я был свободен.

Я не хотел встать, я сидел на полу, спрятав лицо в не знаю чью сорвавшуюся кофточку. Еще секунду длилось молчание, потом я опять услышал ее голос, несколько издали, голос спокойный, холодный и повелительный:

— Этого чтоб больше не было.

Она ушла, а я плакал одиноко о своем унижении и о многом другом. Кися пробралась ко мне на цыпочках и присела рядом; она всхлипывала, но все же гладила меня по голове и повторяла, утешая:

— Это ничего, ведь ты ей тоже дал сдачи.

Она знала, что это неправда, но, может быть, и Кися была женщина.

ВИРДЖИНИЯ

Введение в монографию по истории одной забытой секты

Когда мы, сидя рядом, достаточно разговорились, чтобы начать нравиться друг другу, инженер взял у меня визитную карточку, а на своей написал свой адрес в Аргентине: такой-то, мясной завод такого-то, Синсомбра. Я подумал и спросил:

— Синсомбра? Где-то, когда-то, почему-то я слышал это имя. Даже помню, что это на плоскогорье Гран-Чако. Но недавно как раз мне пришлось возиться над очень подробными картами Южной Америки, а Синсомбры я там, кажется, не нашел.

— Это просто деревушка, — ответил он, — еще точнее — развалины, наш завод и десяток туземных хижин. А если вам это имя знакомо, то, вероятно, потому, что в пятидесятых годах прошлого столетия округ Синсомбра считался почти независимой республикой, и моя деревушка была столицей.

Я наморщил лоб, стал припоминать, но ничего толком не вспомнил. Остальные в нашей столовой палатке (я забыл рассказать, что было это в лагере, на демобилизации, в Кантаре, на берегу Суэцкого канала) совсем ничего не слышали о Синсомбре; только одна из сестер, гостя полковника на этой печальной вечеринке разбрёдавшихся освободителей Святой земли, тоже вспомнила:

— Это не та республика, — спросила она, — где была такая странная вера и такие дикие обычаи для женщин?

При этом она, хотя не покраснела, но несколько смутилась.

— Именно, — ответил инженер. — А что касается до этих обычаев, то я их не защищаю, но если бы встал теперь из гроба доктор Бьорн Дротнингсон и напомнил бы нам, что довело его до создания такой секты, может быть, вера его не показалась бы нам дикой.

Тут мы все стали его упрашивать: расскажите подробно, что это были за обычаи и кто такой был Дротнингсон, и какая республика. На первый вопрос он отказался ответить (сестра погрозила ему раньше пальцем, и он успокоил ее: слушаюсь, не расскажу), на третий тоже, так как понадобилось бы много времени, но драму д-ра Дротнингсона он нам изложил. Я, конечно, не помню, как это у него вышло, хотя содержание в памяти удержал; передам его здесь по-своему, вероятно, с ошибками, но в общем — то.

Бьорну Дротнингсону было почти тридцать лет, когда он заболел в Упсале тифом и попал в одну из палат своей университетской клиники, а когда он выздоровел, оказалось, что невеста его передумала, вышла за датчанина и уехала во Фленсбург. Еще через неделю он узнал, что дом их во Фленсбурге сгорел, вместе с лавкой и всеми товарами ее мужа и молодоженам грозит нищета. Он любил прежнюю невесту и был человек зажиточный. Он ей послал большую сумму денег, «неизвестно от кого», а сам уехал в Швейцарию на поправку.

Перед отъездом товарищи по факультету устроили в его честь обед. Это было в 1849 году, путешествие из Швеции в Швейцарию считалось большой разлукой, и его все очень любили. И так как все это были близкие друзья, и прежняя невеста его тоже принадлежала к этому кругу, и весь роман их от начала до измены прошел на глазах у людей, тут собравшихся, то стесняться было нечего, и в застольных речах, особенно к концу торжества, произнесено было много похвал той стойкости, с которой он перенес свое горе, и той корректности, с которой он продолжал тепло и благожелательно отзываться о бывшей своей невесте.

Отвечая на тосты, доктор Дротнингсон, между прочим, высказал такую мысль, по тому времени смелую не только для маленькой Упсалы на краю света:

— Придет время, друзья мои, когда каждый будет смотреть на счастье соседа точно так, как сегодня мы смотрим на чужие деньги. Что сделает порядочный человек, когда попадет ему в руки кошелек, принадлежащий другому? Вернет. Как бы ни нужны были ему деньги, вернет. Но ведь счастье важнее денег, и, главное, оно свято. Деньги можно обещать, можно подписать вексель, и тогда уже они мои, а не твои, но счастье, даже если ты обещал разделить его со мною, остается твоим; и если потом тебя потянуло в другую сторону, я должен вернуть тебе твое счастье, без ропота и без злобы. Я знаю, что теперь еще люди думают не так, но придет время...

— Доктор, — воскликнула одна из профессорских жен, — вы отрицаете ревность?

— Отрицаю, — ответил Бьорн Дротнингсон, и так как он выпил несколько стаканов, и так как мир еще был очень молод в то время, он стукнул для убедительности кулаком по столу. — Отрицаю ревность, отрицаю с презрением и отвращением. Поймите меня: я не против того спору, что человеку больно, если ушла от него его радость. Конечно, больно, и нет причины стыдиться этой боли. Я, как видите, не стыжусь. Но «ревность» значит страдать не потому, что радость ушла, а потому, что одна досталась другому. Это я отвергаю с негодованием. Это — болезнь, это — непорядок в каком-то из углов нашего мозга, и я еще надеюсь, что наука целительства, которой мы все служим, когда-нибудь найдет против него верные средства. Ибо, друзья мои, хуже того: ревновать — значит не только страдать после утраты, но и всю жизнь предвидеть и предвкушать утрату, шмыгать глазами и руками, хотя бы только мысленно, по закоулкам своего дома и чужой души, всюду подозревать спрятанного вора, с утра до ночи нести гадкую службу сыщика, за которую тебе даже из полиции не заплатят. Отвергаю, с возмущением отвергаю.

Тогда начались споры, уже очень беспорядочные, причем та профессорская жена назвала его «свободомыслящим» (это считалось в то время резкостью, но она не думала его обидеть, и он не обиделся), а сторонники его взгляда кричали противникам: вы рабовладельцы, вам место в России или в Соединенных Штатах! Но все это делалось очень мирно, хотя шумно, и так они провели время почти до полуночи и, надев ботинки, пошли по домам спать.

А на Луганском озере доктор Дротнингсон застал уже весну в полном разгаре, уютную комнату в гостинице, с балконом и медом к утреннему кофе, и полковника Ларрами с дочерью Джини, которой было тогда 18 лет.

Инженер описал ее нам очень живо, но я не берусь повторить. Я совсем не знаю костюмов того времени, особенно не помню, какую тогда носили девушки прическу, а без этого невозможно повториться, будто ты сам ее видел и знаешь каждую черточку наизусть. По словам инженера, и это повторяется во всех книгах о секте «Безоблачной веры» и о штате Синсомбра, волосы и глаза у нее были темные, хотя никакой примеси креольской крови тут не было: и полковник Ларрами, и жена его были чистые потомки выходцев из Ирландии и Шотландии, только южане в американском смысле этого слова, и родовое поместье их находилось в Виргинии. Кроме того, полковнику Ларрами принадлежали еще громадные пространства в других южных штатах, а особенно в Аргентине, на том самом плоскогорье Гран-Чако. Вообще он был очень богат.

С внутренней стороны, однако, я могу описать его дочь, мисс Джини, довольно подробно, так как много с тех пор о ней думал и представляю ее себе ясно. Это был ребенок, совершенно не испорченный ни богатством, ни сиротством (мать ее умерла страшной смертью, когда Джини шел всего шестой год), ни даже скитальческой жизнью, которую они вели с отцом уже больше десяти лет, и всегда в Европе. Блестящих качеств у нее никаких не было, читала она мало, и вообще девушкам того времени не полагалось читать ничего стоящего. Однако она была очень остроумна — конечно, не в смысле острить или бойкого язычка, но в смысле милого полудетского лукавства и охоты посмеяться. Смеялась она по любому поводу и без, и выходило у нее это не только заразительно, но и красиво, что, как известно, вещь редкая. Она любила все забавы, прогулки, пикники, танцы (тогда можно было танцевать только раз в месяц или еще реже), езду верхом; любила без жадности: когда этого не было — не дулась, но вся целиком радовалась, когда выдавался такой случай. В седле держалась не хуже полковника и не хуже его стреляла на охоте. Вообще, была бы идеалом здоровой, молодой души, если бы не одна помеха, которую Бьорн Дротнингсон как врач сейчас же заметил. Ее так же легко было огорчить, как

и рассмешить — но после этого уже трудно было ее снова развеселить. Ей прислуживала девушка из Оверни, которую они уже много лет всюду с собой возили. Однажды эта девушка сделала что-то такое, за что расчитать ее не было, по справедливости, никакой причины, но в чем обнаружилась черствость, себялюбие и неблагодарность. После этого случая Джини в продолжение целой недели нельзя было узнать. Она не сердилась — она просто «убивалась»: стала подавленной и безучастной, неохотно выходила из своих комнат, на вопросы отвечала не сразу и безучастно — словно это были первые дни траура, и по дорогой могиле. Полковник Ларрами в эти дни был тоже сам не свой.

По этому поводу у доктора Дротнингсона произошел с ним разговор (они уже тогда очень сблизились), на который молодой швед в то время не обратил внимания, но потом часто вспоминал. Они сидели вдвоем на террасе над озером и завтракали. Джини, обычно встававшая чуть ли не с жаворонками, не вышла. Полковник тоже мало ел, хотя доктор его упрекал и уговаривал: он только дергал свою седую бородку, похожую на очень острый и очень удлиненный треугольник, и, несмотря на ранний час, пил что-то сладкое и крепкое из специального бокала, узкого и высокого. Напиток этот он называл «джулеп», а свою бородку «готи», с ударением на «ти», т.е. козлиная, и в веселые минуты утверждал, что кто не пьет джулепа и не отпускает готи, тому никогда не дослужиться в Виргинии до полковничьего чина. Но теперь ему было не до шуток.

— Я бы прогнал эту мужичку, — сказал он, — но где найти другую, такую, чтобы она сразу понравилась моей дочери?

— Я себе представлял, — отвечал доктор Дротнингсон, — что американские дамы всегда путешествуют со своими негритянками. Говорят, это лучшая прислуга в мире, даже если бы забыть о том, что ваши законы держат их в рабстве. Отчего бы вам не выписать негритянку из Виргинии? Через три-четыре месяца она была бы здесь.

Несмотря на дружбу, слово «негр» еще ни разу не было произнесено в их беседах. Доктор Дротнингсон знал из газет, что это — большой вопрос в южных штатах, и, как человек воспитанный, не хотел его касаться. Тут он сразу увидел, что и теперь не надо было. Полковник держал в руке своей бокал: бокал треснул, и липкий джулеп вылился на скатерть и на сюртук. Все лицо полковника дергалось в непродолжительном

возбуждении, даже зубы стучали, он с усилием проговорил: «Никогда!», встал и ушел, не вытерши сюртука и даже не извинившись.

Через неделю все это прошло. Джини опять стала весела и беззаботна, они много втроем бродили по горам и катались на яхте и верхом, ездили в Комо и на Изола Белла, и доктор Дротнингсон влюбился так, как еще никогда не любил, а в голосе Джини, когда она с ним говорила, появились новые нотки.

Около того времени вышла у Бьорна Дротнингсона ссора с важным австрийским барином. Из-за чего ссора — неважно, и швед просто поколотил бы австрийца, несмотря на всю важность его, если бы не было при этом полковника Ларрами. Он сразу отнесся к этому делу по-военному, не допустил до драки, и кончилось это дуэлью на пистолетах. Австриец стрелял первый и промахнулся; Бьорн Дротнингсон, с юности член и одно время председатель стрелкового союза в Упсале, долго целился и тоже не попал.

Когда они ехали обратно в Стрезу из Ломбардии (в Швейцарии начальство косилось на поединки), полковник Ларрами был в восторге.

— Когда он в вас целился, вы стояли, как истинный джентльмен, — восхищался он. — И не думайте, будто я не заметил, что вы нарочно навели свой пистолет на шесть дюймов выше его головы.

Швед ответил:

— Не убивать же мне было этого остолопа.

— Не буду спорить, хотя я другого мнения. Но даже не показать, что стреляешь в воздух! Чтобы не унижить противника! Молодой друг мой, вы — последний из рыцарей на земле.

Тут он вдруг задумался, долго молчал, потом машинально взял Бьорна Дротнингсона за руку и тихо начал:

— Если бы...

Но сейчас же осекся, и опять лицо его задергалось. Доктор почему-то понял, что он хотел сказать, и с волнением, сбиваясь, запинаясь, он, под стук коляски, объявил полковнику, что любит его дочь и просит ее руки.

— Никогда, — ответил полковник с усилием, стуча зубами.

Бьорн Дротнингсон был потрясен и возмущен. Можно отказать — но разве так отказывают?

— Я вынужден настоять на объяснении, — сказал он холодно, сидя навытяжку, — потому что тон, которым вы мне ответили, и слово, которое произнесли, странно противоречит комплиентам, только что, хотя и незаслуженно, мною выслушанным из ваших же уст. Так говорят только с авантюристами, ищущими приданого. Позвольте вас уверить, что мне ваши деньги и земли не нужны.

У полковника дрожали руки, и он закрыл ими лицо. Доктору Дротнингсону показалось, что он слышит что-то вроде задушенного рыдания. Ему стало сразу жалко, зачем он так сурово говорил, но в то же время охватило его и жуткое чувство — такое, как будто он вдруг набрел на бездонный обрыв, из-под ног уже катятся камни, вот-вот и сам сорвешься. Все-таки он вспомнил свой долг врача, обнял старика за плечи и стал успокаивать. Тот еще долго что-то глотал, подавляя волнение; наконец, он заговорил, но сказал немного:

— Простите меня... Вы — лучший из людей, кому я хотел бы... Не в вас дело, не в вас...

После этого он всю дорогу молчал, глядя в сторону и теребя свою бородку. Когда они доехали до Порлеццы, он сказал, все еще не глядя на спутника:

— Не сочтите за грубость, но меня утомила коляска... Я возьму лодку.

Доктор Дротнингсон понял, что он хочет остаться один, снял шляпу и помог полковнику сойти.

— Вы... — начал вдруг полковник, заикаясь и не находя слов, — вы... не согласились бы уехать из Швейцарии?

Барон Дротнингсон совсем рассердился и ответил резко:

— Нет.

— Но поймите же, — зашептал полковник (хотя они говорили по-английски, и кучер не мог понять), — поймите, не могу же я вдруг увезти ее отсюда, пока вы здесь. Вы сами видели, что с ней творится от огорчения, а ведь я не слепой, я знаю, как она к вам относится!..

Бьорн Дротнингсон спокойно сказал:

— Дед мой был крестьянин, и потому есть, вероятно, тонкости, которые мне недоступны. Ваши последние слова допускают только одно толкование: ваша дочь меня тоже любит. Мне, поэтому, как ни тяжело идти против вашей воли, придется предоставить решение судьбы моей мисс Вирджинии Ларрами. Мы с вами не в средние века живем, родительская власть имеет свои пределы.

Полковник не то застонал, не то захрипел. Он быстро пошел к пристани, по дороге обернулся и сказал доктору:

— Сегодня ночью, когда она уйдет к себе... Я вам расскажу...

Ночью, на террасе, он рассказал молодому шведу кошмарную историю. Смерть его жены, которая бросилась в реку, была еще самой безобидной страницей этого рассказа. Но когда он кончил, доктор Дротнингсон встал, вытянулся во весь рост и сказал:

— Верьте, старший друг мой, в мое глубокое сочувствие. Но к тому, о чем мы говорили сегодня утром, это все никакое отношение не имеет. Я прошу у вас руки вашей дочери.

— Вы с ума сошли, — ответил полковник. — Это немисливо. Если это — великодушие, то сама честь моего дома не позволит мне принять такую жертву. И Джини, которая ничего — ничего! — не знает, кроме смутного воспоминания о пожаре и мятеже и ударе по голове, — Джини, если бы подозревала правду, никогда бы не согласилась.

— Мисс Вирджиния никогда ее не узнает, — твердо заявил доктор. — И это не великодушие. Вы меня не понимаете, полковник, — мы люди разных поколений. То, что вы, очевидно, считаете нечистым пятном, для меня просто не существует: как нет на свете домового и нет русалок, так и этого нет.

Полковник Ларрами грустно покачал головой:

— Да, мы люди разных поколений — и потому я знаю жизнь, а вы не знаете. И себя самого, должно быть, не знаете. Не из-за чего-то, чего «нет», покинул я родину, не из-за призрака я лишил Джини и себя даже на чужбине прочного постоянного дома, чтобы не иметь соседей, которые, может быть, когда-нибудь узнают...

— Я прошу руки вашей дочери, полковник, — ответил Бьорн Дротнингсон.

— Мы, крестьяне норвежской границы, все считаем себя знатью, моя фамилия значит «сын королевы», и есть у нас в семье такое переидание и такие пергаменты. Но никогда ни один царевич не склонялся перед троном с таким благоговением, прося руки королевы, с каким я прошу вас озарить мою жизнь этой высокой и несравненной честью.

Джентльмены нашего сословия из южных штатов Америки, близкие соседи испанских и французских креолов, еще любили в то время хорошо построенное слово, и полковник, по-старчески плача на широком плече у шведа, уступил.

Дальше в этой истории в течение пяти лет нет таких событий, которые можно было бы рассказать простыми существительными и глаголами. Про эти пять лет надо или написать целую книгу, или несколько строк: выбираю второе, потому что главная книга впереди, и это ведь только пролог.

Впрочем, одно простое событие было: вскоре после свадьбы полковник умер, оставив все свои земли в обеих частях Америки Бьорну Дротнингсону. Но остальное совсем не просто, и я не знаю, как за это взяться: у того инженера в Кантаре все это получалось очень ясно, но его слова я забыл.

Дело в том, что сначала Вирджиния и Бьорн были бесконечно счастливы (я едва не написал «безоблачно» — пришлось это слово пока вычеркнуть); скоро у них родился мальчик. Когда минул ему год, они летом поехали на фиорды, и там, сидя с мужем в жаркий полдень на мшистом берегу, Вирджиния Дротнингсон захлопала в ладоши, засмеялась и воскликнула:

— Боже, как мне безоблачно хорошо!

Тут она задумалась, наморщила лоб, припоминая, и сказала:

— «Безоблачно»... Это по-испански «Sinsombra». Я вдруг вспомнила: у меня в раннем детстве была няня, и она меня так прозвала: Синсомбра. Она говорила по-испански лучше, чем по-английски — она была негритянка из Техаса. Странно, что я о ней вспомнила — никогда не вспоминала.

Вдруг Бьорн Дротнингсон почувствовал как-будто совершенно явственный удар по лицу, полной ладонью прямо в лицо; кровь отхлынула от его сердца, зубы задрожали и несколько раз стукнули, как от холода.

И с этого дня все у них стало по-иному. Он держал себя крепко в руках, и она долго ничего не замечала. Потом и она заметила, что между ними стало облако, только первое время старалась не подавать виду. Может быть, она думала, что у него неприятности по службе (он занимал уже тогда кафедру в Упсальском университете) и он незаметно ищет одиночества — а не то, чтобы вдруг она сама стала ему неприятна. Но на самом деле — это она стала ему неприятна. В первые месяцы это ощущение налетало на него короткими припадками, и в промежутках он как бы ничего не помнил, настолько не помнил, что даже не упрекал себя. Но постепенно отвращение (это именно было отвращение, другого слова нет) овладело им с головы до ног и никогда уже не проходило. Ему казалось, что

и во сне он его чувствует. Теперь уже он горько и злобно упрекал себя, стыдил, называл себя сыщиком и другими недостойными именами; силился удвоить и утроить внешнюю нежность и внимание к жене и даже подделывать вспышки страсти. Но насилие над самим собой давалось ему так трудно, что злота на себя скоро превратилась в злота на нее, и, наконец, он стал минутами терять самообладание.

В 1853 году он взял отпуск и уехал на много месяцев в Америку, будто бы осмотреть плантации, будто бы выяснить, можно ли отпустить на волю рабов (он давно, еще когда получил наследство, написал об этом управляющему, но тот ему ответил, что негры на свободе не найдут работы и помрут с голоду); на самом деле ему просто хотелось уйти от нее. Ей он даже не предложил поехать, и она, уже тогда постоянно несмелая и пришибленная, не решилась попросить, чтобы он взял ее с собою. В разлуке он скоро затосковал по ней, и был этому рад, и старался верить, что недостойное наваждение схлынуло.

Он сначала поехал в Гран-Чако, и там все шло с ним хорошо. Но потом он посетил родовую усадьбу Ларрами в Виргинии, и здесь случилась с ним тяжелая неприятность. Неведомо за что, кажется, за не во время поднятый платок, который он обронил, он избил хлыстом молодого негра, одного из лучших людей на плантации, старосту над рабочими; бил он его долго и злостно, на глазах у того самого управляющего, с которым переписывался об освобождении рабов, и вся плантация, где уже десять лет никогда никого не били, кроме разве случайных пинков, была глубоко взволнована, и в Ричмонде, в лучшем клубе, другие помещики, уже в то время хваставшие, что рабам у них лучше живется, чем свободным рабочим в Бостоне, стали его избегать.

По дороге обратно его тоска по Джини усилилась, ему опять казалось, что в ней вся жизнь его, что теперь ее близость очистит его, смоет с его души всю эту накипь, бессмысленную, несправедливую. Но когда он ее увидел на пристани в Стокгольме, опять у него, совсем как тогда у отца ее, полковника, запрыгали мускулы лица и застучали зубы. Это уже было не просто отвращение, а гадливая ненависть. Она привезла с собой их сына и держала его за руку. Бьорну Дротнингсону хотелось вырвать у нее мальчика и закричать на всю пристань: не смей прикасаться к моему ребенку — гадина! Он едва поцеловал ее и был отчасти рад, что по пути домой в коляске мальчик все время сидел между ними и даже мех ее осенней шубы не касался его плеча.

Здоровые лошади к вечеру довели их до Упсалы, где был им приготовлен дома ужин. Но нехорошо было им вдвоем за столом, и даже слуги заметили это и приуныли. Он не заговаривал с женою, только сказал ей с кривой усмешкой: «В Виргинии научился я пить джулеп», подозвал слугу и объяснил, как и что смешать. После этого он пил стакан за стаканом, и быстро хмелел. Когда подали кофе, он сказал слуге толстым неповоротливым голосом пьяного человека: «подай сигары». Вирджиния, чтобы хоть как-нибудь примирить его, принесла сигары, выбрала одну и подала ему. У него еще хватило силы принять сигару, едва хватило воли взять ее в зубы, но тут в нем что-то оборвалось, что-то хлынуло в мозг, и он тут же при слуге выплюнул сигару на пол и на полу еще отшвырнул от себя ногою. Слуга, человек пожилой и степенный, уже пять лет живший в их доме, побледнел, уставился на доктора, потом повернулся и вышел.

Вирджиния ударила себя обеими руками по голове и закричала:

— Ради Девы Марии, ради нашего мальчика, — что я тебе сделала?

Тогда, стоя против нее и опираясь пьяными кулаками о стол, он рассказал ей то, что открыл ему полковник тогда на террасе в Лугано: рассказал подробно, с выдуманными прибавками, которые, незаметно для него самого, пришли ему в голову, когда он был в Виргинии и видел места и обстановку, где все это произошло восемнадцать лет тому назад, во время негритянских мятежей 1835 года, и, нагромождая детали, грубые, ненужные, самодельные, ощущал ту же скотскую радость, как тогда на плантации, с хлыстом в руках над извивающимся негром.

Когда он кончил, Вирджиния, вся сразу похудевшая, сразу некрасивая даже для чужого глаза, если бы кто увидел ее тогда (ему она еще с утра показалась безобразной), отступила в угол, прочь от кольца света, и прошептала, ломая руки:

— ... и мама... и я...

— И мама, — подтвердил он язвительно, — но мать твоя хоть сообразила утопиться, а ты осталась, и теперь вся моя жизнь — грязь, черная, чернокожая грязь; все грязь, ты, Кальверт (они называли мальчика в честь ее отца), весь дом, все, до чего дотронулась ты, Вирджиния. «Вирджиния»... какая ведьма подбила твоих родителей дать тебе это имя? Почему ты его не переменяла?

Она упала на колени и подняла к нему руки.

— Бьорн, — заговорила она без голоса, мотая головой от боли, — Бог тебя накажет — за что ты винишь меня — ведь я не знала — ты сам сказал, что я была в обмороке — меня оглушили — мне было пять лет...

Он густо захохотал, подбежал к ней, пошатываясь, и плюнул ей в лицо. Только тут он опомнился, но ничего уже не мог сказать, и выбежал из столовой.

Когда Вирджинию схоронили за оградой кладбища, доктор Дротнингсон забрал сына и уехал навсегда из Швеции. Как когда-то полковник Ларрами с дочерью, так теперь он с мальчиком скитался из страны в страну. Но при этом он много и упорно думал и много учился. Он слушал лекции знаменитых социологов (это слово уже вошло тогда в моду) и экономистов, читал все, что печаталось в то горячее время по государственному и общественным вопросам. Он и был тот «скандинавский хирург», что присутствовал в качестве «единственного, кроме хозяйки, и безмолвного свидетеля» (см. мемуары Лафарга) при полузабытой встрече (в Бате, в Англии, у княгини Трубецкой) между Дизраэли и Марксом, из которых первый «до того ничего не слышал о втором». Тема их спора (о которой даже Лафарг сообщает только свои догадки) была именно та тема, над которой думал в эти годы доктор Дротнингсон: что лучше для человечества — жить под безоблачным небом идеального общественного строя или жить среди туч и бурь? Но все это я расскажу подробно тогда, когда соберусь написать полную историю его секты и штата Синсомбра, — конечно, не просто компиляцию из мемуаров д-ра Дротнингсона и книги Фернандеса и отчета комиссии американских методистов, а совсем иначе, на свой лад.

Еще больше, чем по книгам и лекциям, учился он по своим собственным думам. Наваждение давно бесследно прошло, еще до той зари, когда он увидел лиловое лицо Джини среди камышей холодного осеннего озера. Теперь он опять любил ее, как в Лугано и Стрезе. И он думал: то, что сделало его зверем, то, что сделало зверя из мужчины вообще, было только частным случаем общего явления, имя которому ревность. Она и есть главное облако на небе мировой психологии; даже когда будут уничтожены голод и нищета (Маркс

при нем утверждал, что это будет сделано еще до конца столетия), это облако останется. Но в чем корень ревности? Где начальное семя отравы, превратившей радостную, святую близость между Бьорном и Вирджинией, между Иваном и Марией в пародию на учебник вещного права, превращающей рыцаря, который вчера пел серенаду под окном, в сыщика у замочной скважины? Умственной модой того времени были учения материализма. Неудивительно, что и вывод, к которому он пришел, носил упрощенно-материалистический характер.

Секта «Безоблачной веры» (The Cloudless Gospel), с ее брачными законами «пантогамии», особенно с теми ее странными обрядами, против которых столько метали грома и духовные лица всех церквей, и врачи, и все, тогда только зарождавшиеся, женские союзы, — учреждена была в 1857 году, штат Синсомбра, на плоскогорье Гран-Чако, действительно полунезависимый, основался годом позже и распался только в 1871 году. Главные книги, по которым можно познакомиться с историей этого любопытного социологического опыта, я уже назвал, только их уже нет в продаже, и в библиотеках тоже нет, даже в Британском музее, а моя монография не скоро еще будет готова.

ЖИДЕНОК

Много лет тому назад, шатаюсь по Палестине, я подружился с учителем в одной колонии. Он, между прочим, рассказал мне, что в арабской деревне неподалеку (насколько помню, деревня называлась Даньян) есть удивительная школа: шесть классов, географические карты и учитель из воспитанников каирского университета Аль-Азгар. Он давно собирался посмотреть эту диковину. Мы решили пойти вместе. Ни он, ни я не знали дороги в Даньян, и ни слова по-арабски.

— Не беда, — сказал мой приятель, — проводник-переводчик найдется среди моих учеников.

Утром, когда мы собрались, он окликнул первого попавшегося мальчика и спросил:

— Ты знаешь дорогу в Даньян?

Мальчик ответил:

— Конечно, знаю.

— По-арабски говоришь?

— Конечно, говорю.

Мы пошли. Мальчик разговорился со мною и очень мне понравился. В нем была прирожденная благовоспитанность, или может быть просто мы его не интересовали — во всяком случае, он не заговаривал первый, но на вопросы отвечал решительно, как человек, мнения которого давно сложились и никаким поправкам не подлежат. Имя? Авиноам. Возраст? Бар-мицва — тринадцатилетие — через несколько недель. Где родился? На юге России, уехал оттуда шести лет. Чем будешь? Колонистом в Галилее (это, впрочем, была тогда общая мода и мечта).

Учитель ушел далеко вперед и не слышал нас, так что я мог себе позволить педагогическую некорректность: я спросил Авиноама, нравится ли ему школа.

— Слишком много пустяков проходим, — сказал он сразу и решительно. В те годы уже много писали о том, что школы в Палестине чересчур интеллектуализируют подрастающее поколение, поэтому я подумал, что он слышал такие разговоры и сейчас станет мне проповедывать сокращение программы до триады «читать, считать и пахать». Оказалось, что он еще много радикальнее и что это у него не влияние взрослых разговоров, а собственный вывод из житейского опыта.

Житейский опыт, на который он сослался, приключился еще на Днепре, в местечке Большая Лепетиха. Раз он там ловил головастиков со своим старшим братом Менделем, и напали на них туземные мальчишки. Сначала не дрались, а только высказали в односложной форме неодобрительное мнение о национальности юных ловцов. Старший брат Мендель, член кружка Пирхе-Цион, принял вызов и подтвердил, что он действительно член того самого односложного народа — и гордится этим. Но лидер туземных мальчишек на это ответил:

— Жиды не народ.

Аргументацию туземца Авиноам передал мне так:

— Кабы вы были народ, вы бы умели ругаться по-своему. Я вот русский, так и ругаюсь по-русски (и тут он сказал такое, что не приведи Бог — Авиноам не хочет цитировать). А ну, скажи то же самое по-вашему!

Мендель не умел.

— А второе, — сказал туземец, — кабы вы были народ, вы бы умели давать сдачи. Вот я русский, так и дам тебе по морде. (И «дал»). А ты можешь?

Мендель не мог.

Это событие, оказывается, легло в основу всей педагогической программы Авиноама. Арифметика и все прочие пусти. Ученик должен усвоить только две отрасли знания:

— Говорить по древнееврейски — и бить по морде.

За этими беседами мы дошли. Нас ждала у околицы целая коллегия: учитель из Аль-Азгара в каких-то белых ризах, великолепный чернобородый шейх, несколько других селян вида оседлого и зажиточного. Отношения между обеими ветвями потомства Авраамова были тогда прекрасные. Обмен приветствиями длился минут десять. Шейх, белый учитель и старейшины были несказанно рады гостям, т.е. моему приятелю и мне, потому что на третьего, на Авиноама, конечно, никто не обращал внимания. Стоял скромно, переводил, что полагалось, но вообще держался в тени.

Нас повели в школу. Столько лет прошло с тех пор — я уже не помню, какая она была; помню только, что почему-то, вместо обхода классов, нас усадили в теневой стороне двора, дали пышную подушку еврейскому учителю и другую, еще пышнее, мне (Авиноаму, понятно, не полагалось подушки), потом явился самовар, крутые яйца и два блюдечка с вкусным рахат-лукумом — одно еврейскому учителю, другое мне (Авиноаму не дали). Я несколько смутился: тогда я еще помнил самого себя в годы Авиноама, и у меня за него слюнки потекли; я было протянул свое блюдечко ему — но в эту минуту глаза наши встретились, и он как будто неприметно мигнул мне, словно хотел шепнуть:

— En davar, не беспокойтесь.

Наконец, в самый разгар чаепития, показали нам и школу. Старший класс был мобилизован тут же на дворе, полукругом, а на земле у моих ног распростерта была та самая географическая карта, о которой я слышал: оттоманская империя стенного формата, испещренная арабскими надписями. Класс состоял из семи малых, лет по пятнадцати на вид; если бы не трахома, это были, насколько помню, красивые и высокие юноши. Арабский учитель тогда обратился ко мне; по тону и жестам я понял, что он мне предлагает роль экзаменатора; я уже хотел отклонить ее в пользу моего приятеля педагога — но в эту минуту глаза мои встретились с глазами Авиноама, и он сказал, почти не шевеля губами:

— Вы должны: вы гость гостя.

Это было очень тонкое понимание приличий, и до сих пор я не постиг еще всех его извилин, но мой приятель тоже кивнул головой, и я подчинился и немедленно стал функциони-

ровать. Строго осмотрев весь полукруг, я указал на правофлангового и приказал Авиноаму:

— Спроси его, где на этой карте Дамаск.

Никогда не надо говорить не подумавши. Если бы я подумал, я бы не задал такого рискованного вопроса, но я его задал и через мгновение очутился в тупике. Дело в том, что арабский мальчик действительно ткнул пальцем в какой-то кружок, над которым что-то было написано арабскими буквами, но я букв этих не знаю, — а про то, где Дамаск, я и на переходном экзамене из четвертого класса в пятый не имел собственного мнения. Я растерялся — в эту минуту опять глаза мои встретились с глазами Авиноама, и опять он мне как-будто неприметно мигнул, как будто что-то неслышно шепнул — и я сурово сказал холодным, лязгающим голосом непоколебимой, неумолимой убежденности: нет, это не Дамаск!

Я вызвал второго и опять скосил глаза на Авиноама: второй попал в точку. Потом... но нет смысла затягивать историю, для меня совершенно не лестную. Краткое содержание ее сводится к тому, что незаметно, постепенно, вежливо, без резких переходов, без наглости Авиноам как-то отодвинул в тень и меня, и своего учителя; он всегда смотрел на меня и ждал моих просвещенных указаний — но указания эти он, очевидно, получал магнетически и претворял в вопросы и резолюции, о содержании которых я понятия не имел. Сначала я еще кое-как чувствовал, что мы несемся сквозь сферы таблицы умножения, но потом все смешалось — остался только Авиноам, судящий народы и творящий расправу, и мы все, малые и серые, учителя, ученики, шейхи и старейшины, где-то на дальнем плане. Как сквозь сон я видел, что шейх и старейшины смотрели то на Авиноама, то друг на друга и качали чалмами или кефиями, и еще мне привиделось в этом сне, будто вдруг откуда-то явилась подушка для Авиноама и блюдечко со сладостями — тоже для Авиноама, и, наконец, когда мы уходили, та же коллегия и все ученики проводили нас опять до околицы — и шейх, почтительно попрощавшись с еврейским учителем и со мною, как бы поколебался минуту — и почтительно попрощался с Авиноамом.

Когда мы шли назад и Авиноам погнался за ящерицей и где-то застрял, я спросил приятеля:

— Что он у вас, первый ученик или вообще светило?

— Этот? — сказал он не без презрения. — Такой же лентяй, как и вся моя шайка.

Я сознаю, что получился у меня страшно шовинистический рассказ, похожий на историю о том, как Чарли Чаплин единолично окружил двенадцать немецких солдат. Но, во-первых, это все сущая правда, так и было; и, во-вторых — совсем это не шовинистическая притча, ибо у меня все же еще осталось сомнение, удалось ли бы Авиноаму выдержать экзамен по главному предмету его собственной образовательной программы — по-второму; а в этом-то, может быть, и все дело.

ВСЕВА*

Однажды в Одессе, в конце третьей четверти пятого класса, его и меня оставили на два часа «без обеда», т.е. сидеть в пустом классе после уроков. Меня — за то, что забыл постричься, а его накануне вечером педель Терентий Ставиноча застал в городском театре на опере «Роберт Дьявол» без письменного разрешения, не в мундире и притом на галерке.

Я только в том году перевелся в эту гимназию и потому знал его мало. Тут мы впервые разговорились. Он сказал, что его имя Всеволод; имя мне понравилось, и я тогда только обратил внимание, до чего прекрасно у него лицо. Он оказался начитан по-русски и по-французски, расхвалил Анатоля Франса, о котором я не слышал, и расспрашивал о Ницше.

— Есть у вас программа для жизни? — спросил он.

— Нету, а у вас?

— Я люблю три вещи: астрономию, музыку и женщин. Этим и буду жить до тридцати лет.

— А после?

Он поднес руку к виску, словно спуская курок, и прибавил: «чик».

Я уже и тогда знал, что именно это называется ребячеством, но не возразил. Мы за те два часа подружились, потом перешли на ты и стали бывать друг у друга дома. Отец его был членом судебной палаты. Хорошая, воспитанная семья, без фокусов, настоящие южане, с примесью польской и, кажется, итальянской крови.

Дома у них роскоши не было, но были изящные вещи. Всева раз показал мне свой портрет, снятый после костюмированного бала, в виде маленького маркиза со шпагой и белым

* В.В. Лебединцев, повешенный в 1908 г. с шестью товарищами за террористическое покушение, подготовленное и выданное Азефом.

париком: я его забыть не могу — «Летучая Мышь» позавидовала бы такой фарфоровой кукле. Но постепенно из его комнаты стала убывать красивая мебель, и осталась суровая келья: железная кровать, стол явно кухонного назначения, стулья из той же мастерской, самодельные полки с книгами по астрономии и на табурете куча нотных тетрадей. Пианино стояло, конечно, в гостиной, но он любил иногда просто читать ноты глазами.

— Ты что, Всева, опростился, в толстовцы пошел? — спрашивали мы.

Толстовство он опровергал тем, что тут же закуривал трубку. А опрощение объяснял совсем по-неожиданному:

— Я очень избалован, не могу жить без комфорта.

— ?!

— Комфорт заключается в том, чтобы ничего лишнего не путалось под ногами...

Он поступил в Новороссийский университет, на астрономическое отделение, а я провел студенческие годы в Риме. Однажды пришла от него из Одессы открытка, скажем, в марте: «Приеду 16 мая, в 4 ч. 22 м. пополудни: вокзал Термини, поезд из Флоренции, перрон такой-то. Телеграфировать не буду — дорого».

Я забыл и на вокзал не пошел: но вдруг он явился ко мне в Борго, заставил меня разыскать ту открытку и показал, что сегодня точь-в-точь 16 мая, и теперь без десяти шесть.

— Как ты ко мне добрался? Даже туземцы по ту сторону реки не все знают, где находится мой переулок.

— Просто. На пьядца Термини сел в трамвай номер такой-то, доехал до Форума Траяна, там сошел, снял комнату в гостинице Альберго делл'Азино — славная комната, еще темнее твоей, потом сел в трамвай номер такой-то и доехал по улицам Борго Нуово до шестого угла.

Я поразился:

— Откуда ты знаешь номера трамваев и такую трущобу, как Альберго делл'Азино? Я раз ночью упросил знакомых полицейских взять меня в обход — тогда мы завернули и в «Азино», где живут поднадзорные из бывших каторжников, а то и я бы не знал о такой гостинице. И как ты умудрился так точно вычислить день и час и перрон?

Он объяснил. Европейцу, может быть, это и не показалось бы так удивительно: они такие, в январе заказывают себе спальное место в вагоне на июль, как будто дано человеку знать всю путаницу грядущего. Но на меня его рассказ произвел совершенно то же впечатление, какое в отрочестве производили его астрономические откровения, когда сидели мы ночью на бульваре против Думы, закинув головы, и он, отмечая пальцем Орион и Лиру, волновал мне душу космическими небывшими наукой звездочетов. Мне всегда казалось, что высшее достижение ума человеческого есть искусство организатора, умение разыскать, сопоставить и запомнить семьдесят семь разрозненных мелочей и спаять их в одной точной целесообразности.

Оказалось так: в прошлом году он рассчитал, что к концу апреля скопит уроками двести рублей, и решил, что этих денег во что бы то ни стало должно хватить на объезд Италии, от Венеции до Неаполя, плюс проезд туда и обратно. Поэтому он засел на две недели изучать расписания поездов и пароходов мира сего. Выяснил, что выгоднее ехать из Одессы морем до Галаца, потому что на этих судах студентам полагается уступка. Вычислил, где будут пересадки. Взял у отца Бедекер и расписал, что надо посмотреть в каждом городе и сколько на это уйдет времени. Из Неаполя в Амальфи решил идти пешком — экономно и приятно. На обратном пути доберется до Будапешта, оттуда прямо Дунаем в Одессу. В Милане и еще где-то есть городские ночлежки, именуемые Альберго дель-Пополо...

— Хорошо; но Альберго делл'Азино?!

— Это я прочел в твоей корреспонденции о том обходе поднадзорных и решил: подходящая гостиница.

И он гордо прибавил, что осмотрел уже Венецию, Милан, Пизу, Флоренцию, не выйдя ни из расписания, ни из сметы.

Так он осмотрел и Рим, а потом уехал в Неаполь. Оттуда я получил открытку: «Познакомился с итальянскими студентами. Нелепые люди, каждый день чистят сапоги, а штаны растилают по ночам под матрацом, для складки».

Так он и в Одессу вернулся, точно в срок, и заплатил извозчику последний четвертак, только вид уже был у него такой, что на пароходе из Галаца добрая попадья, которой он поднял зонтик, умилившись его юношеской миловидностью, непременно хотела дать ему на чай.

Так он, говорят, составлял потом и планы покушений: кто когда выйдет, в котором часу будет на углу Невского и Морской и кому где стоять. Одного не рассчитал: предательства.

С 1901 года началась в России весна.

Я встречал Всеву часто у итальянской оперной певицы, которую он называл Mandorla («Миндалинка») — это было несколько похоже на ее настоящее имя. С ней жила мамаша, невероятно строгая, неохотно пускала ее из дому с мужчинами — но с «синьором Озвальдо» отпускала и объяснила мне:

— Он «галантуомо» (джентльмен). Руку себе отрежет, а не обидит.

Когда у них в гостиной, в Театральном переулке, собиралась толпа поклонниц и поклонников (Мандорлу у нас обожали — она была большая певица и вообще милое дитя), Всеволод, одетый по-цивилизованному, легко, умно и весело шутил на четыре фронта по-итальянски и по-французски, совсем как беззаботный белоподкладочник с Дерибасовской.

Но однажды в парке я встретил его с девицей совсем другого типа. Все ее вспомнят: некрасивая, худые щеки, суровые горящие глаза, тугий клубок бесцветных волос на затылке, наморск; шляпка соломенная, простая, как тарелка, с выцветшей лентой; шляпка сползала то на лоб, то на уши, так она резко мотала головой, и тогда она подталкивала шляпку на место указательным пальцем; стоптанные посеревшие башмаки, и одна из кнопок на боку юбки не застегнута или оторвана. Теперь они давно вымерли, но тогда они-то и разносили весну.

Всеволод шел с нею по аллее, с руками в кармане, нагнув плечи, ступая плашмя и без сгиба колен, той походкой, которую мы за версту узнавали и которую пытался описать Андреев в «Семи повешенных». Он сдвинул брови, слушал напряженную подавленную скороговорку своей спутницы и не сразу заметил меня, а когда заметил, то кивнул головой и свернул с нею в другую сторону.

Потом он сказал мне:

— Зовут ее товарищ Маня. Бесстрашная какая-то, долго головы не сносит.

Это было под новый год, на студенческом балу, который считался в Одессе главным революционным событием каж-

дого сезона. Мы сидели в «мертвецкой», куда впускали только подходящих людей. Он поднял бокал чокнуться.

— За кого? — спросил я (в общем гаме никто нас не слышал) — Мандорла или Маня?

— Конечно, Маня, — сказал он. — Впрочем, ее кажется Соней зовут. Неважно. За всех за них.

— Смотри, Всева, из твоей «программы жизни» выпало третье звено. Ты мне тогда в классе сказал: астрономия, музыка, женщины...

— Выпало, — подтвердил он. — Никогда и не было. Детское бахвальство. А теперь есть. Пиши: номер третий — революция. Это куда музыкальнее, чем даже Мандорла, и куда астрономичнее.

В последний раз мы встретились годом позже.

Я вернулся откуда-то в Одессу и узнал от домашних, что он живет в нашем же доме, днем спит, а ночи проводит в обсерватории.

Время было злое. После взрыва на даче Столыпина, на Аптекарском острове, на стенах и в газетах появились афиши о введении военно-полевых судов.

Землею правила охранка, и охранка помещалась, кстати, в соседнем доме, и наш дворник, черный мужик с буравящими глазами, служил в охранке.

Вечером, рассчитав, что Всеволод проснулся, но еще не ушел, я позвонил у его двери.

Квартира принадлежала его знакомым, но они уехали и предоставили ему свое хозяйство. Он запер все комнаты, сам устроился на кухне, поставил там свою койку и книги, там жил, там варил и обедал, а гостиную открывал только тогда, когда Маня или Соня, разодетые в шляпки с цветами, сами бледные от такого соседства со смертью, приносили в папке с золотой надписью «Мюзик» бережно упакованный сверток, и надо было его спрятать до okazji.

— Всева, — сказал я, содрогаясь по мещанскому своему разумению, — ведь тут в доме есть и женщины и дети.

— Ничего не может случиться, — ответил он, улыбаясь уверенно и доставая с полки колбасу. — Разве что придут эти остолопы с обыском, взломают двери и вообще поведут себя неосторожно... так им и надо.

— Но дети?

Он сказал:

— Милый человек, не сентиментальничай. Одно из двух: нужное дело революция или нет? Если нужное, то не считай букашек, даже если они двуногие.

Я замолчал и стал смотреть, как он хозяйничает. Все у него было прилажено, каждая штука утвари так справлена, чтобы упростить все хлопоты. Кран отлива был притянут веревочками к толстому крюку: сложная механика, я ее не понял, но смысл ее был тот, что повернешь крюк вправо — кран сам закрывается, как только его отпустишь, а повернешь влево — можно уйти, вода будет литься. В швабре он провертел две дырочки и приспособил к ним жестянки, в которые наливал воду, чтобы она просачивалась, когда он подметал свою кухню, и не приходилось бы возиться с половой тряпкой. В цветочном горшке была земля с песком, для ускоренной чистки ножей и вилок. Для кофе была у него чашка типа французского «боль», действительно привезенная из Франции. Спирт для машинки был у него такой, о каком я и не слышал до того дня: в виде желе, нарезанный кубиками, и он брал их вилок. Спички были итальянские, восковые, в коробочке с резинкой и картинкой (это, кажется, у всех бывших итальянцев общая симпатия, от которой трудно отделаться). Он угостил меня колбасой мортаделлой и сыром качо-кавалло, с которым даже не всякий итальянец умеет справиться. Под пиджаком была у него рубаха особенного покроя («сам придумал и заказал») — не помню, в чем состояло ее удобство, но тогда я позаиводвал. Я сказал:

— Эк у тебя все не по-людски и все по-твоему. Тебе бы анархистом быть, а не эсером.

— А может быть весь социализм и заключается в том, чтобы каждый мог жить по-своему в собственном замке? Я тебе давно сказал, что люблю комфорт.

Это и был комфорт, но, по-моему, с одним исключением: на кухне повсюду сновали тараканы; со стола, прежде чем расставить тарелки, он их тщательно смел метелочкой (очевидно, специальной) и посоветовал мне дуть на каждый кусок хлеба.

— Весь дом такой, — сказал я, — у нас есть порошок: хорошо действует — хочешь, принесу?

— А за что их отравлять? — спросил он, дуя на хлеб, — мы друг другу не мешаем.

Я подумал о том, что так только бывает в нравоучительных рассказах: всего за десять минут раньше он совсем иное говорил о «букашках». В литературе такие сопоставления — дешевый прием: ни за что бы я не написал этого, если бы не помнил, что именно так это было, так он в один и тот же час был и мягок, и безжалостен, и сам того не заметил.

— Дворник наш, говорят, служит в охране, — сказал я.

— Служит. Но мы с ним друзья. Никого он так не уважает, как меня.

Оказалось, что и на это была у него система — не грубая, не такая, чтобы выписывать, например, черносотенную газету. Но еженедельно ему присылали письма в толстых веленевых конвертах или письма с печатью Пулковской обсерватории. Он заключил с дворником договор, что будет возвращаться в пять часов утра и не может каждый раз давать пятиалтынный — жалованье не позволяет: сговорились на мзде ежемесячной, не слишком большой, но хозяйственной, и вносил он ее аккуратно. Иногда останавливался побеседовать, причем дворник ругал бунтарей, а он отвечал, потягиваясь:

— Это они от безделья. Просидели бы ночь в обсерватории!

Когда приходила барышня в шляпке с цветами и папкою «Мюзик» и нужно было отпереть гостиную, он уже заодно сажился за рояль и играл Лунную сонату или арию Лознгринна, вообще нечто с точки зрения дворника нудное. Так и создавалась у него в подворотне репутация молодого человека с серьезными и добропорядочными привычками.

Еще раз посетил я его ночью в обсерватории, в Александровском парке. Он велел прийти к двум часам, перелезть через невысокий каменный забор, отогнать собак и свистнуть: он услышит, раздвинет «меридиональную щель» и впустит меня прямо в купол — иначе пришлось бы будить сторожа.

Ни до того, ни после не бывал я в обсерваториях и не видел астронома за работой. Никогда не забуду той ночи. Вероятно, вообще нет на свете такой декоративной подделки под средневековое: купол, тьма, невиданные инструменты, кресло,

раздвигающееся на зубчатых колесах словно для пытки, и человек лицом к лицу с непостижимым. Особенно такой человек, умевший окунуться в каждую свою ипостась до конца. Я до тех пор видел его у «Миндалинки», или в театре, или в «мертвецкой», или на крыше замка Св. Ангела в Борго — словом, на веселом фронте жизни и всегда дивился, как он это все принимал целиком и без оговорок, разве только с оттенком лукавого и упрямого юмора, чуть-чуть «хохлацкого». В узенький просвет увидел я и край второй его жизни, жестокой и страшной, и тоже отметил, как безраздельно, не морщась, он приемлет всю ее жуть. Тут была его третья жизнь: та же полная чаша, как будто нет на свете ничего иного, кроме безграничного черного холода, где «совершаются высоко в горнем мире чудеса». Он, видно, знал свой предмет, потому что говорил уверенно и без спешки, но в этом я не судья; в чем и я смыслю, это — как он говорил. Не как художник, сохрани Боже, но как свой человек, домашний там, за пределами воображения; один из кочегаров при «громадах негасимого огня»; привычный, для которого эта черная пустыня трех измерений — родина, дорогая без риторики и сантиментов, просто лучшее место на свете.

Двадцать лет тому назад, при подготовке серьезного покушения, был арестован в Петербурге, вместе с товарищами, некий — по паспорту — Марио Кальвино, кажется, учитель гимназии Порто-Маурицио. Жандармы сразу догадались, что он русский, хотя говорил он по-итальянски без акцента. Итальянский атташе посетил его в тюрьме и спросил, хлопотать ли за него. Марио Кальвино отказался, но поблагодарил — «grazie lo stesso». Только за три дня до казни удалось выяснить, кто он такой.

Я тогда жил за границей и эту последнюю главу его повести знаю только по рассказу общего друга, петербургского журналиста, в прошлом — нашего товарища по гимназии. Передаю его рассказ:

«Однажды вечером я шел по Алексеевской. Улица была пуста. Навстречу мне шагал невысокий полный господин, очень элегантный, мне совершенно незнакомый. Но, пройдя

мимо него, я случайно оглянулся и сзади узнал его по походке. Я его окликнул — он не обернулся. Я пошел его догонять: никаких сомнений быть не могло, другой такой походки во всей России не было. Он остановился — и опять я увидел перед собою лицо совершенно чужое, явно заграничное, с нафабранными усами и под цилиндром.

— Всева, что за маскарад?

Он оглянулся — на улице никого не было — и сказал почти шепотом:

— Если ты узнал меня, я пропал. Но до сих пор никто не догадался.

Я его успокоил: много ли в Петербурге людей, которые провели с ним восемь лет на одной скамье?

Через несколько дней я встретил его ночью в ресторане «Вена». Он сидел за столом с несколькими иностранными журналистами. С одним из них, итальянцем Гвидо Пардо, сам он меня когда-то познакомил, и тогда они были очень близки. Но теперь и Пардо явно принимал его за синьора Кальвино из Италии. В жизни я такого лицедейства не видел. Пардо представил нас, и он встал, поклонился, подал мне руку, осклабился с такой заморской выправкой, что я сам на минуту усомнился. Ресторан был полон людей, которые его прежде знали: ни один на него даже не оглянулся. Это был не грим, а просто какое-то перевоплощение, не только продуманное до микроскопических мелочей, но и усвоенное до того, что впиталось в самую натуру.

Он так был уверен в своей неузнаваемости, что не прятался. Приходил, например, ко мне в редакцию, но говорил на лонманом языке, пока мы не оставались вдвоем.

Я его не расспрашивал, конечно, зачем это все понадобилось. Беседовал он со мной на темы посторонние. Только раз, побывав в Государственном Совете, он сказал мне, совсем тоном мужика, увидавшего сочную, но еще не вспаханную полосу чернозема, даже со вздохом:

— Все министры, все рядышком, как на выставке. Вот бы запустить в них апельсин!...

Я заметил, что это было бы жаль — как раз в той стороне сидит академическая группа, и от апельсина могло бы пострадать много хороших людей. Он ответил:

— Что же поделать, если так нужно?

Тут я разрешил себе личный намек и сказал ему:

— Смотри, Всева, не засыпьяся.

Он засмеялся:

— Не засыплюсь. Мы теперь работаем с человеком, который, по-моему, просто гений. Все ему удастся. Комар носу не подточит.

Потом я узнал, что гения этого звали Азеф...

ПРИМЕЧАНИЯ

Принятые сокращения

Бабель — *Бабель И.Э.* Сочинения: В 2-х т. М.: Худ. лит., 1990.
Дон-Аминадо — *Дон-Аминадо.* Поезд на третьем пути. М.: Книга, 1991.

Кн. — Книга.

ПМД — *Жаботинский Владимир.* Повесть моих дней. О железной стене. Минск: МЕТ, 2004.

Рас — *Жаботинский В. (Altalena).* Рассказы. Париж, 1930.

Соколянский — *Соколянский Марк.* Общие корни. Владимир Жаботинский и Исаак Бабель // Егупец, 2002, № 10.

Фел — *Жаботинский Вл.* Фельетоны. С.-Петербург, 1913.

Фирин — *Владимир Жаботинский.* Письма Оскару Грузенбергу / Вступление, публикация и комментарии Х. Фирина // Вестник Еврейского университета в Москве. 1994, № 2(6).

Чуж — *Жаботинский Вл.* Чужбина. Иерусалим: Гешарим; М.: Мосты культуры, 2000.

Чуковский — *Чуковский Корней.* Серебряный герб, в его кн.: Собр. соч. в 6-ти тт. Т. 1. М.: Худ. лит., 1965 (первоначальное название — «Гимназия», 1938).

Causeries — *Жаботинский В. (Altalena).* Causeries. Правда об острове Тристан да-Рунья. Париж, 1931.

Stanislawsky — *Stanislawski Michael.* Zionism and the Fin de Siècle: Cosmopolitanism and Nationalism from Nordau to Jabotinsky. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 2001.

САМСОН НАЗОРЕЙ

Тематической основой романа послужило библейское повествование о Самсоне (Кн. Судей 13—16), ставшее одним из традиционных сюжетов мирового искусства¹: в музыке — опера Сен-Санса², оратория Генделя, в живописи — Рембрандт, Дюрер, Доре, Мантенья, Ван Дейк, в скульптуре — статуя для Петергофского фонтана (М.И. Коз-

¹ См. об этом в кн. Давида Фишлова «Makhlafot Shimshon» (Косицы Самсона; ивр.). Naifa, 2000.

² Существует перевод либретто оперы на иврит (пер. Рабребе; сообщение о ее постановке в Петербурге см.: *Нарен М.* «Самсон и Далила» на еврейском языке // Рассвет. С.-Петербург. 1912, № 11, 16 марта. Стлб. 17—20.

ловский и др.), в кинематографе — голливудская лента «Самсон и Далила» (1949; реж. Демилле); в литературе — множество воплощений: от трагедии Г. Сакса «Шимшон» (1556) и поэмы Дж. Мильтона «Самсон-борец» (1671) до явлений не столь значительных, скажем, драма Л. Андреева «Самсон в оковах» или вовсе проходных и малоизвестных: например, стихотворение И. Перфильева (Забайкальца) «Самсон и Далила» (Чита, 1919). Можно упомянуть, что в Польше вышел роман И. Крапаля «Самсон-герой» (1925; ивр.), в Австрии самсониаду продолжил роман Ф. Салтана (1928). Перечислять можно достаточно долго. Гораздо важнее понять, в чем оригинальность этого художественного опыта Жаботинского.

Библейская история Самсона относится к эпохе Судей Израилевых, которая следует за временем покорения земли Ханаанской израильтянами во главе с Иисусом Навином (Иеошуа бин-Нун). После Навиновой смерти выросло поколение, не знавшее Господа и служившее Ваалу и Астарте («В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым», Суд. 17:6; см. также: 18:1; 19:1; 21:25). Для спасения народа от гибели Господь даровал им судей, которые играли в тогдешнем обществе роль вождей и правителей, которые, однако, не имели власти царя и не передавали свой пост по наследству. Считается, что эпоха судей продолжалась 450 лет до пророка Самуила, хотя в III Цар. 6:1 говорится, что время от выхода из Египта до четвертого года правления Соломона составляет 480 лет.

Жаботинский углубил элементы сюжета и черты характера главного героя, указанные в библейском тексте, например, пристрастие Самсона к загадкам или азартным играм (вспомним выразительную сцену выбрасывания пальцев), на чем строится и композиционная интрига, ведущая в конечном счете к кровавому повороту «в отношениях между двумя народами — покорителями Ханаана» (гл. XI. Элиноар за работой). Или мифолого-фольклорный мотив «срезанных волос», хранящих богатырскую силу Самсона. Интерпретация «шевелюрного» кода романа обладает, несомненно, богатыми герменевтическими возможностями³. Жаботинский-писатель менее всего напоминает добросовестного копииста, он демонстрирует талант зрелого мастера, для которого текст-прототип становится только «поводом для разговора». Это касается как новых фабульных мотивировок (скажем, появление двух сестер и мотив смертной ревности, что оборачивается известными событиями), так и тех связей литературного образа с реальной исторической действительностью, которые для каждого писателя являются крайне индивидуальными.

Блестяще владея библейским материалом, Жаботинский выходит за рамки библейского источника, причем делает это в каком-то смысле принципиально. Он развивает линию филистимлян, идентифици-

³ См. в связи с этим: *Хазан В.* Об одной вероятной полемике, или берлинские импульсы повести В. Жаботинского «Самсон назорей» // *Русский Берлин: 1920—1945: Международная научная конференция.* М.: Русский путь, 2006. Стр. 239—262.

рующих себя с потомками троянцев, и вводит в ткань романа мифологические параллели древнегреческого ареала, его Самсон ассоциируется с мифологическими героями греков или северных народов⁴. Память о славном прошлом неистребимо живет в быте, морали, традициях, именах филистимлян. Так, Ахтур становится ономастической параллелью Гектора — старый саран говорит о нем: «Ахтур, защитник Трои, был из той самой породы [гигантов]; грек, убивший его, привязал его тело к колеснице и волок его за ноги по полю...» (гл. XXX. В яме). Тем самым Самсон, убивший Ахтура, сопоставляется с Ахиллесом, сразившим Гектора (у библейского героя, как и у героя греческого мифа, была своя «ахиллесова пята», о которой он проговорился Далиле). Если двигаться вглубь этих ассоциаций, можно сказать, что Самсон разрушил Тимнату так же, как Геракл разрушил Трою, совершив свой очередной подвиг (добыл пояс царицы амазонок). Кстати сказать, текст романа дает основание для подобных параллелей и ассоциаций. Бергам Жаботинского, чье имя восходит к Пергаму, сыну Андромахи от Неоптолема (Пирра), сына Ахилла, сравнивает Самсона с «богатырем из мифологии Эгейского архипелага, который голыми руками убивал львов и многоголовых драконов» (гл. XIV. Ссора). Бергамова параллель пропущена через восприятие Самсона, не слышавшего не только что о Геракле, но и о более близком — исторически и национально — Моисее (гл. XV. Во дни судей Израильских), чем достигается как бы сокрытие имени мифологического собрата израильского силача. Правда, при этом Жаботинский, по всей видимости, но без лукавства, то и дело нарушает свои же собственные коды. Так, высокомерный Бергам хотя и кичится своей троянской родословной, однако его дочери, Семадар и Элиноар, названы не именами троянских княжен, а ономастически ориентируются на семитскую этимологию.

Одна из задач комментатора — показать, как точно, глубоко и свободно Жаботинский разбирался в библейской географии и какими полноценными знаниями обладал относительно всего пространственного космоса Библии⁵. Ономастический разбор, с одной стороны, дает представление о масштабах переработки библейских источников, проделанной Жаботинским, а с другой — может стать дополнительным ключом для интерпретации текста или, по крайней мере, выявления новых оттенков скрытого смысла. Не все имена персонажей романа имеют библейское происхождение: в ряде случаев автор пользуется своим правом сочинителя, хотя, как правило, их семантика отличается прозрачной ономастической логикой. Например, «старый

⁴ *Avineri Shlomo. The Making of Modern Zionism: The Intellectual Origins of Jewish State.* London: Weidenfeld and Nikolson, 1981. P. 160. Об эллинском слое романа пишет также М. Вайскопф (см.: *Вайскопф Михаил. «Козлиная песнь» Зезва Жаботинского // Солнечное сплетение.* Иерусалим. 2000, № 12—13. Стр. 238).

⁵ К сожалению, остался невоплощенным замысел Жаботинского написать исторический роман о праотце Иакове (см.: *Oren I. Zhabotinskii ve-ani* (Жаботинский и я; ивр.). Tel Aviv: Nadar Publishing House, 1980. P. 9.

Шелах, сын Иувала» — лицо вымышленное, однако и его собственное имя, и имя его отца взяты из Библии: Шелах (в русск. традиции: Сала), внук Сима, правнук Ноя (Быт. 10:24; 11:12—14), а Иувал, сын Ламеха от Ады, — изобретатель струнных и духовых инструментов (Быт. 4:21)⁶. Или еще более показательный случай: левит Махбонай бен-Шуни. Библейский Махбонай из колена Гада примкнул к Давиду (I Пар. 12:13), и поэтому один из потомков Гада, сына Иакова (Быт. 46:16; Чис. 26:15), носит имя Шуни. Жаботинский дает имена своим героям не наугад, а выстраивая вполне осмысленные, достоверные с точки зрения библейского текста ономастические связи и отношения.

Так, Элион, в чьем таборе какое-то время скрывался Самсон (гл. XVIII. В пустыне), рассказывает, что у основателя их рода Рехавя кроме сына Ионадава, упомянутого в Библии (IV Цар. 10:15), был еще один сын, Невуэль, о котором Библия умалчивает. «...Спорили Ионадав с Невуэлем, какой путь лучше для искупления каинова греха, — пишет Жаботинский. — Невуэль говорил: "Надо нам рассыпаться среди людей и учить их словом", а Ионадав говорил: "Надо уйти от людей и учить их примером". Не поладили они и разошлись, каждый своей дорогой».

Род Элиона стал сектой последователей второго брата, исповедующих принципы, перечисленные пророком Иеремией: «...Мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехавя, отец наш, дал нам заповедь, сказав: "Не пейте вина ни вы, ни дети ваши во веки; и домов не стройте и семян не сейте, и виноградников не разводите и не имейте их, а живите в шатрах все дни ваши, чтобы жить вам долгое время на той земле, где вы пребываете"» (Иер. 35:6—7). Самсон же относит себя к потомкам Невуэля. «Чей путь вернее, не нам судить; может быть, оба верны», — заключает Элион.

Имя созданного авторским воображением Невуэля состоит из ивритских слов: неву (нави, или набу⁷) — пророк и эль — Бог, что органично вписывается в систему традиционных еврейских имен (Израэль, Нетанэль, Даниэль и др.). Можно привести и образцы ономастической игры: например, имя хозяйки постоялого двора — Доркетто (Доркетто; см. прим. к стр. 13) или начальника морской стражи — Таргил, подразумевающее военные учения и, стало быть, воинскую доблесть, у которого Самсон отнял меч и поклажу (гл. XXII. В одиночку).

Что касается географических названий, то Жаботинский, как правило, следует библейской топонимике, хотя иногда изобретает наименования типа Артуф (гл. XX. Колена) или никогда не существовавших словосочетаний типа «косматый Сион, бог пустыни» (гл. XX. Колена), Сион-Азазель⁸ (гл. XXI. Дом и чужбина).

⁶ Возможно, это имя имеет и другой подтекст: одно из омонимических значений слова «шеллах» — клинок, короткий меч.

⁷ Набу — в аккадской мифологии бог и покровитель писцов и мудрецов.

⁸ Сион — название крепости иевуситов, завоеванной царем Давидом; этимология неизвестна.

Обращают на себя внимание своего рода «кольцевые», «рифмующиеся» сцены. Так, Карни дважды — в начале и в конце романа — говорит Самсону: «Я не орлица» (гл. VI. Своя и чужая — гл. XXXIII. На прощанье); слова Махбоная бен-Шуни о иевуситах, что «не сеют, не жнут, а всех богаче» (гл. II. Шут), автор вкладывает затем и в уста Самсона: «Твои пророки живут в пещерах [...] не строят, не пашут, не пасут», — говорит он даниту, наслушавшемуся местных пророков (гл. XV. Во дни судей израильских). Или еще: Элиноар предсказала Ахтуру, что Самсон раздавит его голову «как пустой орех» (гл. XI. Элиноар за работой), и Самсон действительно стиснул голову тезки троянского героя и не отпускал, «пока не затрещало и не и брызнуло» (гл. XXV. О нужном и ненужном). Принцип «композиционной двойственности» распространяется и на саму Элиноар: Самсон дважды отталкивает ее — сначала ладонью (гл. VIII. Разговоры), а потом — пяткой (гл. XXIX. Три зелья). Подобные примеры можно умножить. Впоследствии Жаботинский использует этот прием и в романе «Пятеро»: Самойло, сам того не зная, предскажет смерть Маруси, рассказав про девушку, которая «постоянно любила играть с огнем; вот и кончилось тем, что обожглась ужасно больно» (гл. XIII. Вроде Декамерона).

В очерке «Четыре сына» (1911) Жаботинский говорит о Самсоне как о простаке, который «...любил драться, любил и шутить, и острить, и загадки загадывать, и проказничать, и вкусно поесть, и сладко выпить, а доверчив был до того, что после трех обманов опять уснул на груди у Далилы»⁹. Несмотря на ряд интересных попыток прояснить вопрос о генетических импульсах и литературных источниках «Самсона назорей»¹⁰, исследователи все еще не в состоянии дать на него исчерпывающий ответ. Похоже, что «Самсон» Жаботинского не свободен от некоторого влияния драмы Л. Андреева «Самсон в оковах», которая была написана в 1914 г., но впервые напечатана в «Современных записках» в 1925 г. Жаботинский жил в Париже, работал над своим романом и наверняка читал пьесу Андреева¹¹. Во всяком случае, некоторые мотивы его «Самсона» явно переключаются с андреевскими.

⁹ Жаботинский Вл. Фельетоны. С.-Петербург, 1913. Стр. 197.

¹⁰ *Nakhimovsky Alice Stone. Russian-Jewish Literature: Jabotinsky, Babel, Grossman, Galich, Roziner, Markish. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1992. P. 54—62; Fridman Rosalia, Samuel Schwarzband.* К вопросу об источниках повести Вл. Жаботинского «Самсон назорей» // *Jews and Slavs. Vol. 4: Judeo-Slavic Interaction in the Modern Period. Jerusalem, 1995. P. 210—225; Соколянский М.* Ветхозаветные мотивы и их интерпретация в романе В. Жаботинского «Самсон назорей» // *Библейские мотивы в русской культуре и литературе. Познань, 2000. Стр. 163—169; Вайсзонф Михаил.* Указ. соч. Стр. 233—240; *Stanislawski Michael.* Zionism and the Fin de Siècle: Cosmopolitanism and Nationalism from Nordau to Jabotinsky. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 2001. P. 223—236.

¹¹ О том, что Жаботинский, видимо, был знаком с драмой Андреева, пишет М. Соколянский (см.: *Соколянский М.* Владимир (Зевэ) Жаботинский и русская литература // *Studia Rossica Posnaniensia. 1998. Z. XXVIII. P. 43—53).*

К ним относится, прежде всего, филистимский план использования богатырской силы плененного и ослепленного Самсона. Этому посвящена и одна из лучших сцен романа — попытка старого сарана переменить Самсона на свою сторону (гл. XXX. В яме), возможно, навеянная перипетиями андреевского сюжета. (Галиал, брат Далилы, хочет сместить престарелого сарана с помощью Самсона: «Я возьму его силу! [...] Что этот меч, который скользит по железу и ломается в руках: ты держал ли в руке вихрь, который вырывает деревья и разрушает города? В моей власти будет ураган. Одним его дыханьем я подниму волны и опрокину финикийские корабли! Одним его дыханием я смету врагов филистимского народа и моих!»¹².)

Любопытно, что и у Жаботинского, и у Андреева фигурирует персонаж с библейским именем Ягир (Яир). Правда, в «Самсоне назорее» это имя ассоциируется с Яиром из Галаада, одним из судей Израильских (Суд. 10:3—5), а в пьесе Андреева имя Ягир, вернее его вариант, Ягаре-Оргим, восходящий к отцу одного из воинов Давида (см.: Пар. 20:5), носит тюремщик, охраняющий Самсона.

Жаботинский работал над романом в обстановке жесткой политической борьбы не только между евреями и их противниками, иудеофобами и погромщиками, но и в самом еврействе — борьбы за новое, негалутное мышление, за еврея — сильную личность, способную постоять за себя. Это было особенно актуально для Эрец-Исраэль, где, по словам израильского писателя Амоса Оза, хотели «вырастить новое поколение, которое не походило бы на привычный образ еврея». И хотя, продолжает Оз, «об этом никогда не заявлялось во весь голос, но отрицание идиша, отрицание галута, отрицание религии были проявлением этих попыток. И новые, ивритские имена — в том же ключе. И наши рассуждения о “воине-земледелец” и “мускулистом еврействе”, еврействе силы, а не слабости...» Касаясь в этой связи романа Жаботинского, Оз определяет «Самсона» как интегральную часть этих тенденций: «Невозможно понять “Самсона”, если не представить себе типического еврея, очкарика, согбенного над книгой. Без этого невозможно понять воскрешение образа Самсона, его “тоски по железу”»¹³.

В романе, естественно, нашли отражение политические взгляды самого Жаботинского, лидера ревизионистского крыла в сионизме и руководителя движения Бейтар, который провозглашал концепцию еврейского большинства на территории Эрец-Исраэль и неизбежности силовых методов создания национального государства. «Если суждено, чтобы из Бейтара вышел толк, то Бейтар — школа назорейства: забудь про карьеру, про интерес личный или классовый, приноси жертвы, хотя бы даже невпопад — лишь бы сионистское

¹² Андреев Леонид. Самсон в оковах // Современные записки. Париж, 1925. Кн. 24. Стр. 69.

¹³ Оз Амос. В яростном свете лазури. Иерусалимские рассуждения / Пер. с иврита В. Радуцкого // Диалог: Литературный альманах. М. 1996. Стр. 13.

пионерство перестало быть *établissement de luxe*¹⁴ и опять стало авангардом идеалистов»¹⁵, — писал Жаботинский П. Рутенбергу 1 июля 1936 г.

Воплощение бейтаризма образует в ткани романа достаточно сложный, полихромный художественный узор. С одной стороны, мы видим явное тяготение лидера Бейтара к массово-соборным, строевым и иным церемониям и ритуалам, получившим теоретическое обоснование в таких работах, как «О милитаризме» (1933) или «Идея Бейтара» (1934), где Жаботинский проповедует подчиненность отдельной личности коллективной воле нации. И тут же превозносит эту самую личность: «Каждый человек — царь»¹⁶. Собственно, этой идее он и поклонялся всю жизнь.

Такое противоречие, разумеется, не могло остаться без внимания исследователей. Об этом писал израильский историк Ш. Авинери¹⁷, анализируя дважды (опять дважды!) описанную сцену, где многотысячная толпа филистимлян участвует в театрализованно-танцевальном действе и, подчиняясь воле жреца-дирижера, превращается в единый организм. Сначала Самсон, затаив дыхание, слушает рассказ Семадар о том, как проходит храмовой праздник в Газе, а после видит это своими глазами (гл. XXI. Дом и чужбина). Эта сцена, едва ли не навязная романом Е. Замятина «Мы» (1920)¹⁸, представляет собой переосмысленное описание парадоксального рождения красоты из несвободы («Почему танец — красив? Ответ: потому что это *несвободное* движение, потому что весь глубокий смысл танца именно в абсолютной, эстетической подчиненности, идеальной несвободе»¹⁹.) В одном из начальных эпизодов замятинского «Мы» показано, как под Марш Единого Государства «мерными рядами, по четыре, восторженно отбивая такт, шли нумера — сотни, тысячи в голубоватых юнифах, с золотыми бляхами на груди — государственный номер каждого и каждой»²⁰. Однозначно-негативный подтекст антиутопии Замятина, описавшего тоталитарную механику, создающую из рыхлой народной массы государственный строй и порядок, у Жаботинского меняет свой знак едва ли не на обратный. Как для его героя, так и для него самого служение национальной идее есть форма подчиненного, «соборного» существования. Этот эпизод, в котором Жаботинский пластически воплотил свой поиск строгих форм дисциплины и порядка,

¹⁴ *Etablissement de luxe* — букв.: учреждение (место) роскоши, комфорта.

¹⁵ Архив П. Рутенберга. Дом-музей П. Рутенберга (Хайфа, Израиль).

¹⁶ ПМД. Стр. 463.

¹⁷ *Avineri Shlomo. The Making of Modern Zionism: The Intellectual Origins of Jewish State.* London: Weidenfeld and Nicolson, 1981. P. 172—173.

¹⁸ Роман «Мы» был впервые опубликован в английском переводе в 1924 г.

¹⁹ *Замятин Е. И. Избранные произведения: Повести, рассказы, сказки, роман, пьесы.* М.: Сов. пис., 1989. Стр. 550—551.

²⁰ Там же.

несомненно, свидетельствовал о его симпатиях к внешним ритуалам, и позиция Авинери, несмотря на более позднюю полемику с ним американской исследовательницы А.С. Нахимовски²¹, вряд ли оказалась поколебленной в своем существе.

Другое дело, и здесь нельзя не поддержать утверждение Нахимовски, парадно-воинственная сторона бейтаровской идеологии не могла превзойти или отменить либерально-демократическое кредо Жаботинского как политика и человека. Сочетание гимна царственно свободному индивиду с поклонением железной дисциплине, ставящей правителя в рамки определенной зависимости, входило в политическое и творческое кредо Жаботинского. Бейтаровский контекст был одной из ипостасей его универсальной личности, не сводящейся к какому-то строго определенному, а тем более поверхностно понимаемому роду деятельности. Это объясняет не только широту взглядов Жаботинского на современный мир, в частности, его ярко выраженный антинацизм²², но и нечто большее, выходящее далеко за рамки сионизма как политической философии и формы борьбы за национальные права еврейского народа. Данный феномен, абсолютно несводимый к перипетиям конкретной сионистской практики, охватывает широкую область мирозидения как такового и все более и более привлекает внимание ученых²³.

После выхода отдельной книгой «Самсон назорей» издавался на немецком (1928, пер. К. Брукса)²⁴, английском (1930)²⁵, идише и иврите²⁶.

²¹ *Nakhimovsky Alice Stone*. Op. cit. P. 225, n. 6.

²² Некоторые, в том числе и сионисты, обвиняли Жаботинского в профашистских симпатиях; о несостоятельности этих обвинений см.: *Москович Вольф*. Юбилейные заметки о В. Жаботинском // *Еврей России — иммигранты Франции*. Иерусалим; Москва: Гешарим — Мосты культуры, 2000. Стр. 11—34.

²³ См. в особенности: *Stanislavsky Michael*. Op. cit.; *Горовиц Брайан*. Притветствие ассимиляции, или сионизм как противоречие // *Новое литературное обозрение*. М., 2005, № 73. Стр. 109—116.

²⁴ Richter und Narr (München: Meyer&Jessen); в 1930 г. вышел еще один немецкий перевод: «*Philister über dir, Simson!*» / *Aus dem Russischen von Hans Ruoff*. Weimar: E. Lichtenstein.

²⁵ Judge and Fool (New York: H. Liveright). Один из еврейских американских журналов, анонсируя перевод «Самсона», писал: «The author, head of the Revisionist Group in Zionism. Combining the method of Fleg and Untermeyer, has produced a modern interpretation of Samson and Delilah, generously colored by tradition. The work is not without that humor which allows the greatness and the weaknesses of the major character to appear as the play of light and shadow. The story is of Samson in the land of Dan, on the one hand "judging wisely yet whimsically," and on the other, the loud and drunken companion of the Philistines. Throughout it is a book of contrasts, for it is the story of Samson "who had once been a thunder-storm... now a harmless plaything." Cyrus Brooks has translated it from the German» (Jewish Book Club (Chicago). *Monthly Review*, 1930, October, Vol. 1, No 1). [«Автор — лидер группы сионистов-ревизионистов. Сочетая метод Флега и Унтермейера, он создал современную интерпретацию сюжета о Самсоне и Далиле, щедро окрашенную традицией. Произведение написано

В целом роман был доброжелательно принят русской эмигрантской прессой. 25.II.28 Жаботинский писал О. Грузенбергу: «Спасибо за доброе слово о моем Самсоне. Были очень доброжелательные отзывы в «Последних Новостях» и в «Современных Записках»; но меня они очень конфузят. Все начинают с того, что автор — публицист и, конечно... Сапожник взялся печь пироги; и сколь удивительно — пирог получился съедобный и т. д. Ввиду этого я с восторгом разрешил немецкому издательству выпустить перевод под псевдонимом *Altalena* без имени. Издатель боится "польского" имени, а я хочу раз навсегда отделить себя кухонного от себя субботнего»²⁷.

По воспоминаниям Н. Быстрицкого, «Самсон» был с восторгом встречен национальным еврейским поэтом Х.Н. Бяликом (Быстрицкий говорит об этом в рецензии на ивритский перевод, сделанный израильским писателем И. Ореном)²⁸.

В рецензии на роман, опубликованной в «Современных записках», самом крупном журнале русской эмиграции, М. Цетлин отметил главную особенность явления, зовущегося Владимиром Жаботинским: с одной стороны, это острейший, талантливейший деятель политического сионизма, а с другой — не менее одаренный русский писатель. Две эти грани, по мнению критика, находились в динамичном единстве, создавая неповторимый синтез. Цетлин писал о Жаботинском как о примере соединения «скептической иронии и фанатической веры», что придает его личности редкое своеобразие²⁹.

М. Осоргин назвал роман «прекрасным и по художественности построения, и по исключительной занимательности», с удовлетворением отметил: «То, что роман свой В. Жаботинский написал по-русски, возвращает его в русскую литературу, у которой похитило его служение еврейской идее»³⁰.

«К книге приступаешь с некоторой опаской, — писал К. Мочульский. — Имя автора, известного политического деятеля и блестящего публициста, заставляет предполагать, что перед нами — злободневный памфлет или — еще хуже — роман *à thèse*³¹. Опасения эти, к счастью,

с юмором, позволяющим, как бы играя светом и тенью, переходить от величия к слабостям главного героя. Это история Самсона из колена Дан: с одной стороны, он «судит мудро, хоть и причудливо», а с другой — загульный собутыльник филистимлян. Эта книга, контрастная во всех отношениях, рисует Самсона, который «был когда-то грозой... а ныне стал безопасной игрушкой». Перевод с немецкого Кируса Брукса.]

²⁶ Существуют три перевода «Самсона» на иврит: Б. Крушника, И. Оrena и П. Криксунова.

²⁷ *Владимир Жаботинский*. Письма Оскару Грузенбергу // Вестник Еврейского университета в Москве, 1994. № 2(6). Стр. 239.

²⁸ См.: *Bystritsky Natan*. Tergum ke-yatsira mekorit // Maariv (Tel Aviv). 1977. 23 September. S. 35 (иврит).

²⁹ Современные записки. Париж, 1928. Кн. 34. Стр. 502.

³⁰ *Осоргин Мих.* Самсон назорей // Последние новости. Париж, 1927. № 2465. 22 декабря. Стр. 3.

³¹ *A (la) these* (франц.) — на тему, т. е. написан для пропаганды какого-то общего положения или идеи.

оказываются напрасными. "Самсон" — просто-напросто талантливо рассказанный вымысел. Библейская легенда использована очень вольно; она служит как бы предлогом, отправной точкой свободного повествования. Нет также в книге ни истории, ни археологических деталей; или — точнее — она нигде не отдает университетским курсом, кропотливым изучением "источников". Благодаря этому, автору удалось обстоятельно развернуть свое чисто беллетристическое дарование, проявленное уже ранее в области короткого рассказа и в некоторых полупублицистических опытах, ныне, к сожалению, забытых. Получилась очень сильная, увлекательная книга, от которой нелегко оторваться.

Этому не препятствует то обстоятельство, что действующие лица (за исключением некоторых эпизодических фигур) очерчены Жаботинским крайне схематично. Узел романа, его динамический момент — не в столкновении отдельных людей и индивидуальных волей, а в противоречии народных психологий (в отличие, например, от "Самсона" Ф. Ведекинда, где конфликт перенесен в плоскость индивидуальную). Впрочем, в этом — и главная слабость романа. Народная психология Данова колена и филистимлян — вещь довольно загадочная и, во всяком случае, уже не способна вызывать в нас острый интерес. Если же все сие надлежит понимать иносказательно, то придется признать, что автор не дал нам надлежащего ключа к уразумению его истинных намерений. У пытливого читателя, пожалуй, возникает желание угадать таковые — и это может несколько испортить удовольствие от чтения книги. Лучше читать ее без задней мысли, просто, как занимательный вымысел. Она постоит за себя и при таком подходе»³².

Развернутую рецензию посвятил «Самсону назорею» известный критик Ю. Айхенвальд, указавший на отголоски современности в романе («из-за библейских завес выглядывающая современность»). Айхенвальд, однако, не считал роман Жаботинского совершенным. Главный пафос его рецензии сводился к тому, что писал его не художник, «а только очень умный и даровитый, очень культурный и знающий человек...»³³

А. Седых (Я. Цвибак) сближает историю автора и его героя, рассматривая их как два одинаково интересные начала³⁴.

Реакция М. Горького на «Самсона» неизвестна, хотя у него был экземпляр романа, который отправил М. Будберг; см. ее письмо из поезда по пути из Берлина в Эстонию от 18 декабря 1927: «Послала Вам "Самсон Назарет" [sic]»³⁵.

Очень похоже, что «Самсона» читал М.А. Булгаков (см. об этом в примечаниях).

³² Звено, Париж, 1928. № 1. Стр. 226—227.

³³ Айхенвальд Ю. Литературные заметки // Рувль. Берлин, 1927. № 2136. 7 декабря. Стр. 2.

³⁴ Седых Андрей. Роман В.Е. Жаботинского // Сегодня. Рига, 1928. № 65. 8 марта. Стр. 3.

³⁵ Архив А.М. Горького. Т. XVI. А.М. Горький и М.И. Будберг. Переписка (1920—36). М.: ИМЛИ РАН, 2001.

«Соратники» нередко вычитывали в романе поверхностные смыслы, воспринимая его прежде всего как рассказ о политической и военной борьбе евреев за Палестину. Так, в годовщину смерти Жаботинского тель-авивская газета «Амашкиф» напечатала статью одного из ближайших его единомышленников, И. Розова, который писал, в частности, что автор «Самсона» воспел «культ организованности, культ примитивной красоты и правды, культ дисциплины и "железа" как средства защиты своих элементарных прав. [...] Перечитывая теперь эту книгу, видишь в Самсоне прототип самого автора, а в драме молодого героя Нахуштана ощутимы черты бейтаровца, каким представлял его себе Жаботинский. Если бы все таланты, которыми Жаботинский обладал, превратились бы в волосы на его голове, то ему в пору было бы заплетать из них косу, как это делал Самсон до того как остригла его вероломная Далила. Сила Жаботинского была в сумме этих талантов, скрепленных силой веры»³⁶.

Политический дух современности подчеркивал в «Самсоне» и биограф Жаботинского Ш. Кац, писавший, что идейный фокус романа составляет «...жизнь евреев в галуте, их статус граждан второго или третьего сорта, при господстве и под властью любых капризов правящего народа, среди которого они жили, преследуемые, презираемые, беззащитные и не владеющие искусством или наукой самозащиты»³⁷.

Восприятие романа как литературной иллюстрации политической борьбы, которую вел Жаботинский-сионист, обедняет и примитивизирует смысл «Самсона». Столь же наивным выглядело бы и буквальное сопоставление с библейским сюжетом. М. Станиславский пронизательно замечает, что история библейского Самсона, послужившая Жаботинскому основой для художественной модификации, начинается стихом, гласящим: «Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки Филистимлян на сорок лет» (Суд. 13:1). У Жаботинского же нет ни Всевышнего, ни Его посланников, и все израильтяне, включая Самсона и его мать, изображены язычниками. Бог Израиля в их пантеоне существует как один из многих кумиров, и при этом они пользуются услугами левита, совершающего религиозную службу³⁸. Условия, в которых родился и рос герой романа, пишет М. Станиславский, определили «национальную и культурную амбивалентность» Самсона, а также «неопределенность национального и религиозного происхождения», когда нельзя окончательно решить, «кто был его отцом: израильтянин или палестинец»³⁹. Американский литературовед считает, что текст «Самсона назорея» «должен быть прочитан как один из многих декадентских романов на

³⁶ Ha-maamin ha'gadol [Человек великой веры] // Ha-mashkif. Тель-Авив, 1941. 24 July.

³⁷ Кац Шмуэль. Одинокий волк (Жизнь Жаботинского) [В 2-х томах] Т. 2 / Пер. с англ. Р. Зерновой. Иерусалим: Изд-во «Иврус», 2000. Стр. 120.

³⁸ Stanislawski Michael. Op. cit. P. 222.

³⁹ Ibid. P. 223.

библейские темы, созданных в начале XX века и получивших вершинное воплощение в эпопее Томаса Манна «Иосиф и его братья», а если иметь в виду еврейских авторов, то в заостренно полемической трилогии Шолома Аша»⁴⁰. Не совсем понятно, как связывает автор между собой произведения этой весьма представительной группы (судя по именам Т. Манна и Ш. Аша, она имеет интернациональный характер), но мысль о том, что в случае с «Самсоном» Жаботинского мы имеем дело не с классическим историческим романом, а с литературным модерном эпохи *fin de siècle*⁴¹, представляется достаточно законной, и продуктивной.

Стр. 44. *Тимната* или Тимна (в русск. традиции: Фимнафа) — город в наделе Дана, на северо-западе Иудеи (Суд. 14:1—5).

Стр. 45. *Экрон* (Аккарон) — один из пяти филистимских городов (Нав. 13:3); был захвачен коленом Иегуды (Суд. 1:18), затем перешел к Дану (Нав. 15:11, 45—46; 19:43).

Стр. 46. *Иевуситы, гиргасец, хиввейцы, хиттиты и аморреи* — языческие племена, жившие в земле ханаанской до прихода израильтян, ср.: «Вы перешли Иордан и пришли к Иерихону. И стали воевать с вами жители Иерихона, Аморреи, и Ферезеи, и Хананеи, и Хеттеи, и Гергесеи, и Евеи, и Иевусеи; но Я предал их в руки ваши» (Нав. 24:11); некоторая их часть продолжала жить среди израильтян и далее, ср.: «И жили сыны Израилевы среди Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев» (Суд. 3:5). *Иевуситы* (иевусеи) — от Иевуса, третьего сына Ханаана (Быт. 10:16), жители или потомки жителей Иевуса, иначе Иерусалима (см.: Нав. 18:16, 28; Суд. 19:10—11), покоренного царем Давидом (II Цар. 5:6—7); *гиргасеи* (гиргашиты) — потомки одного из одиннадцати сыновей Ханаана, хамитская ветвь ханаанских народов, родственная финикийцам (см. в Матф. 8:28 упоминание страны Гергесинской на восточном берегу Иордана, что вряд ли является достоверным); *хиввейцы* (хивеи, евеи) — в Кн. Судей о хивейцах говорится, что они живут «на горе Ливане, от горы Ваал-Ермона до входа в Емаф» (3:3) (возможно, хиввейцы и завоеванные кафторами аввеи [см. прим. к стр. 60] — один и тот же народ); *хиттиты* (хеттеи) — от родоначальника Хета, сына Ханаанова; во времена Авраама обитали к югу от Хеврона, Авраам купил у них участок земли для погребения Сары (Быт. 23:3—20); *аморреи* — наиболее воинственное из всех ханаанских племен («А Я истребил пред лицом их Аморрея, которого высота была как высота кедра, который был крепок как дуб; Я истребил плод его вверху и корни его внизу», Ам. 2:9).

Стр. 47. *Филистия* — от филистимлян (*плиштим* — вторгшиеся), народа эгейского происхождения, до вторжения в Ханаан жившего в местности Кафтор (возможно, остров Крит), отсюда и название кафторы. Вторгся в Египет в восьмой год правления фараона Рамсеса III

⁴⁰ Ibid. P. 222.

⁴¹ Конец века (*франц.*).

(ок. 1190 до н.э.), но, встретив сопротивление, расселился на юго-востоке Ханаана, в городах Аскалон (Ашкелон), Асдод (Ашдод), Гат, Газа и Экрон (последний, по всей вероятности, основан ими); эти «города-побратимы» образовали нечто вроде федерации пяти княжеств.

Стр. 48. *Племя Дана* — одно из двенадцати колен Израилевых, названное именем пятого сына Иакова от Билхи (в русск. традиции: Вала), рабыни Рахили; Дан — от др.-евр.: судья. Его наделы, оказавшиеся самыми малыми из всех остальных, см.: «И вышел предел сынов Дановых мал для них» (Нав. 19:46), ср.: «В те дни не было царя у Израиля; и в те дни колено Дана искало себе надела, где бы поселиться, потому что доколе не выпало ему *полного* надела между коленами Израилевыми. И послали Дановы от племени своего пять человек мужей сильных из Цоры и Естаола, чтоб осмотреть землю и узнать ее, и сказали им: пойдите, узнайте землю» (Суд. 18:1—2). Даниты размещались к югу от реки Яркон и были ограничены с одной стороны морем, а с другой — наделами колен Эфраима, Биньямина и Иегуды. Из-за притеснений соседствовавших с ними туземцев-язычников (ср.: «И стеснили Амореи сынов Дановых с гор; ибо не давали им сходить на равнину», Суд. 1:34) они искали новые территории для поселения. С этой целью «пошли в Лаис [Лаиш], против народа спокойного и беспечного, и побили его мечем, а город сожгли огнем» (Суд. 18:27). На месте Лаиша, находившегося на севере у истоков Иордана, был отстроен новый город, названный Даном. Часть данитов переселилась туда, а часть осталась на прежнем месте.

Цора — город в наделе Иегуды, принадлежавший данитам. В этом городе родился библейский Самсон (Суд. 13:2—25) и возле него он был похоронен (Суд. 16:31).

Левит — из колена Леви, третьего сына Иакова от Лии (Быт. 29:34).

Мамре — название дубравы, где праотец Авраам поселился и сделал жертвенник Богу (Быт. 13:18). Название, по-видимому, восходит к Мамрию Амморейнину (Быт. 14:24), союзнику праотца Авраама. Здесь, у знаменитого Мамрийского дуба, произошло явление Аврааму трех ангелов (Быт. 18).

Хеврон — древнейший город на границе Иудейских гор и Иудейской пустыни; в иудаизме один из четырех священных городов (наряду с Иерусалимом, Тверией и Цфатом). В библ. традиции Хеврон отождествляется с Мамре. Хеврон находился на территории колена Иегуды, что указывает на принадлежность к нему левита (ср. с его словами: «Я [...] сродни колену Дана»). Делая Махбоная бен-Шуни уроженцем Хеврона, Жаботинский, разумеется, учитывал, что это был город левитов (Нав. 21:10—11).

Ашера — ханаанская богиня, покровительница деторождения и материнства.

Дора (Дор) — один из древнейших ханаанских городов на берегу Средиземного моря, основанных финикийцами (по Иосифу Флавия, самая южная из финикийских колоний). Был известен в древности

как место добычи моллюсков и раковин, из которых финикийцы изготовляли пурпурную краску (само название Финикия происходит от др.-греч. *foinike* — страна пурпура). Царь Дора, вступив в союз с Ассорским царем Явином против предводителя израильтян Иисуса Навина (Иеошуа бин-Нун), был разбит последним (Нав. 12:23); однако в эпоху Судей город, обложенный податью коленом Менаше, по-видимому, продолжал принадлежать туземцам (Суд. 1:27) и лишь позднее израильтяне поселились там (I Пар. 7:29).

Яффа — древнейший в мире город-порт, построенный, согласно легенде, сыном Ноя Яфетом; считается, что город основан фараоном Тутмосом III в 15 в. до н. э. После возвращения евреев в Эрец-Исраэль входил в надел Данова колена, но фактически жили в нем филистимляне.

Стр. 49. *Гезер* — ханаанский город, расположенный к северо-западу от Иерусалима (Нав. 16:3); позднее был уничтожен египетским фараоном и отдан как приданное одной из жен царя Соломона (III Цар. 9:16).

Асгот (Ашдод) — город на юге прибрежной равнины Средиземного моря; во времена, к которым относятся события романа, один из пяти главных филистимских городов.

Таиш (ивр.) — козел.

Ахтур — о параллели этого имени с Гектором, предводителем троянцев в войне с греками, см. вступительную заметку к примечаниям.

Стр. 50. *Сигон* — приморский город на юге Ливана, в древности один из центров финикийской торговли.

Мидианский караван — от Мидии (северо-запад Иранского нагорья), царства со столицей в Экбатане (6—7 вв. до н.э.), впоследствии завоеванного персами (550—549 гг. до н.э.).

Газа — ханаанский город на средиземноморском побережье, был захвачен филистимлянами и стал одним из пяти главных городов Филистии.

Стр. 52. *Израиль и Кафтор* — обобщенные имена двух народов, израильтян и филистимлян, владевших в то время Ханаанской землей (Кафтор — название острова или приморья, откуда пришли филистимляне, ср.: «И Аввеев, живших в селениях до самой Газы, кафторы, вышедшие из Кафтора, истребили и поселились на месте их», Вт. 2:23).

Дергето (Деркетто) — греческое искажение арамейского имени Астарты (см. прим. к стр. 64); Атаргата или Тарата (см. далее, в гл. VI, где она названа «Астартой побережья») почиталась в Северной Сирии, отчасти ханаанеями и финикийцами и в особенности филистимлянами, где представляла собой женскую ипостась Дагона (см. прим. к стр. 103) и, подобно ему, изображалась как полурыба.

Махбонай бен-Шуни — о семантике этого имени см. вступительную заметку к примечаниям.

Стр. 53. *Иевус* — см. выше в связи с иевуситами. Относительно Иерусалима эпохи Судей Израилевых в Библии имеется разночтение: с одной стороны, сказано, что «воевали сыны Иегуды против Иеруса-

лима, и взяли его, и поразили его мечом, и город предали огню» (Суд. 1:8), с другой — утверждается, что при разделе Ханаана между коленами Израилевыми город отошел к колену Биньямина (Суд. 1:21). В любом случае, до завоевания города царем Давидом (ок. 1000 до н. э.) здесь жили иевуситы.

Вифлеем — русифицированное название города Бейт-Лехема, расположенного вблизи Иерусалима.

Кириат(Кириаф)-*Иеарим*(Иарим), или Кириат-Ваал — город, находившийся на границе наделов Иегуды и Биньямина (Нав. 15:9; Суд. 18:12), примерно в 10 км к северо-западу от Иерусалима, где сейчас находится арабская деревня Абу-Гош. В этом городе, в доме Аминадава, в течение 20 лет находился Ковчег Завета (1 Цар. 7:1—2 и др.).

...не сеют, не жнут... — небезыроничная аллюзия на следующее место из Евангелия от Матфея: «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец наш Небесный питает их. [...] И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них...» (6:26—28).

Киккар — город под таким названием в Ветхом Завете не упоминается, хотя само это слово, обозначающее *округа, площадь*, встречается неоднократно, ср., к примеру: «И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую... [kol kikar ha-yarden]» (Быт. 13:11).

Соленое море — калька с иврита: Yam ha-melakh (melakh — соль); имеется в виду Мертвое море.

Моавийские купцы — т. е. купцы-моавитяне, жители Моавского царства, расположенного на восточном побережье Мертвого моря и в Заиорданье (возникло в конце 14 — нач. 13 в. до н. э.).

Большой каменный храм — описание Иерусалимского храма во времена, о которых идет речь в романе, — писательская фантазия и сознательный анахронизм: ни о каком храме в Иерусалиме, который вплоть до его завоевания царем Давидом оставался иевусейским городом, Библия не упоминает.

Стр. 54. *Если б стал водить я братьев...* — намек на историю о Иосифе и его братьях и египетском рабстве (Быт. 37, 39—50 и Исх. 1—15).

Стр. 55. *Назорей* (от ивр. nazir — отшельник) — человек, принявший обет воздерживаться от употребления винограда и произведенных из него продуктов (вина и пр.), не стричь волос и не прикасаться к умершим (Чис. 6:1—21). Библейский Самсон, в нарушение обета, прикасался к мертвым: «И сошел на него Дух Господень, и пошел он в Аскалон, и, убив там тридцать человек, снял с них одежды...» (Суд. 14:19). Жаботинский, идя по этому пути, еще более углубляет расхождение своего героя с библейским кодексом.

Земля Ефремова — Ефрем, второй сын Иосифа, рожденный в Египте; вместе со своим старшим братом Манассией получил право на надел в Ханаане наравне с сыновьями Иакова; Ефрем был поставлен выше Манассии (Быт. 48:8—20).

Время человеку бодрствовать и время спать — фраза построена по лексико-синтаксическому типу 3-й главы Кн. Экклесиаста, ср. также прим. к стр. 224.

Стр. 57. *Самсон* — о происхождении имени (в евр. традиции Shimshon — от ивр. shemesh — солнце), см.: *Dahood Mitchell. Ebla, Ugarit, and the Bible // Giovanni Pettinato (ed.), The Archives of Ebla: An Empire Inscribed in Clay. New York, 1981. P. 271—321.*

...служить и нашему Иегове?... — как культовый центр Земли Израиля город Дан противостоял Иерусалиму, что предполагало некоторые отличия священных обрядов.

Ацельпони — в библейском источнике мать Самсона, в отличие от его отца, Маноя, имени не имеет; в Библии это имя носит дочь Эйтана (Етана, Ефама), одного из потомков Иегуды (I Пар. 4:3), в пещере которого Самсон прятался от филистимлян (Суд. 15:8 и далее).

Стр. 59. *Семагар* — имя не библейского, а более позднего происхождения, в переводе с иврита (smadar) означает завязь, плод в самом начале образования; героиня романа сближает семадар со смарагдом («...знаешь, что значит "Семадар"? Это — зеленый бриллиант, самый редкий из драгоценных камней...», гл. XII. В чужом краю), что допустимо скорее в фонетическом, нежели в семантическом смысле.

Стр. 60. *Элипоар* — это имя, как и имя ее сестры, в Библии не встречается, в имени соединены два ивритских слова: Бог (eli) и молодость, юность (poar).

Аввеи — ханаанское племя, истребленное кафторами (филистимлянами): «И Аввев, живших в селениях до самой Газы, Кафторы, исшедшие из Кафтора, истребили, и поселились на месте их» (Втор. 2:23, ср.: Нав. 13:3).

Стр. 64. *Иголы разного роста...* — о поливалентности и амбивалентности поклонения данитов Жаботинского разным культам, а не одному Богу Израиля, как это должно было бы соответствовать Кн. Судей, см.: *Stanislawski Michael. Zionism and the Fin de Siècle: Cosmopolitanism and Nationalism from Nordau to Jabotinsky. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 2001. P. 222—223.*

Астарта — в западно-семитской мифологии богиня, олицетворявшая Венеру — со всем перечнем функций последней: богиня плотской любви, плодородия, войны, распри и сражений. В ассирово-вавилонском пантеоне ей соответствовала Иштар. Из перечисляемых Жаботинским изображений Астарты (рогатых, с голубями, голых — «но с надетой поверх рубашкой») известно ее изображение в виде голой наездницы, стреляющей из лука.

Стр. 66. *Текоа* (в русск. традиции: Фекоа) — город на границе владений колена Иегуды, между Иерусалимом и Вифлеемом; располагался на холме близ оконечности пустыни Текояской (II Пар. 20:20), уходящей к Мертвому морю.

Стр. 69. *Не называет Иегову по имени* — имя Бога, обозначаемое в Библии четверобуквием (отсюда принятое в науке название — тетраграмматон) считается запретным для прозношения и заменяется

словом Адонай или Элохим. Запрет опирается на расширительное толкование третьей заповеди («Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно», Исх. 20:7, ср.: Втор. 5:11).

Эфод (в русск. традиции: ефод) — облачение первосвященника, состоявшее из двух полотнищ, сотканных из золотых нитей, виссона и шерсти, соединенных на плече двумя нарамниками, а внизу — шнурами или лентами; в нарамники были вделаны два камня-оникса с именами 12 колен Израилевых. Простой эфод, чисто льняной, без всяких украшений, могли носить все. Во времена Судей использовался в языческом идолослужении как культовый предмет наряду с истуканами и кумирами (ср.: «И сказали те пять мужей, которые ходили осматривать землю Ланс, братьям своим: знаете ли, что в одном из домов сих есть ефод, терафим [домашние божки], истукан и литой кумир?...», Суд. 18:14). Жаботинский подразумевает под эфодом именно такого истукана, отсюда определение — «белый мраморный» (ниже он назовет его «домашним болванчиком», стр. 45); ср. также «белый мраморный эфод» в божнице Семадар (гл. XI. Элиноар за работой).

Моав — см. прим. к стр. 53. *Кафтор* — см. прим. к стр. 52; *Хет* — см. прим. к стр. 46; *Куш* — земля, упоминаемая в Библии и тождественная, в одном случае Эдему (раю), где Всевышний насадил сад и отдал Адаму для жительства (Быт. 2:8, 13), в другом — Эфиопии, которую евреи называли Куш (kushi — негр; ивр). *Мицраим* — Египет.

...*Маноя, сына Аллонова...* — типичный пример «вольной стилизации» Жаботинского: в Кн. Судей о родителе Маноя ничего не говорится; писатель воспользовался встречающимся в Библии именем начальника Симеонова колена при царе Езекии (I Пар. 4:37).

...*мужа глубокой и тихой мудрости, хранящего тайны в смиренности* — здесь обыгрывается еврейское имя отца Самсона — Маноах, что означает покойный, смиренный.

Гизри — такого имени в Библии нет, но сам его корень, который образован тремя согласными звуками g z r, весьма значим и выражает в др.-еврейском языке некое выносимое решение, приговор, продиктованный свыше промысел (слово gzara означает Божественное повеление, смысл которого непонятен человеческому разуму; возможно, поэтому левит говорит об Ацдельпони как о жене, которой предстоит служение Богу «на путях странных и непроторенных»).

Стр. 70. *Эштаол* (в русск. традиции: Ештаол, Естаол) — город в наделе Иегуды (Нав. 15:33), отданный Дану (Нав. 19:41). Между Цорой и Эштаолом родился Самсон (Суд. 13:25), там же находилось погребение его семейства, где будет погребен и он сам (Суд. 16:31).

Могин (Модиин, Модиим) — топоним, возникший в гораздо более позднее время, в эпоху Второго храма («В Модине — тогда он еще носил другое имя...», гл. XV. Во дни судей израильских). Поселение по дороге из Иерусалима в Лидду (ныне город Модиин). Здесь в 167 до н. э. началось освободительное движение Хасмонеев.

Стр. 71. *Антистроф* (др.-греч.; букв.: поворот назад) — в античной хоровой лирике — вторая строфа в паре строф, написанных одним и тем же размером, как правило, весьма сложным.

Стр. 72. *Айялон* — 1) ханаанское селение, расположенное в наделе Дана, между Иерусалимом и Экроном; над близлежащей долиной с тем же названием Иисус Навин (Иеошуа бин-Нун) остановил солнце (Нав. 10:12); 2) город в наделе Завулуна (Суд. 12:12).

Гива — имеется в виду селение Гива Вениаминова, расположенное к северу от Иерусалима. Упомянуто в Кн. Судей в связи с историей левита, над наложницей которого глумились жители этого селения, за что их жилища были сожжены (Суд. 19, 20). (Далее эта история будет упомянута в романе еще раз, см. стр. 44: наложница левита будет названа «вифлеемской блудницей», а служанка-блудница Земер из харчевни Дергето «основы своего ремесла» тоже изучала в «вениаминовой Гиве», стр. 186.) Кроме того, в Библии имеется Гива Саулова (I Цар. 10:26) — родина первого царя Израиля Саула, и Гива в наделе Иегуды (Нав. 15:57).

Сихем (в евр. традиции — Шхем, в араб. — Наблус, от римского Неаполя) — древнейший ханаанский город в горах Самарии, названный, по-видимому, по имени сына Эммора (Быт. 34:2), с которым связаны многие библейские и исторические сюжеты.

Галгал — топоним, который указывает на три разных местности: 1) первая стоянка Израиля после перехода через Иордан (Нав. 4:19), где в знак этого были поставлены 12 камней, взятых со дна Иордана (Нав. 4:20—24), и где израильтяне были обрезаны; здесь была отпразднована первая Пасха в земле ханаанской (Нав. 5:9 и дал.); 2) селение, откуда пророк Илия перед взятием его на небо пришел в Вефиль (IV Цар. 2:1) и куда вернулся Елисей, исцелив сынов пророческих, отравившихся похлебкою из дикого винограда (IV Цар. 4:38) — по всей видимости, оно и имеется в данном случае в виду; 3) город, завоеванный Иеошуа бин-Нуном (Нав. 12:23).

Силом (в евр. традиции Шило) — место, где Иеошуа бин-Нун поставил скинию и завершил разделение земель (Нав. 18:1, 19:51). Располагалось в 20 км от Сихема, на что в Кн. Судей имеется указание: «...на север от Вефиля и на восток от дороги, ведущей от Вефиля в Сихем...» (21:19).

Стр. 73. *Дан судит и рядит* — каламбур, построенный на основе обыгрывания имени Дан, что на иврите означает судья.

Стр. 74. *Иерихон* — город, расположенный в 10 км к северо-западу от Мертвого моря; самый низко расположенный (250—260 м ниже уровня моря) и самый древний город в мире (первое поселение на этом месте появилось 8 тыс. лет назад).

...с приказом от женщины, от ефремлянки... — намек на пророчичу и судьбу Израиля Дебору (в русск. традиции: Девора), которая жила под пальмою Дебориной между Рамою и Вифлеемом на горе Ефремовой. Колена Израиля угнетал в это время царь Асорский Явин, живший на севере Ханаана в Галилее. По Божественному повелению, Де-

бора призвала к себе Барака (в русск. традиции: Варака) и приказала ему идти к горе Тавор (Фавор), где обещала предать в его руки Сисару, военачальника Явинова. Барак поставил условием, чтобы Дебора сопровождала его в этой битве. Барак наголову разбил асорское войско у ручья Киссон (Кишон) (Суд. 4:7, 13). Эта победа воспета в песне Деборы и Барака (Суд. 5).

Когга у Иуды... — см. прим. к стр. 72 (Гива).

Старый Шелах... из Шаалаввима... — об именах Шелах и Иувал см. во вступ. статье; Шаалаввим (Шаалаввин, Шаалбим, Шаалвим) — город в наделе Дана (Нав. 19:42; Суд. 1:35; III Цар. 4:9), принадлежавший первоначально амореям.

Стр. 75. *Ваал* — грецизированное название библейского Баала (восходит к Балу), одно из наиболее употребительных имен западно-семитских божеств; *Астарта* — см. прим. к стр. 64; *Ашера* — см. прим. к стр. 48; *Кемош* (Хамос) — в западно-семитской мифологии верховное божество Моавского царства (упомянуто в Кн. Судей как божество аммонитян, давшее им страну); *Молох* — грецизированное название божества (Молах, Молек), которому поклонялись в Филистии, Финикии и Карфагене; бог солнца, огня и войны, которому приносились человеческие жертвы.

Моф (Ноф, или Мемфис) — город в Египте, упоминаемый в Библии (напр., Иер. 46:14); основан в 3 тыс. до н. э.

Стр. 76. *Саронская равнина* — долина в центральной части средиземноморского побережья Израиля; с севера ограничена горным хребтом Кармел, на востоке — горами Самарии, на западе — Средиземным морем, на юге — рекой Яркон (многokrратно упомянута в Библии).

Яркон — река, впадающая в Средиземное море севернее Тель-Авива, общая протяженность — 24 км (упоминается в Библии под названием Мей ха-Яркон, см.: Нав. 19:46).

Стр. 77. *Саран* — правитель, военачальник у филистимлян.

Акко — город на побережье Аккского залива в 25 км к северу от Хайфы. Упоминается в египетских источниках, относящихся примерно к 1800 г. до н. э. Хотя в эпоху Судей Акко номинально принадлежал колену Ашера (в русск. традиции: Асир), фактически он оставался портовым финикийским городом (Суд. 1:31).

Стр. 78. *Моисей* — праотец, сплотивший израильские племена в единый народ, вождь и пророк, законодатель и основоположник иудаизма.

Карни — в Кн. Судей нет образа израильтянки, которая была влюблена в Самсона и на которой он хотел жениться, как и самого имени Карни, хотя встречается слово *karni* (прилагательное от *keren* — луч; рог; ивр.); имя Карни можно перевести как лучезарная, сияющая. Значение этого имени несомненно определяется у Жаботинского подтекстом ее отказа Самсону стать его женой: «...Я не хочу проклясть себя за то, что отняла у Самсона его солнечный луч» — в ответ на его слова о филистимлянках как солнечном луче на реке.

Стр. 80. *Игуана* — рептилия из отряда ящериц.

Стр. 82. *Вельзевул* — возникшее в христианскую эпоху имя демонического существа, «князя бесов», прототипом которого явилось филистимское божество Баал-Зебуб («повелитель мух»), почитавшее в Экроне.

Стр. 83. *Ягир* (Яир) — имя нескольких персонажей Библии, в том числе Ягира из Галады, судьи Израильского (Суд. 10:3—5), см. вступительную заметку к примечаниям.

Стр. 87. *Шелах бен-Иувал* — см. прим. к стр. 74.

Хереш (Херес) — имеется в виду деревня (вблизи одноименной горы) наделе Дана, где жили аморреи, покоренные впоследствии ефремянами (Суд. 1:35).

Стр. 89. *Бет-Хорон* (в русск. традиции: Бетф-Орон, Вефорон) — фактически два города, Верхний и Нижний, названные по имени ханаанского божества подземного мира Хорона и расположенные по дороге из Гивона (город в наделе Вениамина, в 10 км к северо-западу от Иерусалима) в Айялон (Нав. 10:10—11; 16:3, 5; 18:13—14).

Нехуштан (в русск. традиции: медный змей) — Выйдя из египетского плена, израильтяне стали роптать на Бога и на Моисея, за что Всевышний наслал на народ «ядовитых змеев», умерщвлявших людей. Моисей склонил Господа к жалости и по Его указанию велел укрепить на шесте медного змея, и смотревшие на него исцелялись (Чис. 21:7 и далее). Впоследствии это изображение сохраняли как святыню, пока иудейский царь Езекия не уничтожил его (IV Цар. 18:4). Далее сам герой объясняет этимологию своего имени: «Оттого меня и прозвали Нехуштан: змейка», имея в виду гибкость и ловкость своего тела.

Стр. 94. *Амтармагаи* — такое же имя носит спасенная Самсоном девочка-филистимлянка (гл. XXXI. Среди друзей); возможно, искаженный вариант имени супруги Гектора Андромахи («Самсону когда-то рассказывали филистимские приятели, что это было имя троянской царевны», гл. XXXI. Среди друзей).

Стр. 95. *Аллон* — предок Зизы, родоначальник Симеонова колена при царе Езекии (I Пар. 4:37).

Гихон бен-Ахер — скрытая языковая игра: «ахер» на ивр. чужой, другой (так завали одного из вениаминян, I Пар. 7:12), между тем как Маной говорит о деде, что тот жил «среди своего народа»; Гихон — возможно, от восклицания *hikon* — будь готов!

Остальных я не знаю... — здесь берет начало мотив «ложной, мифифицированной истории» (см. об этом ниже).

...о явлении ангела... — мать библейского Самсона долгое время была бездетна; его рождение свершилось по Божьему вмешательству, о чем родителям возвестил ангел (Суд. 13).

Стр.100. *Луг* (Лод, Лидда) — древнейший ханаанский город, первые упоминания о котором восходят к 15 в. до н. э.; относился к наделе Вениамина (I Пар. 8:12), др.-греч. название — Диосполис.

Стр. 102. *Керэзт* — т. е. остров Крит; ученые по-разному отвечают на вопрос о керэтянах (керетянах, критянах): был ли это отдельный

народ, живший в филистимской земле, или пришельцы с острова Кафтор, т. е. такие же филистимляне.

Троя (Илион) — древний город на северо-западе Малой Азии, возникший в 4 тыс. до н. э. В эгейский период средиземноморской истории (расцвет критской культуры) Троя входила в сферу влияния Крита и критской культуры, хотя этническая принадлежность троянцев неясна.

...княжество Бергамское и столица его Троя — анахронизм рассказчика (или самого Жаботинского): Пергамское (Бергамское) царство (главный город Пергам) возникло гораздо позже разрушения Трои, в 3—2 вв. до н. э. (основано в 283 г. до н. э. греком Филетером, сыном Атталы, положившим начало династии Атталидов — 283—129 гг. до н. э.). Территориально Пергам располагался в той же северо-западной части Малой Азии, что и Троя.

Стр. 103. *...и объявили войну Трое...* — военный поход на Трою греков-ахейцев под предводительством Агамемнона описан в «Илиаде» Гомера.

...хитростью прорвался неприятель в бергамскую столицу... — имеется в виду знаменитый троянский конь — коварный дар ахейцев жителям осажденной Трои: спрятанные в деревянном коне воины перебили стражу и открыли ворота основным силам осаждающих.

Стр. 103. *Дагон* — ханаанейско-аморейско-филистимское божество; в конце 2 — начале 1 тыс. до н. э. — бог войны, филистимляне избражали его с туловищем человека и рыбьим хвостом.

Стр. 116. *Цафрив* (ивр.) — утренний ветер.

Загарур (ивр.) — световой зайчик.

Целан — от слова *tselel* (ивр.) — тень.

Лилит — от *laila* (ивр.; ночь) — в иудейской демонологии злой дух.

Сеур (ивр.) — козел.

Алука (ивр.) — пиявка.

Стр. 117. *Кацрит* — аналог русского слова коротышка, от *katsar* (ивр.) — короткий.

Агра (ивр.) — сбор, платеж; этимология имени не совсем ясна: возможно, имеется также связь с Агарью, родившей от Авраама сына Исмаила, и ее потомками агарянами.

Мерири — от *marir* (ивр.) — горький, злой.

Темалион — этимология имени неясна: возможно, восходит к Тема (Фема), одному из сыновей Исмаила (Быт. 25:15).

Ариэль (ивр.) — Божий лев. (В синодальном переводе русской Библии — название жертвенника, см.: Иез. 43:15; от ивр. *harel* — гора Божия, т. е. Иерусалим.)

Хамсин — сухой, горячий ветер пустыни.

Решеф (ивр.) — искра, молния, разрушение, гибель; в Библии имя одного из потомков Ефрема (I Пар. 7:25).

Соленое море (ивр.) — см. прим. к стр. 53.

Рагаб — от *regab* (ивр.) — ком, глыба.

Стр. 118. *Гоморра* — один из ханаанских городов, уничтоженный небесным огнем и погруженный на дно Мертвого моря за то, что его жители погрязли в разврате (Быт. 14:2-8).

Стр. 122. *Полталанта* — древняя мера веса и денежная единица, имевшая в разных странах разную ценность (так, малый аттический талант в Др. Греции содержал 26,2 кг серебра).

Гуш (ивр.) — ком, глыба, массив.

Стр. 126. ...*периззейская, гиргасейская...* — перизеи (ферезеи) — один из древних ханаанских народов (Быт. 13:7), который оказал сопротивление воинам Иеошуа бин-Нуна, но в конечном итоге был побежден (Нав. 9:1, 11:3); гиргасеи — см. прим. к стр. 46.

Стр. 127. ...*мудрость межевого знака...* — ср. мысль о размежевании в фельетоне Жаботинского «Странное явление»: «...Хорошо это или печально, но Россия должна будет пройти через полосу национального размежевания, точно так же, как проходит через нее Австрия. Придется взять эту линию и евреям, отмежеваться в обоих смыслах: политически и культурно. [...] Этим оно [еврейское общество] окажет большую услугу и себе и русским: оно им даст наконец возможность организоваться внутри себя, по-своему, без посторонних примесей, которые в таком количестве для них очевидно неприемлемы...» (*Жаботинский Вл.* Фельетоны. С.-Петербург. 1913. Стр. 160—161).

Стр. 133. ...*из смеси льна и шерсти...* — имеется в виду запрет на ношение одежды, сотканной из такой смеси (Лев. 19:19; Вт. 22:11).

...*семьдесят семь скотоводов...* — это предание не имеет, конечно, ничего общего с библейским рассказом о Каине и Авеле. В наказание за братоубийство Господь сказал Каину: «“Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. [...] Зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро”. И сделал Господь знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его» (Быт. 4:12, 4:15).

Стр. 134. *Баалат* (Баалот, Ваалоф) — область на севере земель Израилевых (III Цар. 4:16).

Стр. 135. *Приведи сюда Этана и Катана...* — этан (ивр.) — могучий, катан (ивр.) — маленький.

Стр. 137. *Валла* (Бильха) — служанка Рахили, которая, став наложницей Иакова, родила ему сыновей Дана и Нафтали (Неффалима) (Быт. 30:3, 6, 8). За прелюбодеяние с ней первенец Иакова Рувим был лишен права первородства (Быт. 49:4).

Стр. 138. ...*не строят, не пашут, не пасут...* — ср. с построенной по той же модели фразой: «не сеют, не жнут, а всех богаче» и прим. к ней (Стр. 53).

Стр. 143. *Пелег* (ивр.) — ручей, поток.

Стр. 147. ...*большая детская...* — метафора «детской комнаты» мира, времени, истории присуща художественному сознанию русской поэзии XX века, ср.: «И эта звездная доска — / Синий злодей — / Гласила с отвагою светской: / Мы в детской / Рода людей» (В. Хлебников. Синие оковы, 1922), «А я росла в узорной тишине, / В прохладной детской молодого века» (А. Ахматова. Ива, 1940).

Стр. 151. *Долина Сорек* — на юге надела Дана (Суд. 16:4).

Стр. 154. *Гаммаг* (ивр.) — вероятно, от *gammadim* (араб.) — воины, стражники (Иез. 27:11), но, возможно, и от *gamad* — карлик.

Стр. 160. *Амалекитяне* (амаликитяне) — народ, живший между Ханааном и Египтом, названный в Кн. Чисел первым из народов (Чис. 24:20), но истребленный Богом за грех противостояния израильтянам (I Цар. 30:17; I Пар. 4:43).

Стр. 162. *Эн (Эйн)-Гегу* — оазис на западном берегу Мертвого моря (дословно: козлий источник).

...*среди Этатских утесов*... — *etat* (ивр.) — нечто закрытое, непроницаемое (отсюда пещера, в которой скрывался Самсон).

Симеон (Шимон) — один из сыновей Иакова от Лии (Быт. 29:33; Исх. 1:2).

Яхин — один из сыновей Симеона, родоначальник поколения Яхинова (Чис. 26:12).

Негев — сочетание «негев — ганнав» не более чем шуточная фонетическая игра; негев на архаическом иврите означает юг.

Стр. 164. *Рехавиты* — потомки Рехавы (Рихава).

Элион (ивр.) — от слова высший, верховный.

...*без отчества*... — в библейские времена к личному имени прибавлялось слово бен (сын такого-то), например, Махбоной бен-Шуни или Иорам бен-Калев (гл. XX. Колена).

Ионадав — сын Рехавы, завещавший своим детям не пить вина, не строить домов, не сеять и не разводить виноградников, а жить в шатрах и вести кочевую жизнь (Иер. XXXV: 6—7).

Стр. 165. *Тувалкаин* — сын Ламеха от Цаллы, «кузнец всякого пархарского орудия из меди и железа» (Быт. 4:22).

Стр. 166. *Невуэль* — см. вступительную заметку к примечаниям.

Содом (Сдом) — один из двух ханаанских городов (Быт. 10:19), истребленных за грехи своих жителей; о втором городе, Гоморре, Самсон узнал из песни Семадар (см. стр. 107).

...*родителях и дедях Иакова*... — имеются в виду праотцы Ицхак и Авраам — отец и дед Иакова, которого Всевышний нарек Израилем.

Стр. 167. ...*Но чем выше росла башня*... — своеобразный вариант легенды о вавилонском столпотворении; согласно Библии (Быт. 11:4—9) Бог наказал людей, вознамерившихся достичь небесного господства, за гордыню.

Эдна — женское имя, образованное от слова *eden* (ивр.) — рай, нега, что соотносится с более поздним воспоминанием Самсона о ней: «И Эдна была тихим родником без пылинки, в чаще из Божьего хрусталия» (гл. XXIV. Третья неделя).

Стр. 170. *Гимзо* — город в наделе Иегуды, захваченный филистимлянами у царя Ахаза (II Пар. 28:18).

Стр. 171. *Нафтали* (в русск. традиции: Неффалим) — как и Дан, сын Иакова от Билхи (Валы), рабыни Рахили. Его потомки жили в северной части Эрец-Исраэль: на юго-западе их надел граничил с коленом Звулуна, на западе — с наделом Ашера (Нав. 19:32-39).

Дор — см. прим. к стр. 48.

Сигон — см. прим. к стр. 50; *Тур* (евр. название Цор, араб. — Сур) — древнейший финикийский город-порт (впервые упоминается в египетских письменах конца 19 в. до н. э.).

Стр. 172. *...пещера недалеко от Артуфа... и ту пещеру тогда называли Чертова дыра...* — Артуф — от ивр. *har* (гора) + лат. *tuf* (горная порода). И Артуф, и Чертова дыра — названия вымышленные.

Маон — город в наделе колена Иегуды (Нав. 15:55; I Цар. 25:2).

...Иорам, сын Калева... сына Мархешека... — Жаботинский стилизует родословную Иорама под библейский текст (хотя некоторые имена не библейские), где коленные звенья перечисляются от потомков к предкам.

Стр. 173. *Мерав* — от *meirav* (ивр.) — наибольшая часть, максимум.

Земер — от *zemer* (ивр.) — песня, пение.

Сион — см. вступительную заметку к примечаниям.

Гива — см. прим. к стр. 72.

Генисаретское озеро (Кинерет, Галилейское море, Тивериадское озеро) — наиболее низко расположенный пресноводный проточный водоем. Примыкающие к нему земли входили в надел колена Нафтали с городами Циддим, Цер, Хамат (Хамаф), Ракат (Ракаф) и Кинерет (Хинереф) (Нав. 19:35).

Стр. 174. *Тавриммон* — имя упомянуто в Библии: так зовут отца сирийского царя Венадада (III Цар. 15:18).

Хор ха-Шегим (ивр.) — Чертова дыра.

Ярив — в Библии упомянуты два Ярива: 1) сын Симеона, сына Иакова (I Пар. 4:24); 2) священник, вернувшийся с Эздрой в Иерусалим из Вавилонского пленения (Ездр. 10:18). Но более вероятно, что Жаботинский акцентирует внимание на семантике имени: от *uagiv* (ивр.) — противник, соперник.

...расцвел Иосиф, словно куст у ручья... — намек на библейского Иосифа: проданный братьями в рабство, он оказался в Египте, где промыслон Господним стал управителем той страны.

Стр. 176. *Сисара на Киссоне* — см. прим. к стр. 74.

...Иуда — что лев... — здесь в пародийном плане обыгрывается отождествление Иуды и Льва в предсмертном благословении Иаковом своих сыновей; ср.: «Преклонился он, лег, как лев и как львица: кто поднимет его?» (Быт. 49:9).

Стр. 178. *Бет-Шан* (Бет-Шеан) — город, расположенный у реки Иордан; упоминается в египетских источниках со времен фараона Тутмоса III (15 в. до н. э.). Город и долина вокруг него были отданы колону Иссахара, однако на его территорию распространило свои поселения колено Менаше (Нав. 17:11; Суд. 1:27). Анахронизм Жаботинского: филистимляне захватили город в годы правления царя Саула (I Цар. 31:10—12).

Ефрем и Манассия — см. прим. к стр. 55.

...разве не отец ваш Иосиф... — речь идет об Иосифе, отце Ефрема и Манассии, о его толковании снов фараона и мудрых советов (Быт. 41).

...вытащили Иосифа из ямы... — еще одна апелляция к библейскому сюжету об Иосифе: фараон освобождает его из темницы, куда он был брошен по клеветническому доносу жены Потифара (Быт. 41).

Стр. 179. *Мицпа* (Массифа, Масфа, Мицфа) — в переводе с ивр. сторожевая башня; топоним, неоднократно встречающийся в Библии; автор имеет в виду место, где Иаков и Лаван поставили камень в знак заключенного ими союза (Быт. 31:44—49); еще одно название этого тоposa — Галаад (холм свидетельства) или Рамот Галаадский (III Цар. 22:4, 20); см. далее у Жаботинского: «...До Рамота, что в Галааде за Иорданом» (гл. XXX. В яме).

Стр. 180. *Меввунай* (Мebуннай) — в Библии один из 37 отважных воинов царя Давида (II Цар. 23:27).

Нимши — имя образовано от глагола *nimsha* (ивр.): был вытянут (из воды) — пассивная форма от *masha*: вытянул (из воды); отсюда и Моше (Моисей).

Цалаф — в Библии имя отца Хануна, одного из мастеров, чинивших Иерусалимскую стену по возвращении из Вавилонского плена (Неем. 3:30); от *tsalaf* (ивр.) — стрелок, снайпер.

Азур — библейское имя; от *azur* (ивр.) — помогающий.

Стр. 181. *Лаиш* — см. прим. к стр. 48.

Ашер — восьмой сын Иакова и его потомки, поселившиеся на северо-западе Ханаана, в долине Акко, в верхней и нижней Галилее, а также в районе финикийских городов Тир и Сидон (Нав. 19:24—31).

Стр. 185. *Маим* — от *maim* (ивр.) — вода.

Мемфис — город, расположенный к юго-западу от Каира; основан в 3 тыс. до н. э., в 28—23 вв. до н. э. — столица Египта, крупный религиозный, политический и культурный центр.

Стр. 190. *Минос* — легендарный царь, которому предание приписывает авторство первого законодательства и создание могущественной морской державы; воспринимается как полуисторическое лицо, связанное с крито-микенской культурой 17—15 вв. до н. э.

Таргил — от *targil* (ивр.) — воинские упражнения, тренировка.

Стр. 192. *Анакиты* — придуманное автором племя, от *anak* (ивр.) — великан, гигант.

Баал-Салис, *Баал-Шалиш* (Ваалшалиша) — город близ Галгала (см. прим. к стр. 42), на западном склоне Ефремовой горы (IV Цар. 4:42). Оппозиция *с* и *ш* живо пробуждает библейский сюжет из Кн. Судей (12:6): галаадитяне, разбив ефремлян, выявляли уцелевших, требуя произнести слово «шибболет» (колос): ефремляне, не знавшие звука «ш», произносили «сибболет».

Стр. 194. *Синайская пустыня* — пустыня на Синайском полуострове; расположена между Средиземным морем, Суэцким и Эйлатским (Акабским) заливами, на северо-востоке граничит с пустыней Негев и Газой; в Кн. Исхода названа «дорогой земли Филистимской» (13:17).

Стр. 195. *Гивеон* — город, принадлежавший первоначально Дану (Нав. 19:44), затем отданный левитам (Нав. 21:23), но фактически населенный филистимлянами.

Стр. 196. *Вирсавия* (Беэр-Шева) — город в пустыне Негев, у южной границы Иудеи. Название происходит от семи колодцев (на ивр. *béer* — колодец, *sheva* — семь), которые были вырыты Авраамом, а затем Ицхаком.

Бет-Дагон — город, расположенный к юго-востоку от Яффы и входивший в надел колена Иегуды (Нав. 15:41).

Остров Куфри — по всей видимости, от *Cyprus* (Кипр), хотя в Библии едва ли не все острова Средиземного моря (и даже прибрежные страны средиземноморского бассейна), включая Крит (Кафтор), зачастую обозначаются Киттим (от финикийской колонии *Cyttium* на Кипре).

Бирема — судно с двумя рядами весел с обеих сторон.

Стр. 197. *Махон* — От слова *makhon* (ивр.) — основа.

Стр. 199. *Анкор* (ивр.) — воробей.

Стр. 201. *Дайени* (Дэзни) — от ивр. глагола *ladat* — знать, узнавать, постигать, знакомиться. Игра слов заключается в том, что *дазни* можно перевести и как узнай меня (прямой ответ Самсону), и в пикантно-эротическом смысле — как познай меня.

Стр. 206. *Фивы* — др.-греч. название города Уасета, расположенного на берегу Нила примерно в 480 км южнее Каира. Греки называли его так, возможно, потому, что, подобно греческим Фивам, он был знаменит своими воротами (см.: Страбон. География. 17, 46). *Мемфис* — см. прим. к стр. 75.

Стр. 207. *...ужалила змея-медянка...* — медянка не ядовита (из семейства ужей); Жаботинский скорее всего имеет в виду гадюку, сходную окраской с медянкой.

Стр. 218. *Хермеш* — от *khermesh* (ивр.) — коса.

Стр. 224. *Есть время считать...* — фраза построена по лексико-синтаксической модели изречений в Кн. Экклесиаста, см. прим. к стр. 55.

Стр. 227. *...жить будет только то...* — по наблюдению М. Вайскопфа, мысль о том, что истиной, остающейся жить в веках, является не то, что было на самом деле, а то, что оказалось записанным и сохраненным, использовал М. Булгаков в романе «Мастер и Маргарита». Ср. со словами Иешуа Га-Ноцри, обращенными к Пилату: «...Ходит, ходит один с козлиным пергаментом и неправильно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил» (гл. 2. Понтий Пилат). См. также далее: финал гл. XXVIII. Ослиная челюсть, где записанный Махбонаем и оставшийся «навечно в памяти людской» рассказ заметно отличается от того, что было на самом деле.

Стр. 228. *...посыпал бы пеллом голову...* — у древних евреев традиционный способ выражения траура или скорби.

Авраам, первый наш родоначальник... — с явной тенденциозностью перечислены «прегрешения» праотца Авраама, о которых повествует Библия: изгнание Агари с младенцем Исмаилом на руках (Быт. 21:14), жертвоприношение Ицхака (Быт. 22) и введение в заблуждение египетского фараона относительно жены Авраама Сарры, которую тот выдал за свою сестру (Быт. 12:11—20).

Герар — город в Ханаане, а не в Египте, куда, по библейскому рассказу, приходят Авраам и Сарра, которую забирает фараон (Быт. 10:19; 20:1, 2; 26:1—6).

Стр. 230. *Куст неопалимый, лестница от земли до неба* — библейские образы: терновый куст (неопалимая купина), горевший, но не стгоравший, в котором Господь явился Моисею (Исх. 3:2—8; Втор. 33:16); лестница, по которой ангелы восходили на небо и нисходили на землю (Быт. 28:10—19).

Бал-Меон (Вал-Меон, Беф-Вал-Меон) — город в земле колена Рувима (Чис. 32:38; Иез. 25:9).

Стр. 231. *Агораим* — поселение неподалеку от Хеврона, укрепленное Ровоамом (II Пар. 11:9)

Ютта — город в земле колена Иегуды (Нав. 15:55; 21:16).

Стр. 257. *Хермон* — горный массив, пик — 2814 м.

Стр. 261. *...Иди с миром, добрый человек...* — возможно, еще один след знакомства М. Булгакова с романом Жаботинского (см. об этом в прим. к стр. 260), отрефлексированный в «Мастере и Маргарите»: обращение «добрый человек» в речи Иешуа Га-Ноцри.

Стр. 262. *...серебряный кубок критской работы...* — Ср. со словами известного еврейского общественного деятеля Д. Пасманика (1869—1930), приводимыми Жаботинским в ПМД: «Есть грубая глиняная посуда, которая если и разобьется, то беда невелика, склеят черепки — и забудется трещина. Но есть старинный греческий кувшин, тонкое и изысканное произведение художника, и если в нем появится трещина — ее не заделаешь. Мы, евреи, — старинный сосуд, дорогой и редкостный, и дефект в нем невозможно исправить» (стр. 72); эротический извод той же пластической аксиологии звучит в «Самсоне на зорее» в том месте, где Бергам описывает женские достоинства своей младшей дочери, оценивая ее в целом выше старшей, хотя и признает, что «быть может, плечам ее недостает той мягкой покатоности, напоминающей изгибы лучшего кувшина критской работы» (гл. XVI. Формула). Ср. в романе Жаботинского «Пятеро» описание плеч Лики: «...Роскошные плечи... были покаты, как очертание амфоры там, гдеместилище постепенно переходит в горлышко сосуда» (гл. XXIV. Мадмуазель и синьор).

Стр. 263. *Око за око...* — см. Лев. 24:20: «Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб: как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать».

Стр. 267. *...лоб и нос представляли огню черту без перерыва...* — ср. с описанием лица Лики в романе «Пятеро»: «Лоб и нос составляли одну прямую черту...» (с. 36).

Стр. 277. *Меропах* — вавилонское божество (Иер. 50:2).

Стр. 280. *О заключительном дне...* — как пишет М. Станиславский, для финальной развязки Жаботинский избирает банальный нарративный прием: эпистолярный эпилог, в котором возникает доселе неизвестный персонаж — египетский хроникер, рассказывающий о трагической, но блистательной гибели Самсона (*Stanislawski Michael. Zionism and the Fin de Siècle: Cosmopolitanism and Nationalism from Nordau to Jabotinsky. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 2001. P. 224*). Следует, однако, заметить, что автора письма никак нельзя назвать «неизвестным»: он уже появлялся в романе и уже писал письмо из Филитии в Египет (см. главу XXI. Дом и чужбина): не случайно о нем говорится как о «не раз уже бывавшем в Филитии», а в самом письме есть отсылка к предыдущему посланию.

Демотический шрифт — разновидность египетского письма, «нардная», скорописная форма.

Стр. 281. *Тэфнахт* — египетский фараон (727—720 до н.э.).

ПЯТЕРО

В отличие от «Самсона назорейя», у романа «Пятеро» нет определенного литературного источника: автор опирается в основном на свои собственные воспоминания об одесской жизни. Тем не менее, некоторые тексты-источники играют роль композиционно образующих, как, например, историческая драма М. Метерлинка «Монна Ванна», действие которой происходит в XV веке, в осажденной флорентинцами Пизе. Предводитель вражеской армии, Принцивалле, обещает горожанам провиант и оружие, если к нему придет супруга правителя Пизы Монна Ванна. Им движет не варварская прихоть, а романтическая любовь к девочке, с которой он когда-то был знаком. Благодарная Монна Ванна готова ценою своей чести спасти город и, несмотря на бурный протест мужа, в одном плаще отправляется к шатру Принцивалле. Но влюбленный флорентинец не прикоснулся к отверженной женщине. Метерлинк создал вариант библейской Юдифи, а Жаботинский, помимо «дочерей Юдифи» (гл. VIII. Мой дворник) показал не только молодых, преимущественно еврейских, девушек, играющих, подобно Лике, с революционным огнем, но и нарисовал образ Маруси, далекой от гражданско-социальных бурь, однако наделенной подлинно героическими чертами.

Роман начинается описанием премьеры в одесском театре. В антракте галерка темпераментно обсуждает вопрос: «Мыслимая ли вещь, чтобы Принцивалле просидел с Монной Ванной, в таком наряде, целую ночь и не протянул к ней даже руки?» «— Ужас!.. [...] Я бы на месте Монны Ванны никогда этого не допустила...» — забавно возмущается Маруся (гл. I. Юность). Но вот дочитана последняя страница романа. Трагическая смерть Маруси и драматический финал семейства Мильгром придают легкомысленному прологу новый смысл. Выясняя

ется, что Маруся, «ужаснувшаяся» поведению Монны Ванны, тоже провела «безбрачную ночь» с героем-рассказчиком. И не состоявшаяся плотская близость становится пронзительно-возвышенным воспоминанием, имя которому «ласка» — слово, завершающее роман и содержащее в себе один из его самых важных эмоциональных кодов.

«Пятеро» — роман-памятник еврейской Одессе, которая была глубоко своеобразным культурно-историческим явлением⁴². Но в то же время он органично вписывается в «одесский текст» русской культуры вообще. Жаботинский действительно любил Одессу, и ни один на свете город не был ему так дорог, как этот⁴³. Кажется, с легкой руки И. Шехтмана, друга, сподвижника и биографа Жаботинского, его прозвали «шовинистом Одессы»⁴⁴. «Одесский» роман вышел в 1936 г. в парижском изд-ве «Arg» с иллюстрациями худ. Mad'a⁴⁵.

Среди политических единомышленников и сподвижников Жаботинского преобладала несколько поверхностная оценка чисто литературных достоинств романа. «Пятеро», как и «Самсон назорей», рассматривались сквозь призму сионистских ценностей, что крайне сужало собственно художественное значение произведения и обедняло эмоциональную палитру авторского многомирия. Так, преданный ученик и идейный наследник Жаботинского профессор И. Недава (1915—1988) видел в гибели Марко иллюстрацию к постулату о том, что «всякий взгляд, украдкой брошенный в сторону чужого мира, должен в конце концов привести к раздвоению личности еврея-сиониста и к утечке энергии, которая целиком необходима для осуществления идеи национального возрождения»⁴⁶. Желал того Недава или нет, но объективно за таким упрощенным пониманием художественного произведения стояла убежденность в том, что Жаботинский-писатель — как бы всего лишь служебная функция Жаботинского-политика,

⁴² См. об этом, напр.: *Ципперштейн Стивен*. Евреи Одессы: История культуры 1794—1881. Москва; Иерусалим: Гешарим, 1995 (перевод английской книги: *Zipperstein Steven J.* The Jews of Odessa: A Cultural History, 1794—1881. Stanford University Press, Stanford, 1985); *Котлер И.* Очерки по истории евреев Одессы. Иерусалим, 1996; *Полищук М.* Евреи Одессы и Новороссии: Социально-политическая история евреев Одессы и других городов Новороссии 1881—1904. Иерусалим; Москва: Гешарим — Мосты культуры, 2002, и др.

⁴³ Живя в Париже, Жаботинский, несмотря на занятость, посещал заседания одесского землячества. В парижской Тургеневской библиотеке сохранился экземпляр «Самсона назорей» с дарственной надписью, сделанной его рукой: «На память о вечере одесского землячества. В. Жаботинский. Париж. 1929». (По всей видимости, имеется в виду концерт-бал одесского землячества в пользу нуждающихся интеллигентов Одессы 23 ноября 1929 г. в Salle Victor Hugo, см. информацию в парижской газете «Последние новости». 1929. 30 ноября.)

⁴⁴ О Жаботинском в Одессе см.: *Коновалова Ольга, Шувалов Роман*. Жаботинский в Одессе // Слово. Одесса, 1995. № 42 (154). 20 октября. Стр. 6.

⁴⁵ Псевдоним родившегося в Одессе художника Михаила Александровича Дризо (1887—1953).

⁴⁶ *Недава Иосеф*. Владимир (Зеев) Жаботинский // Владимир (Зеев) Жаботинский. О железной стене. МЕТ. Минск, 2004. Стр. 13.

которому литературный жанр нужен как дополнительная трибуна для пропаганды сионистских идей. С подобным суждением не только трудно, но и невозможно согласиться.

Роман Жаботинского оставляет ощущение автобиографического и мемуарного, хотя это, конечно же, художественное произведение, и в первую очередь надо судить о нем по законам искусства. «Пятеро» построены не как «биографический роман», а как произведение, которое отражает дух времени и личность автора. Перемолотая памятью фактология касается главным образом колоритных околосюжетных маргиналий, придающих повествованию неотразимый «эффект присутствия». В романе то и дело мелькают какие-то узнаваемые микродетали, имеющие отношение к биографии автора: скажем, упоминание о «младотурках», связанное с пребыванием Жаботинского в Константинополе в 1909—1910 гг. и с его не сбывшимися надеждами на благожелательное отношение новых правителей Турции к еврейскому суверенитету Эрец-Исраэль. Или — другой пример. В гл. XIX «Потемкинская ночь» наступает кульминация одной из драматических интриг романа — отношений Маруси и Руницкого. На фоне восставшего броненосца «Потемкин» и горящих портовых складов, за которыми герой-рассказчик и компания наблюдают как за сценическим действием, Маруся решает на роковой шаг — остаться с Руницким (правда, несколько часов спустя, ее порыв иссякнет). Любовная история автором сочинена, но «потемкинский спектакль» — «пожар порта и силуэт “Потемкина” вдали», за которым Жаботинский следил «из-под старой крепости в парке», и стрельба «пачками» — все это чистая правда⁴⁷. Как правдивы (в том смысле, что не сочинены специально для романа, а взяты из его собственных одесских статей, фельетонов и очерков) многие встречающиеся в тексте положения и фразы — типа той, что вложена в уста Маруси: «Побегу переоденусь, невежливо идти в парк с кавалером в блузке, которая застегивается сзади», или характеристика знаменитой немецкой фирмы белья «Мей и Эдлх», чьи «желтоватые картонные воротнички» Жаботинский упоминает в гл. XVI. Синьор и мадмуазель.

«Пятеро» воспроизводят ту неповторимую лингвистическую атмосферу Одессы, за которой закрепилось понятие «юго-запада» и над которой, кажется, не властно деление русской литературы на эмигрантскую и метропольную. В очерке «Моя столица» писатель объяснил значение ряда одесских словечек, которыми воспользовался в романе, освободив тем самым будущего комментатора от необходимости устанавливать их точное значение. «Рыбаки на Ланжероне, — писал он, — различая разные направления и температуры ветра, называли один ветер “широкий” (итальянцы так произносят “сирокко” — через “ш”), а другой — “тармонтан”, то есть трамонтана. Особый вид баранки или бублика назывался семитатью; булка — франзолю; воб-

⁴⁷ Жаботинский вспоминает об этом в очерке «Моя столица». *Causeries* (стр. 84).

ла — таранью; кукуруза — пшенкой; дельфин — “морской свиньей”; креветки — рачками; крабы — раками, а улитка — лавриком; тяпка — секачкой; басонный мастер — шмуклером; калитка — форточкой; детей пугали не букой, а бабаем, и Петрушка или Мартын Боруля именовался Ванька Рутютю. На низах, в порту, эта самобытность чувствовалась еще гуще; словарь босячества сохранился, к счастью, в рассказах покойного его бытописателя — Кармена, но я из него мало что помню — часы назывались бимбор, а дама сердца была бароха»⁴⁸. Приведенный фрагмент можно рассматривать как авторский комментарий, поскольку многие из этих слов встречаются в романе.

Нельзя согласиться с мнением, что «за исключением, разве что, писателя Лазаря Осиповича Кармена и его старшего собрата по профессии Александра Митрофановича Федорова, которому Жаботинский был обязан началом своей журналистской карьеры», прототипов других персонажей «однозначно не проследить»⁴⁹. Это, конечно же, не так: помимо названных, могут быть установлены и другие прототипы (см. дальнейшие примечания), хотя — и в этом цитируемый автор, к сожалению, прав — далеко не все.

«Пятеро» — роман о внутренней жизни Жаботинского, и автор «проговаривается» о том, что мучило его как личность, а не как публичную фигуру. Завершая краткое вступление к мемуарной «Повести моих дней», он писал: «В частной жизни были и есть у меня друзья и враги, дорогие связи, невозполнимые потери и незабываемые воспоминания — все это ни разу не сказалось и никогда не скажется на моей публичной деятельности. И хотя на весах моей внутренней жизни эта половина перевешивает все остальные впечатления, и хотя роман моей личной жизни более глубок, многоактен и содержателен, чем роман публичной деятельности, — здесь вы не найдете его»⁵⁰.

Возникает любопытная ситуация: художественная проза, имеющая дело не с конкретными людьми, а с «типами», обнажает много такого, о чем умалчивает биографическая летопись, подразумевающая персональную исповедь. В книге мемуаров Жаботинский выступает как лицо общественное, упорно оберегающее свою частную жизнь, тогда как художественный текст стесняет его гораздо меньше и — по естественным законам искусства — срывает печать запрета с того, что сам Жаботинский называет «романом личной жизни». Поэтому очень верным по существу представляется суждение уже не раз цитировавшегося здесь М. Станиславского, который во вступительной статье к английскому изданию романа Жаботинского⁵¹ пишет: «“Пятеро”

⁴⁸ Там же. Стр. 80—81.

⁴⁹ Александров Ростислав. Если можно будет опять начать с Одессы... // Мигдаль. Одесса, 2005. № 64.

⁵⁰ ПМД. Стр. 454.

⁵¹ Перевод Майкла Каца; см. также: Кац Майкл. «Пятеро» заговярят по-английски // Мория. Одесса, 2004. № 1.

могут оказаться более адекватной мемуарной рефлексией Владимира Жаботинского на прошлое, нежели его автобиография ["Повесть моих дней"], менее подверженная тому, что оборачивалось бы самовосхвалением и идеологическим пуризмом, более будоражащая его внутренние сомнения, чувствительность человека векового порубежья и вообще личный мир в целом»⁵².

М. Осоргин, рецензируя роман Жаботинского, высоко оценивает литературную сдержанность автора и говорит о нем как о «крупном мастере повествования в духе "мудрой усмешки", не исключающей ни любви, ни негодования, но уводящей личные чувства в тень и на дальний план». Рецензия завершается оценкой несомненных литературных достоинств книги: «Очень хорошая книга. И написана... с той свободой и смелостью стиля, которые свойственны только писателям опытным, уверенным в себе, миновавшим пределы "влияний" и постигшим искусство простоты художественного разговора»⁵³.

П. Пильский, который бывал в Одессе и знал ее не понаслышке, пишет: «Этот роман воскрешает старую Одессу. Сначала это Одесса до первой революции, потом другая Одесса, пережившая горькие дни 1905 г. Я не одессит. Города у меня делятся на две группы: одни, где можно жить, в других можно только пожить. Одесса относится ко вторым. Дореволюционная Одесса мне неизвестна. Но и Одесса 1910 г. была совсем не потрясенной и не опечаленной, все той же красавицей, раскинувшей свои владения на чудесном берегу Черного моря. Вспоминаются прямые улицы, нарядные женщины, буйная зелень деревьев, цветы на всех углах и, конечно, знаменитая на весь мир мраморная лестница, ведущая к морскому берегу, замечательный городской театр, оригинальнейшее, в восточном вкусе, здание биржи, — ах, да многое вспоминается, чего нельзя забыть, как своей молодости. Эти здания, лестница, улицы, спуск к морю отражены в романе рядом иллюстраций, и тот, кто бывал в Одессе, рассматривает их как альбом былых чудес своей юности. Эти воспоминания, эти затаенные вздохи слышатся и в строках Жаботинского. Его молодость прошла в Одессе, и он ее не осуждает, не бранит, не укоряет: "что прошло, то будет мило"»⁵⁴.

«Трудно было бы передать все картинное разнообразие "Пятых" — пишет в своем отзыве на роман Г. Адамович. — Жаботинский чрезвычайно щедрый писатель, все сыплется у него "как из рога изобилия", и одной только вступительной сцены в театре, на премьере "Мюшны Ванны", достаточно было бы, чтобы оценить его живой, животрепещущий беллетристический талант. На каждой странице — замечание или наблюдение, которое хочется запомнить, острые зарисовки, верные и правдивые портреты. Одно только соображение

⁵² *Stanislavsky Michael*. Introduction // Vladimir Jabotinsky. *The Five* / Translated and annotated by Michael R. Katz. Cornell University Press, 2005. P. VIII.

⁵³ *Современные записки* (Париж). 1936. Кн. 61. Стр. 475.

⁵⁴ *Пильский Петр*. Трагическая жизнь // *Сегодня*. Рига, 1936. № 66. 6 марта. Стр. 3.

“критического” порядка: Жаботинскому писание так легко дается, что иногда он этой легкости уступает — и сбивается на фельетонный очерк. Поток слов, все слова своеобразны и уместны, все легки и талантливо — но именно в избытке их тонет то незаменимое, таинственно-нужное, безошибочно выбранное слово, которого ищет художник. [...] Давно уже было сказано, что Моцарты в наши дни не должны бы пренебрегать опытом Сальери: иначе они изменяют тому, что есть в них самого моцартовского, — и за первоначальной буйной радостью бездумного творчества забывают иногда глубокую и тихую работу вдохновения»⁵⁵.

В нескольких номерах нью-йоркской газеты «Новое русское слово» был напечатан основательный критический разбор романа, сделанный израильским публицистом Ю. Марголиным⁵⁶. Жаботинский, пишет рецензент, был одним из проектировщиков возрождения еврейства, «но когда 30 лет спустя на склоне лет он обернулся, чтобы бросить прощальный взгляд на то время, и написал повесть “Пятеро”, — та же эпоха предстала ему, в свете опыта, как эпоха распада. И не рассвет нового дня он в ней увидел, а — по справедливости — то, чем она была в действительности для русского еврейства: предвестием конца и приближением ночи». Марголин считает, что «Пятеро» стоят «особняком не только в творчестве самого Жаботинского, но и во всей русско-еврейской литературе вообще» — роман, «подводящий итоги, роман-эпилог, роман-эпитафия». Повествование, построенное Жаботинским в «форме обманчиво легкой, без пафоса, временами с лиризмом и сентиментальностью, побуждающими улыбку», на самом деле, пишет Марголин, содержит куда более драматическую историю: «Но целое — не скрою — и посейчас производит впечатление тяжелое и потрясающее».

Вдумчивый марголинский анализ, при некоторой его полемичности, не утратил своей актуальности и в наши дни.

Стр. 295. ...столицы Черноморья в акациях... — образ акации тесно связан с Одессой, см. рассказ Жаботинского «Акация»; ср. у И. Бабеля в рассказе «Одесса»: «В Одессе сладостные и томительные весенние вечера, пряный аромат акаций...» (*Бабель* I: 63).

...на первом представлении «Монны Ванны»... — историческая драма бельгийского драматурга и поэта М. Метерлинка (1862—1949) — одна из наиболее популярных пьес романтического репертуара эпохи fin de siècle. (Известны несколько переводов пьесы на русский язык: Н. Минского, Ан. Чеботаревской, Т. Богдановича, Т. Щепкиной-Куперник и др. — критика ни один из них не отметила как удачный, см.: Новый путь. 1903. № 5. Стр. 169—172.)

⁵⁵ Последние новости. Париж, 1936. № 5481. 26 марта. Стр. 2.

⁵⁶ Марголин Ю. Распад // Новое русское слово, Нью-Йорк, 1960. № 17305. 26 июля. Стр. 2; № 17306. 27 июля. Стр. 2; № 17307. 28 июля. Стр. 2.

Стр. 296. *...бытописатель босяков и порта...* — речь идет о писателе и публицисте Кармене (наст. фам. Лазарь Осипович Корнман, 1876—1920), отце советского режиссера-документалиста Р. Кармена.

Фигнер Николай Николаевич (1857—1918) — русский певец (лирико-драматический тенор), в 1895 г. получил звание солиста Его Величества. Брат Веры Николаевны Фигнер (1852—1942), участницы подготовки покушения на Александра II; в 1884 г. была приговорена к пожизненной каторге и 20 лет провела в Шлиссельбургской крепости.

...играла актриса... — речь идет об Анне Александровне Пасхаловой (наст. фам. Чегодаева; 1867—1944). В начале XX века выступала на сценах Одессы, Ростова-на-Дону, Харькова и др. Играла в пьесах Жаботинского «Кровь» (1901) и «Ладно» (1902), см. ПМД (стр. 36).

Стр. 298. *...голубые фуражки...* — студенты в России с середины 80-х гг. 19 в. носили фуражки с синим околышем. Ср. у Жаботинского: «А я уже ученик седьмого класса, еще полтора года, и я смогу надеть синюю фуражку и черную тужурку студента». ПМД (стр. 20).

Стр. 299. *...за босявку держат...* — К. Чуковский пишет, что слово «босявка» на одесском жаргоне означало не просто босяка, но оборванных, бездомных детей (Чуковский; стр. 65).

Стр. 300. *...«ну, старик, теперь готово...»* — из стих. А. Майкова «Кто он?», рассказывающем о встрече рыбака, у которого неизвестные продырявили лодку, с Петром I, в полчаса ее починившим; стихотворение было популярным у чтецов-декламаторов и часто перепечатывалось в хрестоматиях для народного чтения.

Le cadet de mes soucis — Это последнее, что меня беспокоит (фр.).

Пегель — так в России, начиная с 19 в., называли школьных (гимназических) инспекторов, надзиравших за поведением учащихся [название от Pedell (нем.) — школьный сторож].

...депонировал ранец у соседнего табачника ... — ср. в ПМД: «Порою я отправлялся поутру в гимназию — но вот улыбается солнышко, распустилась сирень... и я бросал ранец в бакалее, что была около нашего дома, и бежал в порт ловить раков на огромных камнях мола, которые называются "массивами"» (стр.18).

Tout à fait potable — вполне приемлемо, сносно (фр.).

Трамонтан (искажен. от итал. трамонтана) — холодный северный и северо-восточный ветер в Италии и Испании; см. жаргонное переименование в «тармонтан», о чем Жаботинский писал в очерке «Моя столица» (приведено во вступительной заметке к примечаниям).

...затабаньте первым... на той дубок... — от табанить — грести в обратную сторону для заднего хода или разворота лодки; дубок — самодельная лодка.

Стр. 301. *Морская свинья* — название дельфина морской свинкой зафиксировано в «Толковом словаре» В. Даля (см. вступительную заметку к примечаниям).

...везут монастырские кавуны... — определение кавунов (арбузов) как «монастырских» было общеупотребительным. Ср. в рассказе Жаботинского «Белка»: «Я сказал: "Кися, я не хочу есть, возьми

все, — кроме половины моего кавуна"... и удалился, погрузив рот и щеки в упругое, ароматное, прохладное мясо монастырского арбуза» (*Рас*; стр. 166).

Стр. 302. «*Скандибобером!*» — «Этимологический словарь русского языка» М. Фасмера под *кандибобером* понимает франта (т. 2. М.: Изд-во «Прогресс», 1967. Стр. 179).

...*Сирожка — ты куды, гобелка?... логарифмы сторчат, как облупленные!* — О покоряющей силе одесского жаргона см. в рассказе Жаботинского «Описание Швейцарии» (1911): «Откуда-то выплыли на поверхность памяти клички, которыми нас называли в гимназии, и сам собой вспомнился своеобразный язык Молдаванки и порта, на котором воспитывалось наше поколение в прежней Одессе. Прекрасный язык, сочный и звучный не только в смысле фонетики, но и в смысле богатства и смелости лексического материала. Вспомнились давно-давно забытые меткие словечки, добрую половину которых трудно воспроизвести в печати» (*Рас*; стр. 98—99).

Table manners (*англ*) — поведение за столом.

Бублик семитати... — «фирменный» одесский бублик, посыпанный кунжутным семенем; см. упоминание бублика семитати в очерке Жаботинского «Моя столица» (фрагмент приведен во вступительной заметке к примечаниям).

Стр. 303. *So siehste aus* — Вот как [ты] выглядишь (нем.).

Банабак — по наблюдению М. Соколянского, «в рассказе Бабеля "Фроим Грач" мадам Пескина обзывает своего мужа Бонабаком...»; тот же автор отмечает, что это «достаточно распространенное в Одессе» прозвище означает человека восточной внешности, кавказца (*Соколянский*; стр. 254); ср. использование этого жаргонного слова в рассказе Л. Кармена «Утопленник» (*Кармен*. Рассказы. Т. 1. Спб., 1909, стр. 172).

Сирский рахат-лукум — сирский (т. е. сирийский) рахат-лукум, восточные сладости.

...*На самой границе... двух миров — верхнего и гаванного...* — дом князя Гагарина расположен между Думской площадью и обрывом над гаванью и портом.

Стр. 304. *Ришелье* (герцог Арман Эмманюэль дю Плесси Ришелье; 1766—1822), эмигрировал в Россию во время Великой Французской революции; в 1805—1814 гг. был генерал-губернатором Новороссии, способствовал хозяйственному освоению края и развитию Одессы. В 1814 г. вернулся во Францию.

Де Рибас (Осип [Иосиф] Михайлович Дерibas; 1749—1800) — основатель Одессы; русский адмирал испанского происхождения; с 1772 г. на службе в России; участник Русско-турецкой войны 1787—1791 гг., в том числе штурма Измаила и Хаджибея.

Воронцов (светлейший князь Михаил Семенович Воронцов; 1782—1856) — новороссийский генерал-губернатор (1823—1844); в период ссылки Пушкина в Одессу (1823—1824) — один из главных преследователей поэта и мишень его эпиграмм.

...Пушкина, который там писал Онегина... — Пушкин жил на Итальянской ул. № 13 (нынешняя Пушкинская).

...к Английскому клубу... — на Думскую площадь и Пушкинскую улицу выходило одноэтажное здание Английского клуба (арх. Г.И. Торичелли, 1841 г.).

Литературка — одесское Литературно-артистическое общество (ЛАО), членом которого с 1902 г. был Жаботинский. Возникло в сентябре 1897 г. и просуществовало до 1919 г. Жаботинский упоминает данное общество в своем фельетоне «Странное явление» (1912): «Газеты одного крупного города черты оседлости, описывая тамошнюю попытку публичного чествования Коммиссаржевской, устроенную литературно-артистическим клубом, отметили, что русской публики на торжестве было мало, а зато было очень много публики еврейской» (Фел; стр. 156).

Затонувший колокол — символистская пьеса немецкого драматурга Г. Гауптмана, пользовавшаяся большой популярностью в России в начале 20 в. Ср. в ПМД: «Я застал в Одессе "Литературно-художественный клуб": раз в неделю, по четвергам, мы собирались, чтобы обсудить новую книгу или пьесу, которую ставил в те дни городской театр, но во всех речах и докладах звучали намеки на "освобождение", и в спорах по поводу "Потонувшего колокола" Гауптмана сталкивались (каким образом — не знаю) принципы Маркса и "Народной воли"» (Стр. 33).

...*вплоть до Мальвы*... — речь идет о героине рассказа М. Горького «Мальва» (1897), относящегося к циклу «рассказов о босяках». См. в очерке Жаботинского «Моя столица»: «Украина дала нам матросов на дубки, и каменщиков, и — главное — ту соль земную, тех столпов отчизны, тех истинных зодчих Одессы и всего юга, чьих эпигонов, даже в наши дни, волжанин Горький пришел искать — и нашел настоящего полновесного человека [...] я имею в виду босяков» (*Causeries* Стр. 77—78).

Легальные марксисты — представители политического движения, возникшего в 90-е гг. 19 в.; критиковали народничество, выступали за демократические свободы, в дальнейшем слились с кадетской партией. *Народники* — участники движения разночинной интеллигенции (1861—1895), склонного к крестьянско-социалистической идеализации и утопии. *Кагеты* — конституционно-демократическая партия, возникшая в результате революции 1905 г.; отстаивала принципы парламентской республики.

«*Кифа Мокиевич в стихах*» — сатирически сниженный образ по имени одного из двух инверсированных персонажей поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души»: Кифы Мокиевича и Мокия Кифовича (гл. 11).

Стр. 305. ...*дома у себя все мы... жили врозь*... — Ср. в ПМД: «Ни со стороны наших учителей, ни со стороны наших однокашников, мы, еврейские ученики, не испытывали гонения, и, что своего страннее, несмотря на это, мы всегда держались особняком от своих христианских товарищей» (стр. 16).

Стр. 306. *...знал вашего покойного отца...* — об отце автора-рассказчика, Ионе (Евгении) Жаботинском, см. ПМД (стр. 9—11), а также прим. к стр. 399.

Стр. 307. *Демид-вьерж* (*demi-vierge*) — полудева (фр.); о юной, но развращенной девушке («Полудевы» — так, между прочим, назывался популярной в то время роман французского писателя Марселя Прево (1862—1941), откуда Маруся, скорее всего, и заимствовала это выражение).

...где эта граница... — мотив эротической «границы», до которой «можно» и за которой начинается «нельзя», звучит и в пьесе Жаботинского «Чужбина» (1910): одна из героинь лукаво озвучивает принцип, который Жаботинский, по всей видимости, мыслит и как основной Марусин: «Изученье тут несложно: / У меня мои друзья / Знают все, что только можно... / До границы, где нельзя» (*Жаботинский* Вл. Чужбина. Иерусалим: Гешарим; Москва: Мосты культуры, 2000. Стр. 28.)

...я и по виду сказал бы, что хлебник... — зерновую торговлю в Одессе и Одесской губернии держали по преимуществу евреи.

Бёрне (Людвиг; 1786—1837) — немецкий писатель, публицист; *Шамиссо* (Адельберт фон; 1781—1838) — немецкий писатель, ученый-натуралист; *Ленау* (наст. имя Николаус Франц Нимбш фон Штреленау; 1802—1850) — австрийский поэт.

Стр. 309. *...«всякий, кому угодно, да придет и ест»...* — одна из традиционных формул пасхального седера: глава семейства, приподнятая тарелку с мацой, провозглашает: «Вот скудный хлеб, который ели отцы наши в земле египетской. Каждый, кто голоден, пусть придет и ест. Каждый, кто нуждается, пусть придет и участвует в пасхальной трапезе. В этом году — здесь, в будущем году — на земле Израила. В этом году — рабы, в будущем году — свободные люди».

...«а гост? мит-н коп ин ванг!» (идиш) — «гость? [прими его — и хоть] головой об стенку!»

Белоподкладочники — прозвище состоятельных студентов, носивших форменную одежду на белой подкладке, в то время как основная студенческая масса довольствовалась тужурками на серой подкладке.

Стр. 310. *Бергамот* — сорт духов, изготовленных из бергамота (разновидность цитрусовых).

...выходцы из Пинского болота... — ср. тот же образ в пьесе Жаботинского «Чужбина»: один из персонажей говорит о тех же выходцах («мотыльках») «из Пинского болота» (*Чуж*; стр. 19); см. повторение этого выражения Ториком (гл. XXVIII. Начало Торика).

...ты взвешен, взвешен... — травестийный парафраз библейского пророчества: «мене, текед, упарсин» (Дан. 5: 25—28) — «исчислен, взвешен, разделен».

Стр. 311. *...один из них...* — Л.О. Кармен, см. о нем прим. к стр. 296.

«Фисташки» — деньги, см. использование того же жаргонного слова в речи одного из персонажей пьесы «Чужбина» (*Чуж*; стр. 96).

Кофейня Амбарзаки — кофейня-кондитерская К.Ф. Амбарзаки открылась в 1873 г. и находилась на Греческой улице.

«Единственный и его собственность» — книга немецкого философа Макса Штирнера (наст. имя Иоганн Каспар Шмидт; 1806—1856), который считается одним из предшественников Ницше, а эта его книга — классическим трудом по исследованию индивидуалистического и анархического сознания, см. работу В. Саводника «Ницшеанец 1840-х годов. Макс Штирнер и его философия эгоизма» (М., 1902), которая, возможно, была известна Жаботинскому.

Шпильгаген (Фридрих; 1829—1911) — немецкий писатель; его романы были популярны в России в народнической среде.

Стр. 312. *«Нива»* — еженедельный иллюстрированный литературно-художественный и научно-популярный журнал, один из самых массовых журналов в России; издавался в Петербурге (1870—1918).

Bien-être (фр.) — блаженное состояние.

О мотиве «границы» см. прим. к стр. 307.

Стр. 313. *Энрико Ферри* (1856—1929) — итальянский криминалист, последователь Ч. Ломброзо. Будучи студентом Римского университета, Жаботинский слушал его лекции. Ср. «В университете моими учителями были Антонио Лабриола и Энрико Ферри, и веру в справедливость социалистического строя, которую они вселили в мое сердце, я сохранил как "нечто само собой разумеющееся", пока она не разрушилась до основания при взгляде на красный эксперимент в России» (ПМД; стр. 25).

Нозми (в русск. традиции: Ноеминь) — жена Элимелеха, свекровь моавитянки Рут (Руфь), см. Кн. Руфь (гл. 1).

Стр. 315. *Шменгрик* — герой одноименной оперетты основателя идишского театра, драматурга и поэта А. Гольдфадена (1840—1908), недотепистый, беспомощный, шагу не умеющий ступить без своей мамочки; слово приобрело в идише нарицательный характер.

Хаджибейский лиман — залив к северо-востоку от Одессы, отгороженный от моря песчано-ракушечной пересыпью шириной 4,5 км.

Данилевский (Григорий Петрович; 1829—1890), — автор исторических романов «Мирович», «Княжна Тараканова», «Сожженная Москва» и др. В романе «Девятый вал» критически изображены монастырские нравы.

...какая-нибудь Шарлотта застрелит в бане... — фраза, пародирующая и искажающая исторические реалии: французская дворянка Шарлотта Корде д'Армон, попавшая под влияние жирондистов, заколола в ванне одного из лидеров Великой Французской революции Жана-Поля Марата (1743-1893). Перу Жаботинского принадлежит поэма «Бедная Шарлотта» (1904), проникнутая сочувствием к убийце.

Стр. 316. *Улька, сандомирка* — сорта зерна.

Дарганеллы — пролив, соединяющий Эгейское море с Мраморным, а вместе с проливом Босфор — и с Черным. По международному договору 1841 г. открытие пролива для иностранных судов зависело от желания султана Абдул-Хамида II (1842—1918).

Франц-Иосиф (1830—1916) — император Австрии и король Венгрии (с 1848 г.) из династии Габсбургов; в 1867 г. создал двуединую Австро-Венгерскую империю.

Императрица Мария Федоровна (1847—1928) — урожденная принцесса Мария-София-Фредерика-Дагмара Датская, жена Александра III и мать Николая II.

Комб (Эмиль; 1835—1921) — премьер-министр Франции с 1902 по 1905 г.

Севастопольская кампания — имеется в виду оборона Севастополя во время Крымской войны (1853—1856). Русские войска под командованием вице-адмирала В.А. Корнилова и вице-адмирала П.С. Нахимова в течение 349 дней обороняли город от объединенных сил Франции, Великобритании и Турции.

Линкольн (Авраам; 1809—1865) — 16-й президент США (1861—1865), один из организаторов Республиканской партии.

Парижская коммуна — рабочее правительство, пришедшее к власти в результате восстания в Париже (18 марта — 28 мая 1871 г.).

Скобелев (Михаил Дмитриевич; 1843—1882) — генерал от инфантерии; участвовал в завоевании Средней Азии; герой Русско-турецкой войны (1877—1878), во время которой командовал отрядом под Плевной, затем дивизией в сражении при Шипке.

Желябов (Андрей Иванович; 1851—1881) — революционер-народник, организатор покушения на Александра II (1 марта 1881). На судебном процессе произнес программную речь. Казнен.

Буланже (Жорж; 1837—1891) — французский генерал, в 1886—1887 гг. военный министр.

«Задушевное Слово», *«Родник»* — журналы для юношества, издававшиеся в Петербурге (первый в 1877—1918, второй в 1882—1917 гг.).

«Вокруг Света» — естественно-научный журнал, основан в 1861 г.

«Мир Божий» — ежемесячный литературный, политический и научно-популярный журнал; выходил в Петербурге с 1892 до 1906 г.

«История Греца» — «История евреев с древнейших веков до настоящего времени» (тт. 1—11, 1853—1875), написанная немецким ученым *Генрихом Грецом* (1817—1891); полный перевод на русский язык осуществлен в 1904—1907 гг. В комнате Торика имелаь, по-видимому, книга «Популярная история евреев», сокращенный вариант этого труда (1888—91).

Словарь Макарова — имеется в виду французско-русский словарь Н.П. Макарова.

Стр. 317. *Лассаль* (Фердинанд; 1825—1864) — немецкий политический деятель, экономист и философ-социалист, организатор Всеобщего германского рабочего союза.

Средний Фонтан — для обеспечения Одессы пресной водой в окрестностях города рыли глубокие колодцы, получившие название Большого, Среднего и Малого фонтанов. Со временем так же стали называть и прилегающие к ним окрестности города.

Феб — второе имя Аполлона.

Стр. 318. ...известный в те годы поэт, граматург и беллетрист... — речь идет об Александре Митрофановиче Федорове (1868—1949), с легкой руки которого Жаботинский начал служить в газете «Одесские новости» (ПМД; стр. 19—20).

Стр. 319. *Капитолийская Венера* — статуя *Venus Pudica* («целомудренная Венера»), находящаяся в Капитолийском музее (Рим), является римской копией работы выдающегося греческого скульптора Праксителя (4 в. до н.э.) «Афродита Книдская».

Стр. 320. *От ликующих, праздно болтающих, уведи меня в стан погибающих* — реминисценция из поэмы Н. Некрасова «Рыцарь на час»: «От ликующих, праздно болтающих, / Обагряющих руки в крови, / Уведи меня в стан погибающих / За великое дело любви!»

...*посмотрит — рублем подарит* — из поэмы Н. Некрасова «Мороз, Красный нос» — о русских женщинах: «Их разве слепой не заметит, / А зрячий о них говорит: / "Пройдет — словно солнце осветит! / Посмотрит — рублем подарит!"»

Стр. 324. *Sui generis* (лат.) — своего рода, своеобразный, специфический.

Стр. 326. «*Gaudeamus*» («Возрадуемся») — старинная студенческая песня на латинском языке.

Мравал гжамизр — грузинская торжественно-величальная застольная песня, название которой можно перевести как «Многая лета».

Царица Тамара (Тамар; ок. сер. 60-х гг. 12 в. — 1207) — царица Грузии с 1184 до 1207 г.

Руставели (Шота) — грузинский поэт 12 в., был государственным казначеем царицы Тамары, которой посвятил поэму «Витязь в тигровой шкуре».

...«*бежали робкие грузины*» — слова из поэмы М. Лермонтова «Демон»: «И дикий крик, и стон глухой / Промчались в глубине долины — / Немного продолжался бой: / Бежали робкие грузины!»

Картвелы, имеритины, сванеты (сваны), *лазы* — народности внутри грузинского этноса.

Могу ак — иди сюда (груз.).

Стр. 330. ...*выговаривал мне приятель...* — речь идет о Всеволоде Владимировиче Лебединцеве (Лебединцеве; 1881—1908), талантливом астрономе, сыне председателя Одесской судебной палаты, блестяще знавшем итальянский язык. Руководил боевым отрядом эсеров и должен был совершить теракт, который провалился в результате деятельности Азефа (см. прим к стр. 157), выдавшего заговорщиков полиции. Лебединцев был казнен под Петербургом, на Лисьем Носу. См. воспоминания Жаботинского о Лебединцеве в ПМД (стр. 16, 33—34, 44) и рассказ «Всева» (*Рас*; стр. 197—210).

...*дочери библейской Юдифи...* — Юдифь (в русск. традиции: Иудифь), героиня ветхозаветной Кн. Иудифи, которая убила предводителя вавилонского войска Олоферна и тем самым спасла свой народ: потеряв полководца, захватчики покинули Иудею.

«Бегут»: меткое слово... — в пьесе Жаботинского «Чужбина», где выведена одна из таких «дочерей Юдифи», хозяину фабрики, Менделю, принадлежит реплика: «Сейчас. "Я бегу", — как говорит наша сердитая жиличка. Она-таки вечно бежит — такая привычка. Куда она топчется? Чего она хлопочет?» (Чуж; стр. 82).

«Возчик Геншель» — пьеса Г. Гауптмана.

Стр. 331. ...*гаровой уголь*... — ср. в письме К. Чуковского Р. Марголиной в Израиль от 12 сентября 1965 г.: «Помню, как он [Жаботинский], вместе с моей невестой и многими другими друзьями, принимал живое участие в раздаче угля (перед Пасхой) беднейшим евреям, жившим под землей в катакомбах. Никогда я не видал такой страшной бедности. С ним спускались в эти мрачные подземелья Гинзбург, Кармен и я; мы раздавали беднейшим какие-то "квитки" для получения угля, и Владимир Евгеньевич нередко присовокуплял к этим квиткам свои деньги» (Рахель Павловна Марголина и ее переписка с Корнеем Ивановичем Чуковским. Иерусалим, 1978. Стр. 21).

Стр. 335. ...*доброй эпохи Новосельского*... — Н.А. Новосельский был городским головой Одессы в 60—70 гг. 19 в.

Джиральдони (Эугенио; 1871—1924) — итальянский певец, многократно гастролировавший в России, в том числе в Одессе.

...и в ятях был *нетверг*... — буква «ять» существовала в русском алфавите до орфографической реформы 1917—1918 гг. и обозначала особый звук, позднее совпавший с «е».

Саммарко (Марио) — итальянский оперный баритон; неоднократно гастролировал в Одессе.

Джинрикса — легкая коляска, в которую впрягается человек (рикса).

Хрестоматия Галахова — Алексей Дмитриевич Галахов (1807—1892), историк русской литературы, литературный критик, член-корреспондент АН, автор и составитель хрестоматий и педагогических пособий по истории литературы, широко популярных во второй половине 19 века.

Стр. 336. *Бушмены* — южноафриканское племя; в данном случае — нарицательное обозначение дикости; см. рассуждения Жаботинского о столкновении бушмена с белым человеком в фельетоне «Обмен комплиментами» (Фел; стр. 126—127).

Стр. 337. ...*угол Ришельевской*... — место в начале Ришельевской улицы, облюбованное городскими менялами, которые собирались возле Одесского отделения банка «Лионский кредит».

Стр. 338. «*сюдою*» — см. рассуждения Жаботинского по поводу этой грамматической формы в очерке «Моя столица»: «Очень удобный, убористый оборот. Вопрос ведь далеко не всегда в том, куда я направляюсь — туда или сюда: в жизни часто гораздо важнее, кудую легче в то место пробраться — тудую или, напротив, сюдою? Ведь это проще и короче, чем по-русски "той дорогой"...» (Causeries; стр. 81).

Стр. 339. ...*по ста девяносто восьми гранитным ступеням знаменитой лестницы*... — речь идет о так называемой «Потемкинской

лестнице». Сооруженная в 1837—1841 гг. (арх. Ф.К. Боффо), она была задумана как своего рода «парадный вход» из порта в город. В июньские дни 1905 г. на ней расстреляли около двух тысяч человек, вышедших приветствовать восстание на броненосце «Потемкин» (отсюда — название «Потемкинская»).

Статуя Дюка — памятник генерал-губернатору Новороссии герцогу (Дюку) Ришелье (скульптор И.П. Мартос).

Дом Вагнера — дом, расположенный на углу Дерибасовской и Екатерининской улиц (назван по имени владельца).

Ганимед, Геба — персонажи др.-греч. мифологии: Ганимед — сын троянского царя Троса и нимфы Каллирои; за свою необычайную красоту был похищен Зевсом, превратившимся в орла, и перенесен на Олимп, где выполнял обязанности виночерпия; Геба — богиня юности, дочь Зевса и Геры (на пирах богов также выполняла обязанности виночерпия).

Стр. 340. *Хажжибей* — турецкий поселок с греческим и татарским населением, находившийся на территории бывшей Османской империи. В 1765 г. неподалеку от него турки выстроили крепость Ени-Дунья, которая в 1789 г. была захвачена русскими войсками во главе с Хосе де Рибасом. На этом месте был основан город Одесса (1794).

...только что произошла «демонстрация» — в ПМД Жаботинский описывает, как он оказался в Одесской тюрьме, половину обитателей которой составляли участники демонстрации «с красным флагом на Дерибасовской» (стр. 41).

...в родительном падеже — употребление родительного падежа вместо винительного — характерная грамматическая ошибка евреев, говоривших по-русски; использовалось как средство речевого образа персонажа-еврея.

...смертным боем бьют... — упоминание о жестоком избиении демонстрантов в полицейской части находим также в ПМД; каждый из арестантов имел свою кличку — один из них, «Гарибальди», столяр с Молдаванки, нес знамя и был смертельно избит во дворе полиции...» (стр. 41).

Стр. 342. *...у Янчина в учебнике написано...* — имеется в виду учебник географии И. Янчина.

Et me voilà (фр.) — и вот я.

Стр. 345. *...при моряке-градоначальнике Зеленом...* — Павел Алексеевич Зеленой (1833—1909), служил на описанном И. Гончаровым фрегате «Паллада». В 1882 г. был назначен таганрогским градоначальником, а оттуда переведен на аналогичную должность в Одессе.

Рудольф Фальб (1838—1903) — австро-немецкий ученый (астроном, геолог и др.). Выдвинул гипотезу «критических дней», когда соединенное притяжение Солнца и Луны влиет на жидкое ядро земного шара, вызывая вулканические извержения и землетрясения (предсказал извержение Этны в 1874 г.).

Стр. 346. *«Я тверда, не боюсь ни ножа, ни огня»* — строка из поэмы Пушкина «Цыганы».

Стр. 347. ...*тайное совещание об устройстве самообороны* — об организации одесской самообороны см. в *ПМД* (гл. Кишинев).

Стр. 348. *Зубатов* (Сергей Васильевич; 1864—1917), — жандармский полковник, начальник Московского охранного отделения (с 1896) и Особого отдела департамента полиции (1902—1903). Один из создателей системы полицейского сыска и инициатор политики «полицейского социализма», сводившейся к насаждению легальных рабочих организаций под контролем полиции. Его «уполномоченный» в Одессе Генрих Шаевич — реальное историческое лицо, Жаботинский рассказывает о нем в *ПМД* (стр. 46—47).

Стр. 350. *Банабак* — об амбивалентной роли таких, как Банабак, налетчиков и одновременно участников еврейской самообороны, см.: *Соколянский* (стр. 254—255).

Халястра — слово пришло в идиш из славянских языков: в чешском, польском, украинском означает чернь, сброд, гольтьба, пестрая ватага подростков (у ученых нет определенного мнения о его этимологии); на идише — ватага, шайка. В *ПМД*, вспоминая свое участие в издании петербургского журнала «Еврейская жизнь», Жаботинский пишет, что их редакторскую группу называли «шайкой», «используя для этого польское слово "halastra"…» (стр. 58).

Стр. 351. ...*произошел он* [погром] *в этот раз не в Одессе* — ср. в *ПМД* (стр. 47): «Пришла наша Пасха, пришла христианская Пасха, а с ней и погром, — но не у нас в Одессе, а в Кишиневе». О психологическом состоянии евреев, ожидавших одесского погрома, см. в речи Жаботинского к учителям «О национальном воспитании» в *Фел* (стр. 12—13).

Стр. 354. *Überbrettl* — речь идет об артистическом кабаре «Юбербретль» (что можно перевести как «сверхкабре»), открытом в 1899 г. в Берлине литературным и художественным критиком Эрнстом фон Вользогеном (1855—1934). Название переключается с ницшеанским *Übermensch* (нем.: сверхчеловек).

Бодуэн — по всей видимости, имеется в виду Бодуэн Эдесский, король Иерусалимский, правивший в 1100—1118 г.

Стр. 355. *Лукания* (Лукония) — фантастическая страна, описанная в «Истинных историях» Лукиана. Упоминается в романе И. Гончарова «Фрегат "Палада"».

Румяный, трожды рыгнув... — строка из сатиры Антиоха Кантемира (1708—1744) «К уму своему». Жаботинский называет сатиру по первой строке произведения: «Уме незозрелый...».

Стр. 360. ...*Лонгинус Подбипента* — герой романа Г. Сенкевича (1846—1916) «Огнем и мечом» Лонгинус Подбипента, который мечтает одним ударом срубить три головы врага, и в одном из боев с турками ему это удастся.

Герба Зерви-каптур (польск.) — трава Сорви-капюшон.

Антей — в др.-греч. мифологии сын Посейдона и богини земли Геи, великан; был неуязвимым до тех пор, пока прикасался к матери-земле.

Стр. 363. *Sans rancune* (фр.) — забудем прошлое, помиримся.

Стр. 366. *Jongleur de Notre Dame* — имеется в виду новелла А. Франса «Жонглер Богоматери», по сюжету которой взятый в монастырь иноком жонглер возносит молитву посредством того, что умеет делать лучше всего: стоя на голове, жонглирует шарами и ножами. Монахи сочли, что имеют дело с сумасшедшим, но Пресвятая Дева снизошла к молящемуся и полой своей одежды отерла пот с его лба, утверждая этим примат чистоты намерений над величественной, но абстрактной схоластикой.

Стр. 367. *...суг наг Фриной...* — др.-греч. гетера Фрина, натурщица знаменитых художников Праксителя и Апеллеса, раздражала афинянок своей телесной красотой, и ее обвинили в развращении выдающихся граждан республики. Адвокат Гиперид помог ей получить оправдательный приговор, сдернув со своей подзащитной покрывало и обнажив совершенное тело, которое, по мнению судей, не могло заключать несовершенноую душу.

Il più bel torso a piazza di Spagna (итал.) — самое красивое тело на площади Испании.

Стр. 369. *Монтечиторио* — дворец-резиденция итальянского парламента.

«*Карманьола*» — популярная песня времен Великой Французской революции (от названия итальянского города Карманьола, где жила трудовая беднота); «*Боже, царя храни*» — гимн Российской Империи в 1833—1917 гг. (музыка А.Ф. Львова, слова В.А. Жуковского).

Стр. 370. *Ферри* — см. прим. к стр. 313.

М.-М. — имеется в виду сотрудник «Нового времени» и одновременно заграничный агент Департамента полиции Иван Федорович Манасевич-Мануйлов (1869—1918), внебрачный ребенок П.Л. Мещерского и еврейки Х. Мавшон, который был усыновлен крещеным купцом-евреем Ф.С. Манасевичем-Мануйловым и крещен в лютеранство. С 1905 г. руководил отделом контршпионажа при Департаменте полиции, откуда был уволен за недостоверные сведения и денежные махинации. Расстрелян большевиками.

Стр. 371. *Сеньобос* (Шарль; 1854—1942) — французский историк, профессор Сорбонны; *Железнов* (Иосаф Игнатьевич; 1824—1863) — прозаик, публицист, фольклорист; «*Северный Вестник*» — ежемесячный литературно-научный и политический журнал либерально-народнического направления (1885—1898 гг.), с 1891 г. стал органом символистов; «*Цветы зла*» — книга стихов Ш. Бодлера.

...после эсдекского раскола... — речь идет о расколе российских социал-демократов на большевиков и меньшевиков, произошедшем на II съезде РСДРП (1903 г.).

Стр. 372. *Пшют* — фат, хлыщ.

Стр. 102. *Младотурки* (турецк.: «йени османлар») — члены основанной в 1889 г. организации «Единение и прогресс», которая вела борьбу против деспотии султана и феодальных отношений в Османской империи. В результате революции 1908 г. младотурки пришли

к власти, но это не привело к прогрессивным переменам. После поражения Турции в первой мировой войне организация самоликвидировалась.

Стр. 373. ...*свидание с неукротимой Катариной*... — намек на комедию Шекспира «Укрощение строптивой».

Арника — род многолетних травянистых растений, используемых в медицине.

...*с глазду съехала* — сошла с ума, спятила.

Стр. 375. *Menschliches allzumenschliches* (нем.) — человеческое, слишком человеческое; иронически обыгрывается название книги Ф. Ницше (1878).

Стр. 376. ...*заседания религиозно-философского общества* — имеются в виду петербургские Религиозно-философские собрания (осень 1901 — весна 1903 г.), проводившиеся по инициативе Д.С. Мережковского и З.Н. Гиппиус (среди поддержавших эту идею были также А.Н. Бенуа, В.С. Мировлюбов, В.В. Розанов, В.А. Тернавцев, Д.В. Философов) и предшествовавшие возникновению Религиозно-философского общества, первое заседание которого состоялось 3 октября 1907 г.

Ставропигия (др.-греч.; букв.: водружение креста) — монастырь, независимый от местной епархиальной власти и подчинённый непосредственно патриарху или синоду. *Автокефалия* (др.-греч. — самоуправление, независимость) — автокефалийными называются административно самостоятельные православные церкви во главе с патриархом. *Католикос* — титул патриархов армянской и грузинской православных церквей. *Мхитаристы* — конгрегация армянских церковников, основанная в 1701 г. монахом Мхитаром Себастици (с 1717 г. располагается неподалеку от Венеции на острове Сан-Лазаро; позднее часть мхитаристов обосновалась в Вене).

Шехина — в иудаизме одно из имен одновременно трансцендентного и вездесущего Бога, выражающее идею его присутствия в мире.

Идея триединности (Святой Троицы) — основные течения христианства провозглашают триединство Бога, единого в трех лицах — Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой.

Стр. 377. *Безобразов* (Александр Михайлович) — статс-секретарь, сторонник агрессивной политики на Дальнем Востоке; *Абаза* (Алексей Михайлович) — двоюродный брат А.М. Безобразова, контр-адмирал, в 1903—1905 гг. управляющий делами Особого комитета Дальнего Востока.

Стр. 378. ...*за пирожками у Филиппова* — булочные (кондитерские магазины) Филиппова в Петербурге и Москве упоминаются в произведениях многих русских писателей, а также в эмигрантской литературе, где филипповские пирожки и калачи сделались деталью ностальгии по прошлому.

...*большого столичного литератора* — речь идет об Акиме Львовиче Вольнском (наст. имя Хаим Лейбович Флексер; 1861—1926), литературном и балетном критике, историке и теоретике искусства (о Вольнском у Жаботинского см. в статье Е. Толстой «Аким Вольн-

ский в литературных зеркалах» в кн.: *Толстая Елена*. Мир после конца: Работы о русской литературе XX века. М.: РГГУ, 2002, стр. 65—67).

...о русских романистах и итальянских художниках... — имеются в виду книги А. Вольтского «Н.С. Лесков», «Ф.М. Достоевский», «Леонардо да Винчи» и др.

«мертвая крышка между сознанием и бесконечностью» — неточная цитата из «Книги великого гнева» А. Вольтского, посвященной роману Достоевского «Бесы» (в нее вошли лекции 1902—1903 гг.); рассуждая о черных волосах Ставрогина, Вольтский пишет: «...Лицо Ставрогина выступает как бы в темной раме, между ним и небом намечена темная преграда» (*Вольтский А. Ф.М. Достоевский*. СПб., 1906. Стр. 341).

...«Ширшая небес»... — имеется в виду икона Богородицы с воздетыми к небу руками — иконографическая традиция, характерная для живописи Византии и Древней Руси IX—XIII вв. и получившая название *Oranta* (от лат. молящийся); на Руси икона называлась «Знамение» или «Ширшая небес». *Панагия* (др.-греч. пресвятая; эпитет Божьей Матери) — небольшое изображение Богородицы, носимое архиереем на груди поверх облачения; в данном случае речь, возможно, идет о константинопольской иконе Покрова Богородицы, пропавшей в эпоху крестовых войн.

Quand tête (фр.) — вопреки всему.

Стр. 379. *Кольбер* (Жан Батист; 1619—1683) — французский государственный деятель, министр финансов при Людовике XIV.

...не хочу всех парламентов мира за развороченный живот одного ярославского мужика... — аллюзия на монолог Ивана Карамазова, который говорил, что высшая мировая гармония не стоит слезинки одного замученного ребенка (Ф. Достоевский, «Братья Карамазовы», ч. II, гл. 4. «Бунт»).

Стр. 380. *Шинтоизм* (синтоизм) — традиционная религия японцев, сложившаяся в VI—VII вв. на базе родоплеменных анимистических культов и шаманства. После периода соперничества с буддизмом обе религии пришли к мирному сосуществованию; половина жителей страны исповедуют и ту, и другую религию одновременно.

...«даю отскок на три франзоли» — одесский жаргон: франзоль (францоль, франсоль) — «французская булка», в данном случае реплика означает нечто вроде: «Я немедленно удаляюсь (от пристающих мужчин)».

Стр. 381. *Фребеличка* — слушательница курсов, готовивших воспитательниц для семей и детских садов по методу немецкого педагога Фридриха Фребеля. *Бестужевские курсы* — неофициальное название Петербургских высших женских курсов (по имени учредителя и директора проф. К.Н. Бестужева-Рюмина), первое в России высшее учебное заведение для женщин.

Горобчик — воробышек (от укр. горобец — воробей).

Шлимазель (идиш) — неудачник, недотепа.

...в театре я... слышала: двадцать два несчастья — речь идет о пьесе А. Чехова «Вишневый сад», где один из персонажей, Епиходов, имеет кличку «двадцать два несчастья».

...Плеве убит... — 15 июля 1904 г. министр внутренних дел В.К. Плеве, шеф отдельного корпуса жандармов, был убит членом Боевой организации эсеров Егором Сергеевичем Сазоновым (Сазонов; 1879—1910).

Стр. 382. *Потемкинский день* — 28 июня 1905 г., начало восстания на броненосце «Потемкин».

Фабрика Месаксуди — широко известная в России керченская табачная фабрика К.И. Месаксуди (1833—1908).

Стр. 383. *Дача Прокудина* — расположена неподалеку от Одессы, ср. в воспоминаниях С. Борового: «Родители переезжали на лето либо на "дачу Прокудина" (сейчас там "Лермонтовский курорт") — это была довольно дешевая, малокомфортабельная дача...» (*Боровой Саул*. Воспоминания. М.; Иерусалим, 1993. Стр. 58).

Стр. 384. *Гомруль* (от англ. Home Rule, самоуправление) — термин, вошедший в политический лексикон в последней трети 19 в. в связи с реформаторской деятельностью сторонников политической самостоятельности Ирландии. *Редмонд* (Джон Эдуард; 1856—1918) — один из ирландских лидеров борьбы за гомруль.

«Хохмология» — от ивр. hokhma (ум, рассудок, а также остро́та, шутка).

Арамбуро (Антонио; 1840?—1912) — испанский оперный тенор.

Джиганини (Феруччио; 1868—1948), американский тенор итальянского происхождения; его дочь Дусолина (1900—1986) и сын Витторио (1903—1966) также известные оперные певцы.

Цшокке (Иоганн Генрих Даниел; 1771—1848) — швейцарский поэт; писал на немецком языке.

Стр. 385. ...к памятнику *Екатерины*... — к памятнику Екатерине II, установленному на Екатерининской площади.

Стр. 387. *Ниобя* (Ниоба) — в др.-греч. мифологии жена фиванского царя Амфиона, родившая семь сыновей и семь дочерей, «прекрасных как боги», и возгордившаяся перед титанидой Лето (Латоной), имевшей от Зевса только сына и дочь — Аполлона и Артемиду; внемля материнской жалобе, те убили всех детей Ниобеи. Потрясенный Амфион покончил с собой, а Ниобя окаменела от горя.

Стр. 389. *Зекс* (воровское арг) — сигнал опасности.

Стр. 390. ...это называется «пачками»... — ружейная стрельба залпами с короткими интервалами.

Стр. 395. *Багмаев* (Петр Александрович; наст. фам. Жамсаран; 1851—1920) — врач, лечивший по рецептам и методом тибетской медицины; пользовался доверием Александра III и Николая II.

Стр. 398. *Миграш* — толкование (комментарий) библейских книг и талмудических текстов.

Дарганеллы — см. прим. к стр. 316.

Стр. 399. ...*два царя от порогов до нашего элевтра...* — речь идет о двух пароходных компаниях, которые занимались торговыми и пассажирскими перевозками на Черном море и впадающих в него реках: первая принадлежала одесскому купцу Р. Вебстеру и херсонскому купцу Е. Коваленко, второй была акционерная компания РОПиТ (Русское общество пароходства и торговли), арендовавшая городскую пристань Одессы.

Ионя — собирательный образ, вобравший черты отца автора, Ионы Жаботинского; см. о нем и РОПиТе в ПМД (стр. 9).

Ланетуты — см. прим. к стр. 431.

Соф (ивр.) — конец.

Хевра (ивр.) — общество, компания; здесь: банда.

Стр. 401. ...*не будьте пархами...* — слово «парх» (золотушная сыпь на голове, струпья, перхоть) означало также оборванец, паршивец, грязнуля.

...*бомбах я не боюсь...* — см. прим. к стр. 340.

Стр. 403. *Janneton prend sa consigne pour aller couper les joncs* (фр.) — Жаннетон взяла серп и пошла нарезать камыш.

Avec la consonne d'arpui (фр.) — с согласной в рифме.

«*Что нового на Рьяльто?*» — цитата из «Венецианского купца» Шекспира (дейст. III, сцена 1). Рьяльто — мост в Венеции над Большим каналом, где находились торговые ряды.

Стр. 404. *Ce que fit, le quatrième...* (фр.) — то, что сделал четвертый.

Стр. 406. *Вейнингер* (Отто; 1880—1903) — австрийский философ; еврей по происхождению, принявший христианство; в 1902 г. опубликовал скандально известную книгу «Пол и характер», в которой рассматривает еврейство с антисемитских позиций. Покончил жизнь самоубийством.

C'est un chic type... (фр.) — человек щедрый.

Стр. 414. *Жофруа Рюдель* — герой драмы Эдмона Ростана «Принцесса Греза» (1895) и одноименной оперы Юлия Ивановича Блейхмана (1868—1909).

Стр. 415. *Лина Кавальери* (1874—1944) — итальянская певица (сопрано). Дебютировала на оперной сцене в 1900 г. в неаполитанском театре «Сан-Карло», много гастролировала, в том числе и в России. Обладала не самыми совершенными вокальными данными, но была неотразимо красива. «*Лакмэ*» — опера французского композитора Лео Делиба (1836—1891), «*Таус*» — опера французского композитора Жюля Массне (1842—1912).

...*старый друг, которого уже раза два я в этом рассказе упоминал...* — см. прим. к стр. 330.

Стр. 416. ...*роскошные плечи...* — см. прим. к стр. 262 романа «Самсон назорей».

Accidenti a li mortacci sui! (итал.) — Пропади он пропадом!

Стр. 419. *Актеры соловцовой труппы...* — артисты русского театра в Киеве, созданного в 1891 г. актером, режиссером и антрепренером Николаем Николаевичем Соловцовым (наст. фам. Федоров;

1857—1902) в содружестве с Е.Я. Неделиным, Т.А. Чужбиновым и Н.С. Песоцким как «Товарищество драматических артистов».

Элеонора Дузе (1858—1924) — итальянская актриса.

Маринетти (Филиппо Томмазо; 1876—1944) — итальянский поэт, основатель и теоретик футуризма в европейской литературе.

Стр. 420. *Гой* (ивр., идиш) — нееврей, иноверец.

Vendange (фр.) — сбор винограда; урожай винограда.

Стр. 421. *...тут и Евно Азеф был замешан...* — (Евно Фишелевич Азеф; 1869—1918) — член ЦК и руководитель Боевой организации партии эсеров; в 1908 г. был разоблачен как провокатор, сотрудничавший с Департаментом полиции, приговорен партийным судом к смерти, но бежал за границу.

Стр. 423. *...débâcher une jeune fille très pure...* (фр.) — совращать молодую невинную девушку.

Turco de Molina (наст. имя и фам. Габриель Тельес; ок. 1583—1648) — испанский драматург; в драме «Севильский оболститель» первым обработал фольклорный сюжет о Дон-Жуане. *Соррилья* (Хосе Соррилья-и-Мораль; 1817—1893) — испанский драматург, автор пьесы «Дон Хуан Тенорио» на сюжет о Дон-Жуане.

Стр. 424. *Ménage à trios* (фр.) — дельце на троих.

Стр. 425. *Si vous le saviez, mesdames, vous iriez couper les joncs* (фр.) — если бы вы это знали, дамы, вы пошли бы нарезать камыш.

Стр. 426. *...«он — обломок древней правды»* — из стихотворения «Предрассудок! он обломок».

Стр. 427. *...девять деми-вьерж, а десятая зеро-вьерж...*(фр.) — девять полудевственниц, а десятая — и вовсе не девственница; см. прим. к стр. 307.

...строки из Виландова «Оберона»; даже из Клопштока... — Виланд (Христоф Мартин; 1733—1813) — немецкий писатель, автор фантастической поэмы «Оберон». *Клопшток* (Фридрих Готлиб; 1724—1803), немецкий поэт.

Стр. 428. *...при обряде... окрещен Жоржиком...* — по еврейскому обычаю имя мальчику дается при совершении обряда обрезания («лишения прав», как шутливо называет это Маруся).

...стихи Leier and Schwert... (нем. лира и меч) — видимо, имеются в виду стихи немецкого поэта и драматурга Теодора Кернера (1791—1813), волонтера, погибшего на войне с Наполеоном.

Стр. 431. *Бейсамегреше* (ивр.; ашкеназское произношение) — религиозная школа при синагоге.

Мишнаес (ивр.; ашкеназское произношение) — от Мишна (древнейшая часть Талмуда), собрание Устного закона, включающее Мидраш (см. прим. к стр. 131), Галаху (нормативные тексты, регулирующие религиозную, социальную и семейно-бытовую жизнь евреев) и Агаду (притчи, легенды, сентенции, проповеди, поэтические гимны, философско-теологические размышления и т.п.).

Гвирь (ивр., идиш) — богач; ср. употребление этого слова в письме Жаботинского О. Грузенбергу от 26 февраля 1929 г. (*Фирин*, стр. 242).

Ланетутник (одес. жаргон) — мелкий игрок на бирже, спекулянт мелкого пошиба.

Стр. 432. *Тфилин* (ивр.; в русск. традиции: филактерии) — кожаные корбочки с отрывками из Кн. Исхода и Кн. Второзакония; религиозные евреи накладывают тфилин на левую руку и на лоб во время утренней молитвы.

Ашкенази — имеется в виду Евгений Ашкенази, основатель банкирского дома в Одессе. *Бродский* — наиболее известными представителями этой семьи сахарозаводчиков в то время были Элизер (1848—1904) и Арье Лейбуш (1852—1923).

Ган-Эйген (ивр.) — райский сад.

Стр. 440. ...*Игнац Альбертович сидел, как полагается, на полу в гостиной, небритый по траурному уставу...* — по еврейскому обычаю близкие родственники покойного держат траур (шиву): семь дней сидят на полу и не выходят из дому; в эти дни нельзя работать, стричься, бриться, умываться теплой водой, стирать, гладить и даже читать Библию, за исключением Кн. Иова и Плача Иеремии.

Стр. 442. *Раби Акива* (ок. 50—135) — основоположник раввинистического иудаизма.

Стр. 444. *Mise au point* (фр.) — уточняющая (разъясняющая, вносящая ясность) точка.

...«*выходцы из Пинского болота*» — см. прим. к стр. 310.

Стр. 445. ...*уайтчепельское слово «бойчикль»...* *ведь это tour de force...* — от Уайтчепел, лондонский район с наибольшей концентрацией евреев. *Бойчикль* — слово, образованное от англ. boy (парень), русск. суффикса «-чик» и характерного для идиша уменьшительно-ласкательного суффикса «-ль». *Tour de force* (фр.) — хитрая штука.

...*может раз в поколение расцвести на земле... существо, одержимое одной заботой — всех приголубить, всем дать уют...* — отголосок еврейского поверья о существовании 36 праведников, на которых держится мир; см. упоминание в письме Жаботинского О. Грузенбергу от 26 февраля 1929 г. в: *Фурин* (стр. 242).

Стр. 446. *Ралли* — семейство греческого происхождения, занимавшееся торговлей зерном, известное в Одессе с 1814 г. В романе речь идет о Стефане (Степане) Ивановиче Ралли (1821—?), гласном Городской думы, возглавлявшем в ней купеческую фракцию, который был также председателем Общества животных и инициатором создания одной из первых в России ветеринарных лечебниц.

Standesgemäß (нем.) — приличествующий, соответствующий.

...— *А церковь выбрали?... — Сделаю, как все, поеду в Выборг к тамошнему пастору...* — в выборгской епископско-методистской церкви крестился, например, О. Мандельштам (правда, позднее, в 1911 г.).

Стр. 447. ...*видел в американском Ричмонде... тамошний Капитолий...* — *Ричмонд* — административный центр штата Виргиния; рич-

мондский *Капитолий* спроектирован в духе римского храма третьим президентом США Т. Джефферсоном (1743—1826).

Стр. 448. «*Я сын моей поры...*» — строка из стихотворения Жаботинского «Piazza di Spagna».

Стр. 450. «...вероятно, той *Одессы* уж давно нет и в помине... — ср. с финалом очерка «Моя столица»: «...Только то грустно, что всего этого уже нет, и Одесса давно уж не такая. Давно, еще задолго до нынешнего мора и глада и труса, стало меркнуть и сереть то великолепие многоцветности — высокая прерогатива радуги, бриллианта, империй. Александрия севера постепенно превращалась в южную Калугу; а теперь, говорят, совсем и нет больше на том месте никакого города — трактором, от Куликова поля до Ланжерона, проволокли борону, а комья потом посыпали солью. Жаль...» (*Causeries*, стр. 85).

Искренне благодарю профессора Вольфа Московича за любезную помощь в работе над комментариями к романам В. Жаботинского.

Владимир ХАЗАН

РАССКАЗЫ

В сборник «Рассказы», напечатанный в 1930 г. в парижской типографии «Voltaire» и переизданный в следующем, 1931 г., вошли рассказы, написанные В. Жаботинским в 1901—1930 гг.

ИАНА. Под этим названием рассказ был опубликован в журнале «Новое слово», СПб, № 5, май 1910, стр. 24—40. Окончательный вариант явился результатом переработки ранних рассказов «*Studentesca*» и «*Amougeuse trinité*», вошедших в сборник «В студенческой богеме», Одесса, типогр. Гольца и Швейцера, 1903.

Стр. 453. *Maßgebend* (нем.) — авторитетный, влиятельный.

Стр. 454. *Стриндберг* (Юхан Август; 1849—1912) — шведский прозаик, драматург и живописец.

Стр. 455. *Прево* — см. прим. к стр. 307; *Анатоль Франс* (1844—1924) — французский писатель, лауреат Нобелевской премии.

Стр. 456. *Боккони* (Фердинандо) — основатель компании готовой одежды «*Rinascente*»; *капуцино* (капучино) — кофе, приготовленный со сливками и сахаром.

Траттория — ресторан, трактир в Италии и некоторых других странах; *Корсо* — одна из главных улиц Рима; *Транстеверинский квартал* (Транстевере, Трантевере, т.е. находящийся за Тибром) — старинный римский квартал на правом берегу Тибра.

Стр. 457. *Сор* (итал. *signor*) — господин.

Стр. 458. *Монтечиторио* — дворец-резиденция палаты депутатов итальянского парламента; *onorévole* (итал.) — почетный, достойный

(депутатский титул); *гоф-маклер* — главный маклер, наблюдающий за правильностью действий биржевых маклеров.

Стр. 459. *Кардуччи* (Джозуэ; 1835—1907), итальянский писатель и критик, лауреат Нобелевской премии.

Ворота Пия — построены в Аврелианской стене в 1560-х гг. и названы в честь папы Пия IV, поручившего разработку проекта Микельанджело; *таверна* — кабачок, трактир в Италии и некоторых других странах.

Стр. 460. *Romanesco* (итал.) — римский говор.

Стр. 461. *Анкона* — город на итальянском побережье Адриатического моря; *Фиум* (ныне Риека) — город в Хорватии.

Santo diavolone (сицил.) — черт побери!

Гротта Феррата — вино, произведенное в аббатстве Гротта Феррара.

Стр. 462. *Борго* — район Рима на правом берегу Тибра, недалеко от Ватикана.

Замок Св. Ангела — императорская усыпальница (построена в 130 г.); получила свое название после чудесного явления на том месте ангела, предвозвестившего прекращение чумы (590 г.).

Стр. 463. *Холм Януса* — возвышенность на правом берегу Тибра, где в дохристианские времена находилось святилище бога Януса; *Гарибальди* (Джузеппе; 1807—1882) — народный герой, легендарный вождь национально-освободительного движения за независимость и объединение Италии.

Couleur locale (франц.) — местный колорит; *stornelli* (итал.) — частушки, куплеты; *Ливорно* — город в Центральной Италии.

Барабино (Никколо; 1832—1891) — итальянский художник.

Стр. 464. *A la longue...* (франц.) — в конце концов.

Goffredo mio (итал.) — мой Гоффредо.

Пiazza Колонна — площадь Колонны, где установлена колонна в честь Марка Аврелия (121—180), римского императора, философа и последователя учения стоиков.

Стр. 465. *...подсел к одному из завсегдатаев Араньо...* — речь идет об Антонио Лабриоле (1843—1904), итальянском философе, теоретике и пропагандисте марксизма, профессоре римского университета «Ля Сапиенца».

Стр. 467. *Vi voglio bene* (итал.) — я к вам очень привязана.

Джачинта Пеццана (1841—1919) — итальянская драматическая актриса; «*Тереза Ракэн*» — спектакль по одноименному роману французского писателя Эмиля Золя (1840—1902).

Вилла Боргезе — один из самых популярных музеев Рима, включающий в себя картинную галерею и городской парк.

Стр. 468. *Улька, сандомирка* — см. прим. к стр. 316.

Эрмете Дзаккони, Эрмете Новели — известные итальянские актеры начала XX в.

Стр. 469. *Мальгачеа* (Николо) — итальянский актер и певец.

«*Aux armes, citoyens*» (франц.: «К оружию, граждане!») — строка из Марсельезы.

Стр. 470. *Аванти* (итал. *avanti*) — войдите.

Стр. 473. *Шелли* (Перси Биш; 1792—1822) — один из ведущих английских поэтов-романтиков. *Китс* (Джон; 1795—1821) — крупнейший английский поэт эпохи романтизма.

Стр. 474. *Мигранья* (итал. *misagna*) — скудость, бедность, безденежье; *солдо* — итальянская монета, равная $\frac{1}{20}$ лиры; *Фраскати* — городок в 20 км от Рима, славится своим вином; *migragnosi* (*misragposo*, итал.) — бедняк, бедолага.

Стр. 476. *Cinque soldi* (итал.) — пятигрошовый.

Стр. 477. *Мост Св. Ангела* — мост через Тибр возле замка Св. Ангела.

Квестор — полицейский чиновник в Италии.

Стр. 478. *Пинчо* — название холма и парка.

Стр. 479. *Gamine* (франц.) — девчонка, проказница.

«*Dal muraglione del Pincio*» (итал.) — здесь: «Самоубийцы стены Пинчо».

Стр. 481. *In vettura* (итал.) — в вагон.

Стр. 482. *Partenza* (итал.) — отправление.

ТРАПТОРИЯ СТУДЕНТОВ. Первая публикация в газете «Одесские новости», 14.12.1901, стр. 4, под названием «Харчевня студентов».

Стр. 483. *Латинский квартал* — университетский район Парижа; *траптория* — см. прим. к стр. 456.

«*Богема*» — опера Джакомо Пуччини (1858—1924) по роману Анри Мюрже «Сцены из жизни богемы».

Итальянские карты — карты Таро.

A priori (лат.) — здесь: заведомо, явно.

Сократ (469—399 до н.э.) — великий афинский философ, учитель Платона.

Филомузи (Филомузи-Гвельфи) — итальянский юрист, профессор философии права в Римском университете.

Стр. 484. *Cum beneficio inventarii* (лат.) — с оговорками, условно, после проверки.

Черные мессы — ритуал профанации святого причастия, приписываемый христианской традицией сатанистам.

Стр. 485. *Марсала* — вино, производимое в окрестностях сицилийского города Марсала.

Стр. 486. *Illustre assemblea* (итал.) — знаменитое собрание.
Onorévole (итал.) — см. прим. к стр. 458; *cop* — см. прим. к стр. 457.
Evviva la migragna (итал.) — да здравствует бедность.
Abbasso la migragna (итал.) — долой бедность.
Nossignori (итал.) — нет, синьоры.
Стр. 487. *Гора Милосердия* (Monte di Pietà, итал.) — официальное название ломбарда.

VIA MONTEBELLO, 48

Стр. 488. *Via* (итал.) — улица.
Кампо-Санто (camposanto, итал.) — кладбище.
Fiore di giglio (итал.) — цветок лилии.
Стр. 489. *Simpatico* (итал.) — приятный, милый.
Болонья — город в Северной Италии, административный центр провинции Болонья.
Romano de Roma (итал.) — настоящий римлянин, римский старожил.
Стр. 490. *Zitto* — (итал.) — тише; *трамонтана* — северный ветер в Средиземноморье.
Стр. 491. *Фантэзи* (англ. fantasy) — здесь: стиль одежды с большим количеством декоративных элементов; *абруццкий выговор* — Абруцци — область в Центральной Италии.
Д'Аннунцио (*Габриэле*; 1863—1938) — итальянский писатель и политический деятель.
Стр. 492. «*Заратустра*» — имеется в виду сочинение немецкого философа Фридриха Ницше (1844—1900) «Так говорил Заратустра».
Аве Мария — наиболее употребительная из христианских молитв, обращенных к Богородице; католики читают ее утром, днем и вечером.
Стр. 493. *Ритурнель* — вступление, интермедия или завершающий раздел вокального произведения; *Позилуппо* — гора и грот в окрестностях Неаполя.
Plusquam perfectum passive (лат.) — особая форма глагола прошедшего времени страдательного залога.
Стр. 494. *Регингот* — длинный сюртук для верховой езды.
Софокл (ок. 496—406 до н.э.) — афинский драматург, один из величайших трагических поэтов древности.
Семирагский (Генрих Ипполитович; 1843—1902) — русский художник, представитель академического направления; последние годы жизни провел в Риме.
Сулема (дихлорид ртути) — сильный яд.

БИЧЕТТА. Первая публикация — в газете «Одесские новости», 5.8.1902.

Стр. 495. *Капуцинский монастырь* — обитель монахов ордена капуцинов.

Стр. 496. *Керл* (kerl, нем.) — парень, малый; *отколотить двух корреспондентов из Одессы...* — Жаботинский был римским корреспондентом газеты «Одесские новости».

Кафе Араньо — знаменитое римское кафе, место встреч художников, писателей, философов.

Стр. 498. *Массимо Горки* (Максим Горький, настоящее имя Алексей Максимович Пешков; 1868—1936) — русский прозаик, драматург, публицист, поэт; «*Старуха Изергиль*» — один из ранних романтических рассказов Горького.

Стр. 499. *Mio* (итал.) — мой.

АКАЦИЯ. Первая публикация — в газете «Одесские новости», 2.6.1911.

Стр. 500. *Мессина* — город и порт на острове Сицилия; *Крит* — греческий остров, омывается Эгейским, Ионическим и Ливийским морями; *Ланжерон* — пляж в Одессе; *Молдаванка* — предместье Одессы, населенное рыбаками, в 1917 г. вошло в черту города; *Собор Св. Петра* — крупнейший католический храм Европы, расположен на территории Ватикана в Риме.

Прогимназия — четырехклассное учебное заведение, имевшее те же учебные планы и программу, что и гимназия (выпускник прогимназии мог без экзаменов поступить в следующий класс гимназии); *приготовительные* — подготовительные классы гимназии, куда принимались дети в возрасте от 8 до 10 лет, умеющие читать и писать.

Стр. 501. *Ergo* (лат.) — итак, следовательно; *вохкий* (укр.) — влажный; *реальное* [училище] — среднее или неполное среднее учебное заведение, где существенная роль отводилась предметам естественной и математической направленности; *Огалиска Месаксуди* — здесь: марка папирос производства табачной фабрики К.И. Месаксуди (1836—1908); *бр. Поповы* — здесь: папиросы «Сальве», которые выпускала одесская папиросная фабрика братьев Поповых

Гобелка (габелок, диалект.) — здесь: теленок.

Стр. 502. *Передержка...* — переекзаменовка; *сховался* (диалект.) — спрятался.

Старопортофранковская — улица в Одессе.

En règle (франц.) — согласно требованиям, как положено.

Стр. 503. *Башмала* — желто-оранжевый тропический фрукт яйцевидной формы.

Стр. 504. «*Ты не спрашивай, не распытывай...*» — цитата из стихотворения Алексея Константиновича Толстого (1817—1875).

ОПИСАНИЕ ШВЕЙЦАРИИ. Первая публикация — в газете «Одесские новости», 31.8.1911.

Стр. 505. *Владимирка* — Владимирский тракт; дорога из Москвы на Владимир, по которой с 18 века отправляли в Сибирь осужденных на каторгу.

Дискобол (метатель диска) — произведение др.-греч. скульптора Мирона (5 в. до н.э).

Nunc pede libero pulsanda tellus! — «Свободной стопой топнем теперь о землю!» — строка из 37-й оды Горация (1-я книга «Од»).

Стр. 506. *...пришел в Одессу броненосец Потемкин «Т»...* — речь идет о вооруженном восстании матросов на броненосце «Потемкин Таврический» (июнь 1905 г.).

Эверест (Джомолунгма) — высочайшая вершина земного шара (8844,4 м) в Гималаях; *Инсбрук* — город в Австрии, столица земли Тироль.

Бедекер — здесь: путеводитель; по имени немецкого издателя Карла Бедекера (1801—1859), наладившего выпуск путеводителей по странам мира.

Гиг — здесь: путеводитель; *Шварцвальд* — горный массив на юго-западе Германии.

Стр. 507. *Ришельевская гимназия* — мужская гимназия в Одессе, где учился Жаботинский.

Люцерн — город в центральной Швейцарии, крупный центр немецкоговорящей части страны; «*во штект херр такой-то*» (wo stekt herr; нем., искаж.) — где застрял господин такой-то; «*кантитэ неглигабль*» (quantite negligeeable, франц., искаж.) — нечто, не стоящее внимания.

EDMÉE. Первая публикация — в газете «Одесские новости», 17.6.1912.

Стр. 510. *Константинополь* (Царьград) — столица Византийской империи, в 1453 г. взят турками и переименован в Стамбул; *Гарц* — горный массив в Центральной Германии; *Босфор* — пролив между Европой и Азией, соединяющий Черное море с Мраморным; *Золотой Рог* — бухта у южного входа в Босфор, разделяющая европейскую часть Стамбула на Старый город и современные кварталы; *plus distingué* (франц.) — более расположенное, более приятное.

Von einem Hauch westlicher Schwärmerei (нем.) — от этого аромата западных грез.

Стр. 511. *Принцезы острова* — 9 островов, расположенных в Мраморном море близ Стамбула; *Терапия, Буюк-Дере* — районы Стамбула на Босфоре; *pardon* (франц.) — простите, извините; *Принкипо* — один из Принцевых островов.

Дедеагач — турецкое название греческого города Александруполиса.

In partibus infidelium (лат.) — в стране неверных.

Стр. 512. *Цивические* — гражданские (от англ. civic — гражданский); *sans patrie* (франц.) — инородцы (дословно: «без родины»); *...белая голубка среди черных ворон...* — так Ромео называет Джульетту, когда впервые видит ее на балу в толпе гостей (Уильям Шекспир, «Ромео и Джульетта»).

Стр. 514. *Gott bewahre* (нем.) — избави Бог.

Серсо — спортивная игра, участники которой поочередно нанизывают на палку бросаемые соперниками обручи.

Стр. 515. *Лукени* (Луиджи) — убийца австрийской императрицы Елизаветы (1837—1898); *un je ne sais quoi* (франц.) — что-то, бог знает что.

Давид (XI—X вв. до н.э.) — библейский царь древнего Израиля.

ГУНН. Первая публикация — в газете «Русские ведомости», М., 1.11.1914.

Стр. 516. *Борго* — город на юго-западе Франции, центр исторических областей Гиень и Гасконь; *Антверпен* — город во Фландрии, Бельгия; *Дюнкирхен* — город в Северной Франции с населением частью фламандского, частью валлонского происхождения.

Стр. 517. *Voilà des Boches* (франц.) — вот боши (т.е. немцы).

Сражение на Марне — крупное сражение между англо-французскими и германскими войсками на реке Марне (5—12 сентября 1914 г.).

Монпелье — французский город на Средиземном море.

Сет — город на юге Франции на Средиземном море; *Ним* — город на юге Франции.

Пуатье — главный город французского департамента Виенны.

Стр. 518. «*Гутен таг, херр доктор*» (*Guten Tag, Herr Doktor*, нем.) — добрый день, господин доктор; *па* (*pas*, франц.) — отриц. частица не; *тужур* (*toujours*, франц.) — всегда; *херр* (*horr*, нем.) — давай, пошел.

Unbefangen (нем.) — непринужденный, естественный.

Стр. 519. *Франкфурт-на-Майне* — крупный город в Центральной Германии.

Интермеццо — самостоятельная сценка, исполненная между действиями или в середине действия драмы, оперы.

Ферейн (Verein, нем.) — объединение, общество.

Vaudois (франц.) — водуазский (относящийся к кантону Во, Швейцария) диалект; *wallon* (франц.) — валлонский диалект; *gascon* (франц.) — гасконский диалект.

Льеж — город в Бельгии (Валлония).

Лозанна — город на западе Швейцарии, один из центров франкоязычного населения страны; *Лангедок-Руссильон* — регион на юге Франции, главный город — Монпелье.

Французские норманны — выходцы из Скандинавии, завоевали северо-запад Франции и переняли старофранцузский язык; *битва при Гастингсе* — 14 октября 1066 г. герцог Нормандии Вильгельм разгромил англо-саксонскую армию короля Гарольда II и стал английским королем Вильгельмом I Завоевателем.

Шарлеруа — город в юго-западной части Бельгии.

Стр. 520. *Рона* — одна из крупнейших рек Франции.

«*O Magali, ma tant amado, / Mete la testo au fenestroun!*» — «Магали, моя отрада / Слышишь: льютсы звуки скрипки...» — строки из поэмы Фредерика Мистрала «Мирейо» (перевод с провансальского Иннокентия Анненского).

Мистраль (Фредерик; 1870—1914) — провансальский поэт, один из вождей движения за возрождение провансальского языка и литературы.

Стр. 521. *La bello neblo* (прованс.) — чудесный туман.

Стр. 522. *Лувэн* — город неподалеку от Брюсселя, крупнейший университетский центр страны.

ЗАВОЕВАТЕЛЬ. Первая публикация — в газете «Русские ведомости», М., 12.4.1915.

Стр. 522. *Пирей* — один из важнейших портов Греции, входит в состав Больших Афин.

Тирольская шляпа — темно-зеленая охотничья шляпа с перьями на боку, элемент национального костюма тирольца (Австрия); *nette Höllschaft* (нем., венск.) — приятная компания; *fesches Mädlel* (нем., венск.) — шикарная барышня; *fideler Bursch* (нем., венск.) — веселый парень; *Люэгер* (Карл) — глава христианско-социальной партии в Австрии, в 1897 г. был избран бургомистром Вены.

Стр. 523. *Канея* — город на острове Крит (Греция).

Savoir faire (франц.) — способность разбираться в чем-либо.

Стр. 524. *Inter doctores* (лат.) — между понимающими.

Эманация — излучение, истечение.

Стр. 525. *Куа* (quoi, франц.) — что.

Смирна (ныне Измир, Турция) — город на берегу Эгейского моря, до 1922 г. принадлежал Греции; *Родос* — греческий остров в Эгейском море; *Колофон* — город в Малой Азии.

«*So lernt man die Leute kennen*» (нем.) — «Так учатся узнавать людей».

Стр. 526. *Патрас* — город-порт на западе Греции.

Стр. 527. *Драхма* — греческая денежная единица; *лепта* — мелкая разменная монета, сотая часть драхмы.

Wiener Lederwaren (нем.) — венские кожаные изделия.

«*Kogak*» — марка фотоаппарата американской компании Джорджа Истмэна.

РАССКАЗ Г-НА А. Б. Первая публикация — в газете «Русские ведомости», М., 20.11.1916, стр. 3.

Стр. 529. ...*Великие полководцы от Суворова до Николая Николаевича...* — Александр Васильевич Суворов (1730 — 1800) — великий русский полководец, генералиссимус; Николай Николаевич (1856—1929) — первый сын великого князя Николая Николаевича (Старшего), внук Николая I, главнокомандующий русской армией в 1914—1915 гг.

Визитка — сюртук особого покроя для утренних визитов.

Линотип — вид полиграфического оборудования, строкоотливный наборный аппарат.

Стр. 530. «*Хип, хип...*» (англ.) — «Ура, ура...»

Ремингтон — пишущие машинки американской компании «Ремингтон и сыновья».

Стр. 531. *Рюриковичи* — русская княжеская и царская (до 1598 г.) династия, потомки князя Игоря, сына Рюрика (ум. 879).

Стр. 532. *Дарданеллы* — пролив между европейским полуостровом Галлиполи (Турция) и северо-западом Малой Азии.

В ТЕМНЫЕ ВЕКА

Стр. 532. *Ренессанс* — Возрождение; период в культурном и идейном развитии стран Западной и Центральной Европы (в Италии XIV—XV вв., в других странах XV—XVI); *Константинополь* — см. прим. к стр. 510.

Стр. 533. *Данте* — Данте Алигьери (1265—1321), великий итальянский поэт, автор «Божественной комедии»; *Ахен* — немецкий город в земле Северный Рейн — Вестфалия.

Жакерия — крестьянское восстание во Франции (1358); *Овернь* — регион на юге центральной части Франции.

Людовик XIV (1638—1715) — король Франции из династии Бурбонов, правил в 1643—1715 гг.

Стр. 534. *Droit du Seigneur* (франц.) — право сеньора (право первой ночи).

Клермон — Клермон-Ферран, столица региона Овернь; *le scandale de Marie-Jehanne-Marie* (франц.) — скандал Мария-Жанна-Мария.

Стр. 535. *La chose* (франц.) — это дело.

Элекэн — во французской мифологии предводитель сонмища дьяволов.

Стр. 536. *Дебора* — в Библии судья и пророчица, возглавившая войну против ханаанского царя Явина (прибл. 1200—1125 до н.э.).

Стр. 538. *Крестоносцы* — европейские рыцари, участвовавшие в крестовых походах XI—XIII вв. с целью отвоевания Святой земли у мусульман.

БЕЛКА

Стр. 543. *Honni soit* (франц.) — позор тому; *фрейдговская подкладка* — австрийский психиатр Зигмунд Фрейд (1856—1939) объяснял психическое состояние и действия человека проявлением бессознательных, прежде всего — сексуальных, влечений.

Стр. 544. *Петрарка* (Франческо, 1304—1374) — итальянский поэт, гуманист, один из величайших деятелей итальянского Ренессанса; *«Принцесса Греза»* — пьеса Эдмона Ростана (1868—1918), французского поэта и драматурга романтического направления.

Стр. 545. *«Ять»* — 30-я буква русской азбуки до реформы 1918 г.

Стр. 546. *С камчатки* — с задних рядов парт.

Un beau geste (франц.) — широкий жест; *кавун* (укр.) — арбуз.

ВИРДЖИНИЯ. Рассказ впервые опубликован в сборнике «Рассказы», Париж, 1930.

Стр. 549. *Гран-Чак* — обширная центральная область Южной Америки на территории Боливии и Аргентины.

Кантара (Эль-Кантара) — египетский город на Суэцком канале; *освободители Святой земли* — бойцы Еврейского легиона британской армии, участвовавшие во время 1-й мировой войны в освобождении Палестины от турецкого владычества.

Стр. 550. *Уппсала* — город в Швеции к северо-западу от Стокгольма, старейший университетский центр; *Фленсбург* — немецкий город в 5 км от датской границы.

Стр. 552. *Луганское озеро* — расположено на крайнем юге Швейцарии, на границе с Италией.

Виргиния — Вирджиния, штат на востоке США.

Стр. 553. *Овернь* — см. прим. к стр. 533.

Джулеп — коктейль с мятой и сахарным сиропом; *гому* (goatee, англ.) — козлиная борода.

Стр. 554. *Комо* — курортный город к северу от Милана; *Изола Белла* — остров на оз. Маджоре, Северная Италия.

Стреза — город на оз. Маджоре; *Ломбардия* — административный регион в Северо-Западной Италии, центр — Милан.

Стр. 555. *Порлецца* — город на оз. Комо, Северная Италия.

Стр. 556. *Креолы* — потомки европейских (в основном, испанских и португальских) поселенцев в американских колониях. В Вест-Индии и Бразилии креолами называли потомков негров-рабов, а русские поселенцы на Аляске — потомков от смешанных браков с индейцами, эскимосами и алеутами.

Стр. 557. *Фьорг* — узкий, извилистый и глубоко врезавшийся в сушу морской залив со скалистыми берегами.

Техас — штат на юге США.

Стр. 560. Лафарг (Поль; 1842—1911) — один из основателей французской социалистической партии; автор книги воспоминаний о Карле Марксе, на дочери которого, Лауре, он был женат.

Бат — город в центральной Англии, известный своими горячими источниками; *Дизраэли* (Бенджамин, граф Биконсфилд; 1804—1881) — премьер-министр Великобритании в 1868 и 1874—1880 гг., лидер Консервативной партии, писатель.

Методисты — последователи методистской церкви, требующей строгого соблюдения религиозных предписаний; возникла в 18 в., отделившись от англиканской церкви.

Стр. 561. *Пантогамия* (др.-греч. *pantes* — все, *gamos* — брак) — всеобщий брак, брак всех со всеми.

ЖИДЕНОК. Под названием «Д-р Авиноам» рассказ был опубликован в журнале «Рассвет», Берлин, №30(67), 29.7.1923.

Стр. 562. *Бар-мицва* (буквально: сын заповеди, ивр.) — в иудаизме день религиозного совершеннолетия мужчины (13-летие).

Пирхей-Цион — одно из сионистских течений в России.

Стр. 563. ...*Обе ветви потомства Авраамова...* — т.е. евреи и арабы.

En davar (ивр.) — неважно.

Оттоманская (Османская) *империя* — сложилась в результате турецких завоеваний в Азии, Африке, Европе в XV—XVI вв.; окончательно распалась в 1924 г.

Трахома — инфекционное воспаление слизистой оболочки глаз.

Стр. 564. *Кефия* (куфья) — арабский головной платок.

Стр. 565. ...*Чарли Чаплин единолично окружил двенадцать немецких солдат...* — эпизод из фильма Чарли Чаплина «На плечо» (1918).

ВСЕВА. Первая публикация — в сборнике «Рассказы», Париж, 1930.

Стр. 565. «*Роберт-Дьявол*» — опера французского композитора Джакомо Мейербера (1791—1864).

Франс (Анатоль) — см. прим. к стр. 455.

Ницше (Фридрих) — см. прим. к стр. 492.

Стр. 566. «*Летучая мышь*» — оперетта австрийского композитора Иоганна Штрауса-сына (1825—1899), где одним из центральных эпизодов является бал-маскарад.

...*Вокзал Термини, пьядца Термини...* — центральный вокзал и при вокзальная площадь в Риме.

Форум Траяна — памятник монументального зодчества, возведен при императоре Траяне в 106—113 гг. н. э.

Стр. 567. *Галац* — город и порт в Румынии на Дунае; *Амальфи* — город в провинции Солерно (Италия) на Средиземном море.

Стр. 568. ...*на углу Невского и Морской...* — угол Невского проспекта и Морской улицы в Петербурге.

...*беззаботный белоподкладочник с Дерibasовской...* — Белоподкладочник (разг.) — студент из богатой семьи, враждебно настроенный к революционному движению и демократическому студенчеству; Дерibasовская — улица в Одессе.

...*пытался описать Андреев в «Семи повешенных»...* — Андреев (Леонид Николаевич; 1871—1919) — русский писатель; «Рассказ о семи повешенных» написан в 1909 г.

Стр. 569. ...*После взрыва на гаче Столыпина, на Аптекаарском острове...* — Столыпин (Петр Аркадьевич; 1862—1911) — премьер-министр России с 1906 г. Речь идет о первом покушении на Столыпина 12 августа 1906 г., когда была взорвана его дача на Аптекаарском острове в Петербурге.

Стр. 570. «*Боль*» (bol, франц.) — чашка в форме пиалы.

Мортагелла — сорт итальянской колбасы из свинины и говядины; *качо-кавалло* (качкавал) — сорт сладкого твердого сыра.

Стр. 571. *Веленевый* — сорт высококачественной плотной бумаги.

«*Лунная соната*» — 14-я фортепианная соната Людвиг ван Бетховена (1770—1827); *Лоэнгрин* — центральный персонаж одноименной оперы Рихарда Вагнера (1813—1883).

Стр. 572. *Замок Св. Ангела* — см. прим. к стр. 462; «совершаются высоко в горнем мире чудеса»... при «громадах негасимого огня»... — цитаты из стихотворения «Звезды» Алексея Степановича Хомякова (1804—1860).

Порто-Маурицио — итальянская провинция на берегу Генуэзского залива; *grazie lo stesso* (итал.) — все равно спасибо.

Стр. 573. *Государственный Совет* — высший законосоветательный орган Российской империи в 1810—1917 гг.

Стр. 574. *Азеф* — см. прим. к роману «Пятеро» (стр. 421).

Ирина БЕРДАН

СОДЕРЖАНИЕ

А. Исакова. Аладдин и волшебная лампа, или феномен Жаботинского	5
САМСОН НАЗОРЕЙ	41
ПЯТЕРО	292
РАССКАЗЫ	
Диана	453
Траттория студентов	483
Via Montebello, 48	488
Бичетта	495
Акация	500
Описание Швейцарии	504
Edmée	509
Гунн	516
Завоеватель	522
Рассказ г. А.Б.	528
В темные века	532
Белка	541
Вирджиния	549
Жиденок	561
Всева	565
ПРИМЕЧАНИЯ	575

Жаботинский, Владимир (Зеэв)

Ж12 Сочинения в девяти томах. Т.1 / Владимир (Зеэв) Жаботинский . — Минск : МЕТ . — 2007. — 639 с.

ISBN 978-985-436-549-7

В первый том сочинений выдающегося общественного деятеля, одного из основоположников современного сионизма, блестящего журналиста и литератора Владимира (Зеэва) Жаботинского вошли романы «Самсон назорей» и «Пятеро», а также рассказы, большая часть которых печаталась в периодических изданиях первой четверти XX в., а затем вошла в сборник «Рассказы» (Париж, 1930, 1931).

УДК 821.161.1-31 / -32
ББК 84 (2 Рос=Рус) -44

Художественное издание

Жаботинский Владимир (Зеэв)

**СОЧИНЕНИЯ
В ДЕВЯТИ ТОМАХ**

ТОМ ПЕРВЫЙ

Художник обложки	<i>М. Драко</i>
Художественный и технический редактор	<i>Г. Емец</i>
Корректор	<i>М. Ходыко</i>
Компьютерная верстка	<i>Т. Пришепова</i>

Подписано в печать с готовых диапозитивов 20.01.2007.

Формат 60x90¹/₁₆. Гарнитура Балтика. Бумага офсетная.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 40,0.

Тираж 2000 экз. (1-й завод 1000 экз.) Зак.

ООО «МЕТ», ЛИ № 02330/0056902 от 1.04.2004 г.

220029, Минск, ул. Киселева, 20.

Республиканское унитарное предприятие «Издательство
"Белорусский Дом печати"», 220013, г. Минск, пр. Независимости, 79.

ISBN 978-985-436-549-7



9 789854 365497